





LIBRARY  
OF THE  
UNIVERSITY  
OF ILLINOIS

891.73

T58

OvoYo

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

**Theft, mutilation, and underlining of books  
are reasons for disciplinary action and may  
result in dismissal from the University.**

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

AUG 15 1974  
JUL 18 1974

L161—O-1096









**ВОЙНА И МИРЪ.**

Памяти Л. Толстого

**СБОРНИКЪ**

Подъ редакцией Т. И. Полнера  
и В. П. Шевицкого.





# ВОЙНА и МИРЪ.

## СБОРНИКЪ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ В. П. ОБНИНСКАГО и Т. И. ПОЛНЕРА.

МОСКВА.



1912.



Типографія Г. Лиснера и Д. Собко.  
Москва, Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. 9.



891.73

T58

O vo Yo

*Памяти*

*Льва Николаевича*

*Толстого.*



Digitized by the Internet Archive  
in 2017 with funding from  
University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

<https://archive.org/details/voinaimirsbornik00obni>

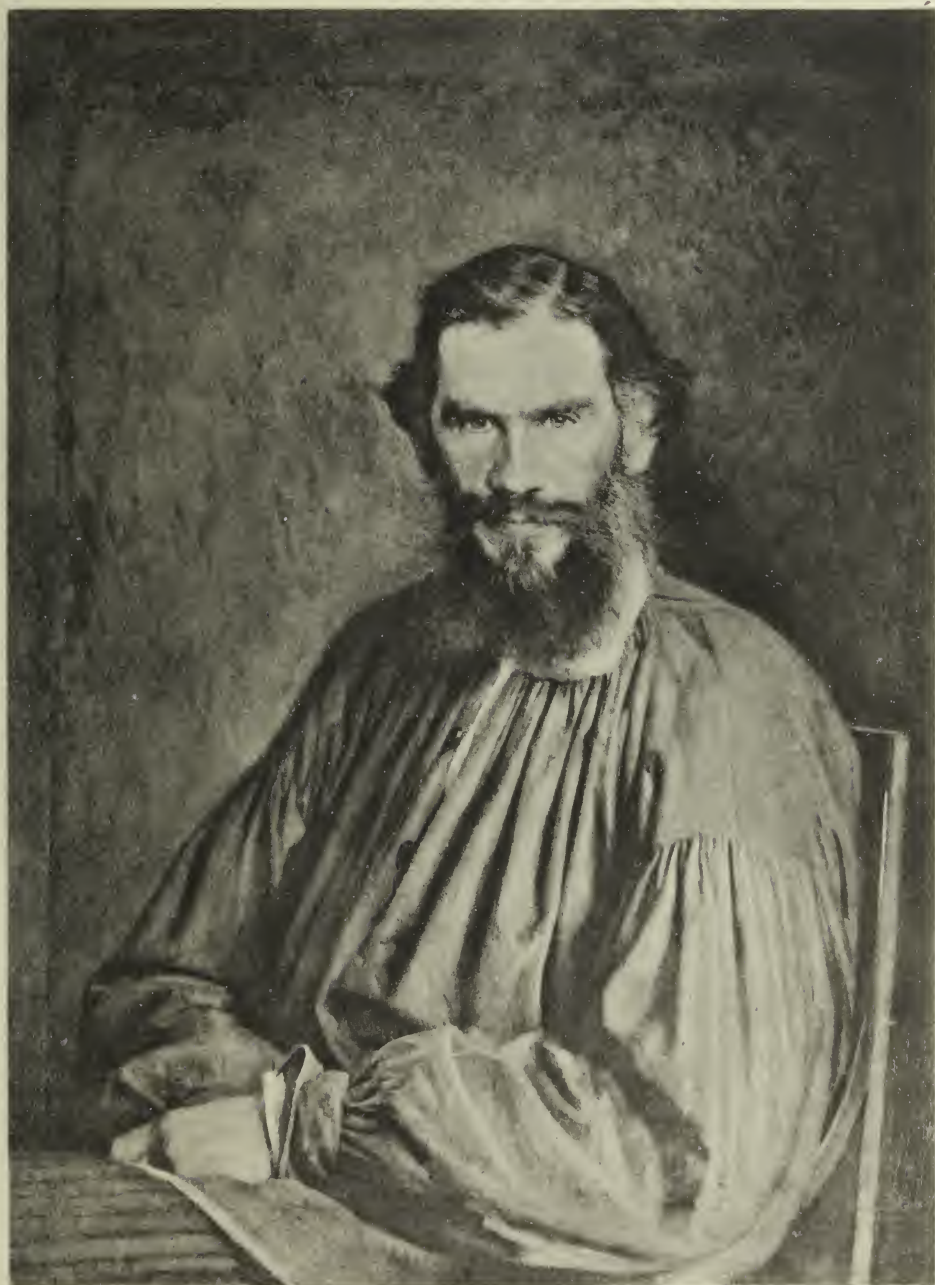


Л. Н. Толстой въ 1873 г.  
(Съ портрета Крамского.)

П. Н. Топалон въ 1873 г.

(Съ подбѣтъ Кривскоро.)





Игорь Иванович Печников



Памяти Льва Николаевича Толстого посвящаютъ этотъ сборникъ авторы, принявшіе въ немъ участіе. Они принадлежатъ къ разнымъ политическимъ направленіямъ, но объединены любовью къ Толстому-художнику и ненавистью къ войнѣ—этому варварскому пережитку кулачнаго права.

Пятьдесятъ лѣтъ назадъ Толстой, въ полномъ расцвѣтѣ силъ и таланта, приступилъ къ работѣ надъ «Войною и миромъ». Романъ взялъ у него пять лѣтъ непрерывнаго и исключительнаго труда. Въ результатъ получилось художественное созданіе—единственное по широтѣ замысла и мастерству выполненія. Основная тема этого произведенія—проблема войны.

Война, «какъ загадка сфинкса», притягивала къ себѣ великаго писателя въ теченіе всей его долгой жизни. Но нигдѣ не удалось ему поставить этотъ вопросъ въ такихъ блистательныхъ картинахъ, какія развертываетъ передъ нами художественная часть «Войны и мира».

Не такъ давно официальная Россія праздновала столѣтній юбилей отечественной войны. Широкіе слои русскаго общества и русскаго народа были слабо захвачены этими торжествами. Но мысль cadaго невольно обращалась къ тѣмъ испытаніямъ, которыя пережила Россія сто лѣтъ назадъ. Картины «Войны и мира» Толстого приковывали къ себѣ вниманіе съ особенной силою.

У авторовъ предлагаемаго сборника явилась мысль: соединенными силами дать комментарий къ великому творенію Толстого.

Для выполненія задачи предстояло прежде всего разобраться въ самомъ произведеніи. Результатомъ такой работы явились статьи первой половины сборника. Мы изучаемъ въ нихъ: міросозерцаніе Толстого, поскольку опредѣлилось оно къ шестидеся-

тымъ годамъ; его личность; идеи «Войны и мира»; исторію работы надъ романомъ; его источники; философію исторіи, развитую на его страницахъ.

Это изученіе приводитъ къ неизбѣжному выводу: идеи «Войны и мира» во многомъ находятся въ противорѣчій съ позднѣйшими взглядами Толстого, и если бы великій писатель подошелъ черезъ 20—30 лѣтъ послѣ окончанія романа къ описанію тѣхъ же событій, онъ взглянулъ бы на нихъ совсѣмъ иначе.

Въ послѣднія тридцать лѣтъ своей жизни Левъ Николаевичъ хотѣлъ смотрѣть на вещи глазами «простого рабочаго народа». А съ этой точки зрѣнія отечественная война получаетъ освѣщеніе, совершенно несходное съ официальными на нее воззрѣніями. Такимъ образомъ передъ нами всталъ вопросъ о выясненіи истиннаго значенія войны 1812 года для русскаго общества. Въ этой области накоплено значительное количество матеріаловъ, которые не были извѣстны Толстому. Намъ казалось желательнымъ, по возможности, использовать ихъ въ видѣ второй части комментарія къ «Войнѣ и миру». Мы пытались выяснитъ истинный обликъ Александра и Наполеона и характеръ тѣхъ интересовъ, представителями которыхъ являлись оба императора въ войнѣ 1812 года. Намъ хотѣлось возстановить, на основаніи историческихъ матеріаловъ, картину бѣдствій, которыми сопровождалось нашествіе Наполеона. Мы пытались далѣе показать, какъ отразилась война 1812 года на экономической и духовной жизни русскаго народа. Выводы наши печальны. Побѣды Александра I принесли русскому обществу сорокъ лѣтъ жесточайшей реакціи, а русскому народу — разореніе, закрѣпленіе узъ рабства и военныя поселенія.

Добросовѣстное изученіе событій начала девятнадцатаго столѣтія *съ точки зрѣнія народныхъ интересовъ* углубляетъ и обостряетъ отрицательное отношеніе къ войнѣ. А между тѣмъ сто лѣтъ назадъ она была игрушкой сравнительно съ тѣмъ, что несетъ съ собою война современная.

Глубже и глубже изслѣдуя проблему войны, Толстой постепенно подошелъ къ рѣшительному протесту противъ нея — во имя христіанской, гуманитарной и народной правды.

Ростъ сознательнаго отношенія къ войнѣ сыгралъ громадную роль въ выработкѣ общаго міросозерцанія великаго писателя.



Для насъ этотъ духовный процессъ представляетъ особую важность, и мы посвятили ему заключительную статью сборника, дополняющую воззрѣнія на войну Толстого шестидесятыхъ годовъ. Въ статьѣ этой идеи Толстого сопоставлены съ новѣйшими теченіями пацифизма и антимилитаризма.

---

Внимательный читатель замѣтитъ въ сборникѣ нѣкоторыя повторенія и даже, быть-можетъ, мелкія противорѣчія. Редакторы книги не пытались устранять ихъ, предоставивъ каждому автору подойти къ «Войнѣ и миру» самостоятельно и освѣтить знаменитый романъ и событія 1812 года со своей особой точки зрѣнія.

*Викторъ Обнинскій.*

*Тихонъ Полнеръ.*

## СПИСОКЪ РИСУНКОВЪ:

1. Л. Н. Толстой въ 1873 г. (съ портрета Крамского).
2. Два гренадера (съ картины Коссака).
3. Александръ I (съ портрета Швердгембурга).
4. Наполеонъ (съ портрета Делароша).
5. Отъѣздъ Наполеона изъ Россіи (съ барельефа Гюйона).
6. Привалъ великой арміи (съ картины Верещагина).

*Примѣчаніе.* Передъ каждой статьей читатель найдетъ виньетку знаменитаго французскаго рисовальщика Жана Батиста Изабей (1767—1855). Виньетки взяты изъ коронаціоннаго альбома Наполеона. Мотивъ обложки заимствованъ изъ одного парижскаго изданія начала прошлаго вѣка (1802 г.).



## А В Т О Р Ъ.

Вдумчиво и упрямо склоненная голова. Длинные пряди слегка волнистых волос тронуты небрежно брошенным боковым пробором; темная борода лопатой спускается на мягкие воротнички рабочей блузы; огромный лоб изоброжден глубокими впадинами; из-под густых нависших бровей смотрят свѣтлые глаза умнымъ, пронизывающимъ, непреклоннымъ, почти злымъ взглядомъ; и только крупные губы подъ щетинистыми усами готовы, кажется, усмѣхнуться и придать этому почти злобѣщему лицу — совсѣмъ иное, «домашнее», мягкое, быть-можетъ, даже шаловливое выраженіе.

Таковъ Толстой въ изображеніи Крамского. Портретъ удался. Во время работы (въ 1873 году) гр. Софья Андреевна писала сестрѣ: «портретъ замѣчательно похожъ, смотрѣть страшно даже»<sup>1)</sup>.

Но что общаго между этимъ суровымъ обликомъ и знакомыми намъ чертами быстрого старичка, съ глазами, готовыми каждую минуту наполниться слезами умиленія, того «милаго дѣдушки», одно появленіе котораго вселяло миръ и радость въ сердца стекавшихся къ нему со всѣхъ концовъ свѣта паломниковъ?

Измѣнилась до неузнаваемости внѣшность. Но, быть-можетъ, еще больше измѣнились взгляды, убѣжденія, вѣрованія. И мѣнялись они не разъ.

Толстой писалъ почти шестьдесятъ лѣтъ (1852—1910) и все это время жилъ исключительно интенсивной духовной жизнью. Онъ полагалъ, что писатель вообще дорогъ и нуженъ только въ той мѣрѣ, въ какой онъ открываетъ намъ внут-

<sup>1)</sup> П. Бирюковъ. Л. Н. Толстой, т. II, стран. 248.

ренную работу своей души<sup>1)</sup>. Если принять, къ тому же, во вниманіе рѣдкую искренность Толстого, можно съ увѣренностью утверждать, что въ произведеніяхъ его (какъ художественныхъ, такъ и публицистическихъ) всегда *должны были* отражаться наиболѣе сильныя переживанія автора. И въ самомъ дѣлѣ: для каждой зоны душевнаго развитія Толстого можно намѣтить въ его беллетристическихъ созданіяхъ особое міросозерцаніе, которое вполне соотвѣтствуетъ душевной жизни автора въ данную эпоху — его письмамъ, дневникамъ, статьямъ, разговорамъ. Художественный талантъ лишь участвуетъ въ общей работѣ и своими специфическими средствами помогаетъ Толстому довести до осязательной ясности волнующія его въ данное время мысли и чувства.

Какъ призрачны, поэтому, новѣйшія попытки навязать Толстому-художнику одно опредѣленное (хотя и полусознательное) міросозерцаніе для всей его долгой писательской дѣятельности! Попытки эти, обычно, развиваютъ на разные лады одну и ту же антитезу: Толстой-художникъ противопоставляется Толстому-проповѣднику.

*Художникъ* безподобенъ и непогрѣшимъ: рукою его твердо водить богъ поэзіи, открывая ему глубочайшіе изгибы души человѣческой и недоступныя разуму тайны бытія. Онъ «ясновидецъ плоти», пѣвецъ бьющихъ черезъ край жизненныхъ силъ («живой жизни»), счастливый язычникъ, радостно созерцающій міръ и умѣющій возвести въ перль созданія самую грязь жизни.

*Проповѣдникъ* — тяжелъ, противорѣчивъ, неясенъ: достигнувъ верха человѣческаго благосостоянія, все взявъ отъ жизни и всѣмъ пресытившись, онъ кается, устремляетъ взоры въ небо и, во имя открытыхъ ему божескихъ истинъ, требуетъ отъ людей невозможнаго — отреченія ото всего, въ чемъ привыкли они видѣть свое благополучіе.

Чтобы провести эту антитезу, недостаточно отвергнуть философскія, религіозныя и публицистическія статьи Толстого; приходится сортировать и беллетристику: все, что не подходитъ къ воззрѣніямъ критика, — явно нехудожественно, внушено демономъ проповѣднической гордыни; остальное, напротивъ, полно жизненной правды, художественно, внушено «богомъ поэзіи»...

При менѣе пристрастномъ отношеніи, противоположеніе превосходнаго художника и туманнаго проповѣдника — падаетъ. Передъ нами встаетъ психологическая индивидуальность Толстого, который, несмотря на огромный художественный талантъ, во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, всегда былъ *проповѣдникомъ*, писателемъ идейнымъ, даже тенденціознымъ по преимуществу.

Но въ разные періоды жизни онъ проповѣдывалъ разное.

<sup>1)</sup> Вотъ все это мѣсто, относящееся къ 1893 г.: «Писатель вѣдь дорогъ и нуженъ намъ только въ той мѣрѣ, въ которой онъ открываетъ намъ внутреннюю работу своей души, само собой разумѣется, если работа эта новая, а не сдѣланная прежде. Что бы онъ ни писалъ: драму, ученое сочиненіе, повѣсть, философскій трактатъ, лирическое стихотвореніе, критику, сатиру, — намъ дорога въ произведеніи писателя только эта внутренняя работа его души, а не та архитектурная постройка, въ которую онъ большею частью, да я думаю и всегда, уродуя ихъ, укладываетъ свои мысли и чувства» (Сочин., изд. 12, т. XVII, стран. 50—51). Всѣ ссылки на тексты Толстого дѣлаются въ этой статьѣ по двѣнадцатому изданію собранія его сочиненій (Москва. 1911 г., томы I—XX).



Толстой самъ всецѣсно озабоченъ проповѣдью и не цѣнить, не понимаетъ чужихъ произведеній, лишенныхъ этого элемента. Съ другой стороны, никакія художественныя красоты неспособны прельстить его, если онъ несогласенъ со взглядами автора<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Извѣстно отношеніе его къ Шекспиру: «Помню то удивленіе, пишетъ онъ въ 1900 г., которое я испыталъ при первомъ чтеніи Шекспира. Я ожидалъ получить большое эстетическое наслажденіе, но, прочтя одно за другимъ считающіяся лучшими его произведенія: «Короля Лира», «Ромео и Юлію», «Гамлета» и «Макбета», я не только не испыталъ наслажденія, но почувствовалъ неотразимое отвращеніе, скуку и недоумѣніе о томъ, я ли безуменъ, находя ничтожными и прямо дурными произведенія, которыя считаются верховъ совершенства всѣмъ образованнымъ міромъ, или безуменъ то значеніе, которое приписывается этимъ образованнымъ міромъ произведеніямъ Шекспира». Въ теченіе 50 лѣтъ онъ старается понять Шекспира, возвращается къ нему, читаетъ его поанглійски, порусски и понѣмецки, изучаетъ, просматриваетъ комментаторовъ и приходитъ къ окончательному убѣжденію, что «Шекспиръ не можетъ быть признаваемъ не только великимъ, геніальнымъ, но даже самымъ посредственнымъ сочинителемъ». (Сочин., т. XVII, стран. 379—381.)

О Гёте у него есть такое любопытное замѣчаніе: рассказывая про письменныя работы Семки и Оедьки, одиннадцатилѣтнихъ учениковъ яснополянской школы, онъ пишетъ (въ 1862 году): «Мнѣ казалось очень страннымъ, что крестьянскій, полуграмотный мальчикъ вдругъ проявляетъ такую сознательную силу художника, какой на всей своей необъятной высотѣ развитія не можетъ достигъ Гёте». (Сочин., т. IV, стран. 182.)

Въ редакціи «Современника» очень увлекались Ж. Зандомъ. Однажды на обѣдѣ сотрудниковъ въ 1856 году Толстой, услышавъ похвалу ея новому роману, не смотря на предупрежденія Григоровича, рѣзко объявилъ себя ея ненавистникомъ, прибавивъ, что героиня ея романовъ, если бы онъ существовали въ дѣйствительности, слѣдовало бы, ради назиданія, привязывать къ позорной колесницѣ и возить по петербургскимъ улицамъ». (Литерат. воспоминанія Григоровича; цитирую по г. Бирюкову: Л. Н. Толстой, т. I, стран. 274.)

А вотъ отзывъ о *Тургеневѣ* и *Островскомъ*, относящійся къ 1860 году:

«Прочелъ я *Наканунъ*. Вотъ мое мнѣніе: писать повѣсти вообще напрасно, а еще болѣе такимъ людямъ, которымъ грустно и которые не знаютъ хорошенько, чего они хотятъ отъ жизни. Впрочемъ, «*Наканунъ*» много лучше «*Дворянскаго гнѣзда*» и есть въ немъ отрицательныя лица превосходныя, художникъ и отецъ. Другіе же не только не типы, но даже замыселъ ихъ, положеніе ихъ не типическое, или ужъ они совсѣмъ пошлы. Впрочемъ, это всегдашняя ошибка Тургенева. Дѣвица изъ рукъ вонъ плоха: *Ахъ, какъ я тебя люблю... у нея рѣсницы были длинныя*. Вообще меня всегда удивляетъ въ Тургеневѣ, какъ онъ со своимъ умомъ и поэтическимъ чутьемъ не умѣетъ удержаться отъ банальности даже до пріемовъ. Больше всего этой банальности въ отрицательныхъ пріемахъ, напоминающихъ Гоголя. Нѣтъ человѣчности и участія къ лицамъ, а представляются уроды, которыхъ авторъ бранить, а не жалѣть. Это какъ-то больно жюрируетъ съ тономъ и смысломъ либерализма всего остального. Это хорошо было при царѣ Горохѣ и при Гоголѣ (да еще надо сказать, что ежели не жалѣть своихъ самыхъ ничтожныхъ лицъ, надо ихъ ужъ ругать такъ, чтобы небу жарко было, или смѣяться надъ ними такъ, чтобы животики подвело), а не такъ, какъ одержимый хандрой и диспелсіей Тургеневъ. Вообще же сказать, никому не написать теперь такой повѣсти, не смотря на то, что успѣха она имѣть не будетъ. «Гроза» Островскаго есть помоему плачевное сочиненіе, а будетъ имѣть успѣхъ. Не Островскій и не Тургеневъ виноваты, а время; теперь долго не родится тотъ человѣкъ, который сдѣлалъ бы въ поэтическомъ мірѣ то, что сдѣлалъ Булгаринъ...» (Фетъ, «Мои воспоминанія», т. I, стран. 317.)

Почему же «Гроза» Островскаго (котораго, вообще говоря, очень любилъ Левъ Николаевичъ), — «плачевное сочиненіе»? Отвѣтъ на это находимъ въ «Воспоминаніяхъ» г. Лазурскаго: «Хваленой *Грозы*, говорилъ Толстой въ 1894 г., я не понимаю. Зачѣмъ было измѣнять женѣ и почему ей надо сочувствовать, тоже не понимаю»... (стран. 33).

При такихъ условіяхъ личность автора, его вкусы, взгляды, направленіе — получаютъ большую важность и должны быть тщательно изучены и взвѣшены, если мы хотимъ понять, какъ слѣдуетъ, его произведенія.

Передъ нами «Война и миръ» — самое крупное и, быть-можетъ, самое геніальное созданіе Толстого.

Кто же авторъ этой удивительной поэмы въ прозѣ? Каковы взгляды, привычки, вкусы, темпераментъ того чуждаго намъ, суроваго на видъ человѣка, котораго съ обычнымъ мастерствомъ изобразилъ Крамской? Словомъ, что представлялъ изъ себя Л. Н. Толстой до семидесятихъ годовъ прошлаго вѣка?

Первыя воспоминанія Толстого относятся къ необыкновенно раннему возрасту: спеленутый онъ лежитъ въ полутѣмѣ и надсажается отъ громкаго крика; ему хочется во что бы то ни стало выбиться изъ пеленокъ; надъ нимъ тревожно склонились кто-то двое; онъ сочувствуютъ, но не развязываютъ его. «Имъ кажется, что это нужно (т.-е. чтобы я былъ связанъ), тогда какъ я знаю, что это ненужно, и хочу доказать имъ это, и я заливаюсь крикомъ, противнымъ для самого себя, но неудержимымъ...» «Мнѣ хочется свободы, она никому не мѣшаетъ, и я, кому сила нужна, я слабъ, а они сильны»<sup>1)</sup>).

Спеленутый философъ «знаетъ» лучше двухъ любящихъ взрослыхъ, что пеленать «не нужно», и всѣми зависящими отъ него средствами протестуетъ противъ насилія, несправедливости и жестокости судьбы.

Лѣтъ семи или восьми отроду, страстно желая полетать въ воздухѣ, онъ рѣшилъ, что это «вполнѣ возможно, если сѣсть на корточки и обнять руками свои колѣни, при этомъ, чѣмъ сильнѣе сжимать колѣни, тѣмъ выше можно полетѣть»<sup>2)</sup>).

Зная это въ теоріи, онъ экспериментировалъ. Во время обѣда онъ остается одинъ въ комнатѣ и бросается изъ второго этажа мезонина, съ высоты нѣсколькихъ саженъ. На глазахъ у горничной онъ шлепается безъ чувствъ на землю и, конечно, приводитъ въ ужасъ весь домъ. Къ счастью, дѣло ограничивается лишь легкимъ сотрясеніемъ мозга: безсознательное состояніе переходитъ въ сонъ, мальчикъ спитъ подрядъ 18 часовъ и просыпается совсѣмъ здоровымъ<sup>3)</sup>).

Всѣ его братья учатся на математическомъ факультетѣ<sup>4)</sup>. Л. Н. рѣшаетъ идти на *восточный* и дѣлаетъ отчаянныя усилія, чтобы преодолѣть исключительныя трудности арабскаго и турецко-татарскаго языковъ. На вступительномъ экзаменѣ онъ получаетъ по нимъ пятерки, но единицы по исторіи и географіи. Послѣ переекзаменовки онъ попадаетъ-таки на восточный факультетъ, остается на второй годъ на первомъ курсѣ, переходитъ на юридическій и, наконецъ, въ концѣ второго года пребыванія въ университетѣ, «въ первый разъ» начинаетъ заниматься

---

Позднѣйшіе взгляды его на содержаніе произведеній «истиннаго» искусства — общеизвѣстны (См. т. XVII, стр. 167 «Что такое искусство» — статья 1897 года, надъ которой авторъ, по его собственному заявленію, работалъ 15 лѣтъ).

<sup>1)</sup> Сочин. гр. Л. Н. Толстого т. XII, стр. 5—6.

<sup>2)</sup> Бирюковъ. Біографія Л. Н. Толстого, т. I, стр. 117.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 115; рассказъ гр. М. Н. Толстой.

<sup>4)</sup> Тогда онъ назывался «вторымъ отдѣленіемъ философскаго».

серіозно и находить въ этомъ даже нѣкоторое удовольствіе<sup>1)</sup>. Онъ увлекается сопоставленіемъ «*Esprit des lois*» Монтескьё съ «Наказомъ» Екатерины. Эта работа рѣшаетъ, однако, участь университетскаго образованія Толстого: она «открыла мнѣ», пишетъ онъ, «новую область умственнаго самостоятельнаго труда, а университетъ со своими требованіями не только не содѣйствовалъ такой работѣ, но мѣшалъ ей». Его «мало интересовало, что читали учителя въ Казани». Разъ, на второмъ курсѣ, онъ попадаетъ въ карцеръ и всю ночь не даетъ спать товарищу по заключенію, высмѣивая «храмъ науки» и профессоровъ.

Девятнадцати лѣтъ отроду Толстой бросаетъ университетъ навсегда (со второго курса) и уѣзжаетъ въ деревню руководить благосостояніемъ и нравственностью своихъ крестьянъ, ибо «знаетъ» теперь, что священная и прямая его обязанность состоитъ въ томъ, чтобы заботиться о счастьи семисотъ человѣкъ, за которыхъ онъ долженъ будетъ отвѣчать Богу<sup>2)</sup>.

Позднѣе это упорное желаніе идти своими собственными путями крѣпнеть: авторитеты легко устраниются съ пути; ему нужно до всего дойти самому, и чѣмъ больше мечется его безпокойный умъ, не находя пристанища, тѣмъ рѣшительнѣе и непримиримѣе становится онъ въ оппозицію всему общепринятому.

Быстрый литературный успѣхъ окрыляетъ гордость, льститъ тщеславію, и эта мятущаяся душа замыкается для постороннихъ въ броню категорическихъ сужденій, вѣчныхъ подозрѣній въ неискренности, полемическаго задора, чуть не бреттерства...

Таковъ Толстой въ Петербургѣ въ 1856 году въ кругу либеральныхъ литераторовъ «Современника».

«Съ первой минуты я замѣтилъ въ молодомъ Толстомъ», пишетъ Фетъ, «невольную оппозицію всему общепринятому въ области сужденій»<sup>3)</sup>.

О «склонности къ противорѣчію» говоритъ и Григоровичъ. «Какое бы мнѣніе ни высказывалось и чѣмъ авторитетнѣе казался ему собесѣдникъ, тѣмъ настойчивѣе подзадоривало его высказать противоположное и начать рѣзаться на словахъ. Глядя, какъ онъ прислушивался, какъ всматривался въ собесѣдника изъ глубины сѣрыхъ, глубоко запятанныхъ глазъ, и какъ иронически сжимались его губы, можно было подумать, что онъ какъ бы заранѣе обдумывалъ не прямой отвѣтъ, но такое мнѣніе, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собесѣдника. Такимъ представлялся мнѣ Толстой въ молодости. Въ спорахъ онъ доходилъ иногда до крайностей...»<sup>4)</sup>.

«У Толстого, — по словамъ Тургенева, — рано сказалась черта, которая затѣмъ легла въ основаніе всего его довольно мрачнаго міросозерцанія, мучительнаго прежде всего для него самого. Онъ никогда не вѣрилъ въ искренность людей. Всякое душевное движеніе казалось ему фальшью, и онъ имѣлъ привычку необыкновенно пронизательнымъ взглядомъ своихъ глазъ насквозь пронизывать человѣка, когда ему казалось, что тотъ фальшивить»<sup>5)</sup>...

<sup>1)</sup> Подлинныя слова Толстого (см. Бирюковъ, ц. с., т. I, стран. 125).

<sup>2)</sup> См. Соч., ч. II, стран. 6 («Утро помѣщика»).

<sup>3)</sup> Фетъ, Мои воспоминанія, М. 1890, I, 106.

<sup>4)</sup> Григоровичъ, Полн. собр. сочин., т. XII, стран. 326.

<sup>5)</sup> Евг. Гаршинъ. Воспоминанія объ И. С. Тургеневѣ, (Бирюк., I; стран. 276).



Въ большомъ и въ маленькомъ, въ бѣгломъ разговорѣ и общественной дѣятельности, на охотѣ и въ литературныхъ произведеніяхъ — Толстой прежде всего не признавалъ никакихъ авторитетовъ, шелъ своей дорогой, знать не хотѣлъ общепринятыхъ мнѣній окружающихъ.

Вотъ онъ зимой 1858 года охотится на медвѣдя. Разставляя по лѣсу охотниковъ въ шахматномъ порядкѣ, имъ предлагаютъ отоптать вокругъ себя снѣгъ, чтобы оставить возможную свободу движеній. Всѣ это дѣлаютъ. Левъ Николаевичъ протестуетъ: «вздоръ! въ медвѣдя надо стрѣлять, а не ратоборствовать съ нимъ...» и онъ упрямо становится по поясъ въ снѣгъ, прислоняя запасное ружье къ сосѣдному дереву. Неожиданно передъ нимъ появляется громадная медвѣдица... онъ стрѣляетъ разъ, промахивается, стрѣляетъ второй разъ въ упоръ въ пасть, но пуля застрѣваетъ въ зубахъ, и звѣрь наваливается на него... отскочить въ сторону изъ нерасчищенного снѣга нѣтъ возможности, медвѣдь топчетъ и грызетъ его, и только счастливая случайность спасаетъ ему жизнь.

Эпоха великихъ реформъ и возбужденіе общества, ее сопровождавшее, повидимому, проходятъ мимо Льва Николаевича. Онъ, правда, высказывается за освобожденіе крестьянъ съ землею при «полномъ, добросовѣстномъ, денежномъ вознагражденіи помѣщиковъ»<sup>1)</sup>. Но это и все, на что онъ идетъ добровольно. До освобожденія, года за четыре или за три, онъ отпускаетъ крестьянъ на оброкъ. При освобожденіи выдѣляетъ имъ лишь то, что полагалось по закону, и «вообще не проявляетъ никакихъ безкорыстныхъ чувствъ на дѣлѣ»<sup>2)</sup>. Къ остальнымъ реформамъ онъ относится хуже чѣмъ равнодушно. Ими заняты всѣ. А онъ увлекается своимъ собственнымъ, особымъ дѣломъ — народными школами. Его мучаютъ вопросы: какъ и чему учить? Онъ «едва ли не первый» привозитъ изъ-за границы звуковой методъ и испытываетъ его. Но когда методъ этотъ начинаетъ прививаться въ Россіи, Толстой находитъ его «противнымъ духу русскаго языка и привычкамъ народа» и придумываетъ свой собственный методъ обученія грамотѣ, развитый имъ въ послѣдствіи въ знаменитой «Азбукѣ».

Долго мучаясь вопросомъ — чему учить въ деревенской школѣ, онъ приходитъ къ критикѣ идеи прогресса и цивилизаціи. Онъ говоритъ себѣ, что «прогрессъ въ нѣкоторыхъ явленіяхъ своихъ совершался неправильно, и что вотъ надо отнестись къ первобытнымъ людямъ, крестьянскимъ дѣтямъ, совершенно свободно, предлагая имъ тотъ путь прогресса, который они захотятъ»<sup>3)</sup>.

Такъ возникаетъ надѣлавшая столько шума свободная крестьянская школа.

<sup>1)</sup> Подпись Л. Н. находится подъ бумагой, поданной въ 1858 г. Тульскому губернатору 105-ю дворянами. Бумага гласитъ: «Мы, нижеподписавшіеся, въ видахъ улучшенія быта крестьянъ, обезпеченія собственности помѣщиковъ и безопасности тѣхъ и другихъ, полагаемъ необходимымъ отпустить крестьянъ на волю не иначе, какъ съ надѣломъ нѣкотораго количества земли въ потомственное владѣніе, — и чтобы помѣщики за уступаемую ими землю получили бы полное, добросовѣстное, денежное вознагражденіе, посредствомъ какой-либо финансовой мѣры, которая не влекла бы за собою никакихъ обязательныхъ отношеній между крестьянами и помѣщиками, — отношеній, которыя дворянство предполагаетъ необходимымъ прекратить».

Бирюковъ ц. с., I, 341).

<sup>2)</sup> Собственные замѣчанія Льва Николаевича (тамъ же, стран. 408).

<sup>3)</sup> Соч., XIII, 14—15 («Исповѣдь»).



Въ девятисотыхъ годахъ, уже семидесятилѣтнимъ старикомъ, Л. Н. пишетъ: «Что касается до моего отношенія тогда (въ шестидесятыхъ годахъ) къ возбужденному состоянію всего общества, то долженъ сказать (и это моя хорошая или дурная черта, но всегда мнѣ бывшая свойственной), что я всегда противился невольно вліяніямъ извнѣ, эпидемическимъ, и что если тогда я былъ возбужденъ и радостенъ, то своими особенными, личными, внутренними мотивами, тѣми, которые привели меня къ школѣ и общенію съ народомъ. Вообще я теперь узнаю въ себѣ то же чувство отпора противъ всеобщаго увлеченія, которое было и тогда, но проявлялось въ легкихъ формахъ»<sup>1)</sup>.

Такова одна, основная черта этой сложной натуры: вѣра въ себя, — противленіе общепринятому, дерзновеніе, самостоятельность, *аристократизмъ* мысли.

Другую чертою надо считать нѣкоторую приверженность Толстого къ аристократизму внѣшнему.

Какова бы ни была древность рода Толстыхъ<sup>2)</sup>, Левъ Николаевичъ, по женской линіи, связанъ родствомъ съ древнѣйшими русскими фамиліями: мать его, — рожденная княжна Марія Николаевна Волконская, бабка по отцу — княжна Пелагея Николаевна Горчакова, бабка по матери — княжна Екатерина Дмитриевна Трубецкая.

Состояніе матери Льва Николаевича не было очень велико, но достаточно, чтобы дать всѣмъ пятерымъ дѣтямъ воспитаніе, удовлетворительное по понятіямъ круга, къ которому Толстые принадлежали. Болѣе или менѣе отдаленные родственники Льва Николаевича (Толстые, Горчаковы, Волконскіе) занимали видные посты на государственной службѣ и были близки ко двору.

Левъ Николаевичъ выросъ между уваженіемъ къ старшему брату Николаю и восхищеніемъ передъ Сергѣемъ. Первый былъ простой, умный, слегка насмѣшливый и очень добрый человѣкъ; прекрасный рассказчикъ, онъ увлекалъ дѣтей въ область фантастическихъ вымысловъ, въ которыхъ фигурировали «любовно жмушіеся другъ къ другу муравейные братья» и знаменитая «зеленая палочка», на которой написана «главная тайна о томъ, какъ сдѣлать, чтобы всѣ люди не знали никакихъ несчастій, никогда не ссорились и не сердились, и были бы постоянно счастливы». Другой братъ, Сергѣй — предметъ восторженнаго поклоненія и подражанія для Льва Николаевича въ его молодые годы — былъ красивъ, веселъ, породистъ, гордъ и весь переполненъ наивнымъ, непосредственнымъ эгоизмомъ.

Принято тщательно выписывать главу XXXI «Юности», чтобы показать, какъ рано (еще въ 1855—57 гг.) Левъ Николаевичъ сознавалъ весь вредъ привитыхъ ему воспитаніемъ аристократическихъ замашекъ, всю дикость того понятія «comme il faut», которое заставляло его дѣлить родъ людской на двѣ части:

<sup>1)</sup> Бирюковъ, цит. соч., I, 397—398. Нерасположеніе къ реформамъ, какъ увидимъ, шло дальше противленія эпидемическимъ увлеченіямъ.

<sup>2)</sup> «Родословцы» ведутъ родъ Толстыхъ отъ «мужа честна Индриса», выѣхавшаго въ 1353 г. «изъ нѣмцы» съ дружиною въ Черниговъ. Графскій титулъ Толстые имѣютъ съ 1724 года.

бѣлую и черную кость. Людей «comme il faut» Николенька Иртеневъ уважалъ и считалъ достойными имѣть съ нимъ равныя отношенія; остальныхъ притворялся, что презираетъ, но, въ сущности, ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; народъ же для него не существовалъ вовсе, его онъ «презиралъ совершенно». «Сomme il faut» состояло: въ отличномъ французскомъ языкѣ — особенно выговорѣ; въ длинныхъ отчищенныхъ и чистыхъ ногтяхъ; въ умѣннѣ кланяться, танцовать и разговаривать и — главное — въ равнодушіи ко всему на свѣтѣ, въ постоянномъ выраженіи изящной, презрительной скуки<sup>1)</sup>

Дѣйствительно, Толстой пишетъ въ «Юности»: я «чувствую теперь необходимость посвятить цѣлую главу этому понятію («comme il faut»), которое въ моей жизни было однимъ изъ самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ мнѣ воспитаніемъ и обществомъ».

Едва ли, однако, къ замѣчанію этому можно относиться серіозно. Это лишь робкая уступка начинающаго писателя понятіямъ среды, въ которую онъ несъ свой рассказъ. Въ лучшемъ случаѣ — лишь холодное, головное разсужденіе. Его *вкусы*, душевныя склонности, его «умъ сердца» и въ пятидесятихъ годахъ были чужды какого бы то ни было демократизма и всецѣло на сторонѣ тѣхъ аристократическихъ замашекъ, которыми онъ восхищался въ братѣ Сергѣѣ. Есть прямое свидѣтельство этого, оставленное самимъ Львомъ Николаевичемъ. «Для того, чтобы не повторяться въ описаніи дѣтства, я перечелъ мое писаніе подъ этимъ заглавіемъ и пожалѣлъ о томъ, что написалъ это: такъ нехорошо, литературно неискренно написано... Въ особенности же не понравились мнѣ теперь послѣднія двѣ части: отрочество и юность, въ которыхъ, кромѣ нескладнаго смѣшенія правды съ выдумкой, *есть и неискренность, желаніе выставить какъ хорошее и важное то, что я не считалъ тогда хорошимъ и важнымъ — мое демократическое направленіе*»<sup>2)</sup>.

Онъ стремился во всемъ подражать брату Сергѣю: выбиралъ себѣ кругъ аристократическихъ товарищей, смѣялся надъ серіозными «исканіями» брата Дмитрія и напрягалъ всѣ усилія, чтобы стать, воистину, «comme il faut». Для него это оказалось страшно труднымъ. Онъ былъ некрасивъ (чѣмъ мучился) и самолюбиво-застѣнчивъ. «Казанскіе»<sup>3)</sup> старожилы помнятъ его на всѣхъ балахъ, вечерахъ и великосвѣтскихъ собраніяхъ, всюду приглашаемымъ, всегда танцующимъ, но далеко не свѣтскимъ дамскимъ угодникомъ, какими были другіе его сверстники «студенты-аристократы»; въ немъ всегда наблюдали какую-то странную угловатость, застѣнчивость...»<sup>4)</sup>

«Мое одно спасеніе», говоритъ Николенька Иртеневъ въ «Юности», «была аффектація небрежности».

Во время путешествія на Кавказъ (1851 г.) братъ Николай шутиливо жалуется на него за то, что онъ 12 разъ въ день мѣняетъ бѣлье.

<sup>1)</sup> Соч. I, 356—360.

<sup>2)</sup> Соч. XII, 16 (курсивъ мой).

<sup>3)</sup> Толстой учился въ Казанскомъ университетѣ.

<sup>4)</sup> Бирюковъ, ц. с., I, 124.

Вотъ сценка, рисующая обоихъ братьевъ. Она рассказана самимъ Львомъ Николаевичемъ. Въ 1851 году, проѣздомъ на Кавказъ, братья завернули въ Казань. Идутъ какъ-то пѣшкомъ по городу. Мимо нихъ ѣдетъ господинъ на долгушѣ, опершись руками *безъ перчатокъ* на палку. «Какъ видно, что какая-то дрянъ этотъ господинъ! произносить Левъ Николаевичъ.—Отчего? спрашиваетъ старшій братъ.—А безъ перчатокъ.—Такъ отчего же дрянъ, если безъ перчатокъ?»...

Изъ-подъ Силистріи, въ 1854 году онъ пишетъ теткѣ: «Что еще пріятно, это то, что его (ген. Сержпутовскаго) штабъ состоитъ большею частью изъ людей *comme il faut*»...

Такихъ фактовъ — маленькихъ и крупныхъ — можно подобрать много.

«Онъ былъ завзятый аристократъ», пишетъ братъ гр. С. А. въ своихъ воспоминаніяхъ, «и хотя всегда любилъ простой народъ, еще болѣе любилъ аристократію. Середина между этими двумя сословіями была ему несимпатична. Когда послѣ неудачъ въ молодости, онъ приобрѣлъ громкую славу писателя, онъ высказывалъ, что эта слава—величайшая радость и большое счастье для него. По его собственнымъ словамъ, въ немъ было пріятное сознаніе того, что онъ писатель и аристократъ»<sup>1)</sup>).

Замѣчанія эти весьма правдоподобны, если ихъ отнести къ пятидесятымъ, шестидесятымъ и началу семидесятыхъ годовъ.

Но и здѣсь Толстой оригиналенъ: съ аристократами онъ прежде всего писатель, иной разъ даже съ отгѣнкомъ богемы; съ писателями — аристократъ.

Княгиня Дундукова-Корсакова устраиваетъ вечеръ на своей виллѣ въ Гіерѣ. Собралось мѣстное высшее общество. Главнымъ «сlou» вечера долженъ быть уже тогда (въ 1860 г.) извѣстный писатель Л. Н. Толстой. Но его нѣтъ и нѣтъ. Хозяйка напрягаетъ послѣднія усилія развлечь гостей... разряженное и скучающее общество — въ уныніи... Наконецъ, докладываютъ о гр. Толстомъ. Онъ входитъ въ салонъ въ запыленномъ отъ дальней дороги костюмѣ и деревянныхъ башмакахъ (сабо). Всѣ въ недоумѣніи. Но Толстой увѣряетъ всѣхъ, что сабо — самая удобная, самая лучшая обувь, и убѣждаетъ всѣхъ, просить настойчиво обзавестись ею. Затѣмъ онъ садится за рояль, играетъ, организуетъ пѣніе, аккомпанируетъ и оживляетъ заснувшее отъ аристократической скуки общество<sup>2)</sup>...

Во Франкфуртѣ у гр. А. А. Толстой сидятъ въ гостяхъ принцъ Гессенскій съ супругой. Вдругъ отворяется дверь гостиной, и появляется Левъ Николаевичъ въ самомъ странномъ костюмѣ, «напоминающемъ тѣ, въ которыхъ изображаютъ на картинахъ испанскихъ разбойниковъ». Всѣ въ изумленіи. Повертѣвшись, Толстой скрывается.

— Qui est donc ce singulier personnage? недоумѣнно вопрошаютъ высокіе гости.

— Mais c'est Léon Tolstoy.

— Ah, mon Dieu, pourquoi ne l'avez-vous pas nommé? Après avoir lu ses admirables écrits nous mourrions d'envie de le voir<sup>3)</sup>...

<sup>1)</sup> С. А. Берсъ. Воспоминанія о графѣ Л. Н. Толстомъ. Смоленскъ, 1893, стран. 36.

<sup>2)</sup> Разсказъ сестры Л. Н. — графини Марьи Ник. Толстой.

<sup>3)</sup> Воспоминанія гр. А. А. Толстой (Толстовскій музей, т. I, стран. 12).



Такими выходками переполнены его молодые годы.

А вотъ онъ у «страшнаго» Герцена въ Лондонѣ.

Разсказываетъ Наталья Александровна, дочь Герцена.

Маленькой дѣвочкой она прочла первыя творенія Толстого и восторгалась ими. Узнавъ, что придетъ Левъ Николаевичъ, дѣвочка забралась въ кабинетъ и забила въ дальнее кресло. Докладываютъ. И вдругъ... какое разочарованіе! входитъ «франтоватый, по послѣдней англійской модѣ одѣтый человѣкъ, со свѣтскими манерами, дѣлающій видъ, что онъ весь поглощенъ пѣтушиными боями и боксерскими состязаніями... И ни одного живого, душевнаго слова!»<sup>1)</sup>

Таковъ онъ и въ Петербургѣ, среди литераторовъ.

Когда Тургеневъ только что познакомился съ Толстымъ, онъ говорилъ: «Ни одного слова, ни одного движенія въ немъ нѣтъ естественнаго. Онъ вѣчно рисуется передъ нами, и я затрудняюсь, какъ объяснить въ умномъ человѣкѣ эту глупую кичливость своимъ захудалымъ графствомъ»<sup>2)</sup>...

На отношеніяхъ Тургенева и Толстого необходимо остановиться.

Несомнѣнно, Толстой еще въ ранней молодости зналъ и цѣнилъ творчество Тургенева. Въ списокѣ произведеній, имѣвшихъ на него вліяніе въ возрастѣ 14—21 года, значатся «Записки Охотника» съ отмѣткою: «очень большое» (вліяніе). Узнавъ, что Тургеневъ восторженно привѣтствовалъ «Дѣтство», Толстой пишетъ (отъ 6 января 1855 г.): «Николенька пишетъ мнѣ, что Тургеневъ познакомился съ Машенькой, я отъ этого въ восторгѣ; если вы его увидите у нихъ, скажите Варенькѣ, что поручаю ей обнять его отъ меня и сказать ему, что хотя я его знаю только по писаньямъ, у меня многое есть, что ему сказать».

Разсказъ «Рубка лѣса» (1854 г.) появился съ посвященіемъ Тургеневу; послѣдній черезъ Панаева просилъ «очень, очень благодарить автора за память и вниманіе». Приѣхавъ въ Петербургъ въ 1856 году, Толстой остановился на квартирѣ у Тургенева.

Всѣ данныя, казалось, были налицо, чтобы сблизить двухъ наиболѣе выдающихся беллетристовъ «Современника».

Но съ первой же встрѣчи между ними начались недоразумѣнія.

«Тургеневъ», разсказываетъ Фетъ, «вставалъ и пилъ чай (по-петербургски) весьма рано, и въ короткій мой приѣздъ я ежедневно приходилъ къ нему къ десяти часамъ потолковать на просторѣ. На другой день, когда Захаръ отворилъ мнѣ переднюю, я въ углу замѣтилъ полусаблю съ анненской лентой.

— Что это за полусабля? — спросилъ я, направляясь въ дверь гостиной.

— Сюда пожалуйста, — вполголоса сказалъ Захаръ, указывая на лѣво въ коридоръ. — Это полусабля графа Толстого, и они у насъ въ гостиной ночуютъ. А Иванъ Сергѣичъ въ кабинетѣ чай кушаютъ.

«Въ продолженіе часа, проведеннаго мною у Тургенева, мы говорили вполголоса изъ боязни разбудить спящаго за дверью графа.

<sup>1)</sup> Бирюковъ, ц. с. I, стран. 389.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стран. 278 («Воспоминанія» А. Головачевой-Панаевой, 274).



«— Вот все время такъ,—говорилъ съ усмѣшкой Тургеневъ. Вернулся изъ Севастополя съ батареей, остановился у меня и пустился во вся тяжкія. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затѣмъ до двухъ часовъ спать какъ убитый. Старался удерживать его, но теперь махнулъ рукою»<sup>1)</sup>.

Въ этотъ пріѣздъ (въ 1856 г.) Фету только разъ удалось видѣть Толстого у Некрасова; «и, пишетъ онъ, я былъ свидѣтелемъ того отчаянія, до котораго доходилъ кипятящійся и задыхающійся отъ спора Тургеневъ на видимо сдержанныя, но тѣмъ болѣе язвительныя возраженія Толстого.

«— Я не могу признать,—говорилъ Толстой,—чтобы высказанное вами было вашими убѣжденіями. Я стою съ кинжаломъ или саблею въ дверяхъ и говорю: «пока я живъ, никто сюда не войдетъ». Вотъ это убѣжденіе. А вы другъ отъ друга стараетесь скрыть сущность вашихъ мыслей и называете это убѣжденіемъ.

«— Зачѣмъ же вы къ намъ ходите? —задыхаясь и голосомъ, переходящимъ въ тонкій фальцетъ (при горячихъ спорахъ это постоянно бывало), говорилъ Тургеневъ. — Здѣсь не ваше знаніе. Ступайте къ княгинѣ Б-й — Б-й!

«— Зачѣмъ мнѣ спрашивать у васъ, куда мнѣ ходить! и праздные разговоры ни отъ какихъ моихъ приходовъ не превратятся въ убѣжденіе...»<sup>2)</sup>.

«Голубчикъ, голубчикъ, говорилъ Фету—захлебываясь и со слезами смѣха на глазахъ Григоровичъ. — Вы себѣ представить не можете, какія тутъ были сцены. Ахъ, Боже мой! Тургеневъ пищить, пищить, зажметъ рукою горло и съ глазами умирающей газели прошепчетъ: «не могу больше! у меня бронхитъ!» и громадными шагами начинаетъ ходить вдоль трехъ комнатъ. — «Бронхитъ, — ворчитъ Толстой вслѣдъ,—бронхитъ—воображаемая болѣзнь. Бронхитъ—это металлъ!» Конечно, у хозяина — Некрасова душа замираетъ: онъ боится упустить и Тургенева и Толстого, въ которомъ чувствуетъ капитальную опору «Современника», и приходится лавировать. Мы всѣ взволнованы, не знаемъ, что говорить. Толстой въ средней проходной комнатѣ лежитъ на сафьянномъ диванѣ и дуется, а Тургеневъ, раздвинувъ полы своего короткаго пиджака, съ заложенными въ карманы руками, продолжаетъ ходить взадъ и впередъ по всѣмъ тремъ комнатамъ. Въ предупрежденіе катастрофы подхожу къ дивану и говорю: «Голубчикъ Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, какъ онъ васъ цѣнитъ и любитъ!»

— «Я не позволю ему, — говоритъ съ раздувающимися ноздрями Толстой, — ничего дѣлать мнѣ на зло! Это вотъ онъ нарочно теперь ходитъ взадъ и впередъ мимо меня и виляетъ своими демократическими ляшками»<sup>3)</sup>!»

Эти первыя недоразумѣнія росли съ теченіемъ времени и, несмотря на сознательныя усилія обоихъ писателей смягчить и обойти взаимное раздраженіе, чуть не привели къ катастрофѣ: какъ извѣстно, въ маѣ 1861 года Тургеневъ, выдержанный, воспитанный Тургеневъ, выведенный изъ терпѣнія, нанесъ грубое оскорбленіе Толстому; послѣдній потребовалъ удовлетворенія, при чемъ писалъ,

<sup>1)</sup> Фетъ. «Мои воспоминанія», I, 105—106.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стран. 106.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стран. 107.

что не желаетъ стрѣляться «пошлымъ образомъ», то-есть чтобы два литератора пріѣхали съ третьимъ литераторомъ, съ пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанскимъ, а желаетъ стрѣляться по-настоящему, безъ секундантовъ, и звалъ Тургенева выѣхать на опушку лѣса съ заряженными ружьями...

Какъ объяснить эти странные отношенія?

Тургеневъ говорилъ Евгенію Гаршину, что никогда въ жизни не переживалъ ничего тяжелѣе испытующаго взгляда Толстого; въ соединеніи съ двумя-тремя ядовитыми словами этотъ пронизывающій взглядъ способенъ былъ привести въ бѣшенство всякаго человѣка, мало владѣющаго собой.

Тяготясь сосредоточеннымъ на немъ вѣчнымъ испытующимъ недовѣріемъ, Тургеневъ сталъ сторониться, уѣзжалъ въ Москву или къ себѣ въ деревню. Толстой всюду, какъ тѣнь, какъ «влюбленная женщина»<sup>1)</sup>, слѣдовалъ за нимъ.

Тургеневъ выглядѣлъ образованнымъ, изысканнымъ представителемъ западно-европейской культуры. Онъ стоялъ во главѣ тогдашней русской беллетристики. Ни ума, ни таланта его невозможно было отрицать. Породистый баринъ, независимый въ средствахъ, онъ спокойно, съ полнымъ самообладаніемъ работалъ надъ своими литературными созданіями, «увѣренный, что дѣлаетъ дѣло». Въ это время почти полного физическаго здоровья и развитія популярности онъ еще жилъ съ удовольствіемъ. Чуть замѣтный налетъ мистицизма не мѣшалъ общему позитивистическому направленію. «Аннибалова клятва» противъ крѣпостного права мирилась съ плохимъ положеніемъ принадлежавшихъ ему крестьянъ. Демократическія убѣжденія не вызывали спартанскаго образа жизни. Словомъ, это былъ типичный представитель той барской части нашей интеллигенціи, которая выросла въ нѣдрахъ крѣпостного права и не была имъ испорчена въ конецъ: добрый, мягкій, либеральный, благожелательный и слабый.

Вѣра въ воспитательное значеніе политическихъ учрежденій европейскаго образца составляла одну изъ коренныхъ особенностей группы западниковъ, къ которой принадлежалъ Тургеневъ. Ихъ общественное служеніе состояло, главнымъ образомъ, въ подготовкѣ умовъ къ сознательному отрицанію господствовавшихъ въ то время въ Россіи порядковъ и къ воспріятію свободныхъ европейскихъ политическихъ учрежденій. Съ религіей и индивидуальной моралью это политическое міросозерцаніе или вовсе не было связано, или сшивалось лишь кое-какъ, наскоро, бѣлыми нитками. Къ религіи царило скептическое, добродушно-насмѣшливое отношеніе и, часто, полное равнодушіе. Нравственность замѣняли привычки.

Въ это мирное царство, въ 1856 году, ворвался пламенный Толстой, обвѣянный огнемъ севастопольскихъ батарей, съ безконечнымъ числомъ накопившихся «проклятыхъ» вопросовъ, почти съ органическою потребностью уяснить себѣ смыслъ жизни и всего окружающаго. Онъ увидѣлъ передъ собою довольныхъ и спокойныхъ людей, какъ-будто разрѣшившихъ уже всѣ мучившіе его вопросы. На какихъ-нибудь «parvenus», въ родѣ Чернышевскаго или Добролюбова, Толстой не желалъ обращать вниманія. Но Тургеневъ... они были одного круга, одного

<sup>1)</sup> Подлинное выраженіе самого Тургенева.

образованія, почти одного ранга въ литературѣ. Тургеневъ стоялъ впереди беллетристическаго кружка «Современника»: пройти мимо этой крупной фигуры было совершенно невозможно; къ ней же влекли Толстого личные вкусы и симпатіи. Очевидно, именно Тургеневъ долженъ былъ отвѣчать передъ Толстымъ за все литературное поколѣніе, къ которому онъ принадлежалъ. Къ нему именно на квартиру прямо изъ Севастополя является Толстой, останавливается въ ней и начинаетъ свой настойчивый допросъ о правдѣ и Богѣ.

Можно себя представить, какъ нѣсколько аффрапированный и сконфуженный такой неожиданностью «европеецъ» Тургеневъ недоумѣвалъ передъ лицомъ ворвавшагося къ нему варвара-аристократа.

По части политической, въ противность мнѣнію Фета, у Тургенева были, вѣроятно, налицо ясные и опредѣленные отвѣты. Но, съ одной стороны, онъ не могъ «быть вполнѣ искрененъ», потому что именно въ этихъ вопросахъ не могъ быть вполнѣ откровененъ съ мало знакомымъ ему офицеромъ; а съ другой — этими именно вопросами Толстой нисколько не интересовался. Онъ лично, графъ Толстой, владѣлецъ семисотъ душъ, не чувствовалъ почти никакихъ неудобствъ отъ государственнаго строя тогдашней Россіи, и его положеніе отнюдь не измѣнилось бы къ лучшему отъ провозглашенія конституціи или республики: напротивъ, оно могло измѣниться только къ худшему. Къ тому же, онъ не могъ желать владычества тѣхъ людей съ плохо отчищенными ногтями и неудовлетворительнымъ французскимъ произношеніемъ, которыхъ онъ «презиралъ иль ненавидѣлъ».

Были неудобства, конечно: цензура, казнокрадство, взяточничество, формалистика и волокита; на все это уже приходилось наталкиваться юному писателю и офицеру. Принимать во всемъ этомъ активное участіе онъ не согласился бы за всѣ сокровища міра; его дорогою навсегда *должна была* остаться «дорога чести». Но очень негодовать на подобные факты или, тѣмъ болѣе, идти отъ нихъ къ обобщеніямъ, къ требованію реформъ, измѣненія политическаго строя, очевидно, не приходило ему въ голову.

Уже гораздо позже, его Левинъ, на порогѣ полнаго душевнаго обновленія, «говорилъ вмѣстѣ съ Михайлычемъ и народомъ, выразившимъ свою мысль въ преданіи о призваніи варяговъ: «княжите и владѣйте нами. Мы радостно общаемъ полную покорность. Весь трудъ, всѣ униженія, всѣ жертвы мы беремъ на себя, но не мы судимъ и рѣшаемъ<sup>1)</sup>».

Таковы были, повидимому, смутныя политическія воззрѣнія и самого Толстого въ первую половину его сознательной жизни.

Для человѣка съ такимъ политическимъ багажомъ, дѣйствительно, не было мѣста въ компаніи «Современника», и Тургеневъ имѣлъ основаніе посылать Толстого въ салонъ княгини Бѣлосельской-Бѣлозерской. Но, очевидно, пламенный мечтатель и будущій пророкъ, искренній и болѣзненно чуткій ко всякой фальши — не могъ удовольствоваться кресломъ въ реакціонномъ салонѣ: ему предстояла своя собственная, оригинальная дорога, по которой онъ и пошелъ въ послѣдствіи.

<sup>1)</sup> Сочин., X, 473 («Анна Каренина», эпилогъ).



А пока — «двухъ становъ не боецъ, а только гость случайный» — онъ впивался своими проницательными глазами въ окружающую его литературную братію и старался доискаться, откуда идетъ увѣренность, мягкость и спокойствіе, съ которыми братія эта живетъ на свѣтѣ. Ихъ политическія воззрѣнія не находили въ немъ ни малѣйшаго отклика. *Онъ* не чувствовалъ негодованія, которымъ были преисполнены они; *онъ* не испытывалъ страстнаго желанія переменъ; *онъ* не вѣрилъ въ чудодѣйственную воспитательную силу политическихъ учреждений... И *потому* онъ отказывался признать, что такими чувствами можно жить. До другихъ, сколько-нибудь стойкихъ основъ ихъ дѣятельности (моральныхъ, религіозныхъ) онъ не могъ добраться. И вотъ, со свойственной ему стремительностью онъ рѣшилъ, что окружавшіе его люди неискренни и фальшивы, что за самодовольствомъ ихъ и спокойной увѣренностью — одно лишь пустое мѣсто. И чѣмъ увѣреннѣе дѣлали они свое дѣло, тѣмъ ненавистнѣе были ему. Тургеневу, по общему мнѣнію (и по мнѣнію самого Толстого), было особенно много дано, и съ него можно было и много взыскивать. И Тургеневъ сдѣлался жертвой Толстого.

Но были ли у него самого тѣ убѣжденія, которыя стоило защищать «съ кинжаломъ или саблею», приговаривая: «пока я живъ, никто сюда не войдетъ»?

На этотъ вопросъ можно отвѣчать съ полною опредѣленностью: такихъ убѣжденій у Толстого не было.

Въ письмахъ и дневникахъ того времени онъ почти такъ же часто, какъ и впослѣдствіи, говоритъ о «Богѣ» и о «самосовершенствованіи».

Но что вкладываетъ онъ въ эти понятія?

Его Богъ — то всеобъемлющее существо, къ которому онъ чувствуетъ «любовь высокую, соединяющую въ себѣ все хорошее, отрицающую все дурное»... въ сладостной молитвѣ онъ не можетъ просить ничего, а лишь жаждетъ слиться съ этимъ совершенствомъ<sup>1</sup>); тотъ же Богъ внушаетъ ему мысль поѣхать на Кавказъ, и онъ «твердо увѣренъ, что все, что можетъ съ нимъ случиться тамъ, будетъ ему на пользу, потому что самъ Богъ этого хочетъ»<sup>2</sup>); то онъ молить того же Бога помочь ему заплатить карточный долгъ; Богъ помогаетъ, и Толстой, описывая это «чудо», говоритъ: «Сегодня произошелъ случай, который могъ бы меня заставить повѣрить въ Бога, если бы я уже не вѣрилъ въ него съ нѣкоторыхъ поръ»<sup>3</sup>).

Позднѣе, въ «Исповѣди», оглядываясь на это время, онъ пишетъ: «Я съ 16 лѣтъ пересталъ становиться на молитву и пересталъ по собственному побужденію ходить въ церковь и говѣть. Я не вѣрилъ въ то, что мнѣ сообщено съ дѣтства, но я вѣрилъ во что-то. *Во что я вѣрилъ, я никакъ бы не могъ сказать*. Вѣрилъ я въ Бога или, вѣрнѣе, я не отрицалъ Бога, но какого Бога, я бы не могъ сказать; не отрицалъ я и Христа и его ученія, но въ чемъ было его ученіе, я тоже не могъ бы сказать»<sup>4</sup>).

<sup>1</sup>) Дневникъ, запись отъ 11 IV 1851 г. (Бирюковъ, ц. с., I, 175).

<sup>2</sup>) Письмо къ теткѣ (Бирюковъ, ц. с., I, 201).

<sup>3</sup>) Тамъ же, I, 195.

<sup>4</sup>) «Исповѣдь». Carouge-Genève, 1900, стран. 7 (Курсивъ мой).



Если эти позднѣйшія свидѣтельства мы захотимъ провѣрить показаніями того времени, то вотъ отрывки изъ «profession de foi», изложенной въ письмѣ Льва Ник. къ гр. А. А. Толстой (май 1859 г.): «...Дѣло въ томъ, что я люблю, уважаю религію, считаю, что безъ нея человѣкъ не можетъ быть ни хорошъ, ни счастливъ, что я желалъ бы имѣть ее больше всего на свѣтѣ, что я чувствую, какъ безъ нея мое сердце сохнетъ съ каждымъ годомъ, что я надѣюсь еще и въ короткія минуты какъ-будто вѣрю, *но не имѣю религіи и не вѣрю*. Кромѣ того, жизнь у меня дѣлаетъ религію, а не религія жизнь... Мнѣ такъ гадко, грустно теперь въ деревнѣ. Такой холодъ и сухость въ душѣ, что страшно. Жить не зачѣмъ... Кому я дѣлаю добро? Кого люблю? — Никого! И грусти даже и слезъ надъ самимъ собою нѣтъ. И раскаяніе холодное. Такъ разсужденія. Одинъ трудъ остается. А что трудъ? Пустяки, — копаешься, хлопчешь, а сердце суживается, сохнетъ, мреть... Есть больная сестра, старая тетка, мужики, которымъ можно быть полезнымъ, съ которыми можно нѣжничать, но сердце молчитъ, *а нарочно дѣлать добро — стыдно*. Тѣмъ болѣе, что я испыталъ счастье (какъ ни рѣдко) дѣлать, не зная, нечаянно, отъ сердца. Сохнетъ, дервенѣетъ, сжимается, и ничего не могу сдѣлать...»<sup>1)</sup>).

Относительно «самосовершенствованія» дѣло обстояло почти такъ же.

«Теперь, вспоминая то время», пишетъ Левъ Ник. въ «Исповѣди», я «вижу ясно, что вѣра моя — то, что кромѣ животныхъ инстинктовъ двигало моею жизнью — единственная истинная вѣра моя въ то время была вѣра въ совершенствованіе. Но въ чемъ было совершенствованіе и какая была цѣль его, я бы не могъ сказать. Я старался совершенствовать себя умственно, — я учился всему, чему могъ и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю, — составлялъ себѣ правила, которымъ старался слѣдовать; совершенствовалъ себя физически всякими упражненіями, изощряя силу и ловкость и всякими лишеніями, приучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствованіемъ. Началомъ всего было, разумѣется, нравственное совершенствованіе, но скоро оно подмѣнилось совершенствованіемъ вообще, т.-е. желаніемъ быть лучше не передъ самимъ собою или передъ Богомъ, а желаніемъ быть лучше предъ другими людьми. И очень скоро это стремленіе быть лучше передъ людьми подмѣнилось желаніемъ быть сильнѣе другихъ людей, т.-е. славнѣе, важнѣе, богаче другихъ»<sup>2)</sup>).

Въ «Исповѣди» душевные процессы Толстого изложены для простоты черезчуръ схематично. Къ тому же, изъ желанія быть во что бы то ни стало правдивымъ, онъ говоритъ иной разъ неправду и клеветаетъ на себя. Въ дѣйствительности, тотъ процессъ, который указанъ въ приведенномъ отрывкѣ, отнюдь не шель такъ послѣдовательно отъ нравственного совершенствованія къ хлопотамъ о славѣ, положеніи и богатствѣ. Жизнь Толстого въ пятидесятыхъ годахъ — нескончаемая борьба съ тѣмъ, что онъ называлъ похотью, страстями, дикостью своей натуры, — во имя того, что въ данный моментъ представлялось ему хорошимъ,

<sup>1)</sup> Переписка Л. Н. Толстого съ гр. А. А. Толстой, изд. о-ва Толстовскаго музея, С.-Пб., 1911, стран. 132—133. (Курсивъ мой.)

<sup>2)</sup> «Исповѣдь», цит. изд., стран. 7—8.

честнымъ, нравственнымъ. «Онъ постоянно стремился начать жизнь сызнова и, откинувъ прошлое, какъ изношенное платье, облечься въ чистую хламиду. Съ какою наивною мы оба (пишетъ гр. А. А. Толстая) вѣрили тогда въ возможность сдѣлаться въ одинъ день другимъ человѣкомъ — преобразиться совершенно, съ ногъ до головы, по мановенію своего желанія»<sup>1)</sup>).

Вѣчную борьбу за «добро» онъ возводитъ въ идеаль челоуѣческаго существованія.

«Вѣчная тревога, трудъ, борьба, лишенія — это необходимыя условія, изъ которыхъ не долженъ смѣть думать выйти хоть на секунду ни одинъ челоуѣкъ. Только честная тревога, борьба и трудъ, основанные на любви, есть то, что называютъ счастьемъ. Да что счастье — глупое слово; не счастье, а *хорошо*; а безчестная тревога, основанная на любви къ себѣ — это несчастье... Мнѣ смѣшно вспомнить, какъ я думывалъ и какъ Вы, кажется, думаете, что можно себѣ устроить счастливый и честный мірокъ, въ которомъ спокойно, безъ ошибокъ, безъ раскаянья, безъ путаницы жить себѣ потихоньку и дѣлать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смѣшно! *Нельзя*, бабушка. Все равно какъ *нельзя*, не двигаясь, не дѣлая моціона, быть здоровымъ. Чтобъ жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вѣчно бороться и лишаться. А спокойствіе — душевная подлость. Отъ этого-то дурная сторона нашей души и желаетъ спокойствія, не предчувствуя, что достиженіе его сопряжено съ потерей всего, что есть въ насъ прекраснаго, не челоуѣческаго, а *отъ туда*». (Октябрь 1857 г.)<sup>2)</sup>

При такихъ взглядахъ, самосовершенствованіе, дѣйствительно, часто переходило у него въ спортъ; всеобъемлющее Существо, къ которому онъ пылалъ любовью, подмѣнялось Богомъ, уплачивающимъ карточные долги; стремленіе обновить въ себѣ ветхаго челоуѣка превращалось въ заботы о «красѣ ногтей» и чистотѣ французскаго прононса.

Умъ челоуѣческій не имѣетъ твердаго мѣрила добра и зла — вотъ основное положеніе Толстого.

«У кого въ душѣ такъ непоколебимо это мѣрило добра и зла, чтобы онъ могъ мѣрить имъ бѣгушіе, запутанные факты? У кого такъ великъ умъ, чтобы хотя въ неподвижномъ прошедшемъ обнять всѣ факты и свѣситъ ихъ? И кто видѣлъ такое состояніе, въ которомъ бы не было добра и зла вмѣстѣ? И почему я знаю, что вижу больше одного, чѣмъ другого, не оттого, что стою не на настоящемъ мѣстѣ? И кто въ состояніи такъ совершенно оторваться умомъ хоть на мгновеніе отъ жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее?...» (1857 г.)<sup>3)</sup>

Итакъ, ни политическихъ убѣжденій, ни сознательныхъ усилій къ улучшенію общественныхъ отношеній и матеріальному благу другихъ, ни религіи, ни твердаго понятія о добрѣ и злѣ...

Очевидно, защищать кинжаломъ и саблей — нечего.

<sup>1)</sup> Переписка 7. (Ср. чудное письмо Л. Н. о веснѣ и перерожденіи — въ томъ же сборникѣ, стран. 21 и 98—100.)

<sup>2)</sup> Тамъ же, стран. 93—94.

<sup>3)</sup> Сочин., III, 225 («Люцерн»).

Чѣмъ же жить? къ какому совершенству стремиться? изъ-за чего бороться со своими «похотями»? въ чемъ каяться?

Уму челоѣческому не дано отвѣтовъ на такіе вопросы. Но отвѣты эти есть. Они живутъ въ сердцахъ. Они исходятъ отъ «Всемірнаго Духа», проникающаго всѣхъ и cadaго.

«Одинъ, только одинъ есть у насъ непогрѣшимый руководитель, Всемірный Духъ, проникающій насъ всѣхъ вмѣстѣ и cadaго, какъ единицу, влагающій въ cadaго стремленіе къ тому, что должно; тотъ самый Духъ, который въ деревѣ велитъ ему расти къ солнцу, въ цвѣткѣ велитъ ему бросить сѣмя къ осени и въ насъ велитъ намъ безсознательно жаться другъ къ другу»<sup>1)</sup>).

Прислушивайтесь къ голосу этого Духа, культивируйте въ себѣ вниманіе къ его велѣніямъ и вы будете согрѣты пламенемъ искренняго чувства, которое отвѣтитъ вамъ на всѣ вопросы въ духѣ гармоніи, правды, красоты и добра.

«Разсужденіе это было бы хорошо», если бы «Всемірный Духъ» всегда и во всѣхъ людяхъ разжигалъ тѣ же чувства. Но, очевидно, это случается далеко не всегда. Когда Янъ Гусъ, горячо и искренно чувствуя, всходилъ на костеръ за свои вѣрованія, благочестивая старушка, побуждаемая столь же горячими и столь же искренними чувствами, набожно крестясь, подкладывала подъ тотъ костеръ свою лепту — охапку соломы.

Впослѣдствіи Толстой любилъ сталкивать между собою противорѣчивыя сужденія, претендующія на монополію истины. Одна возможность подобнаго столкновенія, казалось ему, уничтожала ихъ притязанія. Но свѣжесть и сила нравственнаго чувства долго претендовали въ немъ на божественное происхождение. Ярко сказавшееся чувство казалось послѣднимъ и рѣшающимъ словомъ въ области нравственности. И онъ рѣшительно отказывался понимать всѣхъ, кто дѣйствовалъ по инымъ побужденіямъ. Холодное сознаніе долга передъ челоѣчествомъ или ближними — не выдержало критики его недовѣрчиваго ума и, не видя для такого сознанія *логическаго* основанія, онъ считалъ его въ худшемъ случаѣ притворствомъ, фальшью, фразой, въ лучшемъ — самообманомъ. Отсюда его ядовитое, непреклонное преслѣдованіе общественныхъ дѣятелей типа Тургенева, переходившее почти въ ненависть. Отсюда его пренебрежительное равнодушіе (почти презрѣніе) къ добродѣтельнымъ, самоотверженнымъ существамъ, «отдавшимъ жизнь на служеніе ближнимъ» — типа Вареньки въ «Аннѣ Карениной».

Въ немъ не было этого; *«значить»*, это или фальшь, фраза, или худосочное привязываніе своего разбитаго жизнью корабля къ дѣламъ благотворенія.

Нѣтъ, для него — «нарочно дѣлать добро стыдно»<sup>2)</sup>; но «лишь божественный глаголь до слуха чуткаго коснется», лишь только заговоритъ чувство, встретится душа, тогда бросайся, очертя голову, впередъ и работай на пользу ближнихъ «отъ сердца»<sup>3)</sup>).

<sup>1)</sup> Сочин., III, 225 («Люцернъ»).

<sup>2)</sup> Переписка съ А. А. Толстой, 133.

<sup>3)</sup> Ср. позднѣйшія мысли о добрыхъ дѣлахъ безъ любви. («О самосовершенствованіи».)



Изумительно, какъ долго Толстой вѣрилъ въ непогрѣшимость непосредственнаго нравственнаго чувства, упорно закрывая глаза на то, что на каждое чувство, испытываемое однимъ, является всегда діаметрально противоположное чувство, испытываемое другимъ<sup>1)</sup>.

Въ него самого, въ разные періоды его развитія «Всемірный Духъ» вкладывалъ весьма различныя стремленія и сегодняшнее «то что должно» оказывалось совершенно несходнымъ со вчерашнимъ. Но даже въ одно и то же время, въ то время, о которомъ я говорю, «Всемірный Духъ» звучалъ въ немъ двумя разными голосами, которые находились въ вѣчномъ конфликтѣ между собою.

Вотъ предъ нами Дмитрій Оленинъ — молодой свѣтскій человѣкъ, бѣжавшій изъ Москвы на Кавказъ отъ долговъ, кутежей, картъ и женщинъ.

Лежить онъ въ лѣсной чащѣ, на охотѣ, и вдругъ на него находитъ такое странное чувство безпричиннаго счастья и любви ко всему, что онъ по старой дѣтской привычкѣ, начинаетъ креститься и благодарить кого-то... «Отчего я счастливъ и зачѣмъ я жилъ прежде? — подумалъ онъ. — Какъ я былъ требователенъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сдѣлалъ себѣ, кромѣ стыда и горя! А вотъ какъ мнѣ ничего не нужно для счастья!» И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. «Счастье — вотъ что, — сказалъ онъ самъ себѣ: — счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья; стало быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!» Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочилъ и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому бы сдѣлать добро, кого бы любить. «Вѣдь ничего для себя не нужно, — все думалъ онъ, — отчего же не жить для другихъ?»<sup>2)</sup>.

«Много я передумалъ и много измѣнился въ это послѣднее время, писалъ Оленинъ въ Москву, «и дошелъ до того, что написано въ азбучкѣ. Для того, чтобы быть счастливымъ, надо одно — любить, и любить съ самоотверженіемъ; любить всѣхъ и все, раскидывать на всѣ стороны паутину любви: кто попадется, того и брать. Такъ я поймалъ Ванюшу, дядю Ерошку, Лукашку, Марьянку»<sup>3)</sup>.

Немного дней держится это настроеніе.

Передъ Оленинымъ проходятъ красивыя картины близкой къ природѣ, полу-животной жизни казаковъ.

«Люди живутъ, какъ живетъ природа: умираютъ, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьютъ, ѣдятъ, радуются и опять умираютъ, и никакихъ условій, исключая тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя положила природа (!) солнцу,

<sup>1)</sup> Ср. «Исповѣдь», загр. изд., 1900 г., стран. 12.

<sup>2)</sup> Сочин., 2, 195—196. («Казакъ».)

<sup>3)</sup> Тамъ же, стран. 229.



травѣ, звѣрю, дереву. Другихъ законовъ у нихъ нѣтъ...» И оттого люди эти въ сравненіи съ нимъ самимъ казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на нихъ, ему становилось стыдно и грустно за себя<sup>1)</sup>.

И какъ только кислая, вялая заинтересованность въ Марьянкѣ назрѣваетъ въ страсть, отъ благочестивыхъ разсужденій не остается и слѣда.

«Я писалъ прежде о своихъ новыхъ убѣжденіяхъ, которыя вынесъ изъ свей одинокой жизни; но никто не можетъ знать, какимъ трудомъ выработались они во мнѣ, съ какою радостью созналъ я ихъ и увидалъ новый, открытый путь къ жизни. Дороже этихъ убѣжденій ничего во мнѣ не было... Ну... пришла любовь, и ихъ нѣтъ теперь, нѣтъ и сожалѣнія о нихъ! Даже понять, что я могъ дорожить такимъ одностороннимъ, холоднымъ, умственнымъ настроеніемъ, для меня трудно. Пришла красота и въ прахъ разсѣяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожалѣнія нѣтъ съ исчезнувшимъ. *Самоотверженіе — все это вздоръ, дичь. Это все гордость, убожище отъ заслуженнаго несчастья, спасеніе отъ зависти къ чужому счастью.* Жить для другихъ, дѣлать добро! Зачѣмъ? Когда въ душѣ мсей одна любовь къ себѣ и одно желаніе — любить ее (Марьянку) и жить съ нею, ея жизнью. Не для другихъ, не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этихъ другихъ. Прежде я сказалъ бы себѣ, что это дурно. Я бы мучился вопросами: что будетъ съ ней, со мной, съ Лукашкой? Теперь мнѣ все равно. *Я живу не самъ по себѣ, но есть что-то сильнѣе меня, руководящее мною.* Я мучаюсь, но прежде я былъ мертвъ, а теперь только я живу»<sup>2)</sup>.

— «Всемирный Духъ» велитъ юнкеру Дмитрію Оленину, во имя добра, жертвовать Марьянку Лукашкѣ.

И, тотъ же «Всемирный Духъ» велитъ юнкеру Дмитрію Оленину, во имя правды и красоты, не жертвовать Марьянку Лукашкѣ, а напротивъ того, забрать ее себѣ въ собственность<sup>3)</sup>.

— Геніальное воспроизведеніе полной противорѣчій человѣческой природы! скажутъ мнѣ. Толстой, какъ всегда, сумѣлъ зачерпнуть такъ глубоко, какъ никто, и самъ, очевидно, высмѣиваетъ и казнить людей, подобныхъ юнкеру Оленину.

— Ничуть не бывало. Толстой точно воспроизводитъ свои собственные переживанія.

Я не буду останавливаться на томъ, что и Оленинъ («Казакъ»), и князь Нехлюдовъ («Люцернъ») — лишь псевдонимы Льва Николаевича. Точнее (до мелочей) воспроизведеніе въ этихъ разсказахъ фактовъ личной жизни автора еще ничего не доказываетъ: факты могутъ быть тѣ же, но за мысли и чувства своихъ герсевъ авторъ все же не отвѣчаетъ.

Обратимся лучше къ свидѣтельствамъ иного рода.

<sup>1)</sup> Тамъ же, стран. 224.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стран. 251 (курсивъ цитаты мой).

<sup>3)</sup> Вѣдь это «тотъ самый Духъ, который въ деревѣ велитъ ему расти къ солнцу, въ цвѣткѣ велитъ ему бросить сѣмя къ осени»..., а въ насъ, очевидно, не только «жаться другъ къ другу», но и жить, какъ живетъ природа: умирать, родиться, совокупляться, опять родиться, драться, пить, ѣсть, радоваться и т. д. и т. д.

Въ маѣ 1859 г. Левъ Николаевичъ писалъ гр. А. А. Толстой:

«Попробую, однако, сдѣлать мою profession de foi. Ребенкомъ я вѣрилъ горячо, сантиментально и необдуманно, потомъ лѣтъ 14, сталъ думать о жизни вообще, и наткнулся на религію, *которая не подходила подъ мои теоріи, и, разумѣется, шелъ за заслугу разрушить ее*. Безъ нея мнѣ было очень покойно жить лѣтъ 10. Все открывалось передо мной ясно, логично, подраздѣлялось, и религіи не было мѣста. Потомъ пришло время, что все стало открыто, тайнъ въ жизни больше не было, но сама жизнь начала терять свой смыслъ. Въ это же время я былъ одинокъ и несчастливъ, живя на Кавказѣ. Я сталъ думать такъ, какъ только разъ въ жизни люди имѣютъ силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая ихъ, я не могъ понять, чтобы человѣкъ могъ дойти до такой степени умственной экзальтаціи, до которой я дошелъ тогда. Это было и мучительное, и хорошее время. Никогда — ни прежде, ни послѣ, я не доходилъ до такой высоты мысли, не заглядывалъ туда, какъ въ это время, продолжавшееся два года. И все, что я нашелъ тогда, навсегда останется моимъ убѣжденіемъ. Я не могу иначе. Изъ двухъ лѣтъ умственной работы я нашелъ простую, старую вещь, но которую я знаю такъ, какъ никто не знаетъ, — я нашелъ, что есть безсмертіе, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливымъ вѣчно».

Пораженный сходствомъ своего «нравственного открытія» съ христіанской религіей, Л. Н. сталъ искать въ Евангеліи, «но нашелъ мало» для себя и много противорѣчій господствующей религіи. Такъ онъ и остался со *своей* религіей и въ то время ему «хорошо было жить съ ней»<sup>1)</sup>.

13 мая 1856 года Толстой пишетъ въ своемъ дневникѣ: «Могучее средство къ истинному счастью въ жизни, это безъ всякихъ законовъ пускать изъ себя во всѣ стороны, какъ паукъ, цѣлую паутину любви и ловить туда все, что попало: и старушку, и ребенка, и женщину, и квартальнаго»<sup>2)</sup>.

Такъ совпадаютъ — почти дословно — мечты, чувства и мысли Толстого съ «христіанскими» открытіями Оленина.

Оленинъ-язычникъ также близокъ Толстому.

Вотъ, на примѣръ, что пишетъ онъ въ 1859 г. графинѣ А. А. о своей послѣдней «штукѣ» (о разсказѣ «Три смерти»): «Моя мысль была: три существа умерли барыня, мужикъ и дерево. — Барыня жалка и гадка, потому что жила всю жизнь и лжетъ передъ смертью. Христіанство, какъ она его понимаетъ, не рѣшаетъ для нея вопроса жизни и смерти. Зачѣмъ умирать, когда хочется жить? Въ обѣщанія будущія христіанства она вѣритъ воображеніемъ и умомъ, а все существо ея становится на дыбы, и другого успокоенія (кромѣ ложно-христіанскаго) нѣтъ, — а мѣсто занято. Она гадка и жалка. Мужикъ умираетъ спокойно, именно потому, что онъ не христіанинъ. Его религія другая, хотя онъ по обычаю и исполнялъ христіанскіе обряды; его религія — природа, съ которой онъ жилъ. Онъ самъ рубилъ деревья, сѣялъ рожь и косилъ ее, убивалъ барановъ, и рожались у него

<sup>1)</sup> Переписка Л. Н. Толстого съ гр. А. А. Толстой, стран. 131—132.

<sup>2)</sup> Бирюковъ, ц. с., I, 292.

бараны, и дѣти рожались, и старики умирали, и онъ знаетъ твердо этотъ законъ, отъ котораго онъ никогда не отворачивался, какъ барыня, и прямо, просто смотрѣлъ ему въ глаза. «Une brute», вы говорите, да чѣмъ же дурно une brute? Une brute есть счастье и красота, гармонія со всѣмъ міромъ, а не такой разладъ, какъ у барыни. Дерево умираетъ спокойно, честно и красиво. Красиво, — потому что не лжетъ, не ломается, не боится, не жалѣетъ. — Вотъ моя мысль, съ которой Вы, разумѣется, не согласны, но которую оспаривать нельзя, — это есть и въ моей душѣ и въ Вашей... Во мнѣ есть, и въ сильной степени, христіанское чувство; *но и это есть, и это мнѣ дорого очень*. Это чувство правды и красоты, а то чувство личное — любви, спокойствія. Какъ это соединяется, не знаю и не могу растолковать; *но сидятъ кошка съ собакой въ одномъ чуланѣ — это положительно*». (Курсивъ мой.<sup>1)</sup>

Природа прекрасна, сильна, свободна. Въ ней нѣтъ противорѣчій, нѣтъ диссонансовъ. Она гармонична, совершенна. Первобытные люди (казаки, мужики) близки къ природѣ: и у нихъ — никакихъ условій, никакихъ законовъ, кромѣ тѣхъ, что положены солнцу, травѣ, звѣрю, дереву. И *потому* они тоже прекрасны, сильны, свободны, гармоничны, совершенны.

Человѣкъ — часть природы. И чѣмъ здоровѣе онъ, тѣмъ сильнѣе чувствуетъ въ себѣ природу. Отказаться отъ этого чувства, притворяться передъ самимъ собою — значитъ лгать себѣ и людямъ, стать въ противорѣчіе съ несомнѣнною красотою, разлитой въ мірозданіи, и съ правдой. И горячій по темпераменту, страстно живущій Толстой не хочетъ и не можетъ отказаться отъ своей природы: чувства «красоты и правды» наполняютъ его.

Но интеллигентный баричъ нашего времени — не дикарь. Его связи съ природой въ значительной степени нарушены. Онъ брошенъ въ городъ, въ безконечно сложныя и запутанныя отношенія къ другимъ людямъ. Воспитанный на всевозможныхъ разносолахъ, онъ быстро пресыщается жизнью и вяло тащитъ ее — пока судьба ему улыбается. Чаше онъ не получаетъ того, къ чему стремится, и тогда горестно задумывается надъ смысломъ своего существованія. Онъ одинокъ и несчастливъ. Онъ думаетъ напряженно, усиленно. Анализировать, разлагать, сомнѣваться — ему надоѣло. Ему во что бы то ни стало нуженъ синтезъ. Онъ жаждетъ восстановленія нарушенной душевной гармоніи, личнаго счастья, личнаго спокойствія. За неимѣніемъ подъ руку другого лѣкарства, успокоительнымъ бальзамомъ можетъ стать то, что Толстой пятидесятихъ годовъ называлъ «христіанствомъ»: любовь и самоотверженіе. Собственно, не акты самоотверженія, а главное — готовность къ нимъ, сердечное умиленіе; и, собственно, не дѣятельная любовь, а само пламя любви, пусканіе изъ себя, «безъ всякихъ законовъ», во всѣ стороны паутины любви и уловленіе въ нее всего, что попадетъ: и старушки, и ребенка, и женщины, и квартальнаго. Будетъ ли старушкѣ и квартальному отъ этого лучше — вопросъ почти посторонній: это Толстого не касается. Ему нужно личнаго счастья, личнаго спокойствія и для того — любованія своимъ умиленіемъ, мыслей о самоотверженіи, радостнаго стремленія къ «добру», самс-

<sup>1)</sup> Письмо къ гр. А. А. Толстой. (Переписка, стран. 101—102.)



совершенствованія и вообще «печенія всяческихъ нравственныхъ конфетокъ», пользуясь выраженіемъ самого Льва Николаевича.

Этотъ *личный* характеръ его христіанства долженъ быть особенно отмѣченъ.

Толстой даже въ такихъ актахъ, какъ говѣніе, ищетъ прежде всего и почти исключительно осязательнаго, личнаго наслажденія<sup>1)</sup>...

Умиленное настроеніе не можетъ длиться вѣчно. Пылкая натура беретъ свое, страсти опрокидываютъ разсужденія, прекраснодушное «добро» скромно уступаетъ мѣсто «красотѣ и правдѣ».

Кошка съ собакой живутъ вмѣстѣ въ одномъ чуланѣ. Но постоянно ссорятся.

«Я всею душою желалъ быть хорошимъ; но я былъ молодъ, у меня были страсти, а я былъ одинъ, совершенно одинъ, когда искалъ хорошаго...» «Безъ ужаса, омерзѣнія и боли сердечной не могу вспомнить объ этихъ годахъ. Я убивалъ людей на войнѣ, вызывалъ на дуэли, чтобы убить; проигрывалъ въ карты, продавалъ труды мужиковъ; казнилъ ихъ, блудилъ, обманывалъ. Ложь, воровство, любодѣяніе всѣхъ родовъ, пьянство, насиліе, убійство... Не было преступленія, котораго бы я не совершалъ, и за все это меня хвалили, считали и считаютъ мои сверстники сравнительно нравственнымъ челоуѣкомъ...»<sup>2)</sup>).

Такъ пишетъ Толстой въ своей «Исповѣди». Конечно, все это надо принимать съ большими оговорками и не въ прямомъ смыслѣ сказанныхъ словъ, а съ точки зрѣнія позднѣйшихъ ученій.

Но сильныя страсти, дѣйствительно, были. Все, на что наталкивалась случайно эта, вѣчно кипящая, пламенная натура, она исчерпывала до дна, дерзая на такія вещи, которыя обходятъ хладнокровные, обыкновенные люди.

Толстой отъ природы былъ очень силенъ и здоровъ. Постоянными гимнастическими упражненіями (позднѣе — физической работой) онъ систематически поддерживалъ крѣпость своего организма.

Объ его увлеченіяхъ гимнастикой сохранилось много забавныхъ разсказовъ. Вотъ одинъ изъ нихъ, записанный Фетомъ со словъ гр. Николая Николаевича Толстого (1858 г.).

«Левочка усердно ищетъ сближенія съ сельскимъ бытомъ и хозяйствомъ, съ которыми, какъ и всѣ мы, до сихъ поръ знакомъ поверхностно. Но ужъ не знаю, какое тутъ выйдетъ сближеніе: Левочка желаетъ все захватить разомъ, не упуская ничего, даже гимнастики. И вотъ у него подъ окномъ кабинета устроенъ баръ. Конечно, если отбросить предрасудки, съ которыми онъ такъ враждуетъ, онъ правъ: гимнастика хозяйству не помѣшаетъ; но староста смотритъ на дѣло нѣсколько иначе: «придешь, говорить, къ барину за приказаніемъ, а баринъ, зацѣпившись одною колѣнкой за жердь, виситъ въ красной курткѣ головою внизъ и раскачивается; волосы отвисли и мѣтаются, лицо кровью налилось, не то приказанія слушать, не то на него дивиться»<sup>3)</sup>...

<sup>1)</sup> Переписка съ гр. А. А. Толстой, стран. 128.

<sup>2)</sup> «Исповѣдь гр. Л. Н. Толстого», заграничн. изд. 1900 г., стран. 9.

<sup>3)</sup> Феть. «Мои воспоминанія», I, 237.

Въ Севастополѣ среди офицеровъ онъ оставилъ по себѣ память, какъ ѣздокъ, весельчакъ и силачъ. Такъ, онъ ложился на полъ, на руки ему ставился въ пять пудовъ мужчина, и онъ, вытягивая руки, подымалъ его вверхъ; на палкѣ никто не могъ его перетянуть<sup>1)</sup>...

Въ такомъ организмѣ природа говорила громко. Кутежи, попойки, женщины захватили его вскорѣ же послѣ неудачной попытки посвятить себя упроченію благосостоянія и нравственности яснополянскихъ крестьянъ. Изъ Москвы ото всѣхъ этихъ соблазновъ онъ бѣжитъ въ Петербургъ, гдѣ «намѣренъ остаться навѣки» въ увѣренности, что Петербургъ его исправитъ. Но Петербургъ не исправляетъ. Тогда онъ хочетъ вступить юнкеромъ въ конно-гвардейскій полкъ и идти воевать съ Венгріей: юнкерская служба должна его исправить. Потомъ онъ собирается бѣжать въ Сибирь съ мужемъ своей сестры. Потомъ думаетъ снять почту въ Тулѣ. Потомъ ѣдетъ на Кавказъ, въ Севастополь, снова въ Петербургъ, Москву, за границу. Вино и женщины находятся всюду. Онъ падаетъ, кается, ведетъ въ деревнѣ аскетическую жизнь, проклиная свои прегрѣшенія... Но снова мчится въ водоворотъ столичной жизни. И снова живетъ во-всю.

Азартная игра въ карты долго была одною изъ самыхъ сильныхъ и непреодолимыхъ страстей его. Онъ выигрывалъ и проигрывалъ (чаще проигрывалъ) значительныя суммы и сильно разстроилъ свое состояніе. Азартныя проигрыши часто ставили его въ невыносимое положеніе: платить иной разъ было нечѣмъ. Но именно это вѣчное хожденіе по краю пропасти, повидимому, и привлекало его.

Но не «сладогстрастіе» и не картежный азартъ считалъ онъ своею главною, непобѣдимой страстью.

7 іюля 1854 года онъ пишетъ, между прочимъ, въ своемъ дневникѣ: «Я честенъ, то-есть я люблю добро, сдѣлалъ привычку любить его; и когда отклоняюсь отъ него, бываю недоволенъ собой и возвращаюсь къ нему съ удовольствіемъ; но есть вещи, которыя я люблю больше добра — славу. Я такъ честолюбивъ, и такъ мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродѣтелью — первую, ежели бы мнѣ пришлось выбирать изъ нихъ...»<sup>2)</sup>.

И это не минутное настроеніе. Жаждою извѣстности, славы, тѣмъ, что онъ называетъ «любовь любви», — переполнены его дневники.

Онъ хорошо зналъ себѣ цѣну. Двадцати-четырехъ лѣтъ отроду онъ записываетъ: «Есть во мнѣ что-то, что заставляетъ меня вѣрить, что я рожденъ не для того, чтобы быть такимъ, какъ всѣ»<sup>3)</sup>. Онъ вѣритъ въ свой умъ, но ищетъ случая «основательно испытать его». Еще въ студенческіе годы онъ пишетъ комментаріи къ Discours Руссо.

Въ 1846—47 гг. (18—19 лѣтъ отъ роду) онъ сочиняетъ трактаты «О цѣли философіи», о будущей жизни, о времени, пространствѣ и числѣ, о методахъ, о раздѣленіи философіи, о симметріи.

<sup>1)</sup> Бирюковъ. Біографія, I, 265—266.

<sup>2)</sup> Бирюковъ. Біографія, I, 241.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стран. 203.

Тетка Т. А. Ергольская, съ которой онъ ведетъ обширную переписку, совѣтуетъ ему писать романы.

На Кавказѣ онъ пробуетъ свои силы и въ этой области и пишетъ (въ 1852 г.) романъ («Дѣтство»), въ которомъ перемѣшиваетъ личныя переживанія съ воспоминаніями о семьѣ пріятелей-сосѣдей. Онъ работаетъ счѣнь тщательно и четыре раза цѣликомъ передѣлываетъ написанное.

«Въ это время», говоритъ онъ въ «Исповѣди», «я сталъ писать изъ тщеславія, корыстолюбія и гордости». Едва ли въ такой формѣ заявленіе это справедливо. Огромный талантъ и богатѣйшая духовная жизнь Толстого давно искали случая проявиться. Какъ писатель, онъ необычайно быстро, сразу «нашелъ себя» и потому надъ первою же вещью работалъ съ увлеченіемъ, со страстью. Но, само собою разумѣется, работа эта, какъ всегда и у всѣхъ, отнюдь не была безкорыстна: и гордость, и тщеславіе, и жажда славы, и даже корыстолюбіе<sup>1)</sup> — сыграли въ ней свою роль. «Дѣтство», какъ извѣстно, имѣло необычайный успѣхъ. За нимъ послѣдовали: «Утро помѣщика», «Набѣгъ», «Отрочество», «Рубка лѣса», «Севастопольскіе рассказы», и репутація дотолѣ неизвѣстнаго автора была завоевана: за три года творчества Толстой занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ русской беллетристикѣ. Но ему этого мало. Уже въ 1855 году онъ мечтаетъ сдѣлаться пророкомъ и основателемъ новой религіи. Онъ пишетъ: «Разговоръ о божествѣ и вѣрѣ навелъ меня на великую, грсмадную мысль, осуществленію которой я чувствую себя способнымъ посвятить жизнь. Мысль эта — основаніе новой религіи, соотвѣтствующей развитію человѣчества, религіи Христа, но очищенной отъ вѣры и таинственности, религіи практической, не сбѣщающей будущее блаженство, но дающей блаженство на землѣ. Привести эту мысль въ исполненіе, я понимаю, что могутъ только поколѣнія, сознательно работающія къ этой цѣли. Одно поколѣніе будетъ завѣщать мысль эту слѣдующему, и когда-нибудь фанатизмъ или разумъ приведутъ ее въ исполненіе. Дѣйствовать *сознательно* къ соединенію людей религіей, вотъ основаніе мысли, которая, надѣюсь, увлечетъ меня»<sup>2)</sup>).

Почти въ то же время онъ страстно желалъ получить георгіевскій крестъ и былъ огорченъ, не получивъ его.

Послѣ феерическихъ успѣховъ первыхъ писаній наступилъ періодъ временнаго охлажденія къ нему публики и критики. Послѣдующіе рассказы, напечатанные въ 1856—1857 гг., почти не были замѣчены. Это не укрылось отъ его вниманія, и онъ реагируетъ на равнодушіе публики такой записью въ дневникъ (октябрь 1857 г.): «Репутація моя пала или чуть скрипитъ, и я внутренно сильно огорчился; но теперь я спокоенъ, я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно; а потомъ — что хочеть говори публика. Но надо работать добросовѣстно, положить всѣ свои силы, тогда... Пусть плюютъ на алтарь»<sup>3)</sup>).

<sup>1)</sup> Можно отмѣтить весьма обычное у начинающаго писателя настойчивое желаніе Толстого получить съ Некрасова гонораръ за первую же вещь; небывалый успѣхъ казался ему недостаточнымъ: 30 сентября 1852 г. онъ записываетъ въ дневникъ: «Получилъ письмо отъ Некрасова, похвалы, но не деньги» (Бир., I, 211).

<sup>2)</sup> Бирюковъ, цит. соч., I, 250.

<sup>3)</sup> Бирюковъ, ц. с., I, 329—330.



Онъ пробуетъ отойти отъ литературы, сидитъ въ деревнѣ, хлопочетъ по хозяйству, изучаетъ крестьянскій бытъ, заводитъ школы... Но писательскій талантъ не даетъ ему покоя: «Что ни дѣлай», пишетъ онъ Фету отъ 24 октября 1858 года, «а между навозомъ и коростой нѣтъ-нѣтъ да возьмешь и сочинишь. Спасибо, что еще писать себѣ не позволяю и не позволю... Вѣдь какъ ни вертись, а верхъ мудрости и твердости для меня, это только радоваться чужою поэзіею, а свою собственную не пускать въ люди въ уродливомъ нарядѣ, а самсму ѣсть съ хлѣбомъ насущнымъ. А иногда вдругъ захочется быть великимъ человѣкомъ и такъ досадно, что до сихъ поръ еще это не сдѣлалось. Даже поскорѣе торопишься вставать или доѣдать обѣдъ, чтобы начинать...»<sup>1)</sup>.

Въ этихъ шутивыхъ замѣчаніяхъ слышится серіозная нотка.

И, дѣйствительно, Толстой всю жизнь чутко прислушивался къ росту своей репутаціи. Онъ, правда, не читалъ (за рѣдкими исключеніями) критическихъ отзыовъ о своихъ произведеніяхъ, но къ успѣху ихъ относился далеко не безразлично. Вообще, гордость, самолюбіе, честолюбіе, тщеславіе — считалъ онъ наиболѣе трудно искоренимыми своими пороками. И даже въ девятисотыхъ годахъ, уже семидесятилѣтнимъ старцемъ, онъ пишетъ: «Я всегда до самаго послѣдняго времени не могъ отдѣлаться отъ заботы о мнѣніи людскомъ»<sup>2)</sup>.

Въ мартѣ 1858 года Левъ Николаевичъ писалъ гр. А. А. Толстой: «Какъ ни смотришь на себя — все мечтательный эгоистъ, который и *не можетъ* быть ничѣмъ другимъ. Гдѣ ее взять — любви и самопожертвованія, когда нѣтъ въ душѣ ничего, кромѣ себялюбія и гордости. Какъ ни поддѣлывайся подъ самоотверженіе, все та же холодность и разсчетъ на днѣ. И выходитъ еще хуже, чѣмъ ежели бы далъ полный просторъ всѣмъ своимъ гадкимъ стремленіямъ»<sup>3)</sup>.

Поскольку словамъ этимъ можно придавать значеніе?

Толстой — такая страстная и сильная индивидуальность, что *личное* не могло не заслонять отъ него всего остального міра. Такъ было *всегда* въ области мысли.

Тургеневъ не даромъ называлъ его «автодиктатсма». Любопытныя замѣчанія по этому поводу есть и у Достоевскаго. «Авторъ Анны Карениной», пишетъ онъ въ «Дневникѣ», «несмотря на свой огромный художественный талантъ, есть одинъ изъ тѣхъ русскихъ умовъ, которые видятъ ясно лишь то, что стоитъ прямо передъ ихъ глазами, а потому и прутъ въ эту точку. Повернуть же шею направо и налево, чтобы разглядѣть и то, что стоитъ въ сторонѣ, они, очевидно, не имѣютъ способности: имъ нужно для того повернуться всѣмъ тѣломъ, всѣмъ корпусомъ. Вотъ тогда они, пожалуй, заговорятъ совершенно противоположное, такъ какъ во всякомъ случаѣ они всегда строго искренни».

Чужіе взгляды и мысли служили ему лишь отправными пунктами для самостоятельной умственной работы. Почти всегда это былъ лишь матеріалъ для

<sup>1)</sup> Фетъ. «Мои воспоминанія». I, 280.

<sup>2)</sup> Сочин., XII, стран. 59.

<sup>3)</sup> Переписка съ гр. А. А. Толстой. стран. 95.

опроверженія. И ему мало сказать при этомъ просто «нѣтъ»: онъ долженъ прибавить: «не можетъ быть» — «нѣтъ, и не можетъ быть»; онъ говоритъ: «этого не только никогда не было, но *и не могло быть*»... Ему, повидимому, доставляетъ наслажденіе противорѣчить общепринятому; онъ любитъ смять подъ себя противника, нанося ему удары въ самыя чувствительныя мѣста. Его блестящіе парадоксы чередуются съ «нарочною» наивностью ребенка. И чѣмъ спокойнѣе, чѣмъ выдержаннѣе его тонъ, тѣмъ чувствительнѣе удары.

Въ каждой своей мысли онъ усаживается какъ въ крѣпости<sup>1)</sup>, и никакія усилія противника уже не могутъ выбить его изъ занятыхъ позицій. Но проходитъ время, являются новыя мысли, столь же гордыя, непоколебимыя, непреклонныя, и тогда старыя уступаютъ имъ мѣсто безъ боя и исчезаютъ безслѣдно.

Этотъ упорный и страстный темпераментъ борца додержался у Толстого *въ области мысли* почти до самыхъ послѣднихъ лѣтъ его жизни.

Со своими мыслями, взглядами, убѣжденіями, мѣнявшимися часто, но непоколебимыми въ каждый данный моментъ, стоялъ онъ, какъ суровая и одинокая скала, въ центрѣ вселенной. И весь міръ, всѣ людскія отношенія группировались около него какъ бы концентрическими кругами. Изъ этой сферы исключено было все, что не затрагивало его лично; остальное — располагалось дальше или ближе въ зависимости отъ вкусовъ его и потребностей. Онъ любилъ Россію и русскихъ, аристократическую среду, въ которой родился и выросъ, небольшой кругъ почитателей, крестьянъ, которыми когда-то владѣлъ, родныхъ, съ которыми связывались его воспоминанія дѣтства, и, наконецъ, свою семью въ тѣсномъ смыслѣ, то-есть жену и дѣтей. И чѣмъ тѣснѣе смыкался вокругъ него — центра кругъ интересовъ, тѣмъ долѣе интересы эти держали его въ своей власти.

Но по мѣрѣ того, какъ шли на убыль жизненныя силы, «правда и красота» сдавали «добру» одну позицію за другой. «Эгоцентризмъ» этой натуры падалъ, и наиболѣе отдаленные отъ него круги интересовъ послѣдовательно блѣднѣли и гасли. Когда восьмидесятилѣтнимъ старцемъ онъ ничего уже не желалъ для себя и душа его растворилась въ умиленной любви къ человѣчеству, семья еще тѣснымъ кольцомъ окружала его жизнь и заграждала ему путь къ святости. Но пробилъ послѣдній часъ этой блистательной жизни, и, какъ бы предчувствуя конецъ, Толстой теперь уже съ болѣе легкимъ усиліемъ сбросилъ съ себя послѣднее, давно ставшее ему тѣснымъ кольцо и, прекрасный, почти совершенный, сіяющій любовью — отошелъ въ вѣчность.

До этого момента чуть ли не вся жизнь его шла въ долгой борьбѣ съ самимъ собою. Мы всѣ эгоистичны на свой ладъ. Но трудно представить себѣ другую индивидуальность, въ которой голосъ природы, жажда *личнаго* счастья говорили бы сильнѣе. И не менѣе властно влекло его въ то же время стремленіе къ добру, къ нравственному, къ самоусовершенствованію. Безъ удовлетворенія этой его *органической* потребности для Толстого не было и не могло быть личнаго счастья. Обѣ стороны его сложной натуры (личныя потребности въ узкомъ смыслѣ слова и стремленіе къ добру) находились въ вѣчномъ

<sup>1)</sup> Выраженіе гр. А. А. Толстой.

конфликтъ. Едва ли кого-нибудь дразнило столько соблазновъ. Путь къ «добру» былъ прегражденъ въ немъ не только страшною и могучею физическою природою, но и необыкновенно гибкимъ парадоксальнымъ умомъ, который, съ удивительной виртуозностью, служилъ въ каждомъ данномъ случаѣ его неудержимому стремленію къ *личному* счастью. Личныя потребности вели его безсознательно къ заполненію общей формулы добра все новымъ и новымъ содержаніемъ. При этомъ нѣтъ и слѣдовъ малѣйшей неискренности или фальши. Фальшь и фразу онъ ненавидѣлъ со всѣмъ фанатизмомъ, на который только былъ способенъ. И ненавидя ихъ больше всего въ другихъ, онъ искоренялъ эти пороки прежде всего въ себѣ самомъ. Онъ предавался иной разъ наивному, иной разъ самому изощренному самообману. Но всегда онъ оставался искреннимъ. Въ картинѣ этой титанической борьбы челоуѣка съ природою, быть-можетъ, главное поученіе жизни Толстого. Чтобы узнать пять простыхъ и ясныхъ, почти аксіомически-доступныхъ всякому заповѣдей, онъ долженъ былъ пройти пятидесятилѣтній путь исключительно интенсивной духовной жизни. Заповѣди эти стоятъ только *понять*; слѣдовать имъ легко; понявъ, имъ нельзя не слѣдовать. Такъ думалъ Толстой въ пору своихъ «открытій». Прошло еще 30 лѣтъ неустанной внутренней борьбы. И только тогда, освобожденный отъ вѣлѣній плоти, онъ научился, по его словамъ, «не дѣлать глупостей».

Въ періодъ, который насъ занимаетъ (пятидесятые и шестидесятые годы), Толстой находился еще въ полной власти своихъ демоновъ.

Эти демоны иной разъ приводятся обстоятельствами къ столкновенію другъ съ другомъ. И побѣждаетъ, конечно, сильнѣйшій, то-есть болѣе близкій къ Толстому, имѣющій надъ нимъ въ данный моментъ наибольшую власть.

Приведу нѣсколько примѣровъ.

Пятая заповѣдь Толстого, какъ извѣстно, гласить: «люби враговъ твоего народа».

Человѣкъ, провозгласившій эту заповѣдь, когда-то былъ патріотомъ.

Онъ переводится въ Севастополь «больше всего изъ патріотизма, который въ то время сильно напалъ на него». Патріотическими чувствами полны его письма изъ Севастополя и севастопольскіе рассказы. Онъ проектируетъ изданіе патріотическаго журнала для солдатъ. Еще въ 1861 году онъ пользуется въ своей школѣ «національнымъ чувствомъ», чтобы пріохотить дѣтей къ исторіи. Имъ рассказываютъ про Куликовскую битву, и дѣти, конечно, въ восторгѣ отъ того, что «кровь рѣкой лилась». Для тѣхъ же цѣлей пользуется онъ исторіей 1612 и, наконецъ, 1812 годовъ. Особенный успѣхъ имѣетъ его рассказъ о Наполеонѣ и Александрѣ. Рассказъ этотъ ведется «въ почти сказочномъ тонѣ, *большею частью исторически невярно*» и съ группировкою событій около одного лица. Національное чувство и даже націоналистическія страсти, дѣйствительно, возбуждаются. Аудиторія слушаетъ со страстнымъ вниманіемъ. Постоянные перерывы, возгласы. Дѣти восторгаются тѣмъ, какъ «окорячили» Кутузовъ Наполеона, и «ухажютъ» всѣмъ классомъ на стоящаго тутъ же учителя-нѣмца. — Sie haben ganz Russisch erzählt, говоритъ Толстому нѣмецъ по окончаніи класса. — Вы бы послушали, какъ у насъ рассказываютъ эту исторію. Вы ничего не сказали о нѣмецкихъ битвахъ за сво-



боду. — «Я совершенно согласился съ нимъ», пишетъ Левъ Николаевичъ, «что мой *разсказъ — не была исторія, а сказка, возбуждающая народное чувство*»<sup>1)</sup>.

Я не хочу сказать, что патріотизмъ, въ вульгарнсмъ смыслѣ слова, былъ очень сильною страстью Толстого. Напротивъ, я думаю, этотъ демонъ, сравнительно, мучилъ его всего меньше и, скорѣе всѣхъ другихъ, сталъ безкровнымъ и отпаль.

Но было время, когда и онъ владѣлъ Толстымъ. И вотъ въ самый разгаръ этого времени патріотизмъ Толстого подвергается испытанію.

Лѣтомъ 1862 года въ Ясной Полянѣ, въ отсутствіи Льва Николаевича (онъ лѣчился на кумысѣ), произведенъ былъ обыскъ. Происшествіе у насъ, въ Россіи, довольно будничное. Каждый день каждый изъ насъ рискуетъ, безъ обвиненія и даже безъ допроса, по доносу сотрудниковъ охраннаго отдѣленія, попасть въ тюрьму, лишиться мѣста и заработка, видѣть голодающую семью, путешествовать пѣшкомъ по этапу, терпѣть, вмѣстѣ съ каторжанами, почти безпредѣльные несчастія и униженія и, наконецъ, голодать вмѣстѣ съ семьей въ мѣстахъ «не столь отдаленныхъ». У насъ это практика каждаго дня. И ежегодно тысячи семей переживаютъ эту муку и гибнуть. Что ужъ тутъ обыскъ!... Мы все терпимъ. А толстовскіе Левины даже приговариваютъ: «княжите и владѣйте нами. Мы радостно общаемъ полную покорность. *Весь трудъ, всѣ униженія, всѣ эсертвы мы беремъ на себя; но не мы судимъ и рѣшаемъ*».

Но вотъ что пишетъ теткѣ Левъ Николаевичъ, когда обыскъ затронулъ его самого:

«... Хороши ваши друзья! Вѣдь всѣ Потаповы, Долгорукіе и Аракчеевы и равелины — это все ваши друзья! Мнѣ пишутъ изъ Ясной: 1-го іюля пріѣхали три тройки съ жандармами, не велѣли никсму выходить, должно-быть и тетенькѣ, и стали обыскивать. — Что они искали, — до сихъ поръ неизвѣстно. Какой-то изъ вашихъ друзей, грязный полковникъ, перечиталъ всѣ мои письма и дневники, которые я только передъ смертью думалъ поручить тому другу, который будетъ мнѣ тогда ближе всѣхъ; перечиталъ двѣ переписки, за тайну которыхъ я бы отдалъ все на свѣтѣ, — и уѣхалъ, объявивъ, что онъ *подозрительнаго* ничего не нашель. Счастье мсе и этого вашего друга, что меня тутъ не было, — я бы его убилъ. Мило! славно! Вотъ какъ дѣлаетъ себѣ друзей правительство. Ежели вы меня помните съ моей политической стороны, то вы знаете, что всегда и особенно со времени мсей любви къ школѣ, я былъ совершенно равнодушенъ къ правительству и еще болѣе равнодушенъ къ теперешнимъ либераламъ, которыхъ я презираю отъ души. Теперь я не могу сказать этого. Я имѣю злобу и отвращеніе, почти ненависть къ тому милому правительству, которое обыскиваетъ у меня литографскіе и типографскіе станки для перепечатыванія прокламацій Герцена, которыя я презираю, которыя я не имѣю терпѣнія дочестъ отъ скуки. Это фактъ — у меня разъ лежали недѣлю всѣ эти прелести — прокламаціи и Колоколь, и я такъ и отдалъ, не прочтя. Мнѣ это скучно, я все это знаю и презираю не для фразы, а отъ всей души. И вдругъ меня обыскиваютъ съ студентами<sup>2)</sup>, все равно, ежели бы

<sup>1)</sup> Сочин., т. IV, стран. 282, 283, 289—291 (курсивъ мой).

<sup>2)</sup> Псмошники Л. Н. по школѣ.

вась стали обыскивать, подозрѣвая въ убитомъ ребенкѣ. Право, это не такъ еще оскорбительно. Ежели они знаютъ и заботятся о моемъ существованіи, то имъ бы можно узнать лучше. Милые ваши друзья! Я еще не видалъ тетеньки, но воображаю ее. — Какъ-то я писалъ вамъ о томъ, что нельзя искать тихаго убѣжища въ жизни, а надо трудиться, работать, страдать. Это все можно, но ежели бы можно было уйти куда-нибудь отъ этихъ разбойниковъ съ вымытыми душистымъ мыломъ щеками и руками, которые привѣтливо улыбаются! Я, право, уйду, коли еще проживу долго, въ монастырь, не Богу молиться—это не нужно по-моему, — а не видать всю мерзость житейскаго разврата — напыщеннаго, самодовольнаго и въ эполетахъ и кринолинахъ. — Тьфу! — Какъ вы, отличный человекъ, живете въ Петербургѣ! Этого я никогда не пойму, или у вась ужъ катаракты на глазахъ, что вы не видите ничего»<sup>1)</sup>).

Это удивительное письмо послано въ концѣ іюля или въ началѣ августа 1862 года съ дороги домой, изъ Москвы.

7-го августа, изъ Ясной Поляны онъ пишетъ еще разъ громадное письмо. Къ сожалѣнію, я могу привести изъ него лишь краткія выдержки. «...Чѣмъ дольше я въ Ясной, тѣмъ больнѣй и больнѣй становится мнѣ нанесенное оскорбленіе, и невыносимѣе становится вся испорченная жизнь. Я пишу это письмо обдуманно, стараясь ничего не забыть и ничего не прибавить, съ тѣмъ, чтобы вы показали его разнымъ разбойникамъ Потаповымъ и Долгорукимъ, которые умышленно сѣютъ ненависть противъ правительства и роняютъ государя во мнѣніи его подданныхъ...» Дѣла этого онъ «никакъ не хочетъ и не можетъ» оставить и желаетъ найти способы передать письмо государю. «Выхода мнѣ нѣтъ другого, какъ получить такое же гласное удовлетвореніе, какъ и оскорбленіе (поправить дѣло уже невозможно), или *экспатріироваться, на что я твердо рѣшился*. Къ Герцену я не поѣду: Герценъ самъ по себѣ, я самъ по себѣ. *Я и прятаться не стану, я громко объявляю, что продаю имѣнія, чтобы уѣхать изъ Россіи, гдѣ нельзя знать минутой впередъ, что меня и сестру, и жену, и мать не скуютъ и не высъкуютъ, — и уйду*...» «Я часто говорю себѣ, какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я былъ, то вѣрно бы уже судился, какъ убійца». «...Мы волей-неволей, при каждомъ колокольчикѣ думаемъ, что ѣдутъ вести куда-нибудь. У меня въ комнатѣ заряжены пистолеты, и я жду минуты, когда все это разрѣшится чѣмъ-нибудь...»

Его средства борьбы съ такими порядками (кромѣ заряженныхъ пистолетовъ) исчерпываются тѣмъ, чтобы освѣдомить о случившемся государя. «Ежели же все это такъ должно быть и государю представлено, что безъ этого нельзя, *то надо уйти туда, гдѣ можно знать, что, ежели я не преступникъ, я могу прямо носить голову, или стараться разуверить государя, что безъ этого невозможно...*»<sup>2)</sup>

Толстой получилъ удовлетвореніе, хотя и весьма скромное. Вмѣстѣ съ тѣмъ для него стало очевиднымъ, что ненавистные ему порядки извѣстны государю. Но онъ сдался безъ дальнѣйшей борьбы: въ то время рѣшалась судьба его любви

<sup>1)</sup> Переписка съ гр. А. А. Толстой, стран. 162—163.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стран. 163—167 (курсивъ вездѣ мой).

и женитьбы, и было не до протестовъ и не до переѣзда навсегда за границу<sup>1)</sup>.

Другой случай, когда Толстой рѣшилъ было навсегда покинуть родину и принять иностранное подданство, имѣлъ мѣсто въ 1872 году. Случай этотъ еще характернѣе.

Молодой быкъ Толстого убилъ пастуха. Приѣхалъ слѣдователь и взялъ со Льва Николаевича подписку о невыѣздѣ изъ Ясной Поляны, такъ какъ онъ обвиняется въ противозаконномъ дѣйствіи, отъ котораго произошла смерть. Толстой пишетъ:

«Съ сѣдой бородой, съ 6-ю дѣтьми, съ сознаниемъ полезной и трудовой жизни, съ твердой увѣренностью, что я не могу быть виновнымъ, съ презрѣніемъ, котораго я не могу не имѣть къ судамъ новымъ, сколько я ихъ видѣлъ<sup>2)</sup>, съ однимъ желаніемъ, чтобы меня оставили въ покоѣ, какъ я всѣхъ оставляю въ покоѣ, невыносимо жить въ Россіи, съ страхомъ, что каждый мальчикъ, которому лицо мое не понравится, можетъ заставить меня сидѣть на лавкѣ передъ судомъ, а потомъ въ острогѣ; но перестану злиться. Всю эту исторію вы прочтете въ печати. Я умру отъ злости, если не изолью ее, и пусть меня судятъ за то еще, что я высказалъ правду. Расскажу, что я намѣренъ дѣлать и чего прошу у васъ. Если я не умру отъ злости и тоски въ острогѣ, куда они, вѣроятно, посадятъ меня (я убѣдился, что они ненавидятъ меня), я рѣшился переѣхать въ Англію навсегда или до того времени, пока свобода и достоинство каждаго человѣка не будетъ у насъ обезпечена. Жена смотритъ на это съ удовольствіемъ — она любитъ англійское, для дѣтей это будетъ полезно, средствъ у меня достанетъ (я наберу, продавъ все, тысячъ 200); самъ я, какъ ни противна мнѣ европейская жизнь, надѣюсь, что тамъ я перестану злиться и буду въ состояніи тѣ немногіе годы жизни, которые остаются, провести спокойно, работая надъ тѣмъ, что мнѣ еще нужно написать. Планъ нашъ состоитъ въ томъ, чтобы поселиться сначала около Лондона, а потомъ выбрать красивое и здоровое мѣстечко около моря, гдѣ бы были хорошія школы, и купить домъ и земли. Для того, чтобы жизнь въ Англіи была пріятна, нужны знакомства съ хорошими аристократическими семействами. Въ этомъ-то вы можете помочь мнѣ... Два, три письма, которыя бы открыли намъ двери хорошаго англійскаго круга. Это необходимо для дѣтей, которымъ придется тамъ вырасти... Тяжелѣе для меня всего — это злость моя. Я такъ люблю любить, а теперь не могу не злиться.

---

<sup>1)</sup> Замѣчательно, что черезъ три года (въ 1865 г.) Толстой самъ рѣшается обратиться съ просьбой къ жандармамъ, которыхъ честитъ такъ въ вышеприведенныхъ письмахъ, и даже къ тому же самому шефу жандармовъ Долгорукову, чтобы, въ обходъ суда, выиграть тяжбу своей сестры противъ мѣщанки Гольцовой; съ Гольцовой этой жилъ гр. Вал. Толстой и оставилъ ей свое состояніе. Жандармы резонно совѣтуютъ ему обратиться къ судебнымъ установленіямъ. «Этотъ отвѣтъ, пишетъ Л. Н., какъ всѣ за № бумаги, такъ глупо дерзко, что въ наказаніе за этотъ отвѣтъ можно и быть importun (назойливымъ). Точно безъ него не знаютъ, что имѣютъ право обратиться въ присутственныя мѣста. Ежели бы та самая мѣщанка Гольцова, на которую просятъ, написала жалобу князю Долгорукову, то меньше этого нельзя бы было и ей отвѣтить». (Тамъ же, стран. 208 и 218.)

<sup>2)</sup> Можно подумать, что суды старые, дореформенные были лучше. Но почему же? Потому только, что они не рѣшились бы тронуть графа Толстого?



Я читаю и «Отче нашъ» и 37 псаломъ, и на минуту, особенно «Отче нашъ» успокоиваетъ меня; и потомъ я опять киплю и ничего дѣлать, думать не могу; — бросилъ работу, какъ глупое желаніе отмстить, тогда какъ мстить некому. Только теперь, когда я сталъ приготовляться къ отъѣзду и твердо рѣшился, я сталъ спокойнѣе и надѣюсь скоро опять найти самого себя»<sup>1)</sup>.

Все обошлось, конечно, вполне благополучно: предсѣдатель суда написалъ Льву Николаевичу извинительное письмо. Къ тому же

«Нынче случилось то, что утишило мою досаду еще до полученія письма. Утромъ жена разболѣлась сильнѣйшей лихорадкой и болью въ груди, угрожающей грудницей (она кормить), и я вдругъ почувствовалъ, что не имѣть человѣкъ права располагать своей жизнью и семьей особенно. И такъ мелка мнѣ показалась и моя досада и оскорбленія, что я усумнился, поѣду ли я?...»<sup>2)</sup>.

Я много говорилъ выше о сословныхъ предразсудкахъ и вкусахъ Толстого. Тѣ и другіе владѣли имъ такъ явно, что Фетъ могъ написать въ своихъ воспоминаніяхъ слѣдующее: «Мы уже видѣли, какъ при тяготѣннй нашей интеллигенціи къ идеямъ, вызвавшимъ освобожденіе крестьянъ, сама дворянская литература дошла въ своемъ увлеченіи до *оппозиціи кореннымъ дворянскимъ интересамъ, противъ чего святой неизломанный инстинктъ Льва Толстого такъ возмущался*»<sup>3)</sup>.

Въ февралѣ 1861 года Толстой былъ назначенъ мировымъ посредникомъ. Назначеніе это явилось для него неожиданностью<sup>3)</sup>. Онъ жилъ въ Лондонѣ и выѣхалъ въ Россію, хотя не торопился вернуться домой и два съ лишнимъ мѣсяца осматривалъ школы Германіи. Въ маѣ онъ вступилъ въ должность и уже въ апрѣлѣ 1862 года фактически оставилъ ее, утомленный неравной борьбой съ дворянствомъ. «Вопли противъ моего посредничества дошли и до васъ», пишетъ онъ гр. А. А. Толстой, «но я просилъ два раза суда, и оба раза судъ объявилъ, что я не только правъ, но что и судить не въ чемъ; но не только передъ ихъ судомъ, передъ своей совѣстью я знаю, особенно послѣднее время, что я смягчалъ, слишкомъ смягчалъ законъ въ пользу дворянъ»<sup>4)</sup>. Подчеркнутыя слова едва ли справедливы: фактическія данныя указываютъ, что Толстой, въ предѣлахъ закона, равно отстаивалъ интересы обѣихъ сторонъ и потому именно сталъ очень скоро ненавистенъ мѣстному дворянству. «Посредничество интересно и увлекательно», пишетъ онъ въ іюлѣ 1861 года, но нехорошо то, что все дворянство возненавидѣло меня всѣми силами души и суютъ мнѣ *des batons dans les roues* со всѣхъ сторонъ»<sup>5)</sup>. Дѣйствительно, рѣшенія его систематически отмѣнялись уѣзднымъ сѣздомъ; «онъ получалъ множество писемъ съ угрозами всякаго рода: его собирались и побить, и застрѣлить на дуэли; на него писались доносы»<sup>6)</sup>.

<sup>1)</sup> Тамъ же, стран. 235—236. (Письмо все очень интересно; въ текстѣ приведены лишь выдержки).

<sup>2)</sup> Тамъ же, стран. 239.

<sup>3)</sup> «Мои воспоминанія», I, 132.

<sup>4)</sup> Переписка съ гр. А. А. Толстой, стран. 164.

<sup>5)</sup> Тамъ же, стран. 155.

<sup>6)</sup> Свидѣтельство Евг. Маркова (см. Бирюковъ, ц. с., I. 458).

Взявшись за дѣло, онъ страстно, прямолинейно и безукоризненно честно велъ его.

Но зачѣмъ онъ за него взялся?

Противъ назначенія его велась интрига. Уѣздный и губернский предводители дворянства отстраняли его «подъ предлогомъ несочувствія къ нему мѣстныхъ дворянъ». Губернский предводитель жаловался министру на это назначеніе, «зная несочувствіе къ нему крапивенскаго дворянства за распоряженія его въ своемъ собственномъ хозяйствѣ».

Слухи объ этихъ интригахъ дошли до Толстого. Этого было достаточно, чтобы онъ принялъ назначеніе. «Я не посмѣлъ отказаться», пишетъ онъ въ августѣ 1862 года, «передъ своей совѣстью и въ виду того ужаснаго, грубаго и жестокаго дворянства, которое обѣщалось меня съѣсть, ежели я пойду въ посредники»<sup>1)</sup>.

Такъ что и это пристрастіе (къ дворянству и аристократіи) не выдержало при столкновеніи съ личной гордостью и личными отношеніями.

Толстой говоритъ гдѣ-то о своемъ «почти органическомъ» влеченіи къ простому народу (крестьянамъ). Онъ, дѣйствительно, любилъ и зналъ народъ. Онъ любилъ входить въ его жизнь, бесѣдовать съ нимъ, работать. «Понравилось Левочкѣ», рассказывалъ гр. Н. Н., «какъ работникъ Юфанъ растопыриваетъ руки при пахотѣ. И вотъ Юфанъ для него эмблема сельской силы, въ родѣ Микулы Селяниновича. Онъ самъ, широко разставляя локти, берется за соху и юфанствуетъ»<sup>2)</sup>.

Онъ нашель въ народѣ «смѣтливость, огромный запасъ свѣдѣній изъ практической жизни, шутливость, простоту, отвращеніе ко всему фальшивому». У крестьянскихъ ребятъ онъ собирался учиться художественному творчеству. У народа онъ искалъ, вмѣстѣ со своимъ Левинымъ, потерянной религіи и смысла жизни. И Тургеневъ, въ 1863 году, не даромъ писалъ: «Знаться съ народомъ необходимо, но истерически льнуть къ нему, какъ беременная женщина, бессмысленно».

Но для освобожденія народа отъ рабства, надо сказать это, онъ не сдѣлалъ ничего. Онъ не только не поступился для народа малѣйшею долей своихъ личныхъ интересовъ, но, повидимому, и къ самому акту освобожденія, пока послѣднее не стало надвигающимся актомъ правительственной политики (онъ думалъ: воли государя), относился равнодушно. Нельзя, конечно, приписывать это *только* матеріальнымъ соображеніямъ. Толстой тратилъ много денегъ на крестьянскія школы и отдавалъ этому дѣлу душу и время. Въ равнодушіи къ великой реформѣ сыграли роль его общіе взгляды на ничтожное значеніе всяческихъ *внѣшнихъ* реформъ и учреждений, на большую важность освобожденія отъ цѣпей внутреннихъ и т. п. Къ тому же онъ считалъ, вѣроятно, дѣломъ совѣсти — установленіе справедливыхъ отношеній къ своимъ «подданнымъ» и не могъ дружелюбно отнестись ко вмѣшательству государства въ эту интимную область. Онъ упорно закрывалъ глаза на ужасы крѣпостного права, и въ 1862 году, не видя

<sup>1)</sup> Переписка съ гр. А. А. Толстой, стран. 164.

<sup>2)</sup> Фетъ. «Мои воспоминанія», I, 237.

смягченія нравовъ въ освобожденіи крестьянъ, имѣлъ смѣлость писать: «я не нахожу, чтобы отношенія фабриканта къ работнику были человѣчнѣе отношеній помѣщика къ крѣпостному»<sup>1)</sup>...

Отъ природы доброе, мягкое, любящее сердце Толстого, въ то отдаленное время, открывалось вполнѣ лишь въ кругу близкихъ ему людей — немногихъ друзей, если они мягко принимали всѣ «фазы его развитія», и близкихъ родственниковъ. Этотъ боецъ, непреклонный и суровый, въ домашнемъ быту былъ обворожителенъ: неистощимо веселъ, всегда оригиналенъ, остеръ, шутивъ и нѣженъ, какъ любящая женщина. Прелестны его отношенія къ старенькой тетушкѣ Татьянѣ Александровнѣ Ергольской, надъ письмами которой онъ плакалъ отъ умиленія и любви<sup>2)</sup>. Своихъ братьевъ и сестру онъ любилъ нѣжно, преданною любовью.

Вообще вездѣ въ жизни, гдѣ онъ не встрѣчалъ оппозиціи, обильно проявлялись дары его богатой натуры. Въ обществѣ, гдѣ онъ могъ быть центромъ, съ дѣтьми, народомъ, прислугой, покорными друзьями — онъ былъ очарователенъ и неизмѣнно вносилъ съ собою всюду атмосферу веселья и счастья. Такъ было съ посторонними. Еще больше сказывалось это въ его родной семьѣ.

Но и здѣсь не обошлось безъ конфликта съ личною жизнью. Братъ его, Дмитрій, умеръ въ Орлѣ отъ чахотки въ обстановкѣ, до мелочей воспроизведенной въ «Аннѣ Карениной» (смерть Николая Левина). Левъ Николаевичъ пріѣзжалъ къ нему изъ Петербурга ненадолго и не нашелъ въ себѣ силъ остаться при братѣ.

«Я былъ особенно отвратителенъ въ эту пору», пишетъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ. «Я пріѣхалъ въ Орель изъ Петербурга, гдѣ я ѣздилъ въ свѣтъ и былъ весь полонъ тщеславія. Мнѣ жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся въ Орлѣ и уѣхалъ, и онъ умеръ черезъ нѣсколько дней. Право, мнѣ кажется, мнѣ въ его смерти было самое тяжелое то, что она помѣшала мнѣ участвовать въ придворномъ спектаклѣ, который тогда устраивался и куда меня приглашали»<sup>3)</sup>.

20 сентября 1860 года въ Гіерѣ умеръ его старшій братъ Николай, также отъ чахотки. Это былъ прелестный, слегка насмѣшливый, добрый человѣкъ, въ жизни своей осуществившій, по словамъ Тургенева, все, что проповѣдывалъ Левъ Николаевичъ. За границу увезъ его въ послѣднемъ градусѣ чахотки графъ Сергѣй Николаевичъ. Они поселились въ Соденѣ. 3-го іюля къ нимъ выѣхали за границу Левъ Николаевичъ съ сестрою. Сначала Левъ Николаевичъ застрялъ въ Берлинѣ, потомъ проѣхалъ въ Лейпцигъ и въ Дрезденъ черезъ Саксонскую Швейцарію. Онъ прошелъ пѣшкомъ Гарцъ, побывалъ въ Тюрингенскихъ городахъ и изъ Эйзенаха пробрался въ Варцбургъ. Вездѣ онъ дѣятельно изучалъ народныя школы и знакомился съ педагогами. Между тѣмъ гр. Николай Николаевичъ писалъ отъ 19-го іюля: «Сестра съ дѣтьми пріѣхала въ Соденъ и будетъ въ немъ жить и пѣчиться, дядя Леушка остался въ Киссингенѣ въ пяти часахъ отъ Содена, и не ѣдетъ въ Соденъ, такъ что я его не видалъ»<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Сочин., IV, 158.

<sup>2)</sup> Масса интереснѣйшихъ писемъ написано имъ этой старушкѣ (см. Біографію, составленную г. Бирюковымъ).

<sup>3)</sup> Бирюковъ. Біографія, I, 290—291.

<sup>4)</sup> Бирюковъ, ц. с., I, 370.



6-го августа уѣхалъ въ Россію гр. Сергѣй Николаевичъ и по дорогѣ, въ Киссингенъ сообщилъ брату Льву «серіозныя опасенія» за здоровье Николая. Черезъ три дня пріѣхалъ въ Киссингенъ и самъ больной, чтобы повидаться, наконецъ, со Львомъ Николаевичемъ. Онъ снова вернулся одинъ въ Соденъ, а Левъ Николаевичъ «прсбылъ еще нѣкоторое время въ Гарцѣ, наслаждаясь природой и посвящая свободное время чтенію книгъ»<sup>1)</sup>.

Наконецъ, 26-го августа онъ прибылъ въ Соденъ и уже не покидалъ брата до послѣдней минуты.

Впрочемъ, смерть эта произвела на него громадное впечатлѣніе. Онъ пишетъ гр. А. А.: «Два мѣсяца я часъ за часомъ слѣдилъ за его погасаніемъ, и онъ умеръ буквально на моихъ рукахъ. Мало того, что это одинъ изъ лучшихъ людей, которыхъ я встрѣчалъ въ жизни, что онъ былъ братъ, что съ нимъ связаны лучшія воспоминанія моей жизни, — это былъ лучший мой другъ. Тутъ разговаривать нечего; вы, можетъ-быть, это знаете, но не такъ, какъ я; не то, что половина жизни оторвана, но вся энергія жизни съ нимъ похоронена. Не зачѣмъ жить, коли онъ умеръ — и умеръ мучительно; такъ что же тебѣ будетъ? — Еще хуже. — Вамъ хорошо, ваши мертвые живутъ тамъ, вы свидитесь съ ними (хотя мнѣ всегда кажется, что искренно нельзя этому вѣрить — было бы слишкомъ хорошо); а мои мертвые исчезли, какъ сгорѣвшее дерево. Вотъ ужъ мѣсяцъ я стараюсь работать, опять писать, что я было бросилъ, но самому смѣшно. Въ Россію ѣхать не зачѣмъ. Тутъ я живу, тутъ могу и жить...»<sup>2)</sup>.

Ничто, быть-можетъ, не было столь постоянною и столь завѣтною мечтою Толстого, какъ собственная семья — бракъ, дѣти. Его дневники и интимныя письма переполнены этимъ вопросомъ. Но ему трудно было найти себѣ подходящую подругу жизни. Ему нужно почувствовать *настоящую* любовь. Для этого предметъ его страсти долженъ, конечно, удовлетворять весьма высокимъ требованіямъ по части ума, простоты, искренности, красоты. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это должна быть прежде всего здоровая и сильная мать его дѣтей, способная сама кормить ихъ и воспитывать. На все она обязана смотрѣть глазами мужа, во всемъ быть его помощницей. Обладая свѣтскимъ лоскомъ, она обязана забыть свѣтъ, поселиться съ мужемъ въ деревнѣ и цѣликомъ посвятить себя семьѣ. Его попытки жениться долго не имѣли успѣха. Однажды онъ былъ близокъ къ браку. Въ 1856 году онъ увлекся барышней, которой уже сдѣлалъ было предложеніе. Но дѣвица закружилась въ свѣтѣ, и послѣ длиннаго и довольно тяжелаго для обѣихъ сторонъ романа, Левъ Николаевичъ взялъ свое слово обратно.

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ Толстой чувствовалъ себя особенно плохо. Смерть любимого брата, ошутительное паденіе литературной репутаціи, отсутствіе вѣры въ значеніе литературной дѣятельности, неудачи съ посредничествомъ, неудачи съ хозяйствомъ, напряженная работа въ школахъ и педагогическомъ журналѣ, опасенія, что подходятъ годы, когда поздно уже будетъ осуществить

<sup>1)</sup> Тамъ же, I, стран. 372—373.

<sup>2)</sup> Переписка и пр., стран. 142 (письмо отъ 17/29 октября 1860 года). Ср. замѣчательное письмо о томъ же къ Фету («Мои воспоминанія», I, 350—351).

завѣтную мечту о женитьбѣ — все соединилось, чтобы потрясти его могучій организмъ и вызвать тяжелое, пессимистическое настроеніе.

«Въ продолженіе года», пишетъ онъ въ «Исповѣди», «я занимался посредничествомъ, школами и журналомъ и такъ измучился, оттого особенно, что запутался, такъ мнѣ тяжела стала борьба по посредничеству, такъ смутно проявлялась дѣятельность моя въ школахъ, такъ противно мнѣ стало мое вліяніе въ журналѣ, состоявшее все въ одномъ и томъ же — въ желаніи учить всѣхъ и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирамъ — дышать воздухомъ, пить кумысъ и жить животною жизнью».

Возвратясь оттуда, Толстой сталъ часто бывать въ семьѣ доктора Берса, женатаго на подругѣ его дѣтства. Хозяйка дома, можно сказать, глава его, красивая, величавая брюнетка, родилась въ семьѣ тѣхъ самыхъ Исленевыхъ, которыхъ описалъ Левъ Николаевичъ въ «Дѣтствѣ», «Отрочествѣ» и «Юности» подъ именемъ Иртеневыхъ. Три ея дочери (младшая имѣла прекрасное контральто), «несмотря на бдительный надзоръ матери и безукоризненную скромность, обладали тѣмъ привлекательнымъ оттѣнкомъ, который французы обозначаютъ словомъ «du chien»<sup>1)</sup>. Судя по портрету, средняя изъ нихъ, Софья Андреевна была очень интересна. Ей минуло 18 лѣтъ. Училась она дома, но сдала экзаменъ на домашнюю учительницу. Она вела дневникъ, пыталась писать повѣсти и обнаруживала способности къ живописи<sup>2)</sup>).

Исторію своей любви, предложенія и первыхъ лѣтъ семейнаго счастья Левъ Николаевичъ разсказалъ на страницахъ «Анны Карениной» (романъ Левина). Левъ Николаевичъ не могъ раскаиваться въ своемъ выборѣ. Молодая жена была вѣрной помощницей во всѣхъ его дѣлахъ. Весной 1863 года онъ писалъ Фету: «Притомъ я въ *юхѣнствѣ* опять по уши. И Соня со мной. Управляющаго у насъ нѣтъ, есть помощники по полевому хозяйству и постройкамъ, а она одна ведетъ контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый садъ, и винокурня. И все идетъ понемножку, хотя, разумѣется, плохо сравнительно съ идеаломъ»<sup>3)</sup>...

28 іюня 1863 года у нихъ родился первый сынъ — Сергѣй.

«Въ бытность мою въ Ясной Полянѣ», пишетъ С. А. Берсъ, «я былъ едва ли не самый ближайшій свидѣтель ихъ семейной жизни. Близость, дружба и взаимная любовь этой четы всегда служили для меня образцомъ и идеаломъ супружескаго счастья. Достаточно упомянуть, что мои покойные родители, подобно всѣмъ родителямъ, всегда недовольные участію своихъ дѣтей, говорили: «Сонѣ лучшаго счастья пожелать нельзя!» Всю свою жизнь она поклоняется его генію и ему самому, а любовь ея къ мужу безгранична... Подобно людямъ, поклоняющимся какому-нибудь драгоценному источнику и охраняющимъ его, такъ обращается жена Льва Николаевича съ нимъ самимъ и его произведеніями. При свойственной всѣмъ геніямъ безопасности трудъ ея не только большой, но и сложный. Замѣчу кстати, что романъ «Война и миръ» начать тотчасъ послѣ женитьбы и написанъ

<sup>1)</sup> Фетъ. «Мои воспоминанія», I, 388.

<sup>2)</sup> С. А. Берсъ. Воспоминанія о гр. Л. Н. Толстомъ, 13.

<sup>3)</sup> Фетъ. «Мои восп.», I, 418.

въ теченіе восьми лѣтъ<sup>1)</sup>). Въ этотъ промежутокъ времени она, исполняя всѣ обязанности матери четырехъ дѣтей, родившихся за это время, а также и хозяйки дома, семь разъ переписала этотъ романъ. Она одна умѣетъ собрать и привести въ порядокъ всѣ клочки и бумаги, на которыхъ писались драгоценныя строки. Она одна умѣетъ разобрать его въ высшей степени нечеткій почеркъ и изъ поспѣшно сдѣланныхъ имъ, вмѣсто цѣлыхъ словъ, неясныхъ штриховъ и линеекъ, воспроизвести именно то, что мыслилъ и хотѣлъ написать ея мужъ. Онъ часто самъ удивлялся этому... Я помню, какъ одновременно съ этимъ трудомъ и съ заботами хозяйки дома, доходившими до подробностей въ кухнѣ, она сама успѣвала кормить, учить и обшивать дѣтей до десятилѣтняго возраста. Въ настоящее время (1891 г.) у Льва Николаевича девять человѣкъ дѣтей... старшій 28-младшій 3 лѣтъ. Всѣхъ дѣтей, за исключеніемъ второй дочери, вскормила сама мать, такъ что, когда ученіе Льва Николаевича еще не существовало, семья его не отнимала чужихъ матерей. Впрочемъ, послѣ рожденія второй дочери мать заболѣла отъ неосторожности прислуги и была при смерти. Послѣ нѣсколькихъ попытокъ она все-таки не могла кормить. Когда же она увидѣла, какъ дочь ея кормить кормилица, она плакала отъ ревности и безусловно удалила кормилицу, а ребенокъ былъ вскормленъ на рожкѣ. Левъ Николаевичъ находилъ эту ревность естественною и восхищался чадолюбіемъ жены<sup>2)</sup>).

Всѣ свидѣтели сходятся въ описаніи того, какъ жила молодая чета: это было полное сіяніе счастья. Самъ Левъ Николаевичъ 5 января 1863 года записываетъ въ своемъ дневникѣ: «Счастье семейное поглощаетъ меня», а 8-го февраля: «Мнѣ такъ хорошо, такъ хорошо, такъ ее люблю».

Его письма въ первые годы семейной жизни отражаютъ то, что на языкѣ плохихъ романистовъ называется «безумнымъ счастьемъ». Я не могу, конечно, привести здѣсь и ничтожной части этихъ писемъ, которыя изъ года въ годъ поютъ хвалу счастью Льва Николаевича. Ограничусь однимъ примѣромъ: «Пишу изъ деревни, пишу и слышу наверху голосъ *женны*, которая говоритъ съ братомъ и которую я люблю больше всего на свѣтѣ. Я дожилъ до 34, лѣтъ и не зналъ, что можно такъ любить и быть такъ счастливымъ. Когда буду спокойнѣе, напишу вамъ длинное письмо — не то, что спокойнѣе, — я теперь спокоенъ и ясенъ, какъ никогда не бывалъ въ жизни, — но когда буду привычнѣе. Теперь у меня постоянно чувство, какъ-будто я укралъ незаслуженное, незаконное, не мнѣ назначенное счастье. Вотъ она идетъ, я ее слышу, и такъ хорошо. Благодарю васъ за послѣднее письмо. И за что меня любятъ такіе хорошіе люди, какъ вы, и что всего удивительнѣе, какъ такое существо, какъ моя жена»<sup>3)</sup>).

На этомъ безоблачномъ горизонтѣ появляются иной разъ тучки. Бываетъ, что Левъ Николаевичъ «чувствуетъ ревность къ человѣку, который бы вполнѣ стоилъ» его жены... Повидимому, возникаютъ моменты раздоровъ и разногласій и болѣе серіозныхъ. Намѣчаются какъ-будто и первые симптомы разницы во мнѣ-

<sup>1)</sup> Это неточно.

<sup>2)</sup> С. А. Берсъ. Воспоминанія о гр. Л. Н. Толстомъ, См. 1893, стран. 14—16.

<sup>3)</sup> Переписка съ гр. А. А. Толстой, 178—179.



ніяхъ. Онъ пишетъ въ дневникѣ «...А малѣйшій проблескъ пониманія и чувства, и я опять весь счастливъ и вѣрю, что она понимаетъ вещи, какъ и я».

Демонъ семейныхъ отношеній всего дольше держалъ Льва Николаевича въ своей власти. Но съ годами и онъ сталъ блѣднѣть и выдыхаться передъ судомъ новой внутренней работы, совершавшейся въ немъ. Его жена, какъ извѣстно, не пошла за нимъ въ новыя, открытыя имъ страны. Она осталась тою же, какой была въ первые годы послѣ свадьбы. Со свойственной ей прямою, она продолжала любить все, что такъ поглощало первые годы ихъ жизни (семью, беллетристику, литературную славу, достатокъ). Она откровенно «презираала» многое изъ того, что ему теперь было дорого; остальному сочувствовала весьма платонически. И онъ снова остался одинъ. Въ 1882 году онъ пишетъ корреспонденту, котораго никогда не видѣлъ: «Вы не можете и представить себѣ, до какой степени я одинокъ, до какой степени то, что есть настоящій «я», презираемо всѣми, окружающими меня»<sup>1)</sup>.

Въ 1889 году, когда ему уже за шестьдесятъ, а супругъ его еще 45 лѣтъ, онъ выпускаетъ «Крейцерову сонату»...

Въ 1896 году онъ пишетъ свое извѣстное письмо гр. Софѣ Андреевнѣ...

А въ 1908 году онъ говорилъ, по словамъ Н. Н. Гусева: «Не желаю никому изъ васъ жениться»... одинъ крестьянинъ «семь лѣтъ жилъ въ хлыстахъ и не жилъ съ женой. А потомъ, говоритъ, поскользнулся. Если поскользнулся — что же дѣлать; но нарочно падать лицомъ въ грязь не слѣдуетъ»<sup>2)</sup>. И въ другой разъ: «Да, совсѣмъ не нужно соединяться съ семьею. Соединеніе съ семьею — это источникъ величайшаго зла...»<sup>3)</sup>. И еще: «Вчера вечеромъ, передъ сномъ, у меня былъ разговоръ со Львомъ Николаевичемъ... о его семейной жизни. Такъ какъ онъ былъ слишкомъ интимнаго характера, не буду приводить его. Скажу только, что на мой вопросъ о семьѣ, — продолжаетъ ли Л. Н. теперь думать то же, что онъ писалъ 25 лѣтъ тому назадъ въ книгѣ «Въ чемъ моя вѣра»: что семья есть одно изъ несомнѣнныхъ условій счастья, — онъ рѣшительно отвѣтилъ: Нѣтъ, теперь я прямо отрекаюсь отъ этого»<sup>4)</sup>.

Женитьба, по сознанію Льва Николаевича, «страшно» перемѣнила его. Еще недавно (см. выше) онъ говорилъ: «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вѣчно бороться и лишаться. А спокойствіе — душевная подлость».

Теперь (январь 1865 г.) онъ пишетъ: «Я тогда ошибался: такое счастье (ровное, спокойное, безъ трудовъ, обмана и горя) есть, и я въ немъ живу 3-й годъ, и съ каждымъ днемъ оно дѣлается ровнѣе и глубже. И матеріалы, изъ которыхъ построено это счастье, самые некрасивые — дѣти, которыя (виноваты) мараются и кричатъ; жена, которая кормитъ одного, водитъ другого и всякую минуту упрекаетъ меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба, и бумага, и чернила,

<sup>1)</sup> Сочин., XIX, 5.

<sup>2)</sup> Н. Н. Гусевъ. Два года съ Л. Н. Толстымъ, 1912, стран. 146.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стран. 133.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стран. 215—216.

посредствомъ которыхъ я описываю событія и чувства людей, которыхъ никогда не было»<sup>1)</sup>).

«Только когда обживешься семьей», читаемъ въ другомъ письмѣ (отъ 5 іюля 1865 г.), «почувствуешь всю истину пословицы: *le mieux est l'ennemi du bien*. А какъ перемѣняешься отъ женатой жизни, я никогда бы не повѣрилъ. Я чувствую себя яблоней, которая росла съ сучками отъ земли и во всѣ стороны, которую теперь жизнь подрѣзала, подстригла, подвязала и подперла, чтобы она другимъ не мѣшала и сама бы укоренялась и росла въ одинъ стволъ. Такъ я и расту; не знаю, будетъ ли плодъ и хорошъ ли, или вовсе засохну, — но знаю, что расту правильно»<sup>2)</sup>).

И въ третьемъ письмѣ (отъ 14 ноября 1865 г.): «Я думаю, я всегда былъ понятенъ, а теперь еще болѣе, теперь, какъ я вошелъ въ ту колею семейной жизни, которая, несмотря на какую бы то ни было гордость и потребность самобытности, *ведетъ по одной битой дорогѣ умѣренности, долга и нравственнаго спокойствія. И прекрасно дѣлаетъ!* — Никогда я такъ сильно не чувствовалъ всего себя, свою душу, какъ теперь, когда порывы и страсти знаютъ свой предѣлъ. Я теперь уже знаю, что у меня есть душа и безсмертная (по крайней мѣрѣ, часто я думаю знать это), и знаю, что есть Богъ... Послѣднее время чаще и чаще во всемъ вижу доказательство и подтвержденіе этого. И радъ этому. Я не христіанинъ и очень еще далекъ отъ этого, но опытъ научилъ меня не вѣрить въ непогрѣшимость своихъ сужденій и все можетъ быть!...»<sup>3)</sup>).

Этотъ счастливый и спокойный мужъ и отецъ «не имѣетъ ни передъ кѣмъ тайны и никакого желанія, кромѣ того, чтобы все шло попрежнему». Его взглядъ на народъ, на общество сталъ совсѣмъ другой, и онъ удивляется, что могъ такъ любить ихъ; ему кажется теперь: самое большее, что возможно, это жалѣть ихъ<sup>4)</sup>).

Зато никогда онъ «не чувствовалъ свои умственные и даже всѣ нравственные силы столько свободными и столько способными къ работѣ».

Еще недавно (въ 1862 г.) онъ сравнивалъ литературу съ откупамъ и писалъ: «Литература, такъ же какъ и откупа, есть только искусная эксплуатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа».

Теперь (въ 1865 году) онъ «много пишетъ и много впередъ обдумываетъ будущихъ работъ... и все это съ вѣрой въ себя и убѣжденіемъ, что онъ дѣлаетъ дѣло».

Этотъ счастливый періодъ душевной и умственной свободы и радостнаго подъема творческихъ силъ далъ намъ величайшія созданія Толстого — «Войну и миръ» и «Анну Каренину». Но, подходя къ нимъ, мы должны ясно учитывать то душевное состояніе, которое ихъ создало. Въ «Аннѣ Карениной» звучатъ уже снова отдаленные раскаты новыхъ бурь и новыхъ грозъ, нарождавшихся въ его безпокойной душѣ. Въ «Войнѣ и мирѣ» цѣликомъ отразились тихія, стоячія воды его тогдашняго міросозерцанія.

<sup>1)</sup> Переписка съ гр. А. А. Толстой, 198.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стран. 203—204.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стран. 209—210 (курсивъ мой).

<sup>4)</sup> Тамъ же, стран. 192.

На суровомъ языкѣ «Исповѣди» оно выражено въ немногихъ словахъ такъ:

«Я женился. Новыя условія счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ, и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Стремленіе къ самосовершенствованію, подмѣненное уже прежде стремленіемъ къ усовершенствованію вообще, къ прогрессу, теперь подмѣнилось уже прямо стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше. Такъ прошло еще 15 лѣтъ. Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками въ продолженіе этихъ 15 лѣтъ, я все-таки продолжалъ писать. Я вкусилъ уже соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предавался ему, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей. Я писалъ, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше».

---

Въ предшествующемъ изложеніи Толстой показанъ безъ прикрасъ, такъ, какъ видимъ его въ источникахъ. Только такое изслѣдованіе, даетъ твердую почву для пониманія его твореній. Но и помимо указанной цѣли, какой смыслъ ретушевать что-либо въ рѣзкихъ чертахъ великаго писателя? Жизнь Толстого являетъ намъ рѣдкій примѣръ отчаянной борьбы человѣка со своими природными свойствами. Борьба эта кончилась побѣдой идеалистическихъ стремленій. Чѣмъ сильнѣе былъ врагъ, тѣмъ больше чести побѣдителю. Толстой съ полной искренностью рассказалъ намъ самъ свою жизнь. Онъ не остановился передъ опубликованіемъ самыхъ интимныхъ источниковъ. Онъ мечталъ написать «совсѣмъ правдивую исторію свей жизни» и думалъ, что такая біографія «будетъ полезнѣе для людей, чѣмъ вся та художественная болтовня, которой наполнены 12 томовъ его сочиненій...»

При такихъ условіяхъ всякая попытка смягчить въ источникахъ что-либо въ угоду нашей обыденной морали — была бы оскорбленіемъ памяти великаго человѣка.

Немногимъ людямъ отъ природы дано было столько страстей и такая мощная организація. Немногимъ послано судьбою столько соблазновъ. Правдивая картина вѣчной борьбы и преодоленія тѣхъ и другихъ — лучшее поученіе этой прекрасной жизни.

---





## ПРОИЗВЕДЕНІЕ.

Еще въ половинѣ 1861 года друзья Толстого думали, что онъ «не можетъ писать», потому что «умъ его находится въ какомъ-то хаосѣ представленій»; съ нетерпѣніемъ ждали они момента, когда «душа его на чемъ-нибудь успокоится»<sup>1)</sup>.

Это была ошибка: Толстой никогда не переставалъ писать. Но онъ охладѣлъ къ публикѣ и сталъ «потихонечку, про себя литераторомъ». Ключъ творчества не изсякалъ и продолжалъ тихо струиться подъ поверхностью его бурной жизни. Толстой только не печатался: беллетристическія произведенія этихъ лѣтъ (напримѣръ, «Поликушка», «Холстомѣръ») оставались въ наброскахъ. Какъ-будто не хватало подъема, внутренней силы, побужденія, чтобы завершить эти творенія.

Этотъ подъемъ дала ему счастливая любовь и женитьба.

Теперь онъ жаждетъ писать и писать для публики. Недавно онъ творилъ и не печаталъ; теперь онъ пытается заранѣе обезпечить сбытъ для своего будущаго созданія. Черезъ какихъ-нибудь полтора мѣсяца послѣ свадьбы ему хочется писать романъ. Онъ извѣщаетъ объ этомъ Каткова и съ нетерпѣніемъ ждетъ отвѣта: этотъ «отвѣтъ долженъ рѣшить дѣло»<sup>2)</sup>.

Повидимому, это тотъ самый романъ, въ которомъ будутъ дѣйствовать: «профессоръ-западникъ, взявшій себѣ усидчивой работой въ молодости дипломъ на умственную праздность и глупость» и въ противоположность этому типу, «человѣкъ, до зрѣлости удержавшій въ себѣ смѣлость мысли и неразрывность мысли, чувства и дѣла»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> См., напр., письмо Боткина къ Фету («Мои воспоминанія», I, 378).

<sup>2)</sup> Письма Л. Н. Толстого, II, 11.

<sup>3)</sup> Дневникъ Л. Н. — см. Бирюковъ, ц. с., II, 7.

Неизвѣстно, что отвѣтилъ Катковъ. Быть-можетъ, онъ напомнилъ о проигрышѣ, за который предстояло платиться «Казаками». По крайней мѣрѣ, вмѣсто задуманнаго романа, Толстой немедленно принимается за отдѣлку этой повѣсти. Уже 19 декабря (1862 года) онъ сдаетъ ее Каткову. Покончивъ съ «Казаками», Л. Н. быстро отдѣливаетъ и пускаетъ въ свѣтъ «Поликушку» и «Холстомѣра». Онъ до того хочетъ теперь писать, что набрасываетъ для домашняго спектакля пьеску «Нигилистъ», которую ставитъ въ Ясной Полянѣ. Онъ пишетъ комедію «Зараженное семейство» (тоже на тему о «нигилистахъ»), везетъ ее въ Москву и очень озабоченъ сейчасъ же, непременно въ этомъ сезонѣ пристроить ее въ Малый театръ.

Наконецъ, осенью 1863 года онъ уже вполне занятъ «романомъ изъ времени 1810 и 20-хъ годовъ». По этому поводу онъ сообщаетъ графинѣ А. А. Толстой: «я теперь писатель всѣми силами моей души и пишу и обдумываю, какъ я еще никогда не писалъ и не обдумывалъ»<sup>1)</sup>.

Что натолкнуло Льва Николаевича на исторію декабристовъ? Этого мы пока не знаемъ. Быть-можетъ, ему попались подъ руку какіе-либо мемуары; въ семьѣ могли храниться какія-либо преданія, такъ какъ декабристъ кн. С. Гр. Волконскій приходился Льву Николаевичу троюроднымъ дядей. Но разъ напавъ на эту тему, онъ неизбежно долженъ былъ задуматься надъ причинами общественнаго движенія начала XIX столѣтія. Такимъ образомъ онъ подошелъ къ эпохѣ наполеоновскихъ войнъ, а съ событіями этого времени связаны живѣйшія воспоминанія двухъ семей, къ которымъ онъ принадлежалъ — князей Волконскихъ и графовъ Толстыхъ.

Среди людей, окружавшихъ дѣтство Льва Николаевича было много свидѣтелей нашествія французовъ: бабушка по отцу, самъ отецъ, его сестры (А. И. Остенъ-Сакенъ и П. И. Юшкова), Татьяна Александровна Ергольская, экономка Прасковья Исаевна (крѣпостная старика Волконскаго) и другіе. Позднѣе, въ пятидесятыхъ годахъ, онъ познакомился съ двоюродной сестрой своей матери, княжной В. А. Волконской, въ молодые годы живавшей подолгу въ Ясной Полянѣ, у суроваго генераль-аншефа кн. Н. С. Волконскаго и его кроткой дочери Marie. Перечитывая письма и дневники своихъ родныхъ, Левъ Николаевичъ былъ обвѣянъ теплыми семейными воспоминаніями. Но рядомъ съ этимъ онъ столкнулся снова съ вопросомъ о войнѣ, которому посвятилъ ранѣе столько силъ и вниманія. Война всегда, какъ загадка сфинкса<sup>2)</sup>, притягивала его. Такимъ образомъ великій писатель постепенно перешелъ отъ первоначальной темы къ исторіи столкновенія Россіи съ Наполеономъ. Быть-можетъ также, недостатокъ матеріаловъ по исторіи декабрьскаго возстанія заставилъ его на время отказаться отъ первоначальныхъ проектовъ. (Ср. объясненія отъ «Изд.» въ примѣчаніи къ «Декабристамъ», Сочиненія, III, стран. 456). Во всякомъ случаѣ очень характерно, что свой романъ онъ начинаетъ описаніемъ сраженія (Аустерлицкаго)<sup>3)</sup>. Потомъ уже, возвращаясь назадъ,

<sup>1)</sup> Переписка, 192.

<sup>2)</sup> «Набѣгъ», соч., II, 87.

<sup>3)</sup> См. Письма, т. II, стран. 14—15.



къ семейнымъ преданіямъ, создаетъ онъ тѣ блестящія картины великосвѣтской Россіи 1805 года, которыя заполняютъ три первыя части и служатъ подготовкой къ Аустерлицу.

Исторія грандіозной работы надъ «Войной и миромъ» извѣстна весьма мало. Но уже теперь, на основаніи опубликованнаго до сей поры матеріала, можно съ увѣренностью утверждать, что задачи автора, его цѣли, его умственные горизонты расширялись по мѣрѣ работы. Въ началѣ, въ то время когда

«...далъ свободнаго романа  
онъ сквозь магическій кристаллъ  
еще неясно различалъ», —

его смутно влекли лишь проблемы войны и семейныя преданія. Это совершенно очевидно изъ интересной записи въ дневникѣ отъ 19 марта 1865 года. Въ то время романъ не только былъ начатъ, но первая часть его появилась въ «Русскомъ Вѣстникѣ» подъ названіемъ «1805-й годъ». Вотъ что пишетъ Толстой:

«Я зачитался исторіей Наполеона и Александра. Сейчасъ меня облакомъ радости сознанія возможности сдѣлать великую вещь охватила мысль написать психологическую исторію: романъ Александра и Наполеона. Всю подлость, всю фразу, все безуміе, все противорѣчіе людей ихъ окружавшихъ и ихъ самихъ».

Къ продолженію этой интереснѣйшей записи мы еще вернемся. Сейчасъ намъ важно лишь установить, что черезъ 1½ года усидчивой работы и послѣ написанія первыхъ частей романа основныя идеи только начали намѣчаться въ головѣ автора.

Картины «старога барства» возстановлены путемъ изученія самыхъ разнообразныхъ источниковъ. Такъ можно установить, что въ самомъ началѣ работы Толстой читалъ не только напечатанные, но и рукописные матеріалы, доставленные ему со всѣхъ сторонъ. Укажу, напримѣръ, что въ первой части перваго тома, въ письмѣ княжны Марьи къ Жюли Карагиной имѣется длинное мѣсто, дословно заимствованное изъ переписки М. А. Волковой съ В. И. Ланской, въ то время еще не опубликованной<sup>1)</sup>. И, дѣйствительно, мы знаемъ, что письма эти во французской рукописи были доставлены Льву Николаевичу.

Въ маѣ 1865 года одна дама (княгиня В.) запросила Льва Николаевича о томъ, кто такой Андрей Болконскій. «Андрей Болконскій», отвѣчалъ ей авторъ, «никто, какъ и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаровъ. Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой трудъ состоялъ въ томъ, чтобы списать портретъ, разузнать, запомнить»<sup>2)</sup>. Дѣйствительно, весь трудъ Толстого никогда не состоялъ въ этомъ. Въ его пользованіи источниками вы всегда увидите весьма тонкую, но совершенно опредѣленную творческую работу: кое-что передвинуто, кое-что вставлено, кое-что опущено — какъ-будто только отдѣльныя черточки, пустяки, нюансы, мелочи, а между тѣмъ изъ сухого, мертваго матеріала,

<sup>1)</sup> Ср. «Вѣстникъ Европы», 1874 г., августъ, стран. 648—649 и сочиненія Л. Н. Толстого, т. V, стран. 136—137. Часть писемъ М. А. Волковой напечатана впервые въ 1872 году въ «Русскомъ Архивѣ». Полный переводъ ихъ появился въ «Вѣстникѣ Европы» за 1874 и 1875 гг.

<sup>2)</sup> Письма, II, 14—15.



подъ его волшебной рукой, встаютъ передъ вами живые образы, столь схожіе со своими мертвыми прототипами и вмѣстѣ съ тѣмъ столь отличные отъ нихъ. Въ этомъ отношеніи его работа надъ источниками очень похожа на то, что дѣлалъ Шекспиръ съ итальянскими новеллами, Плутархомъ или драмами своихъ предшественниковъ.

Но въ творествѣ Толстого есть несомнѣнно одна черта: онъ не любитъ «сочинять» изъ головы; онъ передвигаетъ, комбинируетъ, измѣняетъ, дополняетъ найденное въ источникахъ, выщупанное въ жизни другихъ людей, пережитое имъ самимъ. Его обширная переписка, опубликованные отрывки изъ дневниковъ, разговоры, записанные окружающими, — поражаютъ почти дословнымъ сходствомъ съ переживаніями сочиненныхъ имъ лицъ. И кажется иной разъ, имѣя мы доступъ ко всему духовному наслѣдству Толстого, мы были бы въ состояніи подобрать шагъ за шагомъ всѣ пестрыя нити, изъ которыхъ сотканъ волшебный коверъ его твореній...

Черта эта, въ извѣстныхъ предѣлахъ, свойственна всѣмъ геніальнымъ писателямъ, но, быть-можетъ, нѣтъ въ міровой литературѣ другого беллетриста, у котораго она такъ рѣзко выражена. И потому именно, никто не умѣетъ такъ «заразить» насъ своимъ творчествомъ.

Примѣры близости текста «Войны и мира» къ историческимъ источникамъ читатель найдетъ въ статьѣ М. В. Покровскаго. Самъ Толстой въ своихъ объясненіяхъ по поводу «Войны и мира» пишетъ: «Вездѣ, гдѣ въ моемъ романѣ говорятъ и дѣйствуютъ историческія лица, я не выдумывалъ, а пользовался матеріалами, изъ которыхъ у меня во время моей работы образовалась цѣлая библіотека книгъ, заглавія которыхъ я не нахожу надобности выписывать здѣсь, но на которыя всегда могу сослаться».

Приведу нѣсколько примѣровъ другого рода заимствованій — изъ личныхъ переживаній Толстого.

Прелестная сцена, когда въ чудную лунную ночь кн. Андрей, усталый и одинокій невольно слышитъ мечты Наташи: дѣвочка хочетъ летѣть, присѣвъ на корточки и сжавъ колѣни руками. Мечты Наташи дословно повторяютъ соображенія маленькаго Толстого, которыя я приводилъ уже выше. Есть и отдаленный намекъ на настроеніе кн. Андрея въ переживаніяхъ самого Л. Н. Разъ онъ остановился въ маленькомъ румынскомъ городкѣ и подошелъ вечеромъ къ окну. У другого открытаго окна лежала хорошенькая хозяйская дочка. По улицѣ прошла шарманка и, когда звуки добраго стариннаго вальса, удаляясь все больше и больше, стихли совершенно, дѣвочка до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла отъ окошка. «Мнѣ стало такъ грустно-хорошо», пишетъ Толстой, «что я невольно улыбнулся и долго еще смотрѣлъ на фонарь, свѣтъ котораго заслоняли иногда качаемыя вѣтромъ вѣтви дерева, на дерево, на заборъ, на небо, и все это мнѣ казалось еще лучше, чѣмъ прежде»<sup>1)</sup>.

Вы помните тихіе, вечерніе, таинственные разговоры въ Отрадненскомъ домѣ и рѣчи о вѣчности и о жизни нашей до рожденія? Сравните съ ними философствованія Николеньки Иртеньева въ «Отрочествѣ»...

<sup>1)</sup> Бирюковъ, ц. с., I, 271—272.

Или вотъ вамъ мольбы къ Богу Николая Ростова объ избавленіи отъ Сони и моментальное «чудо» — полученіе письма съ возвращеніемъ даннаго слова. Развѣ это не повторяетъ разсказа Льва Николаевича о такихъ же мольбахъ его на Кавказѣ?—Онъ не умѣлъ раздѣлаться со срочнымъ карточнымъ долгомъ, сталъ на молитву и тутъ же получилъ въ письмѣ свои надорванные векселя...

А «Божьи люди» княжны Марьи и Божьи люди въ дѣтскихъ воспоминаніяхъ Толстого?

А образокъ, которымъ княжна Марья благословила брата?

А дневникъ поведенія дѣтей графини Марьи?

Въ біографіи и воспоминаніяхъ Льва Николаевича читатель найдетъ и чувства князя Андрея передъ вертящейся около него гранатой, и игру Пьера на клавикордахъ, подъ которую можно танцовать всѣ танцы, и измѣну Наташи, и придирки къ горничной старой графини Ростовой, и ея плачъ по Петѣ, и чувства Пьера послѣ разстрѣла поджигателей, и священнодѣйствіе, которому предавался Николай Ростовъ, читая въ своемъ кабинетѣ безконечное число серіозныхъ книгъ, и нѣкоторыя черточки изъ отношеній кн. Марьи къ умирающему отцу, и прихотливую игру складокъ лица дипломата Билибина, и генеалогическое дерево князей Болконскихъ, и многое, многое другое — мелкое и крупное, серіозное и пустяшное.

А главное — въ воспоминаніяхъ Толстого и его біографіи читатель найдетъ большинство знакомыхъ героевъ «Войны и мира».

Толстой въ цитированныхъ уже объясненіяхъ къ своему роману рѣшительно отрицаетъ это. «Всѣ же остальные лица (кромѣ Ахросимовой и Денисова)», говоритъ онъ, «совершенно вымышленныя и не имѣютъ даже для меня опредѣленныхъ первообразовъ въ преданіи или дѣйствительности».

Съ заявленіемъ этимъ, несмотря на всю его категоричность, невозможно согласиться. «Первообразы» героевъ «Войны и мира» несомнѣнно, существовали — и въ преданіи и въ окружавшей Льва Николаевича дѣйствительности.

Судите сами.

Въ началѣ прошлаго столѣтія въ Ясной Полянѣ жилъ отставной генералъ отъ инфантеріи князь Николай Сергѣевичъ Волконскій. Это былъ, по словамъ Льва Николаевича, «умный, гордый и даровитый человѣкъ». Въ Екатерининскую эпоху онъ дѣлалъ блестящую военную карьеру, которая была прервана неожиданнымъ образомъ. Потемкинъ предложилъ ему жениться на своей любовницѣ. За рѣзкій и рѣшительный отказъ князь былъ сосланъ воеводою въ Архангельскъ. Въ первые годы царствованія Павла онъ вышелъ въ отставку и поселился въ Ясной Полянѣ. Онъ считался необыкновенно строгимъ хозяиномъ, но у крестьянъ и дворовыхъ сохранились воспоминанія объ его умѣ, хозяйственности и дѣловитости. Мѣстнымъ властямъ онъ внушалъ трепетъ. Онъ любилъ музыку, цвѣты, оранжерейныя растенія. Онъ увлекался постройками и оставилъ послѣ себя прекрасно обставленную усадьбу, съ большимъ двухъэтажнымъ домомъ-дворцомъ, со вновь разбитымъ паркомъ, съ простыми, но прочными, просторными и даже изящными службами. Съ портрета князя смотрятъ умные, быстрые, блестящіе изъ подъ-нависшихъ бровей, молодые глаза; огромный лобъ обрамленъ

пудреннымъ парикомъ съ косичкой; худое, продолговатое. лицо тронутое немногими, но рѣзко опредѣленными морщинами; тонкія губы сложились въ насмѣшливую улыбку; длинный, выдающійся подбородокъ придаетъ лицу отпечатокъ несокрушимой воли. Князь Волконскій былъ женатъ на кн. Е. Д. Трубецкой, которая умерла рано, оставивъ мужу единственную дочь, княжну Марью. Съ этою сильно любимой дочерью и ея компаньонкой, француженкой m-lle Enitienne, старый князь прожилъ въ Ясной Полянѣ до глубокой старости, изрѣдка наѣзжая въ Москву.

Княжна Марья Николаевна была некрасива, очень религіозна, кротка и добра. «Мать моя», пишетъ Л. Н., «была нехороша собою, очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кромѣ русскаго, на которомъ она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, — четыре языка: французскій, нѣмецкій, англійскій и италіанскій, — и должна была быть чутка къ художеству — она хорошо играла на фортепіано»... «Самое же дорогое качество было то, что она, по рассказамъ прислуги, была, хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснѣетъ, даже заплачетъ, — рассказывала мнѣ ея горничная, — но никогда не скажетъ грубаго слова». Она прожила довольно долго въ Ясной Полянѣ со строгимъ отцомъ, со своими «Божьими людьми» и съ m-lle Enitienne. Къ француженкѣ этой она чувствовала страстную дружбу, но въ концѣ концовъ совершенно охладѣла. Уже послѣ смерти отца княжна Марья вышла замужъ за графа Николая Ильича Толстого.

Дѣдъ Льва Николаевича, графъ Илья Андреевичъ Толстой былъ «человѣкъ ограниченный, очень мягкій, веселый и не только щедрый, но безтолково мотоватый, а, главное, довѣрчивый. Въ имѣніи его шло долго неперестающее пиршество, театры, балы, обѣды, катанія, которыя, въ особенности при склонности его играть по большой въ ломберъ и вистъ, не умѣя играть, и при готовности давать всѣмъ, кто просилъ и займы и безъ отдачи, а главное, затѣваемыми аферами, откупамъ, кончились тѣмъ, что большое имѣніе его жены все было такъ запутано въ долгахъ, что жить было нечѣмъ, и онъ долженъ былъ выхлопотать и взять, что ему было легко при его связяхъ, мѣсто губернатора въ Казани».

Его жена, бабушка Льва Николаевича, была женщина «недалекая, мало образованная, — она, какъ всѣ тогда, знала по-французски лучше, чѣмъ по-русски (и этимъ ограничивалось ея образованіе), и очень избалованная — сначала отцомъ, потомъ мужемъ, а потомъ сыномъ». Когда она сдѣлалась губернаторшей въ Казани, то тайно отъ мужа брала приношенія. Двѣ дочери этой четы — Пелагея и Александра рано вышли замужъ. Въ семьѣ Толстыхъ воспитывалась еще дальняя ихъ родственница, сирота безъ всякихъ средствъ, Татьяна Александровна Ергольская. Она росла наравнѣ съ молодыми графинями и была очень привлекательна со своей жесткой, черной, курчавой, огромной косой, агатово-черными глазами и оживленнымъ, энергическимъ выраженіемъ. «Должно быть», говоритъ Л. Н., «она любила отца и отецъ любилъ ее, но она не пошла за него, чтобы онъ могъ жениться на богатой моей матери»... И послѣ этой женьбы Татьяна Александровна навсегда осталась въ домѣ Толстыхъ.



Графъ Николай Ильичъ (отецъ великаго писателя) 17 лѣтъ «несмотря на ужасъ и страхъ и отговоры родителей», поступилъ въ военную службу и участвовалъ въ походахъ 1813 и 1814 годовъ. Послѣ кампаніи онъ вышелъ въ отставку, разочаровавшись въ военной службѣ, и пріѣхалъ въ Казань къ отцу. Старый графъ скоро умеръ и оставилъ сына съ наслѣдствомъ, которое не стоило всѣхъ долговъ, и со старой, привыкшей къ роскоши, матерью, сестрой и кузиной на рукахъ. Родные устроили ему женитьбу на богатой княжнѣ Волконской (уже не молодой). Вся семья переѣхала въ Ясную Поляну, гдѣ счастливо прожила 9 лѣтъ. «Отецъ мой», пишетъ Л. Н., «былъ средняго роста, хорошо сложенъ, живой сангвиникъ съ пріятнымъ лицомъ и со всегда грустными глазами». Жизнь его проходила въ занятіяхъ хозяйствомъ, помпезныхъ выѣздахъ на охоту и въ чтеніи книгъ въ тиши кабинета. Онъ собиралъ библіотеку, состоявшую изъ французскихъ классиковъ, историческихъ и естественно историческихъ сочиненій. Онъ поставилъ себѣ за правило не покупать новыхъ книгъ, пока не прочтетъ прежнихъ. Онъ много читалъ, но «трудно вѣрить», говоритъ Л. Н., «чтобы онъ одолѣлъ всѣ эти «Histoires des Croisades» и «des Papes», которыя онъ пріобрѣталъ въ библіотеку». Онъ былъ со всѣми учтивъ и ласковъ, но съ матерью своей былъ какъ-то особенно «ласково-подобострастенъ». Къ наукамъ онъ не имѣлъ пристрастія и вообще стоялъ ниже своей жены въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ. Бракъ ихъ (бракъ по расчету), повидимому, былъ счастливъ: гр. Марья любила въ мужѣ отца своихъ дѣтей, *но не была влюблена въ него*. Письма Николая къ ней уснащены, по обычаю того времени, нѣжнѣйшими эпитетами, но, замѣчаетъ Л. Н., «едва ли это было вполне искренно». Повидимому, онъ тоже больше уважалъ, чѣмъ любилъ свою супругу.

Таковы эти двѣ семьи въ дѣйствительности. Нѣтъ сомнѣній, передъ нами часть фабулы «Войны и мира» и «первообразы» многихъ ея типовъ.

И тѣмъ интереснѣе прослѣдить, что и въ какую сторону измѣнилъ великій писатель въ этомъ живомъ матеріалѣ, лежавшемъ передъ нимъ.

Толстой пишетъ: моя мать «представлялась мнѣ такимъ высокимъ, чистымъ, духовнымъ существомъ, что часто въ средній періодъ моей жизни, во время борьбы съ одолѣвавшими меня искушеніями, я молился ея душѣ, прося ее помочь мнѣ, и эта молитва всегда помогала много». «Впрочемъ, не только моя мать, но и всѣ окружавшія мое дѣтство лица, отъ отца до кучеровъ, представляются мнѣ исключительно хорошими людьми...».

Съ настроеніемъ теплой и любовной ласки подходитъ онъ къ этимъ милымъ тѣнямъ. Отношенія ихъ *должны* сложиться въ формы, которыя въ то время считалъ онъ столь благолѣпными. Дѣйствительная жизнь людей, которыхъ онъ описалъ съ такою любовью, не была безусловно гармонична.

Николай Ростовъ и княжна Марья, послѣ нѣсколькихъ романическихъ встрѣчъ, чувствуютъ другъ къ другу возвышенную и нѣжную привязанность. И тѣмъ не менѣе, обѣднѣвшій графъ, принявшій изъ уваженія къ памяти отца ничего не стоящее наслѣдство и съ нимъ всѣ долги, гордо уклоняется отъ любимаго существа. Въ дѣйствительности, графъ Николай Толстой отказался отъ обремененнаго долгами наслѣдства отца и, чтобы поправить свои дѣла, принялъ устроен-

ную ему родными женитьбу на некрасивой и старѣющей, но очень богатой княжнѣ Марьѣ. Для этого онъ долженъ былъ перешагнуть черезъ любовь свою къ прелестнѣйшему существу, вся жизнь котораго сосредоточивалась въ немъ. Я разумѣю Татьяну Александровну Ергольскую. Она осталась жить въ домѣ Толстыхъ и это постоянное присутствіе жертвы едва ли способствовало круглотѣ, гармоніи и благолѣпію отношеній молодыхъ супруговъ. Такъ было въ дѣйствительной жизни, преисполненной диссонансами и углами. Въ романѣ гармонія восстановлена. Нѣжная и возвышенная любовь супруговъ оправдываетъ ихъ передъ Соней, къ которой къ тому же давно уже равнодушенъ Николай Ростовъ. Чтобы еще болѣе скрасить диссонансъ, который должна была вносить Ергольская въ жизнь Толстыхъ, она лишена въ романѣ почти всѣхъ своихъ привлекательныхъ свойствъ и, по совѣсти, не стоитъ большаго, чѣмъ то мѣсто за самоваромъ, которое отводитъ ей авторъ «Войны и мира». Есть критики, останавливающіе свое особое вниманіе на будто бы истинно-христіанскихъ добродѣтеляхъ Сони. Они задаются вопросомъ: за что награждаетъ Толстой всѣми возможными прелестями жизни язычницу Наташу и почему казнить онъ самоотверженную и преданную Соню? По ихъ мнѣнію, это дѣло язычника-художника, столь отличнаго отъ христіанина-проповѣдника.

Но въ чемъ видятъ эти критики добродѣтели Сони? Болѣе обобранную, болѣе нищую духовно натуру — трудно себѣ представить. Необыкновенно послѣдовательно и жестоко авторъ лишаетъ ее всего привлекательнаго, кромѣ красивой внѣшности. Ея прозаичность и бездарность подчеркиваются на каждомъ шагу и вся фигурка этой хорошенькой кошечки кажется особенно сѣрой рядомъ съ переливающей всѣми цвѣтами радуги Наташей. Кошечка, правда, очень привязана къ дому, въ которомъ она выросла. Но у нея нѣтъ ни малѣйшаго желанія жертвовать своимъ личнымъ счастьемъ для благополучія окружающихъ. Своими цѣпкими лапками она крѣпко держится за любимаго человѣка. Она выдерживаетъ стремительный натискъ благодѣтелей, терпитъ брань, униженія и не сдается. Несмотря на запрещеніе старой графини, она какъ-то «нечаянно» сообщаетъ Наташѣ, что раненый князь Андрей ѣдетъ съ ними. И когда между Наташей и Андреемъ снова происходитъ столь желанное для нея сближеніе, она увѣрена, что бракъ Николая съ княжной Марьей теперь невозможенъ и потому нѣтъ опасности вернуть Николаю его слово...

Какъ мало эта ревнивая, бездарная, прозаичная и покорная своему хозяину кошечка похожа на прелестную Татьяну Александровну Ергольскую, которую Толстой считалъ чуть ли не лучшею женщиной въ мірѣ! Татьяна Александровна отличалась даровитостью: она была замѣчательной музыкантшей; она писала письма, какъ мадамъ де-Севинье, и Л. Н. часто плакалъ надъ ними слезами умиленія. «Ее нельзя было не любить за ея твердый, рѣшительный, энергичный и вмѣстѣ съ тѣмъ самоотверженный характеръ». Она имѣла самое большое вліяніе на жизнь Толстого. Она же натолкнула его на литературную дѣятельность, уговаривая приняться за писаніе романа.

Почему же такъ обобралъ<sup>1)</sup> ее авторъ «Войны и мира»?

<sup>1)</sup> Замѣчательно, что даже исторію съ горящей линейкой Толстой перенесъ съ Сони на Наташу.

Отвѣтъ, мнѣ кажется, можетъ быть только одинъ: Соня — Ергольская нарушила бы гармонію семейнаго счастья графа Николая и его жены.

Судьба, слѣпая судьба оказалась справедливѣе къ Ергольской, чѣмъ было къ ней авторъ «Войны и мира»: графиня Марья Николаевна Толстая скончалась черезъ девять лѣтъ послѣ свадьбы. Гр. Николай Ильичъ остался молодымъ вдовцомъ съ четырьмя сыновьями и дочерью. Ихъ воспитала Ергольская. Свою долгую счастливую жизнь она провела въ Ясной Полянѣ со Львомъ Николаевичемъ и умерла на рукахъ его и его жены. Послѣ ея смерти въ ея бумагахъ, въ бисерномъ портфельчикѣ Левъ Николаевичъ нашелъ французскую записочку слѣдующаго содержанія: «16 августа 1836. Николай сдѣлалъ мнѣ сегодня странное предложеніе, — выйти за него замужъ, замѣнить мать его дѣтямъ и никогда ихъ болѣе не оставлять. Я отклонила первое предложеніе, я обѣщалась исполнить второе, пока я буду жива».

Отношеніе автора къ Николаю Ростову — нѣсколько двойственное. Сначала это пылкій юноша, привлекательный, добрый, съ хорошими задатками и артистическими наклонностями. Писаревъ (въ статьѣ «Старое барство») по началу романа характеризовалъ Ростова, какъ натуру художественную. Въ дальнѣйшихъ частяхъ «Войны и мира» это — грубоватый человѣкъ съ бурбонскими замашками и взглядами. Авторъ не скрываетъ его безнадежной посредственности, но за то щедро надѣляетъ его практичностью, здравымъ смысломъ, чутьемъ хорошаго, исключительнымъ благородствомъ въ обычныхъ житейскихъ дѣлахъ.

Въ первой половинѣ романа это еще только живое лицо семейной хроники. Позже, съ осложненіемъ замысла, это уже общечеловѣческій типъ, нужный художнику для демонстраціи особаго міровоззрѣнія.

Въ обрисовку княжны Марьи Болконской авторъ «Войны и мира» внесъ характерныя детали. Изысканная образованность, жизнерадостная веселость, художественныя наклонности (музыкальность, фантазія), по словамъ самого Льва Николаевича, были присущи его матери. Въ романѣ черты эти оказались лишними. — Почему?

Мнѣ кажется, «высокое, чистое, духовное» существо матери ассоціировалось въ умѣ сына съ олицетвореніемъ христіанскихъ добродѣтелей, христіанскаго начала. Свѣтскую образованность (особенно въ женщинахъ) онъ уже въ то время цѣнилъ мало. Жизнерадостность-же и артистическіе инстинкты только ненужно осложняли чисто христіанскія черты.

Съ другой стороны, склонность слѣдовать предназначенію женщины, стремленіе къ материнству, въ глазахъ Толстого, — высокія добродѣтели и связанная съ ними *влюбчивость* — отнюдь не мѣшаетъ святости.

Лишая княжну Марью Болконскую нѣкоторыхъ свойствъ ея первообраза, авторъ «Войны и мира» создавалъ болѣе цѣльный и опредѣленный христіанскій типъ. Привнося въ него влюбчивость (которой, повидимому, вовсе не было въ оригиналѣ), Толстой ставилъ святую на землю, но, по тогдашнимъ своимъ понятіямъ, отнюдь не затѣнялъ христіанской чистоты образа. А между тѣмъ влюбчивость княжны Марьи дала возможность подвести прочный психологическій фундаментъ подъ картины семейнаго счастья молодыхъ Ростовыхъ и сообщила этимъ



картинамъ гармонію и округлость, которыя такъ хотѣлось въ нихъ видѣть Толстому.

Жизнерадостность и артистичность своей матери Л. Н. перенесъ въ другой женскій образъ, выведенный въ романѣ параллельно съ кн. Марьей и, какъ бы въ видѣ контраста къ ней, — въ Наташу.

Кто же такая Наташа?

По словамъ гр. Софьи Андреевны, Толстой такъ говорилъ про Наташу: «я взялъ Таню, перетолокъ ее съ Соней, и вышла Наташа». Возможно, въ самомъ дѣлѣ, что обѣ сестры Берсъ, и въ особенности — младшая, Татьяна Андреевна, послужили прототипомъ Наташи. Обѣ отличались, по свидѣтельству современниковъ, большой привлекательностью, обѣ были у Льва Николаевича на глазахъ во время работы надъ «Войною и миромъ»<sup>1)</sup>. У младшей сестры было великолѣпное контральто. Она отличалась большой жизнерадостностью и оттѣнкомъ задорливой самовлюбленности. Изъ подростковъ она поднялась въ прелестную дѣвушку на глазахъ Льва Николаевича.

Но Наташа больше, чѣмъ снимокъ съ натуры. Въ ней чувствуется частичка души автора. И дѣйствительно, самыя тонкія, самыя интимныя переживанія этой дѣвушки часто повторяютъ дословно мысли и чувства, записанныя въ дневникахъ Льва Николаевича. Ея страстная натура, отдающаяся цѣликомъ, съ головою всякому дѣлу, всякому увлеченію, — натура самого автора.

В. В. Вересаевъ въ своей интересной книгѣ («Живая жизнь») называетъ Наташу музой великаго писателя. Это очень вѣрно. Но *вся* ли это муза Толстого? Нѣтъ! Это лишь одна сторона, одно лицо ея.

Я привелъ выше письмо Толстого о «Трехъ смертяхъ». Тамъ противопоставляется христіанское чувство любви языческому жизнерадостному чувству сознанія единства съ природою. Оба эти чувства живутъ въ немъ вмѣстѣ. Каждое изъ нихъ въ отдѣльности ничего не объясняетъ; оба вмѣстѣ даютъ всего Толстого.

«Какъ это соединяется, не знаю и не могу растолковать, но сидятъ кошка съ собакой въ одномъ чуланѣ — это положительно».

Княжна Марья — христіанская муза великаго писателя; Наташа — языческая.

Наташа — самое обольстительное, какое только можно представить себѣ, олицетвореніе радости жизни, разлитой въ природѣ. Она — утонченное, изощренное продолженіе и распускающагося цвѣтка, и призывной пѣсни жаворонка, и всего, что купается въ сладостныхъ лучахъ горячаго солнца и радостно трепещетъ и ждетъ...

Она — язычница. Толстой ведетъ ее въ церковь и заставляетъ повторять слова молитвы, но съ такимъ же правомъ онъ могъ заставить ее совершать жертвоприношеніе въ храмѣ Изиды...

Наташа — совершенная противоположность княжны Марьи. Когда онѣ сошлись надъ умирающимъ княземъ Андреемъ и подружились, впервые каждая изъ нихъ поняла, что есть другая жизнь, столь отличная отъ ея собственной.

<sup>1)</sup> Татьяна Андр. подолгу жила въ этотъ періодъ въ Ясной и была постояннымъ товарищемъ Льва Николаевича на охотѣ.

«Онѣ говорили, читаемъ въ «Войнѣ и мирѣ», большею частью о дальнемъ прошломъ. Княжна Марья рассказывала про свое дѣтство, про свою мать, про своего отца, про свои мечтанія; и Наташа, прежде со спокойнымъ непониманіемъ отворачивавшаяся отъ этой жизни преданности, покорности, отъ поэзіи христіанскаго самоотверженія, теперь, чувствуя себя связанной любовью съ княжной Марьей, полюбила и прошедшее княжны Марьи и поняла непонятную ей прежде сторону жизни. Она не думала прилагать къ своей жизни покорность и самоотверженіе, потому что она привыкла искать другихъ радостей, но она поняла и полюбила въ другой эту прежде непонятную ей добродѣтель. Для княжны Марьи, слушавшей рассказы о дѣтствѣ и первой молодости Наташи, тоже открывалась прежде непонятная сторона жизни, вѣра въ жизнь, въ наслажденія жизни<sup>1)</sup>».

Кто изъ насъ въ юности не былъ влюбленъ въ Наташу Ростову? И кто не останавливался со скорбнымъ недоумѣніемъ передъ той же Наташей черезъ семь лѣтъ послѣ ея замужества? Прежняя «волшебница» «пополнѣла и поширѣла»; «непрестанно горѣвшій въ ней огонь оживленія» — погасъ; «теперь часто видно было одно ея лицо и тѣло, а души вовсе не было видно; видна была одна сильная, красивая и плодovitая самка<sup>2)</sup>». Пѣніе и всѣ остальные свои очарованія она бросила совершенно. Въ обществѣ «она не была ни мила, ни любезна». «Наташа не любила общества вообще, но она тѣмъ болѣе дорожила обществомъ родныхъ — гр. Марьи, брата, матери, Сони. Она дорожила обществомъ тѣхъ людей, къ которымъ она, растрепанная, въ халатѣ, могла выйти большими шагами изъ дѣтской, съ радостнымъ лицомъ, и показать пеленку съ желтымъ вмѣсто зеленаго пятномъ и выслушать утѣшенія о томъ, что теперь ребенку гораздо лучше». «Наташа до такой степени опустила, что ея костюмы, ея прически, ея невпопадъ сказанныя слова, ея ревность — она ревновала къ Сонѣ, къ гувернанткѣ, ко всякой красивой и некрасивой женщинѣ — были обычнымъ предметомъ шутокъ всѣхъ ея близкихъ<sup>3)</sup>». Ко всѣмъ своимъ недостаткамъ Наташа присоединяла еще скупость<sup>4)</sup>. Она не понимаетъ того, что составляетъ «умственное, отвлеченное дѣло мужа», хотя и приписываетъ всему этому огромную важность<sup>5)</sup>. Во внѣшнихъ сношеніяхъ Пьеръ находится у нея подъ башмакомъ; во внутреннихъ — въ семьѣ — «Наташа ставитъ себя на ногу рабы мужа<sup>6)</sup>». Въ области разсужденій у нея своихъ словъ нѣтъ: она говоритъ словами мужа. «Наташа уморительна. Вѣдь какъ она его подъ башмакомъ держать, а чуть дѣло до разсужденій — у ней своихъ словъ нѣтъ — она такъ его словами и говоритъ<sup>7)</sup>».

Что же случилось съ «волшебницей»?

Ничего. Все такъ и должно было окончиться. Съ холоднымъ и безстрашнымъ реализмомъ Толстой свидѣтельствуешь, что «всѣ порывы Наташи имѣли началомъ

<sup>1)</sup> Сочин. VIII, 221.

<sup>2)</sup> Тамъ же, VIII, 328.

<sup>3)</sup> Тамъ же, 329—331, 332.

<sup>4)</sup> Тамъ же, 339—340.

<sup>5)</sup> Тамъ же, 334.

<sup>6)</sup> Тамъ же, 332.

<sup>7)</sup> Тамъ же, стр. 355 (отзывъ о сестрѣ Николая Ростова).

только потребность имѣть семью, имѣть мужа». «Наташѣ нуженъ былъ мужъ. Мужъ былъ данъ ей. И мужъ далъ ей семью»<sup>1)</sup>). Вотъ и все. Изящные и прелестные лепестки опали, нѣжный запахъ исчезъ; они сдѣлали свое дѣло и тамъ, гдѣ былъ прекрасный цвѣтокъ, обнаружилась прозаическая, но здоровая завязь. Внутренній огонь Наташи не погасъ, но сосредоточился на одномъ.

Семья закрыла отъ нея весь міръ. Для этого міра у нея не оставалось ни силъ, ни вниманія, ни интереса.

Не все ясно въ перемѣнѣ, случившейся съ Наташей. Не видно, напримѣръ, откуда явилась ея скупость? Быть можетъ, въ глазахъ Толстого того времени (какъ и въ глазахъ Пьера Безухова) скупость милліонерши Наташи была тоже семейною добродѣтелью, довершавшею библейски-патріархальныя черты домовитой и плодovitой жены и матери. Но для свойства этого (худого или хорошаго) нѣтъ видимыхъ корней въ натурѣ Наташи.

Намъ жалко не столько дѣвическихъ «очарованій» героини «Войны и мира», сколько души автора, вложенной въ порывы этой дѣвочки. Главная красота ея въ этихъ порывахъ. Гдѣ же слѣды ихъ? Наташа могла, конечно, со свойственной ей страстностью уйти на время съ головой въ любое дѣло; она могла совершенно сосредоточиться на выполненіи функцій всякой «самки», то-есть «носить, рожать, кормить дѣтей» и ревновать мужа. Но могла ли *надолго, навсегда* уйти только въ это дѣло «сила вся души великая» необыкновенной дѣвушки? И правда ли, что это — порядокъ нормальный? Толстой чувствуетъ, что не имѣетъ права отвѣтить на такой вопросъ положительно. Онъ прибавляетъ къ задачамъ Наташи *воспитаніе* дѣтей и старанія «держать мужа такъ, чтобы онъ нераздѣльно принадлежалъ ей». Создать вѣчный медовый мѣсяцъ и долго держать мужа всецѣло въ рукахъ — можно только участвуя въ его духовной жизни. Если мужъ этотъ — «ученый, умный и добрый» (таковъ Пьеръ по словамъ Толстого), простая самка недолго удержитъ его. Она не сумѣетъ также *воспитывать* дѣтей ученаго, умнаго и добраго мужа. Конфликтъ неизбеженъ и патріархальное благообразіе рано или поздно смѣнится семейнымъ адомъ.

Толстой говоритъ намъ, что исключительныя способности Наташи ушли, между прочимъ, на *воспитаніе* дѣтей и участіе въ духовной жизни мужа. Но онъ скупъ *показываетъ* намъ Наташу въ этихъ роляхъ. Мы *видимъ*, какъ она кормитъ и возится съ пеленками, но не видимъ, какъ она воспитываетъ. Мы *слышимъ*, какъ она болтаетъ съ мужемъ все о тѣхъ же пеленкахъ и ревнуетъ его, но участіе ея въ духовной жизни мужа едва намѣчено. Она къ тому же *не понимаетъ*<sup>2)</sup> его *умственныхъ* интересовъ, его общественной работы, и вообще чуть дѣло дойдетъ до разсужденій, не имѣетъ своихъ словъ, а «такъ его словами и говоритъ».

Вотъ этотъ явный перевѣсъ животной природы графини Безуховой («носить, рожать, кормить, ревновать») надъ ея душою, столь изукрашенной когда-то цвѣтами собственной души автора, — и есть причина нашей обиды.

Интенсивной духовной жизни Пьера хватаетъ на двоихъ. Но вѣдь Пьеръ для Наташи — счастливая случайность. Хочется знать: была ли бы Наташа такъ же

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 329, 331.

<sup>2)</sup> На непониманіи Наташей умственныхъ интересовъ мужа Толстой очень настаиваетъ.



благообразно счастлива съ карикатурно глупымъ красавцемъ Анатодемъ Куракинымъ?

«Наташѣ нуженъ былъ мужъ. Мужъ былъ данъ ей. И мужъ далъ ей семью». Вотъ формула. Но все ли тутъ сказано? Анатолю тоже, несомнѣнно, далъ бы ей семью или, по крайней мѣрѣ, дѣтей. Была ли бы Наташа удовлетворена *такою* семьею?

Толстой, какъ будто, отвѣчаетъ на этотъ вопросъ утвердительно. Онъ показываетъ намъ рядомъ съ Наташей семейное счастье наиболѣе одухотворенной изъ своихъ героинь — графини Марьи, душа которой «всегда стремилась къ безконечному, вѣчному и совершенному и потому никогда не могла быть покойна». Мужъ ея, Николай Ростовъ, конечно, не до такой степени глупъ, какъ Анатолю, но въ духовномъ отношеніи онъ несравненно ниже жены; болѣе того, онъ ограниченъ; онъ — посредственность. И тѣмъ не менѣе, графиня Марья счастлива. «Она чувствовала, писать Толстой, покорную, нѣжную любовь къ этому чело-вѣку, который никогда не пойметъ всего того, что она понимаетъ, и какъ бы отъ этого она еще сильнѣе, съ оттѣнкомъ страстной нѣжности, любила его...»<sup>1)</sup>.

Несомнѣнно, во всемъ этомъ — удивительно много безстрашной правды. Но несомнѣнно также, что лукъ перегнуть въ одну сторону, такъ какъ объ музы Толстого — и языческая, и христіанская временно цѣликомъ поглощены семейнымъ счастьемъ. Такъ оно и было въ то время со Львомъ Николаевичемъ. Вспомнимъ приведенное выше письмо его (1865 года): «Такое счастье (при которомъ нѣтъ ни трудовъ, ни обмановъ, ни горя, а все идетъ ровно и счастливо) есть и я въ немъ живу третій годъ и съ каждымъ днемъ оно дѣлается ровнѣе и глубже. И матеріалы, изъ которыхъ построено это счастье, самые некрасивые — дѣти, которыя (виноваты) мараются и кричатъ, жена, которая кормитъ одного, водитъ другого и всякую минуту упрекаетъ меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба, и бумага, и чернила, посредствомъ которыхъ я описываю событія и чувства людей, которыхъ никогда не было».

Толстой и его муза, какъ мы знаемъ, плѣнены дѣтскими пеленками лишь временно. Къ тому же у нихъ есть общее дѣло — творчество и въ связи съ нимъ сложная духовная работа.

Если Наташа натура незаурядная, не какая-нибудь Кити Щербацкая<sup>2)</sup>, то и ей предстоитъ вырваться изъ плѣненія и стать не только «самкой», но и чело-вѣкомъ. Какъ это случится? Мы не знаемъ. Быть можетъ, духовная жизнь подро-стающихъ дѣтей потребуетъ этого; быть можетъ, Пьеръ, перейдя въ новую фазу развитія, заразитъ ее своимъ святымъ безпокойствомъ; быть можетъ, ослабнуть съ возрастомъ велѣнія плоти и уступятъ мѣсто другому; быть можетъ, на голову ея обрушится какая-нибудь отрезвляющая катастрофа... Но слѣдя за ея отрочествомъ и юностью, мы не вѣримъ, что жизнь свою она кончитъ, не выходя изъ дѣтской.

Какъ бы то ни было, самъ Толстой писалъ свой романъ въ пору полного упоенія семейнымъ счастьемъ, о которомъ онъ такъ сильно мечталъ всю предшествовав-

<sup>1)</sup> Сочин. VIII, 357.

<sup>2)</sup> См. «Анну Каренину».

шую жизнь. И это настроеніе проникло въ романъ и какъ бы пропитало его: «Война и миръ» есть въ значительной степени апоэозъ сѣмьи и семейнаго счастья.

Любовное отношеніе къ семейнымъ преданіямъ невольно заставляетъ автора идеализировать все, что имѣетъ отношеніе къ его сѣмьѣ и его дѣтству.

Вотъ еще одинъ примѣръ этого.

Федоръ Ивановичъ Долоховъ очень похожъ на графа Федора Ивановича Толстого — знаменитаго «американца». Даже въ послѣдніе годы жизни Левъ Николаевичъ вспоминаетъ о Ф. И. Толстомъ съ отѣнкомъ сочувствія. Это — хотя и «преступный», но «необыкновенный и привлекательный человѣкъ»<sup>1)</sup> Въ эпоху созданія «Войны и мира» сочувствіе было еще сильнѣе: къ весьма точной характеристикѣ Долохова по Ф. И. Толстому авторъ прибавляетъ нѣкоторыя облагораживающія черты — спокойную и блестящую военную храбрость и семейныя добродѣтели (отношеніе къ матери и сестрѣ).

Постороннимъ наблюдателямъ гр. Ф. И. Толстой представлялся проще.

Реплики Репетилова по адресу Толстого — американца — общеизвѣстны.

Герценъ лично зналъ Ф. И. Толстого и пишетъ про него: «Онъ буйствовалъ, обыгрывалъ, дрался, уродовалъ людей, разорялъ семейства лѣтъ двадцать сряду, пока наконецъ былъ сосланъ въ Сибирь, откуда «вернулся алеутомъ», какъ говорить Грибоѣдовъ, т.-е. пробрался чрезъ Камчатку въ Америку и оттуда выпросилъ дозволеніе возвратиться въ Россію. (Имп.) Александръ его простилъ и онъ, на другой день послѣ пріѣзда, продолжалъ прежнюю жизнь...»<sup>2)</sup>.

Въ письмѣ, на которое я уже ссылался (стр. 42), Толстой пишетъ княгинѣ В. по поводу Болконскаго: «Въ Аустерлицкомъ сраженіи, которое будетъ описано, но съ котораго я началъ романъ, мнѣ нужно было, чтобы былъ убитъ блестящій молодой человѣкъ; въ дальнѣйшемъ ходѣ самого романа мнѣ нужно было только старика Болконскаго съ дочерью, но такъ какъ неловко описывать ничѣмъ не связанное съ романомъ лицо, я рѣшилъ сдѣлать блестящаго молодого человѣка сынсмъ стараго Болконскаго. Потомъ онъ меня заинтересовалъ, для него представилась роль въ дальнѣйшемъ ходѣ романа, и я его помиловалъ, только сильно ранивъ вмѣсто смерти».

За что же помиловалъ Толстой князя Андрея? Въ началѣ Болконскій лишь блестящій представитель того сорта людей, которыми увлекался Левъ Николаевичъ въ молодости. Это человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ *comme il faut*: онъ очень красивъ, изященъ; французскій языкъ его безукоризненъ; онъ отлично кланяется, танцуетъ и разговариваетъ, а главное онъ очень увѣренъ въ себѣ, кажется равнодушнымъ ко всему на свѣтѣ и на лицѣ его постоянное выраженіе презрительной скуки.

Однако, все это лишь свѣтская маска. Съ людьми, которыхъ князь Андрей уважаетъ, онъ оживленъ, пріятенъ, даже нѣженъ. Онъ уменъ (рѣдко уменъ),

<sup>1)</sup> Гр. Ф. И. Толстой былъ дальнимъ родственникомъ Л. Н. и роднымъ дядей мужа его сестры, графа В. Н. Толстого. (См. Сочин., XII, 51.) Партизанскіе подвиги Долохова очень близко напоминаютъ дѣятельность Фигнера въ 1812 году.

<sup>2)</sup> Искандеръ. Былое и Думы. Лондонъ, 1861, г. часть I, стр. 323—324.

начитанъ, все знаетъ, всѣмъ интересуется, самолюбивъ, гордъ и силенъ волею. Онъ ничего не беретъ на вѣру: онъ все анализируетъ, во всемъ разбирается и его нѣсколько надменный умъ хочетъ самъ устроить свою жизнь. Въ первомъ томѣ романа князь Андрей преисполненъ жаждою славы. Это его основная, всепоглощающая страсть. Но онъ вовсе не склоненъ къ «мечтательному философствованію»: обладая въ высшей степени трезвымъ умомъ, желѣзною волей и «практической цѣпкостью», онъ прямо идетъ къ опредѣленному виду славы: его герой — Наполеонъ; онъ съ нетерпѣніемъ ждетъ и ищетъ своего Тулона, своего Аркольскаго моста. Передъ Аустерлицемъ онъ думаетъ: «я не знаю, что будетъ потомъ, не хочу и не могу знать; но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть извѣстнымъ людямъ, хочу быть любимымъ ими, то вѣдь я не виноватъ, что хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! Что же мнѣ дѣлать, ежели я ничего не люблю, какъ только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мнѣ не страшно. И какъ ни дороги, ни милы мнѣ многіе люди — отецъ, сестра, жена, самые дорогіе мнѣ люди, — но, какъ ни странно и неестественно это кажется, я всѣхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы, торжества надъ людьми, за любовь къ себѣ людей, которыхъ я не знаю и не буду знать...»

Слава не пришла къ нему. Она искала людей, которые умѣютъ кричать о себѣ — какъ бы ничтожны они не были. А князь Андрей — безукоризненъ въ своихъ поступкахъ: его дорога — всегда «дорога чести». Это понятіе «чести» имѣетъ, впрочемъ, лишь формальное значеніе: честь оберегаетъ отъ предосудительныхъ поступковъ и толкаетъ на поступки, согласные съ убѣжденіями. Убѣжденія же мѣняются.

Обойденный славою, князь Андрей даетъ себѣ слово, что служить болѣе въ русской дѣйствующей арміи не будетъ. Онъ поселяется въ деревнѣ, занимается хозяйствомъ. Теперь его непріятно волнуютъ слухи о побѣдѣ русскаго оружія. «Да, что, бишь, еще непріятное онъ пишетъ, вспоминалъ князь Андрей содержаніе отцовскаго письма. — Да. Побѣду одержали наши надъ Бонапартомъ именно тогда, когда я не служу. Да, да, все подшучиваетъ надо мной... Ну, да на здоровье...» Не совсѣмъ оправившійся отъ ранъ и неудачъ онъ угрюмо сидитъ въ деревнѣ и вырабатываетъ мрачную философію. Ему кажется, что жизнь его кончена: «жить для себя», избѣгая болѣзней и угрызений совѣсти — вотъ вся его мудрость. Заботы Пьера около крѣпостныхъ вызываютъ у него рядъ раздражительныхъ замѣчаній: школы и поученія ненужны, т. к. «единственное возможное счастье есть счастье животное» и не слѣдуетъ мужиковъ лишать его; лѣчить мужика тоже не слѣдуетъ: «гораздо покойнѣе и проще ему умереть; другіе родятся, и такъ ихъ много...» Освобожденіе крестьянъ? — Да, оно нужно... для помѣщиковъ.

— Ну, вотъ ты хочешь освободить крестьянъ, — говоритъ князь Андрей Пьеру. — Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засѣкалъ и не посылалъ въ Сибирь) и еще меньше для крестьянъ. Ежели ихъ бьютъ, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь, то я думаю, что имъ отъ этого нисколько не хуже. Въ Сибири ведетъ онъ ту же скотскую жизнь свою, а рубцы на тѣлѣ заживутъ,



и онъ такъ же счастливъ, какъ и былъ прежде. А нужно это для тѣхъ людей, которые гибнутъ нравственно, наживаютъ себѣ раскаяніе, подавляютъ это раскаяніе и грубѣютъ отъ того, что у нихъ есть возможность казнить право и неправо. Вотъ кого мнѣ жалко и для кого бы я желалъ освободить крестьянъ...»

Эти жесткія мысли проходятъ безслѣдно вмѣстѣ съ болѣзнью и горькими воспоминаніями.

Въ деревнѣ князь Андрей прожилъ два года. За это время «одно имѣніе его въ триста душъ крестьянъ было перечислено въ вольные хлѣбопашцы (это былъ одинъ изъ первыхъ примѣровъ въ Россіи), въ другихъ барщина замѣнена оброкомъ. Въ Богучарово была выписана на его счетъ ученая бабка для помощи родильницамъ, и священникъ за жалованье обучалъ дѣтей крестьянскихъ и дворовыхъ грамотѣ».

Когда здоровье князя Андрея возстановилось и прошла горечь обиды, онъ вдругъ понялъ, что «жизнь не кончена въ 31 годъ». Повѣяло весной, поманилъ женскій обликъ и цѣпь «бѣдныхъ разумныхъ доводовъ», державшая его далеко отъ жизни, теперь также рѣшительно толкала его въ круговоротъ ея. Онъ бросилъ деревню, явился въ Петербургъ и принялъ участіе въ преобразовательныхъ работахъ Сперанскаго. Накопленная въ деревнѣ энергія находила выходъ въ этомъ общественномъ дѣлѣ и все шло хорошо. Но явилась любовь и мечты о счастьи. И вдругъ Сперанскій, комитеты, преобразованія померкли и показались ненужными. Разумъ формулировалъ вопросъ: какое дѣло *мнѣ* до всего этого? развѣ все это можетъ сдѣлать *меня* счастливѣе и лучше? Князь Андрей вспомнилъ мужиковъ, Дрона-старосту, и приложивъ къ нимъ «права лицъ», которыя онъ распредѣлялъ по параграфамъ, удивился, какъ могъ онъ такъ долго заниматься столь праздною работою... Но вотъ и «женская лукавая любовь», какъ раньше слава, измѣняетъ ему. Смыслъ жизни снова потерянъ; все разсыпается; связь вещей нарушена; окружающій міръ кажется наборомъ бессмысленныхъ явленій.

Князь Андрей — атеистъ и не можетъ постичь смысла и цѣли человѣческой жизни... Надвигающаяся смерть дважды съ совершенною ясностью обнаруживаетъ передъ нимъ ничтожество человѣческаго ума и людскихъ стремленій. Истекая кровью на Аустерлицкомъ полѣ, онъ видитъ надъ собою далекое, высокое, вѣчное небо съ тихо ползущими по немъ облаками и чувствуетъ всѣмъ существомъ своимъ, что надъ мелкими людскими чувствами есть что-то высшее и глубоко-значительное.

Второй разъ, черезъ семь лѣтъ, переживъ много человѣческихъ страстей, полный ненависти, онъ падаетъ со смертельной раной на Бородинскомъ полѣ. Послѣ тяжелой и страшной операціи, обезсиленный князь Андрей не находитъ въ себѣ прежней ненависти къ врагамъ и «восторженная жалость и любовь къ человѣку наполняютъ его счастливое сердце».

«Цвѣтокъ любви вѣчной, свободной, не зависящей отъ этой жизни» мгновенно распустился въ душѣ его «какъ бы освобожденный отъ удерживавшаго его гнѣта жизни».

Новое, открывшееся теперь ему начало христіанской вѣчной любви отдаляло его отъ жизни и примиряло со смертію. «Все, всѣхъ любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этою земною жизнью». И чѣмъ больше проникался онъ этою новой любовью, тѣмъ спокойнѣе ждалъ приближенія смерти. Но явилась Наташа и «любовь къ одной женщинѣ незамѣтно закралась въ его сердце и опять привязала его къ жизни». Любовь безличная, христіанская вступила въ борьбу съ любовью къ женщинѣ. Какъ примирились бы эти чувства въ душѣ князя Андрея, если бы ему суждено было вернуться къ жизни? Мы этого не знаемъ. Смерть побѣдила въ борьбѣ. И князю Андрею было открыто «что-то такое, чего не понимали и не могли понимать живые и что поглощало его всего». Живые не могли понимать, «что всѣ эти чувства, которыми они дорожатъ, всѣ наши; всѣ эти мысли, которыя кажутся намъ такъ важны, что онѣ *не нужны*». Холодѣя къ жизни и ко всѣмъ когда-то дорогимъ ему людямъ, князь Андрей сталъ медленно просыпаться отъ долгаго жизненнаго сна. И въ эти послѣдніе дни своего существованія онъ былъ одинаково чуждъ и далеку обѣимъ, склонявшимся надъ нимъ живымъ женщинамъ — и христіанкѣ княжнѣ Марѣ, и язычницѣ Наташѣ.

Въ здоровомъ состояніи князь Андрей чуждъ мистическихъ откровеній. Его гордый и трезвый умъ пытается самъ разобраться во всемъ окружающемъ. Смыслъ и цѣль жизни не открываются ему: уголь завѣсы, скрывающей великую тайну, приподнимается лишь тогда, когда «гнетъ жизни» подавленъ, а мозгъ находится въ состояніи ненормальномъ. Зато этотъ проницательный и точный умъ великолѣпно разбирается во всемъ окружающемъ и на многія дѣла войны и мира смотритъ глазами автора. Князь Андрей видитъ много такого, что едва ли было доступно его современникамъ. На эту особенность героя Толстого указалъ еще въ 1868 году П. В. Анненковъ:

«Князь Андрей Болконскій вноситъ въ свою критику текущихъ дѣлъ и вообще въ свои воззрѣнія на современниковъ идеи и представленія, составившіяся о нихъ въ *наше* время. Онъ имѣетъ даръ предвидѣнія, дошедшій къ нему, какъ наслѣдство, безъ труда, и способность стоять выше своего вѣка, полученную весьма дешево. Онъ думаетъ и судитъ разумно, но не разумомъ своей эпохи, а другимъ, позднѣйшимъ, который ему открытъ благожелательнымъ авторомъ. Онъ умѣлъ счистить съ себя всѣ искреннія, но скучныя и досадныя черты современника той эпохи, о которой говорить, и въ средѣ которой жить. Онъ не можетъ увлекаться, не можетъ стоять подъ вліяніемъ какой-либо замѣчательной личности своего времени, потому что уже знаетъ біографическія подробности и анекдоты о каждой изъ нихъ, собранныя на-дняхъ. Ошибокъ онъ тоже не дѣлаетъ, кромѣ тѣхъ, какія дѣлаютъ и источники, откуда онъ почерпнулъ свою сверхъ-естественную проницательность...» «Вообще ему приходятъ въ голову сужденія, которыя современнику эпохи Александра I никогда бы не пришли; но Болконскій современникъ особенный, такой, которому открыто все то, что узно позднѣе...»<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> П. В. Анненковъ. Воспоминанія и критическіе очерки, отд. II, стр. 385 (С.-Пб. 1879).

Съ замѣчаніями этими нельзя не согласиться. Но можно съ увѣренностью пойти дальше: князь Андрей не только одинъ изъ духовныхъ наслѣдниковъ автора; онъ часть его, его анализирующій умъ, олицетворенный и отчлененный отъ чувствующаго и любящаго сердца.

Этимъ своимъ свойствомъ (безстрашнымъ умомъ) блестящій молодой человекъ и заинтересовалъ автора. Толстому стало жалко разставаться на Аустерлицкомъ полѣ съ тонкимъ наблюдателемъ историческихъ событій. И онъ «помиловалъ» князя Андрея. А князь Андрей отплатилъ за то автору, долго избавляя его отъ необходимости выступать отъ своего лица съ объясненіями смысла историческихъ событій.

Впрочемъ, не для того лишь, чтобы служить выразителемъ взглядовъ автора, помилованъ князь Андрей. Онъ является въ романѣ благороднымъ представителемъ человѣческаго ума, предоставленнаго собственнымъ силамъ.

Но, по мнѣнію Толстого, въ человекѣ, рядомъ съ «умомъ ума» есть еще «умъ сердца», играющій въ жизни гораздо болѣе видную роль.

Олицетвореніемъ «ума сердца» Толстого является въ «Войнѣ и мирѣ» Пьеръ Безуховъ. — «Это самый разсѣянный и смѣшной человекъ, но самое золотое сердце», говоритъ про своего друга князь Андрей.

Авторъ «Войны и мира» не устаетъ рекомендовать намъ умъ Пьера. Но поступки послѣдняго отнюдь не свидѣтельствуютъ объ умѣ въ общепринятомъ смыслѣ. Пьеръ очень склоненъ къ мечтательному философствованію; онъ слабъ волею; окружающая жизнь проходитъ передъ нимъ какъ бы въ туманѣ; судьба его вѣчно находится въ какой-нибудь фазѣ развитія.

Вы помните эти фазы: якобинство, поклоненіе Наполеону («величайшему человеку въ мірѣ»), эпикурейство и невѣріе, вѣра, масонство и мистицизмъ, филантропія, иллюминатство, заглушеніе виномъ и кутежами страха передъ непонятной житейской путаницей, ожиданіе катастрофы, увѣренность, что ему именно («l'russe Besuhof») предназначено, согласно Апокалипсису, умертвить «звѣря-антихриста» Наполеона, сближеніе въ плѣну со смиреннымъ «народнымъ» идеаломъ, духовное опрошеніе, радостное и любовное принятіе міра со всѣми его кажущимися недостатками и, наконецъ, въ эпилогѣ участіе въ общественномъ движеніи — борьба съ мистицизмомъ, реакціей и Аракчеевымъ. Психологически всѣ эти скитанія ищущей души мотивированы. Но въ нихъ мало человѣческой логики. «Умъ ума» участвуетъ здѣсь весьма слабо; за то «умъ сердца», ничѣмъ не сдерживаемый, дѣйствуетъ во всю.

Было бы долго слѣдить за всѣми этими переходами. Но на предпослѣднемъ фазисѣ — на томъ, чѣмъ плѣнила Пьера встрѣча съ Каратаевымъ, необходимо остановиться.

Пьеръ знакомится съ Каратаевымъ въ моментъ глубокаго душевнаго потрясенія. Арестъ, плѣнъ и судъ, присутствіе при казни и надвигающаяся смерть — до такой степени разстраиваютъ Пьера, что въ душѣ его какъ-будто вдругъ выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живымъ, и все завалилось въ кучу бессмысленнаго сора. Въ немъ, хотя онъ и не отдавалъ себѣ отчета, уничтожилась вѣра и въ благоустройство міра, и въ чело-



вѣческую, и въ свою душу, и въ Бога. «Міръ завалился въ его глазахъ и остались однѣ безсмысленныя развалины»<sup>1)</sup>).

По мѣрѣ наблюденій надъ «безграмотнымъ человѣкомъ-дурачкомъ»<sup>2)</sup> Пьеръ чувствуетъ, какъ прежде разрушенный міръ теперь съ новой красотой, на какихъ-то новыхъ и незабываемыхъ основахъ, движется въ его душѣ»<sup>3)</sup>. Судя по позднѣйшимъ разсказамъ Пьера, «никого изъ всѣхъ людей онъ такъ не уважалъ, какъ Платона Каратаева»<sup>4)</sup>).

Каратаевъ пятидесятилѣтній ласковый и простой солдатъ, въ ужасныхъ условіяхъ французскаго плѣна, жилъ, радовался и наслаждался жизнью. Его счастье состояло въ удовлетвореніи естественныхъ человѣческихъ потребностей. Но онъ любилъ жизнь и въ собственныхъ страданіяхъ, въ безвинности этихъ страданій. Онъ не могъ представить себя иначе, какъ частью всего существующаго, зналъ навѣрное, что каждое испытаніе ниспосылается ему свыше, что оно составляетъ безусловную необходимость для него самого и для всего цѣлаго. Смиренно склоняясь передъ этой необходимостью, онъ искалъ всегда и во всемъ торжественнаго благообразія, а когда наталкивался на грубыя и ужасныя вещи, наличность которыхъ должна бы колебать его вѣру въ великолѣпіе всего существующаго, онъ поспѣшно закрывалъ глаза и проходилъ мимо. Онъ работалъ, не покладая рукъ, такъ же, какъ пилъ, ѣлъ и пѣлъ — потому что чувствовалъ въ этомъ потребность и по той же причинѣ кротко, радостно, съ нѣжной лаской любилъ всѣхъ и все, что попадалось ему на глаза, не дѣлая различія между людьми и не привязываясь ни къ кому въ отдѣльности. Въ сущности онъ любилъ Пьера нисколько не больше, чѣмъ пристававшую къ нему кривоногую лиловую шавку. И Каратаевъ (Пьеръ чувствовалъ это) ни на минуту не огорчился бы разлукой и съ нимъ, и съ шавкой.

Въ разоренной и сожженной Москвѣ Пьеръ испыталъ почти крайніе предѣлы лишеній, которыя можетъ переносить человѣкъ»<sup>5)</sup>. «И именно въ это самое время онъ получилъ то спокойствіе и довольство собою, къ которымъ онъ тщетно стремился прежде. Онъ долго въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ этого успокоенія, согласія съ самимъ собою, того, что такъ поразило его въ солдатахъ въ Бородинскомъ сраженіи: онъ искалъ этого въ филантропіи, въ масонствѣ, въ разсѣяніи свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романтической любви къ Наташѣ; онъ искалъ этого путемъ мысли, — и всѣ эти исканія и попытки, всѣ обманули его. И онъ, самъ не думая о томъ, получилъ это успокоеніе и это согласіе съ самимъ собою только чрезъ ужасъ смерти, чрезъ лишенія и чрезъ то, что онъ понялъ въ Каратаевѣ»<sup>6)</sup>).

Ужасъ смерти «какъ-будто смылъ навсегда» изъ его воображенія и воспоминанія всѣ мысли и чувства, которыя раньше казались ему столь важными.

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 55 и 56.

<sup>2)</sup> Тамъ же, VIII, 274.

<sup>3)</sup> Тамъ же, VIII, 61.

<sup>4)</sup> Тамъ же, VIII, 360.

<sup>5)</sup> Тамъ же, VIII, 120.

<sup>6)</sup> Тамъ же, VIII, 120—121.

«Въ плѣну Пьеръ узналъ не умомъ, а всѣмъ существомъ своимъ, жизнью, что человѣкъ сотворенъ для счастья, что счастье въ немъ самомъ, въ удовлетвореніи естественныхъ человѣческихъ потребностей, и что все несчастье происходитъ не отъ недостатка, а отъ излишка...»<sup>1)</sup>. «Избытокъ удобствъ жизни уничтожаетъ все счастье удовлетворенія потребностей, а большая свобода выбора занятій, та свобода, которую ему въ его жизни давали образование, богатство, положеніе въ свѣтѣ, что эта-то свобода и дѣлаетъ выборъ занятій неразрѣшимо труднымъ и уничтожаетъ самую потребность и возможность занятія»<sup>2)</sup>.

Пьеръ узналъ также во время плѣна, что на свѣтѣ нѣтъ ничего страшнаго, онъ узналъ, что «такъ, какъ нѣтъ на свѣтѣ положенія, въ которомъ бы человѣкъ былъ счастливъ и вполнѣ свободенъ, такъ и нѣтъ положенія, въ которомъ бы онъ былъ бы несчастливъ и несвободенъ»<sup>3)</sup>...».

Къ такимъ успокоительнымъ взглядамъ привели его испытанныя лишенія и близость смерти. Все это дало ему возможность внѣшне опроститься, «скинуть съ себя все лишнее, дьявольское, все бремя внѣшняго человѣка»<sup>4)</sup>.

То, что онъ понималъ въ Каратаевѣ, способствовало *внутреннему* перерожденію, подвело фундаментъ подъ «успокоеніе».

Въ Каратаевѣ Пьеръ увидѣлъ за нелѣпыми, внѣшними формами, божественное содержаніе. И этотъ Богъ въ безграмотномъ дурачкѣ показался ему теперь болѣе великимъ, безконечнымъ и непостижимымъ, чѣмъ въ признаваемомъ масонами Архитектонѣ вселенной. Радость жизни, высшее духовное счастье, твердая вѣра въ благообразіе всего совершающагося («не нашимъ умомъ, а Божьимъ судомъ»), стремленіе въ радостяхъ жизни, въ ея страданіяхъ и въ смерти отразить это высшее благообразіе — вотъ начало божественной мудрости, обнаруженныя Пьеромъ у Каратаева и заставившія его, передъ лицомъ этого чуда, снова, еще разъ повѣрить въ Бога.

Бога Пьеръ искалъ раньше въ конечныхъ разумныхъ цѣляхъ жизни. Цѣль жизни, яко бы найденная его разумомъ, ставила ему извѣстныя ограниченія въ жизни, лишала его возможнаго счастья и каждый разъ оказывалась миражемъ. «И вдругъ онъ узналъ въ своемъ плѣну не словами, не разсужденіями, но непосредственнымъ чувствомъ», что человѣкъ сотворенъ для счастья, что счастье въ немъ самомъ и другихъ, внѣшнихъ цѣлей жизни «нѣтъ и не можетъ быть». «И это отсутствіе цѣли давало ему то полное, радостное сознаніе свободы, которое въ это время составляло его счастье»<sup>5)</sup>.

«Тончайшее духовное извлеченіе» изъ знакомства съ Каратаевымъ нашло выраженіе въ удивительномъ вѣщемъ снѣ Пьера.

Ему «представился, какъ живой, давно забытый кроткій старичокъ-учитель, который въ Швейцаріи преподавалъ Пьеру географію. «Постой», сказалъ старичокъ, и онъ показалъ Пьеру глобусъ. Глобусъ этотъ былъ живой, колеблющійся

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 189.

<sup>2)</sup> Тамъ же, VIII, 122.

<sup>3)</sup> Тамъ же, VIII, 189—190.

<sup>4)</sup> Тамъ же, VII, 358.

<sup>5)</sup> Тамъ же, VIII, 253—254.

шаръ, не имѣющій размѣровъ. Вся поверхность шара состояла изъ капель, плотно сжатыхъ между собой. И капли эти всѣ двигались, перемѣщались и то сливались изъ нѣсколькихъ въ одну, то изъ одной раздѣлялись на многія. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другія, стремясь къ тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались съ нею. «Вотъ жизнь», сказалъ старичокъ-учитель... «Въ серединѣ Богъ, и каждая капля стремится расшириться, чтобы въ наибольшихъ размѣрахъ отражать его. И растеть, и сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходитъ въ глубину и опять всплываетъ. Вотъ онъ, Каратаевъ, вотъ разлился и исчезъ...»<sup>1)</sup>.

Когда Пьеръ выздоравливаетъ послѣ плѣна и тяжелой болѣзни, онъ всѣмъ существомъ своимъ наслаждается жизнью, удовлетвореніемъ «естественныхъ человѣческихъ потребностей». Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ признаетъ на это право и у другихъ людей. Въ себѣ самомъ и въ каждомъ изъ окружающихъ онъ видитъ лишь живую, двигающуюся каплю, которая стремится расшириться и тѣмъ полнѣе отразить въ себѣ божество. Въ каждой каплѣ божество отражается своеобразно и въ этомъ Пьеръ не только не видитъ противорѣчій, но чувствуетъ проявленіе «великаго, безконечнаго и непостижимаго».

Общественные дѣятели того типа, къ которому принадлежалъ Пьеръ ранѣе, (напр. масонъ гр. Вилларскій), считали презрѣнными занятія семьей, дѣлами, службой, «потому что занятія эти имѣютъ цѣлью личное благо его и семьи». И на эту «странную» для теперешняго Пьера точку зрѣнія онъ только тихо и кротко улыбался, зная навѣрное, какъ неправъ Вилларскій. А тотъ, приглядываясь къ графу Безухову, находилъ, что онъ «опускается» и впадаетъ въ «апатію и эгоизмъ».

Когда вмѣстѣ съ радостью жизни Пьеръ получилъ предназначенную ему авторомъ Наташу, его любовное отношеніе къ людямъ выросло до крайнихъ предѣловъ.

Къ Пьеру пріѣзжаетъ полицмейстеръ. «Вотъ и этотъ тоже», думалъ Пьеръ, глядя въ лицо полицмейстера: «какой славный, красивый офицеръ и какъ добръ! *Теперь* занимается такими пустяками. А еще говорятъ, что онъ нечестенъ и пользуется. Какой вздоръ! А, впрочемъ, отчего же ему и не пользоваться? Онъ такъ воспитанъ. И всѣ такъ дѣлаютъ. А такое пріятное, доброе лицо и улыбается, глядя на меня»<sup>2)</sup>.

Пьеръ «не дожидался, какъ прежде, личныхъ причинъ, которыя онъ называлъ достоинствами людей, для того, чтобы любить ихъ, а любовь переполняла его сердце, и онъ, безпричинно любя людей, находилъ несомнѣнныя причины, за которыя стоило любить ихъ»<sup>3)</sup>.

Оба героя Толстого — и князь Андрей, и Пьеръ Безуховъ, — несомнѣнно, близки автору по духу: одинъ олицетворяетъ его «умъ ума» (разумъ, анализъ, мысль): другой — его «умъ сердца» (вѣру, синтезъ, чувство). По преобладанію

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 196—197.

<sup>2)</sup> Тамъ же, VIII, 279.

<sup>3)</sup> Тамъ же, VIII, 285.



разума или чувства они являются натурами, прямо противоположными. Наташа чутко отмѣчаетъ эту коренную разницу между двумя друзьями:

— Говорятъ, что дружны мужчины, когда совсѣмъ особенные. Должно-быть, это правда. Правда, онъ (Пьеръ) совсѣмъ на него (кн. Андрея) не похожъ, ничѣмъ?»<sup>1)</sup>

Одна черта у нихъ, однако, общая. Ихъ взгляды, убѣжденія, міросозерцаніе находятся въ состояніи неустойчиваго равновѣсія. Въ каждую данную минуту можно ждать въ этой области самыхъ рѣшительныхъ перемѣнъ. Такіе перевороты *всегда* связаны съ событіями чисто личнаго свойства — болѣзнью, измѣной жены, неудачами въ любви или общественной дѣятельности и тому подобнымъ. Вдругъ въ головѣ свертывается тотъ главный винтъ, на которомъ держалась жизнь, связь между прежде понятными явленіями разсыпается, міръ заваливается, наступаетъ хаосъ. Потомъ, постепенно разрушенный міръ начинаетъ снова возстанавливаться въ душѣ на иныхъ и (кажется) уже незбылемыхъ основаніяхъ. Но наступаетъ новая личная катастрофа и опять все разваливается. Основы характеровъ остаются всегда неизмѣнными: нельзя представить себѣ кн. Андрея слабымъ волей и безъ гордаго понятія чести и Пьера Безухова безъ проявленія «золотого сердца». Но нельзя также представить себѣ *последнюю* стадію развитія ихъ духовной жизни, *последнее* міросозерцаніе каждаго изъ нихъ. Смерть можетъ прекратить эти перевороты, но до самой смерти нельзя положиться, ни на одно (на этотъ разъ уже самое достовѣрное!) рѣшеніе. И нельзя сказать, чтобы здѣсь мы имѣли дѣло съ постояннымъ душевнымъ хаосомъ, постоянными колебаніями, постояннымъ движеніемъ. Въ каждый данный моментъ убѣжденія категоричны и тверды, какъ скала. А на завтра, быть-можетъ, обстоятельства сложатся въ личную катастрофу и весь стройный душевный міръ предшествующей прочной постройки безнадежно завалится.

У князя Андрея такіа перемѣны рѣже, процессъ мучительнѣе. У Пьера Безухова постоянныя «вѣрю — не вѣрю» доведены до крайности и фантастическія фазы его душевнаго развитія переходятъ часто въ область комическаго.

Способностью «разрушать и снова созидать міры»<sup>2)</sup> по поводамъ чисто личнымъ — отличается и герой «Анны Карениной» — Левинъ.

Въ связи съ этимъ Достоевскій дѣлаетъ нѣсколько интересныхъ замѣчаній. «Однимъ словомъ», пишетъ онъ, сомнѣнія кончились и Левинъ увѣровалъ — во что!? Онъ еще этого строго не опредѣлилъ, но онъ уже вѣруетъ. Но вѣра ли это? Онъ самъ себѣ радостно задаетъ этотъ вопросъ: «неужели это вѣра?» Надобно полагать, что еще нѣтъ. Мало того: врядъ ли у такихъ, какъ Левинъ, и можетъ быть окончательная вѣра...» «А вѣру свою онъ разрушитъ опять, разрушитъ самъ, долго не продержится: выйдетъ какой-нибудь новый сучокъ и разомъ все рухнетъ. Кити пошла и споткнулась, такъ вотъ зачѣмъ она споткнулась? Если споткнулась, значить и не могла не споткнуться; слишкомъ ясно видно, что она споткнулась потому-то и потому-то. Ясно, что все тутъ зависѣло отъ законовъ,

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 276—277.

<sup>2)</sup> Выраженіе г. Л. Шестова.

которые могут быть строжайше опредѣлены. А если такъ, то значить всюду наука. Гдѣ же Промысль? Гдѣ же роль его? Гдѣ же отвѣтственность человѣческая? А если нѣтъ Промысла, то какъ же я могу вѣрить въ Бога и т. д. и т. д....»<sup>1)</sup>).

Постоянная возможность наступленія такихъ новыхъ личныхъ обстоятельствъ, которыя совершенно опрокинутъ послѣднее незыблемое міросозерцаніе, лишаетъ насъ права разсматривать каратаевскія тенденціи, какъ окончательную фазу развитія Пьера Безухова. И дѣйствительно, черезъ семь лѣтъ (см. «Эпилогъ») мы застаемъ его во многомъ измѣнившимся. Была ли то своеобразная эволюція или революція духа и что именно ее вызвало, мы не знаемъ. Но фактъ новой перемѣны во взглядахъ Пьера совершенно опредѣленно зарегистрированъ въ романѣ.

Но объ этомъ ниже.

Присматриваясь къ главнымъ героямъ «Войны и мира», мы видѣли вліяніе на автора *семьи*, то-есть съ одной стороны его личныхъ семейныхъ традицій, съ другой — отношеніе его къ семьѣ и браку.

Отразились ли въ романѣ принадлежность автора къ опредѣленному общественному *классу*, классовые интересы и симпатіи?

Въ извѣстныхъ статьяхъ своихъ о «Войнѣ и мирѣ» покойный Страховъ говоритъ между прочимъ, что романъ Толстого даетъ «полную картину Россіи» начала XIX столѣтія.

Это — совершенно невѣрно. И прежде всего потому что Толстой рисуетъ намъ лишь *аристократическую Россію* того времени. Народъ играетъ въ романѣ весьма скромную роль: во всѣхъ четырехъ томахъ изъ 1821 печатной страницы<sup>2)</sup> едва наберется 150 такихъ, гдѣ представители «простого» народа появляются на сценѣ. Въ большинствѣ случаевъ это — солдаты — необходимый и неизбѣжный аксессуаръ батальныхъ картинъ. Для уясненія психологіи народа, его отношенія къ развертывавшимся міровымъ событіямъ важны весьма немногія сцены. Да и тѣ, по большей части, изучаютъ не самый народъ, а скорѣе вліяніе нѣкоторыхъ элементовъ народной правды на растерявшуюся барскую душу (впечатлѣнія Пьера до и во время Бородинскаго сраженія, и главнымъ образомъ, знакомство его съ Платономъ Каратаевымъ). Если выдѣлить и эти мѣста, то что же останется? Нѣсколько замѣчаній солдатъ о смыслѣ войны 1805 года послѣ смотра при Браунау (т. V, стран. 174—175), сожженіе Смоленска (т. VII, стран. 139—149), богучаровскій «бунтъ» (т. VII, стран. 176—182, 186—191, 194—202), зимняя стоянка мушкатеровъ въ послѣдній день Красненскаго сраженія (т. VIII, стран. 233—243), крестьянинъ-партизанъ Тихонъ Щербатый (т. VIII, стран. 163—168) и, пожалуй, Верещагинскій инцидентъ (т. VII, стран. 411—427).

Какъ ни геніальны эти картины, онѣ не даютъ полного представленія ни о народѣ того времени, ни объ отношеніи его къ наполеоновскимъ войнамъ<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Достоевскій, Полное собраніе сочиненій. Изд. Маркса, С.-Пб., 1895, томъ XI, часть 1, стран. 253—254.

<sup>2)</sup> По XII изданію «Сочиненій» (М. 1911).

<sup>3)</sup> Армія все же — не народъ.

Представители другихъ общественныхъ классовъ (кромѣ лендлордства и отчасти — крестьянства) — почти совершенно отсутствуютъ въ «Войнѣ и мирѣ».

Странно было бы ставить Толстому въ вину такое самоограниченіе: художникъ изображаетъ то, что знаетъ и хочетъ. Мы можемъ лишь констатировать фактъ. Но, съ другой стороны, утвержденія, подобныя Страховскому, способны породить недоразумѣнія: принявъ его точку зрѣнія<sup>1)</sup>, пришлось бы предъявить къ творенію Толстого такія требованія, отвѣчать которымъ оно не можетъ.

*Бытовая сторона «Войны и мира» сводится несомнѣнно лишь къ геніальному воспроизведенію картины стараго русскаго барства первыхъ десяти-лѣтій XIX столѣтія.*

Этой темѣ посвящены  $\frac{3}{4}$  романа.

Можно ли упрекнуть Толстого въ пристрастіи къ своему классу?

Общая картина большого свѣта (и петербургскаго, и московскаго) — ужасающая: глупость, невѣжество, бессмысленное подражаніе иностраннымъ образцамъ, ложь, мелкое интриганство, беззастѣнчивое и безсовѣстное преслѣдованіе самыхъ узкихъ личныхъ цѣлей, мелкая торговля интересами государства и т. д. и т. д. — всѣхъ отрицательныхъ свойствъ этой придворной и свѣтской челяди не перечесть... Не даромъ А. С. Норовъ и другіе представители высшаго общества начала столѣтія, дожившіе до выхода въ свѣтъ «Войны и мира», протестовали самымъ рѣшительнымъ образомъ, доказывая, что петербургскихъ салоновъ, описанныхъ въ романѣ, никогда не было и не могло быть...

Есть, правда и исключенія. Къ нимъ прежде всего относятся двѣ семьи (Ростовыхъ и Болконскихъ), исторія которыхъ и составляетъ собственно романъ. Обѣ семьи зарисованы, какъ мы видѣли, съ большою любовью и теплою симпатіей. Но эти чувства идутъ, конечно, не отъ классовыхъ влеченій: обѣ семьи хороши потому, что онѣ состоятъ въ общемъ изъ хорошихъ людей; онѣ хороши не потому, что принадлежать къ аристократіи, а скорѣе, не смотря на это. Здѣсь — симпатіи младшаго члена семьи, относящагося съ любовью къ тѣнямъ старшихъ ея представителей, здѣсь — милыя воспоминанія дѣтства, здѣсь — благоговѣйныя мысли о матери, которой не зналъ и не помнилъ авторъ. Съ другой стороны, нельзя отрицать, что и въ то грубое, жестокое время могли существовать, и существовали дѣйствительно, семьи, подобныя описаннымъ. Онѣ существуютъ во всѣ времена. На этомъ едва ли нужно долѣе останавливаться. Но вотъ что должно быть отмѣчено. Лучшіе изъ выведенныхъ въ «Войнѣ и мирѣ» людей находятъ «правду» не въ своей средѣ, а лишь путемъ сближенія съ народомъ: такова княжна Марья со своими Божьими людьми, таковъ Пьеръ въ наукѣ у солдатъ и Кара-

<sup>1)</sup> Н. Страховъ. Критич. статьи, т. I. Объ И. С. Тургеевѣ и Л. Н. Толстомъ, изд. 5-е Кіевъ, 1900, стр. 277:

«Полная картина человѣческой жизни.

Полная картина тогдашней Россіи.

Полная картина того, въ чемъ люди полагаютъ свое счастье и величіе, свое горе и униженіе.

Вотъ что такое «Война и Миръ».



таева, таковъ даже бурбонъ Николай Ростовъ въ отношеніяхъ своихъ къ *«нашему русскому народу»*.

Князь Андрей остается въ сторонѣ отъ этихъ вліяній. Но именно князь Андрей, этотъ аристократъ по духу, съ глубокимъ и нескрываемымъ презрѣніемъ относится къ свѣтской и придворной челяди, съ которой, по положенію своему, онъ вынужденъ сталкиваться въ Петербургѣ и въ арміи. Въ свѣтской гостини, гдѣ онъ на одной доскѣ «съ придворнымъ лакеемъ и идіотомъ», онъ развалился сидитъ въ креслахъ и сквозъ зубы, презрительно шуруя, говоритъ французскія фразы. Человѣкомъ онъ становится только съ людьми. Онъ простъ, милъ и любезенъ не только съ отцомъ, сестрою или другомъ, но и съ Тушинимъ, и съ Тимохинымъ. Князя Андрея не любятъ въ свѣтѣ за гордость, но обожаютъ за простоту и человѣчность офицеры и солдаты его полка. Пріѣхавъ къ отцу въ деревню, князь Андрей, посмѣиваясь и покачивая головой, смотритъ на генеалогическое дерево князей Болконскихъ, доказывающее происхожденіе ихъ отъ Рюрика: «у каждого своя ахиллесова пятка», говоритъ онъ сестрѣ; «съ *его* огромнымъ умомъ donner dans ce ridicule!» Онъ отпускаетъ часть своихъ крестьянъ на волю, облегчаетъ положеніе остальныхъ, не желаетъ пользоваться на службѣ преимуществами своего званія... Зайдя въ квартиру Бориса Друбецкого въ то время, когда графъ Ростовъ, съ ухватками армейскаго гусара, рассказываетъ про Шенграбенское дѣло, онъ морщится: ему непріятно попасть «въ дурное общество». Но вотъ какъ онъ относится къ «кутейнику» Сперанскому: «Первое время своего знакомства со Сперанскимъ князь Андрей питалъ къ нему страстное чувство восхищенія, похожее на то, которое онъ когда-то испытывалъ къ Бонапарте. То обстоятельство, что Сперанскій былъ сынъ священника, котораго можно было глупымъ людямъ, какъ это и дѣлали многіе, пошло презирать въ качествѣ кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться съ своимъ чувствомъ къ Сперанскому и безсознательно усиливать его въ самомъ себѣ»<sup>1)</sup>.

Толстой не любитъ Сперанскаго и несправедливъ къ нему. Но тутъ виновато не происхожденіе Сперанскаго, какъ думаютъ нѣкоторые: виновата столь непріятная Толстому «непоколебимая вѣра Сперанскаго въ силу и законность ума»; виноваты претензіи его держать въ своихъ «пухлыхъ, бѣлыхъ рукахъ» судьбы Россіи.

Отдаленныя симпатіи къ «истинному» аристократизму можно, конечно, подмѣтить въ «Войнѣ и мирѣ». Необходимо указать также на нежеланіе Толстого считаться съ тѣмъ соціальнымъ фундаментомъ, на которомъ покоилась воспѣтая имъ свѣтлая жизнь двухъ патріархальныхъ семей. Такое отношеніе его къ рабству заслонило отъ него истинное пониманіе многихъ чертъ эпохи. Объ этомъ еще придется говорить далѣе.

Съ такого рода оговоркою, можно констатировать, что, послѣ своего посредничества, Толстой слишкомъ хорошо зналъ цѣну нашему «ужасному грубому и жестокому дворянству»<sup>2)</sup>, чтобы выступать защитникомъ его классовыхъ интересовъ.

<sup>1)</sup> Сочин., VI, 207.

<sup>2)</sup> Отзывъ самого Льва Николаевича отъ 7 августа 1862 г. (см. цитир. выше письмо къ гр. А. А. Толстой., ук. соч., стран. 164).

Въ эпилогѣ «Войны и мира» изображенъ характерный споръ между Пьеромъ Безуховымъ и Николаемъ Ростовымъ. Споръ идетъ объ отношеніи частныхъ лицъ къ *правительству*.

«Положеніе въ Петербургѣ, говоритъ Пьеръ, вотъ какое: государь ни во что не входитъ. Онъ весь преданъ этому мистицизму (мистицизма Пьеръ никому не прощаль теперь). Онъ ищетъ только спокойствія, и спокойствіе ему могутъ дать только тѣ люди *sans foi ni loi*, которые рубятъ и душатъ все съ плеча: Магницкій, Аракчеевъ и *tutti quanti*...» «Ну, и все гибнетъ. Въ судахъ воровство, въ арміи одна палка: шагистика, поселенія, — мучать народъ; просвѣщеніе душатъ. Что молодо, честно, то губятъ! Всѣ видятъ, что это не можетъ такъ идти. Все слишкомъ натянуто и непременно лопнетъ, — говорилъ Пьеръ (какъ съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ правительство, вглядѣвшись въ дѣйствія какого бы то ни было правительства, всегда говорятъ люди). — Я одно говорилъ имъ въ Петербургѣ... Соревновать просвѣщенію и благотворительности все это хорошо, разумѣется. Цѣль прекрасная и все, но въ настоящихъ обстоятельствахъ надо другое... Когда вы стоите и ждете, что вотъ-вотъ лопнетъ эта натянутая струна; когда всѣ ждутъ неминуемаго переворота, надо какъ можно тѣснѣе и больше народа взяться рука съ рукой, чтобы противостоять общей катастрофѣ. Все молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняютъ женщины, другого почести, третьяго тщеславіе, деньги, и они переходятъ въ тотъ лагерь. Независимыхъ, свободныхъ людей, какъ вы и я, совсѣмъ не остается. Я говорю: расширьте кругъ общества: *mot d'ordre* пусть будетъ не одна добродѣтель, но независимость и дѣятельность...»

— Да съ какою цѣлью дѣятельность? — вскрикнулъ Николай. — И въ какія отношенія станете вы къ правительству?

— Вотъ въ какіе! Въ отношенія помощниковъ. Общество можетъ быть не тайное, ежели правительство его допустить. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящихъ консерваторовъ. Общество джентльменовъ въ полномъ значеніи этого слова. *Мы только для того, чтобы Пугачевъ не пришелъ зарѣзать и моихъ и твоихъ дѣтей и чтобы Аракчеевъ не послалъ меня въ военное поселеніе*, — мы только для этого беремся рука съ рукой, съ одною цѣлью общаго блага и общей безопасности.

— Да; но тайное общество, *слѣдовательно, враждебное и вредное, которое можетъ породить только зло*. «— Отчего? Развѣ Тугендбундъ, который спасъ Европу (тогда еще не смѣли думать, что Россія спасла Европу) произвелъ что-нибудь вредное? Тугендбундъ — это союзъ добродѣтели; это любовь, взаимная помощь; это то, что на крестѣ проповѣдывалъ Христосъ...»

«Николай еще болѣе сдвинулъ брови и сталъ доказывать Пьеру, что никакого переворота не предвидится и что вся опасность, о которой онъ говоритъ, находится только въ его воображеніи. Пьеръ доказывалъ противное, и, такъ какъ его умственныя способности были сильнѣе и изворотливѣе, Николай почувствовалъ себя поставленнымъ втупикъ. Это еще больше разсердило его, *такъ какъ онъ въ душѣ своей не по разсужденію, а почему-то сильнѣйшему, чѣмъ разсужденіе, зналъ несомнѣнную справедливость своего мнѣнія*.

«— Я вот что тебѣ скажу, — проговорилъ онъ, вставая... Доказать я тебѣ не могу. Ты говоришь, что у насъ все скверно и что будетъ переворотъ; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга — условное дѣло, и на это я тебѣ скажу: что ты лучший другъ мой, ты это знаешь; но составъ вы тайное общество, начини вы противоѣдствовать правительству, *какое бы оно ни было*, я знаю, что мой долгъ повиноваться ему. И вели мнѣ сейчасъ Аракчеевъ идти на васъ съ эскадрономъ и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду. А тамъ суди, какъ хочешь...»

Оставшись вдвоемъ съ женой, Николай продолжаетъ волноваться. «— Когда я ему сказалъ, что долгъ и присяга выше всего, онъ сталъ доказывать Богъ знаетъ что. Жаль, что тебя не было, что бы ты сказала?...»

Возвышенная графиня Марья отвѣчаетъ: «По моему, ты совершенно правъ. Я такъ и сказала Наташѣ. Пьеръ говоритъ, что всѣ страдаютъ, мучатся, развращаются и что нашъ долгъ — помочь ближнимъ. Разумѣется онъ правъ, но онъ забываетъ, что у насъ есть другія обязанности ближе, *которыя Самъ Богъ указалъ намъ, и что мы можемъ рисковать собой, но не дѣтьми...*»

Такимъ оборотомъ вопроса Николай остается чрезвычайно доволенъ.

«Да, Пьеръ всегда былъ и останется мечтателемъ, продолжаетъ онъ. Ну, какое дѣло мнѣ до всего этого тамъ, — что Аракчеевъ нехорошъ и все, — какое мнѣ до этого дѣло было, когда я женился и у меня долговъ столько, что меня въ яму сажаютъ, и мать, которая этого не можетъ видѣть и понимать. А потомъ — ты, дѣти, дѣла. Развѣ я для своего удовольствія съ утра до вечера по дѣламъ и въ конторѣ. Нѣтъ, я знаю, что я долженъ работать, чтобы успокоить мать, отплатить тебѣ и дѣтей не оставить такими нищими, какимъ я былъ<sup>1)</sup>».

Изъ этого длиннаго отрывка читатель видитъ прежде всего, что Пьеръ въ данный моментъ находится еще разъ въ новой фазѣ развитія. Семь лѣтъ назадъ онъ не вздумалъ бы основывать своего тайнаго общества. Съ кротк-насмѣшливой улыбкой онъ сталъ бы присматриваться къ своеобразному проявленію Божества въ Аракчеевъ. Онъ уловлялъ бы въ сѣти любви и взяточника квартальнаго, ставленника Аракчеева, и людей, выматывавшихъ души изъ военныхъ поселенцевъ, и самого Аракчеева.

Теперь онъ хочетъ объединить честныхъ людей для защиты отъ временщика. Правда, мы слышимъ, онъ дѣлаетъ это *«только»* для того, чтобы Пугачевъ не пришелъ зарѣзать *нашихъ* дѣтей и чтобы Аракчеевъ не послалъ *его* въ военное поселение». Но вѣдь мы можемъ и не вѣрить этому *«только»*. Тѣмъ болѣе, что рѣчь идетъ все время не столько о семьѣ, сколько о «ближнихъ», угнетаемыхъ Аракчеевымъ.

По данному вопросу герои Толстого несогласны между собою.

Графиня Марья не отрицаетъ, что Богъ велитъ помогать ближнимъ. Но тотъ же Богъ указалъ намъ другія обязанности, ближе: мы можемъ рисковать собой, но не дѣтьми. А такъ какъ мы нужны дѣтямъ, то, очевидно, не можемъ рисковать и собой. Значитъ, ближніе какъ-нибудь обойдутся.

Николай со своимъ «здравымъ смысломъ посредственнсти» «по чему-то сильнѣйшему, чѣмъ разсужденіе» знаетъ навѣрное, что «долгъ и присяга выше

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 349—352 355, 356 (курсивъ вездѣ мой).



всего» и потому собирается рубить своего родственника и лучшего друга, если «презрѣнный и презираемый» Аракчеевъ ему прикажетъ.

Пьеръ считаетъ присягу дѣломъ условнымъ и вѣроятно, тоже «почему-то сильнѣйшему чѣмъ разсужденіе» знаетъ навѣрное, что гражданскій долгъ его защищать себя и «ближнихъ» отъ изувѣрства Аракчеева; Христосъ проповѣдывалъ на крестѣ помощь ближнимъ.

На чьей сторонѣ авторъ?

Только не на сторонѣ Пьера. Толстой смѣется надъ его «самодовольными» разсужденіями; ему забавно, что Пьеръ считаетъ себя призваннымъ «дать новое направленіе всему русскому обществу и всему міру». Ему, какъ и Николаю Ростову, нѣтъ никакого дѣла «до всего этого тамъ».

Вотъ что пишетъ онъ, напримѣръ, въ самый разгаръ работы надъ «Войною и миромъ» А. А. Толстой: «Почему вы говорите, что я поссорился съ Катковымъ? Я и не думалъ. Во-первыхъ, потому что не было причины, а во-вторыхъ, потому что между мной и имъ столько же общаго, сколько между вами и вашимъ водовозомъ. Я и не сочувствую тому, что запрещаютъ полякамъ говорить по-польски и не сержусь на нихъ за это и не обвиняю Муравьевыхъ и Черкасскихъ, а мнѣ совершенно все равно, кто бы не душилъ поляковъ или не взялъ Шлезвигъ Гольштейнъ или произнесъ рѣчь въ собраніи земскихъ учреждений. И мясники бьютъ быковъ, которыхъ мы ѣдимъ, и я не обязанъ обвинять ихъ или сочувствовать» (письмо отъ 14 ноября 1865 г.).

Но Толстой не только равнодушенъ къ политической и общественной дѣятельности; онъ враждебенъ ей. Не чувствуя въ себѣ безкорыстныхъ позывовъ въ этомъ направленіи, онъ склоненъ отрицать существованіе ихъ и во всѣхъ остальныхъ людяхъ: общественные дѣятели, въ его глазахъ, въ лучшемъ случаѣ, обманутые своимъ горделивымъ тщеславіемъ люди, въ худшемъ — просто обманщики.

Политическая дѣятельность Пьера осуждается въ «Войнѣ и мирѣ» съ трехъ разныхъ точекъ зрѣнія.

И прежде всего съ народно-религіозной: Платонъ Каратаевъ, котораго больше всѣхъ другихъ людей уважалъ Пьеръ, по собственному сознанию послѣдняго, не одобрилъ бы похода противъ правительства. Каратаевъ принимаетъ жизнь цѣликомъ, «съ безвинностью страданій» — своихъ и чужихъ. Во всемъ (и въ этихъ страданіяхъ) ищетъ онъ руки Божіей и высшаго благообразія. Онъ съ умиленіемъ рассказываетъ, какъ «по порядку» рвутъ ноздри невинному купцу и наказываютъ его кнутомъ, и какъ тотъ терпитъ и «какъ слѣдуетъ покоряется». Также терпитъ и покоряется всю жизнь самъ Каратаевъ и *для него* этотъ рассказъ, о «взысканномъ Богомъ» купцѣ — не платоническій предметъ умиленія, а настоящая жизненная программа. Очевидно, *въ то время* такая философія еще не владѣла авторомъ: онъ могъ умиляться ею въ другихъ (и то лишь въ моменты высшаго духовнаго самоотреченія), но не былъ способенъ слѣдовать ей въ жизни. Мы помнимъ, что на простой обыскъ, затронувшій его, онъ реагировалъ заряженными револьверами. Въ соотвѣтствіи съ этимъ и герои «Войны и мира» не способны руководиться *въ своей жизни* воззрѣніями Каратаева. Не только Николай, На-

таша, Пьеръ, но даже и возвышенная христіанка графиня Марья не согласились бы, ради потѣхи Аракчеева, принять безвинныя страданія *для себя и для своихъ дѣтей*. Міропониманіе Каратаева, продуманное до конца, отрицаетъ многое въ жизни героевъ «Войны и мира». И Толстой въ послѣдствіи сталъ постепенно на эту точку зрѣнія. На ней *не стоятъ* герои «Войны и мира» и потому взгляды на отношенія къ правительству Платона Каратаева не обязательны для нихъ.

Другое возраженіе противъ плановъ Пьера должно вытекать изъ общихъ воззрѣній Толстого на философію исторіи, развитыхъ въ «Войнѣ и мирѣ». На этомъ вопросѣ мы не будемъ останавливаться подробно: философіи исторіи «Войны и мира» посвящена въ сборникѣ статья В. Н. Перцова. Однако, кое-что приходится отмѣтить здѣсь же, чтобы разобраться въ затронутомъ нами выше вопросѣ.

Въ разныхъ мѣстахъ своего романа Толстой говоритъ:

«Жизнь, настоящая жизнь людей — съ своими существенными интересами здоровья, болѣзни, труда, отдыха, съ своими интересами мысли, науки, поэзіи, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей» — идетъ всегда независимо отъ крупныхъ политическихъ событій и «внѣ всѣхъ возможныхъ преобразованій»<sup>1)</sup>. Всѣ люди одинаково — лишь ничтожныя орудія въ рукахъ Провидѣнія; они живутъ и движутся своими личными, ближайшими цѣлями или обманываютъ себя иллюзіями общественной и политической дѣятельности, а Провидѣніе въ своихъ цѣляхъ, недоступныхъ уму человѣческому, направляетъ эти личныя воли и изъ взаимодействія ихъ творитъ нужную ему исторію. Плодотворная сознательная общественная дѣятельность невозможна. Въ этой области нельзя знать, что исполнимо и что неисполнимо, такъ какъ для осуществленія каждаго проекта можетъ встрѣтиться миллионъ неожиданныхъ препятствій. Человѣкъ, не одержимый страстью, никогда не знаетъ, въ чемъ заключается благо другихъ людей (*le bien public*). «Человѣкъ, совершающій преступленіе, всегда вѣрно знаетъ, въ чемъ состоитъ это благо»<sup>2)</sup>.

«Только одна бессознательная дѣятельность приноситъ плоды, и человѣкъ, играющій роль въ историческомъ событіи, никогда не понимаетъ его значенія. Ежели онъ пытается понять его, онъ поражается бесплодностью»<sup>3)</sup>.

«Каждому администратору въ спокойное, небурное время кажется, что только его усиліями движется все ему подвѣдомственное народонаселеніе, и въ этомъ сознаніи своей необходимости каждый администраторъ чувствуетъ главную награду за свои труды и усилія. Понятно, что до тѣхъ поръ, пока историческое море спокойно, правителю-администратору, съ своей утлой лодочкой упирающемуся шестомъ въ корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усиліями двигается корабль, въ который онъ упирается. Но стоитъ подняться бурѣ, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда ужъ заблужденіе невозможно. Корабль идетъ своимъ громаднымъ, независимымъ ходомъ, шестъ не достаетъ до двинувшагося корабля, и правитель вдругъ изъ положенія

<sup>1)</sup> Сочин., VI, 185.

<sup>2)</sup> Тамъ же, VII, 428.

<sup>3)</sup> Тамъ же, VIII, 19.

властителя, источника силы, переходитъ въ ничтожнаго, бесполезнаго и слабогочеловѣка»<sup>1)</sup>).

Правители лишь отражаютъ движенія массъ своею административною и законодательною дѣятельностью. Съ этой точки зрѣнія историческія лица, мнящія себя руководителями событій, подобны «ребенку, который въ каретѣ, держась за тесемочки, воображаетъ, что онъ править»<sup>2)</sup>).

И такъ, все совершается по волѣ Провидѣнія. Все неизбѣжно. Неизбѣжны и Аракчеевы. «Въ механизмѣ государственнаго организма нужны эти люди», успокаиваетъ Толстой, «какъ нужны волки въ организмѣ природы, и они всегда есть, всегда являются и держатся, какъ ни несообразно кажется ихъ присутствіе и близость къ главѣ правительства. Только этою необходимостью можно объяснить то, какъ могъ жестокій, лично выдергивавшій усы гренадерамъ и не могущій по слабости нервовъ переносить опасность, необразованный, непридворный Аракчеевъ держаться въ такой силѣ при рыцарски-благородномъ и нѣжномъ характерѣ Александра»<sup>3)</sup> — Негодовать, пожалуй, можно («нельзя не думать»), но встрѣвать въ эти дѣла бесполезно: сознательная дѣятельность на историческомъ поприщѣ бесплодна; сдѣлать ничего нельзя.

Много блестящихъ страницъ «Войны и мира» посвящено доказательству этихъ положеній. И все же они остаются недоказанными.

На полѣ исторической дѣятельности нельзя учесть всѣхъ возможныхъ случайностей. Слишкомъ самоувѣренные люди часто не достигаютъ поставленныхъ себѣ цѣлей. Находясь въ потокѣ развивающихся событій трудно правильно оцѣнить значеніе ихъ для будущаго. Всѣ подобныя замѣчанія не могутъ вызвать возраженій. Но слѣдуетъ ли изъ этого, что *всегда* и *всѣ* сознательныя дѣйствія историческихъ лицъ остаются бесплодными? что бесплодна всякая сознательная дѣятельность? Лица, выдвинутыя на поприще исторіи, по необходимости, дѣйствуютъ. Они дѣйствуютъ болѣе или менѣе сознательно. Можно ли утверждать, что чѣмъ сознательнѣе они дѣйствуютъ, тѣмъ хуже ихъ работа?

Замѣчательно, что одинъ изъ любимыхъ героевъ Толстого, геніально угаданный имъ и съ удивительной пластичностью воспроизведенный, — старикъ Кутузовъ — является опроверженіемъ этой теоріи. Толстой, съ любовью описывая его работу, не устаетъ твердить, что своимъ долгимъ опытомъ, своей старостью Кутузовъ «презиралъ» умъ. Это презрѣніе относится главнымъ образомъ къ тѣмъ «умнымъ» военнымъ проектамъ, которые не учитывали данныхъ обстоятельствъ или претендовали на учетъ всѣхъ возможныхъ случайностей. Очевидно, съ точки зрѣнія опытнаго и знающаго Кутузова всѣ эти «умные» проекты были просто сомнительны, рискованны, неосуществимы. Нѣтъ возможности отдѣлать въ оцѣнкѣ этихъ проектовъ опытъ и знанія Кутузова отъ его ума.

А какъ поступаетъ онъ самъ? Вотъ Наполеонъ, послѣ плѣненія Мака и взятія Вѣны, ставитъ ловушку русской арміи. Князь Андрей застаётъ стараго

<sup>1)</sup> Сочин., VII, 421.

<sup>2)</sup> Тамъ же, VIII, 114.

<sup>3)</sup> Тамъ же, VII, 26.



фельдмаршала совершенно погруженнымъ въ заботу. «Князь Андрей стоялъ прямо противъ Кутузова; но по выраженію единственного зрячаго глаза главнокомандующаго видно было, что мысль и забота такъ сильно занимали его, что какъ-будто застилали ему зрѣніе»<sup>1)</sup>. Толстой подробно рассказываетъ намъ вслѣдъ затѣмъ, какія возможности были передъ Кутузовымъ, какъ онъ выбралъ одну изъ нихъ, какъ ловко воспользовался обстоятельствами и, стройно выполнивъ намѣченную задачу, перехитрилъ Наполеона и спасъ русскую армію.

Подводя итоги дѣятельности Кутузова въ 1812 году, Толстой говорить: Кутузовъ, — «который отъ начала и до конца своей дѣятельности въ 1812 году, отъ Бородина до Вильны, ни разу ни однимъ дѣйствіемъ, ни словомъ не измѣняя себя, являетъ необычайный въ исторіи примѣръ самоотверженія и *сознанія въ настоящемъ будущаго значенія событій*»<sup>2)</sup>. Толстой приводит затѣмъ цѣлый рядъ изреченій Кутузова, которыя доказываютъ сознательное отношеніе стараго фельдмаршала къ ходу военныхъ дѣйствій. «Но одни слова», читаемъ въ «Войнѣ и мирѣ», «не доказали бы, что онъ (Кутузовъ) тогда понималъ значеніе событія. Дѣйствія его — всѣ безъ малѣйшаго отступленія — всѣ направлены къ одной и той же троякой цѣли: 1) напрячь всѣ свои силы для столкновенія съ французами, 2) побѣдить ихъ и 3) изгнать изъ Россіи, облегчая, насколько возможно, бѣдствія народа и войска»<sup>3)</sup>.

И такъ, сознательныя дѣйствія даже на полѣ всемірной исторіи не всегда безплодны: и здѣсь можно кое-что учсть и кое-чего добиться.

Правда, по Толстому, Кутузовъ достигъ всего этого лишь потому, что «носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ народное чувство» и смиренно подчинялся волѣ Провидѣнія. Но здѣсь возможны споры. Людямъ которые не склонны признать, что Провидѣніе участвовало въ войнѣ 1812 года и сражалось на сторонѣ русскихъ, Кутузовъ рисуется опытнымъ, авторитетнымъ, знающимъ, умнымъ и хитрымъ военачальникомъ, который до извѣстной степени (ему мѣшали) сумѣлъ воспользоваться благоприятными обстоятельствами и ошибками непріятеля. И такимъ знаетъ Кутузова исторія.

Но при посредствѣ ли Провидѣнія, или самостоятельно — Кутузовъ умѣлъ разбираться въ окружающемъ и дѣйствовать сознательно. И эти сознательныя дѣйствія, по увѣренію Толстого, принесли плоды. Стало-быть, не всякое сознательное вмѣшательство въ политическія событія безцѣльно и борьба съ Аракчеевыми, съ этой точки зрѣнія, не можетъ быть осуждена.

Остается «здравый смыслъ посредственности». Онъ представленъ въ романѣ Николаемъ Ростовымъ.

По мнѣнію Толстого, разумъ также мало можетъ помочь человѣку въ его частной жизни, какъ и въ дѣятельности на полѣ исторіи. И въ частной жизни нельзя учсть всѣхъ возможностей. И въ частной жизни никто не въ силахъ рѣшить, въ чемъ его истинное благо. Поэтому, и въ частной жизни сознательная

<sup>1)</sup> Сочин., V, 244.

<sup>2)</sup> Тамъ же, VIII, 227 (курсивъ мой).

<sup>3)</sup> Тамъ же, VIII, 229.

дѣятельность осуждена на бесплодность. И въ частной жизни человѣкъ, мнящій, что онъ руководить событіями, похожъ на ребенка, который, въ каретѣ, держась за тесемочки, воображаетъ, что онъ правитъ. Таковы именно герои Толстого — поскольку они пытаются «устроить сами свою жизнь по своему разуму». Здѣсь нѣтъ мѣста противопоставленію разуму чувства, «уму ума» «ума сердца»: и «умъ ума» въ лицѣ князя Андрея, и «умъ сердца» въ лицѣ Пьера Безухова — осуждены одинаково. Не надо никакого ума. Чѣмъ же руководствоваться въ жизни?

На это должна дать отвѣтъ жизнь Николая Ростова. Во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ онъ не позволяетъ себѣ думать. Испугавшись своихъ мыслей въ Тильзитѣ, онъ стучитъ по столу кулакомъ и кричитъ съ налившимся кровью лицомъ: «А то, коли бы мы стали обо всемъ судить да разсуждать, такъ этакъ ничего святого не останется. Этакъ мы скажемъ, что ни Бога нѣтъ, ничего нѣтъ!...»<sup>1)</sup> Собственно Богъ озабочиваетъ его весьма мало. Онъ, правда, каждый день «становится» на вечернія и утреннія молитвы, но горячо и искренно онъ обращается къ Богу лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Придя въ азартъ на охотѣ, онъ говоритъ Богу: «Ну что Тебѣ стоитъ сдѣлать это для меня! Знаю, что Ты великъ и что грѣхъ Тебя проситъ объ этомъ; но, ради Бога, сдѣлай, чтобы на меня вылѣзъ матерый и чтобы Карай, на глазахъ дядюшки, который вонъ оттуда смотреть, влѣпилъ ему мертвой хваткой въ горло»<sup>2)</sup>. Онъ молится Богу за карточнымъ столомъ Долохова, при первой смертельной опасности на Амштетенскомъ мосту, въ Воронежѣ, желая избавиться отъ даннаго Сонѣ слова... Все это, конечно, лишь форма и Богъ тутъ не при чемъ. Николай — несомнѣнный язычникъ — такой же какъ Наташа.

Но если въ сомнительныхъ случаяхъ онъ пугается своихъ мыслей и запрещаетъ себѣ думать<sup>3)</sup>, если, съ другой стороны, не религіей опредѣляется его поведеніе, то чѣмъ же? На службѣ — приказаніемъ начальства, въ частной жизни — то «смирнымъ подчиненіемъ обстоятельствамъ», то мнѣніемъ большинства, то «здравымъ смысломъ посредственности», то (чаще всего) «чѣмъ-то сильнѣйшимъ, чѣмъ разсужденіе». Все это, какъ видитъ читатель, въ высшей степени неопредѣленно, варьируетъ до безконечности по содержанію, можетъ находиться въ полномъ противорѣчій одно другому. И все это, само по себѣ, не имѣетъ никакой нравственной цѣнности и потому не можетъ имѣть нравственного авторитета. Зато какой-нибудь одинъ изъ этихъ принциповъ всегда даетъ Толстому возможность выручить своего героя изъ затруднительнаго положенія. И при томъ во всей неприкосновенности его «доброты» и его «благородства». Вотъ одинъ изъ примѣровъ.

Николай замѣчаетъ въ себѣ возникающее чувство къ княжнѣ Марѣ. Къ тому же она богата: женитьбы этой хочетъ его мать, хотя въ родные; это поправитъ разстрѣнную въ конецъ дѣла его семью... все бы хорошо; но... Сонѣ дано слово. «Онъ зналъ, что, обѣщавъ Сонѣ, высказать свои чувства княжнѣ Марѣ было бы

<sup>1)</sup> Сочин., VI, 183.

<sup>2)</sup> Тамъ же, VI, 306.

<sup>3)</sup> Онъ и Пьеру совѣтуетъ «не думать».

то, что онъ называлъ подлостью. И онъ зналъ, что подлости никогда не сдѣлаетъ. Но онъ зналъ тоже (и не то что зналъ, а въ глубинѣ души чувствовалъ), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельствъ и людей, руководившихъ имъ, онъ не только не дѣлаетъ ничего дурного, но дѣлаетъ что-то очень, очень важное, такое важное, чего онъ еще никогда не дѣлалъ въ жизни<sup>1)</sup>). И Николай позволяетъ окружающимъ устраивать свой бракъ съ княжной Марьей. Кажалось бы, прямога, благородства, даже доброта — требовали открытаго объясненія съ нелюбимой Соней. Но въ душѣ Николая происходитъ эквилибристика между «подлостью» и сознаниемъ важности совершающагося. И, съ устраненіемъ нѣкоторыхъ формальностей, «подлость» перестаетъ быть «подлостью». Очевидно, великому художнику стоитъ не малыхъ трудовъ сохранить вѣрность дѣйствительности и довести благополучно своего глупаго героя до верха земного благополучія.

Невольно вспоминается то, что писалъ Толстой позднѣе (въ 1891 г.) о своемъ творествѣ этого времени: «Помню, когда я писалъ романы, то тогда для меня необъяснимое затрудненіе, въ которомъ я находился и съ которымъ боролся, — и съ которымъ теперь, я знаю, борются всѣ романисты, имѣющіе хоть самое смутное сознание того, что составляетъ дѣйствительную нравственную красоту, — заключалось въ томъ, чтобы изобразить типъ свѣтскаго человѣка идеально хорошаго, добрый и вмѣстѣ съ тѣмъ такой, который бы былъ вѣренъ дѣйствительности...»<sup>2)</sup>).

У Каратаева и княжны Марьи смиренное подчиненіе волѣ Провидѣнія понятно, потому что для нихъ существуютъ завѣты этого Провидѣнія. Для Николая это «бабьи сказки».. Его «что-то высшее чѣмъ разумъ» есть сложный конгломератъ усвоенныхъ жизненныхъ привычекъ, обычаевъ его класса, гусарскихъ воззрѣній... и въ этой смѣси смутныя нравственныя правила часто и легко подавляются побужденіями, ничего общаго съ нравственностью не имѣющими.

Его угрозы Пьеру не страшны. Мы не вѣримъ, что онъ станетъ рубить своего зятя по приказу Аракчеева: хотя «долгъ и присяга выше всего», но, представивъ себѣ горе Наташи, Николай, навѣрное, почувствуетъ «чѣмъ-нибудь сильнѣйшимъ, чѣмъ разсужденіе», что дѣлать этого не слѣдуетъ. А если Аракчеевъ, чего добраго, потащитъ его на поселеніе или «поступить по всей строгости законовъ» съ его дѣтьми, то «сангвиническій кулакъ» отставного ротмистра, въ нарушение долга и присяги, можетъ сдѣлать попытку добраться даже до самого Аракчеева...

Итакъ, «здравый смыслъ посредственности» ничего не рѣшаетъ окончательно и безапелляціонно въ области отношеній личности къ государству и правительству.

Но попутно выясняется, что и въ частной жизни сознательная дѣятельность можетъ не только не остаться безплодною, но принести весьма и весьма обильные плоды... Изъ добраго малаго, лихого наѣздника и гусара Николай Ростовъ, подъ перомъ автора, превращается въ практика, который очень разсчетливо, разумно и послѣдовательно идетъ къ поставленнымъ себѣ цѣлямъ. Цѣли эти узки. Онъ сводятся къ заботамъ о «хлѣбѣ единомъ» — о наживѣ. И авторъ «Войны и мира», рисуя намъ жизнь Николая, какъ-будто хочетъ сказать: не мудрствуйте лукаво

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 32.

<sup>2)</sup> Тамъ же, XVI, 83 («Первая ступень»).



не ищите цѣлей и смысла жизни, не думайте о добродѣтели и пользѣ ближнихъ, заботьтесь о «единомъ хлѣбѣ насущномъ» и посмотрите, какъ все прочее придастся вамъ!.. И въ концѣ своего романа онъ воздвигаетъ апоѳеозъ Николаю Ростову.

Семейная жизнь его складывается необыкновенно счастливо. Тонкая духовная организація графини Марьи не мѣшаетъ ей нѣжно любить мужа. Самъ Николай питаетъ къ женѣ «твердую, нѣжную и гордую любовь». У нихъ здоровыя, славныя, веселыя дѣти. Онъ прекрасный хозяинъ. Онъ понялъ, что въ имѣніи «главный предметъ не азотъ и не кислородъ, находящіеся въ почвѣ и воздухѣ, не особенный плугъ и наземь, а то главное орудіе, чрезъ посредство котораго дѣйствуетъ и азотъ, и кислородъ, и наземь, и плугъ, т.-е. работникъ, мужикъ»<sup>1)</sup>. Присмотрѣвшись основательно къ мужику и сроднившись съ нимъ, онъ «сталъ смѣло управлять имъ». — «И хозяйство его приносило самые блестящіе результаты»<sup>2)</sup>.

Когда графиня Марья, «иногда, стараясь понять его, говорила ему о заслугѣ, состоящей въ томъ, что онъ дѣлаетъ добро своимъ подданнымъ, онъ сердился и отвѣчалъ: «вотъ ужъ нисколько: никогда и въ голову мнѣ не приходитъ; и для ихъ блага вотъ чего не сдѣлаю. Все это поэзія и бабьи сказки — все это благо ближняго. Мнѣ нужно, чтобы наши дѣти не пошли по міру; мнѣ надо устроить наше состояніе, пока я живъ; вотъ и все. А для этого нуженъ порядокъ, нужна строгость... Вотъ что!» говорилъ онъ, сжимая свой сангвиническій кулакъ. «И справедливость, разумѣется», прибавлялъ онъ, «потому что если крестьянинъ голъ и голоденъ и лошаденка у него одна, такъ онъ ни на себя, ни на меня не сработаетъ».

«И, должно-быть, потому, что Николай не позволялъ себѣ мысли о томъ, что онъ дѣлаетъ что-нибудь для другихъ, для добродѣтели, все, что онъ дѣлалъ, было плодотворно: состояніе его быстро увеличивалось; сосѣдніе мужики приходили просить его, чтобы онъ купилъ ихъ, и долго послѣ его смерти въ народѣ хранилась набожная память объ его управленіи...»<sup>3)</sup>

Эта «набожная память» производитъ тяжелое впечатлѣніе... въ особенности, когда сопоставишь весь апоѳеозъ съ тѣмъ, что, несомнѣнно, ждетъ «мечтателя» Пьера: судьба его не разсказана въ «Войнѣ и мирѣ», но читатель ясно представляетъ себѣ непродолжительную «безплодную» (съ точки зрѣнія Толстого) борьбу съ Аракчеевыми, судъ, цѣпи, рудники, безконечныя униженія и загубленную долгую жизнь въ далекой Сибири...

Читаешь заключительныя главы романа, этотъ апсѳеозъ мѣщанской посредственности, и невольно вспоминаешь приведенныя выше признанія «Исповѣди», казавшіяся столь несправедливыми:

«Я писалъ, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше»<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 314.

<sup>2)</sup> Тамъ же, VIII, 315.

<sup>3)</sup> Тамъ же, VIII, 317.

<sup>4)</sup> Исповѣдь гр. Л. Н. Толстого, Carouge-Genève, 1900, стран. 16—17.

По виходѣ въ свѣтъ «Войны и мира» на Толстого самымъ рѣшительнымъ образомъ ополчились патріоты. Въ частности нѣкоторымъ участникамъ походовъ противъ Наполеона, дожившимъ до конца шестидесятихъ годовъ, казалось оскорбительнымъ низведеніе на землю героевъ отечественной войны и общества того времени. Князь Вяземскій писалъ, напримѣръ, что «книга «Война и миръ» есть, по крайнему разумѣнію его, протестъ противъ 1812 года»; выговаривая Толстому за «опошленіе жизни», за то, что онъ нашель только Бобчинскихъ и Добчинскихъ въ эпоху великаго подъема духа, князь пишетъ: «не оставайтесь на лощинахъ, на плоскостяхъ, гдѣ, разумѣется, дѣйствовать легче и вольнѣе и гдѣ разгулу болѣе простора. Потрудитесь всходить на пригорки и насъ самихъ взводить на нихъ. Тамъ воздухъ чище, благотворнѣе; тамъ болѣе свѣта; тамъ...» <sup>1)</sup> и т. д.

Обвиненія патріотовъ могутъ быть сведены къ двумъ положеніямъ: 1) въ «Войнѣ и мирѣ» герои низведены на землю, въ связи съ чѣмъ унижена слава русскаго оружія и 2) общій патріотическій подъемъ народнаго духа, о которомъ свидѣлствуютъ намъ офіціальныя историки 1812 года, затушванъ въ романѣ, чѣмъ умалена слава русскаго народа.

Съ выхода «Войны и мира» прошло много лѣтъ и взгляды на романъ существеннымъ образомъ измѣнились. Теперь это созданіе Толстого почитается въ сферахъ патріотическимъ подвигомъ и за него еще не такъ давно многое прощалось автору.

Объ точки зрѣнія совмѣстимы. «Война и миръ» пропитана патріотическимъ настроеніемъ автора, но героизмъ и подъемъ духа русскіхъ людей начала XIX вѣка Толстой видитъ не совсѣмъ въ томъ, въ чемъ хотять его видѣть офіціальныя патріоты. Они ищутъ въ исторіи 12-го года *сознательныхъ* геройскихъ подвиговъ. Они желаютъ видѣть въ народѣ того времени проявленіе *сознательнаго* патріотизма.

Авторъ «Войны и мира», въ соотвѣтствіи со своими общими историческими концепціями, не видитъ въ развертывавшейся драмѣ успѣшныхъ *сознательныхъ* усилій спасти отечество. «Герои» (военные генералы) со своими планами, проектами и подвигами, по мнѣнію его, только портили дѣло. Все произошло нечаянно. Проявленія крикливаго патріотизма вредили ходу кампаніи; полки, снаряженные нѣкоторыми московскими дворянами, грабили русскія деревни; пожертвованій и корпія для раненыхъ не доходили по назначенію; ополченскіе мундиры, въ которые наряжались кавалеры и дамы, вмѣстѣ съ патріотическими разговорами въ великосвѣтскихъ гостиныхъ — никакъ не могли отразиться на ходѣ событій; написанныя «ѣрническимъ языкомъ» патріотическія афиши Растопчина и тому подобныя литературныя упражненія — лишь сбивали съ толку и путали народъ.

Толстой пишетъ:

«Въ то время, какъ Россія была до половины завоевана, и жители Москвы бѣжали въ дальнія губерніи, и ополченіе за ополченіемъ поднималось на защиту отечества, невольно представляется намъ, не жившимъ въ то время, что всѣ русскіе люди, отъ мала до велика, были заняты только тѣмъ, чтобы жертвовать собою,

<sup>1)</sup> Русский Архивъ. 1869 г., стран. 186 и 190 (Кн. Вяземскій. «Воспоминанія о 1812 годѣ»).

спасать отечество или плакать надъ его погибелю. Разказы, описанія того времени всѣ безъ исключенія говорятъ только о самопожертвованіи, любви къ отечеству, отчаяніи, горѣ и геройствѣ русскихъ. Въ дѣйствительности же это такъ не было. Намъ кажется это только такъ потому, что мы видимъ изъ прошедшаго одинъ общій историческій интересъ того времени и не видимъ всѣхъ тѣхъ личныхъ, человѣческихъ интересовъ, которые были у людей. А между тѣмъ въ дѣйствительности тѣ личные интересы настоящаго въ такой степени значительнѣе общихъ интересовъ, что изъ-за нихъ никогда не чувствуется (вовсе не замѣтенъ даже) интересъ общій. Большая часть людей того времени не обращала вниманія на общій ходъ дѣлъ, а руководилась только личными интересами настоящаго. И эти-то люди были самыми полезными дѣятелями того времени»<sup>1)</sup>.

Ибо въ душѣ ихъ, по мнѣнію Толстого, теплилось въ подсознательной области скрытое и часто неизвѣстное имъ *чувство* любви къ родинѣ и ненависти къ врагу. Патріотическія мысли и выражавшія ихъ слова «о любви къ отечеству и народной гордости» не могли быть двигателями людей и причиною ихъ поступковъ. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ поступки оставались узко эгоистичными. Но скрытое до времени «народное чувство» (такъ называетъ Толстой патріотизмъ), въ рѣшительную минуту, передъ лицомъ врага, дѣлало невозможнымъ уступки и толкало всѣхъ людей того времени на такіе шаги, которые погубили наполеоновское нашествіе. Скрытое чувство патріотизма стало обнаруживаться, расти и превращаться въ ненависть къ французамъ послѣ занятія Смоленска. Обманутые губернаторомъ жители, въ послѣднюю минуту, сожгли городъ и бѣжали въ Москву, «думая только о своихъ потеряхъ и разжигая ненависть къ врагу». Такъ же поступали затѣмъ жители всѣхъ городовъ и деревень по дорогѣ въ Москву. Такъ поступила и Москва. Уѣзжавшіе и бросавшіе свое имущество жители не думали, что они «спасаютъ отечество»: Растопчины и офиціальные патріоты обвиняли ихъ въ трусости, имъ было стыдно; но они все-таки уѣзжали «потому, что для русскихъ людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будетъ подъ управленіемъ французовъ въ Москвѣ. Подъ управленіемъ французовъ нельзя было быть: это было хуже всего»<sup>2)</sup>.

Мужики Карпъ и Власъ, не проявлявшіе никакихъ геройскихъ чувствъ, и пріѣхавшіе съ подводами грабить Москву немедленно послѣ выхода изъ нея французовъ, — «не везли сѣна въ Москву за хорошія деньги, которыя имъ предлагали, а жгли его»<sup>3)</sup>.

Это рѣшительное отрицаніе всякихъ компромиссовъ съ врагомъ сказалось, по мнѣнію Толстого, особенно ярко на Бородинскомъ полѣ. Здѣсь напряглись всѣ силы арміи. Для каждаго настоящаго русскаго здѣсь шель вопросъ о жизни и смерти. И хотя формально французы выиграли сраженіе, по существу имъ нанесенъ русскими смертельный нравственный ударъ: они почувствовали силу духа противника и свое безсиліе справиться съ нимъ.

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 18.

<sup>2)</sup> Тамъ же, VII 343.

<sup>3)</sup> Тамъ же, VIII, 149.



Тою же непримиримостью и отрицаніемъ всякихъ компромиссовъ съ врагомъ объясняетъ Толстой возникновеніе и развитіе партизанской войны.

Партизанская война началась со вступленія французовъ въ Смоленскъ. Прежде чѣмъ она была принята официально, «уже тысячи людей непріятельской арміи — отсталые, мародеры, фуражиры — были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этихъ людей такъ же бессознательно, какъ бессознательно собаки загрызаютъ забѣглую бѣшеную собаку»<sup>1)</sup>. 24-го августа учреждень первый партизанскій отрядъ. «Партизаны уничтожали великую армію по частямъ». «Въ октябрѣ, въ то время, какъ французы бѣжали къ Смоленску, этихъ партій различныхъ величинъ и характеровъ были сотни. Были партіи, перенимавшія всѣ приемы арміи, съ пѣхотой, артиллеріей, штабами, съ удобствами жизни; были однѣ казачьи, кавалерійскія; были мелкія, сборныя, пѣшія и конныя; были мужицкія и помѣщичьи, никому неизвѣстныя. Былъ дьячокъ начальникомъ партіи, взявшій въ мѣсяцъ нѣсколько сотъ плѣнныхъ; была старостиха Василиса, побившая сотни французовъ»<sup>1)</sup>.

Изъ всего этого слѣдуетъ: Наполеона погубило скрытое чувство русскаго патріотизма, недопустившее нашихъ предковъ ни до какихъ компромиссовъ съ побѣдившимъ врагомъ.

Вѣрны ли историческія посылки, на которыхъ основанъ этотъ выводъ? Доказана ли исторически, показана-ли въ художественныхъ картинахъ наличность въ нашихъ предкахъ «скрытаго тепла патріотизма», о которомъ такъ часто идетъ рѣчь въ третьемъ и четвертомъ томахъ романа?

Я думаю, нѣтъ.

Посмотрите великолѣпныя картины оставленія Смоленска. Никакого скрытаго патріотизма мы здѣсь не видимъ. Лавочникъ Оерапонтовъ обманутъ начальствомъ и застигнутъ врасплохъ надвигающимся непріателемъ. Русскіе солдаты грабятъ его добро. Начальство бѣжитъ. То, чѣмъ держался привычный ему порядокъ, рушится. Ему кажется, что вмѣстѣ съ тѣмъ рушится и все окружающее. «Рѣшилась Рассея!» кричитъ онъ и зажигаетъ свое добро... Быть-можетъ, въ душѣ его теплится скрытая любовь къ отечеству и ненависть къ врагу. Но въ рамкахъ данной намъ картины слѣдовъ подобныхъ чувствъ нѣтъ.

А вотъ передъ вами сцены Богучаровскаго «бунта». Толстой увѣрялъ насъ, что «начиная со Смоленска, во *всѣхъ* городахъ и деревняхъ русской земли... народъ съ безпечностью ждалъ непріятеля, *не бунтовалъ, не волновался*» и въ полѣдную минуту уходилъ и сжигалъ имущество, не допуская мысли о компромиссѣ съ врагомъ. И какъ это ни странно, мы находимъ въ романѣ *единственную* сцену, рисующую въ лицахъ настроеніе крестьянъ 1812 года. И сцена эта — «бунтъ». Богучаровскіе мужики относительно независимы. Они заглазные и «дикіе». Въ данный моментъ надъ ними нѣтъ тяжелой помѣщичьей руки. И никакой ненависти къ приближающемуся врагу мы въ нихъ не видимъ. Здѣсь нѣтъ рѣчи о патріотизмѣ. Они охотно идутъ на компромиссы. Среди нихъ ходятъ темныя слухи о надвигающейся свободѣ. Мечтая сохранить на нее право и удержатъ отъ разграбленія *русскими* свои дома, они не только ничего не жгутъ и не

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 153—154.

бѣгутъ, но входятъ въ сношенія съ французами и не выпускаютъ изъ имѣнія свою прекраснодушную, патріотически настроенную помѣщицу.

Очень характерно, что у владѣльца этихъ крестьянъ, князя Андрея — какъ разъ въ это время, то-есть, послѣ взятія Смоленска и разоренія его родного угла («Лысыхъ Горъ») поднимается чувство, *котораго не было раньше*, — озлобленіе противъ врага. И этимъ чувствомъ полны его желчныя рѣчи наканунѣ Бородинскаго сраженія.

Наблюденія Пьера на Бородинскомъ полѣ уже прямо приводятъ насъ къ «скрытой теплотѣ патріотизма». Она могла быть и не быть въ душѣ защитниковъ Бородина. Вопросъ теперь не въ этомъ. Намъ интересно знать, какъ выявилъ ее передъ нами великій писатель. Говоря о ней, Толстой не довольствуется русскими словами; какъ бы желая пояснить смутное понятіе, онъ всегда прибавляетъ въ скобкахъ французскій терминъ: «скрытая теплота (*chaleur latente*) чувства, теплота патріотизма»...

«Въ разгарѣ боя», пишетъ Толстой, «какъ изъ придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, свѣтлѣе и свѣлѣе вспыхивали на лицахъ всѣхъ этихъ людей (какъ бы въ отпоръ совершающагося) молніи скрытаго, разгорающагося огня».

Психологія кровавой борьбы, разгорающагося чувства отпора, какъ всегда у Толстого, передана поразительно. Но почему же, спрашиваетъ читатель, это разгорающееся пламя борьбы, это упорство, стойкость, твердоотъ — выводятся на этотъ разъ изъ чувства патріотизма? Все то же самое видѣли мы на батарее Тушина подъ Шенграбеномъ. Тамъ о патріотизмъ говорить было бы странно. Тамъ стойко сражавшіеся и умиравшіе русскіе солдаты не знали навѣрное, кто противъ кого «бунтуетъ» и кого они «усмиряютъ...» Почему *теперь* должны мы связывать стойкость борьбы съ чувствомъ любви къ родинѣ и ненависти къ врагу?

«Скрытый (*latent*) патріотизмъ» той барыни, которая съ арапами и шутихами выѣзжала изъ Москвы, — еще болѣе сомнителенъ. Нѣмки, правда, не уѣзжали изъ Берлина и Вѣны при наступленіи непріятели. Но въ Россіи того времени могли дѣйствовать (и дѣйствовали) такія соображенія и опасенія, о которыхъ жители Берлина и Вѣны не имѣли даже и понятія. — Пожаръ Москвы? Но, по увѣренію самого Толстого, Москва загорѣлась «отъ трубокъ, отъ кухонь, отъ костровъ, отъ неряшливости непріятельскихъ солдатъ, жителей-нехозяевъ домовъ. Ежели и были поджоги, (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всякомъ случаѣ хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, т. к. безъ поджоговъ было бы то же самое»<sup>1)</sup>.

По весьма распространенной версіи, патріотизмъ русскаго народа сказался въ 12-мъ году партизанской войной. Мы стараемся различать теперь *партизанскую* войну отъ *народной*. Партизанскія партіи состояли въ общемъ изъ солдатъ и казаковъ. Народная война имѣла другой характеръ. Психологіи возставшихъ противъ врага народныхъ массъ въ «Войнѣ и мирѣ» мы не видимъ. Партизанская партія Денисова (Давыдова) состояла изъ казаковъ, гусаровъ и солдатъ. Состава Долоховской (Фигнеровской) партіи мы не знаемъ. *Народъ* въ борьбѣ съ французами

<sup>1)</sup> Сочин., VII, 437.

показанъ намъ въ лицѣ одного Тихона Щербатова. Но это — охотникъ, спортсменъ, работающій изъ любви къ искусству, и мы не видимъ, скрывается ли за его выступленіями потенціальная энергія патріотизма.

У Толстого чувствуется какая-то неловкость во всей постановкѣ вопроса о патріотизмѣ. Правдивые и зоркіе глаза великаго реалиста и художника какъ бы застилаются. На поверхность романа, вмѣсто художественныхъ образовъ, всплываютъ *слова* — неувѣренные, неопредѣленные и не подтверждаемые нарисованными картинами.

Самъ Толстой чувствовалъ патріотическія эмоціи при знакомствѣ съ событіями 12-го года. Ему казалось, что событія эти не могли не вызывать въ русскомъ народѣ того времени глубокаго и сильнаго патріотизма. Но реальныхъ образовъ проявленія *общенароднаго чувства* онъ не нашелъ въ источникахъ и, конечно, какъ искренній и правдивый художникъ не могъ и не захотѣлъ гнуть дѣйствительность въ угоду тенденціи.

Начавшіяся историческія изысканія объ эпохѣ 12-го года устанавливаютъ чрезвычайную сложность и во многихъ случаяхъ качественную сомнительность того общаго патріотическаго одушевленія, которое, будто бы, охватило русскую землю въ 1812 году. Мы узнаемъ о тайныхъ пружинахъ, которыми взвинчивались «патріотическія» чувства передъ прїѣздомъ Александра въ Москву и во время знаменитыхъ дней «единенія царя съ народомъ» въ Слободскомъ дворцѣ. Мы слышимъ, какъ выколачивались въ послѣдствіи изъ купцовъ ихъ «добровольныя» пожертвованія. Мы знаемъ, какихъ людей сдавали дворяне въ ополченія. Мы читаемъ, какъ разстрѣливали изъ пушекъ ополченцевъ, чтобы заставить ихъ двинуться на врага; какъ многіе десятки ихъ забиты до смерти шпицрутенами и сотни сосланы послѣ экзекуцій въ рудники. Въ занятыхъ непріателемъ городахъ (даже Смоленскѣ и Москвѣ) устанавливались подчасъ весьма дружелюбныя отношенія между оставшимися жителями и завоевателями. Архивныя изысканія обнаружили, что сношенія русскихъ крестьянъ съ непріателемъ, помощь ему, поставка фуража и провіанта, *въ первую половину кампаніи*, исчислялись отнюдь не единичными случаями: цѣлыя мѣстности въ Смоленской губерніи признавали власть французскаго императора. Отмѣчены и дружелюбныя сношенія крестьянъ Московской губерніи съ непріателемъ. Раздраженіе, озлобленіе и ненависть къ врагу характеризуютъ второй періодъ войны, когда обращеніе французовъ съ жителями и ихъ имуществомъ рѣзко измѣнилось. Пожары деревень и бѣгство жителей были явленіемъ болѣе сложнымъ, чѣмъ это кажется на первый взглядъ: оставленіе деревень вызывалось самыми разнообразными мотивами — отъ страха одинаково передъ своими отступающими и французскими наступающими войсками до выведенія крестьянъ помѣщиками или бѣгства ихъ отъ помѣщиковъ...

Часть фактовъ, подтверждающихъ приведенныя бѣглыя соображенія, нашла отраженіе уже въ той литературѣ, которая была въ рукахъ Толстого во время работы надъ «Войною и миромъ». Кое-что послужило даже матеріаломъ для отдѣльныхъ *художественныхъ* сценъ романа. Многое не могло быть извѣстно въ то время Льву Николаевичу.



Но есть пунктъ, на который онъ, несомнѣнно, *не захотѣлъ* обратить достаточнаго вниманія. Пунктъ этотъ — глубокое соціальное неравенство общества того времени и вытекавшія отсюда послѣдствія.

Рабъ и господинъ не могли одинаково относиться къ состязанію между Александромъ и Наполеономъ. «Буонапарте», этотъ «*goujat d'empereur*» (холопскій императоръ), какъ называетъ его старый князь Болконскій, былъ для многихъ русскихъ дворянъ исчадіемъ революціи. Тасуя наслѣдственныхъ королей (королей Божьей милостью), мѣняя карту Европы, внося отблески (хотя бы и слабые) идей 1789 года въ завоеванныя страны, онъ попиралъ самымъ беззаботнымъ образомъ «*des bons principes*», на которыхъ между прочимъ держалась тогдашняя крѣпостническая Россія. Чего добраго, онъ могъ добраться и до «крещеной собственности», какъ сдѣлалъ это въ герцогствѣ Варшавскомъ. Этого боялись. Мало того: этотъ страхъ служилъ правительству оружіемъ для возбужденія недостаточно сильныхъ патріотическихъ чувствъ дворянства.

Одинъ историческій документъ, недавно обнаруженный, вскроетъ лучше всякихъ словъ значеніе, которое придавалось войнѣ 12-го года ея современниками. Пишетъ императоръ Александръ I Псковскому губернатору Ламсдорфу (секретно) объ организаціи милиціи:

«Цѣль сего вооруженія есть имѣть въ готовности сильный отпоръ противъ такого непріятели, который, пользуясь своимъ счастьемъ, дѣйствовалъ не одною силою оружія, но и всѣми способами обольщенія черни, который, врываясь въ предѣлы воюющихъ съ нимъ державъ, всегда старался прежде всего ниспровергать всякое повинное внутреннею власти, возбуждать поселянъ противъ ихъ законныхъ владѣльцевъ, уничтожать всякое помѣщичье право, истреблять дворянство и, подрывая коренныя основанія государства, похищать законное достояніе и собственность прежнихъ владѣльцевъ... ..Изъ сего видно, что война съ такимъ непріателемъ не есть война обыкновенная, гдѣ одна держава споритъ съ другою о правѣ или пространствѣ владѣній. Въ настоящей войнѣ каждый помѣщикъ, каждый владѣлецъ долженъ признать себя лично и непосредственно участвующимъ: ибо цѣль непріятели есть ниспровергать всякое личное имущество, всякое право собственности, въ государствѣ существующее<sup>1)</sup>».

И это не были пустыя угрозы. Передъ нашествіемъ Наполеона среди крестьянъ и въ особенности дворовыхъ усиленно циркулировали слухи о грядущей съ нимъ свободѣ. «Врагъ рода человѣческаго» распространялъ по Россіи прокламаціи съ такого рода обѣщаніями. Архивные документы сохранили массу случаевъ карательныхъ экзекуцій за распространеніе подобныхъ слуховъ. Секретныя донесенія администраціи, письма и записки современниковъ содержатъ настойчивыя указанія на надвигающуюся опасность. О ней неудобно и нельзя говорить громко, но она неразлучна съ напуганнымъ воображеніемъ рабовладѣльцевъ. Слухи о бунтахъ, поджогахъ помѣщичьихъ усадебъ, даже объ убійствахъ помѣщиковъ крестьянами по дорогѣ наступленія французскихъ войскъ — должны

<sup>1)</sup> Историческій Вѣстникъ, 1912 г., сентябрь, стран. 1117—1118.

были еще болѣе распалять эти опасенія. Съ отступленіемъ русской арміи рушились вѣковые устои. Лавочнику Оерапонтову въ Смоленскѣ, купцамъ въ Москвѣ, разграбляемымъ русскими мародерами, становилось некому жаловаться: ихъ право собственности исчезало. Никто изъ нихъ не могъ предвидѣть, что несетъ ему нашествіе французовъ. Мысль о томъ, что «рѣшилась Рассея» казалась вполне естественной. Толстой утверждаетъ, что не страхъ гналъ изъ Москвы жителей, такъ какъ уѣзжали прежде всего состоятельные, образованные люди, которые прекрасно знали, что Вѣна и Берлинъ уцѣлѣли и веселились съ любезными французами. Но русскимъ дворянамъ было не до веселья. Съ отступленіемъ русскихъ войскъ рушилась власть надъ крѣпостными и никто не могъ предвидѣть, какъ поведутъ себя рабы въ моменты междуцарствія и съ установленіемъ новаго режима. Какъ извѣстно, опасенія эти оказались преувеличенными. По разнообразнымъ причинамъ, Наполеонъ не могъ и не хотѣлъ серіозно заняться вопросомъ освобожденія. А русскій народъ оказался, въ моменты междуцарствія, «лучшимъ народомъ въ мірѣ», какъ писали въ послѣдствіи растроганные помѣщики: въ большинствѣ случаевъ рабы остались вѣрными своимъ господамъ. Но страхи, несомнѣнно, являлись крупнымъ факторомъ въ образѣ дѣйствій дворянства того времени. И, быть можетъ, та барыня, которая въ іюнѣ съ шутихами и арапками поднималась изъ Москвы, поступала такъ отнюдь не въ силу «скрытой теплоты патріотизма», а потому что она не могла и не хотѣла рисковать своей крещеной собственностью.

Какъ бы то ни было, интересы раба и господина въ ту пору были очень различны. Различны были и чувства — скрытыя и явныя. Вотъ характерный примѣръ этого. Въ запискахъ М. С. Щепкина, опубликованныхъ въ 1864 году (онѣ, стало быть, могли быть извѣстны Толстому во время работы его надъ «Войною и миромъ») рассказывается такой случай.

«Когда кончилась кампанія 12-го года, рассказываетъ знаменитый актеръ, ополченные возвратились домой, а крѣпостные къ своимъ господамъ; за тѣхъ, которые не возвратились (погибли), правительство выдало рекрутскія квитанціи — и одна дама, очень образованная по времени и обществу (даже крѣпостные отзывались о ней, какъ о доброй женщинѣ), у графини (собственницы Щепкина) на именинахъ, за обѣдомъ, не краснѣя, позволила себѣ сказать въ разговорѣ о прошедшей кампаніи: «вообразите, какое счастье Ивану Васильевичу: онъ отдавалъ въ ополченіе 9 человекъ, а возвратился всего одинъ, такъ что онъ получилъ 8 рекрутскихъ квитанцій и всѣ продалъ по три тысячи; а я отдавала 26 человекъ, и на мою бѣду всѣ возвратились — такое несчастье!» При этихъ словахъ ни на одномъ лицѣ не показалось даже признака неудовольствія противъ говорившей. Всѣ согласились, а нѣкоторые даже прибавили: «да, такое счастье, какое Богъ даетъ Ивану Васильевичу, немногимъ дается!»<sup>1)</sup>.

Послѣднія слова совершенно свободно и съ полною душевною ясностью могли быть сказаны (и, вѣроятно, говорились) не только стариками Ростовыми, но и Николаемъ и поэтической (хотя скупой) Наташей. Когда думаешь объ этомъ, не-

<sup>1)</sup> Записки и Письма М. С. Щепкина. М. 1864, 151—152.

вольно спрашиваешь себя: *все ли* сказалъ намъ Толстой о людяхъ описываемой имъ эпохи?

Вопросъ объ *историчности* «Войны и мира» обслѣдованъ, сравнительно, мало. Еще Тургеневъ, восторгаясь отдѣльными частями романа при появленіи его въ свѣтъ, находилъ, что «исторія Толстого — фокусъ, битье тонкими мелочами по глазамъ...» — «Гдѣ характерная черта эпохи? Гдѣ историческая окраска?» восклицалъ онъ. Въ своемъ двухтомномъ изслѣдованіи «Л. Толстой и Достоевскій» Д. С. Мережковскій мимоходомъ, бѣгло останавливается на томъ же вопросѣ<sup>1)</sup>. Критикъ недоволенъ Толстымъ: «При чтеніи «Войны и мира», говоритъ онъ, очень трудно отдѣлаться отъ мало удивляющаго, но тѣмъ болѣе, ежели вдуматься, удивительнаго впечатлѣнія — будто бы всѣ изображаемыя событія, несмотря на ихъ знаковый историческій обликъ, происходятъ въ наши дни, всѣ описываемыя лица, несмотря на портретность, — наши современники». Г. Мережковскій полагаетъ, что бытовая сторона эпохи освѣщена Толстымъ крайне бѣдно: мы не видимъ внѣшнихъ условій жизни русскихъ людей начала прошлаго вѣка; еще менѣе «различаемъ мы ту умственную и нравственную атмосферу, тотъ культурно-историческій воздухъ, который образуется не только всѣмъ истиннымъ, вѣчнымъ, но и предразсудочнымъ, условнымъ, искусственнымъ, что свойственно каждому времени». «Люди, рожденные и воспитанные въ пятидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ XVIII столѣтія на Державинѣ, Сумароковѣ, Новиковѣ, Вольтерѣ, Дидро и Гельвеціусѣ, не только говорятъ нашимъ современнымъ языкомъ, но и думаютъ, и чувствуютъ самыми тайными, новыми, только что вчера, кажется, родившимися и никѣмъ не выраженными, нашими мыслями и чувствами...»

Не такъ давно (въ 1908 году) критическія замѣчанія Мережковского подвергнуты разсмотрѣнію проф. А. К. Бороздинымъ въ статьѣ «*Историческій элементъ въ романъ «Война и миръ»*<sup>2)</sup>». Обстоятельно разбирая бѣглыя и отчасти не вполне ясно выраженные замѣчанія г. Мережковского, авторъ статьи думаетъ, что бытовая сторона романа обставлена наилучшимъ образомъ: легко и свободно, отдѣльными, разсѣянными въ разныхъ мѣстахъ бытовыми подробностями Толстой умѣетъ, безъ всякой перегрузки, дать живую картину эпохи. Его историческія лица и событія представляютъ увлекательную и совершенно оригинальную художественную переработку историческаго матеріала. «Умственная и нравственная атмосфера эпохи» изображена также съ исчерпывающей полнотою: Толстой въ своемъ романѣ не упустилъ ни одного изъ характерныхъ теченій времени — патріотизма, сентиментализма, мистицизма. «Изображеніе различныхъ фазисовъ русскаго патріотизма того времени нужно признать одной изъ самыхъ цѣнныхъ сторонъ великаго произведенія Толстого... Эта «характерная черта эпохи» есть тотъ фонъ, на которомъ развивается вся жизнь людей, (изображенныхъ Толстымъ) и не разглядѣть этого фона возможно лишь намѣренно закрывая глаза».

Обсуждать здѣсь указанный споръ въ цѣломъ я не имѣю возможности. Но нельзя промолчать по поводу послѣдняго пункта; разумѣю изображеніе въ романѣ

<sup>1)</sup> Д. С. Мережковскій, Л. Толстой и Достоевскій. С.-Пб. 1901., I, стр. 198—205.

<sup>2)</sup> Минувшіе годы, 1908 г., октябрь, стр. 70—92.



нравственной и умственной атмосферы эпохи. Въ этомъ вопросѣ Тургеневъ и Мережковский, думается мнѣ, гораздо болѣе правы, чѣмъ почтенный историкъ. Характерной чертой эпохи былъ не патріотизмъ, а *рабство*, которое, какъ тяжкій историческій пережитокъ, не только продолжало давить умственную и нравственную жизнь массы, но неизбежно отражалось съ дѣтства на лучшихъ людяхъ времени. Чтобы получить истинный обликъ русскаго общества начала XIX вѣка необходимо добратъся до социальнаго фундамента, на которомъ зиждилась тогдшняя Россія. Только выполнивъ эту обязательную работу, можно освѣтить правильно умственные и нравственные теченія, замѣтныя на поверхности жизни общества.

Толстой не пожелалъ сдѣлать этого. И едва ли можно признать, что онъ далъ *исчерпывающее* изображеніе характерныхъ для того времени общественныхъ теченій. Мы видѣли это на примѣрѣ патріотизма. Проф. Бороздинъ говоритъ еще о сентиментализмѣ и масонствѣ.

Сентиментализмъ, дѣйствительно, не обойденъ. Жюли Карагина плачетъ съ Друбецкимъ надъ «Бѣдной Лизой»; Борисъ заноситъ въ ея альбомъ меланхолическіе рисунки; оба они разочарованы въ жизни — вплоть до благополучнаго бракосочетанія. Но развѣ эта «игра» карьериста, охотящагося за богатымъ приданымъ, съ довольно противной старой дѣвой — даетъ намъ истинное понятіе о «чувствительныхъ сердцахъ» того времени? Интересно и характерно для эпохи, что надъ «Бѣдной Лизой» не притворно, а совершенно искренно плакали *все* образованные люди. Рядомъ съ этимъ большинство изъ нихъ (и въ томъ числѣ заядлые крѣпостники) не могли безъ нѣжныхъ чувствъ вспоминать о «поселянахъ».

Тутъ были налицо двѣ правды, которыя почти никогда не проникали одна другую и не соприкасались между собой: можно было искренно плакать надъ любовью пейзажъ въ чувствительныхъ разсказахъ и насильно сочетать крѣпостныя пары для полученія лучшаго приплода. Самъ «чувствительный» авторъ «Бѣдной Лизы» лучший примѣръ такого характернаго для эпохи явленія. Въ статьѣ «Нѣчто о наукахъ» онъ жаждетъ для поселянъ просвѣщенія и умиляется надъ ними; онъ пишетъ тамъ между прочимъ: «Цвѣты грацій украшаютъ всякое состояніе — просвѣщенный земледѣлецъ, сидя послѣ трудовъ и работы на мягкой зелени, съ нѣжною своею подругою, не позавидуетъ счастію роскошнѣйшаго сатрапа». Пыпинъ, изъ статьи котораго<sup>1)</sup> я заимствую эту выдержку, говоритъ: «Гдѣ видывалъ Карамзинъ *такого* земледѣльца, неизвѣстно; но вотъ практическій образчикъ того просвѣщенія, какое устраивалось для земледѣльца настоящаго: «Мальчикъ форейторъ, — пишетъ онъ брату въ 1800 году, — кажется мнѣ мало способнымъ къ поваренному искусству. Развѣ не отдать ли Вуолку къ хорошему повару на годъ. Онъ уже нѣсколько времени учился... Есть ли вамъ угодно, то мы помѣнялись бы: я доставилъ бы вамъ чрезъ годъ очень хорошаго повара, а вы мнѣ лакея. Впрочемъ, какъ вамъ угодно. Есть ли прикажете, то я отдамъ учиться

<sup>1)</sup> См. А. Н. Пыпинъ. Обществ. движ. при Александрѣ I. Изд. 4-е. С.-Пб. 1908, страницы 241—242.

и мальчика... Между тѣмъ буду искать нанять вамъ повара. И купить хорошаго повара никакъ нельзя; продають однихъ несносныхъ пьяницъ и воровъ...» О томъ, какъ пріобрѣтались «поселянами» на практикѣ нѣжныя подруги, можно видѣть изъ писемъ Карамзина къ его бурмистру: парни женились и дѣвки выходили замужъ по барскому и бурмистрову приказанію, — хотя бывали примѣры, что противъ этихъ мѣропріятій крестьяне возставали міромъ, — вѣроятно, не безъ причины».

И здѣсь, какъ въ патріотизмѣ, крѣпостныя отношенія вскрываютъ дѣйствительно характерныя черты эпохи. Для пониманія сентиментализма того времени «игра» Жюли Карагиной и Друбецкого — недостаточны. Но искреннія слезы надъ поселянами заядлаго и убѣжденнаго крѣпостника, какимъ былъ Карамзинъ, освѣщаютъ одну изъ чертъ эпохи совершенно инымъ свѣтомъ<sup>1)</sup>.

То же и съ масонствомъ.

Если бы Толстой захотѣлъ принять во вниманіе соціальныя отношенія того времени, то Пьеру, послѣ вступленія въ орденъ, вовсе не пришлось бы ѣхать въ свои имѣнія съ твердымъ намѣреніемъ освободить крестьянъ. Масоны того времени вообще не поднимали этого вопроса и въ ученіи ихъ Пьеръ не могъ найти никакихъ указаній въ этомъ смыслѣ.

«Благодѣтель», обратившій Пьера на путь масонства, Іосифъ Алексѣевичъ Баздѣевъ очень похожъ на извѣстнаго Іосифа Алексѣевича Поздѣева, котораго московскіе масоны чтили какъ святого. Поздѣевъ былъ заядлымъ крѣпостникомъ. «Наши русскіе мужички, пишетъ онъ министру Ланскому, таковы, что они младенца изъ утробы матерней вырѣзывали, то судите — это паче, нежели звѣри. Да кѣмъ ихъ усмирять? Солдатами? Да солдаты вѣдь изъ тѣхъ же? То кѣмъ усмирять?» Усмирять, по его убѣжденію, можно только дворянами — владѣльцами крѣпостныхъ: дворяне — тѣ же «чиновники Государевы», которые пекутся о крестьянахъ, «какъ отцы во время ихъ (крестьянъ) страстнаго(!) и болѣзненнаго состоянія; а какъ скоро они изъ подъ этой зависимости будутъ выведены, то это будутъ самые несчастные люди». «Эту зависимость не только отнять, но даже и ослабить опасно». «Россія такова, что эту Татарщину исправниками да палками не усмиришь». Въ 1797 году, когда вологодскіе крестьяне его жены «взбунтовались», жалуясь Государю, что помѣщикъ окончательно раззорилъ ихъ и «каждую недѣлю работныхъ людей сѣчетъ немилосердно», онъ пишетъ, что «спокойствіе здѣшняго края требуетъ экзекутнаго духа...» Въ 1812 году онъ больше всего боится крестьянскаго возстанія: «Французы распространяются всюду и проповѣдуютъ о вольности крестьянъ, то и ожидай всеобщаго возстанія; при такомъ частомъ и строгомъ рекрутствѣ и наборахъ

<sup>1)</sup> Нынѣшнимъ лѣтомъ мнѣ пришлось разбирать дѣла Тамбовскаго Приказа общественнаго призрѣнія. Въ этомъ богоугодномъ учрежденіи, гдѣ сто лѣтъ назадъ драли шкуру съ живого и мертваго, я видѣлъ своеобразное проявленіе сентиментализма того времени. Счетныя книги, журналы и постановленія на лицевой своей сторонѣ снабжены бѣлымъ ярлыкомъ, на которомъ значится названіе книги и дата. Эти ярлыки на конторскихъ книгахъ *Александровской эпохи* имѣютъ видъ или просто сердца, или сердца пламенѣющаго. Надо думать, что сердца приказныхъ, работавшихъ въ канцеляріи, пламенѣли... къ добродѣтели.

ожидай всеобщаго бунта противъ Государя и дворянъ и прикащиковъ, кои власть Государя подкрѣпляютъ»<sup>1)</sup>).

По выходѣ первой части романа, Толстому указывали «нѣкоторые читатели», что «характеръ времени недостаточно опредѣленъ въ его сочиненіи». Въ своихъ объясненіяхъ по поводу «Войны и мира» Толстой пишетъ: «На этотъ упрекъ я имѣю возразить слѣдующее. Я знаю, въ чемъ состоитъ тотъ характеръ времени, котораго не находятъ въ моемъ романѣ, — это ужасы крѣпостного права, закладываніе женъ въ стѣны, сѣченіе взрослыхъ сыновей, Салтычиха и т. п.; и этотъ характеръ того времени, который живетъ въ нашемъ представленіи, я не считаю вѣрнымъ и не желалъ выразить. Изучая письма, дневники, преданія, я не находилъ всѣхъ ужасовъ этого буйства въ бѣльшей степени, чѣмъ нахожу ихъ теперь, или когда-либо. Въ тѣ времена такъ же любили, завидовали, искали истины, добродѣтели, увлекались страстями; та же была сложная, умственно-нравственная жизнь, даже иногда болѣе утонченная, чѣмъ теперь въ высшемъ сословіи.»

Съ такими положеніями нельзя согласиться. И дѣло собственно не столько въ Салтычихѣ или иныхъ экстраординарныхъ эксцессахъ, сколько въ настроеніяхъ, вкусахъ и привычкахъ самыхъ обыденныхъ лицъ.

Въ запискахъ Щепкина, на которыя я уже ссылался, рассказанъ такой случай, относящійся къ 1802 году. Дѣло происходитъ въ Курскѣ, въ лагерѣ. Въ одной изъ палатокъ, въ присутствіи нѣсколькихъ товарищей, одинъ изъ офицеровъ держитъ на 500 рублей пари съ другимъ офицеромъ, «что у него въ ротѣ солдатъ Степановъ выдержитъ тысячу палокъ и не упадетъ». Посылаютъ за солдатомъ. — Степановъ! синенькую и штофъ водки — выдержишь тысячу палокъ?

— Ради стараться, ваше благородіе!...

— Какъ же ты, братецъ, на это согласился? спрашиваетъ Щепкинъ Степанова.

— Эхъ, парнюга, все равно даромъ дадутъ! отвѣчаетъ тотъ.

Когда до собравшихся на рожденіе полкового командира гостей дошли слухи объ этомъ пари, всѣ очень смѣялись: «ахъ, какіе милые шалуны! а каковъ русскій солдатъ? молодецъ!» «Одно только существо посмотрѣло на случай человѣчески. Это была А. А. Анненкова, которая сказала: «князь! пожалуйста, хоть для своего рожденія, не прикажи; право жалко, все-таки человѣкъ». Князь вызвалъ офицеровъ и сказалъ имъ: «что вы, шалуны, тамъ затѣяли какое-то пари? ну, вотъ дамы просятъ оставить это; надѣюсь, что просьба дамъ будетъ уважена»<sup>2)</sup>. Офицера, предложившаго пари, всѣ знали, по увѣренію Щепкина, «какъ благороднаго человѣка». Быть можетъ, онъ плакалъ надъ «Бѣдной Лизой». Быть можетъ, онъ прославлялъ въ масонскихъ ложахъ великаго Архитектонъ все-ленной. И, навѣрное, онъ считалъ себя хорошимъ христіаниномъ.

Изслѣдователи различаютъ въ Россіи того времени три разряда дворянства. Громадное большинство помѣщиковъ жило въ полнѣйшемъ невѣжествѣ; затѣмъ шла толпа лицъ полувоспитанныхъ, не имѣвшихъ никакого понятія даже о Россіи

<sup>1)</sup> См. «Изъ писемъ Осипа Алексѣевича Поздѣва къ его друзьямъ», Русскій Архивъ, 1872 г., стран. 1853—1886 и статью М. де-Пуле: Крестьянское движеніе при императорѣ Павлѣ Петровичѣ. Русск. Архивъ. 1869 г., стран. 526—577.

<sup>2)</sup> Записки и письма М. С. Щепкина, стран. 149—151.



и, наконецъ, только очень немногія лица были прикосновенны просвѣщенію; эти высоко культурные и по времени высоко образованные люди отнюдь не смѣшивались съ остальными, не имѣли вліянія на ихъ жизнь и строго держались своего тѣснаго, немногочисленнаго кружка<sup>1)</sup>.

Толстой, очевидно, имѣлъ дѣло съ письмами, дневниками, преданіями именно этихъ немногихъ высоко культурныхъ людей. Авторъ «Войны и мира», при своей необычайной проницательности, не могъ не замѣтить, конечно, даже въ этомъ матеріалѣ слѣдовъ крѣпостного права. Но это была «неблагообразная» сторона дѣла, на которую онъ, какъ Платонъ Каратаевъ, закрывалъ глаза. Изображеніе утонченной духовной жизни незначительнаго меньшинства увлекало и увлекаетъ читателей. Но какъ только авторъ выходитъ за предѣлы этихъ оазисовъ и пытается изобразить теченія болѣе общія, обнимающія иные круги, такъ онъ долженъ неизбѣжно или говорить о социальной подкладкѣ общества, или давать одно-стороннее и поверхностное изображеніе характерныхъ для того времени теченій. И нельзя не сознаться, что Толстой предпочелъ послѣднее. Читая и перечитывая «Войну и миръ», невольно спрашиваешь себя: откуда же появилась Гоголевская Россія? Изучая источники, приходишь иной разъ въ ужасъ даже передъ самой обыденной жизнью слащавой, но варварской и жестокой Александровской эпохи. Появленіе въ ближайшія десятилѣтія героевъ «Мертвыхъ душъ», «Ревизора» и «Пошехонской старины» становится понятнымъ. Но между картинами патріархальнаго стараго барства, вышедшими изъ-подъ пера Толстого, и всѣмъ, что мы знаемъ о послѣдующей, уже улучшенной и преобразованной, но все же глубоко варварской эпохѣ — нѣтъ ничего общаго.

Возвращаясь къ патріотизму. Нѣкоторая неувѣренность и неопредѣленность въ изображеніи Толстымъ всенароднаго патріотизма 12-го года весьма понятны. Великій писатель не опирался въ этомъ случаѣ на личныя наблюденія. Живя среди народа, онъ не видѣлъ въ немъ никакихъ патріотическихъ чувствъ и, стало быть, долженъ былъ сочинять ихъ изъ головы для эпохи отечественной войны. По этому вопросу мы имѣемъ позднѣйшія характерныя признанія самого Льва Николаевича. «Я прожилъ полвѣка среди русскаго народа,—пишетъ онъ въ 1894 году,—и въ большой массѣ настоящаго русскаго народа въ продолженіе всего этого времени ни разу не видалъ и не слышалъ проявленія или выраженія этого чувства патріотизма, если не считать тѣхъ заученныхъ на солдатской службѣ или повторяемыхъ изъ книгъ патріотическихъ фразъ самыми легкомысленными и испорченными людьми народа. Я никогда не слыхалъ отъ народа выражений чувства патріотизма, но, напротивъ, безпрестанно отъ самыхъ серіозныхъ, почтенныхъ людей народа слышалъ выраженія совершеннаго равнодушія и даже презрѣнія ко всякаго рода проявленіямъ патріотизма<sup>2)</sup>. И далѣе: «Говорятъ о любви русскаго народа къ своей вѣрѣ, царю и отечеству, а между тѣмъ не найдется въ Россіи ни одного общества крестьянъ, которое бы на минуту задумалось о томъ, что ему выбрать изъ двухъ предстоящихъ мѣстъ поселенія: одно въ Россіи...

<sup>1)</sup> Н. О. Дубровинъ. Русская жизнь въ началѣ XIX вѣка. Русск. Старина 1899 г., мартъ, стран. 547—548.

<sup>2)</sup> Сочин., XIX, стран. 70.

въ своемъ обожаемомъ отечествѣ, но съ меньшей и худшей землей, или . . .

гдѣ-либо внѣ Россіи, въ Пруссіи, Китаѣ, Турціи, Австріи, но съ нѣсколько большими и лучшими угодьями, что мы и видѣли прежде и видимъ теперь»<sup>1)</sup>).

Въ 12-мъ году для народа рѣчь шла не только о «нѣсколько большихъ и лучшихъ угодьяхъ», но и объ избавленіи отъ рабства. «Патріотизмъ» того времени и причины народной войны, повторяю, явленія весьма сложныя и недостаточно освѣщенные великимъ писателемъ.

Патріотизмъ самого Толстого переполняетъ «Войну и миръ».

Въ цитированной выше статьѣ<sup>2)</sup> Левъ Николаевичъ опредѣляетъ патріотизмъ такъ: «чувство это есть, въ самомъ точномъ опредѣленіи своемъ, не что иное, какъ предпочтеніе своего государства или народа всякому другому государству и народу». Оно сопровождается часто предвзятостью, непониманіемъ, даже презрѣніемъ и ненавистью къ людямъ другого народа. Среди русскихъ героевъ «Войны и мира» есть дурные и хорошіе, умные и глупые люди. Но помните вереницу иностранцевъ, фигурирующихъ въ романѣ Толстого: почти безъ исключенія это глупцы, позѣры или прохвосты. Иногда (рѣдко) автору некогда останавливаться на характеристикѣ выводимаго иностранца и доброкачественность его остается подъ знакомъ вопроса. Но *ни разу* ни одинъ иностранецъ не показываетъ вамъ своего человѣческаго сблика<sup>3)</sup>. Эта враждебность и несправедливость преслѣдуютъ одинаково русскихъ нѣмцевъ, поляковъ и иностранцевъ въ собственномъ смыслѣ слова. Иногда появленіе даннаго лица въ романѣ можно объяснить лишь желаніемъ еще разъ напомнить читателю, что всѣ иностранцы—ничтожный, презрѣнный и ненавистный народъ. Вспомните сцену встрѣчи Андрея Болконскаго съ кн. Адамомъ Чарторижскимъ.

Въ лицѣ кн. Андрея выразилась злоба.— Кто это? спросилъ Борисъ. «Это одинъ изъ самыхъ замѣчательнѣйшихъ, но непріятнѣйшихъ мнѣ людей... Вотъ эти люди,—продолжалъ князь Андрей со вздохомъ, котораго не могъ подавить, вотъ эти-то люди рѣшаютъ судьбы народовъ...»

И это все. Мы не знаемъ, чѣмъ плохи «эти люди», не знаемъ, чѣмъ непріятенъ князь Адамъ князю Андрею. Но впечатлѣніе произведено и выходитъ, какъ будто, что Чарторижскій встрѣтился на минуту въ коридорѣ съ кн. Андреемъ и скрылся затѣмъ навсегда изъ глазъ читателя лишь для того, чтобы оставить по себѣ непріятное воспоминаніе.

Или вотъ сидитъ Ростовъ съ Ильинымъ въ шалашикѣ, пережидая дождь. Къ нимъ входитъ офицеръ ихъ полка и «напыщенно» рассказываетъ о подвигѣ

<sup>1)</sup> Тамъ же, стран. 72—73.

<sup>2)</sup> «Христіанство и патріотизмъ».

<sup>3)</sup> Вотъ перечень нерусскихъ людей, выведенныхъ въ «Войнѣ и мирѣ»: M-lle Бурьеннъ, Бергъ, виконтъ де-Мортемаръ, аббатъ Моріо, полк. Шубергъ, членъ австрійскаго гофкригсрата, Макъ, австрійскій военный министръ, имп. Францъ, [Вейротеръ, Адамъ Чарторижскій, гр. Ланжеронъ, д-ра Метивье и Лорренъ, Мюратъ, Даву, Ней, Пфуль, марк. Паулучи, Армфельдъ, Вольцогенъ, Клаузевицъ, Бенигсенъ, кн. Ауспергеръ, пруссаки въ изображеніи Билибина, Рамбаль, Морель, Мишо, Здржинскій, Барклай, Боссе, Наполеонъ и т. д.

Раевского на Салтановской плотинѣ. Ростову не нравится рассказъ офицера, не нравится и онъ самъ «съ его длинными усами отъ щекъ, съ манерой низко нагибаться надъ лицомъ того, ксму онъ рассказываль». Офицеръ этотъ появляется въ первый и послѣдній разъ. И за нѣсколько минутъ знакомства съ нимъ у васъ остается въ памяти непрятный осадокъ, ассоціирующійся невольно съ его польской фамиліей (Здржинскій).

Если иностранецъ улыбается, то непременно притворно (мальчикъ-офицеръ, взятый въ плѣнъ Ростовымъ). Если онъ добродушенъ, то онъ непременно или слащавый позеръ и бахваль (Рамбаль), или глупецъ (Мюрать).

Эта враждебность (почти ненависть) застилаетъ глаза. Получаются двѣ правды, двѣ морали — одна для русскихъ, другая — для враговъ. Съ великимъ талантомъ и искренностью вскрыты мечты кн. Андрея о славѣ, за мигъ которой онъ готовъ отдать жизнь всѣхъ близкихъ ему людей; мы читаемъ, какъ съ удивительной для такого умнаго человѣка наивностью кн. Андрей думаетъ даже, что живя для славы, живетъ для другихъ («вѣдь что же слава? та же любовь къ другимъ, желаніе сдѣлать для нихъ что-нибудь, желаніе ихъ похвалы»)... Какими теплыми и мягкими красками изображаетъ Толстой любовь Ростова къ своему Государю: «Онъ чувствовалъ, что отъ одного слова этого человѣка зависѣло то, чтобы вся громада эта (и онъ, связанный съ ней, — ничтожная песчинка) пошла бы въ огонь и въ воду, на преступленіе, на смерть или на величайшее геройство, и потому-то онъ не могъ не трепетать и не замирать при видѣ этого приближающагося слова». Эти и подобные имъ люди (такія чувства испытывало большинство), подъ начальствомъ своего «ласковаго, спокойнаго, величественнаго и кроткаго государя», сражаются въ чужой странѣ съ французами неизвѣстно за что и мы, читая про ихъ побѣды и пораженія, не слышимъ ничего о преступности ихъ дѣяній.

Но вотъ французы пришли въ Россію. Теперь, напротивъ, мы ничего не слышимъ про любовь къ славѣ, про патриотизмъ, про страстное обожаніе своего великаго императора... Зато узнаемъ, что всѣ французы преступники; ихъ надо казнить.

«Одно, что бы я сдѣлалъ, ежели бы имѣлъ власть, — говоритъ князь Андрей передъ Бородинскимъ сраженіемъ, — я не бралъ бы плѣнныхъ. Что такое плѣнные? Это рыцарство. Французы разорили мой домъ и идутъ разорить Москву; оскорбили и оскорбляютъ меня всякую секунду. *Они врази мои, они преступники всѣ по моимъ понятіямъ. И такъ же думаетъ Тимохинъ и вся армія. Надо ихъ казнить.* — Ежели они враги мои, то не могутъ быть друзьями, какъ бы они тамъ ни разговаривали въ Тильзитѣ».

И Пьеръ («золотое сердце», «добрый», «справедливый» Пьеръ) смотритъ блестящими глазами на князя Андрея и говоритъ ему: «Да, да, я совершенно согласенъ съ вами!»

Трагедія отступленія великой арміи (см. въ этомъ сборникѣ статью С. П. Мельгунова «На войнѣ 1812 года») вызываетъ въ Толстомъ лишь холодное презрѣніе. Гибель французовъ затронута мимоходомъ въ двухъ-трехъ сценкахъ, которыя не даютъ самага блѣднаго понятія о смертельныхъ ужасахъ, пережитыхъ солдатами Наполеона. И ни слова о совершенныхъ этими людьми подвигахъ! «Бѣ-



жали», «побѣжали дальше», «прибѣжали», «украдучись пробрались черезъ лѣсъ» — вотъ тѣ выраженія, которыми съ настойчивостью и упорствомъ честить Толстой гибнущихъ враговъ. И даже Нея, человѣка, который, кажется, смотреть со страницъ Плутарха, авторъ «Войны и мира» устаетъ лишь двумя презрительными пинками. Онъ говоритъ: «Ней, шедшій послѣднимъ... съ своимъ десяти тысячнымъ корпусомъ, прибѣжалъ въ Оршу къ Наполеону только съ тысячею человѣкъ, побросавъ и всѣхъ людей и всѣ пушки и ночью, украдучись, пробравшись лѣсомъ черезъ Днѣпръ».

Этого ему мало. Ему, повидимому, не даетъ покоя тѣнь пылкого, великодушнаго, самоотверженнаго маршала, особенно прославившагося во время отступленія своей геройской защитой аррьергарда великой арміи. На слѣдующей же страницѣ послѣ приведеннаго выше несправедливаго отзыва онъ повторяетъ его почти въ тѣхъ же выраженіяхъ: «Потомъ описываютъ намъ величіе души маршаловъ, въ особенности Нея, — величіе души, состоящее въ томъ, что онъ ночью пробрался лѣсомъ въ обходъ чрезъ Днѣпръ и безъ знаменъ и артиллеріи и безъ девяти десятыхъ войска прибѣжалъ въ Оршу».

Но ни къ кому Толстой не испытываетъ такой ненависти, какъ къ Наполеону. Въ первыхъ частяхъ романа нѣтъ слѣдовъ этой ненависти. Наполеонъ — герой и кн. Андрея, и Пьера Безухова. Съ ихъ точки зрѣнія, онъ — «величайшій человѣкъ въ мірѣ». Его проницательность и распоряженія подъ Шенграбеномъ, его появленіе въ началѣ Аустерлицкаго боя соотвѣтствуютъ нашимъ привычнымъ представленіямъ о великомъ полководцѣ. Во всемъ этомъ видны сила, талантъ, умъ, способность гипнотизировать массы. Но уже въ концѣ третьей части, въ наблюденіяхъ князя Андрея надъ маленькимъ самодовольнымъ человѣкомъ, объѣзжающимъ поле сраженія, чувствуется поворотъ въ воззрѣніяхъ автора, новая точка зрѣнія. Въ главныхъ чертахъ своихъ, какъ мы знаемъ, Аустерлицкая битва описана въ самомъ началѣ работы Толстого. Князь Андрей «помилованъ» значительно позже. Когда именно окончательно оформилось новое воззрѣніе Толстого на личность Наполеона — точно опредѣлить нельзя. Можно сказать только, что 19 марта 1865 года, то-есть уже *по напечатаніи* первой части, онъ впервые задумался надъ задачей создать «великую вещь» — «психологическую исторію — романъ Александра и Наполеона». Я приводилъ выше первыя строки интереснѣйшей записи въ дневникѣ Толстого, касающейся этого вопроса. Вотъ остальная ея часть: «Наполеонъ какъ человѣкъ — путается и готовъ отречься 18 брѹмера передъ собраніемъ. «De nos jours les peuples sont trop éclairés pour produire quelque chose de grand. Александръ Македонскій называетъ себя сыномъ Юпитера, ему вѣрили». Вся египетская экспедиція — французское тщеславное злодѣйство. Ложь всѣхъ bulletins — сознательная. Пресбургскій миръ — escamoté. На Аркольскомъ мосту упалъ въ лужу вмѣсто знамя. Плохой ѣздокъ. Въ итальянской войнѣ увозить картины, статуи. Любить ѣздить по полю битвы. Трупы и раненые — радость. Бракъ съ Жозефиной — успѣхъ въ свѣтѣ. Три раза поправлялъ реляцію сраженія Риволи — все лгалъ. Еще человѣкъ первое время сильный своей односторонностью, потомъ нерѣшителенъ — что бѣ было! какъ? Вы, простые люди, а я вижу въ небесахъ мою звѣзду. Онъ не интересенъ, а толпы, окружающія его и на кото-



Два гренадера  
(Картина Коссака)





рыя онъ дѣйствуетъ. Сначала односторонность и beau jeu въ сравненіи съ Мюратами (Маратами?) и Барасами, потомъ оцупью — самонадѣянность и счастье и потомъ сумасшествіе — *faire entrer dans son lit la fille des Césars*. Полное сумасшествіе, разслабленіе и ничтожество на Св. Еленѣ. Ложь и величіе потому только, что великъ объемъ, а мало стало поприще и стало ничтожество. И позорная смерть. Александръ, умный, милый, чувствительный, ищущій съ высоты величія объема, ищущій высоты человѣческой. Отрекающійся отъ престола и дающій одобреніе (не мѣшающій) убійству Павла (не можетъ быть). Планы возрожденія Европы. Аустерлицкія слезы, раненый. Нарышкина измѣняетъ. Сперанскій, освобожденіе крестьянъ. Тильзитъ — одурманеніе величіемъ. Эрфуртъ. Промежутокъ до 12 года — не знаю. Величіе человѣка, колебанія. Побѣда, торжество, величіе, *grandeur*, пугающіе его самого, и отыскиваніе величія человѣка — души. Путаница во внѣшнемъ, а въ душѣ ясность. А солдатская косточка — маневры, строгости. Путаница наружная, проясненіе въ душѣ. Смерть. Ежели убійство, то лучше всего»<sup>1)</sup>.

Эти воззрѣнія на Александра и Наполеона постепенно росли, крѣпли, становились отчетливѣе. Образъ Александра, какъ извѣстно, до конца жизни Толстого, казался ему счастливымъ примѣромъ человѣка, который, какъ Будда, отъ людского *внѣшняго* величія ушелъ къ раскрытію величія *внутренняго*, отъ человѣческаго къ божескому. Легенда о старцѣ Ѳеодорѣ Кузьмичѣ дала завершеніе этому представленію. Мы знаемъ теперь, какъ неосновательно было то обожаніе, которое чувствовалъ Толстой къ императору Александру. Въ статьѣ А. К. Дживелегова читатель найдетъ параллельную характеристику обоихъ монарховъ, основанную на позднѣйшихъ историческихъ изслѣдованіяхъ. Относительно Александра прибавимъ отъ себя, что даже великій князь Николай Михайловичъ, весьма склонный относиться снисходительно къ своему герою, въ предисловіи къ послѣдней работѣ («Императоръ Александръ I» С.-Пб. 1912, томы 1—2) даетъ такое резюме взглядовъ своихъ на покойнаго императора: «Думаемъ, что, какъ правитель великой страны, Александръ I займетъ первенствующее мѣсто въ лѣтописяхъ общей исторіи; какъ Русскій Государь, онъ былъ въ полномъ расцвѣтѣ своихъ блестящихъ дарованій лишь въ годину Отечественннй войны, въ другіе же періоды двадцатичетырехлѣтняго царствованія интересы Россіи, къ сожалѣнію, отходили на второй планъ. Что же касается личности Александра Павловича, какъ человѣка и простаго смертнаго, то врядъ ли обликъ его, такъ сильно очаровывавшій современниковъ, чрезъ сто лѣтъ безпристрастный изслѣдователь признаетъ столь же обаятельнымъ».

Психологической исторіи — романа Александра и Наполеона Толстой не написалъ, встрѣтивъ, очевидно, непреодолимые трудности въ объясненіи фактовъ личной жизни обоихъ императоровъ. Къ тому же личная жизнь Александра I въ то время была весьма мало извѣстна. Однако, идея противопоставленія внутренняго, человѣческаго, христіанскаго величія — внѣшнему величію власти и славы, героизма самоотреченія — героизму военнаго генія — не прошла безслѣдно.

<sup>1)</sup> Бирюковъ, Біографія, II, 27—28.

Но отъ психологическаго романа-исторіи двухъ императоровъ Толстой перешель къ противопоставленію двухъ культуръ, двухъ націй. Это вполне соотвѣтствовало и новымъ воззрѣніямъ его на роль личности въ исторіи, о которыхъ я говорилъ выше.

Всѣ люди одинаково — лишь ничтожныя орудія въ рукахъ Провидѣнія, думаль онъ; они живутъ и движутся своими личными, ближайшими цѣлями или обманываютъ себя иллюзіей общественной и политической дѣятельности, а Провидѣніе, въ своихъ цѣляхъ, недоступныхъ уму человѣческому, направляетъ эти личные воли и изъ взаимодействія ихъ творить нужную ему исторію. Одни люди не видятъ этого и гордо, съ дерзкою искренностью лжи, пытаются стать строителями судебъ человѣческихъ. Дѣла такихъ людей осуждены на безплодіе. Другіе смиренно преклоняются предъ волею Провидѣнія, терпятъ и ждутъ, стараясь разжечь въ себѣ пламя божественной любви ко всѣмъ и никому и, прислушиваясь ко внутреннему голосу, который въ этой атмосферѣ доброты и любви звучитъ громче, ведетъ ихъ къ побѣдамъ надъ самими собой и къ внутреннему героизму, единственно цѣнному. И за нихъ Богъ.

Это смиренное героизмъ есть исключительная принадлежность русскаго народа; имъ и побѣдили русскіе въ 1812 году.

Такъ услужливый разумъ подводитъ философскій фундаментъ подъ скрытую теплоту (*chaleur latente*) чувства патріотизма самого Толстого. Эта концепція какъ-будто оправдываетъ и объясняетъ попутно и его ненависть къ ложнымъ кумирамъ человѣчества. Изъ нихъ Наполеонъ былъ первымъ. Допустите на минуту послышки Толстого и вы поймете отношеніе его къ «великому человѣку». Исторіей завѣдуетъ Провидѣніе. Ни одинъ шагъ исторіи не происходитъ въ силу сознательной дѣятельности людей. Всѣ люди въ своихъ поступкахъ одинаково руководствуются личными побужденіями. Эти побужденія могутъ быть направлены во-внѣ, на то, чтобы творить исторію (Сперанскій, Наполеонъ, всевозможные русскіе и иностранные «герои»); люди, поставившіе себѣ такія цѣли, не могутъ, сами по себѣ, достигнуть ихъ; въ лучшемъ случаѣ дѣятельность ихъ смѣшна и безплодна (Сперанскій); въ худшемъ, когда они, ради достиженія неизвѣстнаго имъ блага человѣчества, позволяютъ себѣ совершать преступленія, она безумна и позорна. Если самыя блестящія дарованія политическаго дѣятеля или полководца, сами по себѣ, также безплодны, какъ поступки любого сумасшедшаго, то талантамъ этимъ нельзя придавать никакой цѣны: они совершенно призрачны. Если такъ, если нѣтъ другого величія, то нѣтъ никакого, ибо по отношенію къ историческимъ событіямъ мы ничтожны и малы. Но другое величіе есть. Оно измѣряется мѣрою хорошаго и дурного. Мѣра хорошаго и дурного дана намъ Христомъ. И нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды. Ихъ нѣтъ въ душѣ Наполеона. У этого человѣка нѣтъ даже иллюзій общественаго блага. Онъ весь переполненъ безуміемъ самообожанія и своимъ идеаломъ славы и величія, для осуществленія котораго онъ дерзаетъ на всевозможныя преступленія. Рядъ «случайностей» (въ сущности Провидѣніе) возводитъ его на величайшую высоту. Рядъ «случайностей» (тоже Провидѣніе) сбрасываетъ его съ этой высоты и «вмѣсто геніальности, является глупость и подлость, не имѣющія примѣровъ»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 301.

Мы не принимаемъ посылку Толстого во всей ихъ совокупности и потому иначе расцѣпываемъ личность Наполеона и его соратниковъ.

Обратимся къ положительной сторонѣ ученія, къ конечнымъ идеаламъ автора «Войны и мира».

Здѣсь прежде всего вызываетъ сомнѣніе мессіанство, избранность русскаго народа. Каково бы ни было само по себѣ смиренное міросозерцаніе Каратаева, является ли оно исключительнымъ достояніемъ русскаго народа и основною чертою нашего народнаго духа?

Душевное спокойствіе и ясность, гармонія и круглота, покупаемая Каратаевскою апатіей, отнюдь не общій идеаль русскаго народа. Нельзя отрицать наличность въ немъ смиренія, фатализма и непротивленія. Но, быть-можетъ, это результаты систематическаго обтачиванія всѣхъ угловъ, всякой инициативы, всего личнаго, завоевательнаго, сильнаго, — обтачиванія, которое производилось вѣками рабства и поддерживается еще до сей поры нашими политическими учрежденіями. Вожди негровъ въ Америкѣ судятъ также. Своему угнетенному народу они приписываютъ тѣ же смиренныя свойства и ту же миссію въ человѣчествѣ.

Душа народная многогранна и въ ней всякій найдетъ все, чего ищетъ. Посмотрите, въ какомъ направленіи развѣртывается русская натура, когда она пробивается черезъ гнетущую ея духъ стѣну. Я уже не говорю объ интеллигенціи изъ народа. Но возьмите Стеньку Разина, Пугачева, смутное время, казачество, идеалы нашего рабочаго класса... каратаевщинѣ тутъ нѣтъ мѣста.

Не смиреніе русскаго народа побѣдило французовъ въ 1812 году.

Если даже принять объясненіе самого Толстого, что французы побѣждены одушевленіемъ русскаго народа, то гдѣ же тутъ Каратаевъ?

«Благо тому народу», пишетъ Толстой, «который въ минуту испытанія, не спрашивая о томъ, какъ по правиламъ поступали другіе въ подобныхъ случаяхъ, съ престою и легкостью поднимаетъ первую попавшуюся дубину и гвоздитъ ею до тѣхъ поръ, пока въ душѣ его чувство оскорбленія и мести не замѣнится презрѣніемъ и жалостью»<sup>1)</sup>.

Русскій народъ (или вѣрнѣе — часть его, затронутая нашествіемъ) «гвоздилъ» французовъ; это — несомнѣнно. Онъ гвоздилъ гораздо жесточе и дольше, чѣмъ думаетъ самъ Толстой. Кровавая расправа съ беззащитными плѣнными, зарываніе ихъ живыми въ землю, мученія, которымъ ихъ подвергали передъ смертью — все это, къ сожалѣнію, было.

Но при чемъ же тутъ Каратаевщина? и при чемъ тутъ «мѣрка хорошаго и дурного, данная намъ Христомъ»?

— «Я не христіанинъ и очень еще далеку отъ этого», писалъ Толстой своей теткѣ 14 ноября 1865 года<sup>2)</sup>. Поскольку онъ христіанинъ вообще въ «Войнѣ и мирѣ»? И каково отношеніе каратаевщины къ христіанству? Въ *настроеніи*,

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 150.

<sup>2)</sup> Переписка съ гр. А. А. Толстой, стран. 210.



создаваемомъ тѣмъ и другимъ, есть нѣчто общее: жалостливая любовь ко всему и ко всѣмъ, доброта, негнѣвливость. Но въ каратаевщинѣ нѣтъ правилъ поведенія.

Каратаевъ показанъ намъ въ плѣну. Онъ терпитъ, но не дѣйствуетъ. Ему нечего выбирать, не въ чемъ разбираться. Мы знаемъ, онъ принимаетъ міръ со всѣми страданіями, съ безвинностью страданій. Онъ умиляется на невиннаго купца, который «взысканъ Богомъ» и принимаетъ свои муки смиренно, какъ очищеніе отъ грѣховъ. Мы знаемъ, какъ перенесъ бы тѣ же страданія самъ Каратаевъ. Но для насъ остается неяснымъ, что сдѣлалъ бы онъ, если бы *ему* выпалъ жребій рвать ноздри купцу и наказывать его кнутомъ, «какъ слѣдуетъ, по порядку»? Можно закрывать глаза на неблагообразіе окружающаго, вѣря, что оно необходимо; но какъ поступать, когда это неблагообразіе совершается твоими руками? И Каратаевъ, и Пьеръ, прісбившійся къ его ученію, чувствуютъ полное успокоеніе, согласіе съ собой, круглоту существованія, гармонію: они довольны собою и всѣмъ окружающимъ и твердо знаютъ, какъ поступать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Откуда знаютъ они это? — Мѣркой хорошаго и дурного, которую вложилъ Христосъ въ ихъ души. Но люди двѣ тысячи лѣтъ спорятъ о томъ, что именно вложилъ въ ихъ души Христосъ. При столкновеніи мнѣній на этотъ счетъ, гармонія и круглота рушатся, «міръ заваливается», человекъ перестаетъ понимать «что хорошо, что дурно». Наступаетъ хаосъ. Чтобы сохранить круглоту, гармонію, приходится усиленно закрывать глаза на окружающее неблагообразіе, проходить мимо него, видѣть во всемъ одно хорошее. Каратаеву можно это дѣлать: онъ не думаетъ. Но что дѣлать думающимъ?

Авторъ «Войны и мира» не допускаетъ разнаго толкованія заповѣдей Христа. Но чтобы примирить эти заповѣди съ окружающею дѣйствительностью, ему часто приходится подмѣнять ихъ и, вмѣсто христіанскаго мѣрила добра и зла, мы встречаемся или съ чѣмъ-то весьма неопредѣленнымъ («онъ зналъ это не разумомъ, а чѣмъ-то высшимъ, чѣмъ разумъ»), или прямо со «здравымъ смысломъ посредственности», то-есть мнѣніемъ толпы, большинства тѣхъ людей, къ группѣ которыхъ принадлежитъ по рожденію и воспитанію сомнѣвающійся. Героевъ Толстого безпокоитъ иногда столкновеніе «здраваго смысла посредственности» съ заповѣдями Христа. Но они довольно легко обходятъ это затрудненіе: все, что есть во мнѣ, все отъ Бога; не можетъ Богъ послать мнѣ плохія желанія; стало-быть, Его воля, чтобы я поступилъ такъ, какъ мнѣ въ данный моментъ хочется. Иногда Толстой чувствуетъ, что не все благополучно въ этихъ разсужденіяхъ. Но ради круглоты и гармоніи, ради согласія съ самимъ собою, ради успокоенія онъ закрываетъ глаза, старается гнать безпокойныя мысли прочь и оставляетъ сомнѣнія не разрѣшенными.

Поясню эти мысли примѣромъ.

Война объявлена и «здравый смыслъ» Николая Ростова заставляетъ его спѣшить въ армію, пламенѣтъ ненавистью къ врагамъ и добросовѣстно искать случая перекалѣчить ихъ въ возможно большемъ числѣ. Но вотъ его сестра Наташа «въ состояніи раскрытости душевной» слушаетъ въ церкви колѣнопреклонную молитву о спасеніи Россіи отъ вражескаго нашествія. «Она слушала каждое слово о побѣдѣ Моисея на Амолика, и Гедео на Мадіама, и Давида на Голиаѳа,

и о разореніи Іерусалима Твсего, и просила Бога съ тою нѣжностью и размягченностью, которсю было переполнено ея сердце; но не понимала хорошенько, о чемъ она просила Бога въ этой молитвѣ. Она всей душой участвовала въ прошеніи о духѣ правды, объ укрѣпленіи сердца вѣрою, надеждою и о воодушевленіи ихъ любовью. *Но она не могла молиться о поспраніи подъ ноги враговъ своихъ, когда она за нѣсколько минутъ передъ этимъ только желала имѣть ихъ больше, чтобы молиться за нихъ. Но она тоже не могла сомнѣваться въ правотѣ читаемой коленнопреклонной молитвы...»<sup>1)</sup>.*

Князь Андрей наканунѣ Бородинскаго сраженія, среди фразъ полныхъ гнѣва и ненависти, вдругъ неожиданно говоритъ Пьеру: «Сойдутся, какъ завтра, на убійство другъ друга, перебьютъ, перекалѣчатъ десятки тысячъ людей, а потомъ будутъ служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которыхъ число еще прибавляютъ), и провозглашаютъ побѣду, полагая, что чѣмъ больше побить людей, тѣмъ больше заслуга. Какъ Богъ оттуда смотреть и слушаетъ ихъ!» — тонкимъ, пискливымъ голосомъ прокричалъ князь Андрей. — Ахъ, душа моя, послѣднее время мнѣ стало тяжело жить. Я вижу, что сталъ понимать слишкомъ много. А не годится человѣку вкушать отъ древа познанія добра и зла...»<sup>2)</sup>.

Но на другой день кн. Андрей стойко выполняетъ свой «долгъ», идетъ «по дорогѣ чести» и... погибаетъ.

«Война?» спрашиваетъ самъ Толстой въ одномъ изъ раннихъ своихъ произведеній<sup>3)</sup>. «Какое непонятное явленіе! Когда разсудокъ задаетъ себѣ вопросъ: справедливо ли, необходимо ли оно? внутренній голосъ всегда отвѣчаетъ: нѣтъ...»

Сдѣлавшись старше, Толстой высказывается по этому поводу еще рѣзче, еще опредѣленнѣе:

«12-го іюня», пишетъ онъ, «силы Западной Европы перешли границы Россіи, и началась война, т.-е. совершилось противное человѣческому разуму и всей человѣческой природѣ событіе. Милліоны людей совершали другъ противъ друга такое безчисленное количество злодѣяній, обмановъ, измѣнъ, воровства, подѣлокъ — выпуска фальшивыхъ ассигнацій, грабежей, поджоговъ и убійствъ, котораго въ цѣлые вѣка не соберетъ лѣтопись всѣхъ странъ міра, и на которые, въ этотъ періодъ времени, люди, совершавшіе ихъ, не смотрѣли какъ на преступленія»<sup>4)</sup>.

Въ другомъ мѣстѣ устами князя Андрея Толстой говоритъ: — «А что такое война, что нужно для успѣха въ военномъ дѣлѣ, какіе нравы военного общества? Цѣль войны — убійство; орудіе войны — шпіонство, измѣна и поощреніе ея, разореніе жителей, ограбленіе ихъ или воровство для продовольствія арміи; обманъ и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословія — отсутствіе свободы, т.-е. дисциплина, праздность, невѣжество, жестокость, развратъ, пьянство. И несмотря на то, это — высшее сословіе, почитаемое всѣми.

<sup>1)</sup> Сочин., VII, 95—96.

<sup>2)</sup> Тамъ же VII, 260.

<sup>3)</sup> «Набѣгъ» (1852 г.) см. Сочин., II, 87.

<sup>4)</sup> Сочин., VII, 5.

Всѣ цари, кромѣ китайскаго, носятъ военный мундиръ, и тому, кто больше убилъ народа, даютъ большую награду...»<sup>1)</sup>).

Какъ же совмѣстить все это? Какъ согласовать «здравый смыслъ посредственности» и голосъ совѣсти? молитвы за враговъ и молитвы за побѣненіе враговъ? И какъ сохранить при этомъ «согласіе съ самимъ собою», душевную гармонію и ясность, круглоту, доброту, простоту и правду?

Толстой пробуетъ различать «справедливую» войну отъ несправедливой — оборонительную отъ наступательной. Но какъ призрачны границы между той и другою! Кто начинаетъ войну, не ставя цѣлью ея соблюденіе мира? Наполеонъ говорилъ впослѣдствіи, что русская война 1812 года должна считаться самою справедливою и цѣлесообразною изъ войнъ: она должна была стать *последнею* войною; за побѣдой французовъ наступило бы царство вѣчнаго мира, создалось бы одно государство, одна великая имперія и подъ сѣнью ея люди наслаждались бы счастьемъ и спокойствіемъ... Александръ, сводя свои счеты съ Наполеономъ въ 1805 и 1806 годахъ, тоже говорилъ (и, быть-можетъ, думалъ), что охраняетъ миръ Европы отъ дерзкаго завоевателя. А близкіе Каратаеву по духу русскіе герои, представители простоты, доброты и правды, Тушинъ, Тимохинъ, Кутузовъ — участвовали въ этихъ явно наступательныхъ кампаніяхъ и, ничто же сумняся, «крушили» французовъ, — очевидно, подчиняясь долгу, присягѣ и «здравому смыслу посредственности»...

---

Подведемъ итоги.

Въ планъ этой статьи не входитъ оцѣнка чисто *художественныхъ* свойствъ великаго произведенія Толстого. А потому въ этой области я могу ограничиться немногими замѣчаніями.

«Война и миръ» останется навсегда геніальнымъ памятникомъ литературнаго творчества. Нарисованныя Толстымъ картины до сей поры блещаютъ и переливаются такими свѣжими, сочными красками, что, кажется, всеразрушающее время не имѣетъ надъ ними власти. Такая увѣренность и точность рисунка даны были во всемірной литературѣ одному Толстому. При этомъ нельзя не удивляться вмѣстѣ съ Герценомъ *смѣлости* Толстого: «великій писатель говоритъ о такихъ тонкихъ, глубоко затаенныхъ чувствахъ, которыя, быть-можетъ, испытываются многими, но которыя никѣмъ высказаны не были».

Толстой реалистъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Образы, чувства, мысли, малѣйшія мимолетныя настроенія его героевъ — опираются на то, что онъ наблюдалъ и перечувствовалъ. Поэтому созданія его такъ близки намъ и такъ *заразительны*. Въ области художественной онъ неотразимъ. Мы переживаемъ съ нимъ самыя тонкія душевныя ощущенія, потому что *всегда* находимъ въ своей душевной жизни смутные отголоски того, что съ такой ясностью и опредѣленностью «вовлекъ онъ въ нашъ міръ удивленный».

Съ его героями происходитъ много внѣшнихъ случайностей: припомните все, что долженъ былъ пройти Пьеръ по дорогѣ къ предназначенной ему съ самаго

---

<sup>1)</sup> Сочин., VII, 259—260.



начала Наташѣ. Иной разъ кажется, что случайностей этихъ больше, чѣмъ бываетъ въ обыденной жизни. Но качаясь на этихъ бурныхъ волнахъ, каждый изъ выведенныхъ имъ лицъ почти всегда остается психологически вѣренъ себѣ и въ большинствѣ случаевъ въ органически *не можете* усумниться въ соотвѣтствіи поступковъ характеру. Въ этомъ отношеніи у Толстого, дѣйствительно, какое-то чудесное прозрѣніе («ясновидѣніе», какъ говорить г. Мережковский). Работа не дается ему легко. Часто онъ тоскуетъ и работаетъ мучительно. Ему кажется исключительно трудной «предварительная работа глубокой пахоты того поля, на которомъ онъ принужденъ сѣять». Ему «ужасно трудно» «обдумать и передумать все, что можетъ случиться со всѣми будущими людьми предстоящаго сочиненія и обдумать миллионы возможныхъ сочетаній для того, чтобы выбрать изъ нихъ одну миллионную...»<sup>1)</sup>. Но когда общее развитіе фабулы, такимъ образомъ, намѣчено, психологическая правда переживаній отдѣльными лицами событий — приходитъ къ автору сама, какимъ-то таинственнымъ образомъ. «Я дѣлаю», пишетъ онъ, «какой-то, мнѣ самому непонятный, выборъ».

Отношеніе Толстого къ историческому матеріалу въ высшей степени своеобразно. Въ этой области съ необыкновенной силой сказались его основныя свойства: вѣра въ себя, противленіе общепринятому, дерзновеніе мысли. Толстой презираетъ умъ. Это одинъ изъ исходныхъ пунктовъ его міровоззрѣнія. А между тѣмъ найдется немного людей, которые пытались съ такимъ дерзновеніемъ ставить и рѣшать *умомъ* величайшія проблемы человѣческой жизни. Вся историческая часть «Войны и мира» представляетъ, въ сущности, попытку анализировать умомъ міровыя событія начала прошлаго вѣка. Мнѣнія историковъ всѣхъ временъ и народовъ строго критикуются и, конечно, отвергаются. Неправы не только всѣ, занимавшіеся исторіей Наполеоновскихъ войнъ, но не выдерживаютъ критики и остальные историки, такъ какъ въ основаніе своихъ изысканій они полагали несостоятельныя, по мнѣнію Толстого, воззрѣнія на жизнь человѣческую, логически несостоятельные принципы философіи исторіи. Необходимо пересмотрѣть эти взгляды. Для пониманія историческихъ фактовъ неизбежно создать новую теорію историческаго процесса и въ свѣтъ ея рассмотреть событія 1805—1820 гг.

Толстой такъ и дѣлаетъ. Но ему этого мало. Ему надо связать его философію исторіи со всѣми остальными взглядами, подняться до общаго синтеза, округлить, гармонизировать все существующее, подвести филссфскій фундаментъ подъ ту жизнь, которую онъ самъ, Толстой, ведетъ и которою увлекается. И виртусный умъ пытается все это выполнить.

А творческое ясновидѣніе, несмотря на яркую тенденціозность изслѣдователя, дѣлаетъ часто настоящія открытія въ области исторіи.

Характеристики Кутузова и Растопчина, напримѣръ, принадлежатъ къ числу такихъ счастливыхъ открытій. По свидѣтельству В. Соловьева, покойный историкъ отечественной войны А. Н. Поповъ въ семидесятихъ годахъ сказалъ однажды Скабичевскому: «Въ числѣ очень важныхъ историческихъ матеріаловъ, найденныхъ

<sup>1)</sup> Фетъ. Мои воспоминанія, II, 49 (Письмо Л. Н. отъ 17 ноября 1864 г.).

мною, заключается и «Война и миръ» Толстого. Конечно, я не пишу исторію по роману, но очень часто, при освѣщеніи извѣстнаго событія, совѣтуюсь съ «Войной и миромъ». Въ моихъ рукахъ много совершенно никому неизвѣстныхъ, новыхъ документовъ, о которыхъ, очевидно, не имѣлъ понятія и Толстой. Документы эти проливаютъ новый свѣтъ на очень важныя минуты, на основаніи ихъ я объясняю событія совершенно иначе, чѣмъ объясняли ихъ мои предшественники, военные историки. И въ «Войнѣ и мирѣ» нахожу описанія этого событія и объясненія его совершенно тождественными съ моими описаніями и объясненіями. Очень часто я рассказываю на основаніи непреложныхъ историческихъ данныхъ; графъ Толстой, незнакомый съ этими данными, рассказываетъ на основаніи своего творческаго прозрѣнія, а выводы наши выходятъ одни и тѣ же — такъ какъ же мнѣ не совѣтоваться съ «Войной и миромъ?». Въ устахъ одного изъ лучшихъ знатоковъ 1812 года — такого рода признаніе пріобрѣтаетъ чрезвычайную цѣнность.

Въ области *идейной* «Война и миръ», какъ я старался показать, ставитъ безконечное число вопросовъ, надъ которыми заставляетъ думать. И эта сторона, быть-можетъ, не менѣе важна, чѣмъ художественныя красоты знаменитаго романа.

Но съ отвѣтами на вопросы эти далеко не всегда можно согласиться. Большинство идей, выдвинутыхъ въ «Войнѣ и мирѣ» нужно признать результатомъ смутныхъ усилій подвести фундаментъ подъ ту «спокойную, самодовольную и вполнѣ эгоистическую жизнь», которую, по сознанію Льва Николаевича, онъ жилъ въ то время<sup>1)</sup>.

Послѣ перенесенныхъ бурь и исканій душа его жаждала успокоенія, гармоніи, согласія съ собою. Упоенія семейнымъ счастьемъ, котораго онъ напрасно искалъ долгіе годы, Толстой *не могъ, не хотѣлъ* разрушить или омрачить новыми сомнѣніями. Каратаевскому міросозерцанію онъ самъ не слѣдовалъ, но оно явилось ему въ отдаленіи, какъ возможное рѣшеніе, какъ гармонія, къ которой можно и должно стремиться, какъ русскій народный идеаль, сливавшій казалось, въ одинъ кругъ и христіанскія настрєненія, и языческую радость жизни.

Каратаевъ окончилъ свою жизнь въ плѣну. «Плѣненіе» Толстого не было вѣчнымъ. Когда узы, связывавшія его, ослабли, онъ не захотѣлъ закрывать глаза на неблагообразіе окружающаго міра и не могъ не думать. «Счастливый и честный мірокъ, въ которомъ онъ спокойно, безъ ошибокъ, безъ раскаянья, безъ путаницы жилъ себѣ потихоньку и дѣлалъ не торопясь, аккуратно все только хорошее» — вдругъ пересталъ удовлетворять его. Онъ снова почувствовалъ, какъ чувствовалъ это ранѣе (въ 1857 г.), что «спокойствіе — душевная подлость»; что «надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вѣчно бороться и лишаться». Мечты о гармоніи потеряли всякую привлекательность. И съ обычнымъ своимъ безстрашіемъ онъ ринулся въ открытое море вопросовъ и сомнѣній. Официальное православіе не дало ему достаточныхъ отвѣтовъ. Онъ принялся за изученіе христіанства въ первоисточникахъ. Удивительныя открытія ожидали его. Онъ убѣдился, что «здравый смыслъ посредственности», всѣми принятый «порядокъ», (передъ кото-

<sup>1)</sup> См. Бирюковъ. Біографія, II, 94 (Письмо Л. Н. отъ 24 мая 1908 г.).

рымъ умилялся Каратаевъ), находятся во многомъ въ прямомъ противорѣчій съ истиннымъ христіанствомъ. Выясняя отношеніе послѣдняго ко всему окружающему (чего не пытался дѣлать Каратаевъ), онъ пришелъ къ простымъ и яснымъ заповѣдямъ Нагорной проповѣди. Эти пять заповѣдей дали не только правила поведенія, но и правила *недѣланія*, то-есть указали, въ чемъ именно изъ ложно-христіанскихъ людскихъ учрежденій нельзя участвовать христіанину. Очистивъ христіанскій идеалъ отъ историческихъ напластованій, Толстой пришелъ къ убѣжденію, что идеалъ этотъ есть личность Христа, и заповѣди Нагорной проповѣди указываютъ христіанину лишь способы и приемы вѣчнаго движенія къ этой цѣли. «Въ христіанствѣ», писалъ онъ, «достоинство состоитъ только въ процессѣ достиженія, въ большей или меньшей скорости движенія... такъ что неподвижная праведность фарисея ниже движенія кающагося разбойника на крестѣ»<sup>1)</sup>. Мѣрило хорошаго и дурного, оставленное намъ Христомъ, представало ему теперь въ совершенно новомъ свѣтѣ. И съ этой новой точки зрѣнія кореннымъ образомъ измѣнилось отношеніе его къ «врагамъ его народа», къ государству и правительству, къ аристократіи, собственности (особенно земельной), рабочему вопросу и семьѣ.

Въ задачи этой статьи не входитъ изслѣдованіе новыхъ взглядовъ Толстого, опрокинувшихъ цѣликомъ міросозерцаніе, развитое въ «Войнѣ и мирѣ». Достаточно показать *размѣры* этой перемѣны во взглядахъ. Я сдѣлаю это на двухъ примѣрахъ.

Мы видѣли, какъ относился Толстой къ патріотизму въ эпоху созданія «Войны и мира».

Въ 1894 году онъ писалъ: «Очень можетъ быть, что чувство это (патріотизмъ) очень желательно и полезно для правительствъ и для цѣльности государства, но нельзя не видѣть, что чувство это вовсе не высокое, а, напротивъ, очень глупое и очень безнравственное: глупое потому, что если каждое государство будетъ считать себя лучше всѣхъ другихъ, то очевидно, что всѣ они будутъ неправы, и безнравственное потому, что оно неизбежно влечетъ всякаго человѣка, испытывающаго его, къ тому, чтобы пріобрѣсти выгоды для своего государства и народа въ ущербъ другимъ государствамъ и народамъ, — влеченіе прямо противоположное основному, признаваемому всѣми нравственному закону: не дѣлать другому и другимъ, чего бы не хотѣли, чтобы намъ дѣлали»<sup>2)</sup>.

Теперь для него патріотизмъ — «удивительное суевѣріе»; «исключительная приверженность къ своему народу — преступленіе»<sup>3)</sup>.

Въ своемъ роанмѣ онъ считалъ войну «страшной необходимостью». Событія начала прошлаго столѣтія представлялись ему такъ: народы двигались съ запада на востокъ и съ востока на западъ, сами не зная — зачѣмъ; правительства какъ-будто руководили событіями; на самомъ дѣлѣ отъ правительства и правителей меньше всего зависѣли и начало, и конецъ любой войны.

<sup>1)</sup> Сочин., XVI, 78 («Первая ступень», 1891 г.).

<sup>2)</sup> Тамъ же, XIX, 78 («Христіанство и патріотизмъ», 1894 г.).

<sup>3)</sup> Тамъ же, стран. 86 и 99.



Теперь онъ пишетъ: «Нѣтъ во всей исторіи ни одной войны, которая не была бы вызвана правительствами, одними правительствами, совершенно независимо отъ выгодъ народовъ, которымъ война, даже если она успѣшна, всегда вредна»<sup>1)</sup>).

Война рисуется ему теперь въ такомъ видѣ:

«Зазвонятъ въ колокола и начнутъ молиться за убійство. И начнется опять старое, давно извѣстное, ужасное дѣло. Засуетятся разжигающіе людей подъ видомъ патріотизма къ ненависти и убійству газетчики, радуясь тому, что получать двойной доходъ. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военныхъ припасовъ, ожидая двойныхъ барышей. Засуетятся всякаго рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чѣмъ они крадутъ обыкновенно. Засуетятся военныя начальства, получающія двойное жалованье и раціоны и надѣющіеся получить за убійство людей различныя высокоцѣнныя ими побрякушки — ленты, кресты, галуны, звѣзды. Засуетятся праздные господа и дамы, впередъ записываясь въ Красный Крестъ, готовясь перевязывать тѣхъ, которыхъ будутъ убивать ихъ мужья и братья, и воображая, что они дѣлаютъ этимъ самое христіанское дѣло. И, заглушая въ своей душѣ отчаяніе пѣснями, развратомъ и водкой, побредутъ оторванные отъ мирнаго труда, отъ своихъ женъ, матерей, дѣтей, люди, сотни тысячъ простыхъ добрыхъ людей, съ орудіями убійства въ рукахъ туда, куда ихъ погонять. Будутъ ходить, зябнуть, голодать, болѣть, умирать отъ болѣзней, и наконецъ придутъ къ тому мѣсту, гдѣ ихъ начнутъ убивать тысячами, и они будутъ убивать тысячами, сами не зная зачѣмъ, людей, которыхъ они не видали, которые имъ ничего не сдѣлали и не могутъ сдѣлать дурного. И когда наберется столько больныхъ, раненыхъ и убитыхъ, что некому уже будетъ подбирать ихъ, и когда воздухъ уже такъ заразится этимъ гніющимъ пушечнымъ мясомъ, что непріятно сдѣлается даже и начальству, тогда останутся на время, кое-какъ подберутъ раненыхъ, свезутъ, свалятъ кучами куда попало больныхъ, а убитыхъ зароютъ, посыпавъ ихъ известкой, и опять поведутъ всю толпу обманутыхъ еще дальше, и будутъ водить ихъ такъ до тѣхъ поръ, пока это не надоѣстъ тѣмъ, которые затѣяли все это, или пока тѣ, которымъ это было нужно, не получатъ всего того, что имъ было нужно. И опять одичаютъ, остервенѣютъ, озвѣрѣютъ люди и уменьшится въ мірѣ любовь, и наступившее уже охристіаненіе человѣчества отодвинется опять на десятки, сотни лѣтъ. И опять тѣ люди, которымъ это выгодно, съ увѣренностью станутъ говорить, что если была война, то это значитъ то, что она необходима, и опять станутъ готовить къ этому будущія поколѣнія, съ дѣтства развращая ихъ»<sup>2)</sup>).

Въ 1869 году въ объясненіяхъ своихъ по поводу «Войны и мира» Толстой писалъ: «Зачѣмъ милліоны людей убивали другъ друга, тогда какъ съ сотворенія міра извѣстно, что это и физически и нравственно дурно? За тѣмъ, что это такъ неизбѣжно было нужно, что исполняя это, люди исполняли тотъ стихійный, зоологическій законъ, который исполняютъ пчелы, истребляя другъ друга къ

<sup>1)</sup> Сочин., XIX, 83.

<sup>2)</sup> Тамъ же, XIX, 63—64.

осени, по которому самцы животных истребляют другъ друга. Другого отвѣта нельзя дать на этотъ страшный вопросъ»<sup>1)</sup>).

А въ «Кругъ чтенія» (1904 г.) сказано:

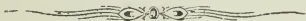
«Нѣтъ тѣхъ ужасовъ, которые не совершилъ бы человѣкъ, рѣшивши въ своей душѣ, что то, что онъ дѣлаетъ, есть стихійное, независящее отъ его воли явленіе. Такой человѣкъ больной; его надо остерегаться и лѣчить. Также надо остерегаться и лѣчить тѣхъ, которые говорятъ про войну, что это стихійное явленіе»<sup>2)</sup>).

*Тихонъ Полнеръ.*

---

<sup>1)</sup> Сочин., VIII, 446.

<sup>2)</sup> Кругъ чтенія, т. I, изд. V, стран. 173.





Эпоха, изображенная въ романѣ «Война и миръ», своими отдѣльными эпизодами и случайными отзвуками не разъ привлекала къ себѣ вниманіе Толстого, и задолго до того времени, когда онъ рѣшилъ сдѣлать ее предметомъ своей эпопеи.

Еще мальчикомъ, онъ съ чувствомъ, хотя и полусознательно, декламируетъ передъ своимъ отцомъ и С. И. Языковымъ оду Пушкина «Наполеонъ» и вызываетъ одобреніе старшихъ своимъ дѣтскимъ, но искреннимъ паѳосомъ. Впослѣдствіи Толстой самъ отмѣтилъ, что эти стихи Пушкина оказали на него «большое» вліяніе.

Много позже, передъ выступленіемъ на литературную дорогу, Толстой знакомится съ произведеніями французскаго романиста Стендаля, между прочимъ, участника похода французской арміи въ 1812 году. Стендаль произвелъ на Толстого глубокое, рѣшительное впечатлѣніе, и особенно какъ живописецъ батальныхъ сценъ. «Я больше, чѣмъ кто-либо другой», говорилъ Толстой, «многимъ обязанъ Стендалю. Онъ научилъ меня понимать войну. Перечтите въ «Chartreuse de Parme» рассказъ о битвѣ при Ватерлоо. Кто до него описалъ войну такую, т.-е. такую, какова она есть на самомъ дѣлѣ? Помните Фабриція, переѣзжающаго поле сраженія и ничего не понимающаго? И какъ гусары съ легкостью перекидываютъ его черезъ крупъ его лошади, его прекрасной генеральской лошади? Потомъ братъ мой, служившій на Кавказѣ раньше меня, подтвердилъ мнѣ правдивость стендалевскихъ описаній. Онъ очень любилъ войну, но не принадлежалъ къ числу тѣхъ, кто вѣритъ въ Аркольскій мостъ. «Все это прикрасы», говорилъ онъ мнѣ, «а на войнѣ нѣтъ прикрасъ». Вскорѣ послѣ этого въ Крыму мнѣ уже легко было все это видѣть собственными глазами. Но, повторяю вамъ, все, что я знаю о войнѣ, я прежде всего узналъ отъ Стендаля»<sup>1)</sup>. Весьма вѣроятно, что

<sup>1)</sup> П. Бирюковъ, «Л. Н. Толстой». Біографія, т. I, стр. 270.



вліяніе этого писателя отозвалось на кавказскихъ и севастопольскихъ разсказахъ Толстого, а также отчасти и на «Войнѣ и мирѣ»<sup>1)</sup>).

Наконецъ, уже незадолго до работы надъ романомъ «Война и миръ», Толстой на урокъ исторіи съ увлеченіемъ разсказываетъ ребятишкамъ своей Яснополянской школы о событіяхъ отечественной войны и о причинахъ, ее вызвавшихъ. Но когда у Толстого явилась мысль объ историческомъ романѣ, онъ не сразу остановился на этой эпохѣ. Переходною ступенью къ «Войнѣ и миру» послужили три главы незаконченнаго романа «Декабристы», и неоконченнаго, какъ говорить въ примѣчаніи къ нему издатель, «потому, что, стараясь создать его, онъ невольно переходилъ мыслію къ предыдущему времени, къ прошлому своихъ героевъ. Постепенно передъ авторомъ раскрывались все глубже и глубже источники тѣхъ явленій, которыя онъ задумывалъ описывать: семья, воспитаніе, общественныя условія и проч. избранныхъ имъ лицъ; наконецъ, онъ остановился на времени войнъ съ Наполеономъ, которое и изобразилъ въ «Войнѣ и мирѣ». Въ концѣ этого романа видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14 декабря 1825 года».

Начало работы надъ «Войной и миромъ» надо приурочить, приблизительно, ко второй половинѣ 1863 года, такъ какъ первые его мѣсяцы были заняты печатаніемъ «Поликушки» и «Казаковъ», а въ 1868 году Толстой, въ своей статьѣ «Нѣсколько словъ по поводу книги «Война и миръ», говорилъ, что на романъ этотъ имъ положено «пять лѣтъ непрестаннаго и исключительнаго труда»<sup>2)</sup>). Письма Толстого къ Фету отъ 1864 года свидѣтельствуютъ уже о томъ, что работа находится въ полномъ разгарѣ, и что писатель успѣлъ страстно привязаться къ своему будущему роману. «Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно», сообщаетъ онъ Фету. «Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на которомъ я принужденъ сѣять. Обдумать и передумать все, что можетъ случиться со всѣми будущими людьми предстоящаго сочиненія, очень большого, и обдумать миллионы возможныхъ сочетаній для того, чтобы выбрать изъ нихъ  $\frac{1}{1000000}$ , ужасно трудно. И этимъ я занятъ»<sup>3)</sup>)... «И я довольно много написалъ нынѣшнюю осень свсего романа. *Ars longa, vita brevis*, думаю я всякій день. Коли можно бы было успѣть  $\frac{1}{100}$  долю исполнить того, что понимаешь, но выходитъ только  $\frac{1}{10000}$ . Все-таки это сознаніе, что могу, составляетъ счастье нашего брата. Вы знаете это чувство. Я нынѣшній годъ съ особенной силой его испытываю»<sup>4)</sup>). Насколько дорого было это новсе произведеніе для

<sup>1)</sup> Едва ли та часть описанія Бородинскаго боя, гдѣ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является Пьеръ, не обязана своимъ происхожденіемъ Стендалю; см. его разсказъ о Ватерлоо («*La Charteuse de Parme*», Paris, 1869, стран. 34—48). Хотя внѣшняя схема поѣздки и участія Пьера въ Бородинскомъ бою и копируетъ кн. П. Вяземскаго (см. его «Поминки по Бородинской битвѣ и воспоминанія о 1812 годѣ». М., 1869 г.), но самая мысль описать сраженіе съ точки зрѣнія человѣка, въ первый разъ попадающаго на полѣ битвы, могла быть навѣяна именно Стендалемъ.

<sup>2)</sup> «Русскій Архивъ», 1868 г., № 3, стран. 515.

<sup>3)</sup> А. Фетъ, «Мои воспоминанія», М., 1890 г., ч. II, стран. 49.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стран. 52.

его автора, достаточно ярко говорит слѣдующій, полушутливый, полусеріозный отрывокъ изъ той же переписки Толстого съ Фетомъ: «Я радъ, что вы любите мою жену», замѣчаетъ первый; «хотя я ее меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете, жена. Приѣзжайте же ко мнѣ»<sup>1)</sup>.

Работа надъ созданиємъ «Войны и мира» продолжалась, съ небольшими перерывами, десять лѣтъ<sup>2)</sup> и шла въ разныхъ направленіяхъ. Прежде всего Толстому нужно было собрать необходимый историческій матеріалъ, сдѣлать изъ него выборку, подвергнуть послѣднюю художественной обработкѣ, установить общій планъ романа, намѣтить центральныя фигуры его и связать ихъ между собою тѣми или иными отношеніями. Матеріалъ, привлеченный Толстымъ, былъ крайне обширенъ и разностороненъ<sup>3)</sup>. Отчасти онъ состоялъ изъ семейныхъ преданій и личныхъ воспоминаній автора о порѣ своего дѣтства, изрѣдка даже и изъ субъективныхъ, современныхъ роману, переживаній писателя. Этотъ источникъ далъ цѣлый рядъ главныхъ и второстепенныхъ лицъ романа, рядъ крупныхъ бытовыхъ сценъ и множество разныхъ мелкихъ деталей. Но одной «семейной хроники» было бы слишкомъ мало для романа, который захватываетъ такую широкую полосу въ исторіи русской жизни, и Толстой горячо принялся за изученіе разныхъ историческихъ изслѣдованій, воспоминаній, дневниковъ, переписки и даже литературныхъ произведеній первой четверти XIX вѣка. «Онъ цѣлые дни проводилъ въ библіотекѣ Румянцовскаго музея, роясь въ цѣнныхъ архивахъ того времени, изучая масонскія книги, акты и рукописи»<sup>4)</sup>. «Вездѣ, гдѣ въ моемъ романѣ», писалъ Толстой въ 1868 году, «говорятъ и дѣйствуютъ историческія лица, я не выдумывалъ, а пользовался матеріалами, изъ которыхъ у меня во время мсей работы образовалась цѣлая библіотека книгъ, заглавія которыхъ я не нахожу надобности въписывать здѣсь, но на которыя всегда могу сослаться»<sup>5)</sup>. Даже и тогда, когда первыя главы романа появились уже въ «Русскомъ Вѣстникѣ», Толстой продолжалъ собираніе матеріала для дальнѣйшаго разсказа «Войны и мира». Не довольствуясь одними печатными источниками, онъ знакомился съ описываемой имъ эпохой и по рукописямъ, такъ какъ только этимъ и возможно объяснить нѣкоторыя мѣста его романа. Такъ, напримѣръ, въ романѣ встрѣчаются въ буквально точной передачѣ и цѣлыя разговоры и отдѣльныя фразы, заимствованные изъ ненапечатанныхъ еще въ то время записокъ и воспоминаній современниковъ. Очевидно, Толстой могъ пользоваться ими, лично или при чьемъ-либо посредствѣ, только по рукописи. Кромѣ того, Толстой собиралъ и изустныя свѣдѣнія, «бесѣдуя со многими людьми, у которыхъ были или личныя воспоминанія того времени, или были живы въ памяти разсказы современниковъ»<sup>6)</sup>. И опять таки подтвержденіе этого источника мы видимъ, напримѣръ, въ отмѣченномъ уже выше участіи Пьера въ сраженіи при Бородинѣ. Общая схема разсказа

<sup>1)</sup> Фетъ, тамъ же, II, 59.

<sup>2)</sup> 1863 — 1873.

<sup>3)</sup> Вопросу объ источникахъ романа будетъ посвящена слѣдующая статья.

<sup>4)</sup> П. Бирюковъ, «Л. Н. Толстой», біографія, ч. II, стран. 30.

<sup>5)</sup> «Русскій Архивъ», 1868 г., № 3, стран. 523.

<sup>6)</sup> П. Бирюковъ, «Л. Н. Толстой», ч. II, стран. 26.

о Пьеръ совершенно совпадаетъ съ разсказомъ о себѣ князя П. Вяземскаго: оба ополченные офицеры, оба ѣдутъ изъ Москвы въ армію незадолго до сраженія, оба наталкиваются въ Можайскѣ на множество раненыхъ, оба мирно засыпаютъ наканунѣ боя, обоихъ при началѣ канонады будить слуга, оба подвергаются опасности, но выходятъ изъ битвы невредимыми, оба теряютъ лошадь (правда, Вяземскій потерялъ двѣ, но это измѣненіе вполне понятно) и т. п. Генетическую связь между разсказами Толстого и Вяземскаго отрицать невозможно, но воспоминанія князя Вяземскаго появились въ печати уже послѣ выхода «Войны и мира», и даже были вызваны именно этимъ романомъ. Единственнымъ объясненіемъ и остается то, что Толстой раньше слышалъ этотъ разсказъ и воспользовался имъ.

Не лишнимъ будетъ упомянуть также и о томъ, что осенью 1865 года Толстой ѣздилъ на Бородинское поле, гдѣ и пробылъ два дня. Повидимому, онъ надѣялся найти тамъ еще стариковъ-очевидцевъ, но его поиски въ этомъ отношеніи были безуспѣшны; онъ только увезъ съ собою рядъ замѣтокъ и планъ сраженія, приложенный впослѣдствіи къ роману.

Наконецъ, въ 1865—1866 гг. въ «Русскомъ Вѣстникѣ»<sup>1)</sup> появились первыя главы будущаго романа, подъ заглавіемъ «1805 годъ», кончающіяся описаніемъ Шенграбенскаго боя. Но было бы ошибочно предположить, что, отдавши въ печать начало романа, Толстой уже тѣмъ самымъ закончилъ свою работу надъ нимъ. Наоборотъ, она продолжалась и въ старомъ направленіи — въ собираніи матеріала, вплоть до выхода въ свѣтъ «Войны и мира» въ полномъ объемѣ въ 1868—1869 гг., и въ новомъ — въ исправленіи и въ художественной отдѣлкѣ уже печатнаго текста. Эту новую работу Толстой продолжалъ до 1873 года, когда «Война и миръ» были включены въ 3-е полное собраніе его сочиненій. Впрочемъ, надо замѣтить, что нѣкоторые мелкія измѣненія и передѣлки текста сопровождали и болѣе позднія изданія «Войны и мира»<sup>2)</sup>.

Обработка текста прошла, въ общемъ, черезъ три главныхъ этапа: «1805 годъ» — «Война и миръ» въ изданіи 1868—1869 гг. — «Война и миръ» въ изданіи 1873 года. Идеологія романа, общій ходъ его развитія, основныя черты характеровъ его героевъ, взаимоотношенія послѣднихъ — все это не подверглось какимъ-либо существеннымъ передѣлкамъ. Но въ то же время отъ первоначальнаго текста не сохранилось почти ни одной страницы, въ которой не было бы что-нибудь измѣнено, пропущено или, изрѣдка, добавлено<sup>3)</sup>.

Прежде чѣмъ перейти къ обзору этихъ измѣненій и къ выясненію ихъ значенія, по отношенію ли къ самому роману или по отношенію къ творчеству Толстого, не лишнимъ будетъ отмѣтить, что слѣды первоначальнаго текста довольно ясно чувствуются и въ общеизвѣстной редакціи «Войны и мира». Если внима-

<sup>1)</sup> «Русскій Вѣстникъ» 1865 г., №№ 1, 2, 1866 г., №№ 2, 3, 4.

<sup>2)</sup> Изданіе 1873 г. интересно, между прочимъ, тѣмъ, что въ немъ выдѣлены въ приложеніи всѣ теоретическія разсужденія Толстого, какъ то: «Планъ кампаніи 12 года», «Какъ произошло Бородинское сраженіе» и т. п., занимающія около 200 страницъ. Въ другихъ изд. почти всѣ они находятся среди текста, въ связи съ ходомъ разсказа.

<sup>3)</sup> Отъ передѣлки почти уцѣлѣли только сцены, связанныя со старикомъ графомъ Безухимъ и съ деревенскою жизнью въ «Лысыхъ горахъ».



тельно, слово за слово, прочесть первые главы романа, то не трудно натолкнуться на целый ряд мелких несообразностей. Такъ, напримеръ, въ самомъ началѣ разговора князя Василія и Анны Павловны мы читаемъ: «Въ серединѣ разговора про политическія дѣйствія Анна Павловна разгорячилась. «Ахъ, не говорите мнѣ про Австрію»... и проч. Во-первыхъ, князь Василій и Анна Павловна едва успѣли къ этому времени обмѣняться привѣтствіями, и никакого политическаго разговора еще не было; во-вторыхъ, князь Василій ни слова не говорилъ про Австрію, такъ что горячность Анны Павловны мало понятна. Но первоначально былъ и «политическій разговоръ», была и шутка князя Василія относительно Австріи, такъ раздражившая его собесѣдницу. Оtmѣтимъ еще одинъ примѣръ. «Я конченый человѣкъ», сказалъ князь Андрей. «Что обо мнѣ говорить, давай говорить о тебѣ», сказалъ онъ (Пьеру), помолчавъ и улыбнувшись своимъ утѣшительнымъ мыслямъ». Между тѣмъ въ его словахъ, передъ этимъ сказанныхъ, не было ровно ничего утѣшительнаго, наоборотъ, очень много мрачнаго. Но первоначальный текстъ и въ этомъ случаѣ добавляетъ, что «по высоко и гордо поднятой красивой головѣ и яркому блеску взгляда видно было, какъ мало онъ вѣрилъ въ то, что говорилъ», что онъ говорилъ одно, а думалъ другое. Вѣроятно, Толстой, сокращая и передѣлывая текстъ, невольно помнилъ про себя смыслъ пропущеннаго отрывка, чѣмъ и можно объяснить рядъ такихъ мелкихъ шероховатостей и противорѣчій.

Что же касается до тѣхъ измѣненій, которыя внесъ Толстой первоначально въ «1805 годъ», а потомъ въ «Войну и миръ» 1868—1869 гг., то ихъ можно свести къ тремъ основнымъ группамъ: къ сокращеніямъ текста, къ передѣлкамъ его и къ новымъ вставкамъ, очень немногочисленнымъ. Первая группа выражается прежде всего въ уничтоженіи цѣлаго ряда довольно крупныхъ по своимъ размѣрамъ сценъ, какъ, напримеръ: приходъ Пьера на вечеръ къ А. П. Шереръ и его разговоръ съ ней («Р. В.» 1865, I, 59—60), вѣнчанье Бориса Друбецкого съ куклой («Р. В.» 1865, I, 117), волненіе Николая Ростова по поводу того, что онъ только что поцѣловалъ Соню («Р. В.» 1865, I, 118), ссора Николая Ростова съ Бергомъ («Р. В.» 1865, I, 152—155), нѣсколько сценъ, въ которыхъ фигурируетъ Долоховъ («Р. В.» 1866, II, 773, IV, 727), жизнь и общество князя Андрея Болконскаго въ арміи («Р. В.» 1866, II, 781), пляска солдата («Р. В.» 1866, IV, 697). Нѣкоторыя изъ выброшенныхъ сценокъ сами по себѣ очень недурны, но въ то же время совершенно понятно, почему Толстой ихъ уничтожилъ и долженъ былъ уничтожить. Однѣ изъ нихъ, несмотря на свою живость, являются въ романѣ все-таки излишними длиннотами; уничтоженіе другихъ стоитъ въ связи съ легкимъ измѣненіемъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ (объ этомъ ниже); третьи представляютъ собою отвлеченный, малообразный разговоръ, подрывающій живость разсказа.

Если сокращенія подобнаго рода можно считать десятками, то пропуски болѣе мелкихъ и ненужныхъ деталей, описаній, психологическихъ наблюденій и излюбленныхъ Толстымъ повтореній насчитываются цѣлыми сотнями, отчего романъ только выигрываетъ въ живости и художественной законченности. Вотъ нѣсколько примѣровъ такого излишняго балласта, который только затягиваетъ

чтеніе и понапрасну отвлекаетъ въ сторону вниманіе читателя: «Анатоль былъ красавецъ: высокій, полный, бѣлый, румяный; грудь у него была такъ высока, что голова откидывалась назадъ, что придавало ему гордый видъ. У него былъ прекрасный свѣжій ротъ, густые, русые волосы, на выкатѣ черные глаза и общее выраженіе силы, здоровья и добродушія свѣжей молодости. Но прекрасные глаза его съ чудесными, правильными черными бровями какъ-будто были сдѣланы не столько для того, чтобы смотрѣть, сколько для того, чтобы на нихъ смотрѣли. Они казались неспособными измѣнять выраженіе. Что онъ былъ пьянъ, это видно было только по его красному лицу, но еще болѣе по неестественно выпученной груди и по разинутости глазъ. Несмотря на то, что онъ былъ пьянъ и что верхняя часть его могущественнаго тѣла покрывалась только рубашкой, раскрытою на груди, — по легкому запаху духовъ и мыла, который сливался вокругъ него съ запахомъ выпитаго вина, по тщательно напomaженной утромъ прическѣ его волосъ, по изящной чистотѣ пухлыхъ рукъ и тончайшаго бѣлья, по этой бѣлизнѣ и гладкой нѣжности кожи — и въ теперешнемъ состояніи его былъ виденъ аристократъ, въ смыслѣ вошедшаго съ дѣтства въ привычку тщательнаго и роскошнаго ухода за своей особой» («Р. В.» 1865, I, 97—98). Вотъ еще описаніе брата Анатоля Ипполита: «Онъ сѣлъ въ самую глубину кресла противъ рассказчика, положилъ одну руку съ кольцомъ и гербовою печатью передъ собою на столъ, въ такомъ вытянутомъ положеніи, что ему стоило, видимо, большого труда удерживать ее въ такомъ положеніи; однако во все время разсказа онъ держалъ такъ руку. Другою рукою онъ держалъ лорнетъ въ ладони, и этою же рукою оправлялъ свою прическу *à la Titus* кверху, придававшую еще болѣе странное выраженіе его вытянутому лицу, и, какъ-будто вспомнивъ что-то, начиналъ смотрѣть на свою выставленную руку съ перстнями, потомъ на ноги виконта, потомъ весь оборачивался быстро и развинченно, какъ онъ и все дѣлалъ, и долго пристально смотрѣлъ на княгиню» («Р. В.» 1865, I, 64).

Если мы представимъ себѣ теперь, что подобнаго рода исчерпывающія описанія сопровождали раньше и Шереръ, и Долохова, и Бориса Друбецкого, и Николая Ростова, и т. д., то сразу станетъ до очевидности ясно, насколько правъ былъ Толстой, уничтожая безжалостно первоначальный текстъ. Кромѣ описаній подобнаго рода и разныхъ мелкихъ деталей особенно усердно Толстой вычеркивалъ повторенія, первоначально встрѣчавшіяся во множествѣ. Художественная критика уже давно и неоднократно отмѣчала, что Толстой любитъ какъ бы «привязываться» къ своимъ героямъ съ какою-нибудь одною характерною чертою, безпрестанно напоминая объ ней читателю. Такъ, княгиня Друбецкая является всегда съ «исплаканнымъ» лицомъ и говорить «дотрогиваясь до руки» собесѣдника; князь Андрей ходитъ «размѣреннымъ лѣнивымъ шагомъ»; его жена неразлучна съ «усиками на верхней поднявшейся губкѣ»; князь Василій «дергаетъ внизъ» руку собесѣдника, какъ бы для большей убѣдительности своей рѣчи, и т. п. Передѣлка текста ясно показываетъ, что, если это постоянное повтореніе одной и той же черты и было однимъ изъ свойственныхъ Толстому пріемовъ, онъ все-таки чувствовалъ въ этомъ извѣстный недостатокъ, особенно, въ такихъ размѣрахъ, какъ въ текстѣ «Русскаго Вѣстника», и старался отъ него избавиться.

Итакъ, по отношенію къ пропускамъ текста, мы видимъ, что Толстой уничтожалъ и цѣлыя сцены, и отдѣльные длинные разговоры, и описанія, и психологическія наблюденія, и мелкія подробности, и, особенно, повторенія. Для идейной стороны романа эти пропуски были безразличны, со стороны же художественной романъ только выигрывалъ, такъ какъ избавлялся отъ излишней растянутости и утомительности повтореній. Выброшенные сцены и разговоры не вносили ничего новаго въ характеристики дѣйствующихъ лицъ (за немногими исключеніями, о которыхъ — ниже), а психологическія тонкости, исходившія отъ лица автора, были не нужны, такъ какъ психологія героевъ достаточно опредѣлялась ихъ поступками и словами.

Не менѣе разнообразенъ и болѣе интересенъ слѣдующій отдѣлъ — измѣненій и передѣлокъ текста.

Съ чисто внѣшней стороны прежде всего слѣдуетъ отмѣтить замѣну русскимъ французскаго языка, на долю котораго («1805 годъ», «Война и миръ» 1868—1869 гг.) раньше приходилось около четверти діалога. Всѣ лица, принадлежащія въ романѣ къ высшимъ классамъ общества, первоначально и говорили преимущественно по-французски, хотя, по большей части, Толстой давалъ и русскій подстрочный переводъ. Этотъ переводъ и вошелъ впослѣдствіи на мѣсто французскаго разговора. На французскомъ же языкѣ раньше велась и переписка между княжной Марьей Болконской и Жюли Карагиной и княземъ Андреемъ Болконскимъ и Билибинымъ.

Затѣмъ Толстой уничтожилъ графическую передачу картавости Василія Денисова, не произносившаго звука *р*. Въ первыхъ текстахъ «Войны и мира» буква *р* во всѣхъ словахъ Денисова замѣняется *г* съ апострофомъ, что, конечно, затрудняетъ чтеніе и безъ нужды раздражаетъ читателя, такъ какъ текстъ принималъ такой видъ: «Эскад'ону пг'ойти нельзя... Что это? какъ баг'аны! точь въ точь баг'аны! пг'очь... дай дог'огу! Стой тамъ! ты, повозка, чог'тъ! Саблей изг'ублю!» и т. п. Эти обѣ передѣлки текста, конечно, несущественны, но мы упоминаемъ о нихъ потому, что онѣ свидѣлствуютъ о стремленіи Толстого избавиться отъ проявленій чисто внѣшняго реализма<sup>1)</sup>.

Что же касается до болѣе глубокаго внутренняго измѣненія текста, то оно преслѣдовало почти исключительно одну художественную цѣль и шло въ трехъ направленіяхъ: 1) въ обработкѣ языка, подчасъ довольно шероховатаго и нескладнаго, 2) въ большей опредѣленности, законченности и индивидуализаціи характеровъ и 3) въ стремленіи замѣнить отвлеченное повѣствованіе или разговоръ образной сценкой или новымъ лицомъ.

Вотъ нѣсколько примѣровъ обработки языка:

текстъ первоначальный.

текстъ исправленный.

«Нѣтъ, я вамъ впередъ говорю, если вы мнѣ не скажете, что у насъ война, если вы позволите себѣ защи-

«Нѣтъ, я васъ предупреждаю, если вы мнѣ не скажете, что у насъ *будетъ* война, если вы *еще* позволите себѣ

<sup>1)</sup> И французскій языкъ, и картавость Денисова восстановлены въ текстѣ двѣнадцатаго изданія сочиненій (М. 1911 г.).



шать всѣ гадости, всѣ ужасы этого Антихриста (право, я вѣрю, что онъ Антихристъ), я васъ больше не знаю, вы ужъ не другъ мой, вы ужъ *не рабъ мой вѣрный*, какъ вы говорите...»

«Какъ вы хотите, чтобъ я была здорова, когда нравственно страдаешь»..

«Я въ вашемъ семействѣ начну мое обученье ремеслу старой дѣвки»...

«Самая обольстительная женщина въ Петербургѣ»...

«Имъ встрѣтилась толпа раненыхъ, въ числѣ которыхъ были и нераненные»...

«Впереди онъ видѣлъ первый рядъ своихъ гусаръ, а еще дальше впереди виднѣлась ему темная полоса»...

«Полковой командиръ, въ ту самую минуту какъ онъ услышалъ стрѣльбу и крикъ сзади, понялъ, что случилось что-нибудь ужасное съ его полкомъ, и мысль, что онъ, примѣрный, *двадцатидухлѣтній*, ни въ чемъ невиноватый офицеръ»...

защищать всѣ гадости, всѣ ужасы этого антихриста (право, я вѣрю, что онъ антихристъ), я васъ больше не знаю, вы ужъ не другъ мой, вы ужъ *не мой вѣрный рабъ*, какъ вы говорите.

«Какъ можно быть здоровой, когда нравственно страдаешь»...

«Я въ вашемъ семействѣ начну обучаться ремеслу старой дѣвицы»...

«Самая обворожительная женщина въ Петербургѣ»...

«Имъ встрѣтилась толпа солдатъ, въ числѣ которыхъ были и нераненные»...

«Справа онъ видѣлъ первые ряды своихъ гусаръ, а еще дальше, впереди, виднѣлась ему темная полоса»...

«Полковой командиръ, въ ту самую минуту какъ онъ услышалъ стрѣльбу и крикъ сзади, понялъ, что случилось что-нибудь ужасное съ его полкомъ, и мысль, что онъ, примѣрный, *много лѣтъ служившій*, ни въ чемъ невиноватый офицеръ»...

По отношенію къ послѣднему примѣру надо замѣтить, что этотъ полковой командиръ изображенъ въ романѣ уже пожилымъ человѣкомъ; выраженіе же «двадцатидухлѣтній» какъ-то невольно хочется примѣнить не къ годамъ его службы, а именно къ его возрасту.

Что же касается до характеристикъ дѣйствующихъ лицъ романа, то почти всѣ онѣ, не теряя первоначального, основного тона, который данъ имъ еще «въ 1805 году», слегка измѣнены, и измѣнены къ лучшему. Это достигалось или пропускомъ нѣкоторыхъ сценъ, или ихъ передѣлкой, или вставкой новыхъ мѣстъ. Такъ, въ «1805 году» князь Василій является «съ свѣтлымъ выраженіемъ хитраго лица»; въ «Войнѣ и мирѣ» «хитрое лицо» замѣняется «плоскимъ лицомъ»; первый эпитетъ совершенно не подходитъ къ общему представленію о князѣ Василии и вносить разладъ, тогда какъ эпитетъ «плоскій» именно и выражаетъ его духовную сущность.

Перь въ «1805 году», особенно въ салонѣ у Шереръ, представленъ слишкомъ ужъ неуклюже-разсѣяннымъ и слишкомъ ужъ добродушно-глупымъ; онъ даже и сравнивается Толстымъ съ «мужицкимъ парнемъ». Вотъ какъ первоначально былъ изображенъ его приходъ на вечеръ къ Аннѣ Павловнѣ: «Вскорѣ послѣ маленькой княгини вошелъ толстый молодой человѣкъ съ стриженою головою, въ очкахъ, свѣтлыхъ панталонахъ по тогдашней модѣ, съ высокимъ жабо и въ коричневомъ

фракѣ. Этотъ-то толстый, молодой человѣкъ, несмотря на модный покррой платья, былъ неповоротливъ, неуклюжъ, какъ бываютъ неловки и неуклюжи здоровые мужицкіе парни. Но онъ былъ незастѣнчивъ и рѣшителенъ въ движеніяхъ. На минуту остановился онъ посрединѣ гостиной, не находя хозяйки и кланяясь всѣмъ, кромѣ нея, несмотря на знаки, которые она ему дѣлала. Принявъ старую тетушку за самую Анну Павловну, онъ сѣлъ возлѣ нея и сталъ говорить съ ней; но узнавъ, наконецъ, по удивленному лицу тетушки, что этого не слѣдуетъ дѣлать, всталъ и сказалъ: «pardon, mademoiselle, j'ai cru que ce n'était pas vous». Даже безстрастная тетушка покраснѣла при этихъ бессмысленныхъ словахъ и съ отчаяннымъ видомъ замахала своей племянницѣ, приглашая ее къ себѣ на помощь. Занятая до сихъ поръ другимъ гостемъ, Анна Павловна подошла къ ней... («Р. В». 1865, I, 59) и т. д. Въ «Войнѣ и мирѣ» Пьеръ хоть и сохраняетъ многія комическія черты своего характера, но уже безъ такихъ очевидныхъ преувеличеній.

Князь Андрей первоначально былъ изображенъ очень односторонне, исключительно самолюбиво-раздражительнымъ, брезгливымъ и помѣшавшимся на *compte il faut* человѣкомъ. Временами онъ какъ бы сливался съ фигурой остряка Билибина и говорилъ такіа слова и въ такомъ тонѣ, которые свойственны именно послѣднему; напримѣръ: «Eh bien! сказалъ самъ себѣ князь Андрей, le православное воинство n'est pas déjà tellement mauvais. Il n'a pas trop mauvaise mine... Mais du tout, du tout...» («Р. В». 1866, IV, 199). Въ «Войнѣ и мирѣ» эти двѣ фигуры уже рѣзко отграничены одна отъ другой. Помимо цѣлаго ряда пропусковъ, характерныхъ для измѣненія личности Болконскаго (они слишкомъ длинны, чтобы приводить ихъ тутъ), отмѣтимъ только слѣдующую небольшую передѣлку текста:

«1805 годъ».

«И ежели, ваше сіятельство, позволите мнѣ высказать свое мнѣніе», продолжалъ онъ, «то успѣхомъ дня мы обязаны болѣе всего дѣйствию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина съ его ротой», сказалъ князь Андрей, *небрежнымъ и презрительнымъ жестомъ указывая на капитана...* Багратіонъ... сказалъ Тушину, что онъ можетъ итти».

«Война и миръ».

«И ежели, ваше сіятельство, позволите мнѣ высказать свое мнѣніе», продолжалъ онъ, то успѣхомъ дня мы обязаны болѣе всего дѣйствию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина съ его ротой», сказалъ князь Андрей *и, не ожидая отвѣта, тотчасъ же всталъ и отошелъ отъ стола.* Князь Багратіонъ... сказалъ Тушину, что онъ можетъ итти. *Князь Андрей вышелъ за нимъ. «Вотъ спасибо, выручилъ, голубчикъ!», сказалъ ему Тушинъ...*

Какъ сильно мѣняетъ личность Болконскаго уже только одно уничтоженіе «небрежнаго и презрительнаго жеста» по отношенію къ капитану Тушину.

Николай Ростовъ и Борисъ Друбецкой такъ же слегка видоизмѣнились; раньше первый былъ не по лѣтамъ наивенъ, а второй не по лѣтамъ хитеръ и сдержанъ. Особенно любопытенъ въ этомъ отношеніи пропущенный разговоръ

между ними о томъ, какъ Николай поцѣловалъ Соню и что изъ этого слѣдуетъ («Р. В.». 1865, I, 118).

Рядъ такихъ же, не слишкомъ крупныхъ, но важныхъ въ художественномъ отношеніи измѣненій сопровождалъ и другихъ героев романа: Шереръ, Долохова, Ахросимову, Жюли (которая раньше была дочерью Ахросимовой) и болѣе мелкихъ дѣйствующихъ лицъ «Войны и мира».

Наконецъ, надо указать на существованіе такихъ передѣлокъ, которыя свидѣлствуютъ о стремленіи Толстого избѣжать, гдѣ это представлялось возможнымъ, отвлеченнаго повѣствованія и передать смыслъ его какою-нибудь коротенькой, но живою образною сценою. Такъ, въ «1805 году» («Р. В.», 1865, I, 87—88) князь Андрей скучно и блѣдно рассказываетъ Пьеру о проектѣ всеобщаго мира, основаннаго на принципѣ политическаго равновѣсія. Въ «Войнѣ и мирѣ», вмѣсто этого безжизненнаго разсказа, появляется новое лицо — аббатъ Моріо, и прсектъ мира раскрывается передъ читателемъ уже въ оживленномъ діалогѣ между Пьеромъ и этимъ аббатомъ. Въ связи съ таксю тенденціей стоитъ, несомнѣнно, и сокращеніе текста, особенно, когда дѣло идетъ о какомъ-нибудь разсказѣ или разговорѣ, хотя и интересномъ, но длинномъ или однообразномъ.

Что же касается до новыхъ вставокъ, дополненій, не находящихъ себѣ никакого соотвѣтствія въ первоначальномъ текстѣ, то ихъ очень немного, онѣ въ сравненіи съ пропусками очень коротки и служатъ всегда или для приданія разсказу большей живости и разнообразія (напр., медвѣдь на квартирѣ у Курагина), или для того, чтобы отчетливѣе представить характеръ извѣстнаго лица или отношеніе его къ другимъ.

Такова была, въ общихъ чертахъ, работа Толстого надъ исправленіемъ уже печатнаго текста своего романа. Работа эта, мелкая, кропотливая и утомительная, не столько творческая, сколько редакторская или даже корректорская, преслѣдовала не измѣненіе общей концепціи романа и его идеологии, а была направлена къ его художественному совершенству, законченности и выразительности. Въ этомъ отношеніи мы видимъ, что Толстой уничтожаетъ черты внѣшняго реализма, замѣняетъ отвлеченную растянутость живыми сценами, сокращаетъ излишнія длинноты, опускаетъ мелкія повторенія въ характеристикѣ лицъ, даетъ болѣе яркую индивидуализацію и законченность въ обрисовкѣ характеровъ, дѣлаетъ нѣкоторыя добавленія, необходимыя для большаго пониманія разсказа и взаимоотношеній его героев и обрабатываетъ слогъ.

Весьма вѣроятно, что эта работа Толстого надъ исправленіемъ текста, помимо личныхъ художественныхъ соображеній, была обусловлена въ извѣстной степени и различными отзывами о романѣ литературныхъ знакомыхъ и пріятелей писателя. И отъ того времени, когда «1805 годъ» печатался въ «Русскомъ Вѣстникѣ», и позже, когда «Война и миръ» выходили отдѣльными частями въ 1868—1869 г., Толстому могъ быть извѣстенъ цѣлый рядъ замѣчаній по поводу его произведенія. Въ цѣломъ — романъ вызывалъ всеобщее одобреніе, но въ частностяхъ — отмѣчалось довольно много мелкихъ несовершенствъ и недостатковъ. Такъ, Фетъ находилъ фигуру князя Андрея однообразной и скучной, Боткинъ указывалъ на излишество французскаго языка и множество ненужныхъ деталей, Тургеневъ



порицалъ «разсудительство» и «quasi-тонкія рефлексіи и размышленія» и т. п.<sup>1)</sup>. Дружининъ, еще задолго до «Войны и мира», обращалъ вниманіе Толстого на дѣйствительно присущій послѣднему слѣдующій недостатокъ: «Есть у васъ по-ползновеніе къ чрезмѣрной тонкости анализа, которое можетъ разростись въ большой недостатокъ. Иногда вы готовы сказать: «у такого-то ляшка показывала, что онъ желаетъ путешествовать по Индіи». Обуздать эту наклонность вы должны»<sup>2)</sup>).

Такое совпаденіе между критическими замѣчаніями и исправленіемъ текста романа вполне допускаетъ возможность вліянія первыхъ на работу Толстого.

Кромѣ работы по собиранію матеріаловъ, группировкѣ и обработкѣ ихъ и кромѣ художественной отдѣлки уже напечатаннаго текста, не лишнимъ будетъ остановиться еще на отвлеченно-философскомъ процессѣ мысли и рядѣ субъективныхъ переживаній и настроеній писателя, которые сопровождали созданіе «Войны и мира». Все это, съ одной стороны, освѣщаетъ рядъ недомолвокъ и противорѣчій, которыя наблюдаются въ романѣ, а съ другой, и уже при помощи текста самого романа, даетъ новыя детали въ изученіи духовной жизни Толстого за это время.

Мы уже упоминали, что отъ «декабристовъ» Толстой перешелъ къ выясненію той почвы, на которой они выросли. Но во время работы надъ этимъ Толстой былъ увлеченъ въ сторону новыми вопросами — о философіи исторіи вообще и о значеніи отдѣльной личности въ ходѣ историческаго процесса въ частности. Рѣшеніе, которое далъ Толстой этимъ вопросамъ, поставило его въ полное противорѣчіе съ первоначальною мыслью романа. Если отдѣльная личность не имѣетъ въ исторіи никакого значенія, то и декабристы должны быть представлены въ видѣ случайнаго и бессмысленнаго факта русской жизни. Поэтому отъ нихъ въ «Войнѣ и мирѣ» и не осталось ничего, кромѣ эпилога, который совсѣмъ не вяжется съ общими данными и настроеніемъ разсказа. И это потому, что эпилогъ стоитъ въ связи не съ «Войной и миромъ», а только съ тѣми мыслями Толстого, при которыхъ былъ начатъ романъ.

Въ самомъ дѣлѣ, читатель недоумѣваетъ, откуда же взялись такія рѣзко-отрицательныя черты общественной жизни Россіи, о которыхъ говоритъ Пьеръ: «Ну, и все гибнетъ. Въ судахъ воровство, въ арміи одна палка, шагистика, поселенія; мучать народъ; просвѣщеніе душатъ. Что молодо, честно, то губятъ. Всѣ видятъ, что это не можетъ такъ итти» и пр. Предшествующее чтеніе романа совершенно не подготовляетъ ни къ этой характеристикѣ Россіи, ни къ образу мыслей Пьера и его единомышленниковъ.

Правда, Толстой самъ замѣтилъ, что онъ не имѣлъ въ виду изображать отрицательныя стороны русской жизни: «Характеръ времени, какъ мнѣ выражали нѣкоторые читатели при появленіи въ печати первой части, не достаточно опредѣленъ. На этотъ упрекъ я имѣю возразить слѣдующее. Я знаю, въ чемъ состоитъ тотъ характеръ времени, котораго не находятъ въ моемъ романѣ — это ужасы крѣпостнаго права, закладыванье женъ въ стѣны, сѣченье взрослыхъ сыновей, Сал-

<sup>1)</sup> Мы отмѣчаемъ только такіе критическіе отзывы, которые совпадаютъ съ характеромъ работы, произведенной Толстымъ, по исправленію текста его романа.

<sup>2)</sup> П. Бирюковъ, «Л. Н. Толстой», т. I, стран. 285.

тычиха и т. п.; и этотъ характеръ, который живетъ въ нашемъ представленіи, я не считаю вѣрнымъ и не желалъ выразить. Изучая письма, дневники, преданія, я не находилъ всѣхъ ужасовъ этого буйства въ болѣе степені, чѣмъ нахожу ихъ теперь или когда-либо»<sup>1)</sup>... Дѣло не въ томъ правъ или неправъ Толстой въ своемъ взглядѣ; дѣло въ томъ, что, не говоря о тѣневыхъ сторонахъ русской жизни первой четверти XIX вѣка, онъ этимъ уничтожалъ логическую неизбѣжность появленія декабристовъ, ихъ *raison d'être*, а вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожалъ смыслъ и своего эпилога.

Съ другой стороны, отрицая значеніе въ исторіи отдѣльной личности, Толстой сознательно опустилъ въ своемъ романѣ идейную жизнь русскаго общества, его литературные, философскіе и политическіе интересы. Въ «Войнѣ и мирѣ» нѣтъ «интеллигенціи» того времени. Андрей Болконскій и Пьеръ Безухій не могутъ считаться ея представителями, такъ какъ они слишкомъ полны субъективными мыслями и настроеніями писателя, а затѣмъ они являются скорѣе вѣчными типами челоѣчества, чѣмъ людьми опредѣленной, ярко выраженной эпохи. Толстой также сознательно упростилъ фигуру Василя Денисова (Дениса Давыдова); если бы Толстой рассказалъ (что онъ отлично зналъ), что Денисовъ занимался литературой, интересовался отвлеченными вопросами, что въ 1804 году онъ былъ переведенъ изъ гвардіи въ армейскій гусарскій полкъ за двѣ басни довольно рискованнаго содержанія<sup>2)</sup>, тогда бы и настроеніе генерала Денисова въ эпилогѣ романа было бы болѣе понятно.

Но все это, необходимое для пониманія декабристовъ и для пониманія эпилога, который является какъ бы случайнымъ отзвукомъ прежнихъ мыслей Толстого, стало излишнимъ для «Войны и мира» при той философіи исторіи, которая въ немъ господствуетъ.

Затѣмъ необходимо упомянуть и о томъ, что нѣкоторыя тенденціи романа росли по мѣрѣ его созданія, чѣмъ и объясняются кое-какія противорѣчія въ описовкѣ дѣйствующихъ лицъ и въ отношеніи къ нимъ писателя (напр. Наполеонъ, Багратіонъ). Величіе «героевъ» разоблачается рѣшительнѣе, значеніе личности уничтожается послѣдовательнѣе и ярче становится протестъ противъ безсмысленности войны и ея ужасовъ.

Но если всѣ эти факты свидѣтельствуютъ о логически послѣдовательномъ развитіи взглядовъ Толстого, отражавшихся въ его романѣ, то, съ другой стороны, мы видимъ въ «Войнѣ и мирѣ» то отзвуки чисто случайныхъ временныхъ настроеній писателя, то смутныхъ, но несомнѣнныхъ намековъ на то, что особенно сильно проявится въ немъ впослѣдствіи. Разговоръ Андрея Болконскаго съ Пьеромъ о женитьбѣ въ началѣ романа — это мимолетный отзвукъ временнаго настроенія Толстого; но мысли князя Андрея передъ Аустерлицемъ, когда тайный голосъ спрашиваетъ его, что онъ будетъ дѣлать «потомъ», когда добьется извѣстности и славы, но «опрошеніе» Пьера и его уроки житейской мудрости у Платона Каратаева — все это уже довольно ясно позволяетъ предчувствовать будущій періодъ духовной жизни самого Толстого.

<sup>1)</sup> «Русскій Архивъ», 1868, № 3, стран. 516.

<sup>2)</sup> «Голова и ноги» и «Рѣка и зеркало».

Правда, эти факты, несмотря на всю их субъективность, стоятъ въ связи съ личностью героевъ романа и не противорѣчаютъ ихъ характеристикамъ. Но вотъ любопытный примѣръ совершенно иного рода:

Наташа Ростова ѣдетъ въ театръ, и все то, что происходило на сценѣ, Толстой рассказываетъ, пропуская сквозь призму ея психологии. Описаніе это слишкомъ длинно, чтобы привести его здѣсь цѣликомъ, и мы отмѣтимъ только маленький отрывокъ, который до нѣкоторой степени можетъ дать понятіе о тонѣ всего разсказа: «она видѣла только крашенные картоны и странно наряженныхъ мужчинъ и женщинъ, при яркомъ свѣтѣ странно двигавшихся, говорившихъ и пѣвшихъ; она знала, что все это должно представлять, но все это было такъ вычурно-фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совѣстно за актеровъ, то смѣшно за нихъ»...

Какъ объяснить эту суровую и несправедливую критику театра? Она фальшива съ исторической точки зрѣнія, такъ какъ въ то время общество увлекалось театромъ страстно, и Александровская эпоха была для него счастливѣйшимъ временемъ его исторіи. Она фальшива съ художественно-психологической точки зрѣнія, такъ какъ противорѣчитъ нашему представленію о Наташѣ, и особенно послѣ описанія ея чувствъ при первомъ выѣздѣ на балъ. Наконецъ, эта критика не нужна для романа, такъ какъ она ничѣмъ не связана съ его идеологіей. Объясненіе такому взгляду на театръ можно найти только въ статьѣ Толстого «Что такое искусство», появившейся лишь въ концѣ 90-хъ годовъ. Статья эта въ свое время произвела много шума, между тѣмъ какъ мысли ея, иногда дословно совпадающія, находятся уже въ «Войнѣ и мирѣ», хотя между ними тридцатилѣтній промежутокъ.

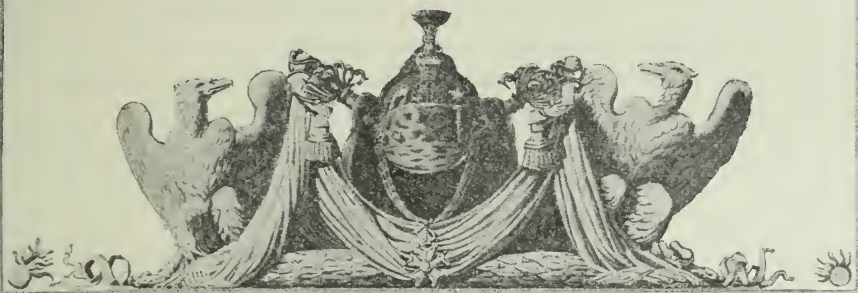
Этотъ примѣръ особенно ясно говоритъ о томъ, какая сложная и разнообразная, постоянно развивающаяся работа мысли сопровождала созданіе «Войны и мира». Романъ во многихъ мѣстахъ своихъ можетъ быть непонятенъ безъ отчетливаго представленія о духовной личности его автора, но и романъ, въ свою очередь, во многомъ дополняетъ нравственный обликъ Толстого. «Война и миръ», являясь художественною картиною русскаго общества начала XIX вѣка, есть въ то же время и живая иллюстрація къ исторіи личности самого писателя. Несмотря на кажущійся спокойный, эпическій тонъ повѣствованія, «Война и миръ» не могутъ быть и сравниваемы съ такими выдержанными и цѣльными по настроенію вещами, какъ «Капитанская дочка» или «Дубровский» Пушкина. Романъ Толстого всего удобнѣе сравнить съ «Фаустомъ» Гете и по многолѣтней работѣ, и по субъективной страстности, и по ряду противорѣчій, объясняемыхъ только длительностью созданія и духовною жизнью писателя.

*К. Покровскій.*





## ИСТОЧНИКИ РОМАНА „ВОЙНА И МИРЪ“.



Жизненность и реализм рассказа, множество мелких исторических подробностей, которые трудно было бы выдумать, наконец, самые размеры «Войны и мира» (около 2000 страниц), все это уже теоретически заставляет предположить, что роман не мог быть плодом только одной творческой фантазии писателя. Вѣдь даже Загоскинъ, не только современникъ, но и активный участникъ событій 12-го года, принужденъ былъ собирать матеріалы для своего «Рославлева» и обращаться съ просьбами къ разнымъ лицамъ о доставленіи ему необходимыхъ историко-бытовыхъ свѣдѣній. Но если черновой подготовительный матеріалъ оказывался нужнымъ для «Рославлева или русскихъ въ 1812 году», романа сравнительно небольшого, принадлежавшаго къ условной литературной школѣ, которая для каждого давала уже готовыми и тонъ повѣствованія и цѣлый рядъ трафаретныхъ героевъ, тѣмъ болѣе естественно допустить существованіе источниковъ для такого своеобразнаго романа, какъ «Война и миръ», отдѣленнаго къ тому же болѣе чѣмъ полустолѣтіемъ отъ описываемой въ немъ эпохи.

И дѣйствительно, источники были. Что же они представляли собою? Въ общемъ ихъ можно раздѣлить на двѣ основныхъ группы. Къ первой принадлежать самыя разнообразныя семейныя преданія и рассказы и личныя воспоминанія Толстого, относящіяся къ порѣ его дѣтства и отрочества. Это отраженіе въ романѣ Толстовской «семейной хроники» уже давно и неоднократно отмѣчалось литературной критикой. По наиболѣе полной и наиболѣе тщательно обработанной біографіи Толстого, принадлежащей П. Бирюкову, можно безъ труда установить цѣлый рядъ фактовъ подобнаго рода, если читать эту біографію и сличать ея данныя съ данными «Войны и мира». Такая задача въ значительной степени упрощается и тѣмъ, что въ біографіи этой приводится очень много «личныхъ автобіографическихъ замѣтокъ» писателя, специально для нея написанныхъ. Такъ, графъ Илья Ростовъ «Войны и мира» — это графъ Илья Андреевичъ Толстой, дѣдъ

Л. Н. Толстого. «Дѣдъ мой», какъ говорить самъ писатель, «былъ человѣкъ ограниченный, очень мягкій, веселый и не только щедрый, но и безтолково-мотоватый, а главное, довѣрчивый. Въ имѣніи его, Бѣлевскаго уѣзда, Полянахъ, — не въ Ясной Полянѣ, но Полянахъ, шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обѣды, катанія, которые, въ особенности при склонности дѣда играть по большой въ ломберъ и вистъ, не умѣя играть, и при готовности давать всѣмъ, кто просилъ займы и безъ отдачи, а главное, затѣваемыми аферами, откупамъ, кончилось тѣмъ, что большое имѣніе его жены все было такъ запутано въ долгахъ, что жить было нечѣмъ»<sup>1)</sup>... Въ графинѣ Ростовой изображена бабка Толстого, Пелагея Николаевна. «Она была недалекая, малообразованная, — она, какъ и всѣ тогда, знала по-французски лучше, чѣмъ по-русски (и этимъ ограничивалось ея образованіе), и очень избалованная, сначала отцомъ, потомъ мужемъ, а потомъ при мнѣ уже сыномъ, женщина... Съ людьми, съ прислугой она не могла быть требовательна, потому что всѣ знали, что она первое лицо въ домѣ и старались угождать ей, но со своей горничной Гашей она отдавалась своимъ капризамъ и мучила ее, называя: «вы, моя милая»... Смерть сына совсѣмъ убила бабушку; она все плакала, всегда по вечерамъ велѣла отворять дверь въ сосѣднюю комнату и говорила, что видитъ тамъ сына и разговариваетъ съ нимъ. А иногда спрашивала съ ужасомъ дочерей: «Неужели, неужели это правда, и его нѣтъ?» Она умерла черезъ девять мѣсяцевъ отъ тоски и горя»<sup>2)</sup>...

Изъ этихъ автобіографическихъ отрывковъ Толстого видно, что въ романѣ даны не только общіе контуры фамиліальныхъ портретовъ, но и ихъ мелкія характерныя черты. Такъ, въ «Войнѣ и мирѣ» мы читаемъ:

«Что вы, милая», сказала она сердито дѣвушкѣ, которая заставила себя ждать нѣсколько минутъ, «не хотите служить, что ли? Такъ я вамъ найду мѣсто».

Графиня была разстроена горемъ и унизительною бѣдностью своей подруги и потому была не въ духѣ, что выражалось у нея всегда наименованіемъ горничной: «милая» и «вы»...

Или слѣдующее изображеніе нравственнаго состоянія графини, узнавшей о смерти Пети:

«Кровать скрипнула, Наташа открыла глаза. Графиня сидѣла на кровати и тихо говорила:

«Какъ я рада, что ты пріѣхалъ. Ты усталъ, хочешь чаю?» Наташа подошла къ ней. «Ты похорошѣлъ и возмужалъ», продолжала графиня, взявъ дочь за руку.

«Маменька, что вы говорите!»

«Наташа, его нѣтъ, нѣтъ больше»... И, обнявъ дочь, въ первый разъ графиня начала плакать»...

Такой же характеръ семейныхъ портретовъ имѣетъ и рядъ другихъ лицъ, изображенныхъ въ «Войнѣ и мирѣ». Генераль-аншефъ Болконскій — князь Николай Сергѣевичъ Волконскій, дѣдъ Толстого по матери; княжна Марья — мать Толстого; графъ Николай Ростовъ — отецъ его; Соня — Татьяна Александровна

<sup>1)</sup> П. Бирюковъ, «Л. Н. Толстой», т. I, стран. 28—29.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стран. 28, 29, 93.

Ергольская, тетка; m-lle Бурьеннъ — m-lle Энисьеннъ; Долоховъ — Оедоръ Толстой, двоюродный дядя Толстого, извѣстный подъ прозвищемъ «американца». Впрочемъ, по отношенію къ Долохову надо замѣтить, что это фигура сложная, слитая изъ двухъ лицъ: Оедора Толстого и партизана Фигнера.

Отношеніе Толстого къ области этихъ семейныхъ разсказовъ и воспоминаній было, въ общемъ, довольно свободное. Тамъ, гдѣ это требовалось ходомъ разсказа, онъ охотно видоизмѣнялъ не только фактическія данныя (напримѣръ: Николай Ростовъ поступилъ на военную службу не въ 1805 году, а въ 1812; Илья Ростовъ умеръ въ дѣйствительности позже; графиня Ростова была убита не смертью несуществовавшего Пети, а смертью Николая, отца Толстого, и т. п.), но и нравственный обликъ своихъ родныхъ. Такъ, Николай Ростовъ изображенъ въ «Войнѣ и мирѣ» нѣсколько болѣе грубоватымъ и одностороннимъ, чѣмъ это было на самомъ дѣлѣ; княжна Марья — болѣе сентиментальной, меланхоличной и религіозной; романтической влюбленности между ними, повидимому, совсѣмъ не существовало. «Бракъ ея съ моимъ отцомъ», говоритъ Толстой, «былъ устроенъ родными ея и моего отца... Думаю, что мать любила моего отца, но больше, какъ мужа, а главное, какъ отца своихъ дѣтей, но не была влюблена въ него»<sup>1)</sup>.

Иногда Толстой при изображеніи одного лица примѣшивалъ къ нему черты другого. Такъ, несомнѣнно, на изображеніи княжны Марьи Болконской отразился духовный обликъ Александры Ильиничны Остенъ-Сакенъ, тетки Толстого по отцу. Вотъ какъ характеризуетъ послѣднюю самъ Толстой: «тетушка эта была истинно-религіозная женщина. Любимыя ея занятія были чтенія житій святыхъ, бесѣда съ странниками, юродивыми, монахами, монашенками, изъ которыхъ нѣкоторыя всегда жили въ нашемъ домѣ, а нѣкоторыя только посѣщали тетушку. Въ числѣ почти постоянно жившихъ у насъ была монахиня Марія Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая въ молодости странствовать подъ видомъ юродиваго Иванушки»<sup>2)</sup>... Какъ можно видѣть изъ чтенія «Войны и мира», эта характеристика, до мельчайшихъ подробностей, до Иванушки включительно, перенесена на Марью Болконскую.

Но, несмотря на измѣненія подобнаго рода, «чтеніе романа», какъ вполне справедливо замѣчаетъ П. Бирюковъ, «можетъ дополнить свѣдѣнія о бытѣ и характерѣ предковъ и родителей Льва Николаевича»<sup>3)</sup>. Тѣмъ болѣе, что Толстой заимствовалъ изъ семейной хроники не только одни лица, но и множество мелкихъ сценокъ, отдѣльныхъ образовъ и описаній, напримѣръ: Лысыя горы съ ихъ «перспектомъ» «генеологическое древо» Болконскихъ, «образокъ», которымъ княжна Марья напутствуетъ уѣзжающаго на войну Андрея Болконскаго, дневникъ поведенія дѣтей, который вела та же княжна Марья, поѣздка ряженныхъ на святкахъ и т. п. Даже «движенія морщинъ» на лицѣ у Билибина списаны съ «моего (говоритъ Толстой) крестнаго отца С. И. Языкова, замѣчательно безобразнаго, пропахшаго

<sup>1)</sup> П. Бирюковъ, «Л. Н. Толстой», т. I, стран. 46.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стран. 98.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стран. 57.



курительнымъ табакомъ, съ лишней кожей на большомъ лицѣ, которую онъ пердегивалъ въ самыя странныя безпрестанныя гримасы<sup>1)</sup>).

Ко второй группѣ источниковъ «Войны и мира» принадлежатъ различныя книги: историческія изслѣдованія, мемуары, дневники и т. п.; наконецъ, рукописи и устные рассказы<sup>2)</sup>. Существованіе источниковъ подобнаго рода отмѣчаетъ и самъ Толстой. Такъ, въ «Войнѣ и мирѣ» онъ не разъ упоминаетъ имя Тьера; въ статьѣ «Нѣсколько словъ по поводу романа «Война и миръ» къ Тьеру присоединяется Михайловскій-Данилевскій; тамъ же мы находимъ указаніе, что у писателя за время работы надъ «Войной и миромъ» образовалась цѣлая бібліотека книгъ и выписокъ, и что историческія лица говорятъ не выдуманныя авторомъ, но подлинныя слова. Все это подтверждается, наконецъ, біографическими данными, т.-е., поѣздками Толстого въ Москву для занятій въ Румянцовскомъ музеѣ.

Художественная и историческая критика пока еще почти совершенно не касалась вопроса о томъ, какими книгами и какъ пользовался Толстой во время созданія своего романа. Въ сущности, самое цѣнное по этому поводу было высказано покойнымъ А. И. Кирпичниковымъ въ его статьѣ: «Московское общество въ изображеніи Грибоѣдова и графа Л. Толстого»<sup>3)</sup>. «Л. Толстой», говоритъ Кирпичниковъ, «писалъ «Войну и миръ» пять лѣтъ, а сколько лѣтъ онъ готовился и собиралъ матеріалы, я не знаю; но могу удостовѣрить, что всякій, кто хоть нѣсколько знакомъ съ литературой мемуаровъ того времени и хоть поверхностно слѣдитъ за русскими историческими журналами, постоянно наталкивается на факты, то крупныя, то мелкія, утилизованныя Л. Толстымъ или по преданію или по документамъ». Въ примѣчаніи къ статьѣ Кирпичниковъ отмѣчаетъ нѣсколько фактовъ подобнаго рода. Эти слова Кирпичникова и представляютъ собою до сихъ поръ наиболѣе полную и широкую постановку вопроса объ источникахъ «Войны и мира».

Мы сдѣлали попытку хоть нѣсколько разобраться въ печатныхъ источникахъ «Войны и мира» и по мѣрѣ возможности выяснить, какъ использовалъ ихъ Толстой въ своемъ романѣ. Ниже будутъ отмѣчены (съ указаніемъ на то, что заимствовано Толстымъ) тѣ произведенія, которыя, несомнѣнно, были подъ руками у писателя, но предварительно необходимо сдѣлать нѣсколько замѣчаній: 1) нами изучены только нѣкоторыя части романа, такъ что не можетъ быть и рѣчи о полнотѣ привлеченнаго матеріала; 2) отмѣчаются только тѣ произведенія, которыя непосредственно отразились на романѣ; 3) оставлены безъ вниманія такія произведенія, которыя хоть и стоятъ въ связи съ романомъ, но изданы уже послѣ его выхода въ свѣтъ; 4) въ виду ограниченныхъ размѣровъ статьи перечисляются далеко не всѣ изъ извѣстныхъ намъ источниковъ; 5) при новизнѣ темы и подавляющемъ обиліи матеріала не только возможны, но и неизбѣжны неточности и ошибки.

<sup>1)</sup> П. Бирюковъ, «Л. Н. Толстой», т. I, стран. 76.

<sup>2)</sup> Можно и должно признать фактъ пользованія Толстымъ рукописнымъ и словеснымъ матеріаломъ; но, пока еще не изучены детально печатные источники, преждевременно устанавливать характеръ и размѣры его.

<sup>3)</sup> «Историческій Вѣстникъ», 1895 г., № 6, стран. 723.

Изъ иностранныхъ писателей, которыми пользовался Толстой, можно отмѣтить:

*Thiers*, «*Histoire du consulat et de l'empire*». Одинъ изъ самыхъ обильныхъ источниковъ «Войны и мира». Заимствовано: темы разговоровъ въ салонѣ А. П. Шереръ: Генуя и Лукка, Винценгероде, коронація Наполеона въ Миланѣ, проектъ европейскаго мира аббата Моріо (въ дѣйствительности Піатоли). Кампанія 1805 г.: аббатство (при переходѣ черезъ Энсъ); взятіе французами Таборскаго моста; попытка Мюрата обмануть Кутузова; гнѣвъ Наполеона и письмо его къ Мюрату; вообще — множество подробностей, сопровождавшихъ Шенграбенъ и Аустерлицъ. Кампанія 1812 года: отъѣздъ Наполеона изъ Дрездена; толки о войнѣ во французской арміи; переправа черезъ Нѣманъ; отчасти характеристики Даву и Мюрата; обстановка у Даву при приѣмѣ Балашова; свита Александра I; Паулучи и Фуль; отъѣздъ Александра изъ арміи; Наполеонъ и Лаврушка; канунъ Бородинскаго боя во французской арміи; разговоры Наполеона съ его генералами; впечатлѣніе, произведенное на Наполеона Бородинскимъ сраженіемъ; французская армія передъ Москвой; вороны и галки, спугнутыя шумомъ при вступленіи французовъ въ Москву; выступленіе французовъ изъ Москвы; совѣтъ Мутона объ отступленіи по Можайской дорогѣ; значеніе Смоленска для отступающей французской арміи; бѣгство Нея отъ Краснаго къ Оршѣ.

*Rapp*, «*Mémoires*». Заимствовано: слова и внѣшность Мака, взятіе Таборскаго моста; канунъ бородинскаго сраженія и разговоръ Наполеона съ Раппомъ; рядъ другихъ фразъ Наполеона; «le hurra de l'empereur»; значеніе Смоленска.

*Chambray*, «*Histoire de l'expédition en Russie*». Заимствовано: Наполеонъ при Бородинѣ; его нерѣшительность и апатія; Клапаредъ и Фріанъ; видъ Бородина послѣ битвы; значеніе Москвы для усталой французской арміи.

*Ségur*, «*Histoire de Napoléon et de la grande armée*». Заимствовано: переправа польскихъ кавалеристовъ черезъ Вилію; фамиллярность Наполеона съ солдатами; Наполеонъ передъ сраженіемъ при Бородинѣ; приѣздъ Фавье; генералъ Бельяръ; впечатлѣніе, произведенное на Наполеона Бородинскимъ боемъ; Наполеонъ передъ Москвой.

*De-Beausset*, «*Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du Palais*»... Заимствованъ рассказъ о портретѣ сына Наполеона, который привезъ де-Боссе.

Кромѣ того, нѣсколько мелкихъ деталей и фразъ заимствовано изъ «*Rélation complète de la campagne de Russie*», Labaume и «*Examen critique de l'ouvrage de M. le comte de Ségur*», Gourgaud.

Изъ русскихъ писателей можно указать:

Михайловскій-Данилевскій, «*Описаніе первой войны императора Александра съ Наполеономъ въ 1805 году*». Заимствовано: Макъ; сожженіе моста при Энсѣ; Ламбахъ, Амштетенъ, Мелькъ, Кремсъ; донесеніе лазутчиковъ о переходѣ Наполеона черезъ Дунай; прощаніе Кутузова съ Багратіономъ и походъ послѣдняго къ Голлабруну; Шенграбенъ; пожаръ деревни, зажженной Тушинымъ; походъ гвардіи; смотръ въ Ольмюцѣ; письмо, адресованное «au chef du gouvernement français»; недостатокъ провіанта въ Ольмюцѣ; настроеніе австрійцевъ; Александръ

и дѣло при Вишау; Савари въ русской арміи; слова Долгорукаго; Наполеонъ обѣзжаетъ армію; поѣздка Николая Ростова на непріятельскіе аванпосты; утро, туманъ, австрійскіе колоновожатые; Кутузовъ и разговоръ его съ Александромъ; Милорадовичъ; князь Болконскій со знаменемъ; атака кавалергардовъ; Дохтуровъ и Аугестъ; Александръ послѣ пораженія при Аустерлицѣ; разговоръ Наполеона съ Репнинымъ и Сухтеленемъ.

*Его же, «Описаніе второй войны Александра I съ Наполеономъ въ 1806 и 1807 годахъ».* Заимствовано: Бенингсенъ и Буксгевденъ; Каменскій, его письмо императору; приказъ по арміи; распутица, голодъ, грабежи, мѣры строгости; госпитали; Тильзитъ.

*Его же, «Описаніе отечественной войны въ 1812 году»* Заимствовано: Комета 12 года; балъ у Бенингсена; письмо митрополита къ Александру I; встрѣча Багратіона и Баркляя-де-Толли; слова Наполеона; Шевардинскій редутъ; подробности Бородинскаго сраженія; совѣтъ въ Филяхъ и Кутузовъ; французы въ Москвѣ; погода передъ выступленіемъ французовъ изъ Москвы; видъ разоренной Москвы; грабежи русскихъ мужиковъ въ опустѣвшемъ городѣ; подробности Тарутина; Кутузовъ получаетъ извѣстіе о выступленіи изъ Москвы французской арміи; подробности Красненскихъ боевъ: «барабанный бой», «распущенныя знамена», «дарю вамъ эту колонну», пустой конвертъ вмѣсто донесенія Кутузову, и т. п.; трофеи Краснаго; разговоръ Кутузова съ солдатами; Кутузовъ и Александръ въ Вильнѣ.

*Богдановичъ, «Исторія отечественной войны 1812 года».* Заимствовано: апокалипсическое представленіе о Наполеонѣ, какъ обѣ антихриствъ; «число звѣрино», цифровыя исчисленія; о планѣ войны 12 года; характеристика Фуля; поѣздка къ Наполеону Балашова; Багратіонъ и Барклай-де-Толли; пожаръ Смоленска; характеристика Кутузова; диспозиція Наполеона; подробности Бородина; Вольцогенъ и Кутузовъ; совѣтъ въ Филяхъ; фланговой маршъ; Кутузовъ и РаSTOPчинъ, ихъ встрѣча въ Москвѣ; дѣятельность Наполеона въ Москвѣ; Туттолминъ и Яковлевъ; полковникъ Мишо у Александра I; партизанскія дѣйствія; поѣздка Пети Ростова съ Долоховымъ во французскій лагерь; возвращенные при письмѣ австрійскіе штандарты; Тарутино; характеристика Милорадовича; Кутузовъ и Бенингсенъ; Чичаговъ и Кутузовъ; Александръ въ Вильнѣ; численность русской арміи подъ Вильной.

*Корфъ, «Жизнь графа Сперанскаго».* Заимствовано: подробности его семейной и частной жизни, его дочь, гувернантка, знакомые, обѣдъ, разговоры; его внѣшній видъ, манеры, обращеніе.

*Ермоловъ, «Записки»* о войнахъ 1805, 1806—7 и 1812 г. Заимствовано: прибытіе Мака къ Кутузову; отступление Кутузова; Шенграбенъ; дѣло при Вишау; вражда Бенингсена и Буксгевдена; Фуль; Багратіонъ и Барклай-де-Толли; подробности Бородина; приказъ Кутузова: «завтра мы атакуемъ»; совѣтъ въ Филяхъ.

*Д. Давыдовъ, «Матеріалы для исторіи современныхъ войнъ (1806—1807 гг.)».* Заимствовано: подробности о Макѣ; атака Тимохина подъ Шенграбеномъ; рядъ фразъ Денисова; причина отъѣзда Каменскаго изъ арміи; голодъ въ арміи.

*Его же, «Дневникъ партизанскихъ дѣйствій».* Заимствовано: Ермоловъ въ Москвѣ при переходѣ арміи черезъ Москву-рѣку; партизанскія дѣйствія



Денисова: Тишка Щербатый, барабанщикъ Винцентъ Бодъ, положеніе Денисова между двумя большими партизанскими отрядами, его отвѣтъ на предложеніе присоединиться къ нимъ; характеристика, слова и поступки Долохова; подробности Тарутина: обѣдъ у Кикина, пляска Николая Ивановича (Депрерадовича), разговоръ Раевского и Ермолова; разговоръ Ермолова и Кутузова; дѣло подъ Краснымъ; разговоръ Кутузова и Денисова; Чичаговъ.

*И(лья) Р(адожицкій)*, «*Походныя записки артиллериста*». Заимствовано: представленіе о Наполеонѣ, какъ антихристѣ; жизнь и настроеніе офицерства въ арміи передъ открытіемъ военныхъ дѣйствій въ 1812 г.; сцена въ корчмѣ, гдѣ Н. Ростовъ, Ильинъ и др. ухаживаютъ за женой доктора; подробности дѣла при Островно; взятіе Долоховымъ въ плѣнъ фр. офицера подъ Шенграбенomъ; подробности отступленія русской арміи къ Бородину: жара, пыль и пр.; приѣздъ Кутузова; ополченцы при Бородинѣ; описаніе Бородина до сраженія; слухъ о взятіи въ плѣнъ Мюрата; на перевязочномъ пунктѣ подъ Бородинымъ: раненый казакъ; подробности о Долоховѣ; пожаръ Москвы; описаніе покинутой усадьбы Болконскихъ; лагерь въ Тарутинѣ; подробности сраженія при Тарутинѣ; приходъ на русскій бивакъ капитана Рамбаля и его деньщика; тяжелыя условія, при которыхъ приходилось преслѣдовать французовъ; фигура нѣмца и его возгласъ: «Vivat die ganze Welt».

*С. Глинка*, «*Записки о 12 годѣ*». Заимствовано: Александръ I въ Москвѣ: народная радость, сцены на Красной площади, обѣдъ государя на Красномъ крыльцѣ, Пьеръ въ залахъ Дворянскаго Собранія, его рѣчь и споръ съ Апраксинымъ, Глинка, Растопчинъ; опустѣніе Москвы; обозы раненыхъ; чтеніе Кутузовымъ романа Жанлисъ; уроки русскаго языка у кн. Голицына.

*Ө. Глинка*, «*Очерки Бородинскаго сраженія*». Заимствовано: Кутузовъ при Бородинѣ; канунъ битвы; русскіе видятъ Наполеона; слова его.

*Жихаревъ*, «*Записки*». Заимствовано: танцмейстеръ Йогель, Оберъ-Шальме и каламбуръ: «Оберъ-Шельма»; отношеніе къ Александру и къ войнѣ московскаго общества; характеристика Ахросимовой и слова ея; романсы, которые поетъ Николай Ростовъ; обѣдъ въ честь Баграціона въ Англійскомъ клубѣ; рядъ мелкихъ сценокъ и деталей московской жизни.

*Перовскій*, «*Записки*». Заимствовано: допросъ Пьера у Даву, пребываніе его въ плѣну, выходъ подъ конвоемъ изъ Москвы; условія похода: голодъ, стертые ноги, разстрѣлъ ослабѣвшихъ плѣнныхъ, и т. п.

*Корбелецкій*, «*Краткое показаніе о вторженіи французовъ въ Москву*». Заимствовано: Наполеонъ передъ Москвой; видъ Москвы послѣ пожара.

*Бестужевъ-Рюминъ*, «*Краткое описаніе происшествій въ столицѣ Москвѣ, въ 1812 году*» и «*О происшествіяхъ, случившихся въ Москвѣ во время пребыванія въ оной непріятеля въ 1812 году*». Заимствовано: опустѣвшая Москва, буйство толпы, разгромъ питейныхъ домовъ, вступленіе непріятеля, костры на Сенатской площади изъ сенатскихъ стульевъ.

Не перечисляя болѣе отдѣльных произведеній, использованныхъ Толстымъ въ его романѣ, упомянемъ только о томъ еще, что онъ внимательно пересматривалъ и историческіе журналы, въ которыхъ надѣялся найти и находилъ цѣнный для его

работы матеріалъ; несомнѣнно, что ему были хорошо извѣстны и «Русскій Архивъ», и «Чтенія въ Обществѣ исторіи и древностей», и «Временникъ», и т. п.

Мы отмѣтили только часть извѣстныхъ намъ источниковъ «Войны и мира», и это составляетъ, можетъ быть, лишь одну десятую часть того, что было непосредственно обработано въ романѣ. Что же касается до тѣхъ книгъ, которыя были прочитаны или просмотрѣны Толстымъ, но ничѣмъ не отразились на его произведеніи, то, конечно, пока не станутъ доступнымъ для изученія всѣ черновые матеріалы и записки Толстого, нельзя даже приблизительно опредѣлить ни характера ни числа ихъ.

Теперь можно перейти къ болѣе интересному вопросу, именно, къ вопросу о томъ, въ какомъ видѣ вошли въ романъ, или какъ были въ немъ переработаны всѣ заимствованія, отмѣченныя нами выше. Въ этомъ отношеніи ихъ можно раздѣлить на семь главныхъ группъ.

1) Иногда, но не особенно часто, Толстой почти буквально пользуется текстомъ какого-нибудь источника. Напримѣръ:

«Война и миръ».

Когда Кутузову доложили, что въ тылу французовъ, гдѣ по донесеніямъ казаковъ прежде никого не было, теперь было два батальона поляковъ, онъ покосился назадъ на Ермолова (онъ съ нимъ не говорилъ еще со вчерашняго дня). «Вотъ просятъ наступленія, предлагаютъ разные проекты, а чуть приступишь къ дѣлу, ничего не готово и предупрежденный непріятель беретъ свои мѣры». Ермоловъ прищурилъ глаза и слегка улыбнулся, услышавъ эти слова; онъ понялъ, что для него гроза прошла и что Кутузовъ ограничится этимъ намекомъ. «Это онъ на мой счетъ забавляется», тихо сказалъ Ермоловъ, толкнувъ колѣнкой Раевского, стоявшаго подлѣ него. Вскорѣ послѣ этого Ермоловъ выдвинулся впередъ къ Кутузову и почтительно доложилъ: «Время не упущено, ваша свѣтлость, непріятель не ушелъ. А то гвардія и дыма не увидитъ».... онъ приказалъ наступленіе, но черезъ каждые сто шаговъ останавливался на три четверти часа.

Давыдовъ, «Дневникъ партизанскихъ дѣйствій».

Кутузовъ со свитой, въ числѣ которой находились Раевскій и Ермоловъ, оставался близъ гвардіи; князь говорилъ при этомъ: «Вотъ просятъ наступленія, предлагаютъ разные проекты, а чуть приступишь къ дѣлу, ничего не готово, и предупрежденный непріятель, принявъ свои мѣры, заблаговременно отступаетъ». Ермоловъ, понимая, что эти слова относятся къ нему, толкнулъ колѣномъ Раевского, которому сказалъ: «Онъ на мой счетъ забавляется». Когда стали раздаваться пушечные выстрѣлы, Ермоловъ сказалъ князю: «Время не упущено, непріятель не ушелъ; теперь, ваша свѣтлость, намъ надлежитъ съ своей стороны дружно наступать, потому что гвардія отсюда и дыма не увидитъ». Кутузовъ скомандовалъ наступленіе, но черезъ каждые сто шаговъ войска останавливались почти на три четверти часа.

## «Война и мир».

Была осенняя ночь съ черно-лиловатыми тучами, но безъ дождя. Земля была влажна, но грязи не было, и войска шли безъ шума, только слабо слышно было изрѣдка брѣчаніе артиллеріи. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высѣкать огонь; лошадей удерживали отъ ржанія. Таинственность предпріятія увеличивала его привлекательность. Люди шли весело. Нѣкоторыя колонны остановились, поставили ружья въ козлы и улеглись на холодной землѣ.

2) Гораздо охотнѣе, но тоже не слишкомъ часто, Толстой допускалъ такія заимствованія, которыя, сохраняя размѣры подлинника, его основной тонъ и детали, подвергаются все-таки болѣе или менѣе крупнымъ измѣненіямъ, необходимымъ по ходу дѣйствія его романа. Примѣромъ заимствованія подобнаго рода можетъ служить допросъ Пьера Безухова маршаломъ Даву; допросъ этотъ заимствованъ и передѣланъ изъ слѣдующаго отрывка «Записокъ» графа Перовскаго: «Даву занималъ домъ близъ монастыря; адъютантъ его принялъ меня отъ жандарма, и, доложивъ обо мнѣ генералу, ввелъ въ большую комнату. У окошка, противъ двери, въ которую я вошелъ, сидѣлъ Даву ко мнѣ спиною и что-то писалъ. Я остановился посреди комнаты, нѣсколько минутъ стоялъ; онъ не оглядывался. Наконецъ, строгимъ, грубымъ голосомъ началъ разговоръ, все не смотря на меня. «Кто вы?» «Русскій офицеръ». «Парламентеръ?» «Нѣтъ». «Такъ плѣнный?» «Нѣтъ, меня остановили за городомъ въ день взятія Москвы, на аванпостахъ»... «Молчите», закричалъ онъ, и, пристально взглянувъ на меня, сказалъ: «Ба! да я васъ знаю!» «Не думаю, генералъ, я впервые имѣю честь васъ видѣть». «Не запирайтесь, вамъ меня обмануть не удастся, вы уже были разъ взяты въ плѣнъ подъ Смоленскомъ и бѣжали... Во второй разъ не уйдете!» и обратясь къ адъютанту, прибавилъ весьма хладнокровно: «Прикажите призвать унтеръ-офицера и четырехъ рядовыхъ, чтобъ разстрѣлять этого офицера». Адъютантъ вышелъ... Видя неудачу своихъ увѣреній, готовился я уже итти дать себя разстрѣлять, какъ вдругъ пришла въ голову генералу счастливая мысль, и онъ сказалъ: «Постойте немного, ваши увѣренія ни мало меня не убѣждаютъ. Я твердо знаю, что взяты были въ плѣнъ подъ Смоленскомъ вы, а не кто другой, но хочу, передъ тѣмъ какъ васъ разстрѣляютъ, изболѣчить васъ еще во лжи. Я велю позвать того адъютанта, который находился при мнѣ въ Смоленскѣ; онъ, вѣрно, также узнаетъ васъ». Генералъ Даву, казалось, боялся, чтобы я не приписалъ человѣколюбію пришедшую ему мысль». Пришедшій адъютантъ, конечно, не призналъ въ Перовскомъ офицера, взятаго въ плѣнъ подъ Смоленскомъ, и этимъ, можетъ-быть, дѣйствительно спасъ его отъ разстрѣла.

## Михайловскій-Данилевскій, «Описаніе отечественной войны».

Смерклось; облака покрыли небо. Погода была сухая, но земля влажна, такъ что войска шли безъ шума, даже не слышно было движенія артиллеріи. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высѣкать огонь; лошадей удерживали отъ ржанья; все приняло видъ таинственнаго предпріятія. Наконецъ, при свѣтломъ заревѣ огней непріятели, остановились колонны на ночь,... поставили ружья въ козлы и улеглись на холодной землѣ.



Какъ можно видѣть изъ сличенія этого отрывка съ романомъ, измѣненія, сдѣланныя Толстымъ, нисколько не уничтожаютъ ни общей схемы и смысла разсказа Перовскаго ни ряда мелкихъ деталей. Но извѣстная переработка все-таки была необходима, и потому, что положеніе Пьера въ романѣ совершенно не соотвѣтствовало положенію Перовскаго, и потому, что Толстому нужно было, какъ художнику, усилить психологическій интересъ этой сцены.

3) Чаше всего Толстой пользуется готовой схемой какого-нибудь эпизода, но только сильно распространяетъ его, вводитъ діалогъ и множество подробностей, словомъ, создаетъ отдѣльный художественно законченный разсказъ о какомъ-либо событіи. Такъ, напримѣръ, поѣздка Пети Ростова съ Долоховымъ во французскій лагерь развилась изъ слѣдующаго разсказа Богдановича («Исторія Отечественной войны») о партизанскихъ дѣйствіяхъ Фигнера: «Въ другой разъ Фигнеръ, съ находившимся въ его отрядѣ поручикомъ Орловымъ, оба переодѣтые во французскіе мундиры, отправились съ проводникомъ изъ крестьянъ въ село Вороново, гдѣ находился тогда лагерь авангарда Наполеоновой арміи и была расположена главная квартира Мюрата. Пробравшись незамѣтно черезъ цѣпь ведетовъ, Фигнеръ подѣхалъ къ мосту на рѣчкѣ, прикрывавшей непріятельскіе биваки. Пѣхотный часовой, стоявшій на мосту, встрѣтилъ его окликомъ: *qui vive?* и потребовалъ отзвѣвъ; но Фигнеръ, вмѣсто отзвѣва (котораго, разумѣется, не зналъ), разругалъ часового за неправильную будто бы формальность въ отношеніи къ рунду, повѣряющему посты. Часовой, совсѣмъ сбившійся съ толку, пропустилъ обоихъ партизановъ въ лагерь, куда Фигнеръ явился какъ свой, подѣхалъ ко многимъ кострамъ, говорилъ весьма хладнокровно съ офицерами и, узнавъ все, что было ему нужно, возвратился къ мосту. Тамъ, снова сдѣлавъ наставленіе знакомому часовому, чтобы онъ не осмѣливался останавливать рундовъ, переѣхалъ черезъ мость и сначала пробирался шагомъ, а потомъ, приблизясь къ цѣпи ведетовъ, промчался черезъ нее вмѣстѣ съ Орловымъ подъ пулями и возвратился къ отряду».

Очень милая и живая сцена «Войны и мира», когда Николай Ростовъ, Ильинъ и другіе павлоградцы ухаживаютъ въ корчмѣ за женою полкового доктора, имѣетъ въ своемъ основаніи слѣдующій разсказъ Ильи Раджицкаго («Походныя записки артиллериста»): «Пошелъ сильный дождь, и мы, не имѣя палатокъ, побѣжали подъ защиту жидовскаго жилища, но оно было заперто. Принесли топоры, и внутренность храма отверзлась передъ нами. Радуюсь пристанищу, мы расположились въ пустой корчмѣ какъ нельзя лучше. Каждый занялъ себѣ уголокъ, кто на лавкѣ, кто на печкѣ, кто въ жидовской спальнѣ. Принесли сѣна, разостлали коври — такой доброй квартиры у насъ не было отъ самой Вильны, а биваки уже надоѣли. Принесли самоваръ, обсушились, развеселились... Явилась другая милѣйшая сцена. Передъ походомъ поступилъ къ намъ въ бригаду молодой лѣкарь, который для услажденія сердца везъ съ собою молодую прекрасную супругу, сентиментальную нѣмочку... Бѣдный лѣкарь въ дождливую погоду не зналъ куда дѣваться съ милою подругою; кромѣ брички онъ ничего не имѣлъ, но вѣчно жить въ бричкѣ, въ такой тѣснотѣ, хоть кому наскучить. Мы вспомнили о красавицѣ, и, для сохраненія ея здоровья, предложили лѣкарю на время укрыться отъ непогоды съ нами, въ собраніи честныхъ кавалеровъ. Скромность и стыдливость колебали

даму принять предложеніе; однакожь необходимость отдохновенія подь какимъ-либо сухимъ кровомъ превозмогла ея робость; супруги перешептались между собою, взялись за руки, и, казалось, условились не разлучаться, разумѣя у насъ какую-то для себя опасность. Они вошли и сѣли вмѣстѣ. Ей поднесли чаю, а лѣкаря пуншу, стаканъ за стаканомъ; начались вопросы, отвѣты, шутки — лѣкаря оттерли отъ подруги и усыпили. Тутъ вся молодежь стала увиваться около улыбающейся румяной нѣмочки, какъ шмели около розы. Иные вздыхали, иные были внѣ себя отъ какого-то магнетическаго или гальваническаго дѣйствія взоровъ красавицы. Развязка была бы любопытна, но вдругъ принесли кастрюлю съ кашецею и сковороды съ биткомъ. Тогда отъ идеальнаго перешли къ матеріальному; сѣли обѣдать при захожденіи солнца. Супной аромать защекоталъ обоняніе спящаго лѣкаря, звонъ жестяныхъ тарелокъ и ложекъ коснулся его слуха; онъ проснулся, вспомнилъ о женѣ, бросился къ ней, и вотъ съ улыбкою удовольствія они опять сидятъ вмѣстѣ, и вмѣстѣ изъ одной тарелки кушаютъ русскій супъ. Такимъ образомъ, нашли мы въ корчмѣ доброе пристанище, сухой ночлегъ, веселую бесѣду, насмѣялись досыта и понѣжились передъ красавицей»...

4) Столь же часто, если даже не чаще, Толстой создаетъ разсказъ не только на основаніи готовой уже его схемы, но на основаніи какого-нибудь незначительнаго замѣчанія, такъ сказать, только намекъ на событіе. Такъ, боевое крещеніе Николая Ростова въ 1805 году, при переправѣ русской арміи черезъ Энсъ, выросло изъ слѣдующей коротенькой замѣтки Михайловскаго-Данилевскаго («Описаніе войны съ Наполеономъ въ 1805 году.»): «Не успѣвъ въ своемъ намѣреніи, онъ (Мюратъ) почти въ одно время съ княземъ Багратиономъ приблизился къ рѣкѣ Энсу, стремясь овладѣть мостомъ. Бывшій въ аріергардѣ отрядъ Павлоградскихъ гусаровъ спѣшился, и подъ картечными выстрѣлами зажегъ мостъ, заблаговременно покрытый зажигательными веществами; отрядомъ командовалъ полковникъ графъ Оруркъ».

Дружелюбныя привѣтствія и разговоръ Николая Ростова съ его хозяиномъ-нѣмцемъ, возлѣ Брауна, несомнѣнно, восходятъ къ краткой характеристикѣ одного нѣмецкаго старосты, которую мы находимъ у Раджицкаго въ его «Походныхъ запискахъ артиллериста»: «По разнымъ надобностямъ часто хаживалъ къ намъ деревенскій староста или шульцъ... Мы замѣтили въ немъ особенное достоинство, что онъ никого не осуждалъ: Наполеона почиталъ посланнымъ отъ Бога для наказанія грѣшниковъ; говорилъ, что всѣ бѣдствія надобно переносить съ терпѣніемъ, потому что Богу такъ угодно. Наконецъ, философію свою всегда оканчивалъ восклицаніемъ: «Vivat die ganze Welt!»

Въ подобныхъ случаяхъ, когда разсказъ Толстого развивался изъ одного только намекъ, а принималъ иногда довольно обширные размѣры, Толстой довольно часто осложнялъ его деталями, взятыми уже изъ другихъ книгъ. Въ связи съ этимъ можно отмѣтить пятую группу заимствованій,

5) когда какой-нибудь эпизодъ романа слгаается сразу на основаніи нѣсколькихъ источниковъ. Такъ, пріѣздъ къ Кутузову генерала Мака и шутка Жеркова по поводу послѣдняго написаны Толстымъ при помощи воспоминаній Раппа, Давыдова и Ермолова. Раппъ собственно описываетъ сдачу Мака фран-

цузской арміи подъ Ульмомъ; но слѣдующія подробности заимствованы и перенесены Толстымъ уже въ русскую главную квартиру: «Il m'a paru grand, âgé, pâle; l'expression de sa figure annonce une imagination vive. Les traits étaient tourmentés par une anxiété, qu'il cherchait à cacher... il répondait aux officiers, qui s'adressaient à lui sans le connaître: «Vous voyez devant vous le malheureux Mack». Къ этому надо прибавить еще данныя записокъ Давыдова и Ермолова, которыя были Толстому хорошо извѣстны. Давыдовъ: «Однажды во время обѣда Кутузова въ Браунау къ нему явился незнакомый генераль съ повязанною головою, который объявилъ, что онъ имѣетъ сообщить ему весьма важныя извѣстія. На вопросъ Кутузова, съ кѣмъ онъ имѣетъ честь говорить, незнакомый отвѣчалъ: «Я генераль Макъ; армія моя уничтожена; я самъ отпущенъ Наполеономъ, которому обѣщалъ честнымъ словомъ не служить противу него въ теченіе этой войны». Пораженный этимъ извѣстіемъ, Кутузовъ спросилъ его: «Вы, вѣроятно, носите повязку вслѣдствіе полученной раны?» «Нѣтъ», отвѣчалъ Макъ, «я ушибъ сильно голову, сидя въ своей каретѣ». Ермоловъ: «Не избѣжалъ плѣна и самъ генераль Макъ; но давши реверсъ не служить противъ французовъ, онъ получилъ увольненіе и за паспортомъ ихъ отправился въ свои помѣстья. Перевязанная бѣлымъ платкомъ голова его давала подозрѣніе, что главнаго подвига сохраняетъ онъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторую память. Но онъ успокоилъ насчетъ опасности, объяснивъ, что отъ неловкости почтальона онъ болѣе потерпѣлъ, нежели отъ непріятеля. Въ дорогѣ опрокинута была его карета, и онъ ударился головою, такъ, однакоже, счастливо, что она сохранена на услуги любезному отечеству». Эти три отрывка дають весь необходимый матеріалъ для созданія разсказа, который мы читаемъ въ «Войнѣ и мирѣ»; но возможно, что сверхъ того Толстому были извѣстны еще кое-какія детали изъ воспоминаній Кроссара и, можетъ-быть, записокъ Шишкова.

6) Какъ настоящій художникъ, Толстой отовсюду собираетъ и вноситъ въ свой романъ безконечное количество разныхъ мелкихъ, но яркихъ образовъ, выраженій, описаній и т. п., въ силу чего его романъ и производитъ такое впечатлѣніе, какъ-будто авторъ былъ очевидцемъ разсказываемыхъ событій. Напримѣръ, въ «Войнѣ и мирѣ» при описаніи вступленія французовъ въ Москву мы читаемъ: «Нѣсколько мгновеній послѣ того, какъ затихли перекаты выстрѣловъ по каменному Кремлю, странный звукъ слышался надъ головами французовъ. Огромная стая галокъ поднялась надъ стѣнами и, каркая и шумя тысячами крылъ, закружилась въ воздухѣ». Этотъ образъ огромный галочьей стаи, удивительно умѣстный и производящій на читателя именно то впечатлѣніе, которое и требуется ходомъ разсказа, Толстымъ отнюдь не выдуманъ—онъ взятъ изъ соотвѣтствующаго мѣста «Исторіи консульства и имперіи» Тьера: «Des milliers d'oiseaux noirs, corbeaux et corneilles, voltigeant autour du faite des palais et des églises, donnaient à cette grande ville un aspect singulier, qui contrastait avec l'éclat de ses brillantes couleurs». Такими отдѣльными, выбранными изъ разныхъ книгъ образами Толстой охотно пользуется не только для живого разсказа, но даже и для своихъ отвлеченныхъ разсужденій. «Деревянный городъ», говоритъ онъ, напримѣръ, «въ которомъ при жителяхъ-владѣльцахъ домовъ и при полиціи бывають почти каждый день пожары, не можетъ не сгорѣть, когда въ немъ нѣтъ жителей, а живутъ войска, куряшія трубки,



раскладывающія костры на Сенатской площади изъ сенатскихъ стульевъ и варящія себѣ ѣсть два раза въ день». Эти «костры изъ сенатскихъ стульевъ» невольно придаютъ рѣчи Толстого какую-то особенную образность и убѣдительность. Но и въ данномъ случаѣ опять надо сказать, что Толстой умѣло воспользовался имѣвшимся у него матеріаломъ. Вотъ что пишетъ Бестужевъ-Рюминъ въ своемъ «Краткомъ описаніи»: «Круглый въ Сенатскомъ зданіи дворъ занятъ непріятельскими солдатами, и видно было изъ оконъ Департамента, что нѣсколько человѣкъ бѣгало съ огнемъ по комнатамъ, въ которыхъ присутствовали сенаторы, выкидывали столы и стулья для бивакъ своихъ».

7) Въ «Войнѣ и мирѣ» можно отмѣтить множество случаевъ, особенно въ описаніяхъ и отвлеченныхъ разсужденіяхъ, которые говорятъ не столько о прямомъ заимствованіи опредѣленнаго мѣста, сколько объ отдаленномъ вліяніи одной или нѣсколькихъ прочтенныхъ Толстымъ книгъ. Эти отзвуки, выраженные довольно слабо, между собою переплетающіеся, осложняющіеся собственными словами Толстого, лишаютъ возможности точно опредѣлить, гдѣ начало и конецъ того или иного источника. Напримѣръ, говоря о дѣятельности Наполеона въ Москвѣ, Толстой сначала какъ будто отражаетъ разсказъ Богдановича, потомъ сюда же вплетаются Тьеръ и Михайловскій-Данилевскій, и все это заглушается собственными разсужденіями Толстого. То же самое можно сказать и о планахъ войны 12 года, и о характеристикѣ настроеній русской арміи, и объ описаніи Наполеона при Бородинѣ, и т. п. Въ послѣднемъ случаѣ кое-гдѣ можно выдѣлить отдѣльные кусочки, эпизоды и разговоры, вообще же это описаніе составляетъ неразложимую смѣсь цѣлаго ряда источниковъ.

Приведенныхъ нами примѣровъ, въ видѣ ли указаній на отдѣльныя книги и рядъ заимствованій, изъ нихъ сдѣланныхъ, или въ видѣ параллелей къ разсказу Толстого, кажется, достаточно для того, чтобы выяснить значеніе изученія источниковъ романа для его оцѣнки. Лишь одно знакомство съ источниками можетъ дать ясное представленіе о размѣрахъ той работы, которая была продѣлана Толстымъ за время созданія «Войны и мира», о процессѣ и характерѣ художественнаго творчества писателя и о томъ, въ какой степени «Война и миръ» является не только художественнымъ, но и историческимъ разсказомъ.

Въ связи съ вопросомъ объ историчности романа необходимо нѣсколько остановиться и на его идеологіи, для пониманія которой изученіе источниковъ даетъ опять-таки необыкновенно благодарный матеріалъ.

Уже теоретически можно предположить, что проведеніе въ романѣ такихъ историческихъ, философскихъ и нравственныхъ тенденцій, которыя почти на цѣлое столѣтіе опережаютъ изображаемую въ немъ эпоху, должно было поставить Толстого въ рядъ противорѣчій съ самимъ собой и страшно затруднить его работу. Источники романа очень наглядно и показываютъ, въ какомъ подчасъ безвыходномъ положеніи находился Толстой, какъ художникъ-жанристъ или портретистъ, когда ему нужно было въ живомъ образѣ высказать какую-нибудь излюбленную мысль. Мы остановимся только на одномъ примѣрѣ — на изображеніи Наполеона.

Наполеонъ — «герой», «великій человѣкъ», видный представитель активнаго начала въ жизни и въ исторіи, долженъ быть, по замыслу Толстого, низведенъ съ высоты пьедестала, развѣнчанъ и представленъ только какъ ничтожный, мелко-самолюбивый и самодовольный человѣкъ, жалкая игрушка случая и обстоятельствъ, независимо отъ самой себя поднятая на извѣстную высоту. Вполнѣ понятно, что всѣ источники, бывшіе подъ руками у Толстого, для такого изображенія Наполеона ровно никакого матеріала давать не могли. Положительно или отрицательно, но для всѣхъ Наполеонъ былъ «великимъ» человѣкомъ. Вотъ что писалъ про него одинъ изъ его боевыхъ, не крупныхъ, но рѣшительныхъ враговъ, Денисъ Давыдовъ:

Былъ вѣкъ бурный, дивный вѣкъ,  
Громкій, величавый:  
Былъ огромный человѣкъ,  
Расточитель славы.  
То былъ вѣкъ богатырей!...

Вотъ что говорилъ о Наполеонѣ одинъ изъ самыхъ ожесточенныхъ политическихъ памфлетовъ<sup>1)</sup>: «Наполеонъ Бонапарте, похититель престола, называемый императоръ французовъ... наивеличайшій убійца; въ неистовствѣ, въ злодѣйствѣ, въ хитрой ядовитости, въ адскомъ мщеніи, въ непочитаніи священнѣйшихъ правъ, сей всемірный бичъ превосходитъ всѣхъ извѣстныхъ изверговъ древней и новой исторіи. По справедливому удостовѣренію генерала Дюпона, первое смертоубійство сдѣлалъ онъ, отравивъ въ городѣ Бріеннѣ одну молодую дѣвицу, имъ обольщенную».

Естественно, что Толстому, для проведенія своей мысли, пришлось отступить отъ обычнаго характера работы надъ созданіемъ романа, и отступить въ двухъ направленіяхъ. Во-первыхъ, во второй половинѣ романа, гдѣ философскія тенденціи проводятся рѣшительнѣе и послѣдовательнѣе, онъ все охотнѣе и охотнѣе оставляетъ читателя съ Наполеономъ наединѣ, безъ посредства какого-нибудь третьяго лица. Фигура Александра, напримѣръ, вышла въ романѣ въ историческомъ отношеніи великолѣпной, не потому, что онъ на самомъ дѣлѣ былъ такимъ, но потому, что такимъ онъ являлся въ глазахъ современниковъ. Подлиннаго Александра мы не видимъ! мы видимъ лишь впечатлѣніе, которое онъ производитъ на Николая и Петю Ростовыхъ, на полковника Мишо, на Бориса Друбецкого и т. д. Сквозь такую же призму проходитъ сначала и Наполеонъ, и тогда въ глазахъ Андрея Болконскаго онъ является великимъ полководцемъ; въ глазахъ Анны Павловны Шереръ — антихристомъ; въ глазахъ Пьера — то великимъ администраторомъ, то, во II части, какъ бы міровымъ воплощеніемъ злого начала. Все это исторически вѣрно и само собою вытекало изъ источниковъ романа. Но для того, чтобы изобразить Наполеона человѣкомъ ничтожнымъ, Толстому пришлось говорить уже отъ собственного лица, а не передавать мысли, слова и поступки своего героя сквозь призму чувствъ и настроеній его современниковъ.

<sup>1)</sup> «Наполеонъ, его родственники и исполнители воли его», Москва, 1813 г.

Во-вторыхъ, даже и при этомъ условіи, Толстой былъ поставленъ въ необходимость завѣдомо измѣнять смыслъ тѣхъ источниковъ, которыми онъ все-таки пользовался при изображеніи Наполеона. Тамъ, гдѣ Толстой является только художникомъ, онъ объективенъ въ пользованіи историческимъ матеріаломъ. Несмотря на то, что какой-нибудь отрывокъ подвергается въ романѣ очень сложной художественной переработкѣ, идейный смыслъ его остается все тотъ же, и это можно видѣть отчасти изъ приведенныхъ нами выше примѣровъ. Но тамъ, гдѣ Толстой является мыслителемъ, онъ далеко не такъ бережно и внимательно обращается со своими источниками, и постоянная борьба въ романѣ художника и философа иногда кончается побѣдою послѣдняго. Возьмемъ, на примѣръ, слѣдующее описаніе отъѣзда Наполеона изъ Дрездена: «29-го мая Наполеонъ выѣхалъ изъ Дрездена, гдѣ онъ пробылъ три недѣли, окруженный дворомъ, составленнымъ изъ принцевъ, герцоговъ, королей и даже одного императора. Наполеонъ передъ отъѣздомъ обласкалъ принцевъ, королей и императора, которые того заслуживали, побранилъ королей и принцевъ, которыми онъ былъ недоволенъ, одарилъ своими собственными, т.-е. *взятыми у другихъ королей*, жемчугами и брильянтами императрицу австрійскую и, нѣжно обнявъ императрицу Марію-Луизу, какъ говоритъ его историкъ, оставилъ ее огорченною разлукой, которую она, *эта Марія-Луиза, считавшаяся его супругой, несмотря на то, что въ Парижѣ оставалась другая супруга*, казалось, не въ силахъ была перенести». Этотъ отрывокъ представляетъ собою частію переводъ, частію близкій пересказъ дѣйствительно «историка» Наполеона — Тьера; но характерно, что напечатанныя курсивомъ слова у Тьера отсутствуютъ, а въ нихъ-то и заключается весь смыслъ отрывка, имѣющаго по отношенію къ Наполеону явно одіозный характеръ.

Укажемъ еще два примѣра подобной же передѣлки текста, необходимой для идеологіи романа, но исторически невѣрной. Толстой рассказываетъ, какъ наканунѣ Бородинскаго сраженія де-Боссе привезъ Наполеону портретъ его сына, и изображаетъ императора французовъ жалкимъ ломающимся актеромъ. Этотъ рассказъ заимствованъ изъ воспоминаній де-Боссе и передѣланъ до неузнаваемости. Вотъ что говорится въ оригиналѣ: «Je remis à l'empereur les dépêches, que l'impératrice avait bien voulu me confier, et je lui demandai ses ordres relativement au portrait de son fils. Je pensais qu'étant à la veille de livrer la grande bataille qu'il semblait tant désirer, il différerait de quelques jours d'ordonner l'ouverture de la caisse dans laquelle ce précieux tableau était renfermé. Je me trompais: pressé de jouir d'une vue aussi chère à son coeur, Napoléon m'ordonna de faire apporter de suite cette caisse. Je ne pourrais exprimer le plaisir, que cette vue lui fit éprouver. Le regret de ne pouvoir serrer ce cher enfant dans ses bras, fut la seule pensée, qui vint troubler une jouissance aussi douce. Ses yeux exprimaient l'attendrissement le plus vrai. Il appela lui-même tous les officiers de sa maison et tous le généraux, qui stationnaient à quelque distance de sa tente, pour leur faire partager les sentiments dont son âme était remplie. «Messieurs», leur dit il, «si mon fils avait quinze ans, croyez-vous qu'il serait ici au milieu de tant de braves, autrement qu'en peinture». Un moment après il ajouta: «Ce portrait est admirable!» Puis il le fit placer en dehors de sa tente, sur une chaise, afin que tous les officiers et même les sol-



dat de sa garde pussent le voir, et y puiser un nouveau courage. Cette peinture resta exposé ainsi toute la soirée». Какъ можно видѣть, кое-какія подробности уцѣлѣли и въ романѣ, но зато смыслъ приданъ прямо противоположный тому, который Толстой нашель у Боссе.

Наполеонъ на Поклонной горѣ представленъ въ романѣ сентиментально-глупымъ человѣкомъ, особенно, когда онъ думаетъ о «богоугодныхъ заведеніяхъ» и о «своей милой, своей нѣжной, своей бѣдной матери». Источники романа и въ данномъ случаѣ покажутъ, насколько произволенъ этотъ рассказъ Толстого. Въ одной изъ статей «Русскаго Архива» (1864 г., стран. 786, «Выписка изъ извѣстій изъ Москвы отъ 18-го сентября»), наполненной ошибками и неточностями, что отчасти указано въ примѣчаніяхъ къ ней, Толстой нашель слѣдующее, крайне сомнительное извѣстіе: «На всѣхъ домахъ богоугодныхъ заведеній Наполеонъ написалъ: *Maison de ma mère*, также и въ сумасшедшемъ домѣ; не знаятъ, что онъ симъ разумѣть хочетъ».

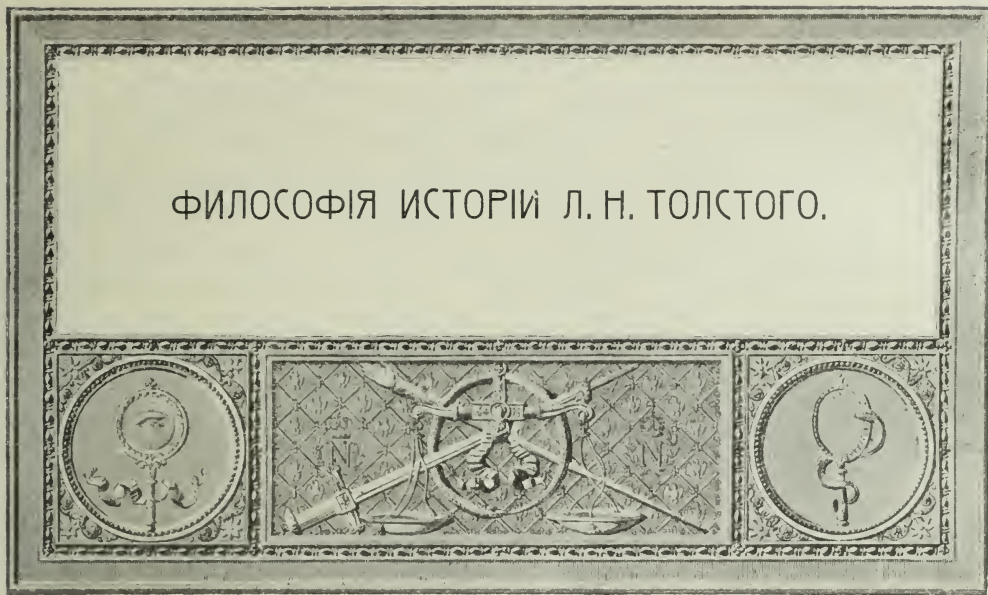
Едва ли самъ Толстой вѣрилъ въ справедливость этой замѣтки; но она давала удобный поводъ лишній разъ развѣнчать «величіе» Наполеона, чѣмъ онъ и воспользовался.

Такія же интересныя наблюденія можно было бы сдѣлать и надъ изображеніемъ въ романѣ другихъ историческихъ лицъ: Сперанскаго, Кутузова, цѣлаго ряда русскихъ генераловъ съ характернымъ раздѣленіемъ ихъ на двѣ группы (съ одной стороны, Коновницынъ и Дохтуровъ, съ другой — Милорадовичъ, Ермоловъ, Раевскій) и т. п. Все это очень наглядно могло бы освѣтить идеологію романа и точно могло бы выяснить, что въ романѣ исторически дѣйствительно, что правдоподобно и что неправдоподобно. Послѣднее, надо замѣтить; встрѣчается лишь тамъ, гдѣ мыслитель беретъ верхъ надъ художникомъ. Впрочемъ, когда идеологія романа хоть нѣсколько совпадаетъ съ дѣйствительностью, не слишкомъ рѣзко противорѣчитъ характеру эпохи, тамъ у Толстого получаютъ не только глубоко-художественные, но и глубоко-вѣрные портреты. Изображеніе Растопчина, напримѣръ (за исключеніемъ пустячныхъ деталей), составляетъ крупную заслугу Толстого, и именно, какъ историка, а не только художника, особенно, если мы вспомнимъ, что романъ появился около пятидесяти лѣтъ тому назадъ.

Въ общемъ, источники романа свидѣтельствуютъ о колоссальной подготовительной работѣ Толстого по изученію эпохи 12-го года, выясняютъ характеръ и процессъ его художественнаго творчества, даютъ ясное понятіе о томъ, что «Война и миръ» есть своеобразная художественная мозаика, сложенная изъ бесконечно-разнообразныхъ по своему происхожденію сценъ и образовъ, что романъ этотъ въ значительной своей части не только исторически правдоподобенъ, но исторически дѣйствителенъ, и что во время его созданія шла постоянная борьба между объективнымъ художникомъ и субъективнымъ мыслителемъ.

*К. Покровскій.*

## ФИЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ Л. Н. ТОЛСТОГО.



Л. Н. Толстой — одинъ изъ немногихъ писателей, для которыхъ стремленіе къ законченному и связанному мірссозерцанію является основною и неискоренимою потребностью мышленія. Для него нѣтъ частныхъ вопросовъ, нѣтъ мелкихъ выводовъ, потому что всякій продуктъ человѣческаго мышленія и всякій фактъ человѣческой жизни стоитъ у него всегда въ томъ или иномъ отношеніи къ высшимъ и послѣднимъ точкамъ зрѣнія. Индивидуализируя дѣйствительность, говоря о жизни отдѣльныхъ людей, описывая единичные случаи, Толстой никогда не упускаетъ изъ вида общей картины, и все частичное для него имѣетъ смыслъ лишь постольку, поскольку оно является элементомъ, необходимымъ для поддержанія гармоніи цѣлаго. Всюду онъ ищетъ общія силы, направляющія жизнь людей, всюду для него встаютъ грозные вопросы о смыслѣ и отвѣтственности, и всегда онъ проводитъ своихъ героевъ, даже свою собственную литературную дѣятельность предъ неумолимымъ критеріемъ высшихъ законовъ, нормирующихъ человѣческую жизнь, какъ бы различно ни понималъ Толстой эти нормативные законы въ разные періоды своей жизни, — въ смыслѣ ли слѣдованія здоровой природѣ, или, наоборотъ, въ смыслѣ подчиненія природы моральнымъ заповѣдямъ. Это стремленіе къ пониманію *общихъ силъ*, движущихъ жизнью, и *общаго смысла* въ дѣйствительности придало философскій характеръ даже и раннимъ его произведеніямъ, когда онъ былъ еще чуждъ чисто философскихъ интересовъ, и наложало печать универсализма на литературную дѣятельность его старости, когда потребность въ единствѣ міровоззрѣнія стала у него особенно сильна и когда почти *вся* области человѣческой дѣятельности и человѣческаго знанія онъ сталъ обсуждать съ своихъ высшихъ точекъ зрѣнія, отдавъ ихъ подъ судъ морали и связавъ единствомъ отвѣтственности передъ нравственными законами. И было бы странно, если бы Толстой, такъ много философствуя по поводу частныхъ и индивидуальныхъ, не подвергъ философскому обсужденію и коллективную жизнь всего чело-

вѣщества и не попытался бы опредѣлить тѣхъ силъ, которыя движутъ историческимъ развитіемъ, и того отношенія, которое можетъ имѣть массовая жизнь какъ къ жизни индивидовъ, такъ и къ общимъ міровымъ планамъ.

По общей концепціи его міровоззрѣнія, Толстому психологически было необходимо создать ту или иную философію исторіи, какъ для того, чтобы послѣ анализа тѣхъ вопросовъ, которыми она занимается, и тѣхъ средствъ, которыя историки употребляютъ для ихъ разрѣшенія, въ концѣ концовъ произвести обвинительный приговоръ надъ *современной* исторической наукой, такъ и для того, чтобы указать *научной* исторіи ея настоящія задачи. Такую философію исторіи Толстой далъ, какъ извѣстно, въ разныхъ частяхъ «Войны и мира» и, главнымъ образомъ, въ послѣдней, заключительной книгѣ всего романа, занявъ при этомъ, какъ всегда, рѣзкую и довольно своеобразную позицію.

## 1.

Проблемы философіи исторіи<sup>1)</sup>, понимаемой, какъ выясненіе основныхъ принциповъ исторіи, можно раздѣлить на 2 группы. Въ первую группу входятъ тѣ, которые касаются самого исторического процесса, безотносительно къ тому, конструируется ли этотъ процессъ въ нашемъ сознаніи въ соотвѣтствіи съ объективными, дѣйствительно существовавшими въ прошломъ фактами, или онъ является въ значительной степени продуктомъ субъективныхъ формъ и пріемовъ нашего мышленія. Факты исторического процесса принимаются здѣсь какъ нѣчто само собою разумѣющееся и безспорно данное. Къ этой категоріи проблемъ относятся, во-первыхъ, вопросы о факторахъ исторического процесса, объ ихъ отношеніяхъ другъ къ другу и о взаимной связи историческихъ событій, т.-е. вопросы о томъ, какія силы (или, выражаясь болѣе согласно съ критическимъ направленіемъ современной философіи, какой рядъ фактовъ и какія стороны ихъ) мы положимъ въ основу исторического процесса. Въ частности сюда входитъ и вопросъ о свободѣ воли, потому что въ зависимости отъ того, признаемъ ли мы волю человѣка дѣйствующей самопроизвольно и независимо отъ другихъ силъ, или же допустимъ, что она зависитъ отъ ряда связывающихъ и обусловливающихъ ее силъ, — мы

---

<sup>1)</sup> Терминъ «философія исторіи» отличается значительной неясностью: одни понимаютъ подъ ней чисто описательное изложеніе всемірной исторіи, приправленные нѣкоторыми философскими разсужденіями; другіе приписываютъ ей чисто соціологическую задачу установленія типическихъ формъ человѣческихъ общежитій, изученія общихъ условій ихъ существованія и законовъ ихъ развитія и отождествляютъ ее, такимъ образомъ, съ соціологіей; третьи требуютъ, чтобы философія исторіи на основѣ историческаго матеріала разрѣшала общефилософскіе вопросы о смыслѣ жизни и объ основныхъ элементахъ бытія, сводя ее на роль вспомогательной науки по отношенію къ философіи. Не вдаваясь, за отсутствіемъ мѣста, въ критику этихъ довольно устарѣлыхъ опредѣленій, мы находимъ болѣе удобнымъ понимать подъ философіей исторіи самостоятельную дисциплину, не сливающуюся ни съ соціологіей, ни съ философіей, и примыкаемъ къ наиболѣе распространенному опредѣленію философіи исторіи, какъ ученія объ основныхъ принципахъ исторіи. Разъясненіе этого опредѣленія читатель найдетъ въ текстѣ.



такъ или иначе рѣшимъ вопросъ и о силахъ, дѣйствующихъ въ исторіи. Сюда же относится вопросъ и о роли личности въ исторіи, т.-е. вопросъ о томъ, признаемъ ли мы т. н. великихъ людей активными агентами, творцами исторіи, или отведемъ имъ болѣе скромную и подчиненную роль; сюда же войдетъ и вопросъ объ отношеніи сознательнаго и безсознательнаго въ людскихъ дѣйствіяхъ, о томъ продуманы ли они и отвѣчаютъ ли разумно сознаннымъ людьми интересамъ или же являются продуктомъ привычки, традиціи, подражанія другимъ, стихійнаго влеченія. Наконецъ, говоря объ историческихъ процессахъ, приходится разрѣшать вопросъ и о томъ, подчиняются ли эти процессы общимъ законамъ, или же они настолько индивидуальны и своеобразны, что найти въ нихъ то постоянное соотношеніе между отдѣльными рядами фактовъ и ту повторяемость моментовъ, которыя являются существенными признаками понятія закона, окажется невозможнымъ. Однимъ словомъ, сюда войдетъ вся та совокупность вопросовъ, которая выясняетъ проблему о томъ, *какъ происходитъ историческое развитіе*.

Во-вторыхъ, въ первую же группу философско-историческихъ проблемъ, касающихся самого процесса исторіи, войдутъ вопросы о цѣляхъ и цѣнностяхъ историческаго процесса. Совершается ли развитіе человѣчества по какому-либо плану, ведетъ ли осуществленіе этого плана къ прогрессу, существуетъ ли какой-либо единый масштабъ для оцѣнки фактовъ прошлаго со стороны ихъ смысла, или для каждаго народа и эпохи есть свой критерій, или же, наконецъ, совсѣмъ нѣтъ ни необходимости, ни возможности оцѣнивать историческія событія по ихъ смыслу,—вотъ тѣ вопросы, которые давно (и, надо сказать, безплодно) ставились и ставятся тѣми философами исторіи, которыхъ интересуеъ не только *ходъ* историческаго развитія, но и его *результаты*.

Въ сравненіи съ давностью всѣхъ этихъ философско-историческихъ проблемъ, занимавшихъ еще средневѣковыхъ историковъ со временъ блаженнаго Августина, совершенно новыми являются другіе вопросы—о границахъ нашего познанія въ исторіи и объ отношеніи субъективныхъ формъ и пріемовъ нашего сознанія къ историческому матеріалу. Это едва насчитывающее двадцатилѣтнюю давность критическое направленіе въ философіи исторіи, занявшееся *теоретико-познавательными* проблемами, усомнилось въ томъ что мы можемъ познать объективную истину въ исторіи, можемъ, говоря словами Ранке, «разсказать все, какъ было»; представители этого направленія доказали, что мы никогда не можемъ освободиться отъ нѣкоторыхъ привычекъ мышленія, отъ навязчивыхъ способовъ группировки матеріала, отъ навѣянныхъ воспитаніемъ идей, отъ политическихъ симпатій или просто отъ предрасудковъ, которые всегда оказываютъ свое вліяніе на наше отношеніе къ историческому матеріалу и заставляютъ незамѣтно для насъ самихъ, но съ психологической неизбѣжностью приспособлять дѣйствительность къ нашимъ вкусамъ, взглядамъ, интересамъ; съ другой стóроны, они указали и на то, что есть нѣкоторые философско-историческіе вопросы, которые стоятъ выше нашихъ познавательныхъ способностей и не могутъ быть разрѣшены съ помощью нашихъ познавательныхъ средствъ. Теоретико-познавательное направленіе въ философіи исторіи должно было оказать огромное вліяніе и на разрѣшеніе проблемъ

первой группы: однѣ изъ этихъ проблемъ оно признало неразрѣшимыми (напр. вопросы о цѣнностяхъ и цѣляхъ историческаго развитія), въ рядѣ же другихъ вопросовъ (напр. о факторахъ и связующихъ силахъ историческаго развитія) ему удалось доказать, что тамъ, гдѣ мы видѣли связь вещей существующей въ дѣйствительности въ самой исторіи, тамъ она устанавливалась лишь нашимъ сознаниемъ, нашими пріемами мышленія, и что человѣкъ съ другими привычками и пріемами мышленія нашель бы и совершенно другія связи; представители этого направления доказали, что часто мы принимаемъ порядокъ идей въ нашемъ сознаниі за порядокъ вещей въ дѣйствительности, и что то, что мы считали дѣйствующими силами исторіи, ея факторами, есть только наши способы группировки историческаго матеріала, расчисляемаго и классифицируемаго въ нашемъ умѣ не въ соотвѣтствіи съ объективной важностью различныхъ группъ историческихъ явленій и ихъ дѣйствительными отличіями другъ отъ друга, а сообразно съ закрѣпившимися въ нашемъ сознаниі категоріями нашего мышленія. Это направление пошатнуло всѣ прежнія философско-историческія представленія, уничтожило силу многихъ изъ прежнихъ проблемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ заставило съ особенной осторожностью относиться ко всякаго рода схемамъ и обобщеніямъ, указывая на неизбѣжный элементъ субъективнаго и произвольнаго въ нихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно выяснило, что, прежде чѣмъ браться за разрѣшеніе какихъ бы то ни было философско-историческихъ проблемъ, необходимо выяснить, насколько разрѣшимы эти проблемы, и насколько возможна постановка тѣхъ вопросовъ, которые раньше ставились въ философіи исторіи. И прежде всего необходимо выяснить, насколько подходитъ понятіе объективнаго факта къ тому историческому матеріалу, который ложится въ основу нашихъ историческихъ построеній, и насколько онъ представляетъ изъ себя съ этой точки зрѣнія подлинную дѣйствительность. Тотъ, кто не дѣлаетъ этого, впадаетъ въ рядъ очевидныхъ недоразумѣній, и яркій примѣръ этого мы имѣемъ въ лицѣ Л. Н. Толстого.

## 2.

Трудно было ожидать, чтобы Л. Н. Толстого серіозно затронуло это критическое направленіе въ современной философіи исторіи. Его умъ — по преимуществу синтетическій, а не критическій; его стремленіе познать истину настолько велико, что опережаетъ критику тѣхъ посылокъ, которыя необходимы для конечнаго вывода, и потому этотъ выводъ часто строится у него на недостаточно провѣренныхъ основаніяхъ. Тѣ трудности, которыя встаютъ передъ современными теоретиками исторіи, у него разрubaются часто категорическимъ и рѣшительнымъ методическимъ постулатомъ, проведеніе котораго на практикѣ оказывается совершенно невозможнымъ по недостаточности нашихъ познавательныхъ средствъ. Разсмотримъ эти методологическіе постулаты Толстого.

Нападая на современныхъ историковъ, которые, по мнѣнію Толстого, обращаютъ вниманіе на жизнь и дѣйствія только отдѣльныхъ т. н. великихъ людей, Толстой въ противовѣсъ имъ требуетъ, чтобы мы интересовались не отдѣльными

людьми, а массой, «всѣми». «До тѣхъ поръ, говоритъ онъ, пока пишутся исторіи отдѣльныхъ лицъ, будь они кесари, Александры или Лютеры и Вольтеры, а не исторія всѣхъ, безъ исключенія *всѣхъ* людей, принимающихъ участіе въ событіи, нѣтъ никакой возможности описывать движеніе человѣчества безъ понятія о силѣ, заставляющей людей направлять свою дѣятельность къ одной цѣли». Но такой силы, которая бы направляла коллективную волю массъ, помимо этой самой общей «роевой» воли, по мнѣнію Толстого, не существуетъ, потому что единственное объясненіе, которое давалось до сихъ поръ — понятіе власти — для того не годится<sup>1)</sup>. И слѣдовательно остается писать исторію «*всѣхъ*». Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ еще болѣе опредѣленно: «движеніе народовъ производятъ не власть, не умственная дѣятельность, даже не соединеніе того и другого, какъ то думали историки, а дѣятельность всѣхъ людей, принимающихъ участіе въ событіи». Составить исторію иначе, говоритъ объ единичныхъ личностяхъ, о томъ, что писали журналисты, ученые и философы, о томъ, что приказывали государи, министры, полководцы, какъ то дѣлаютъ, по мнѣнію Толстого, всѣ историки, значить уподобляться «глухому человѣку, отвѣчающему на вопросы, которыхъ ему никто не дѣлалъ», потому что «предметъ исторіи есть жизнь народовъ и человѣчества», а не мысли и приказанія отдѣльныхъ людей. Но какъ описать исторію всѣхъ людей? Здѣсь передъ нами встаетъ огромная гносеологическая трудность, которой какъ будто бы совершенно не замѣчаетъ Толстой. Разсказать в с е, что было въ прошломъ, что дѣлали в с ѣ люди, участвовавшіе въ историческихъ событіяхъ, — задача практически неосуществимая. Въдь въ примѣненіи хотя бы къ войнѣ 12-го года это значитъ разсказать отъ начала до конца в с ѣ моменты въ дѣятельности *всѣхъ* солдатъ, участвовавшихъ въ битвахъ, людей, составлявшихъ отряды добровольцевъ, ихъ женъ, вліявшихъ на нихъ своими словами и настроеніемъ, ихъ отцовъ и братьевъ, кормившихъ ихъ и т. д. до бесконечности. Очевидно, что у насъ нѣтъ никакихъ средствъ для того, чтобы познать все это, и что ни одно историческое сочиненіе не можетъ обнять всей полноты происходившихъ въ прошломъ фактовъ. Отсюда можно сдѣлать одинъ изъ двухъ выводовъ: или признать исторію вообще бесплодной наукой и категорически осудить ее за то, что она не даетъ полной истины, или же, примирившись съ тѣмъ, что она не можетъ дать намъ полнаго знанія обо всемъ, признать неизбежность нѣкоторыхъ ограниченій нашего историческаго познанія, съ которыми всегда надо считаться, оставивъ за собой еще довольно обширное поле для изслѣдованія. И первымъ изъ этихъ ограниченій будетъ необходимость примириться съ тѣмъ, что элементъ субъективнаго неизбежно присущъ всякому историческому изслѣдованію. Ясно, что *всей* дѣйствительности мы охватить не въ силахъ и что намъ необходимо сдѣлать *выборъ* изъ необозримой массы имѣвшихъ мѣсто въ прошломъ фактовъ, но ясно и то, что въ этомъ выборѣ скажутся наши вкусы, влеченія, взгляды, однимъ словомъ всякаго рода субъективныя предпосылки нашего познанія. Одинъ изберетъ для описанія исторію правовыхъ воззрѣній, другой — развитіе религіозныхъ представленій, третій, — изложить эволюцію по-

<sup>1)</sup> Подробнѣе о толстовской критикѣ понятія власти см. ниже.



литических формъ, четвертый экономическое развитіе, при чемъ и здѣсь каждый изъ нихъ не сможетъ охватить всѣхъ явленій интересующаго его порядка, а избрать только нѣкоторыя изъ нихъ, по его представленіямъ — главнѣйшія; пятый, можетъ быть, выберетъ изъ всѣхъ этихъ областей то, что, по его мнѣнію, являются наиболѣе важнымъ и существеннымъ. Съ какимъ бы глубокимъ знаніемъ и талантомъ ни была написана та или другая историческая работа, она не будетъ все-таки подлинной картиной прошлой дѣйствительности, взятой во всей ея жизненной полнотѣ, а лишь обработкой нашихъ представленій объ этой дѣйствительности. Самая квалификація фактовъ, какъ важныхъ и не важныхъ, основныхъ и производныхъ, случайныхъ и типичныхъ, — въ значительной степени зависитъ отъ чистосубъективныхъ моментовъ; и объективнаго критерія для того, что важно и что не важно, мы никогда не найдемъ, сколько бы мы его ни искали. Тотъ или другой рядъ фактовъ мы можемъ поставить во главу угла при нашемъ построеніи лишь съ методологической точки зрѣнія, изъ соображеній большей наглядности и понятности или даже изъ практическихъ видовъ, напр. съ точки зрѣнія соответствія господствующимъ интересамъ времени. Въ наше время обостренія социально-экономическихъ противоположностей особенно привлекаютъ къ себѣ вниманіе вопросы экономической исторіи; но доказать, что эти вопросы вообще важнѣе другихъ, безотносительно къ человѣческимъ интересамъ и способамъ усвоенія историческаго матеріала — задача совершенно недостижимая.

Возвратимся къ Толстому. Считаая возможнымъ познать историческую дѣйствительность во всей ея широтѣ, Толстой не считалъ нужнымъ ни отречься отъ исторіи, ни ставить ограничительныя рамки нашему историческому познанію. «Война и миръ» полна рѣзкими выпадами противъ историковъ и «новой», современной исторіи, но эти выпады направлены не противъ исторіи вообще, а противъ господствующаго, по мнѣнію Толстого, и даже единственнаго пока направленія въ исторіи, которое занимается только отдѣльными личностями, а не массой, не народомъ; только къ этому господствующему, единственному пока направленію примѣняетъ Толстой свои насмѣшливыя замѣчанія о «простотѣ душевной» и «наивной увѣренности» историковъ, дающихъ «противорѣчивые и не отвѣчающіе на вопросы отвѣты», поражающіе своей «странностью и комизмомъ». Изъ заключительныхъ главъ послѣдней части «Войны и мира» и изъ начальной главы второй части 4-го тома видно, что Толстой считаетъ и необходимой, и возможной другую исторію, — настоящую и научную, которая можетъ осуществить свою истинную историческую задачу — освѣтить жизнь «всѣхъ». Въ этихъ главахъ Толстой приписываетъ исторіи какъ бы новую задачу — «отысканіе законовъ», но, въ сущности говоря, подъ этой новой формулой скрывается старое содержаніе — раскрытіе жизни массъ, — «всѣхъ». Подъ закономъ здѣсь Толстой понимаетъ совсѣмъ не то, что обычно понимаютъ подъ этимъ терминомъ, т.-е. не выраженіе постоянныхъ отношеній между причинами и слѣдствіями, а извѣстное стихійное теченіе, увлекающее за собой народныя массы, опредѣляющее коллективную жизнь съ обязательной, принудительной силой. Какая-то великая сила заставила французовъ «итти съ запада на востокъ, избивая себѣ подобныхъ»; та же непонятная, но столь же великая сила обусловила «движеніе русскаго народа на востокъ въ Ка-

зань и Сибирь» при Иванѣ Грозномъ; какому-то общему непреодолимому теченію подчинялись и русскіе, когда въ погонѣ за Наполеономъ двинулись на западъ; что-то всеобщее и огромное, заставило Наполеона слѣдовать по роковому для него пути завсеваній. Для насъ всѣ эти толстовскіе законы — только эмпирическія обобщенія ряда единичныхъ, неповторяющихся фактовъ; но здѣсь суть не въ этомъ, а въ томъ, что для Толстого законъ опредѣляетъ огромныя, массовыя движенія, въ которыхъ участвуютъ «всѣ» или многіе, и что поэтому, давая исторіи новсе опредѣленіе, какъ науки, отыскивающей законы, онъ не отступаетъ отъ свсего прежняго опредѣленія исторіи, какъ науки, которая должна понять *всю* жизнь людей во *всей* ея полнотѣ, въ ея доподлинной сущности и объективной реальности. Открытіе законовъ въ историческомъ движеніи для Толстого — трудная, но вполне достижимая задача ближайшаго будущаго. Въ заключительной части всего романа онъ говоритъ, что настоящая исторія, переставъ искать причины явленій въ свободной людской волѣ, «поставить своей задачей отысканіе законовъ. *Отысканіе этихъ законовъ уже давно начато*<sup>1)</sup> (здѣсь Толстой противорѣчитъ своимъ прежнимъ словамъ, что «вся исторія отъ составителей мемуаровъ и исторій отдѣльных государствъ до общихъ исторій и новаго рода исторій культуры» представляетъ въ сущности карикатурное изображеніе человѣческихъ судебъ), и тѣ новые приемы мышленія, которые должна усвоить себѣ исторія, вырабатываются одновременно съ самоуничтоженіемъ, къ которому, все дробя причины явленій, идетъ старая исторія.

Это противоположеніе *старой* исторіи — исторіи научной показываетъ, что въ глазахъ Толстого историческая наука не потеряла еще окончательно своего значенія и что онъ надѣется на то, что она съ помощью «новыхъ приемовъ мышленія», наконецъ, откроетъ тѣ законы, которые управляютъ человѣческой жизнью. Въ той же заключительной части романа Толстой говоритъ: «для исторіи существуютъ линіи движенія человѣческихъ воль, одинъ конецъ которыхъ скрывается въ невѣдомомъ, а на другомъ концѣ которыхъ движется въ пространствѣ, во времени и въ зависимости отъ причинъ сознаніе свободы людей въ настоящемъ. Чѣмъ болѣе раздвигается передъ нашими глазами это поприще движенія, тѣмъ *очевиднѣе*<sup>1)</sup> законы этого движенія. Уловить и опредѣлить эти законы составляетъ задачу исторіи». Слѣдовательно, законы исторіи не только существуютъ, но для насъ они съ теченіемъ времени дѣлаются *очевиднѣе* и потому могутъ быть открыты. Нетрудно замѣтить, что и здѣсь, не подвергая гносеологическому анализу способъ открытія этихъ историческихъ законовъ, Толстой предлагаетъ нашему познанію въ сущности неразрѣшимую задачу. Что такое эти его законы, какъ не мистическая, непонятная для насъ, а потому и непознаваемая сила, которую безсильна открыть наука? Мы уже указывали на то, что для насъ эти законы — тяга народовъ на востокъ, тяга на западъ — только эмпирическія обобщенія, суммирование ряда единичныхъ фактовъ, но, какъ таковыя, они ничего не объясняютъ, а еще сами подлежатъ объясненію. Въ самомъ дѣлѣ развѣ что-нибудь выясняется для насъ, если мы признаемъ, что въ XVI столѣтіи у русскихъ было стремленіе раздвигать

<sup>1)</sup> Курсивъ нашъ.

гаться по направленію къ востоку, а въ началѣ XIX — французы стремились тоже на востокъ. Это только указаніе на фактъ, правда, общій и широкій, сложившійся изъ множества единичныхъ болѣе мелкихъ фактовъ, но нуждающійся въ объясненіи, какъ и всякій фактъ, въ указаніи на его причины и въ выясненіи его различныхъ сторонъ. Это путь детальнаго изученія, дробленія историческаго матеріала на его составные элементы, выясненія частныхъ и подробностей. Но Толстой совсѣмъ не склоненъ итти по этому пути, какъ не склоненъ видѣть въ своихъ законахъ лишь широкіе факты. Для него они всеобъясняющая и всеохватывающая сила, дающая полное пониманіе всего, не подлежащая разложенію на частныя причины, не поддающаяся детализаціи и всегда глубоко значительная по своему конечному отношенію къ высшимъ провиденціальнымъ цѣлямъ исторіи. Причинъ же историческихъ событій Толстой искать не хочетъ; онъ категорически заявляетъ, что «причинъ историческаго явленія нѣтъ и не можетъ быть, кромѣ единственной причины всѣхъ причинъ. Но есть законы, управляющіе явленіями, отчасти неизвѣстные, отчасти нащупываемые нами.

Въ концѣ концовъ мы должны будемъ прійти къ тому выводу, который легъ въ основу нашихъ разсужденій: Толстой, приписывая исторіи задачу познанія прошлой жизни народовъ во всей ея полнотѣ, открытія всеобъясняющихъ законовъ и отказавшись отъ опредѣленія частныхъ причинъ, отъ детализаціи историческихъ явленій, не показалъ и не могъ показать, какъ возможно осуществить на практикѣ его методологическія требованія, то-есть какъ можно познать жизнь «всѣхъ» и открыть «законы» историческаго развитія, и какимъ образомъ они, эти законы, могутъ объяснить все въ исторіи. И это произошло оттого, что онъ не выяснилъ предварительно нашихъ познавательныхъ средствъ, не выяснилъ, какими путями нашъ разумъ идетъ къ историческому познанію (въ частности къ познанію «законовъ» въ толстовскомъ смыслѣ слова). Пытаясь постигнуть доподлинную историческую дѣйствительность во всей ея полнотѣ, онъ вступилъ въ запретную для науки область и поставилъ нашему познанію неразрѣшимыя задачи; потому его разсужденія въ разсмотрѣнной нами части его философіи исторіи являются бесплодными, его требованія — неосуществимыми.

Пройдетъ немного лѣтъ, и Толстой самъ пойметъ, что наука не можетъ дать человѣку знанія настоящей дѣйствительности и не доставитъ ему абсолютной истины. И тогда, разочаровавшись въ возможности получить отъ науки «все», Толстой не захочетъ взять отъ нея «ничего»; тогда онъ обрушится на науку всѣми силами своего поразительнаго таланта, выставитъ на своемъ знамени презрѣніе къ наукѣ, почти научный агностицизмъ и уйдетъ въ мораль, которая своими категорическими, не знающими сомнѣній и колебаній формулами успокоитъ его мятущійся умъ; и тогда же онъ произнесетъ и свою знаменитую фразу: «единственное знаніе нужное человѣку — это знаніе добра и зла». Мы видимъ, что въ эпоху «Войны и мира» Толстой стоялъ еще на противоположномъ полюсѣ, не ограничивалъ задачъ науки требованіемъ подкрѣплять формулы морали, и видѣлъ, по крайней мѣрѣ въ исторіи, огромную силу, способную объяснить жизнь «всѣхъ», дать полное знаніе о прошлой дѣйствительности, хотя и не дѣлавшую еще этого до сихъ поръ, блуждавшую въ потемкахъ и занимавшуюся вздоромъ.



Не показавъ и не имѣя возможности показать, какъ можно познать всю полноту дѣйствительности научнымъ путемъ, Толстой къ той же самой цѣли — познанію полной исторической правды — пришелъ обходнымъ (конечно, обходнымъ только для науки) путемъ художественнаго творчества. Если нельзя изобразить жизнь всѣхъ, то можно дать типичныя фигуры; такими типичными фигурами являются Платонъ Каратаевъ съ его бессознательной покорностью судьбѣ, Кутузовъ — съ такой же покорностью, но только болѣе сознательной, Пьеръ съ его интеллигентскими исканіями правды, князь Андрей съ его ранней усталостью отъ жизни, княжна Марья съ ея религиозной просвѣтленностью, Наташа съ ея энтузіазмомъ передъ жизнью и т. п. На этомъ пути *художественной типологіи* Толстому, дѣйствительно, удалось создать рядъ поразительно вѣрныхъ и исторически жизненныхъ фигуръ, но это уже — другой путь, далекій какъ отъ научнаго знанія, такъ и отъ предмета настоящей статьи.

### 3.

Выяснивъ отношеніе Толстого къ гносеологическимъ и методологическимъ проблемамъ, обратимся теперь къ области, въ которой онъ гораздо болѣе силенъ, къ его опредѣленію факторовъ историческаго процесса. Уже изъ того, что говорилось выше, ясно, что для Толстого единственнымъ факторомъ историческаго процесса является самъ народъ, «всѣ». Сущность историческаго процесса Толстой видитъ въ сложеніи многихъ силъ, въ суммѣ людскихъ волей. «Движеніе народовъ производитъ... дѣятельность *всѣхъ* людей, принимающихъ участіе въ событіи и соединяющихся всегда такъ, что тѣ, которые принимаютъ наибольшее участіе въ событіи, принимаютъ на себя наименьшую отвѣтственность и наоборотъ». Спорить противъ первой части этой фразы невозможно. Если по причинамъ гносеологическаго характера, мы и не можемъ познать дѣятельность «всѣхъ», то тѣмъ не менѣе мы должны признать, что дѣйствующей силой въ исторіи являются, дѣйствительно, «всѣ», хотя бы мы и не могли узнать эту силу во всей ея настоящей реальности, а судили объ ней по *нѣкоторымъ* признакамъ *нѣкоторыхъ* сторонъ народной жизни. Гораздо болѣе спорными являются выводы изъ этой основной мысли, которые дѣлаетъ Толстой. Ихъ можно свести къ слѣдующему: 1) отдѣльная личность, какъ бы велика она ни была, не играетъ рѣшительно никакой роли въ исторіи и не можетъ ни измѣнить, ни задержать ни одной мельчайшей подробности въ историческихъ событіяхъ; отсюда вытекаетъ толстовская разрушительная критика понятія власти; 2) бессознательное въ качествѣ фактора исторіи дѣйствуетъ глубже и шире сознательнаго, и некультурные люди по душевному содержанію и по моральному уровню выше культурныхъ; 3) свободной воли, какъ историческаго фактора, не существуетъ, потому что она есть только сознаніе нашего разума и подчинена общимъ законамъ природы и исторіи; 4) движущими силами исторіи являются личныя стремленія, а не общественныя, хотя бы люди и принимали участіе въ широкомъ общественномъ движеніи; поэтому и то, что реализируетъ общественная жизнь и ставитъ ее въ опредѣленныя рамки —

учрежденія, образы правленія, законы и т. п. — ничтожныя явленія, не имѣющія никакого историческаго значенія, и историкъ имѣеть право ихъ игнорировать; поэтому же всякая общественная дѣятельность безсодержательна и пуста.

Разсмотримъ эти взгляды Толстого.

По его мнѣнію всѣ, рѣшительно всѣ «новыя» историческія сочиненія писались такъ, что въ нихъ личности были главными дѣйствующими силами исторіи; поэтому всѣ новыя историческія сочиненія носятъ біографическій характеръ. «Новой» исторіи Толстой противопоставляетъ исторію «прежнюю», которая вѣрила въ непосредственное вмѣшательство Божества въ историческія событія и все объясняла вмѣшательствомъ этого Божества. Мы не будемъ здѣсь входить въ подробную критику и разборъ этой слишкомъ рѣшительной антитезы Толстого. Ея несоотвѣтствіе дѣйствительности очевидно. И въ «прежнее» время были историки, которые объясняли историческія событія біографически (возьмемъ хотя бы классическій примѣръ Плутарха); были тогда и представители научнаго мышленія, которые смѣялись надъ привычкой все объяснять вмѣшательствомъ Божества и указывали на значеніе естественныхъ законовъ (какъ бы смутно ни понимались ими эти законы) въ образованіи природы и человѣчества (назовемъ хотя бы эпикурейцевъ и учениковъ Аристотеля). Съ другой стороны и въ новое время до 60-хъ годовъ, въ которые писалась «Война и миръ», были историки, далекіе отъ біографическаго описанія историческихъ событій (назовемъ хотя бы Гердера, у котораго главными силами историческаго развитія является традиція, т.-е. передача унаслѣдованныхъ привычекъ, мыслей, чувствъ, и внѣшнія условія, и Гегеля, для котораго исторія объясняется не біографически, не дѣйствіями личностей, а метафизически — саморазвитіемъ мірового духа). Для насъ важна не эта невѣрность разграниченія Толстымъ «прежней» и «новой» исторіи, а та его критика роли личности въ исторіи, которой нельзя отказать въ сильныхъ мѣстахъ.

Дѣйствительно, историческая наука еще до сихъ поръ грѣшитъ тѣмъ, что такъ наз. «великимъ людямъ» она отводитъ слишкомъ большую роль въ исторіи, и тотъ фактъ, что коллективная жизнь и коллективное сознаніе имѣеть въ исторіи огромный перевѣсъ надъ личной жизнью и личнымъ сознаніемъ еще не является общепризнаннымъ. То рѣзкое противоположеніе героевъ и толпы, которое мы находимъ у Карлейля, теперь уже рѣдко заявляется въ своей прежней категорической формѣ, но до сихъ поръ многіе не могутъ отрѣшиться отъ прямо выражаемаго или въскрытой формѣ проскальзывающаго взгляда, что выдающійся человѣкъ есть организующая сила, а масса — косная и тупая матерія; идеи великихъ людей еще часто представляются въ историческихъ сочиненіяхъ лучомъ свѣта, указывающимъ выходъ для блуждающей впотьмахъ массы; еще до сихъ поръ настоящими творцами исторіи во многихъ историческихъ работахъ являются «великіе люди», гении, выводящіе народы на новые пути, указывающіе имъ новыя перспективы. Между тѣмъ самое противоположеніе «великихъ людей» и толпы должно было бы уже утратить теперь всякій смыслъ. Дѣйствительность не отвѣчаетъ этому противоположенію; никогда не бываетъ такъ, чтобы та или иная идея великаго мыслителя, тотъ или другой приказъ великаго полководца непосредственно воспринимались массой; великая идея находитъ себѣ тысячи популяризаторовъ, которые приспо-

соблюютъ ее къ практическимъ нуждамъ времени, къ задачамъ современности или ближайшаго будущаго; до сознанія общества она доходитъ въ этомъ измѣненномъ видѣ, а затѣмъ еще разъ претерпѣваетъ измѣненіе въ умахъ рядовыхъ представителей толпы, приспособляющихъ ее къ своему развитію и къ своимъ интересамъ. Припомнимъ безчисленные споры политическихъ партій, которыя хотятъ видѣть «своего» чуть не въ каждомъ выдающемся человѣкѣ, уже отошедшемъ въ исторію и не имѣющемъ возможности самостоятельно заявить о своихъ симпатіяхъ тѣмъ или другимъ; припомнимъ хотя бы то, что гегельянствомъ сначала прикрывались реакціонеры и консерваторы, а затѣмъ подъ знаменемъ этого же гегельянства пошла социаль-демократія. Припомнимъ, наконецъ, что многія великія идеи погибали безъ всякаго слѣда, затеривались, если большія общественныя группы не дѣлали ихъ своими лозунгами, если цѣлая плеяда послѣдователей не подхватывала ихъ и не подвергала тщательной обработкѣ; такъ было съ Леонардо-да-Винчи; то же произошло и съ русскимъ геніемъ Ломоносовымъ. Въ сущности судьбу всякой идеи опредѣлялъ всегда не тотъ, кто ее высказалъ, а тѣ, кто ее воспринимали. Да и самая идея, прежде чѣмъ она кѣмъ-либо высказывалась въ достаточно опредѣленной доказательной формѣ, часто какъ бы носилась ранѣе въ воздухѣ, повторялась разными людьми на разные лады въ менѣе ясныхъ, менѣе обоснованныхъ формахъ. То же самое происходитъ и съ приказаніями всякихъ властей. Они воспринимаются не въ той формѣ, въ какой высказываются полководцами или законодателями, а въ той, какой донесутъ ее до массъ подчиненные высшимъ властямъ органы; они воспринимаются при этомъ по разному различными общественными группами и даже разными людьми. Въ одной средѣ приказъ или законъ окажется вполне исполнимымъ, въ другой — онъ останется мертвой буквой; до нѣкоторыхъ группъ онъ можетъ совсѣмъ не дойти. И здѣсь центръ тяжести лежитъ не въ тѣхъ, кто проявляетъ актъ власти, а въ тѣхъ, кто его воспринимаетъ. Толстой съ огромной художественной силой показалъ намъ это безсиліе личности передъ лицомъ толпы, массы. Описаніе массовыхъ движеній въ «Войнѣ и мирѣ» — сраженій, оставленія русскими Москвы, уходъ французовъ изъ Россіи — это художественная иллюстрація къ основной философско-исторической мысли Толстого, что исторіей движутъ не отдѣльныя личности, а народныя массы. Всякія власти, изображающія себя вершителями судебъ, начиная отъ Наполеона, представлены у Толстого въ комическомъ видѣ: имъ только кажется, что они руководятъ сраженіями, а на самомъ дѣлѣ онѣ только пассивныя орудія судьбы, ничтожества, пассивно идущія за развертывающимися передъ ихъ глазами величественными и грозными событіями; въ сравненіи съ грознымъ величіемъ этихъ событій ихъ высокопарные приказы, ихъ шумливое поведеніе производятъ только смѣшное и досадное впечатлѣніе моськи, воображающей, что она сильна. Читатель помнитъ обычную картину сраженій въ описаніяхъ Толстого: ни одно приказаніе не доходитъ до цѣли, ничей планъ не осуществляется; исходъ сраженій рѣшаютъ не генералы, а первый рядовой, который закричитъ «пропали» или со знаменемъ въ рукахъ побѣдить впередъ. Герои Толстого — не полководцы, не министры и не ученые, а никому неизвѣстные люди, въ родѣ штабсъ-капитана Тушина или рядового Платона Каратаева. Лучшее, что можетъ сдѣлать полководецъ, чтобы не



выставлять себя въ комическомъ свѣтѣ, — это дѣлать видъ, что все совершающееся по волѣ обстоятельствъ, — совершается по его желанію; такъ поступаетъ Кутузовъ, который «зналъ и старческимъ умомъ понималъ, что руководить сотнями тысячъ человѣкъ, борющихся со смертію нельзя одному человѣку» и «не дѣлалъ никакихъ распоряженій, а только соглашался или не соглашался на то, что ему предлагали».

Отъ историковъ, которые объясняютъ главнѣйшія событія воздѣйствіемъ власти, Толстой требуетъ разрѣшенія проблемы власти. Если власть совершаетъ огромной возможности дѣйствія, если она двигаетъ народами, то что такое эта власть, и въ чемъ ея сила? Толстой подвергаетъ критикѣ понятіе власти и доказываетъ, что обычное опредѣленіе этого понятія, которое клонится къ тому, чтобы придать власти характеръ реальной силы, могущественнаго фактора исторіи, и состоитъ въ томъ, что власть есть совокупность воли массъ, переносимыхъ на правителей безусловно, подъ опредѣленными условіями или подъ неизвѣстными намъ условіями — это обычное понятіе не выдерживаетъ никакой критики. Мы не будемъ слѣдовать за Толстымъ въ этой критикѣ, которой нельзя отказать въ логической силѣ; для насъ важенъ только результатъ этой критики, сходящейся съ общимъ направленіемъ Толстовскаго міросозерцанія въ періодъ «Войны и мира», — результатъ, заключающійся въ томъ, что власть есть историческій нуль, которымъ нельзя объяснить массовыхъ явленій, «потому что сила, двигающая народами лежитъ не въ историческихъ лицахъ (прибавимъ отъ себя — обладающихъ властью), а въ самихъ народахъ»; теорія власти для Толстого очевидная бессмыслица, и историковъ, объясняющихъ все воздѣйствіемъ власти, онъ сравниваетъ съ тѣмъ, кто «глядя надвигающееся стадо и не принимая во вниманіе ни различной доброты пастбища въ разныхъ мѣстахъ поля, ни погони пастуха, судилъ бы о причинахъ того или другого направленія стада по тому, какое животное идетъ впереди стада». Толстой думаетъ, что приказывающій человѣкъ принимаетъ въ дѣйствіи, которымъ онъ распоряжается, наименьшее участіе, во-первыхъ, потому что онъ одинъ, а дѣйствія совершаются массой людей, а во-вторыхъ, потому что непосредственнаго участія въ событіи онъ принимать не можетъ, ибо вся его дѣятельность направлена на одно приказываніе; въ результатѣ приказы остаются приказами, а ходъ событій идетъ своимъ чередомъ независимо отъ этихъ приказовъ.

Въ литературѣ о «Войнѣ и мирѣ» Толстому ставился упрекъ<sup>1)</sup>, что онъ совершенно безпричинно нападаетъ на историковъ за то, что они не опредѣляютъ понятія власти, не выясняютъ въ чемъ ея сила; по мнѣнію авторовъ этого упрека, всякая наука можетъ пользоваться нѣкоторыми понятіями какъ фактами, оставляя на долю другихъ наукъ объясненіе этихъ понятій. Такъ и для историковъ власть должна быть фактомъ, а объяснить ея вліяніе на людей должна психологія или философія права. Упрекающіе Толстого были бы правы, если бы Л. Н. дѣйствительно видѣлъ во власти — фактъ, историческую реальность, подлежащую объ-

<sup>1)</sup> См. «Русская Мысль», 1911 іюль, М. М. Рубинштейнъ: Философія исторіи въ романѣ Л. Н. Толстого «Война и миръ».

ясненію кѣмъ-бы то ни было. Но дѣло въ томъ, что для него власть не есть историческій фактъ, не есть дѣйствительная сила; поэтому, въ сущности Толстой упрекаетъ историковъ не въ томъ, что они не выясняютъ понятія власти, а въ томъ, что они за причину явленій считаютъ то, что такой причиной быть не можетъ, что не годится для объясненія явленій. Съ точки зрѣнія логической послѣдовательности своихъ разсужденій Толстой долженъ былъ выяснитъ эту (въ его глазахъ) ошибку историковъ, и имѣлъ право упрекнуть ихъ въ томъ, что они оперировали съ исторической фикціей. Припомнимъ, что по мнѣнію Л. Н. всякое приказаніе только тогда привлекаетъ къ себѣ вниманіе, когда оно совпадаетъ съ идущимъ независимо отъ него ходомъ событій, что масса другихъ приказаній не исполняется и на нихъ никто не обращаетъ вниманія. Какъ же было Толстому не указать на эту, по его мнѣнію, близорукость историковъ, считающихъ за реальную причину событій то, что только случайно совпадало со стихійнымъ ихъ ходомъ?

Другой вопросъ, насколько былъ правъ Толстой, считая власть историческимъ нулемъ. Съ этимъ трудно согласиться. Можно не считать власть творящей силой, можно отказывать личности въ роли провозвѣстницы новыхъ путей для блуждающаго впотьмахъ человѣчества, но нельзя отрицать ея организующей роли. Не будь Наполеона, явился бы какой-нибудь другой генераль во Франціи, который повелъ бы французовъ на завоеванія; суть не въ личности Наполеона, а въ общихъ условіяхъ, въ которыхъ находилась французское общество и Европа конца XVIII и начала XIX вѣка. Но думать, что безъ всякаго воздѣйствія со стороны власти французы двинулись бы на Европу, и что съ этимъ движеніемъ приказанія Наполеона только совпали, что и безо всякихъ полководцевъ французы все равно пошли бы противъ Европы, значитъ закрывать глаза на дѣйствительность. Какой-нибудь предводитель, какой-нибудь организаторъ для французовъ все-таки былъ необходимъ, будь то Наполеонъ или кто-нибудь другой. Войска, двигающіяся противъ врага безо всякой организаціи, безъ предводителей и безъ приказовъ, повинувшись лишь какой-то темной силѣ, неопредѣленному влеченію, — такой же историческій *nonsens*, какъ и власть, оперирующая надъ совершенно пассивнымъ и во всемъ ей поддающимся матеріаломъ. Не даромъ Л. Н., подчеркивая то высшее политическое чутье, которымъ обладалъ Кутузовъ и которое заставляло его сознательно уклоняться отъ руководства военными дѣйствіями, все-таки заставляетъ его не только дремать во время сраженій, но и соглашаться съ одними предложеніями и не соглашаться съ другими. Слѣдовательно, его отношеніе къ происходившему было не исключительно пассивнымъ, и въ чемъ-нибудь его руководство все-таки выражалось.

Характерно то сравненіе изъ области математики, которымъ Толстой оправдываетъ свое пренебреженіе къ героямъ и власти и свой интересъ къ незамѣтнымъ людямъ, — Тушинымъ, Каратаевымъ, Тимохинымъ и др. Этихъ маленькихъ людей Л. Н. уподобляетъ математическимъ дифференціаламъ; задача исторіи должна заключаться, по мнѣнію Л. Н., въ томъ, чтобы выучиться интегрировать эти историческіе дифференціалы. «Придя къ безконечно малому, говоритъ онъ, математика, точнѣйшая изъ наукъ, оставляетъ процессъ дробленія и приступаетъ къ новому процессу суммированія неизвѣстныхъ безконечно малыхъ. Отступая отъ понятія

о причинѣ математика отыскиваетъ законъ, т.-е. свойства, общія всѣмъ неизвѣстнымъ безконечно малымъ элементамъ... И если исторія имѣетъ предметомъ изученіе движеній народовъ и человѣчества, а не описаніе эпизодовъ изъ жизни людей, то она должна, отстранивъ понятіе причинъ, отыскивать законы, общіе всѣмъ *равнымъ*<sup>1)</sup> и неразрывно связаннымъ между собою безконечно малымъ элементамъ свободы». Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Только допустивъ безконечно малую единицу для наблюденій — дифференціалъ исторіи, т.-е. однородныя влеченія людей и достигнувъ искусства интегрировать (брать суммы этихъ безконечно малыхъ), мы можемъ надѣяться на постигновеніе законовъ исторіи». Это сравненіе рядовыхъ людей, интегрированіе которыхъ даетъ настоящаго творца исторіи — «всѣхъ», — съ математическимъ понятіемъ дифференціаловъ, равныхъ другъ другу, — вскрываетъ одну изъ главнѣйшихъ ошибокъ философіи исторіи Толстого. Въ его представленіи толпа, масса состоитъ изъ однообразныхъ личностей, равныхъ другъ другу по основнымъ своимъ влеченіямъ, по своимъ интересамъ и инстинктамъ. Тонкій аналитикъ въ художественномъ творествѣ, вскрывающій безконечное разнообразіе человѣческихъ индивидуальностей, создающій въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ рядъ колоритныхъ типовъ, — Толстой въ своей философіи исторіи изъ симпатіи къ рядовымъ людямъ, къ массѣ не хочетъ слышать о различіяхъ между людьми и подводитъ всѣхъ подъ одинъ шаблонъ. Этимъ онъ сразу закрываетъ всякую дорогу къ классовой исторіи, къ раздѣленію людей на группы по основнымъ ихъ интересамъ, ко всякаго рода общественной дифференціаціи. Исторія не знаетъ типа *человѣка вообще*, она имѣетъ дѣло только съ людьми опредѣленныхъ историческихъ моментовъ, опредѣленныхъ общественныхъ слоевъ и опредѣленныхъ этнографическихъ типовъ; и Толстой, упрекая историковъ въ томъ, что они не считаются съ «законами статистики, географіи, политической экономіи, сравнительной филологіи и геологіи», въ сущности самъ, признавая основное однообразіе «безконечно малыхъ» человѣческой исторіи, и не желая знать, что именно эти географическія, экономическія и пр. условія постоянно нарушаютъ это однообразіе, — впадаетъ въ ту же самую ошибку.

И все-таки, несмотря на эту попытку придать личности, какъ агенту человѣческаго развитія, отвлеченно-математическій характеръ, толстовская философія исторіи чужда всякаго гипостазированія, всякаго желанія подмѣнивать реальныя силы отвлеченными понятіями. Всюду у Толстого дѣйствующими силами исторіи являются реальные люди, а не отвлеченія. Только въ одномъ случаѣ Л. Н. отступилъ отъ этого реализма въ своемъ философско-историческомъ построеніи, именно когда попытался объяснить историческое развитіе дѣйствіемъ законовъ, какъ отвлеченныхъ силъ, подчиняющихъ себѣ человѣческія дѣйствія съ принудительной силой. Во всѣхъ другихъ случаяхъ его единственный историческій факторъ «всѣ» — является простой совокупностью вполне реальныхъ человѣческихъ единицъ. И онъ рѣшительно вооружается противъ всякой попытки поставить каксе-либо отвлеченіе — будь то понятіе власти, государства или стремленіе къ свободѣ, просвѣщенію, братству — на мѣсто живыхъ людей въ качествѣ исто-

<sup>1)</sup> Курсивъ нашъ.



рического фактора. Критикуя эти понятія, онъ отказывается видѣть въ нихъ реальныя силы именно потому, что дѣйствія этихъ понятій не видно на опытѣ, что они не разлагаются на реальныя явленія. «Актъ перенесенія воли народовъ не можетъ быть провѣренъ, потому что онъ никогда не существовалъ», говоритъ Толстой, и это несоотвѣтствіе теоріи съ реальными фактами для него вполне достаточное основаніе, чтобы отбросить теорію.

Свобода для него не можетъ быть историческимъ факторомъ, потому что для исторіи признаніе свободы, какъ силы, могущей вліять на историческія событія, ...«уничтожаетъ возможность какого бы то ни было знанія». Въ этомъ отношеніи Л. Н. вполне сходится съ современными социологами. Дюркгеймъ, напр., говоритъ<sup>1)</sup>, что социальная наука «должна отправляться не отъ понятій, образовавшихся безъ нея, а отъ ощущеній», что «она должна заимствовать прямо у чувственныхъ данныхъ элементы своихъ первоначальныхъ опредѣленій», и что социологія должна съ самого начала вступить въ сферу реального. Другой видный современный социологъ — Зиммель — въ своей «Соціальной дифференціаціи» утверждаетъ въ сущности то же: «вѣдь осязательно существуютъ только отдѣльные люди и ихъ состоянія и движенія; поэтому задача социологіи можетъ заключаться только въ томъ, чтобы понять ихъ»...

#### 4.

Въ тѣсной связи съ отрицаніемъ роли личности въ исторіи стоитъ тотъ культъ бессознательныхъ силъ и стихійныхъ началъ, которымъ проникнута вся національная поэма Толстого. Если личность ничего не можетъ измѣнить въ исторіи, не значить ли это, что всякое усиліе человѣческаго сознанія останется безплоднымъ по своему конечному эффекту и потонетъ въ морѣ коллективныхъ дѣйствій массы? «Если допустить, что жизнь человѣческая можетъ управляться разумомъ, — то уничтожится возможность жизни», говоритъ Толстой. Не лучше ли поэтому вообще отказаться отъ всякаго сознательнаго вмѣшательства въ ходъ событій, и, покорно склонивъ шею передъ неумолимыми и стихійными историческими процессами, постараться слить наше личное сознаніе съ коллективнымъ сознаніемъ массы? На эти вопросы у Толстого не могло быть другого отвѣта, кромѣ утвердительнаго. Разъ масса сильнѣе личности, то и всякая борьба съ массовыми движеніями и съ массовымъ сознаніемъ является совершенно бессмысленной. И съ ѣдкимъ сарказмомъ, съ уничтожающей ироніей Л. Н. обрушивается на всѣхъ тѣхъ, кто пытается ставить себя выше толпы, кто вѣритъ въ чудодѣйственную силу актовъ личнаго человѣческаго сознанія, между ними главнымъ образомъ на Наполеона.

Нельзя не видѣть въ этихъ нападкахъ Толстого на сознаніе нѣкотораго недоразумѣнія; вѣдь то, что мы называемъ массой, не есть что-то единое, цѣльное въ своихъ составныхъ частяхъ. Нѣтъ общенароднаго міросозерцанія, какъ нѣтъ единой народной души. Внутри самой массы идетъ постоянная борьба, и масса распадается всегда по своимъ интересамъ, взглядамъ и настроеніямъ на много группъ, между которыми происходятъ постоянныя столкновенія. Для обществен-

<sup>1)</sup> Въ «Методѣ социологіи».

наго дѣателя — современника этой борьбы — вопросъ не разрѣшается просто тѣмъ, стать ли ему на сторону массоваго сознанія или предпочесть ему свои личные взгляды; вопросъ для него заключается скорѣе въ томъ, какая изъ борющихся сторонъ преслѣдуетъ благо большинства или чьи взгляды соотвѣтствуютъ интересамъ народнаго цѣлаго. И для того, чтобы рѣшить этотъ вопросъ, ему необходимо пустить въ ходъ свое сознаніе: иначе, слѣдуя своимъ безсознательнымъ влеченіямъ, общественный дѣатель рискуетъ принять за путь, указываемый коллективнымъ сознаніемъ массы, мнѣнія и настроенія ничтожной кучки окружающихъ его людей. Вѣдь и Наполеонъ думалъ, что онъ идетъ по своему пути завоеваній, повинувся голосу всей Франціи...

Толстой еще больше усугубляетъ это недоразумѣніе, когда вслѣдъ за заявленіемъ, что масса *сильнѣе* личности, онъ дѣлаетъ логическій скачокъ и приходитъ къ заключенію, что массовое сознаніе *глубже, правдивѣе и сыше* личнаго. Хотя эта мысль и не высказывается Толстымъ въ той категорической опредѣленности, въ какой мы ее здѣсь приводимъ, но она сквозитъ повсюду и въ его художественныхъ характеристикахъ (особенно, конечно, въ характеристикѣ Платона Каратаева) и въ его теоретическихъ разсужденіяхъ. Для Толстого массовое сознаніе — не только огромная сила, противъ которой *безполезно* бороться, но и настоящая правда жизни, съ которой *грѣшно* спорить. Трудно придумать болѣе сильную антитезу индивидуализму всѣхъ временъ, чѣмъ это преклоненіе Толстого передъ безсознательными проявленіями стихійной жизни...

При всей непослѣдовательности разсужденій Л. Н. Толстого относительно значенія сознательнаго и безсознательнаго въ исторической жизни, нельзя не отмѣтить въ его культѣ безсознательныхъ силъ, насколько онъ смотритъ на нихъ, какъ на факторъ исторіи, здоровой и сильной стороны. Въ современной психологіи все болѣе и болѣе выясняется фактъ, что наша психическая жизнь въ значительной степени происходитъ «подъ порогомъ сознанія»; мы не являемся творцами нашей мысли и жизни, а нами независимо отъ нашего сознанія руководить рядъ унаслѣдованныхъ привычекъ, затверженныхъ понятій, готовыхъ формулъ, рефлексивныхъ процессовъ и т. п.; сознаніе наше гораздо чаще выступаетъ въ роли регистрирующаго агента, чѣмъ творящаго. Толстой на цѣломъ рядѣ примѣровъ показалъ, какъ жизнь массы и отдѣльныхъ людей подчиняется такимъ безсознательнымъ влеченіямъ, какъ крупнѣйшія историческія событія разыгрываются чисто стихійно. Припомнимъ его описаніе оставленія Москвы русскими послѣ Бородинскаго боя. Москва по описанію Л. Н. въ это время домирала, какъ домираетъ обезматочившійся улей, въ которомъ уже нѣтъ жизни. Москва опустѣла не потому, что это было къ-мъ-либо рѣшено, не потому, что этого сознательно захотѣли ея жители, а потому, что какая-то стихійная сила потянула ея жителей вонъ изъ столицы. Припомнимъ еще сравненіе французскаго войска послѣ Бородина съ «разъяреннымъ звѣремъ, получившимъ въ своемъ разбѣгѣ смертельную рану»; «но оно не могло остановиться», продолжаетъ Толстой, «такъ же, какъ и не могло отклониться вдвое слабѣйшее русское войско. Послѣ даннаго толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но тамъ безъ новыхъ усилій со стороны русскаго войска оно должно было погибнуть, истекая кровью отъ смертельной,

нанесенной въ Бородинѣ, раны». И здѣсь Л. Н. отмѣчаетъ стихійность движенія французскаго войска, независимость его отъ какихъ бы то ни было сознательныхъ соображеній нашего разсудка.

Культь «безсознательнаго» заставляетъ Толстого интересоваться некультурными людьми, «простыми душами», чуждыми всякой рефлексіи и живущими инстинктами. Въ этомъ видѣли руссоизмъ, построенный на этическихъ основаніяхъ отверженія ложной современной культуры и превознесенія въ противовѣсъ ей душевной чистоты дѣтей природы. Съ этимъ можно и нужно согласиться. Но въ своемъ интересѣ къ простымъ душамъ Л. Н. подаетъ руку не только далекому отъ насъ философу XVIII столѣтія, но и одному изъ современныхъ направленій научнаго мышленія — этнологіи. Современная этнологія такъ сильно интересуется некультурнымъ человѣкомъ потому, что въ немъ она видитъ основу всей позднѣйшей культуры, въ построенныхъ имъ порядкахъ — упрощенный до наглядной ясности рисунокъ всякаго общественнаго строенія. Интересъ къ некультурному человѣку, это — интересъ къ тому фундаменту, на которомъ построено все современное общество; для насъ важно знать переживанія простыхъ, живущихъ безсознательной жизнью людей такъ же, какъ важно знать начало всякой цѣпи событій, — какъ нельзя понять всей линіи развитія, если не знать ея исходнаго пункта. Толстой, отрицавшій науку объ обществѣ, не интересовавшійся, какъ увидимъ ниже, общественной жизнью людей, тѣмъ не менѣе создалъ рядъ чисто этнологическихъ типовъ, (напр., Марьяны, дяди Ерошки въ «Казакахъ», Каратаева въ «Войнѣ и мирѣ» и др.), дающихъ богатый матеріалъ для сужденія о чувствахъ и настроеніяхъ первобытныхъ людей. Некультурные люди у Л. Н. — это не носители прекраснодушныхъ чувствъ, какъ у Руссо, а живыя лица, созданныя изъ плоти и крови, и характеристика ихъ безсознательныхъ переживаній и стихійныхъ влеченій — жизненно вѣрная картина почти этнографическаго характера.

Въ тѣсной связи съ отрицаніемъ роли личности и съ культомъ безсознательнаго стоитъ у Толстого отрицаніе свободы воли. Если личность безсильна въ исторіи, если наше сознаніе только послушное орудіе въ рукахъ безсознательныхъ силъ, то, слѣдовательно, и наша индивидуальная воля подчинена общимъ великимъ законамъ и стихійнымъ теченіямъ. «Если даже одинъ человѣкъ изъ милліоновъ въ тысячелѣтній періодъ времени имѣлъ возможность поступить свободно, т.-е. такъ, какъ ему захотѣлось», говоритъ Толстой, «то очевидно, что одинъ свободный поступокъ этого человѣка, противный законамъ, уничтожаетъ возможность существованія какихъ бы то ни было законовъ для всего человѣчества». Свобода воли для Толстого существуетъ только какъ сознаніе нашего разума, правда «непоколебимое, неопровержимое, не подлежащее опыту и разсужденію..., признаваемое всѣми мыслителями и ощущаемое всѣми людьми безъ исключенія», но не теряющее отъ этого своего иллюзорнаго характера. Толстой подвергаетъ это сознаніе свободы довольно подробному разбору и доказываетъ, что сознаніе свободы тѣмъ болѣе увеличивается, 1) чѣмъ болѣе изолированнымъ отъ внѣшняго міра является человѣкъ («дѣйствія человѣка, связаннаго семьей, службой, предпріятіями представляются несомнѣнно менѣе свободными и болѣе подлежащими необходимости, чѣмъ дѣйствія человѣка одинокаго и уединеннаго»); 2) чѣмъ



дальше по времени отстоять от нас то или другое событие (австро-прусскую войну мы еще можем представлять себя «последствием действий хитрого Бисмарка», но переселение народов никто уже не будет объяснять произвольными действиями Аттилы); 3) чем меньше оно нам понятно и чем оно сложнее («свобода для истории есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о законах жизни человека»). Из этого вытекает, что для того, чтобы представить себя совершенно свободного человека «не подлежащего закону необходимости, мы должны представить его себя одного вне пространства, вне времени и вне зависимости от причин», что очевидно невозможно.

Во всех этих рассуждениях Толстой понимает несвободу в смысле причинной обусловленности, и с ним здесь невозможно не согласиться. Но у него есть ряд других выражений, где понятие причинной обусловленности он подменяет понятием гнетущей, непреодолимой силы, принудительно действующей на людскую волю. «Ходь мировых событий предопределен свыше»..., говорит Толстой в одном месте, а в другом он выражается еще более определенно: «Провидение заставляло всех этих людей, стремясь к достижению своих личных целей, содействовать исполнению одного огромного результата, о котором ни один человек не имел ни малейшего чаяния. Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле не произвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно». В связи с этим понятием рока и Провидения выступает на сцену вышеприведенное толстовское понимание законов, понимаемых в качестве непреодолимой, принудительно действующей силы. Здесь Толстой является перед нами уже не защитником причинной обусловленности явлений, а фаталистом и провиденциалистом, верящим в изначальную предопределенность человеческих судеб. Конечно, провиденциализм Толстого это не наивный провиденциализм средневекового человека, верящего в постоянное вмешательство Божества в человеческую жизнь, в руководство им человеческими судьбами. Толстовский провиденциализм скорее похож на убеждение деистов XVIII века, что Бог, как добросовестный часовщик, с самого начала завел и пустил в действие машину человеческой истории, но затем больше уже никогда не вмешивался в ее ход и не нарушал ее правильности. Провидение, в глазах Толстого, только причина всех причин, а не внешняя сила, постоянно вторгающаяся в естественное течение вещей. Но во всяком случае убеждение в изначальной предопределенности всех вещей класть в основу мирового плана личную волю, хотя бы эта воля и проявилась только однажды, — в момент заложения Божеством первого камня человеческой истории; а это плохо гармонирует и с другими сторонами толстовской философии истории, и вообще с научным мировоззрением.

## 5.

Переходим теперь к последнему выводу Толстого из его основного положения, что движет историей коллективная воля масс. Толстой рассуждает так: масса людей, огромное большинство их руководится в своей жизни лишь

личными интересами, повинуюсь инстинктамъ здороваго тѣла и голосу неисторченной природы; лишь немногіе честолюбцы, стремящіеся къ личному возвышенію, обманываютъ себя и другихъ, увѣряя, что имъ извѣстно, въ чемъ заключается истинное благо человѣчества, и поднимаютъ крикливую и назойливую шумиху общественной дѣятельности. О людяхъ 12 года Толстой пишетъ: «большая часть людей того времени не обращала никакого вниманія на общій ходъ дѣлъ, а руководилась только личными интересами настоящаго. И эти то люди были самыми полезными дѣятелями того времени». Въ другомъ мѣстѣ, нападая на суетную общественную жизнь, Л. Н. въ противовѣсъ ей характеризуетъ жизнь настоящую, какъ полную «существенными интересами здоровья, болѣзни, труда, отдыха, съ ея интересами мысли, науки, поэзіи, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей». Эта настоящая жизнь идетъ по мнѣнію Л. Н. независимо отъ всякихъ политическихъ волненій и «внѣ всевозможныхъ преобразованій». Толстой придаетъ серіозное значеніе только личнымъ интересамъ индивидуальной жизни; вся же общественная жизнь со всѣми ея дѣятелями — только суета и пустословіе. Припомнимъ ироническіе и непріязненные отзывы Л. Н. о крупныхъ общественных дѣятеляхъ самыхъ противоположныхъ направленій — Сперанскомъ, князѣ Василии Курагинѣ, Аракчеевѣ. Припомнимъ, что въ его глазахъ «приказывающіе принимаютъ наименьшее участіе въ самомъ событіи, потому что ихъ дѣятельность направлена исключительно на приказываніе». По мнѣнію Толстого, даже и стремленіе къ общественному благу чуждо нормальнымъ людямъ и за нимъ почти всегда скрывается стремленіе къ личному счастью или самоуспокоенію; «для человѣка, не одержимаго страстью, — говоритъ Л. Н. — *bien public* никогда не извѣстно; но человѣкъ, совершающій преступленіе, всегда вѣрно знаетъ, въ чемъ состоитъ это благо». Если это такъ, то и результатъ общественной дѣятельности — законы, образы правленія, учрежденія, — тоже не имѣютъ никакого значенія. И дѣйствительно въ своемъ романѣ Толстой ни слова не говоритъ объ общественныхъ формахъ, какъ о реальномъ факторѣ исторіи. А пройдетъ еще немного времени, и онъ обрушится на всѣ общественныя организаціи и формы, — на государство, церковь, судъ, войско, — и объявитъ ихъ главнымъ зломъ и прошлой, и настоящей жизни.

Если мы проанализируемъ это отрицаніе Л. Н. Толстымъ всякой общественной дѣятельности, то найдемъ, что оно складывается изъ двухъ элементовъ: изъ предпочтенія всего массоваго и коллективнаго — личному и изъ осужденія всякой сознательной дѣятельности. Въ глазахъ Л. Н. общественные дѣятели — это единичныя лица, пытающіяся по своему передѣлать жизнь массъ; а онъ такъ глубоко уважалъ народныя массы, что въ послѣднія десятилѣтія своей жизни проклялъ даже свой собственный геній, выдѣлившій его изъ массъ. Съ другой стороны общественные дѣятели свой разумъ и свое пониманіе жизни ставятъ выше стихійно текущихъ историческихъ процессовъ, не понимая, что въ безсознательныхъ влеченіяхъ и инстинктахъ рядовыхъ людей больше правды и глубины, чѣмъ въ сознательныхъ умствованіяхъ тѣхъ, кто себя считаетъ вождями общества. Поэтому-то отрицательное отношеніе къ общественной дѣятельности находится у Л. Н. въ тѣсной связи съ остальными частями его философіи исторіи и является ея необходимымъ слѣдствіемъ.

## 6.

Мы подходимъ теперь къ заключительной части нашей работы, къ вопросу о томъ, видѣлъ ли Толстой планъ и смыслъ въ историческомъ процессѣ, считаль ли онъ исторію направленной къ какой-либо опредѣленной цѣли и находилъ ли онъ возможнымъ узнать эту цѣль; это вопросы, связанные съ тѣмъ или инымъ отношеніемъ Л. Н. къ *результатамъ* историческаго развитія (а не къ *факторамъ* его, о чемъ мы говорили раньше). Здѣсь же намъ придется коснуться и того, есть ли у Толстого, какой-либо критерій для оцѣнки личностей, народовъ и эпохъ въ историческомъ прошломъ. Отвѣтъ на эти вопросы отчасти уже находится на предыдущихъ страницахъ, потому что при всемъ обиліи противорѣчій въ міровоззрѣніи Л. Н. въ мелочахъ, въ общемъ онъ держится съ большой послѣдовательностью (мы имѣемъ въ виду лишь эпоху «Войны и мира») однихъ и тѣхъ же основныхъ принциповъ.

Мы уже видѣли, что Толстой считаль личную жизнь гораздо серіознѣе и глубже общественной; но тѣмъ не менѣе онъ не могъ отрицать существованія въ ней смысла. Какъ выше указывалось, Толстой вѣрилъ въ то, что толчокъ человѣческой исторіи данъ Провидѣніемъ, которое предопредѣлило и ея исходъ. Онъ былъ слишкомъ религіознымъ человѣкомъ, чтобы допустить, что Богъ заставилъ людей претерпѣвать различныя измѣненія образовъ правленія, разрушительныя революціи и войны безъ всякаго смысла; для него было очевидно, что разъ всѣ тѣ перипетіи, которыя переживаетъ человѣческій родъ, провиденціально предопредѣлены, то въ нихъ есть смыслъ. Но Л. Н. считаетъ, что этотъ смыслъ недоступенъ для людскаго пониманія, и всякое стремленіе искать его онъ объявляетъ безплоднымъ. Историки, по мнѣнію Л. Н., «профессируютъ знаніе конечной цѣли движенія человѣчества», и такъ какъ эта конечная цѣль имъ все-таки не можетъ быть понятна, то для объясненія непонятнаго они подставляютъ понятія «генія» и «случая». «Стоитъ только признать», говоритъ онъ, «что *цѣль волненій европейскихъ народовъ намъ неизвѣстна*, а извѣстны только факты..., намъ не только не нужно будетъ видѣть исключительность и геніальность въ характерахъ Наполеона и Александра, но нельзя будетъ представить себѣ эти лица иначе, какъ такими же людьми, какъ и всѣ остальные»... «Только отрѣшившись отъ знанія близкой понятной цѣли», говоритъ онъ нѣсколькими строками ранѣе, «и признавъ, что *конечная цѣль намъ недоступна*, (курсивъ нашъ) мы увидимъ цѣлесообразность въ жизни историческихъ лицъ», т.-е. объяснимъ ее не по отношенію къ конечной цѣли, которую они будто бы геніально предвосхитили, а просто и естественно». Л. Н. рѣзко нападаетъ на тѣхъ историковъ, которые думаютъ, что имъ извѣстна цѣль историческаго движенія. «Поставивъ за цѣль движенія человѣчества какое-нибудь отвлеченіе<sup>1)</sup>, историки изучаютъ людей, оставившихъ по себѣ наи-

<sup>1)</sup> Строкой ранѣе Л. Н. перечисляетъ возможныя изъ этихъ «отвлеченій»: «свобода, равенство, просвѣщеніе, прогрессъ, цивилизація, культура».



большее число памятниковъ, — царей, министровъ, полководцевъ, сочинителей, реформаторовъ, папъ, журналистовъ, по мѣрѣ того, какъ всѣ эти лица, по ихъ мнѣнію, содѣйствовали или противодѣйствовали извѣстному отвлеченію». «Нужно признать, говоритъ Л. Н., что эти отвлеченія продуктъ однихъ только нашихъ субъективныхъ симпатій, а судьбы народовъ въ рукахъ Божіей»; именно это выраженіе о рукахъ Божіей Толстой и употребляетъ, когда говоритъ объ Александрѣ I послѣ освободительныхъ войнъ: «Александръ I, исполнивъ свое призваніе и почуявъ на себѣ *руку Божію (курсивъ нашъ)* вдругъ признаетъ ничтожность этой мнимой власти, отворачивается отъ нея... и говоритъ только: не намъ, не намъ, а имени Твоему! я человекъ тоже, какъ и вы; оставьте меня жить, какъ человекъ, и думать о своей душѣ и о Богѣ».

Эти послѣднія слова даютъ ключъ ко всей философіи Л. Н. въ періодъ «Войны и мира»: центръ тяжести для него лежитъ въ томъ, чтобы найти смыслъ не общей, а индивидуальной жизни; если для насъ неисповѣдимы пути Божіи въ ихъ общечеловѣческомъ охватѣ, то зато вполне ясно, въ чемъ долженъ заключаться смыслъ жизни личной, — это «думать о своей душѣ и о Богѣ», ибо «каждая личность носить въ самой себѣ свои цѣли и между тѣмъ носить ихъ для того, чтобы служить недоступнымъ человѣку цѣлямъ общимъ». Иначе говоря, человекъ долженъ заботиться о томъ, чтобы устроить свою личную жизнь по правдѣ и по Божьему, а не о томъ, чтобы согласовать свою дѣятельность съ міровыми цѣлями и планами. Такъ отъ разсужденій о цѣлесообразности историческаго процесса, Толстой неожиданно приходитъ къ указанію на этическія цѣли индивидуальнаго существованія. Этимъ чисто сократовскимъ стремленіемъ свести философію «съ неба» отвлеченныхъ разсужденій «на землю» морально-практическихъ задачъ Толстой рѣшаетъ вопросъ и о критеріи, которымъ онъ будетъ судить людей и народы: это — критерій личной нравственности. Здѣсь выступаетъ наружу моральная подкладка всѣхъ философско-историческихъ разсужденій Л. Н. Толстого. Для него далеко не безразлично, кто хорошо и кто дурно поступалъ въ исторіи, въ какіе періоды народы жили лучше и въ какіе хуже, но на эти вопросы онъ отвѣчаетъ только какъ глубоко нравственный и глубоко религіозный человекъ, проникнутый христіанскими началами простоты, смиренія и любви, а не какъ провидецъ, постигшій смыслъ и планъ человѣческой исторіи. Читатель помнитъ, какъ субъективно относится Л. Н. къ своимъ героямъ, какъ рѣзко осуждаетъ онъ Наполеона, какъ горячо беретъ подъ свою защиту Кутузова. Наполеонъ въ его глазахъ, не геній, а только «бездушный эгоистъ, строящій свое величіе на гибели миллионовъ людей, а Кутузовъ — представитель христіанскихъ началъ любви къ ближнему, простоты и смиренія, предлагающій солдатамъ послѣ побѣды «пожалѣть» побѣжденных». Черезъ три десятилѣтія послѣ этого, когда Толстой, уже 70-лѣтнимъ старикомъ, будетъ писать статью «Что такое искусство?», — онъ то же субъективно-этическое отношеніе распространитъ на цѣлые историческіе періоды. Тогда онъ оправдываетъ искусство среднихъ вѣковъ, потому что оно служило религіозно-этическимъ потребностямъ всего народа, и осудитъ эпоху Возрожденія, потому что въ то время интеллигенція впервые отдѣлилась отъ народа и создалось «господское» искусство, «расцѣниваемое уже не потому, насколько оно выражаетъ

чувства, втекающія изъ религіознаго<sup>1)</sup> сознанія людей, а только потому, насколько оно красиво; другими словами, — насколько оно доставляетъ наслажденіе». Возвращаясь къ «Войнѣ и миру», мы и здѣсь замѣтимъ задатки того морально-религіознаго переворота въ душѣ Л. Н. который черезъ какіе-нибудь десять лѣтъ охватить его съ непобѣдимой силой и заставить подвергнуть уничтожающей критикѣ съ точки зрѣнія индивидуальной морали всѣ институты общественной и частной жизни.

Эта индивидуально-этическая точка зрѣнія, выступающая въ «Войнѣ и мирѣ» еще не такъ ясно, какъ позднѣе, помогаетъ намъ освѣтить новымъ свѣтомъ всю философско-историческую теорію Толстого. Эта точка зрѣнія сквозить черезъ всѣ его философско-историческія разсужденія. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ въ его осужденіи «героевъ» и «геніевъ», мнящихъ себя творцами исторіи, не видно гнѣва моралиста и христіанина противъ тѣхъ, кто нарушилъ завѣтъ смиренія и уничтоженія? Развѣ его критика власти и общественной дѣятельности не построена на осужденіи кичливой гордыни тѣхъ, кто поставилъ себя выше «малыхъ сихъ», отвернулся отъ идеаловъ и христіанскаго братства и присвоилъ себѣ никому, кромѣ Бога, непринадлежащее право распоряжаться судьбами людей, судить и осуждать ихъ? Развѣ отрицаніе всякаго значенія за сознательной дѣятельностью и гнѣвные выпады противъ теоретиковъ конечныхъ цѣлей и общаго блага не направлены противъ тѣхъ, кто свой разумъ поставилъ выше христіанскаго требованія опрощенія, и забылъ, что предъ лицомъ Бога нѣтъ ученыхъ и неученыхъ? Развѣ, наконецъ, въ отрицаніи свободы воли не видно христіанскаго напominанія, что судьбы людей въ рукахъ Божіихъ и что они «служатъ безсознательнымъ орудіемъ для достиженія историческихъ, общечеловѣческихъ цѣлей» Провидѣнія?

Этотъ христіанскій идеалъ смиренія и любви къ «малымъ симъ», идеалъ христіанскаго братства и христіанскаго опрощенія уже въ эпоху «Войны и мира» осложнялся у Толстого элементомъ соціально-политической критики и толкалъ его къ народничеству и анархизму, что заставило его вскорѣ осудить и интеллигенцію, и государство, и судъ, и церковь, и войско и построить въ половинѣ 80-хъ годовъ въ знаменитой сказкѣ объ «Иванѣ-Дуракѣ» соціальную утопію въ видѣ анархистско-земледѣльческой общины въ царствѣ «дураковъ». Элементы народничества ясно выступаютъ въ «Войнѣ и мирѣ» и въ культѣ народной массы и ея стихійныхъ движеній, и въ осужденіи сознательныхъ расчетовъ ученыхъ теоретиковъ, и въ апофеозѣ рядовыхъ, незамѣтныхъ представителей сѣрой среды; также ясно сказываются и зачатки анархизма въ отрицаніи власти, какъ творящей силы, въ осужденіи общественной дѣятельности, какъ разумнаго приложенія человѣческихъ способностей, и въ отказѣ признать за разумомъ и личной инициативой хотя бы организующую роль. Объ этомъ намъ приходилось говорить уже достаточно много, и доказывать эту наличность народническихъ симпатій и анархистскихъ задатковъ въ философіи исторіи Толстого подробнѣе едва ли есть нужда.

---

<sup>1)</sup> Припомнимъ, что въ то время для Толстого религія совпадала съ моралью и должна была указывать, какъ надо жить.



Болѣ спорнымъ является вопросъ объ отношеніи Л. Н. къ проблемамъ націонализма и милитаризма. Съ одной стороны Толстой прямо указываетъ на національныя пристрастія, какъ на одинъ изъ видовъ искаженія исторической правды. «Какъ скоро, пишетъ онъ, историки различныхъ національностей и возрѣній начинаютъ описывать одно и то же событіе, то отвѣты, ими даваемые, тотчасъ же теряютъ весь смыслъ, ибо сила эта понимается каждымъ изъ нихъ не только различно, но часто совершенно противоположно. Одинъ историкъ утверждаетъ, что событіе произведено властью Наполеона, другой утверждаетъ, что оно произведено властью Александра, третій, — что властью какого-нибудь третьяго лица». Нападая на попытки открыть конечныя цѣли въ исторіи, Л. Н. говоритъ: «вмѣсто прежнихъ угодныхъ Божеству цѣлей народовъ — іудейскаго, греческаго, римскаго, которыя древнимъ представлялись цѣлями движенія человѣчества, новая исторія поставила свои цѣли — блага французскаго, германскаго, англійскаго».

Уже здѣсь замѣтны зачатки того космополитизма, который нѣсколько позднѣе заставилъ Л. Н. осудить патріотизмъ, какъ эгоистическое чувство. Въ самомъ дѣлѣ, Толстой былъ христіаниномъ чистѣйшей воды, и развѣ не должны были исчезнуть въ свѣтѣ его христіанскаго идеала всѣ различія между «эллинами» и «іудеями»?

Да, такъ должно было быть, но здѣсь, примѣшивался одинъ моментъ значительно осложнявшій дѣло. Этимъ моментомъ было то чувство душевной теплоты къ русскому народу, вѣрнѣе даже къ простонародью и къ тѣмъ, кого Л. Н. считалъ плотію отъ плоти и костію отъ кости этого простонародія, кто живя среди культурной обстановки не утратилъ мужицкаго простодушія и мягкой незлобivosti дѣтей земли (напр. Кутузовъ, шт.-кап. Тушинъ). Въ теоріи Толстой не могъ не признать, что всѣ народы равноцѣнны передъ лицомъ Вѣчной справедливости, но для него понятны и близки были только русскіе, и только ихъ переживанія онъ могъ описывать съ любовной мягкостью, съ необычайной силой художественнаго перевоплощенія. Психологія французовъ съ ихъ легкой возбудимостью, съ ихъ преклоненіемъ предъ внѣшнимъ блескомъ и погоней за міровой славой, не была понятна идеологу простоты и смиренія; онъ не нашелъ для ихъ характеристики мягкихъ и теплыхъ красокъ, и изъ подъ его пера вылились такіе образы, какъ пустой хвастунишка капитанъ Рамбаль, сухой и черствый Даву или великій себялюбецъ Наполеонъ. Теоретически признаніе равноцѣнности всѣхъ народовъ здѣсь столкнулось съ живымъ чувствомъ симпатій къ особенностямъ русскаго національнаго характера и непониманіемъ французской психологіи а это чувство во многихъ случаяхъ побѣдило теорію...

Нѣкоторое колебаніе замѣтно также и въ отношеніи Л. Н. къ милитаризму (подчеркиваемъ, что мы имѣемъ здѣсь въ виду только періодъ «Войны и мира»). Съ одной стороны онъ не могъ не стать въ рѣзко отрицательное отношеніе къ войнѣ; это отношеніе вытекало изъ того критерія индивидуальной этики, которымъ Толстой расцѣнивалъ дѣятельность и цѣлыхъ народовъ, и отдѣльныхъ людей. Для Толстого, не признававшего ни понятія общественнаго



блага, во имя котораго можно жертвовать благомъ индивидуальнымъ, ни самодовлѣющихъ интересовъ государства, требующихъ личныхъ жертвъ, война могла быть только братоубійственной бойней, попирающей всѣ христіанскіе завѣты. «Началась война», говоритъ онъ о лѣтѣ 1812 г., «т.-е. совершилось противное человѣческому разуму и всей человѣческой природѣ событіе. Милліоны людей совершали другъ противъ друга такое безчисленное количество злодѣяній обмановъ, измѣнъ, воровства, поддѣлокъ и выпуска фальшивыхъ ассигнацій, грабежей, поджоговъ и убійствъ, котораго въ цѣлые вѣка не соберетъ лѣтопись всѣхъ судовъ міра, и на которые въ этотъ періодъ времени люди, совершавшіе ихъ, не смотрѣли, какъ на преступленія». Слова Наполеона, увидавшего на полѣ сраженія 50 тысячъ труповъ: «le champ de bataille a été superbe (поле сраженія было великолѣпно)» — вызываютъ въ Толстомъ чувство отвращенія. «Ужасъ совершившагося не поражалъ его душу», говоритъ Л. Н. «Онъ смѣло принималъ на себя всю отвѣтственность событія, и его помраченный умъ видѣлъ оправданіе въ томъ, что въ числѣ сотенъ погибшихъ людей было меньше французовъ, чѣмъ гессенцевъ и баварцевъ».

Это рѣзкое отрицаніе войны должно было, однако, притти въ столкновеніе съ другимъ принципомъ философіи исторіи Толстого; съ его оправданіемъ всякихъ стихійныхъ движеній, съ преклоненіемъ передъ всякими проявленіями массовой жизни. Война, въ которой принимаютъ участіе сотни тысячъ человѣкъ, гдѣ все совершается самопроизвольно, независимо отъ людскихъ расчетовъ, не могла встрѣтить въ защитникъ массовой психологіи и поборникъ безсознательной жизни только одного осужденія, и онъ нашелъ нотку примиренія въ своемъ отношеніи къ ней. Онъ призналъ войну, какъ и всякое историческое событіе неизбѣжнымъ моментомъ въ стихійномъ ходѣ исторіи, фатальнымъ выводомъ изъ Предвѣчнаго Закона, опредѣленнаго самимъ Провидѣніемъ. «Зачѣмъ милліоны людей убивали другъ друга», спрашиваетъ онъ, «тогда какъ съ сотворенія міра извѣстно, что это физически и нравственно дурно?» Отвѣтъ Л. Н. таковъ: «Затѣмъ, что это такъ нужно было, что, исполняя это, люди исполняли... стихійный зоологическій законъ». Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ еще болѣе опредѣленно: «должны были милліоны людей, отрехшись отъ своихъ человѣческихъ чувствъ и отъ своего разума, итти на востокъ съ запада и убивать себѣ подобныхъ, точно такъ же, какъ нѣсколько вѣковъ тому назадъ съ востока на западъ шли толпы людей, убивая себѣ подобныхъ». Въ одномъ случаѣ это примиреніе съ войною доходитъ у Л. Н. какъ бы даже до ея оправданія. «Благо тому народу», говоритъ Л. Н., «который въ минуту испытанія, не спрашивая о томъ, какъ по правиламъ поступали другіе въ подобныхъ случаяхъ, съ простотою и легкостью поднимаетъ первую попавшуюся дубину и гвоздитъ ею до тѣхъ поръ, пока въ душѣ его чувство оскорбленія и мести не замѣняется презрѣніемъ и жалостью». Но оправданіе войны здѣсь только кажущееся: изъ контекста видно, что Толстой здѣсь не высказывается въ защиту войны вообще, а нападаетъ на войну по правиламъ, съ постановкой «въ позицію *en quatre* или *en tierce*», предпочитая ей войну народную, ведущуюся «съ глупой простотою не разбирая ничего». Л. Н. просто говоритъ здѣсь, что если необходимость уже заставила людей драться другъ съ другомъ, то лучше дѣлать это,

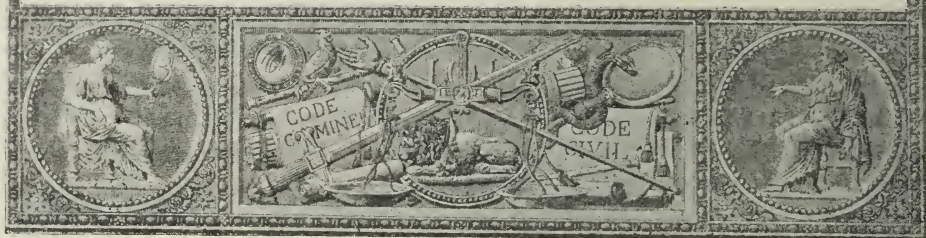
повинуясь стихійному чувству оскорбленія и мести, попросту, «дубиной», чѣмъ дѣлать изъ взаимныхъ убійствъ сложную науку, подчиненную всѣмъ правиламъ военного искусства.

Въ своемъ осужденіи войны по этическимъ основаніямъ Толстой впалъ въ противорѣчіе съ самимъ собой и въ другомъ отношеніи. Вѣдь христіанскія начала смиренія, простоты и любви, съ точки зрѣнія которыхъ онъ осудилъ и Наполеона, и войну, въ глазахъ строгой науки суть тѣ же «общія отвлеченія», какъ и «свобода, равенство и просвѣщеніе», за пристрастіе къ которымъ Л. Н. такъ горячо упрекалъ «новыхъ» историковъ. Наука и теорія не могутъ не осудить Толстого за это противорѣчіе. Но не осудить его жизнь съ ея суровой практикой современнаго милитаризма, ибо морально-практическое содержаніе жизни можетъ только углубиться отъ строгаго приговора великаго писателя надъ великимъ жизненнымъ зломъ.

*В. Перцевъ.*



## АЛЕКСАНДРЪ И НАПОЛЕОНЪ.



Отъ Аустерлица до Тильзита, отъ Эрфурта до Березины, отъ Люцена и Бауцена до второго отреченія — на всѣхъ путяхъ міровой политики были имена Наполеона и Александра. То сплетаясь въ дружескій вензель, передъ которымъ курили еиміамъ поэты и дипломаты, то сталкиваясь въ безысходныхъ противорѣчіяхъ, наполняли эти два имени Европу, и казалось современникамъ, что носители ихъ люди одинаково крупные, одинаково могучіе, великаны оба. И не только въ глазахъ современниковъ стоялъ между ними знакъ равновеликости. Потомство долго еще не хотѣло разстаться съ этимъ взглядомъ. Даже наука отдала ему дань.

Теперь прошло сто лѣтъ съ того момента, который былъ рѣшающимъ въ борьбѣ Наполеона и Александра; наука накопила достаточно много фактовъ и можетъ ставить свои вопросы по-иному, чѣмъ прежде. Въ современной постановкѣ центральное мѣсто занимаетъ вопросъ, подъ какими знаками дѣйствовали въ исторіи Наполеонъ и Александръ, что осталось въ результатъ ихъ дѣятельности. Личная характеристика превращается вслѣдствіе такой постановки вопросовъ изъ самодавлѣющей задачи на манеръ Плутарховой въ чисто служебное научное орудіе.

Но тутъ съ самаго начала приходится сдѣлать одну очень важную оговорку. Фигура Наполеона выяснена, можно сказать, исчерпывающимъ образомъ. Десятки томовъ его переписки; мемуары, записанные съ его словъ; бесѣды съ нимъ, запечатлѣнные вѣрными и преданными руками; кропотливая работа въ архивахъ, продѣланная цѣлой фалангой даровитыхъ ученыхъ, позволяютъ намъ возстановить образъ величайшаго полководца новаго времени съ большою достовѣрностью. Наоборотъ, документы, которые позволили бы намъ такъ же всесторонне возсоздать образъ Александра, находятся въ огромномъ большинствѣ подъ спудомъ. Только въ самое послѣднее время, благодаря неутомимой энергіи В. К. Николая Михайловича, начинаютъ выходить они изъ тайниковъ и становятся доступны обыкновеннымъ смертнымъ. Этимъ недостаткомъ подлинныхъ документовъ и объ-





**Александръ I**  
(Портретъ Швердгебурта въ 1813 г.)



ясняется то странное на первый взгляд явленіе, что въ оцѣнкѣ Александра такъ жестоко ошиблись величайшій публицистъ, величайшій историкъ и величайшій художникъ новой Россіи. Герценъ называлъ Александра «коронованнымъ Гамлетомъ». Ключевскій сказалъ про него: «Александръ былъ прекрасный цвѣтокъ, но тепличный, не успѣвшій акклиматизироваться на русской почвѣ. Пока стояла хорошая погода, онъ росъ и цвѣлъ роскошно, наполняя окружающую среду благоуханіемъ; а какъ подула сѣверная буря, какъ настало наше русское осеннее ненастье, этотъ цвѣтокъ завялъ и опустился». Наконецъ, Левъ Толстой исчерпалъ всѣ свои краски, чтобы окутать Александра свѣтлымъ и теплымъ облакомъ обаянія.<sup>1)</sup> То, что мы знаемъ въ настоящее время, одинаково мало располагаетъ и къ идеализаціи, и къ романтическимъ восторгамъ. Безпристрастная наука, которая уже окончила работу надъ Наполеономъ, приступаетъ къ работѣ надъ Александромъ.

## 1.

Александръ и Наполеонъ были людьми, очень мало похожими одинъ на другого. Между тѣмъ то, чѣмъ оба кончили, было почти одно и то же. Наговоривъ своимъ подданнымъ кучу громкихъ словъ о свободѣ, они отдали ихъ въ жертву скорпіонамъ деспотизма. Была, конечно, маленькая разница. Во Франціи надъ режимомъ деспотизма сверкалъ девизъ «свобода, равенство, братство». Въ Россіи его подпиралъ тяжелымъ и мрачнымъ фундаментомъ крѣпостной строй. Тутъ онъ былъ много прочнѣе, чѣмъ за Рейномъ, но если не политическая, то административная сущность деспотизма была въ достаточной мѣрѣ одинакова: Аракчеевъ и Фуше другъ друга стоили.

Какъ политическіе типы, Александръ и Наполеонъ представляютъ собою двѣ воли къ деспотизму, непрерывно растущія и непрерывно сталкивавшіяся на

---

<sup>1)</sup> Наоборотъ, къ Наполеону и ко всему, что съ нимъ связано, Толстой относится явно несправедливо. Отрицательное отношеніе къ Наполеону, конечно, понятно. Но у Толстого въ «Войнѣ и мирѣ» это отрицательное отношеніе вызывается чѣмъ-то такимъ, что дѣлаетъ его менѣе понятнымъ: какимъ-то страннымъ для Толстого чувствомъ легитимизма. Въ Наполеонѣ читатель романа все время видитъ выскочку, который позволялъ себѣ вещи, которыхъ не долженъ позволять: «Ней, который теперь назывался герцогомъ Эльхингенскимъ», «Мюратъ, который теперь назывался королемъ Неаполитанскимъ». Почему-то когда Наполеонъ дарилъ своимъ соратникамъ высокіе титулы, это коробило Толстого 60-хъ годовъ. Какъ будто есть какая-нибудь разница въ томъ, что генералъ получаетъ титулъ графа Римникскаго, князя Италійскаго, князя Эриванскаго или герцога Эльхингенскаго, Ауэрштедтскаго, Риволійскаго!.. Толстой старается сорвать со всѣхъ маршаловъ лавровые вѣнки, которыми увѣнчала ихъ исторія. Называть Даву «Аракчеевымъ Наполеона» значитъ просто закрывать глаза на многія вещи. Это, конечно, не значитъ, что у Наполеона не было своихъ Аракчеевыхъ, но не герой же Ауэрштедта, Ваграма и Бородина игралъ при немъ эту некрасивую роль. Всѣ черты доблести и героизма, обнаруженные французами въ 1812 году и засвидѣтельствованные русскими, у Толстого затушованы. Трагическая эпопея отступленія почти обойдена молчаніемъ. Ней выставленъ чуть-что не трусомъ. Біографамъ Толстого придется гдѣ-нибудь поискать причины этого страннаго настроенія 60-хъ годовъ. Потому-что матеріалъ совсѣмъ его не подсказываетъ.



аренѣ европейскихъ международныхъ осложненій. Сначала французская давила на русскую, тогда русская становилась слабѣе, но вздучалась французская. Въ Россіи дѣлалось легче дышать, во Франціи отъ конституціи откалывались кусокъ за кускомъ. Потомъ русская сокрушила французскую. Наполеонъ былъ спасенъ отъ безславія — заставить задохнуться Францію подъ пятою деспотизма. Александръ испилъ до дна чашу этого безславія.

Между русскимъ и французскимъ деспотизмомъ различіе было историческое. Процессъ социальнаго роста во Франціи далеко перешелъ за ту полосу, которую переживала Россія. Великая революція окончательно разбила устои феодальнаго порядка. Соціальная культура, которую встрѣтилъ Наполеонъ въ тотъ моментъ, когда онъ взялъ въ свои руки бразды правленія, была буржуазная культура. Французская буржуазія вынесла вотумъ недовѣрія республикѣ, ибо республика оказывалась неспособна оградить отъ внутреннихъ и внѣшнихъ покушеній тѣ завоеванія, которыя революція принесла буржуазіи (считая тутъ и крестьянство). Возстанія и ожесточенная борьба партій внутри, опасности нашествій извнѣ подготовили почву для появленія сильной власти. Наполеонъ сталъ этой сильной властью. Онъ воспользовался ею прежде всего для того, чтобы устранить анархію внутри и опасность извнѣ. Потомъ онъ началъ устраивать новый государственный порядокъ, такой, какой былъ нуженъ для буржуазіи, началъ расширять рынокъ для нея за предѣлами Франціи, бить конкурентовъ французской буржуазіи на аренѣ европейскаго экономическаго соревнованія, разбивать за границею Франціи социальныя оковы, преграждавшія крестьянству доступъ къ широкимъ путямъ экономическаго процесса. Благодарная ему за все это французская буржуазія безъ труда поступалась частицами своей свободы. На этой психологіи Наполеонъ строилъ зданіе своего деспотизма. И онъ понималъ, что его деспотизмъ до тѣхъ поръ не будетъ встрѣчать серьезнаго противодѣйствія, пока французская буржуазія будетъ довольна его внѣшней политикою, пока его внѣшняя политика будетъ продолжать приносить ей выгоды. Естественному росту этого процесса мѣшала феодальная Россія, и этотъ фактъ съ необходимостью толкалъ Наполеона въ русскіе снѣга.

Въ Россіи, наоборотъ, социальныя основанія деспотизма были совсѣмъ иныя. Господствующимъ классомъ было дворянство, державшее при дворѣ и въ бюрократіи свои передовые отряды. Оно только что задушило царя, потому что въ своихъ безумныхъ метаніяхъ царь коснулся и социальныхъ привилегій дворянства, а дворяне увидѣли въ этомъ безуміи планомѣрность и систему. Теперь во всякомъ случаѣ командующее сословіе отнюдь не было расположено позволять молодому императору вернуться къ политикѣ отца. Всякая серьезная попытка на этомъ пути грозила повтореніемъ драмы въ Михайловскомъ дворцѣ. Когда Александръ принялъ континентальную систему, помѣстное дворянство пришло въ ужасъ, потому что Англія была одной изъ главныхъ покупательницъ русскаго хлѣба, а война съ Англіей означала блокаду всѣхъ торговыхъ портовъ. Кромѣ того, континентальная система низвергала курсъ рубля почти на 50%. Оба эти обстоятельства особенно больно затрогивали интересы именно высшаго слоя дворянства, которое проживало въ Петербургѣ и тратило доходы свои либо

въ столицѣ, либо за границею, т.-е. придворнаго и чиновнаго дворянства. Это именно та часть господствующаго сословія, которое дѣлало политику, которое командовало арміей, которое имѣло огромный опытъ по части дворцовыхъ переворотовъ. Сопротивляться вліянію этого класса власть не могла; союзъ съ Наполеономъ долженъ былъ рушиться, союзъ съ Англіей долженъ былъ возстановиться. А послѣ, когда Наполеонъ уже вторгся въ Россію и сталъ вводить въ Вильнѣ, въ Минскѣ, въ Смоленскѣ и даже въ Москвѣ новыя установленія на основѣ гражданского равенства, когда онъ сталъ искать прокламаціи Пугачева, помѣщичья Русь встрепенулась тѣмъ чувствомъ, которое Растопчинъ и другіе называли патріотизмомъ, и которое было просто соціальнымъ страхомъ. Уступить такому противнику помѣщики не могли позволить царю. А вмѣстѣ съ помѣщиками офицерство, т.-е. армія. Недаромъ тотъ же Растопчинъ грозилъ Александру смертью, если онъ заключить миръ съ Наполеономъ. И наоборотъ, для царя, который сумѣлъ сокрушить супостата, угрожавшаго подорвать основу помѣщичьяго благополучія, дворяне могли даже пожертвовать кое-чѣмъ. И во всякомъ случаѣ они уже не стануть роптать, если ежовыя рукавицы деспотизма покрѣпче сдавятъ имъ шею. Слѣдовательно, въ Россіи деспотизмъ могъ держаться лишь до тѣхъ поръ, пока онъ былъ дворянско-крѣпостническимъ, феодальнымъ деспотизмомъ. Александръ долженъ былъ понять это довольно хорошо въ ту ночь, когда совершилось злое дѣло въ Михайловскомъ дворцѣ, когда дворянская фронда опредѣленно, если и не прямо, поставила ему свой ультиматумъ: будь дворянскимъ царемъ, или ты не будешь царствовать вовсе. Правда, не сразу сдѣлался онъ дворянскимъ царемъ. Это положеніе слишкомъ не вязалось съ мечтами юности. Но въ 1812 г., передъ грозою, которая шла съ запада, у него не оставалось другого выхода. Онъ уступилъ дворянству и отдалъ ему Сперанскаго.

И мало-по-малу, по мѣрѣ того, какъ у Александра пропадала охота парадировать идеями революціи, обнаруживалось, какъ глубоко проникся самъ онъ классовыми убѣжденіями помѣстнаго дворянства. Его недоброе отношеніе къ крестьянамъ поражало современниковъ, которые то и дѣло заносили этого рода факты въ свои воспоминанія. Извѣстенъ отвѣтъ императора кн. Репнину на его заявленіе, что онъ вынужденъ былъ освободить крестьянъ отъ дорожной повинности изъ-за неурожая: «Что они дома сосутъ, то могутъ сосать и на большихъ дорогахъ»<sup>1)</sup>. Или негодованіе его по адресу Тормасова, который черезчуръ легко наказалъ двороваго, разсуждавшаго о крестьянской волѣ: «За столь буйственный и дерзновенный поступокъ слѣдовало бы наказать наистрожайшимъ образомъ и публично». А исторія съ военными поселеніями? А кары на крестьянъ, осмѣлившихся воспользоваться высочайшимъ разрѣшеніемъ и подавать царю жалобы на помѣщиковъ?

Такъ, чувства личнаго и династическаго эгоизма заставляло обоихъ императоровъ напрягать силы деспотизма, а національныя условія дѣлали французскій деспотизмъ орудіемъ воинствующей буржуазіи, русскій же щитомъ обороняющагося феодальнаго дворянства.

<sup>1)</sup> Якушкинъ. Записки, стр. 22.



## 2.

Въ этихъ историческихъ условіяхъ даны основные мотивы дѣятельности какъ Наполеона, такъ и Александра. Но многія детали остаются неясными. Намъ нужно поискать объясненія имъ въ психологической организаціи того и другого.

И именно для того, чтобы всѣ эти разсужденія не показались слишкомъ отвлеченными, мы посмотримъ, съ какимъ душевнымъ багажомъ пришли оба императора къ тому историческому перекрестку, гдѣ имъ оказалось невозможнымъ разойтись безъ борьбы на жизнь и смерть.

Когда родился Александръ, Державинъ написалъ оду о томъ, какъ геніи къ нему слетались въ свѣтломъ облакѣ небесъ и дарили ему каждый по какой-нибудь, преимущественно героической, добродѣтели. Въ это время на дикомъ островѣ подъ южнымъ солнцемъ лазилъ по скаламъ и дрался со своими сверстниками другой «отрокъ», которому было восемь лѣтъ. У бабушки его не было придворныхъ поэтовъ и не порфиroy была задрапирована его колыбель, но печать генія ярко горѣла на его челѣ и богиня славы распростерла надъ нимъ свои лучезарныя крылья. Когда одинъ вышелъ изъ-подъ придворной учебной ферулы, а другой изъ казеннаго военнаго училища, — то были совершенно различные люди.

Майоръ Масонъ, одинъ изъ наставниковъ Александра, набрасываетъ такой его портретъ: «Александръ — человѣкъ пассивныхъ качествъ и лишень энергіи. Ему недостаетъ смѣлости и довѣрія, чтобы искать достойнаго человѣка; приходится постоянно опасаться, чтобы вліянія надъ нимъ не захватилъ кто-нибудь назойливый и развязный. Слишкомъ поддаваясь чужимъ побужденіямъ, онъ не довѣряетъ достаточно своему уму и своему сердцу. Черезчуръ ранній бракъ смялъ его энергію<sup>1)</sup> и несмотря на счастливые задатки, ему угрожаетъ царство безъ славы или перспектива стать добычею придворныхъ, если годы и опытъ не придадутъ твердости его благородному характеру». Но нелѣпое екатерининское воспитаніе было не единственнымъ элементомъ, разбиравшимъ волю Александра. Еще сильнѣе въ этомъ направленіи дѣйствовало его фальшивое положеніе между Царскимъ и Гатчиной, между бабкой и отцомъ. Онъ находился въ положеніи вѣчнаго колебанія. Онъ никогда не могъ отдаться цѣликомъ ни привязанностямъ, ни вкусамъ. Онъ долженъ былъ постоянно оглядываться по сторонамъ, чтобы не задѣтъ по-солдатски грубой любви Павла, не показать неповиновенія бархатно-ласковому деспотизму Екатерины. Положеніе было, несомнѣнно, очень трудное. Быть можетъ, другая натура, отъ природы упругая и сильная, выдержала бы этотъ тяжелый искусь, вышла бы изъ него нравственно окрѣпшей. У Александра, когда кончилась пытка, воля была разрушена, создалась привычка всюду вокругъ себя

<sup>1)</sup> Домергъ (I, 196—97), имѣвшій возможность слышать въ аристократическихъ салонахъ самые откровенные разговоры, разсказываетъ, къ чему повелъ капризь Екатерины — увидать правнука. Шестнадцатилѣтняго Александра женили на 15-лѣтней Елизаветѣ Алексѣевнѣ, и пылкій Александръ «разрушилъ свой темпераментъ», не говоря уже о томъ, что онъ едва не потерялъ слуха вслѣдствіе излишествъ медовыхъ мѣсяцевъ. Ср. также что говорить объ этомъ проф. Ойрсовъ: «Душевная драма Александра», стр. 25.



искать нравственной опоры. И вліяніе Лагарпа представляется намъ сильнымъ и плодотворнымъ главнымъ образомъ потому, что женевскій радикаль имѣлъ дѣло съ характеромъ размягченнымъ. Импульсивный и впечатлительный отъ природы, Александръ вбиралъ въ себя съ голоса Лагарпа идеи Монтескье и Руссо. Но по существу это увлеченіе было неглубоко. Политическіе уроки Лагарпа не срослись съ его душою. Держались они довольно долго, но на поверхности. Пришли другіе, подчинили Александра своей волѣ, — и стерлись лагарповскіе отпечатки.

И еще одна особенность въ характерѣ Александра начала вырабатываться въ пору воспитанія. Положеніе его не было свободно отъ опасностей. Съ одной стороны опьяненная могуществомъ старуха, съ другой — не совсѣмъ нормальный, не чаявшій, какъ добратся до власти отецъ. Александръ часто ощущалъ свое положеніе, какъ какую-то борьбу за существованіе. А борьба за существованіе вырабатываетъ въ душѣ человѣка всегда однѣ и тѣ же оружія. Если человѣкъ съ сильной волей, въ немъ укрѣпляется энергія. Если воля у него слаба, въ немъ развивается притворство и неискренность. Необходимость «жить на два ума, держать двѣ парадныхъ фізіономіи» (Ключевскій) между Царскимъ и Гатчиной и положило начало неискренности Александра. О томъ же, впрочемъ очень старался Салтыковъ, обучавшій его еекретамъ придворнаго *savoir vivre*.

Быть можетъ, если бы не нелѣпости екатерининскаго воспитанія и не водворотъ придворной фальши, изъ Александра вышелъ бы монархъ, дѣйствительно способный облагодѣтельствовать страну. Врожденное обаяніе его внѣшности, огромное изящество и печать какой-то романтической меланхоліи на прекрасномъ лицѣ влекли къ нему сердца. Онъ былъ уменъ. Но болѣзнь воли и несчастная привычка держаться насторожѣ испортили все. Въ соединеніи съ другими фактами, о которыхъ будетъ сказано ниже, они сдѣлали то, что итоги царствованія Александра для Россіи оказались въ такомъ угнетающемъ несоотвѣтствіи съ ожиданіями дней Александровыхъ прекраснаго начала. Положительныя качества Александра: и умъ, и внѣшняя привлекательность и все остальное — стали орудіемъ личной политики, очень мало считавшейся съ интересами Россіи.

### 3.

Какъ волевой типъ, Наполеонъ — полная противоположность Александру. Онъ словно вылитъ изъ куска стали. Рожденный повелѣвать, онъ съ дѣтства разыгрываетъ вождя у себя на Корсикѣ, въ отроческіе годы командуетъ товарищами въ Бріеннѣ, выбравшись на просторъ жизни, бросается всюду, гдѣ есть надежда подняться вверхъ. Воля покоряетъ у него все. Онъ еще не знаетъ самъ, какіе неисчерпаемые родники генія дремлютъ въ его душѣ, онъ еще не предчувствуетъ, что ожидаетъ его въ будущемъ, — но онъ уже знаетъ или инстинктомъ — какимъ-то хищнымъ, ястребинымъ инстинктомъ — чувствуетъ, что ему нужно, чтобы взобраться на вершины. Ко всему, начиная со школьной учебы, онъ относится съ разборомъ: отбрасываетъ какъ ненужную вещь всякую «словесность» и изучаетъ вдесятеро больше, чѣмъ это требуется программами, точныя науки, особенно математику.

Усиліями воли онъ дисциплинируетъ въ этомъ направленіи свою голову, и до конца жизни его удивительная память, запоминающая безъ всякаго труда цѣлыя колонны цифръ, оказывается неспособной затвердить самое коротенькое стихотвореніе. Онъ воспитываетъ свое воображеніе не на произведеніяхъ искусства, а на живой природѣ, и въ немъ запечатлѣваются, какъ въ фотографическомъ аппаратѣ, разъ навсегда рельефы мѣстности, видѣнной однажды хотя бы мелькомъ. Онъ учится владѣть собою и командовать своими настроеніями, ибо знаетъ, что это пригодится ему. Онъ постигаетъ искусство властвовать надъ людьми. Онъ подчиняетъ себѣ свою физическую природу, спитъ по три часа, почти не ѣстъ, чтобы выкроить больше времени для работы. И такъ какъ ему въ этомъ не мѣшаетъ никто, такъ какъ онъ въ тѣни, невиденъ человѣчеству, то мало-по-малу въ немъ вырабатывается тотъ чудесный юноша, который при первомъ появленіи въ Тулонѣ, отодвинулъ въ сторону и непосредственныхъ, и высшихъ своихъ начальниковъ.

Дѣтство и юность Александра прошли въ томъ, что старались растрепать, что было въ немъ цѣльнаго. Наполеонъ собиралъ себя въ одну глыбу, закаливалъ и готовилъ къ жизни. Александръ то страдалъ, то наслаждался. Наполеонъ работалъ и думалъ. Александръ, обучаясь, на лету хваталъ то, что ему казалось красивымъ и возвышеннымъ. Наполеонъ бралъ только то, что могло быть полезно. Въ Александрѣ воспитывали благородныя мысли и чувствительное сердце. Наполеонъ ковалъ изъ себя практика. И когда они вступили въ жизнь, Александръ сейчасъ же сталъ путаться въ противорѣчія, правда красивыхъ и возвышенныхъ, а Наполеонъ — въ Италіи — началъ такъ, что въ немъ сразу признали мастера своего дѣла старые боевые волки: Массена, Ожеро, Лагарпъ. Ни Александру, ни Наполеону престолъ не достался безъ борьбы. И тотъ, и другой облеклись въ порфиру съ помощью насилія <sup>1)</sup>. Переворотъ, возведшій на престолъ Александра, имѣлъ чисто дворцовый характеръ, въ то время, какъ переворотъ, совершонный Наполеономъ, былъ настоящимъ *coup d'Etat*. И хотя Александръ нѣсколько раньше взялъ то, что принадлежало ему по праву, а Наполеонъ совершилъ узурпацію, — въ моральномъ отношеніи поступокъ Александра — гораздо болѣе тяжелый, чѣмъ поступокъ Наполеона.

Тѣмъ не менѣе, и насиліе 1799 года и насиліе 1801 года отплатили за себя. 18 брюмера сдѣлало то, что отъ Наполеона требовался всегда успѣхъ. Разъ порфира была наградой за то, что устранена анархія и опасность нашествія, какъ-то самособою стало подразумѣваться, что при первой же неудачѣ страна откажетъ императору въ своей поддержкѣ. Это понимали всѣ и лучше всѣхъ понималъ самъ Наполеонъ. Онъ говорилъ Меттерниху: «Ваши государи, рожденные на тронѣ, могутъ позволить побить себя двадцать разъ и потомъ спокойно возвратиться

<sup>1)</sup> Дзѣкабристъ М. И. Муравьевъ-Апостолъ самъ слышалъ отъ полкового адъютанта Аргамакова такую подробность заговора противъ Павла. Аргамаковъ былъ плацъ-майоромъ Михайловскаго дворца. Безъ его содѣйствія заговорщикамъ невозможно было бы проникнуть во дворецъ, окруженный прудами. Онъ отказался вступить въ заговоръ, но Александръ при встрѣчѣ сталъ упрекать его за это и «не за себя, а за Россію» просилъ примкнуть къ заговору. Аргамакову оставалось согласиться.



въ свои столицы. Я этого не могу, потому что я — удачливый солдат (*un soldat parvenu*). Мое владычество кончится въ тотъ день, когда я перестану быть сильнымъ и слѣдовательно страшнымъ» (*Mém. I, 147*).

Сознаніе, что это именно такъ, постоянно толкало Наполеона на погоню за внѣшнимъ успѣхомъ и при малѣйшей неудачѣ загоняло его въ какой-то тупикъ. Ему начинало казаться, что Франція готова возстать, онъ терялся и дѣлалъ ошибки<sup>1</sup>).

На Александра отвѣтственность за событіе 11 марта 1801 г. легла нѣсколько по-другому. Существуетъ мнѣніе, что воспоминаніе о немъ искалѣчило его душу. Едва ли это не преувеличено. Для Александра участіе въ заговорѣ противъ отца было однимъ изъ актовъ борьбы за существованіе, къ которой онъ такъ привыкъ. И онъ шелъ на него холодно и сознательно. Когда все было кончено, онъ успокоился довольно быстро. Отчаяніе перваго момента было вызвано тѣмъ, что *смерть* Павла была для Александра неожиданной. Онъ вѣрилъ, что дѣло обойдется безъ кровопролитія, и узнавъ, что отецъ убитъ, испугался послѣдствій преступленія *для себя*<sup>2</sup>). Этимъ объясняется мрачное настроеніе первыхъ дней, о которомъ повѣдалъ намъ Чарторыйскій. Когда обнаружилось, что народъ болѣе или менѣе повѣрилъ официальной версіи о смерти Павла, Александръ сталъ приходить въ себя. Но призракъ 11 марта дѣйствительно мучилъ его всю жизнь. Онъ совершенно искренне боялся, какъ бы воспоминанія о переворотѣ не подняли духа у дворянской фронды. Нѣтъ ничего удивительнаго, что всякое напоминаніе о немъ перевортывало его внутренно. Марбо (*Mém. III, ch. 25*) рассказываетъ любопытную сцену. Когда Вандамма, сдававшегося подъ Кульмомъ, привели въ русскую главную квартиру, великій князь Константинъ самъ вырвалъ у него шпагу, а Александръ началъ кричать на него, называя его грабителемъ и разбойникомъ. Это взорвало храбраго солдата и онъ бросилъ въ лицо Александру при всемъ штабѣ: «Я не разбойникъ и не грабитель, и во всякомъ случаѣ современники и исторія не упрекнутъ меня въ томъ, что мои руки обагрены въ крови моего отца!» Александръ, страшно смущенный, сейчасъ же вышелъ изъ комнаты. Появленіе окровавленной тѣни Павла всегда могло быть опаснымъ для Александра какъ дурной примѣръ для окружающихъ его. Но съ тѣхъ поръ, какъ онъ почувствовалъ, что положеніе его на престолѣ не скомпрометировано событіемъ 11 марта, онъ едва ли сокрушался о немъ больше, чѣмъ Наполеонъ о 18 брюмера. На характеръ его оно отозвалось тѣмъ, что усилило въ немъ недо-вѣрчивость, скрытность, неискренность. Въ этомъ отношеніи смерть Павла наложила болѣе глубокой отпечатокъ на Александра, чѣмъ сокрушеніе республики на Наполеона: Александръ былъ много моложе въ 1801 году, чѣмъ Наполеонъ въ 1799 г.

<sup>1</sup>) См. мои статьи въ сборникѣ «Отеч. война и русское общество»: «Вторженіе» въ III т. и «Наполеонъ передъ отступленіемъ» въ IV т.

<sup>2</sup>) Первый крикъ, вырвавшійся у него при вѣсти о смерти отца былъ: «On dira, que je suis un parricide». Авг. Голицинъ, цитир. у Фирсова, стр. 26.



## 4.

Когда Александръ переработалъ въ себѣ трагедію, сопровождавшую его воцареніе, онъ уже былъ вполнѣ сложившимся человѣкомъ. Всѣ свойства его души психологически были даны въ условіяхъ его жизни, которыя мы разсмотрѣли.

У него было слабо то, что дѣлаетъ человѣка яркимъ и сильнымъ. Въ его поступкахъ не было логики, которая всегда проникаетъ собою поступки цѣльнаго человѣка. Онъ былъ полонъ неожиданностей, и никогда самъ не зналъ, во что выльется у него тотъ или иной замыселъ, то или другое настроеніе. Онъ способенъ былъ загорѣться и сейчасъ же потухнуть; отдать приказаніе и сердиться, что его исполнили; вызвать человѣка на дуэль и потомъ забыть объ этомъ (случай съ Меттернихомъ въ 1814 г.); съ Вѣнскаго конгресса, этой кухни европейской реакціи, — разсылать своимъ дипломатамъ инструкціи, написанныя языкомъ Бенжамена Констана и наполненныя конституціонными идеями. Наполеонъ отлично подмѣтилъ эту его особенность и такъ мѣтко охарактеризовалъ ее, что Меттернихъ нашель эту характеристику наиболѣе правильной изъ всѣхъ. «На ряду съ его крупными умственными качествами, говорилъ Наполеонъ, на ряду съ умѣніемъ плѣнять окружающихъ, есть въ немъ нѣчто такое, что я затрудняюсь опредѣлить. Это — что-то неуловимое (*un je ne sais quoi*), и я могу объяснить его, лишь сказавъ, что во всемъ и всегда ему чего-то не хватаетъ. И самое замѣчательное то, что никогда нельзя предвидѣть, чего ему будетъ нехватать въ каждомъ данномъ случаѣ, при какомъ-нибудь опредѣленномъ обстоятельстве. Ибо то, чего ему нехватаетъ, мѣняется до безконечности».

Недостатокъ этого *je ne sais quoi* прежде всего приводилъ къ тому, что Александръ былъ жертвою постоянныхъ колебаній, не покидавшей его нерѣшительности. Такимъ онъ былъ всю жизнь, не исключая и того момента, когда въ немъ вспыхнулъ, казалось, порывъ: двѣнадцатаго года. Его твердость въ сопротивленіи Наполеону; была отраженная твердость. Ее вдохнули ему двѣ женщины, любившія его больше жизни: императрица Елизавета Алексѣевна и великая княгиня Екатерина Павловна<sup>1)</sup>. А поддержалъ ее страхъ передъ преторіанской революціей: ибо армія была противъ мира.

И не безъ колебаній удержался Александръ на рѣшеніи: драться съ Наполеономъ, «пока ни одного непріятельскаго солдата не останется въ предѣлахъ Россіи». Во время пребыванія французовъ въ Москвѣ, повидимому, все-таки, были какіе-то переговоры. Бертъе одно время былъ совершенно увѣренъ, что миръ «въ карманѣ» у Наполеона<sup>2)</sup>. За границею держались очень опредѣленные слухи, что Александръ хотѣлъ мира и даже послалъ уже великаго князя Константина Павловича въ Москву къ Наполеону. Только угроза новымъ дворцовымъ переворотомъ со стороны арміи заставила будто бы вернуться цесаревича<sup>3)</sup>. По крайней

<sup>1)</sup> Оба изданія В. К. Николая Михайловича, посвященные этимъ замѣчательнымъ женщинамъ, дѣлаютъ совершенно безспорнымъ это положеніе.

<sup>2)</sup> Ген. Матъе Дюма рассказываетъ объ этомъ со словъ самого Бертъе (*Souven.* III. 456).

<sup>3)</sup> *Frankf. Zeitung*, 1813, 13 марта, цитировано у Боссе, *Mémoires*, т. II, 103—104.

мѣръ, у насъ имѣется единогласное свидѣтельство двухъ такихъ близкихъ къ Александру въ то время людей, какъ императрица Елизавета Алексѣевна и бар. Штейнъ. Оба они утверждаютъ, что Александръ не могъ бы заключить мира, если бы даже хотѣлъ<sup>1)</sup>. Военная партія была могущественна. Но Александръ колебался. И если задуматься надъ настойчивымъ предостереженіемъ противъ мира въ письмахъ Растопчина и великой княгини Екатерины Павловны<sup>2)</sup>, сдѣлается вполне яснымъ, какого рода были эти колебанія.

Борьба съ Наполеономъ, вообще занимающая такое огромное мѣсто въ душевной жизни Александра, обострила и его неискренность. Она развивалась въ немъ все больше и больше, пока не сдѣлалась господствующей чертою его характера. Онъ скрытничалъ, лицедействовалъ, лицемерилъ всю жизнь со всѣми, не исключая самыхъ близкихъ. Люди, которые хорошо его знаютъ, боятся ему довѣриться. Это отмѣтилъ не только Наполеонъ, назвавшій его византійцемъ, не только дипломаты (одинъ изъ нихъ сказалъ, что Александръ «фальшивъ, какъ пѣна морская»). Это отлично знали въ его семьѣ: знала несчастная Елизавета Алексѣевна, знала Марія Федоровна<sup>3)</sup>. Повидимому, только одну Екатерину Павловну Александръ не обманывалъ насчетъ своихъ чувствъ. Онъ дѣйствительно нѣжно любилъ ее<sup>4)</sup>, вѣрилъ ей и охотно подчинялся ея вліянію. Со всѣми остальными Александръ игралъ постоянную комедію. Даже съ Аракчеевымъ, котораго онъ осыпалъ ласковыми словами, называя его мерзавцемъ въ письмахъ къ вѣрнымъ людямъ. Онъ былъ нуженъ ему, съ одной стороны, какъ «пугало пострашнѣе», а съ другой — какъ громоотводъ противъ ненависти, скопившейся въ обществѣ вслѣдствіе экспериментовъ съ военными поселеніями и другихъ реакціонно-репрессивныхъ затѣй<sup>5)</sup>.

<sup>1)</sup> Шильдеръ, Александръ, т. III, 505.

<sup>2)</sup> Вотъ, напр., письмо отъ 3 сент. 1812 г. «Moscou est pris. Il est des choses inexplicables. N'oubliez pas votre résolution: oint de paix, et vous avez encore l'espoir de recouvrer votre honneur. Si vous êtes dans la peine, n'oubliez pas vos amis prêts à voler vers vous et trop heureux s'ils pouvaient vous être quelque secours; dispceez d'eux. Mon cher ami, pas de paix et, fussiez-vous à Kazan, pas de paix». Растопчинъ отъ 13 сент. изъ Пахры прямо грозилъ Александру смертью: «Point de paix. Ce serait une sentence de mort pour nous et pour vous». (Русск. Арх. 1892, т. 8. 538).

<sup>3)</sup> Осыпавшій мать всяческими знаками почета, Александръ перлюстрировалъ ея письма и неизмѣнно иронизировалъ на ея счетъ въ письмахъ къ сестрѣ...если былъ увѣренъ, что никто другой не прочтетъ этихъ писемъ. См., напр. въ изд., В. К. Николая Михайловича письма №№ 32 и особ. 36, гдѣ говорится нѣсколько кислыхъ словъ насчетъ «la Дрожайшая Посѣтительница».

<sup>4)</sup> Нѣкоторыя мѣста переписки, даже уцѣлѣвшія отъ опустошеній, произведенныхъ многоточіями, очень любопытны. Вотъ отрывокъ изъ письма № 50. «Hélas! je ne sais profiter de mes anciens droits (il s'agit de vos pieds, entendes-vous), d'appliquer les plus tendres baisers dans votre chambre à coucher à Twer». Эти слова интересно сопоставить съ тѣмъ, что говорится въ письмахъ В. К. Екатерины Павловны о пребываніи ея вмѣстѣ съ Александромъ въ Шафгаузенъ и проч.

<sup>5)</sup> Множество примѣровъ, характеризующихъ неискренность Александра, собрано въ статьѣ С. П. Мзлгунова «Александръ I» во II томѣ изданія «Отечественная война и русское общество». Подкладка отношеній къ Аракчееву вскрыта въ статьѣ А. А. Киззеттера «Александръ и Аракчеевъ» въ его новой книгѣ «Историческіе очерки» (М. 1911).



Вполнѣ гармонировало съ основными свойствами души Александра и то, что можно было бы назвать безпорывностью духа. Онъ былъ лишенъ и характера и настоящего темперамента. Онъ не былъ натурой творческой. Выдумка туго вынашивалась у него. Не умѣли загораться огни поэзіи въ его скудной душѣ<sup>1)</sup>. Правда, онъ поднимался порою на крупныя дерзанія. Но поднимали его не идейные порывы и не тотъ неудержимый внутренній вихрь, который двигаетъ героями. Ибо меньше всего Александръ былъ героемъ.

Вспомнимъ, чѣмъ былъ Александръ, въ качествѣ военнаго дѣятеля. Съ молодыхъ лѣтъ уныло тосковалъ онъ по военной славѣ, и въ концѣ концовъ какъ будто добился, что скептическая Европа признала за нимъ военный талантъ. Но сколько было терній и шиповъ въ погонѣ Александра за лаврами полководца. Настоящаго военнаго таланта въ немъ не было. Самъ онъ, однако, вовсе не былъ убѣжденъ въ этомъ и попробовалъ обнаружить свои способности при Аустерлицѣ. Опытъ кончился печально. Въ 1812 году Александръ тѣмъ не менѣ возобновилъ его, и опять крайне неудачно. Но когда морозъ сдѣлалъ то, чего не могли сдѣлать русскіе генералы, и Наполеонъ бѣжалъ изъ Россіи, Александръ пріѣхалъ въ Вильну и снова сталъ во главѣ арміи. Тутъ его вскорѣ подхватила волна прусскаго національнаго энтузіазма, и на гребнѣ ея Александръ впервые увидѣлъ улыбку богини побѣды. Но фактически побѣды одерживали другіе: Шварценбергъ, Блюхеръ, Бернадотъ, Бюловъ. Александръ хлопоталъ, добросовѣстно высиживалъ на военныхъ совѣтахъ, самъ писалъ карандашомъ протоколы, словомъ, дѣлалъ видъ, что «ремесло» полководца очень тяжело. Когда союзники переступили Рейнъ съ войскомъ въдесятеро сильнѣйшимъ, чѣмъ у Наполеона, Александръ рѣшился однажды подышать воздухомъ браннаго поля. Это было въ 1814 г. при Фершампенуазѣ, когда нѣсколько французскихъ карре геройски выдерживали артиллерійскій огонь и кавалерійскія атаки всей русской арміи. И вотъ что тамъ произошло: «Государь, видя два карре непріятельской пѣхоты и 100 человекъ кирасиръ, остановившихся на мѣстѣ и колеблющихся, не зная, что имъ дѣлать, приказалъ своему конвою, изъ 100 черноморскихъ казаковъ и 100 гвардейскихъ донскихъ казаковъ, атаковать карре. Казаки бросились, и находившіеся при государѣ болѣе сотни разныхъ офицеровъ, смотря на казаковъ, также поскакали впередъ; въ числѣ офицеровъ и государь по правую сторону поскакалъ впередъ, скача самымъ маленькимъ галопомъ почти на мѣстѣ и осматривался назадъ, чтобы кто ни есть его удержалъ отъ сей чрезмѣрной храбрости. Въ то же время одинъ штабъ-офицеръ, ѣхавшій немного сзади его, удержалъ за руку, сказавъ: «Государь, твоя жизнь дорога и нужна». Государь поворотилъ скоро лошадь назадъ и скорѣе отъѣхалъ на прежнее мѣсто, нежели впередъ подавалъ»<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Какая скука, напр., читать подъ рядъ его письма къ сестрѣ! Въ первые годы ихъ скрашиваютъ еще воспоминанія дѣтства, потомъ они дѣлаются все суше и суше. А вѣдь пишетъ онъ человѣку, котораго искренно любитъ. Письма В. К. Екатерины Павловны обнаруживаютъ душу несравненно болѣе яркую.

<sup>2)</sup> Записки полк. А. К. Карпова (Витебскъ, 1910). Карповъ прибавляетъ: «Безполезную атаку, въ которую Государь бросился, послѣ кампаніи чрезвычайно льстецы прославляли, но не одинъ изъ нихъ не написалъ правды: можетъ-быть потому, (что) въ нынѣшнемъ вѣкѣ дѣй-



Въ боевомъ огнѣ Александръ, словомъ, чувствовалъ себя не очень хорошо. Зато въ мирной обстановкѣ плацпарадовъ онъ безъ труда могъ соперничать съ Наполеономъ. Любовь къ фронтовымъ занятіямъ, глубокое убѣжденіе въ необходимости муштры сидѣло въ немъ такъ крѣпко, какъ ничто. Тутъ вѣроятно сказывалось и вліяніе гатчинскихъ впечатлѣній юности и тоска по военной славѣ невоеннаго человѣка и упрямое желаніе всѣмъ показать, что онъ любитъ и понимаетъ военное дѣло. Требовательность къ тонкостямъ шагистики и фронтowej выправки превращалась у Александра въ чисто павловскую болезненную страсть. Съ одной впрочемъ разницею. Линейная тактика Фридриха II, царившая при Павлѣ, дѣлала и муштру и выправку необходимыми. На этомъ строилось все. При Александрѣ особенно въ концѣ его царствованія, когда муштра стала достигать размѣровъ гомерическихъ, — линейная тактика давно успѣла отойти въ область преданій, и наполеоновскіе «ворчунъ», недостигаемый образецъ дисциплинированныхъ солдатъ, забыли о томъ, что такое гатчинская муштра. Александръ между тѣмъ упорно продолжалъ требовать шага въ одинъ аршинъ и 75 такихъ шаговъ въ минуту, а скорымъ по 120, и опусканія носковъ, и соблюденія «каденсу» и всего остального<sup>1)</sup>. Это походило не на Наполеона, а скорѣе на Петра III, который добывалъ себѣ военную славу способомъ еще болѣе легкимъ: на своемъ столѣ и съ деревянными солдатами.

Душевные силы Александра охотно устремлялись на мелкое. Въ этомъ онъ былъ похожъ на Наполеона. Но онъ не были способны отъ мелкаго подняться къ великому, ибо для этого нужны были крылья генія. У Наполеона это дѣлалось само собою.

Александръ не умѣлъ отдаться цѣликомъ, безъ оглядки, какому-нибудь чувству. Не было такой идеи, не было такого ощущенія, которыя владѣли бы Александромъ когда-нибудь всецѣло. Онъ все взвѣшивалъ, все разсчитывалъ. Даже мистицизмъ послѣднихъ лѣтъ царствованія служилъ у него опредѣленной цѣли. Онъ закрывалъ отъ глазъ недалъновидныхъ людей его политическія цѣли. Мистицизмъ для него былъ не ключъ къ пониманію міра, не цѣлостное жизненное міросозерцаніе, какъ для Жозефа де Местра или Адама Мюллера, а политическое орудіе, какъ для Генца, Ансильона, Меттерниха. Представить пораженіе Наполеона, какъ «судъ Божій», было очень выгодно, ибо въ этомъ случаѣ всѣ обязательства погашались непосредственнымъ разсчетомъ между властью и Божествомъ, и слѣдовательно другія обязательства власти, земныя, данныя подданнымъ, можно было считать ликвидированными. А сколько такихъ обязательствъ давала народамъ легитимная власть въ Россіи, Австріи, Пруссіи, когда надъ нею тяготѣлъ могучій кулакъ Наполеона, когда ей грозила гибель безъ содѣйствія народовъ. Если Александръ не говорилъ громко, подобно Меттерниху, что Священный

---

ствительно нельзя сказать правды, а тѣмъ болѣе притомъ же всѣхъ почти льстецовъ весьма щедро награждаютъ, а за правду отсылаютъ въ Сибирь, въ вѣчную работу и другія мѣста, гдѣ только можно притѣснить человѣчество». См. собраніе мемуаровъ за 1812 г., подъ редакціею В. В. Каллаша, стран. 223. Справедливость, впрочемъ, требуетъ прибавить, что другіе современники, какъ напр. Шишковъ, считаютъ Александра лично храбрымъ человѣкомъ.

<sup>1)</sup> См. примѣры въ той же статьѣ Мельгунова.

союз — «un rien sonore», то только потому, что то было его собственное дѣтище; практическую политическую цѣнность этого орудія въ дѣлахъ внутреннихъ онъ понималъ не хуже австрійскаго канцлера. А г-жа Крюденеръ и вся прочая декорация мистицизма служила у него только для отвода глазъ. Когда онъ становился неудобны, Крюденеръ высылали изъ Петербурга и Александръ равнодушно смотрѣлъ на то, какъ Фотій съ митрополитомъ Серафимомъ валили на его глазахъ А. Н. Голицына.

## 5.

Каковы же были побудительныя причины тѣхъ крупныхъ дѣяній Александра, которыя вывели его на просторъ міровой исторіи и создали ему такую громкую славу?

«Характеръ Александра, — сказали Меттернихъ, — представлялъ странную смѣсь качествъ мужа и слабостей женщины». «Если бы Александра одѣтъ въ женское платье, — говорилъ французскій дипломатъ Лафероне, — то была бы тонкая женщина». Это подмѣчено правильно. Александръ уже потому былъ женственной натурой, что у него не было главнаго «качества мужа», крѣпкой воли. И всѣ особенности его характера имѣли то общее, что въ нихъ, какъ говорилъ Наполеонъ, «чего-то не хватало» для того, чтобы быть «качествами мужа». Оттого они всѣ походили больше на «недостатки женщины».

Вмѣсто упорнаго характера, у Александра было самолюбіе, вмѣсто воли — упрямство, вмѣсто честолюбія — тщеславіе и зависть. Какъ большинство властителей, онъ любилъ лести, помнилъ зло и обиды. Уже при самомъ вступленіи на престолъ люди проницательные, по словамъ ген. Тучкова, угадывали въ немъ «духъ неограниченнаго самовластія, мщенія, злопамятности, недовѣрчивости, непостоянства въ обѣщаніяхъ и обмановъ»<sup>1)</sup>.

Какъ у всѣхъ некрупныхъ людей, у Александра было особаго рода самолюбіе, какое-то неспокойное, насторожившееся. Его задѣвалъ всякій пустякъ. Ему наносила раны всякая обида, и нелегко заживали эти раны. Наполеону онъ не прощалъ пренебрежительнаго мнѣнія о себѣ. Его мучила мысль, что въ Европѣ его не хотятъ признать крупнымъ человѣкомъ. Послѣ вступленія союзныхъ войскъ въ Парижъ въ 1814 г., онъ сказалъ Ермолову: «Двѣнадцать лѣтъ меня считали посредственностью въ Европѣ. Посмотримъ, что скажутъ теперь». Такъ радуется только человѣкъ, «нечаянно пригрѣтый славой». Развѣ можно представить себѣ такую фразу въ устахъ Наполеона?

Всѣ главные факты царствованія Александра были слѣдствіемъ именно этихъ женскихъ качествъ его души. Колоссальный поединокъ двухъ политическихъ культуръ — соперничество между Россіей и Франціей — въ душѣ Александра принималъ видъ и форму личнаго сореизнованія съ Наполеономъ. И это настроеніе не покидало его до конца, зародившись во времена Аустерлица. Даже Тильзитъ не былъ перерывомъ, хотя Александръ всячески дѣлалъ видъ, что онъ покоренъ

<sup>1)</sup> Цит. у С. П. Мельгунова, гдѣ собрано много свидѣтельствъ, рисующихъ эти «женскія» качества Александра.

величіемъ своего союзника. Онъ и тутъ игралъ роль, и тутъ носилъ личину. Уже 26 мая 1807 года онъ пишетъ сестрѣ: «Bonaparte prétend qui je ne suis qu'un sot. Rira le mieux qui rira le dernier». Послѣдняя фраза подчеркнута, и въ ней слышится глухая ненависть. Если бы сохранились письма времени эрфуртскаго свиданія, мы, вѣроятно, нашли бы и тамъ что-нибудь подобное. Въ 1812 году, какъ мы видѣли, Александръ колебался очень сильно и въ значительной мѣрѣ подъ внѣшними вліяніями рѣшился не итти на миръ. Но въ 1813 и въ 1814 году, когда опасность для Россіи миновала, онъ былъ самымъ непримиримымъ изъ противниковъ Наполеона; ему нуженъ былъ не столько миръ съ Франціей, не столько возстановленіе политическаго равновѣсія въ Европѣ, сколько низверженіе личнаго врага. Какъ ни доказывалъ ему Кутузовъ, своимъ трезвымъ умомъ великолѣпно оцѣнившій политическое положеніе, — что нѣтъ никакой необходимости лить изъ-за нѣмцевъ русскую кровь, Александръ рѣшилъ перенести войну за Нѣманъ. Пруссіе патріоты съ барономъ Штейномъ во главѣ, которымъ необходимъ былъ новый походъ противъ Наполеона, подсказали Александру очень удобный лозунгъ: «Освобожденіе Европы», — который, казалось, оживлялъ его юношеское преклоненіе передъ идеей «человѣчества». Дѣло было, конечно, не въ этомъ романтическомъ настроеніи, которое давно перестало быть искреннимъ, а въ томъ, что Александру нужно было полное униженіе Наполеона, реваншъ за Аустерлицъ, за Москву. И наоборотъ, на Вѣнскомъ конгрессѣ онъ чуть не довелъ дѣло до войны, когда Англія, Австрія и Франція отказались позволить Пруссіи проглотить Саксонію: Александръ заранѣе обѣщалъ этотъ лакомый кусокъ своему другу Фридриху Вильгельму. Нужно было сдержать обѣщаніе; дѣло шло о его самолюбіи. А исторія съ военными поселеніями? Когда бунтъ сталъ принимать угрожающіе размѣры, и даже Аракчеевъ началъ склоняться къ тому, чтобы покончить съ этой жестокой затѣей, Александръ упрямо стоялъ на своемъ: «Поселенія будутъ, хотя бы пришлось уложить трупами всю дорогу отъ Петербурга до Чудова». Для него лично эти бунты не представляли опасности, и можно было, не опасаясь ничего, сдѣлать одинъ изъ тѣхъ наполеоновскихъ жестовъ, которые онъ такъ любилъ и которые вообще такъ плохо ему удавались.

Но въ одномъ отношеніи качества «тонкой женщины» оказали огромную услугу Александру. Они сдѣлали его превосходнымъ дипломатомъ. Въ этой борьбѣ, арена которой — салоны и залы засѣданій, оружіе которой хитрость, притворство и умѣніе скрывать правду, Александръ чувствовалъ себя вполне въ своей стихіи. Тутъ онъ былъ опредѣленной величиной. А. А. Кизеветтеръ говоритъ<sup>1)</sup>, что Александръ былъ прирожденнымъ дипломатомъ, какъ Наполеонъ былъ прирожденнымъ полководцемъ. Но не нужно забывать, что крупной величиной въ мірѣ дипломатіи Александра сдѣлали качества «тонкой женщины».

Руководящія идеи его дипломатической дѣятельности часто противорѣчили интересамъ Россіи, ибо отвѣчали либо интересамъ русскаго дворянства, либо его личнымъ чувствамъ и побужденіямъ. Но разъ поставивъ себѣ дипломатическую цѣль, Александръ шелъ къ ней неуклонно, достигалъ ее комби-

<sup>1)</sup> Ист. очерки, стран. 304.



націями, необыкновенно искусными и цѣлесообразными. Такъ было, напримѣръ, въ 1813 году, когда онъ такъ неподражаемо легко осуществилъ коалицію съ Пруссіей противъ Наполеона и позже, во времена Священнаго Союза, когда самъ Меттернихъ едва не сдѣлался подголоскомъ Александра.

## 6.

Когда отъ душевнаго міра Александра вы обращаетесь къ душевному міру Наполеона, вы словно попадаете изъ сѣверной степи прямо въ тропическій лѣсъ. Настолько тамъ все скудно. Настолько здѣсь — все сверкаетъ, все пышно, все ослѣпительно.

Самое поразительное въ Наполеонѣ, что огромныя умственныя силы соединяются у него съ цѣлымъ рядомъ другихъ качествъ, cadaго изъ которыхъ было достаточно, чтобы создать замѣчательнаго человѣка: желѣзной волей, все одолѣвавшей энергіей, несокрушимой работоспособностью, кипучимъ, какъ лава, темпераментомъ, фантазіей, полету которой нѣтъ границъ, какимъ-то вдохновеннымъ умѣніемъ разгадывать и покорять людей. Никакое дѣло не представлялось ему труднымъ, ни одна задача не казалась неразрѣшимой, потому что въ душѣ его били неизсякаемые ключи творческихъ силъ. Онъ позналъ великое искусство предвидѣнія и въ немъ почти не зналъ промаховъ, ибо не только разсчитывалъ каждый свой шагъ и взвѣшивалъ каждое свое намѣреніе: въ тайны будущаго онъ посылалъ развѣдчицей свою свѣтлую мысль на крыльяхъ своего удивительно дисциплинированнаго воображенія. Геній замѣнялъ ему все: недостатокъ знаній, вопіющую неподготовленность, отсутствіе такта. Онъ все скрашивалъ, все расцвѣчивалъ. Привыкнувъ къ тому, что его разсчеты сбываются, Наполеонъ увѣровалъ въ свою звѣзду и, когда въ этихъ разчетахъ оказывалась ошибка, онъ готовъ былъ скорѣе видѣть въ этомъ бунтъ со стороны судьбы, чѣмъ согласиться признать себя неправымъ<sup>1)</sup>.

Въ этомъ отношеніи Наполеона совершенно безцѣльно сравнивать съ Александромъ. Это два разные калибра. Одинъ — гигантъ, которому трудно найти параллель въ исторіи, другой — человѣкъ, едва возвышающійся надъ среднимъ уровнемъ. Александръ самъ отлично сознавалъ превосходство Наполеона. Онъ не только демонстрировалъ это въ Эрфуртѣ, въ театрѣ, когда онъ поднялся, чтобы пожать руку Наполеона, услыша со сцены стихъ «*L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux*»<sup>2)</sup>). Онъ откровенно призналъ это въ письмѣ къ сестрѣ<sup>3)</sup>.

Тѣмъ не менѣе сопоставленіе того и другого представляетъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ большой интересъ. Какъ нравственныя величины они такъ же далеки

<sup>1)</sup> Ср. мою характеристику Наполеона въ т. III сборника «Отечественная война и русское общество».

<sup>2)</sup> A. Vandal, Наполеонъ и Александръ, I, 446.

<sup>3)</sup> Отъ 18 сент. 1812 г. «Quant au talent, peut être, je puis en manquer, mais il ne se donne pas: c'est un bienfait de la nature et personne ne se l'est jamais procuré. Secondé aussi mal que je suis... contre un antagoniste infernal qui a la plus horrible sceleratesse joint au talent le plus éminent... il n'est pas étonnant que j'éprouve des revers».

другъ отъ друга, какъ и умственные. Но то и любопытно, что въ концѣ концовъ на важнѣйшемъ изъ путей въ жизни монарха, на политическомъ — они неожиданно оказываются рядомъ.

У Александра атрофія воли, у Наполеона — воля гипертрофирована. Насколько одинъ готовъ подчиниться другому, болѣе сильному, какъ только успокоено его «кроткое упрямство»<sup>1)</sup>, настолько другой хочетъ покорить своей волѣ, согнуть, сломить передъ ней все окружающее. И онъ умѣетъ этого добиться. Въ концѣ концовъ эта воля сокрушилась только передъ стихіями: народной стихіей и стихіей природы. А Александръ — дипломатъ-искусникъ — въ рѣшительный моментъ сумѣлъ оказаться подъ прикрытіемъ этихъ стихій.

Но при сопоставленіи двухъ императоровъ особенно бросается въ глаза не это несходство, а другое. Александръ — человѣкъ безъ темперамента. У Наполеона онъ бьетъ черезъ край. Клокочущимъ темпераментомъ у одного, безтемпераментностью у другого окрашена вся жизнь. Оба они актеры. Оба притворяются — и не могутъ не притворяться — безпрестанно. Но какая разница! Александру всего больше удастся роль «прельстителя», въ то время, какъ Наполеонъ особенно хорошъ въ роляхъ Юпитера-Громовержца. Онъ былъ способенъ разыграть цѣлую бурю, приводившую всѣхъ въ трепетъ, и сейчасъ же обратиться къ кому-нибудь изъ близкихъ: «Вы думаете, что я былъ очень сердитъ... Успокойтесь, у меня гнѣвъ никогда не идетъ дальше этого». И онъ показывалъ шею<sup>2)</sup>). Наоборотъ, Наполеону далеко не всегда удавалось разыграть прельстителя, даже когда онъ хотѣлъ: слишкомъ чувствовались подъ лаской когти тигра. Еще меньше удавались Александру позы и тонъ громовержца. На Вѣнскомъ конгрессѣ онъ пробовалъ запугать дипломатовъ грозными окриками à la Наполеонъ. Но Кэстльри и Талейранъ не давали обмануть себя. Темпераментъ былъ не тотъ. И еще была разница. Наполеонъ почти всегда импровизировалъ свои актерскія выступленія. Александру приходилось готовиться къ своимъ. Онъ даже въ церковь забирался спозаранку, чтобы сдѣлать тамъ «репетицію церковнаго служенія». (Волконскій, Зап. 154). Но изъ двухъ актеровъ Наполеонъ чаще бывалъ искреннимъ въ жизни, чѣмъ Александръ.

То же различіе въ темпераментъ сказывалось въ отношеніи къ женщинамъ. Одинъ дѣйствуетъ какъ солдатъ, другой какъ дипломатъ. Въ Александрѣ тутъ было несомнѣнно что-то рыцарственное. Онъ самъ вкладывалъ въ отношенія къ женщинамъ большую долю увлеченія. Наполеонъ, послѣ того, какъ Жозефина растоптала его любовь, не увлекался серьезно никѣмъ. И рыцаремъ съ женщинами онъ не былъ совсѣмъ. Женщины боялись его, удивлялись ему, но — кромѣ, по видимому, Валуевской — его не любили. Быть можетъ потому, что онъ совсѣмъ не умѣлъ обращаться съ женщинами. Онъ былъ либо грубъ, либо скученъ. Онъ былъ способенъ въ большомъ дамскомъ обществѣ, въ Сенъ-Клу, двадцать разъ повторить немудреную фразу: «Il fait chaud!» Александръ былъ кумиромъ женщинъ. Прекрасный собою, обаятельный въ обращеніи, отлично играющій роль «прельсти-

<sup>1)</sup> Александра въ семейномъ кругу называли «doux entêté».

<sup>2)</sup> Taine, Rég. moderne, 45.

теля», онъ не могъ не покорять сердца. Съ гордостью<sup>1)</sup> — и на этотъ разъ вполне законной — онъ говорилъ, что этимъ успѣхомъ онъ обязанъ не тому, что онъ былъ императоромъ. И онъ былъ правъ: онъ былъ обязанъ имъ по крайней мѣрѣ не только своей коронѣ. Но самый процессъ «прельщенія» занималъ Александра больше, чѣмъ результатъ побѣды. «Кокетка!» говорила про него королева Гортензія, зная его съ этой стороны довольно хорошо. Вообще темперамента было мало въ его многочисленныхъ романахъ. Онъ очень любилъ свою *petite famille*, М. А. Нарышкину и ея дѣтей и утилизировалъ свой успѣхъ гораздо рѣже, чѣмъ можно думать. Вотъ одинъ довольно типичный эпизодъ. Во время своего пребыванія въ Лондонѣ въ 1814 году онъ передъ отъѣздомъ пригласилъ къ себѣ къ 1 часу ночи одну изъ придворныхъ красавицъ, лэди Джерси. Дама приготовилась ко всему и поѣхала съ убѣжденіемъ, что будетъ «крайне невѣжливо» отказать царственному поклоннику, какъ бы далеко ни зашли его требованія. Но Александръ предусмотрительно велѣлъ разбудить сестру, В. К. Екатерину Павловну и ограничился только тѣмъ, что попросилъ разрѣшенія поцѣловать руку своей гостьи выше локтя<sup>2)</sup>. Сопоставьте съ этимъ хотя бы такой случай, рассказанный про Наполеона Бурьеномъ. Въ Египтѣ ему понравилась жена одного изъ офицеровъ. Онъ приблизилъ его къ себѣ, сталъ принимать его съ женою, потомъ отправилъ его въ Европу. А даму однажды за обѣдомъ посадилъ рядомъ съ собой, и какъ будто нечаянно столкнулъ ей на платье графинъ съ водою. Сталъ извиняться и увелъ къ себѣ въ комнату, чтобы «привести въ порядокъ». Публика терпѣливо ждала... Его вообще очень мало заботило, имѣетъ онъ успѣхъ или нѣтъ. Онъ бралъ женщину, какъ его гренадеры брали непріятельскій редутъ. Ухаживанія Александра, наоборотъ, состояли нерѣдко изъ чисто-дипломатическихъ хитростей. Наполеонъ передаетъ (О'Меара, бесѣда 15 дек. 1815) съ тонкимъ юморомъ исторію тильзитскаго романа Александра 1807 года. Фридрихъ Вильгельмъ рискуя остаться совсѣмъ безъ владѣній, старался, чтобы королева Луиза пріѣхала въ Тильзитъ какъ можно позже: онъ ревновалъ свою прекрасную супругу, «къ одной высокой особѣ». Въ концѣ концовъ она пріѣхала и провела тамъ нѣсколько дней, захвативъ конецъ переговоровъ. Когда все было кончено, пункты договора установлены, король попросилъ у Наполеона прощальную аудіенцію. Александръ, узнавъ объ этомъ, «съ таинственнымъ видомъ» сталъ просить Наполеона отстрочить эту аудіенцію на сутки. Тотъ «дружбы ради» сдѣлалъ ему это удовольствіе. Наполеонъ въ такихъ случаяхъ обходился безъ чужой помощи. Извѣстенъ рассказъ,

<sup>1)</sup> Онъ охотно разрѣшалъ своимъ придворнымъ лстивые намеки насчетъ своихъ побѣдъ. Вотъ одинъ такой намекъ, увѣковѣченный Домергомъ («*La Russie pendant les guerres de l'Empire*», т. I, 117). На какой-то придворный вечеръ явился Д. Л. Нарышкинъ, мужъ Маріи Антонсовны, причесанный болѣе элегантно, чѣмъ всегда. Александръ, показывая на него его брату Льву Львовичу, замѣтилъ: «*Léon, remarquez donc comme votre frère est bien coiffé*»; Нарышкинъ, который вообще не любилъ лазить за словомъ въ карманъ, отвѣтилъ ему: «*Eh, Sire, ne savez-vous pas qu'il l'est de main de maitre*».

<sup>2)</sup> См. «Отрывокъ изъ воспоминаній княгини Ливень. Лондонъ, въ 1804 г.» въ изданіи В. К. Николая Михайловича «Переписка Александра съ В. К. Екатериной Павловной», стран. 244—245.



переданный десятками современниковъ, какъ онъ встрѣтилъ въ Компьенѣ свою невѣсту, Марію Луизу и какъ удивилъ ее, воспитанницу самаго чопорнаго европейскаго двора, этой встрѣчей. Шатобріанъ считалъ поступокъ Наполеона, насмѣявшагося надъ церковными обрядами, чуть не главной причиной его крушенія.

Такъ разница въ темпераментахъ сказывалась въ мелочахъ. Но она сказывалась и въ крупномъ. Различные темпераменты различно окрашиваютъ и господствующую особенность нравственной фигуры обоихъ: эгоизмъ. Эгоизмъ у нихъ разный, но замѣчательно то, что послѣдствіе эгоизма у того и у другого нечувствительно ихъ сближаютъ.

## 7.

*Я* Александра — *я* «тонкой женщины», *я*, складывающееся изъ всякаго рода мелкихъ побужденій, но въ суммѣ цѣпкое и по своему упорное. *Я* Наполеона совсѣмъ иного рода. Вотъ какъ рисуетъ его своимъ пышнымъ перомъ Тэнъ: «Это эгоизмъ не инертный, но дѣятельный и наступательный, соотвѣтствующій дѣятельности и широтѣ его способностей, развитый воспитаніемъ и обстоятельствами, доведенный успѣхомъ и всемогуществомъ до того, что онъ сталъ какимъ то чудовищемъ, воздвигъ среди человѣческаго общества колоссальное *я*, которое все дальше и дальше протягиваетъ вокругъ себя хищные и цѣпкіе когти; его раздражаетъ всякое сопротивленіе, его стѣсняетъ всякая независимость; въ безграничномъ удѣлѣ, который онъ себѣ захватилъ онъ не терпитъ никакой жизни, если только она не придатокъ и не орудіе его собственной». (Rég. moderne, I, 62) Тэнъ не любитъ Наполеона, не понимаетъ его и несправедливъ къ нему. И въ этой тирадѣ все, конечно, преувеличено. Но общая тенденція нравственнаго духа Наполеона указана вѣрно.

Эгоизмъ, когда онъ на престолѣ, неизбежно пріобрѣтаетъ политическій характеръ и становится почти съ необходимостью деспотизмомъ, если не встрѣчается къ этому препятствій. И совершенно безразлично, какого рода эгоизмъ лежитъ въ источникѣ деспотизма: бурный, откровенный, «наступательный» или осторожный, идущій мелкими шажками и безпрестанно оглядывающійся по сторонамъ. Страна, надъ которой деспотизмъ продѣлываетъ свои эксперименты, страдаетъ одинаково и отъ одного, и отъ другого. Ибо въ концѣ концовъ изъ различныхъ предпосылокъ личной морали, изъ различныхъ темпераментовъ складывается очень однородный политическій результатъ.

Эгоизмъ вырабатываетъ недовѣріе, презрѣніе и ненависть къ людямъ, подозрительность, завистливость. Когда все это вмѣстѣ покрыто горностаевой мантией и увѣнчано короной, подданные не бываютъ счастливы. И если исключить медовые дни Неофициальнаго комитета въ Россіи и первые два-три года консульства во Франціи, оба соперника довольно быстро продѣлали эту неизбежную эволюцію. Сопоставимъ нѣсколько свидѣтельствъ современниковъ.

Во время высылки Сперанскаго Александръ сказалъ де-Санглену: «я рѣшительно никому не вѣрю. Люди — мерзавцы» (Семевскій. Полит. и общ. идеи

декабристовъ, 78). — «Наполеонъ не вѣрилъ ни въ добродѣтель, ни въ честность. Онъ часто называлъ эти два слова абстракціями (Chaptal, Souv. 305). Онъ сказала однажды генералу Дюма: «Не отличаетесь же вы отъ другихъ людей; личная выгода у всѣхъ на первомъ планѣ» (Mem. III, 364). А Бурьенъ передалъ потомству еще одно его изреченіе: «Два рычага двигаютъ людьми: страхъ и выгода» («Отеч. война» т. III, 20). Разъ къ людямъ относятся съ такимъ презрѣніемъ, ясно, что даровитыхъ людей будутъ всегда бояться: если всѣ люди «мерзавцы», то даровитый мерзавецъ, конечно, опасенъ. Разъ всѣми двигаютъ страхъ и выгода, — у даровитаго человѣка чувство выгоды можетъ не остановиться у подножья трона. И вотъ результаты: Кочубей говоритъ Сперанскому: «Иные заключаютъ, что Государь именно не хочетъ имѣть людей съ дарованіями» (Мельгуновъ, назв. статья, 133). Шапталъ пишетъ про Наполеона: «Считая себя достаточно сильнымъ, чтобы управлять самому, онъ заботливо устранялъ всѣхъ, талантъ или характеръ которыхъ казались ему неудобными. Ему нужны были слуги, а не совѣтники» (Souv., 226). И факты подтверждаютъ эти слова. Александръ удаляетъ Сперанскаго и не довѣряетъ Кутузову, Наполеонъ оттираетъ Массену и отправляетъ въ изгнаніе Моро, главная вина котораго заключалась въ томъ, что онъ даровитый человѣкъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что, оставшись съ людьми второго и третьяго сорта, оба презираютъ самыхъ близкихъ своихъ людей. Александръ говорилъ однажды королю прусскому, что оба они «окружены негодяями», что онъ своихъ «многихъ хотѣлъ прогнать, но на ихъ мѣсто являлись бы такіе же» (Семевскій, тамъ же). Наполеонъ говорилъ про Савари, своего самага довѣреннаго человѣка, что его нужно безпрестанно подкупать. Даже про генераловъ, которыми онъ дорожилъ безконечно выше гражданскихъ должностныхъ лицъ, онъ какъ-то сказалъ, что «даетъ славу только тѣмъ, кто не умѣетъ ее носить». (Г-жа Ремюза у Taine, Rég. moderne I, 80). Стендаль находилъ даже, что одна изъ двухъ главныхъ причинъ крушенія Наполеона, заключалась въ томъ, что со времени коронаціи онъ окружалъ себя ничтожествами.

Вполнѣ логично послѣ этого, что народъ это — *sauvaille*, какъ часто выражается Наполеонъ про французовъ даже на св. Еленѣ или — какъ Александръ характеризуетъ русскихъ — «каждый изъ нихъ либо плутъ, либо дуракъ» (Якушкинъ, «Зап.» стран. 5). А такимъ людямъ, конечно, нельзя давать ни малѣйшей свободы. Наполеонъ говоритъ Меттерниху въ 1812 г.: «Франція меньше приспособлена для формъ представительства, чѣмъ другія страны» и хвалится, что «надѣлъ намордникъ» на Законодательный Корпусъ. Александръ говоритъ въ свою очередь Лафеттону: «Я люблю конституціонныя учрежденія и думаю, что всякій порядочный человѣкъ долженъ любить ихъ; но можно ли вводить ихъ безразлично у всѣхъ народовъ? Не всѣ народы готовы въ равной степени къ ихъ принятію» (Семевск., 77). Когда Наполеону стало казаться, что въ Трибунатѣ занимаются революціей, онъ попросту прекратилъ его засѣданія. Когда нашъ сенатъ воспользовался высочайше дарованнымъ ему правомъ дѣлать представленія Государю о несоотвѣтствіи тѣхъ или иныхъ указовъ другимъ узаконеніямъ, Александръ такъ прикрикнулъ на бѣдныхъ сенаторовъ, что они и не рады были своей затѣѣ.



У Александра не было даже горячей любви къ родинѣ, которая такъ часто дѣлаеть чудеса съ людьми слабой воли. Многимъ изъ современниковъ бросалась въ глаза какая-то активная нелюбовь къ Россіи. Записки И. Д. Якушкина<sup>1)</sup> и другихъ декабристовъ изобилуютъ указаніями этого рода. И Наполеонъ любилъ Францію больше для себя. Когда Меттернихъ осторожно предостерегалъ его насчетъ того, что у Франціи можетъ не хватить людей для безконечныхъ гекатомбъ его честолюбію, Наполеонъ воскликнулъ: «Вы не солдатъ и вы не понимаете души солдата. Я выросъ на полѣ сраженія и для такого человѣка, какъ я, жизнь милліона людей—совершенный пустякъ» (въ оригиналѣ грубѣе: *un homme comme moi se fiche de la vie d'un million d'hommes*. Mem. I, 230). Нарбонну, который говорилъ ему на ту же тему, Наполеонъ сказалъ: «Въ концѣ концовъ, чего мнѣ стоило все это (походъ въ Россію): трехсотъ тысячъ человѣкъ! Да еще среди нихъ было много нѣмцевъ». Но въ концѣ концовъ эгоизмъ cadaquo, поскольку онъ проявляется по отношенію къ родной странѣ, глубоко различенъ. Александръ боится Россіи, боится крестьянъ, боится дворянъ, боится арміи. У Наполеона нѣтъ страха. Его социальная политика такова, что и буржуазія и крестьянство ему преданы, и если извнѣ все благополучно, ему опасаться нечего.

Повторяемъ, счастье Наполеона передъ лицомъ исторіи — въ томъ, что ему не довелось привести къ логическому концу махинаціи деспотизма. Это дало ему возможность на св. Еленѣ защищаться отъ обвиненій съ довольно большой на первый взглядъ убѣдительностью. Александру никто не мѣшалъ, и свой деспотизмъ онъ довелъ до его послѣднихъ логическихъ предѣловъ. То же было и со зданіемъ международнаго строительства Наполеона. Оно рушилось, и на его мѣстѣ воздвиглось сантиментально-ханжеская охранительная храмина Священнаго союза. Въ эпоху конгрессовъ, когда перепуганные революціей и Наполеономъ, легитимные монархи, ужъ безъ всякихъ помѣхъ свирѣпствовали противъ всякихъ свободъ, и противъ людей, поднимающихся во имя свободы, Александръ подъ конецъ шелъ впереди Меттерниха. На Веронскомъ конгрессѣ 1822 г. онъ былъ самымъ пылкимъ сторонникомъ вмѣшательства въ испанскія дѣла (въ Испаніи была революція), а въ борьбѣ грековъ противъ турокъ холодно усмотрѣлъ одинъ лишь «революціонный признакъ времени». Ему, русскому царю, важно было, чтобы и въ Испаніи все было мертво и спокойно, какъ въ Чудовѣ, какъ въ Грузинѣ. Наполеону такая метафизика деспотизма была всегда глубоко непонятна. Онъ былъ практикъ, и заботился только о томъ, чтобы деспотизмъ не встрѣчалъ противодѣйствія во Франціи. Остальное его мало интересовало.

## 8.

Не удивительно, что впечатлѣніе, которое оба императора производили на окружающихъ, было глубоко различное. Александръ вызывалъ восторги своей добротою, своей привѣтливостію. «Нашъ ангелъ!» Онъ зналъ, что въ этомъ

<sup>1)</sup> «До слуха всѣхъ доходили изрѣченія императора, въ которыхъ выражалось презрѣніе къ русскимъ» (Зап., Москва, 1905, стран. 5). «Императоръ, очевидно, все болѣе и болѣе ожесточался противъ Россіи» (стран. 22).



наиболѣе сильная его сторона и, какъ хорошій актеръ, старался всегда показывать больше доброты, больше привѣтливости, чѣмъ было въ немъ на самомъ дѣлѣ. Графъ Делагардъ, оставившій намъ безподобную анекдотическую исторію Вѣнскаго конгресса, полную коллекцію сплетенъ, анекдотовъ, остротъ,—часто рисуется Александра за этимъ занятіемъ. То царь соскакиваетъ съ лошади, чтобы помочь императору Францу выйти изъ коляски и вызываетъ рукоплесканія толпы, то мистифицируетъ русскаго моряка, пріѣхавшаго въ Вѣну съ депешами, то подчеркиваетъ свою дружбу къ Евгенію Богарне, всѣми покинутому, и демонстративно не разстается съ нимъ на прогулкахъ <sup>1)</sup>, то столь же демонстративно поощряетъ составляющія притчу во языцѣхъ въ Вѣнѣ ухаживанія кронпринца Вюртембергскаго за В. К. Екатериной Павловной. И слетѣвшаяся въ Вѣну, жадная до сплетенъ международная великосвѣтская толпа, гдѣ каждая герцогиня была немного кокеткой, гдѣ совѣсть любого дипломата можно было купить за то или иное количество золота, гдѣ сыщики вертѣлись въ раздушенныхъ будуарахъ, а сутенеры получали жалованіе отъ полиціи,—эта толпа провозглашала Александра своимъ героемъ, и онъ гордился окружающимъ его преклоненіемъ.

Правда, привѣтливость, ласковость и доброту Александра отмѣтили и такіе люди, которыхъ трудно было провести притворствомъ: Штейнъ, Арндтъ, даже Наполеонъ <sup>2)</sup>. Но доброта Александра было больше внѣшняя, показная. Тамъ, гдѣ не приходилось рисоваться, ему ничего не стоило разбить жизнь, разбить сердце даже людямъ, его любящимъ. Онъ превратилъ въ сплошную муку жизнь своей несчастной жены, императрицы Елизаветы Алексѣевны, которой онъ столькимъ былъ обязанъ въ тяжелые дни вояженія.

Въ послѣдній періодъ жизни онъ даже пересталъ рисоваться добротой. Мучительства въ военныхъ поселеніяхъ, суровый приговоръ по дѣлу семеновцевъ, постоянныя дисциплинарныя наказанія въ арміи, благодаря которой онъ удержался на престолѣ—все это дѣлалось съ вѣдома, иногда съ поощренія Александра. «Что касается личности Александра Павловича, какъ человѣка и простаго смертнаго, — говоритъ В. К. Николай Михайловичъ <sup>3)</sup>, — то врядъ ли обликъ его, такъ сильно очаровывавшій современниковъ, черезъ сто лѣтъ безпристрастный изслѣдователь признаетъ столь же обаятельнымъ».

Наполеонъ былъ лишенъ врожденнаго дара очаровывать окружающихъ. Когда ему это было нужно, онъ старался, и это удавалось. Выручаль опять геній. Но все-таки это выходило у него далеко не такъ просто и такъ естественно, какъ у Александра. Зато у него было другое. Умственная сила и вѣра въ себя были въ немъ такъ велики, излучались такъ замѣтно, что всякій, приближавшійся къ нему подпадалъ подъ его власть, чувствовалъ какую-то

<sup>1)</sup> Что это расположеніе къ пасынку Наполеона было фальшивымъ, сдѣлалось ясно для всѣхъ, какъ только были получены первыя извѣстія о высадкѣ Наполеона во Франціи. Александръ сразу сталъ необычайно холоденъ съ принцемъ.

<sup>2)</sup> Извѣстное письмо изъ Тильзита къ Жозефинѣ (Corresp. 12. 825): «Это — молодой, чрезвычайно добрый и красивый императоръ. Онъ гораздо умнѣе, чѣмъ о немъ думалось».

<sup>3)</sup> «Императоръ Александръ I», т. I, предисловіе.

подавленность его величіемъ. Даже самые предубѣжденные люди не были въ состояніи стряхнуть съ себя внушаемаго имъ чувства удивленія и преклоненія. Фридрихъ Вильгельмъ III, его заклятый врагъ, въ дни своей Тильзитской Голгофы, уже не питающій никакихъ обольщеній насчетъ ожидавшей его участи, — въ письмѣ къ женѣ, ненависть которой къ Наполеону ему хорошо извѣстна, — не можетъ сдержать крика восхищенія. Рассказывая о томъ, какъ при встрѣчахъ Наполеонъ все разспрашивалъ Александра насчетъ Россіи и высказывалъ мнѣнія о слышанномъ, король прибавляетъ: «Все, что онъ говорилъ по этому поводу, было очень умно и интересно. Вообще, какая это дивно организованная голова! Если бы, — я это говорилъ очень часто — онъ захотѣлъ употребить свои силы на добро! Съ его способностями онъ могъ бы быть благодѣтелемъ рода человѣческаго, а не бичемъ его, какъ до сихъ поръ<sup>1)</sup>».

Люди могутъ питать къ нему какую-угодно ненависть. Это ничего не мѣняетъ Вѣра въ его геній такова, что она и только она опредѣляетъ дѣйствія. Въ «Дневникахъ» Генца имѣется подробный рассказъ о томъ, какъ въ 1809 года австрійская главная квартира, ютившаяся въ одномъ маленькомъ мѣстечкѣ въ Венгріи, воспринимала вѣсти о ходѣ мирныхъ переговоровъ. Получается такое впечатлѣніе, что въ Вѣнѣ сидитъ какой-то сказочный драконъ, вперившій свой взоръ въ эту несчастную, безпомощную кучку людей, управляющихъ цѣлой страной, и его взоръ постепенно выѣдаетъ въ нихъ мужество и вдыхаетъ страхъ. Всѣ комбинаціи, самыя геніальныя, въ концѣ концовъ, какъ въ желѣзный тупикъ, упираются въ неотвратимое, жестокое соображеніе: «но вѣдь то Бонапартъ!». И въ концѣ концовъ заключаютъ позорный миръ въ полномъ убѣжденіи, что добились необыкновенно выгодныхъ условий.

Въ нѣсколько меньшихъ размѣрахъ то же происходитъ въ ближайшемъ окруженіи его. Никто не скажетъ теперь, что маршалы и министры любили Наполеона настоящей любовью. Но всѣ они преклонялись передъ нимъ и вѣрили въ его силы. А солдаты! Достаточно пробѣжать нѣсколько книгъ безхитростныхъ мемуаровъ этихъ людей, изъ пастуховъ и землепашцевъ дослужившихся до капитановъ, полковниковъ и генераловъ, чтобы увидѣть, какія чудеса дѣлала вѣра арміи въ императора. Они рассказываютъ о предстоящихъ въ томъ или другомъ походѣ трудностяхъ, которыя кажутся неодолимыми. А въ заключеніе — мысль, которая, какъ снопъ солнечныхъ лучей, разгоняетъ всѣ мрачныя предвидѣнія: «*Mais l'Empereur était là!*» Слово чело́вѣкъ устыдился, что забылъ про своего императора и допустилъ сомнѣніямъ закрасться въ душу.

Александръ никогда не вызывалъ такихъ чувствъ. Наоборотъ, когда люди ожидали отъ него какого-нибудь рѣшительнаго шага, они заранѣе питали увѣренность, что онъ сдѣлаетъ не то, что нужно<sup>2)</sup>. Въ одинъ изъ самыхъ рѣшительныхъ моментовъ русской исторіи, когда Россія стояла предъ тяжелой

<sup>1)</sup> Тильзитская переписка Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы опубликована P. Bailleu, Deutsche Rundschau, т. XXVIII, 5, стр. 213.

<sup>2)</sup> См., напр. письмо Генца къ Меттерниху по поводу убійства Коцебу отъ 3 іюня 1819 году въ моей статьѣ «Меттернихъ» (Отечеств. война и русское общество, т. VII стр. 35).



извилиной судьбы, въ 1812 году, армія почти потребовала отъ Александра, чтобы онъ покинулъ ее. Александръ чувствовалъ на себѣ тяжесть всеобщаго недо-вѣрія къ своимъ силамъ и, быть-можетъ, потому искалъ удовлетворенія въ дешевой популярности, какую ему нетрудно было снискивать дарами своей внѣшней обаятельности.

## 9.

По сравненію съ Наполеономъ Александръ былъ какъ воскъ передъ желѣзомъ. Казалось, что при столкновеніи на смерть онъ обреченъ на гибель безповоротно, что ему придется передъ неудержимымъ натискомъ перваго полководца міра, «уйти въ Сибирь, отпустить бороду и пахать тамъ землю» гдѣ-нибудь въ глуши. Но вышло иначе. Александръ остался на своемъ престолѣ въ Петербургѣ, а его противникъ попалъ на «невѣдомый гранитъ», затерявшійся среди океана, и уже не вышелъ оттуда живымъ.

Значить ли это, что Александръ въ конечномъ счетѣ былъ крупнѣе? Или что онъ лучше ощущалъ нервъ своей эпохи? Мы видѣли, каковъ онъ былъ, какъ чело-вѣкъ, по сравненію съ Наполеономъ. Но отбросимъ личныя сопоставленія. Возьмемъ результатъ дѣятельности обоихъ.

Если бы Наполеонъ не былъ побѣжденъ, самъ онъ, быть можетъ, сумѣлъ бы упразднить послѣдніе остатки революціонныхъ учрежденій. У него на это хватило бы силы. Для жалкихъ эпигоновъ роялизма это оказалось задачей непосильной. Осталось все то, что укрѣплялъ своимъ творческимъ умомъ Наполеонъ: социальный строй революціи, административныя учрежденія, Code civil, цвѣтущее государственное хозяйство. Въ 1815 году послѣ столькихъ страданій, истерзанная двумя нашествіями, истекающая кровью, обезлюдѣвшая Франція была все-таки самой богатой страной въ мірѣ.

Послѣ Александра Россія осталась подъ знакомъ Аракчеевщины и Фотіевщины, погруженная въ пучину реакціи, съ военными поселеніями, съ испарившимися надеждами на крестьянскую волю, обнищавая.

Францію Наполеонъ хотѣлъ сдѣлать царицею міра, но не могъ. Россіи Александръ добровольно, повинувшись только своему тщеславію, создалъ могущественныхъ сосѣдей, Пруссію и Австрію, которые съ тѣхъ поръ, какъ два тяжкихъ ядра, мѣшаютъ намъ свободно двигаться на аренѣ международнаго соревнованія.

Въ Европѣ Наполеонъ сѣялъ блага, которыя революція даровала Франціи: разрушеніе феодальныхъ цѣпей, свой гражданскій кодексъ, освобожденіе отъ абсолютизма. Онъ показалъ Италіи путь къ объединенію, положилъ начало германскому единству, очистилъ Испанію отъ инквизиціи, далъ южнымъ славянамъ національное знамя «иллиризма». Александръ укрѣплялъ троны королей, съ Меттернихомъ ковалъ оковы для народовъ, преслѣдовалъ либерализмъ, ласкалъ и поощрялъ доносчиковъ, какъ Стурдза, шпіоновъ, какъ Коцебу, фанатиковъ реакціи, какъ Фр. Шлегель, проходимцевъ-ретроградовъ, какъ Генцъ.

Чѣмъ объяснить это огромное различіе? Не личными качествами, ибо при всемъ личномъ несходствѣ оба одинаково пришли къ деспотизму, и деспотизмъ





Наполеонъ  
(Съ портрета Делароша)



былъ одинаково дорогъ обоимъ по династическимъ побужденіямъ. Причина была другая, и мы уже указывали на нее въ началѣ. Хотя оба стремились къ деспотизму у себя дома, они должны были разойтись въ путяхъ своей международной политики. Наполеонъ былъ представителемъ буржуазной культуры Франціи, созданной революціей и начавшей свое наступленіе. Александръ былъ сынъ феодально-крѣпостнической культуры Россіи, еще достаточно сильной, чтобы отстоять себя отъ либеральныхъ покушеній, достаточно жизнеспособной, чтобы предпринять своего рода *retour offensif* противъ угрожающихъ ей новыхъ идей. И феодально-крѣпостническая культура пока побѣдила. Но ея побѣда не измѣнила ничего въ самомъ главномъ. Она все-таки была осуждена исторіей. Будущее все-таки принадлежало ближайшимъ образомъ культурѣ буржуазной. Отсюда и разная судьба Александра и Наполеона въ глазахъ послѣдующихъ поколѣній.

По мѣрѣ того, какъ реакція распускала свои черныя крылья, — слава Александра въ Европѣ, съ такимъ трудомъ завоеванная въ 1813 и 1814 годахъ, меркла въ удушливомъ туманѣ іезуитизма и застѣночной практики, а изъ дальняго моря вставалъ въ золотомъ облакѣ легенды очищенный и просвѣтленный, озаренный лучами неувядаемой уже славы — образъ великаго императора французовъ.

А. Дживелеговъ.







Вы помните картину Верещагина «Конецъ бородинской битвы»? На грудѣ труповъ, заполнившихъ ровъ передъ редутомъ, стоитъ французскій кирасиръ и побѣдоносно машетъ каской... Пройдетъ моментъ, и, быть-можетъ, побѣдитель въ предсмертной агоніи будетъ лежать среди труповъ своихъ товарищей. Только искалѣченный, онъ будетъ молить друзей и соратниковъ, уходящихъ съ кроваваго поля битвы, не оставлять его одного среди царства смерти...

Но герой уже только получеловѣкъ. Онъ только обуза для тѣхъ, кому предстоитъ еще совершать «геройскіе подвиги» и отмѣчать «железомъ и кровью» величайшія страницы исторіи... Друзья пройдутъ мимо него. Пройдутъ, не поддаваясь «чувству жалости», ибо помощь бесполезна... Онъ будетъ молить прикончить его страданія. И на это не хватитъ силъ...

Такова картина бородинскаго боя, нарисованная уже не кистью художника, а перомъ мемуаристовъ (Сегюръ и др.). На полѣ «великой битвы» среди тысячъ труповъ остаются десятки и сотни неподобранныхъ раненыхъ. Напрягая послѣднія силы, они выползаютъ со дна овраговъ, чтобы быть раздавленными уходящей артиллеріей. Съ перебитыми ногами, они доползаютъ до ближайшей деревни, зарываются отъ стужи въ солому и тамъ умираютъ. «Въ моихъ глазахъ — рассказываетъ Н. Н. Муравьевъ — коляска ген. Васильчикова проѣхала около дороги по большой соломенной кучѣ, подъ которой укрывались раненые, и нѣкоторыхъ изъ нихъ передавила»...

Русскій аріергардъ отступаетъ послѣ бородинскаго боя черезъ Можайскъ. Вслѣдъ за нимъ идетъ французская армія. При отступленіи поджигается городъ. И въ горящихъ постройкахъ гибнутъ покинутые раненые...

За Можайскомъ — Москва. Тысячи раненыхъ находятъ здѣсь убѣжище. Но Москва оставляется непріятелю. Этого требуютъ стратегическія соображенія;

это диктуетъ паническій страхъ, охватившій обывателей; этого требуетъ «патріотизмъ». Въ послѣдніе дни изъ покидаемаго города увозятся драгоцѣнности, деньги, имущество, и тысячи раненыхъ оставляются на попеченіе, милосердіе и гуманность побѣдоноснаго врага. Самъ московскій главнокомандующій гр. Растопчинъ насчитываетъ 22.000 раненыхъ, покинутыхъ въ Москвѣ...

На Поклонной горѣ рѣютъ вражескіе орлы. Передъ полководцемъ дефилируютъ радостные полки, забывшіе о перенесенныхъ страданіяхъ, о погибшихъ и умирающихъ въ одиночествѣ товарищахъ. Но тщетны надежды на миръ, на успокоеніе отъ перенесенныхъ лишеній и кровавыхъ подвиговъ. Уже высится зловѣщее пламя — горитъ Москва, подоженная не столько «патріотическимъ чувствованіемъ», сколько капризомъ главы московской полиціи. И въ обугленных развалинахъ Москвы гибнутъ тѣ, которые на бородинскомъ полѣ проливали кровь за отечество и которые были оставлены соотечественниками на милосердіе врага. Но этому врагу въ пылающей Москвѣ приходилось прежде всего позаботиться «о своемъ пропитаніи и безопасности, а не о раненыхъ непріятеляхъ». «Во всѣхъ другихъ войнахъ — говоритъ врачъ великой арміи Руа — мы никогда не дѣлали никакого различія между ранеными французами и врагами, но на этотъ разъ, когда мы были совершенно безсильны облегчить страданія даже своихъ близкихъ, всѣхъ остальныхъ мы были принуждены предоставлять ихъ собственной участи». Такъ было еще подъ Можайскомъ, когда Руа на городской площади нашель грудой сложенныхъ русскихъ раненыхъ. Въ Москвѣ было еще хуже. Оставленные на произволъ судьбы, эти раненые «пали жертвами голода и отсутствія медицинскихъ пособій». Но все это блѣднѣетъ передъ тѣми потрясающими сценами, которыя разыгрались во время пожара въ госпиталяхъ. «Опустошенія, произведенныя пожаромъ, тамъ были ужасны» — рассказываетъ Лабомъ. «Почти всѣ погибли въ огнѣ<sup>1)</sup>, а тѣ, которые еще не успѣли задохнуться, ползали полуобгорѣлые въ горящей золѣ, стараясь какъ-нибудь выбраться изъ моря пламени; другіе стонали, придавленные горой обгорѣлыхъ труповъ; они выбивались изъ силъ въ напрасномъ стараніи сбросить съ себя эту ужасную кашу, чтобы выбраться на свѣтъ Божій»<sup>2)</sup>...

Пожаръ Москвы неразрывно связывается съ кошмарными призраками раненыхъ, погибшихъ въ огнѣ. Ихъ тѣни взываютъ противъ ненужнаго варварства войны...

<sup>1)</sup> По словамъ XXIII наполеоновскаго бюллетеня удалось спасти только четыре тысячи изъ тридцати тысячъ, какъ съ нѣкоторымъ преувеличеніемъ исчисляетъ оставленныхъ въ Москвѣ раненыхъ XX бюллетень.

<sup>2)</sup> А вотъ другая столь же «ужасная» картина, нарисованная Домѣргомъ со словъ жены и другихъ очевидцевъ: «Какъ только огонь охватилъ зданія (госпиталей), гдѣ были скучены раненые, послышались раздражающіе душу крики, выходящіе какъ бы изъ громадной печи. Вскорѣ затѣмъ несчастные показались въ окнахъ и на лѣстницахъ, напрасно силиась освободить свое полусгорѣвшее тѣло отъ огня, который ихъ сбгонялъ. Силы имъ измѣнялись; задыхаясь отъ дыма, они не могли уже болѣе ни двигаться, ни кричать; только руки ихъ еще шевелились, показывая отчаяніе, до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, охваченные пламенемъ, несчастные умирали въ страшныхъ мученіяхъ. Болѣе десяти тысячъ погибло въ этомъ ужасномъ кострѣ».



Правда, мы встрѣтимся на войнѣ 1812 г. съ многочисленными фактами проявленія чувства человѣколюбія, великодушія и героизма; видимъ примѣры самоотверженнаго исполненія долга со стороны врачебнаго персонала. Но при всемъ томъ, выбитые изъ строя всегда будутъ стоять на второмъ планѣ; на нихъ падутъ наименьшія заботы, и они всегда будутъ принесены первыми въ жертву необходимости. Въ чужой странѣ завоеватели будутъ думать прежде всего о сохранности здоровыхъ элементовъ арміи. «Горе раненымъ, зачѣмъ они не дали себя убить?»—скажетъ въ своемъ письмѣ къ роднымъ изъ Смоленска еще въ сущности въ началѣ кампаніи, 15/27 августа, французскій офицеръ виконтъ де Пюибюскъ. Онъ расскажетъ, что весь провіантъ въ Смоленскѣ отправленъ за арміей и «здѣсь не остается ни одного фунта муки: уже нѣсколько дней нечего почти ѣсть бѣднымъ раненымъ, которыхъ въ госпиталяхъ отъ 6 до 7 тысячъ. Сердце обливается кровью, когда видишь этихъ храбрыхъ воиновъ, валяющихся на соломѣ и не имѣющихъ подъ головой ничего, кромѣ мертвыхъ труповъ своихъ товарищей... Несчастные отдали бы послѣднюю рубашку для перевязки ранъ; теперь у нихъ нѣтъ ни лоскутка, и самыя легкія раны дѣлаются смертельными. Но всего болѣе голодъ губить людей. Мертвыя тѣла складываются въ кучу, тутъ же, подлѣ умирающихъ, на дворахъ и въ садахъ; нѣтъ ни заступовъ, ни рукъ, чтобы зарыть ихъ въ землю. Они начали уже гнить»... Часто сѣно или бумага, найденная въ архивахъ, замѣняютъ при перевязкахъ корпію. И понятно, что врачъ, чувствуя все свое безсиліе при такихъ условіяхъ, будетъ переживать «острыя душевныя мученія» (Руа). Человѣколюбіе и война несовмѣстимы. Генераль Шумахеръ въ своихъ воспоминаніяхъ засвидѣтельствуетъ, какъ почти цѣлый транспортъ раненыхъ, отправленныхъ изъ Полоцка въ Вильно, погибнетъ отъ «голода и нищеты» и т. д. Такой же скорбью и полной беспомощностью вѣетъ и отъ донесенія русскаго полкового лѣкаря по поводу положенія транспорта раненыхъ, отправленныхъ изъ Калуги въ Бѣлевъ: «на многихъ рубашки или вовсе изорвались или чрезвычайно черны... не перемѣнялъ другой цѣлый мѣсяць рубашки, на которую гнойная матерія, безпрестанно изливалась, перемѣнила даже видъ оной».

Аналогичную картину положенія русскихъ раненыхъ въ Витебскѣ въ концѣ іюля набрасываетъ намъ знаменитый лейбъ-хирургъ Наполеона баронъ Ларрей: «они лежали на грязной соломѣ вповалку, другъ на другѣ, среди нечистотъ и, можно сказать, гнили въ этомъ смрадѣ. У большей части ихъ раны были поражены гангреной или страшно загрязнены. Всѣ они умирали съ голоду».

Пюибюскъ будетъ возмущаться тѣмъ, что начинаютъ «кровопролитнѣйшія сраженія», не считаясь съ наличностью лазаретныхъ фуръ, медикаментовъ и всего того, что необходимо для помощи «храбрымъ воинамъ». Но и это возмущеніе стушется передъ еще болѣе жестокою, которую одинъ изъ французскихъ мемуаристовъ — кирасирскій капитанъ сочтетъ печальной *необходимостью* войны. Уходя изъ Смоленска при отступленіи, Наполеонъ прикажетъ взорвать остатки уцѣлѣвшаго города. А между тѣмъ въ городѣ остается пять тысячъ больныхъ и раненыхъ, которымъ грозитъ смерть и отъ голода и отъ пожара. Вмѣстѣ съ больными остаются и врачи, какъ бы «обреченные на смерть» (Лемуанъ)... Но то было



при отступленіи, когда всѣ пережитые ужасы и страданія притупили уже человѣческія чувства, когда говорилъ только эгоистическій инстинктъ самосохраненія. Гораздо ярче жестокость выступаетъ тогда, когда подобные поступки диктуются чувствомъ «патріотическаго» воодушевленія, какъ было въ Москвѣ, какъ было еще ранѣе въ Смоленскѣ, гдѣ по исчисленію французскихъ мемуаристовъ въ пожарѣ погибло 7—8 тыс. русскихъ раненыхъ (напр. у Дювержье). Кавалерійскій офицеръ Комбъ въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ, что изъ его памяти никогда не исчезнетъ ужасъ того зрѣлища, который представился арміи при видѣ русскихъ раненыхъ, покинутыхъ соотечественниками и нашедшихъ «жестокую смерть» среди дымящихся развалинъ и пылающихъ балокъ. «Казалось, что я оставилъ за собой адъ»... И что другое можно было вынести при видѣ цѣлыхъ кучъ тѣлъ, обугленныхъ и едва сохранившихъ человѣческой образъ?

Война полна ужасовъ и жестокостей. Но не знаю, можетъ ли что-нибудь въ дѣйствительности сравниться съ тѣмъ возмущеніемъ, которое внушаетъ картина безжалостнаго оставленія раненыхъ, т.-е. тѣхъ избранныхъ храбрецовъ, которые своимъ безумнымъ героизмомъ обезпечивали славу побѣдоноснаго шествія или мужественнаго отступленія.

Человѣческая личность превращена въ пушечное мясо — и только. Въ предсмертный часъ не должно ли было шевельнуться чувство безполезности и ненужности жертвы, принесенной или Молоху государственности или честолюбивымъ замысламъ полководца?

Должно было... должно было шевельнуться и у тѣхъ, кто невинно вышелъ съ поля сраженія, усѣяннаго мертвыми и изувѣченными людьми. Ручьи текли кровью — говорить про Бородино современникъ; гранаты разрывали тѣла... Въ озвѣрѣломъ безуміи битвы люди не разсуждали. Но день клонился къ упадку и «въ каждой душѣ одинаково поднимался вопросъ: Зачѣмъ, для кого мнѣ убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите; дѣлайте, что хотите, а я не хочу больше. Но хотя уже къ концу сраженія люди чувствовали весь ужасъ своего поступка, хотя они и рады были перестать, какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и закоптѣлые, въ порошокъ и крови, оставшіеся по одному на три, артиллеристы, хотя спотыкаясь и задыхаясь отъ усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра также быстро и жестоко перелетали съ обѣихъ сторонъ и расплющивали человѣческое тѣло и продолжало совершаться то страшное дѣло, которое совершается не по волѣ людей, а по волѣ Того, Кто руководитъ людьми и міромъ».

Такой отвѣтъ давалъ Л. Н. Толстой, подводя итоги бородинскаго боя... Наступаетъ ночь, разрѣшающая колебанія испуганныхъ, изнуренныхъ и сомнѣвающихся людей.

И тѣ, кто за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ съ остервенѣніемъ убивали другъ друга, штыками и саблями наносили страшныя уродующія раны, подъ ночнымъ покровомъ миролюбиво сталкивались на аванпостахъ въ поискахъ пищи, и въ этихъ поискахъ «солдаты не находили ни малѣйшаго повода къ ссорѣ» — замѣчаетъ Роосъ.

Какъ все это было бы бессмысленно, если бы у Толстого въ событія не вмѣшивалась какая-то посторонняя, таинственная и невѣдомая рука Провидѣнія.

Въ «Войнѣ и мирѣ» нѣтъ безысходнаго ужаса, нѣтъ уже потому, что то, что совершалось, «должно было совершиться». Событіями руководить какая-то желѣзная необходимость. Но этотъ фатализмъ не объяснить намъ психологіи людей, безропотно умиравшихъ и гибнувшихъ на поляхъ бородинской битвы за тысячи верстъ отъ родины. Изувѣченные, они молча умирали на полѣ сраженія: «нѣкоторые среди стонovahъ вспоминали родину, призывали своихъ матерей — это были самые и молодые, — говоритъ Сегюръ, — болѣе пожилые ожидали смерти съ видомъ внѣшняго безстрастія и подавленной горечи». Во имя чего они сюда пришли, во имя чего они совершали подвиги героическаго безумія, во имя чего они такъ безропотно умирали? Что принудило ихъ къ этому? какъ бы спрашиваетъ себя Сегюръ, рассказывая о зловѣщей картинѣ, представившейся французской арміи, когда она вновь попала на бородинское поле при отступленіи изъ Москвы. Среди обломковъ оружія, обрывковъ военныхъ мундировъ и знаменъ, обгаренныхъ кровью, среди тридцати тысячъ наполовину обглоданныхъ собаками и хищными птицами труповъ — безплодныхъ жертвъ кроваваго боя, казалось, царила только смерть. И вдругъ въ этой могилѣ обнаруживается живой человѣкъ, забытый французскій солдатъ съ перебитыми ногами. Съ содроганіемъ читаешь рассказъ французскихъ очевидцевъ, какъ этотъ несчастный жилъ почти два мѣсяца среди убитыхъ, укрываясь въ трупѣ лошади, внутренности которой были выпущены гранатой. Онъ питался падалью и гнившимъ мясомъ своихъ товарищей. Развѣ не чувствуется что-то глубоко трагическое въ рассказанномъ? Если бы этотъ несчастный не укрылся въ трупѣ лошади, онъ, вѣроятно, былъ бы убитъ крестьянами, приходившими послѣ битвы обыскивать солдатскіе ранцы...

Что же понудило этихъ пришельцевъ покинуть родину и «скитаться безъ убѣжища, безъ пищи, ежедневно погибая или навѣкъ становясь калѣками?» «Что, кромѣ вѣры въ ихъ начальника, которая до тѣхъ поръ никогда не обманывала ихъ», — отвѣчаетъ знаменитый мемуаристъ (Сегюръ). «Что, кромѣ страстнаго стремленія довести до конца столь славно начатый трудъ. Что, кромѣ опьяненія побѣдами и, главнымъ образомъ, этой несчастной страстью — славой, этимъ могучимъ инстинктомъ, который толкаетъ въ объятья смерти людей, жаждущихъ безсмертія»...

Аналогичная картина ужасовъ войны подъ Можайскомъ — пирамида изъ 800 труповъ, искрошенныхъ сабельными ударами, обожженныхъ взрывомъ пороховыхъ ящиковъ, заставляетъ другого современника, доктора великой арміи де-ла Флиза грустно воскликнуть: «Таковъ-то пьедесталь, на которомъ воздвигаются военные трофеи. Какъ же виновны государи, которые хладнокровно жертвуютъ столькими людьми изъ-за лживой политики; заставляютъ ихъ умирать въ мученіяхъ, не сказывая имъ иногда даже, зачѣмъ имъ приходится умирать»...

И каковы ни были сложныя причины, приведшія къ столкновенію Запада и Востока въ 1812 г., заставившія миллионы людей отречься «отъ своихъ чело-вѣческихъ чувствъ и своего разума», какъ говоритъ Л. Н. Толстой, одно несомнѣнно, что кровавый международный турниръ разыгрывался въ значительной степени и на почвѣ личныхъ честолюбивыхъ замысловъ двухъ могущественныхъ европейскихъ императоровъ — Наполеона и Александра. Здѣсь не было тѣхъ



идейныхъ основаній, которыя одни способны облагородить войну съ ея поруганіемъ человѣческаго достоинства. «На этомъ мѣстѣ — сказала Сегюръ про бородинское поле — мы отмѣтили желѣзомъ и кровью одну изъ величайшихъ страницъ нашей исторіи». Едва ли это такъ. Это только жестокая и бессмысленная страница исторіи. Мы преклонимся передъ образами тѣхъ волонтеровъ, которые подъ звуки марсельезы во имя «святой любви къ отечеству», во имя защиты человѣческаго достоинства, одухотворяющей идеи свободы шли на защиту завоеваній великой французской революціи, и съ чувствомъ глубокой жалости пройдемъ мимо тѣхъ грудъ человѣческихъ костей, на которыхъ воздвигалъ свой пьедесталъ могущества и славы Наполеонъ. Мы будемъ удивляться обаянію генія, обаянію, которое онъ имѣлъ до послѣднихъ дней, которое не остывало и среди самыхъ невѣроятныхъ ужасовъ героическаго отступленія наполеоновской арміи по окровавленнымъ снѣгамъ Россіи. И когда будешь читать страницы за страницами повѣствованіе объ ужасахъ отступленія французской арміи, когда раскроется зрѣлище дѣйствительно необычайныхъ страданій и бѣдствій, при мысли о которыхъ приходится только «изумляться тому, что люди ихъ пережили», тѣмъ назойливѣе тогда встанетъ вопросъ: къ чему были эти бессмысленныя страданія, къ чему была та необычайная героическая доблесть, которая способна подчасъ восхитить даже наиболѣе враждебно настроенный умъ. Надо вчитаться въ трагическія описанія отступленія французской арміи, сдѣланныя блестящимъ перомъ Сегюра; надо выписать страницы изъ спокойнаго изложенія привыкшихъ къ кровавымъ ужасамъ врачей Рооса, Ларрея, де-ла-Флиза, надо вникнуть въ спокойное повѣствовательное изложеніе непритязательнаго сержанта Бургоня, въ письма женщинъ, шедшихъ за отступающей великой арміей, въ многочисленные дневники участниковъ похода — и передъ вами откроется такая бездонная пропасть ужасовъ, что вы почувствуете органическую ненависть къ войнѣ со всѣми ея почти неизбѣжными жестокостями. Передъ вами открываются такія картины, что поскорѣе хочется закрыть позорныя страницы человѣческихъ звѣрствъ.

Геніальное перо художника слова прошло мимо этихъ картинъ, могшихъ по своему содержанію дать самый яркій, самый образный матеріалъ для возбужденія чувства человѣчности, чувства негодованія и возмущенія противъ войны, противъ бессмысленныхъ убійствъ. Настроеніе автора въ періодъ писанія «Войны и мира», вся концепція романа съ его опредѣленной націоналистической тенденціей, вѣроятно, помѣшали Толстому остановиться на этой мрачной картинѣ. Толстому надо было показать «нравственное превосходство» русскихъ передъ французами: на наполеоновскую Францію, писалъ онъ въ заключительной главѣ второй части — «въ первый разъ подъ Бородинымъ была наложена рука сильнѣйшаго духомъ противника».

И вотъ почему ужасы «народной войны» и не нашли себѣ отраженія въ «Войнѣ и мирѣ». Толстому надо было показать ничтожество «великаго» человѣка и окружающихъ его людей. А знаменитое отступленіе голодной и полузамерзшей французской арміи давало примѣры поразительнаго героизма.

Толстой иронизируетъ надъ «величіемъ души» маршала Нея: это «величіе души» состояло въ томъ, что «онъ ночью пробрался лѣсомъ въ обходъ черезъ



Днѣпръ и безъ знаменъ и артиллеріи и безъ девяти десятыхъ войска прибѣжалъ въ Оршу».

А это въ дѣйствительности было какое-то сказочное отступление съ толпой полуборванныхъ, полумерзшихъ, безоружныхъ людей<sup>1)</sup>. Отступление гениальное по безразсудной храбрости и мужеству. Нея считали погибшимъ. Спасая другихъ, забывая себя, Ней по справедливости заслужилъ славу героя. Съ кучкой храбрецовъ онъ защищалъ арьергардъ французской арміи, т.-е. оставшуюся толпу почти безоружныхъ людей, съ отмерзлыми руками и ногами, неспособныхъ къ самозащитѣ и обреченныхъ на гибель не только отъ стихіи, но и отъ звѣрской расправы наступающихъ казаковъ. Онъ шелъ послѣдній, прикрывая отступление. Шелъ до послѣдняго момента, «рискуя своей жизнью и свободой, чтобы только спасти еще нѣсколько французовъ». Онъ вышелъ послѣднимъ изъ Россіи, доказавъ, какъ говорить Сегюръ, что «для героевъ все ведетъ къ славѣ, даже самыя великія пораженія».

«Товарищи. Союзники. Враги! Я призываю васъ подтвердить это: отнесемся къ памяти несчастнаго героя съ тѣмъ почетомъ, котораго онъ заслуживаетъ». Въ восклицаніи Сегюра нѣтъ преувеличеній. Были моменты, когда Ней въ арьергардѣ оставался одинъ, покинутый солдатами, бросившими оружіе. И этотъ мужественный человѣкъ находилъ новыхъ и спасалъ жалкіе остатки когда-то «великой арміи». Онъ одинъ, въ лохмотьяхъ, съ блестящими глазами отъ бессонныхъ ночей вошелъ въ Пруссію. Его не узнали. И онъ съ полнымъ правомъ гордо могъ отвѣтить ген. Дюма:

«Я — арьергардъ великой арміи — маршалъ Ней». Герой, спасшій жизнь многихъ и многихъ французовъ, погибъ отъ соотечественниковъ, разстрѣлянный по приговору суда 6 декабря 1815 года...

Если несчастья пробуждаютъ дурныя человѣческіе инстинкты, то несчастья, въ свою очередь, создаютъ и героевъ. И, быть-можетъ, Наполеонъ никогда не былъ такъ великъ, какъ когда уже закатилась его счастливая звѣзда, когда онъ вмѣстѣ со своей арміей шелъ по снѣговымъ полямъ опустошенной русской равнины.

Толстой въ своемъ рѣзко отрицательномъ отношеніи къ «великому императору» называетъ «послѣдней степенью подлости» оставленіе Наполеономъ арміи послѣ Вильно. Къ другимъ современникамъ-русскимъ Толстой не такъ строгъ. Припомнимъ хотя бы, какъ онъ идеализируетъ въ «эпilogѣ» въ противовѣсъ Наполеону его соперника императора Александра — то лицо, которое «стояло во главѣ противодвиженія съ востока на западъ». Да, Толстой въ «Войнѣ и мирѣ» былъ далекъ отъ историческаго безпристрастія. Возможно, что личность Наполеона ярко бы выдѣлилась на фонѣ жизненной пошлости, если бы онъ, какъ простой солдатъ, шелъ вмѣстѣ съ Неемъ и проявлялъ такой же безумный героизмъ. Но даже враги Наполеона должны признать, что этотъ желѣзный человѣкъ при от-

<sup>1)</sup> У третьяго корпуса Нея, бывшаго въ арьергардѣ, числилось послѣ Смоленска, по словамъ Фезензака, 6000 человѣкъ при шести пушкахъ. Изъ нихъ, — говоритъ ген. Фрейтагъ, — половина «безъ оружія». И этотъ отрядъ прошелъ мимо 80000 русскихъ. Правда, до Орши дошло менѣе тысячи, но это нисколько не убавляетъ смѣлости предпріятія, которому удивляются рѣшительно всѣ мемуаристы (см. напр. у Лѣжъе).

ступленіи проявилъ много мужества, и безъ него отступленіе было бы еще болѣе трагическимъ. При всей дезорганизаціи французской арміи одно только имя Наполеона могло поддерживать нѣкоторую бодрость, надежду и способность бороться со стихійными бѣдствіями. И надо отдать справедливость, что Наполеонъ былъ на должной высотѣ. Онъ оставилъ армію только тогда, когда въ сущности она была въ безопасности<sup>1)</sup>. Правда, отступленіе послѣ Березины заполнило собой одну изъ наиболѣе мрачныхъ страницъ героическаго шествія «полуголодныхъ призраковъ». Но здѣсь уже человѣческая воля была безсильна въ борьбѣ со стихіями. Тѣ, кто шли вмѣстѣ съ Наполеономъ, въ одинъ голосъ утверждаютъ<sup>2)</sup>, что, несмотря на страданія, армія до послѣдняго момента не теряла уваженія къ своему полководцу. «Съ чувствомъ удивленія глядѣли на него войска — говоритъ Роосъ — и съ довѣріемъ и надеждой во взорѣ провожали они его. И здѣсь и позднѣе, я слышалъ отъ офицеровъ различныхъ націй: «только бы хватило силъ». «Несмотря на всѣ несчастья,— подтверждаетъ Комбъ — это магическое имя не потеряло вліянія».

Потому ли только, что «имя, окруженное славой, не есть простой звукъ, что оно является дѣйствительною и вдвойнѣ могучей силой»? — какъ говоритъ Сегюръ, описывая дѣло подъ Краснымъ: «одинъ видъ завоевателя Египта и Европы наводилъ страхъ» — и часто, быть-можетъ, спасалъ французскую армію во время отступленія. Несомнѣнно, чувство самосохраненія, вѣра въ счастливую звѣзду Наполеона поддерживало вліяніе полководца и въ самые критическіе моменты. Послушаемъ сержанта Бургоня. Онъ рассказываетъ, какъ идутъ передъ Березинской переправой 30 тысячъ войска «съ отмороженными руками и ногами», большею частью безъ оружія: «шли они не ропща и не жалуясь, готовясь, какъ могли, къ борьбѣ»... «Присутствіе императора воодушевляло насъ и внушало довѣріе; онъ всегда умѣлъ находить новые ресурсы, чтобы извлечь насъ изъ бѣды... Это былъ все тотъ же великій геній и, какъ бы мы ни были несчастны, всюду съ нимъ мы были увѣрены въ побѣдѣ». Наполеонъ обладалъ какимъ-то исключительнымъ талантомъ внушить не только вѣру въ себя, но и любовь. Это полумистическое преклоненіе передъ полководцемъ, это обожаніе сказывается на каждомъ шагѣ при отступленіи — и особенно среди солдатъ старой гвардіи, раннихъ сподвижниковъ Наполеона. Бургонъ рисуетъ образную картину того впечатлѣнія, которое производитъ на стараго гренадера Пикара видъ любимаго полководца, идущаго пѣшкомъ во главѣ отступающихъ колоннъ. Отбившійся Пикаръ только что претерпѣлъ всѣ ужасы отступленія, въ теченіе многихъ дней и ночей летали надъ нимъ призраки смерти.

Послѣ долгихъ блужданій старый гренадеръ догоняетъ армію, и видъ Наполеона, претерпѣвающаго вмѣстѣ съ арміей тѣ же почти лишенія, заставляетъ

<sup>1)</sup> Мюрать предлагалъ Наполеону бѣжать еще передъ Березиной, считая переправу «неосуществимой». Поляки обезпечивали Наполеону полную безопасность, но онъ отклонилъ, по словамъ Сегюра, это предложеніе.

<sup>2)</sup> За исключеніемъ немногихъ мемуаристовъ, какъ Лабомъ, Жомини и др., которые, какъ вѣрные слуги новыхъ Бурбоновъ, въ эпоху реставраціи пользовались случаемъ унижить своего бывшаго шефа.

Пикара плакать: «Не могу удержаться отъ слезъ — говоритъ онъ Бургоню — видя, что императоръ идетъ пѣшкомъ, опираясь на палку. Онъ, этотъ великій человѣкъ, которымъ всѣ мы такъ гордились»...

Толстой изображаетъ намъ Наполеона холоднымъ и бездушнымъ чело-вѣкомъ, спокойно взирающимъ на смерть приближенныхъ... Быть-можетъ, онъ таковъ при побѣдоносномъ шествіи во главѣ многотысячной арміи, передъ которой открывается новая страница боевой славы, богатства и почестей. Но другимъ является онъ при отступленіи. Многіе изъ окружающихъ рассказы-ваютъ, какъ *страдалъ* «великій человѣкъ» при видѣ разстроившейся арміи, страдалъ *человѣчески*, а не только изъ чувства погранныхъ честолюбивыхъ замысловъ, разрушенныхъ надеждъ и плановъ. И однако, онъ никогда не про-являлъ своихъ сомнѣній, колебаній и сожалѣній. Онъ скрывалъ ихъ въ самомъ себѣ. Солдаты же видѣли его столь же непреклоннымъ и мужественнымъ, какимъ привыкли себѣ его представлять. Для насъ очевидна растерянность дѣйствій Наполеона при отступленіи, растерянность, увеличившаяся съ момента, какъ при-шло 25 октября извѣстіе о заговорѣ Малэ во Франціи — но знаменательно, что почти никто изъ современниковъ этого не замѣчалъ. Ее отмѣчаютъ нѣкоторые мемуаристы, писавшіе свои воспоминанія послѣ похода, когда вступали въ свои права анализъ и критика; другими словами, ее отмѣчаютъ историки, а не оче-видцы. Для послѣднихъ чувство Пикара было чувствомъ почти всеобщимъ.

Романтикъ Сегюръ могъ сказать: «нѣкоторые падали и умирали у его ногъ, умирали въ жестокомъ бреду; но страдая, они умоляли, а не укоряли. И дѣй-ствительно, развѣ онъ не раздѣлялъ опасности вмѣстѣ со всѣми?»...

Это сознаніе и дѣлало сильнымъ Наполеона среди «людей, имѣвшихъ право упрекнуть его въ своихъ бѣдствіяхъ».

Эти бѣдствія начнутся 25-го октября, когда, казалось, все объединилось для уничтоженія отступающей арміи, когда и люди, и природа, и весь фата-лизмъ исторіи обрушивается на побѣдоносныхъ воителей.

Это былъ день, когда, по выраженію Сегюра, казалось, что «небо спусти-лось и слилось съ этой землей и съ этимъ враждебнымъ намъ народомъ, чтобы окон-чательно погубить насъ». Начался рѣдкій для октября снѣжный буранъ.

«Русская зима — продолжаетъ мемуаристъ — нападала на нашихъ солдатъ со всѣхъ сторонъ: холодъ и снѣгъ пробивались сквозь ихъ легкія одежды и разор-ванную обувь. Промокшее платье замерзало на нихъ и сковывало ихъ глаза... Не-счастные, дрожа отъ холода, тащились съ трудомъ до тѣхъ поръ, пока комъ снѣга, прилипшій къ ихъ ногамъ, или какой-нибудь обломокъ, вѣтка или трупъ одного изъ товарищей не заставлялъ ихъ поскользнуться и упасть... скоро ихъ заносило снѣгомъ, и первое время эти тѣла можно было еще различить: они имѣли видъ небольшихъ бугорковъ, прикрытыхъ снѣжной пеленой. Вся дорога была покрыта этими возвышеніями, словно кладбище».

Таково было мрачное зрѣлище «зловѣщаго траура арміи, умирающей по-среди мертвой, дикой природы». И дѣйствительно, день 25-го октября въ описаніи всѣхъ очевидцевъ — является роковымъ днемъ для французской арміи. Необычай-ная снѣжная мять при морозѣ болѣе 20 градусовъ губитъ армію, убивая въ ней



последніе остатки организаціи. Въ безсильной борьбѣ съ разбушевавшейся стихіей каждый начинаетъ думать только о самосохраненіи; голодъ и холодъ обезоруживаютъ солдатъ, разбиваютъ прежде столь стройныя колонны, превращаютъ ихъ въ нестройныя толпы, которыя бредутъ вразсыпную, въ одиночку, отыскивая «хлѣба и убѣжища на ночь». Эти отсталые попадаютъ въ руки казаковъ или вооруженнаго населенія и гибнутъ подъ ударами озвѣрѣлыхъ враговъ... Наступаетъ долгая ночь, которая не приноситъ спокойствія. «Посреди этого снѣга... мы не знали, гдѣ остановиться, гдѣ сѣсть, гдѣ отдохнуть, гдѣ найти какихъ-нибудь корешковъ для пропитанія и хворосту, чтобы развести костры». Бушующій вихрь разметываетъ жалкіе бивуаки... «На другой день, — добавляетъ Сегюръ — расположенные полукругомъ, окоченѣвшіе трупы солдатъ указывали на мѣсто нашего бивуака, а рядомъ валялись нѣсколько тысячъ окоченѣвшихъ лошадей. Этотъ снѣжный саванъ, по словамъ Бургоня, покрылъ могилу десяти тысячъ солдатъ «великой арміи».

Отнынѣ каждый бивакъ будетъ отмѣченъ зловѣщими вѣхами — сотнями закоченѣвшихъ труповъ тѣхъ, кто нашелъ себѣ успокоеніе въ пути, полнымъ горя и нужды; отнынѣ каждый бивакъ будетъ имѣть, говорить Руа, «видъ настоящаго поля битвы».

Одна изъ свидѣтельницъ похода, жена Домерга, рассказываетъ, что больше всего она боялась ночей. Здѣсь, пожалуй, приходилось переживать самыя жуткія минуты: «всѣ жмутся около бивачнаго огня, если только удавалось развести его. Вдругъ, посреди тишины, общаго унынія и отчаянія раздавался слабый, глухой шумъ, который повторялся каждую минуту; ужасное воспоминаніе объ этомъ преслѣдуетъ мое воображеніе до такой степени, что мнѣ кажется, что я еще и теперь его слышу. Отчего же происходилъ онъ? Отъ паденія на мерзлую землю лошадей и людей, которые лишались силъ отъ голода и холода. Такимъ образомъ, всякое утро, когда мы пускались въ путь, поднимались не всѣ: земля была усыпана трупами, и непріатель, преслѣдовавшій насъ, легко могъ сосчитать по этимъ печальнымъ слѣдамъ число остановокъ нашей несчастной арміи»...

Да, надо было испытать эти бѣдствія, чтобы получить о нихъ должное представленіе. Только «желѣзные люди», какъ сказалъ Даву, могли вынести подобныя испытанія. Представимъ себѣ «мѣсто той грандіозной колонны, которая завоевала Москву, цѣль призраковъ, одѣтыхъ въ лохмотья, женскія шубы, куски ковровъ или грязные плащи, обгорѣлые и продырявленные выстрѣлами, — призраковъ, ноги которыхъ были обернуты всякими тряпками», — это и будетъ великая армія, какъ ее описываетъ Сегюръ при отступленіи около Минска. У этихъ людей съ черными закопѣлыми лицами, красными, впалыми глазами нѣтъ и «подобія солдатъ» — пишетъ изъ Смоленска Пюибюскъ въ письмѣ 28 октября, — они «болѣе похожи на людей, убѣжавшихъ изъ сумасшедшаго дома». На каждомъ шагу шествія этихъ «несчастныхъ полуголодныхъ призраковъ» встрѣчаются мрачныя картины смерти. Они запечатлѣны и русскими современниками. Возьмемъ, напр., цитату изъ разсказа кн. Б. Н. Голицина: «на каждомъ шагу намъ попадались несчастные, остолбенѣвшіе отъ холода; они сначала шатались, какъ пьяные, потому что морозъ добирался до мозга, и потомъ падали мертвые.

Другіе сидѣли около огня въ страшномъ оцѣпенѣніи, не замѣчая, что ихъ ноги, которыя они хотѣли отогрѣть, превратились въ уголь. Многіе съ жадностью ѣли сырую падалицу. Я видѣлъ, какъ нѣкоторые изъ нихъ, дотащившись до мертвого тѣла, терзали его зубами и старались утолить эту отвратительной пищей голодъ». «Я видѣлъ мертвого человѣка — рассказываетъ ген. Ланжеронъ — его зубы впились въ ляшку еще трепетавшей лошади... Я видѣлъ впившагося зубами въ кишки мертвой лошади... Я не видалъ, чтобы несчастные французы пожирали другъ друга, но я видалъ трупы съ кусками мяса, вырѣзанными для пищи». Одинъ французъ — свидѣтельствуетъ Ф. Н. Глинка — «взламывалъ черепъ недавно убитого товарища и съ жадностью глоталъ горячій еще мозгъ его».

И съ такими, полными отвращенія, картинами мы встрѣчаемся еще даже до Смоленска. Люди умирали, сходили съ ума<sup>1)</sup> и безостановочно шли впередъ. Смоленскъ для нихъ — обѣтованный городъ, гдѣ будутъ найдены и тепло и пища.

Но этотъ «конечный пунктъ мученій», въ сущности, только «начало всѣхъ ужасовъ». Голодная беспорядочная толпа разбивала и расхищала провіантскіе склады, будучи не въ силахъ дождаться очереди раздачи, тутъ же набрасывалась на сырую муку и водку и часто дѣйствительно приходила къ «конечному пункту мученій» — смерть захватывала ихъ на мѣстѣ. За Смоленскомъ открывался сорокадневный путь еще большихъ лишеній и страданій.

Надо имѣть перо большого художника, чтобы передать картину отступленія, о которой де-ла-Флизь имѣлъ полное право сказать: «едва ли, какъ въ древнихъ, такъ и въ новѣйшихъ войнахъ, встрѣчались подобные ужасы». Вглядитесь въ барельефъ Гюйона, въ эти скрюченныя голодными судорогами фигуры, въ эти искалѣченныя тѣла — и что, кромѣ безконечнаго ужаса передъ жестокостью войны, что, кромѣ глубокой жалости, почувствуете вы?

Долгіе дни безостановочныхъ, почти сверхъестественныхъ страданій, притупляютъ нервы — слишкомъ привычны становятся «сцены горя и нужды» (Роосъ). Люди проходятъ мимо нихъ хладнокровно. Въ каждомъ начинаетъ говорить чувство эгоизма, а вмѣстѣ съ тѣмъ пробуждаются и всѣ тѣ дурныя инстинкты, которые заложены въ человѣческой натурѣ. Психологъ съ этой точки зрѣнія могъ бы найти богатый матеріалъ для своихъ сужденій въ описаніи отступленія французскими мемуаристами. Нужда влечетъ за собой хаосъ и беспорядокъ въ отступающей арміи. Исчезаютъ чувства солидарности, узы дружбы — все это ступеньвается передъ инстинктомъ самосохраненія. Люди убиваютъ другъ друга изъ-за куска хлѣба, уподобляются звѣрямъ, какъ говоритъ де-ла-Флизь<sup>2)</sup>.

Если отчаяніе доводитъ до разбоя, если голодъ заглушаетъ всѣ человѣческія чувства и помрачаетъ настолько разсудокъ, что передъ нами проходятъ столь отвратительныя и столь же одновременно ужасныя картины, когда живые

<sup>1)</sup> «Вчера я видѣлъ — записываетъ Глинка — одного, который въ самомъ пылу сраженія съ величайшимъ хладнокровіемъ моталъ въ клубокъ нитки».

<sup>2)</sup> «У кого еще остался кусокъ хлѣба или сколько-нибудь съѣстныхъ продуктовъ — сообщаетъ Пюибюскъ 8 ноября, на другой день по прибытіи Наполеона въ Смоленскъ — тотъ погибъ: онъ долженъ ихъ сдать, если не хочетъ быть убитымъ своими же товарищами».



ѣдятъ своихъ мертвыхъ товарищей<sup>1)</sup> — то вы все это готовы, если не оправдать, то понять. Когда жестокія несчастья заставляютъ забыть чувства дружбы и товарищества, когда поступками начинаетъ руководить только холодный расчетъ и эгоизмъ, тогда становятся понятны многія сцены безсердечности, на которыя мы наталкиваемся среди описанія ужасовъ отступленія. Фаберъ-дю-Форъ, офицеръ и художникъ, запечатлѣлъ въ своихъ рисункахъ одну изъ этихъ жестокихъ сценъ. Товарищи раздѣвають упавшаго, обезсилѣвшаго воина. Нѣтъ уже мѣста чувству жалости. Онъ уже все равно погибнетъ, какъ погибнуть всѣ тѣ раненые, которые къ своему несчастью не нашли гибели въ бою. И товарищи безжалостно срываютъ съ него теплыя лохмотья, чтобы воспользоваться ими для своего прикрытія. Они въ тѣхъ же лохмотьяхъ, но у нихъ еще сохранилась сила, чтобы идти дальше и, можетъ-быть, спастись отъ угрозы смерти.

Въ описаніи очевидцевъ мы часто встрѣчаемся съ такими сценами. «Всѣ, которые падали во время перехода — рассказываетъ Іелинъ до Смоленска — оставались лежать на дорогѣ; по нимъ проѣзжали телѣги, давили ихъ прежде, чѣмъ они умирали, и никто не трудился оттащить этихъ несчастныхъ въ сторону или убрать съ дороги. Грабили даже платье, не дожидаясь ихъ смерти». Та же сцена у Тиріона... Онѣ грубы. Но и несчастья жестоки.

Но вотъ гдѣ психологическая загадка.

Эти полуумирающіе призраки, которые не знаютъ, будутъ ли они живы на другой день, надъ которыми витаетъ смерть, и которые на каждомъ шагу видятъ ея злостныя жертвы, часто думаютъ о своемъ имуществѣ, о награбленномъ добрѣ больше, чѣмъ о жизни. Изъ-за своего корыстолюбія, изъ-за ненужнаго слитка серебра, котораго они боятся лишиться, и который давитъ ихъ своей тяжестью, они гибнутъ — они бросаютъ оружіе, чтобы имѣть силу нести свою драгоценную ношу, и попадаютъ въ руки враговъ. Обезсиленные своей добычей, они

---

<sup>1)</sup> Такую поистинѣ не поддающуюся описанію картину рисуетъ Боволье. Онъ рассказываетъ, какъ въ Вильно 20 увѣчныхъ и больныхъ французовъ, спасаясь отъ жителей и русскихъ штыковъ, укрѣпились въ пустомъ домѣ.

Тамъ они скрываются цѣлыхъ восемь дней. И когда ихъ нашли, то увидали нѣсколько «труповъ съ вырѣзанными мягкими частями тѣла, которыми живые утоляли мучившій ихъ голодъ». О томъ же будетъ говорить намъ и Бургонъ. Ему рассказывали, какъ хорваты, входившіе въ составъ арміи «вытащили послѣ пожара изъ-подъ развалинъ сарая изжарившійся человѣческій трупъ, разрѣзали его на куски и ѣли...» «Я думаю, — добавляетъ къ своему повѣствованію Бургонъ — что подобное случалось не разъ въ теченіе этой бѣдственной кампаніи, хотя самъ я, признаюсь, никогда этого не видалъ. Какой интересъ имѣли эти полуживые люди рассказывать намъ подобныя вещи, если это не правда? Не время было заниматься сочинительствомъ. Послѣ всего вынесеннаго я тоже, если бы не нашелъ конины, поневолѣ сталъ бы ѣсть человѣческое мясо — надо самому испытать терзанія голода, чтобы войти въ наше положеніе». За Бургонемъ то же повторить Сегюръ и де-ла-Флизъ. Лабомъ рассказываетъ, что онъ былъ свидѣлемъ, какъ русскіе плѣнные поѣдали мясо своихъ товарищей. Маркизь Пасторе въ свои мемуары заноситъ такой же фактъ, очевидцемъ котораго ему самому пришлось быть послѣ Березинской переправы. «Русскій плѣнникъ — рассказываетъ онъ — бросился на только-что испутившаго духъ баварца, разорвалъ его ударомъ ножа и пожиралъ окровавленные внутренности еще теплаго трупа».



ограбляют мертвыхъ, чтобы на другой день подвергнуться той же участи. И многіе изъ нихъ погибнуть при Березинѣ въ заботахъ о сохраненіи уже ненужнаго багажа.

Жалкіе остатки полуоборванныхъ нищихъ дойдутъ до Вильно. Ней откроетъ имъ путь спасенія. И вдругъ передъ алчными глазами предстанутъ фургоны съ золотомъ. Они забудутъ о стерегущей ихъ опасности, о перенесенныхъ страданіяхъ и жадными, корыстолюбивыми руками начнутъ грабить сверкающее золото. Ихъ настигнутъ казаки. И враги забудутъ другъ о другѣ въ преклоненіи передъ раскрытымъ богатствомъ. Они сольются въ общей жадности и вмѣстѣ будутъ грабить одинъ и тотъ же ящикъ.

Такова подчасъ жалкая психологія человѣка.

И когда передъ глазами проходятъ такія картины, тѣмъ рѣзче тогда выступаютъ героическіе поступки безкорыстнаго служенія доблести и мужества, которыми не менѣе богато грустное повѣствованіе обратнаго пути «великой арміи». Въ ея разношерстномъ составѣ неизбѣжно были элементы, которыхъ спаивала только дисциплина, только слѣпая удача. И во всякомъ случаѣ всѣ эти картины тонутъ въ массѣ ужасовъ и страданій, которыми наполнена лѣтопись отступленія.

Армія подошла къ Березинѣ. Нужна новая катастрофа, чтобы довершить всѣ и такъ уже чрезмѣрные несчастія. Тысячи новыхъ жертвъ, тысячи новыхъ фактовъ человѣческой жестокости и героическихъ дѣйствій. Всѣ, кто въ силахъ, переходятъ на спасительный, казалось, другой берегъ.

Но тысячи остаются до послѣдняго момента. Это тѣ, кто въ критическую минуту впалъ въ отчаяніе, у кого нѣтъ силъ для новой энергіи, кого охватило полное безразличіе и пагубная апатія, и это, наконецъ, всѣ тѣ, у кого безумная корысть затемняла чувство самосохраненія. Напрасно зажигаютъ повозки этихъ несчастныхъ, чтобы пробудить ихъ ослѣпленіе, напрасны всѣ побужденія. Затемнѣлый разумъ молчитъ. И вдругъ наступаетъ паника. Всѣ устремляются на мостъ. Начинается давка. Опрокинутые и задыхающіеся люди бьются подъ ногами товарищей, впиваются въ нихъ ногтями и зубами. А товарищи отталкиваютъ ихъ, какъ враговъ, сталкиваютъ въ рѣку. «Страшное и безобразное зрѣлище» — говоритъ Тиріонъ. Послѣдняя катастрофа на мосту доканчиваетъ длинную непрерывную цѣпь несчастій. За Березиной опять та же картина ужасовъ, страданій и гибели отъ холода и голода.

Но довольно этихъ страданій. Хочется скорѣе закрыть страницы слезъ и печали<sup>1)</sup>.

Въ «Войнѣ и мирѣ» Толстой не ввелъ своихъ читателей въ эту атмосферу ужасовъ и страданій. Когда читаешь главы, посвященные отступленію, скорѣе чувствуешь нѣкоторое пренебреженіе къ убѣгающему врагу. Совершилось то, что должно было совершиться. «Съ 28-го октября, — говоритъ Толстой — когда начались морозы, бѣгство французовъ получило только болѣе трагическій ха-

---

<sup>1)</sup> Читатель можетъ найти ихъ въ большемъ количествѣ въ сборникѣ: «Французы въ Россіи. 1812 годъ по воспоминаніямъ современниковъ-иностранцевъ», выпущенномъ подъ редакціей Исторической Комиссіи Учебнаго О. О. Р. Т. Зн. книгоиздательствомъ «Задругой».

раakterь замерзающих и изжаривающихся на-смерть у костровъ людей и продолжавшихъ въ шубахъ и коляскахъ ѣхать съ награбленнымъ добромъ императора, королей и герцоговъ»... «Ввалившись въ Смоленскъ, представлявшійся имъ обѣтованной землей, французы убивали другъ друга за провіантъ, ограбили свои же магазины и, когда было все разграблено, побѣжали дальше». Развѣ не чувствуется здѣсь въ тонѣ, что справедливость великаго художника подчинена настроенію писателя, смотрящаго на давно прошедшія событія черезъ призму антипатіи не только къ Наполеону, но и ко всѣмъ тѣмъ, которые жестоко расплатились за безумныя мечты неудержимаго честолюбія военнаго генія «великаго императора». Развѣ не чувствуется та же художественная неискренность, когда Толстой говоритъ: «каждый человѣкъ изъ нихъ желалъ только одного — отдаться въ плѣнъ, избавиться отъ всѣхъ ужасовъ и несчастій, но... несмотря на то, что французы пользовались всякимъ удобнымъ случаемъ для того, чтобы отдѣлаться другъ отъ друга и при малѣйшемъ приличномъ предложѣ отдаваться въ плѣнъ, предлоги эти не всегда случались. Самое число ихъ и тѣсное, быстрое движеніе лишало ихъ этой возможности»<sup>1)</sup>. И только разсудочно Толстой показываетъ, что при отступленіи Наполеона не нужны были сраженія, загораживаніе дороги, потеря своихъ людей и безчеловѣчное добиваніе несчастныхъ. Нечего было куражиться «надъ убитымъ звѣремъ».

«Кто изъ русскихъ людей — писалъ Толстой — читая описанія послѣдняго періода кампаніи 1812 г., не испытывалъ чувства досады, неудовлетворенности и неясности. Кто не задавалъ себѣ вопроса: какъ не забрали, не уничтожили всѣхъ французовъ, когда всѣ три арміи окружали ихъ въ превосходящемъ числѣ, когда разстроенные французы, голодая и замерзая, сдавались толпами?» И Толстой показываетъ, что всякій планъ отрѣзать Наполеона съ арміей былъ бы не только безсмысленъ, но и невозможенъ.

Безсмысленъ былъ уже потому, что «разстроенная армія Наполеона со всей возможной быстротой бѣжала изъ Россіи, т.-е. исполняла то самое, что могъ желать всякій русскій». Невозможенъ былъ потому, что «никогда съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ міръ, не было войны при тѣхъ страшныхъ условіяхъ, при которыхъ она происходила въ 1812 г., и русскія войска въ преслѣдованіи французовъ напрягали всѣ свои силы и не могли сдѣлать большаго, не уничтожившись сами»... «Русскіе, умиравшіе наполовину, сдѣлали все, что можно сдѣлать и должно было сдѣлать для достиженія достойной народа цѣли, и не виноваты въ томъ, что другіе русскіе люди, сидѣвшіе въ теплыхъ комнатахъ, предполагали сдѣлать то, что было невозможно». Толстой здѣсь глубоко правъ: истощенная русская армія переживала въ значительной степени тѣ же бѣдствія, что и непріятельская. Морозъ, голодъ также разбивали ея ряды: «мы бѣдствовали не менѣе непріятеля» — говоритъ русскій генераль Левенштернъ. «Мы прятались другъ отъ друга, чтобы съѣсть какой-нибудь жалкій сухарь и запить его отвра-

<sup>1)</sup> Толстой здѣсь очевидно подчиняется мемуарамъ лицъ, враждебныхъ Наполеону. Стоитъ только сравнить эти разсужденія Толстого съ описаніемъ, напр., отступленія Нея у Кроссара, — эмигранта, бывшаго на русской сторонѣ. Совпаденіе будетъ весьма значительное.

тительной водкой»<sup>1)</sup>. Но все же русскіе были въ своей странѣ. У французовъ не было и «жалкаго сухаря».

Сопоставляя бѣдствія обѣихъ сторонъ, тѣмъ рельефнѣе выдвигаетъ нечеловѣческія страданія Наполеоновской арміи при отступленіи. Надо имѣть много закоренѣлаго шовинизма, надо презрѣть совершенно во врагъ человѣческую личность, чтобы скорбѣть о томъ, что русскіе «не уничтожали всѣхъ французовъ», тѣхъ голодныхъ, полузамерзшихъ, почти безоружныхъ и безвредныхъ уже людей, которые подъ вліяніемъ невыносимыхъ ужасовъ и страданій теряли иногда даже человѣческій обликъ. Когда читаешь скорбныя повѣствованія тѣхъ, кто лично переживалъ всѣ мученія отступленія, невольно проникаешься къ нимъ чувствомъ глубокой жалости. Хочется избавиться отъ этихъ кошмарныхъ впечатлѣній, хочется, чтобы поскорѣе остатки наполеоновской арміи ушли изъ Россіи. Вы боитесь ихъ гибели, потому что эта гибель сопряжена съ новыми ужасами и новыми жестокостями, ненужными и безцѣльными.

Цѣль народа — говоритъ Толстой — была одна: очистить свою землю отъ нашествія. Цѣль эта достигалась, во-первыхъ, сама собой, такъ какъ французы бѣжали, и потому слѣдовало только не останавливать это движеніе. Во-вторыхъ, цѣль эта достигалась дѣйствіями народной войны, уничтожавшей французовъ; и, въ-третьихъ, тѣмъ, что большая русская армія шла слѣдомъ за французами, готовая употребить силу, въ случаѣ остановки движенія французовъ. Русская армія должна была дѣйствовать какъ кнутъ на бѣгущее животное...

Толстой безусловно правъ, придавая большое значеніе «народной войнѣ». «Періодъ кампаніи 1812 г. отъ Бородинскаго сраженія до изгнанія французовъ — говоритъ онъ, — доказалъ, что выигранное сраженіе не только не есть причина завоеванія, но даже и постоянный признакъ завоеванія, — доказалъ, что сила, рѣшающая участь народовъ, лежитъ не въ завоевателяхъ, даже не въ арміяхъ и сраженіяхъ, а въ чемъ-то другомъ». Это «другое» и есть народный духъ. И Толстой пишетъ въ значительной степени апофеозъ народной войны: «дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и... съ глупой простотой, но съ цѣлесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французовъ до тѣхъ поръ, пока не погигло все нашествіе». «И благо тому народу — заключаетъ авторъ «Войны и мира» — который, не какъ французы въ 1814 г.<sup>2)</sup>, отсалютовавъ по всѣмъ правиламъ искусства и перевернувъ шпагу эфесомъ, граціозно и учтиво передаетъ ее великодушному побѣдителю, а благо тому народу, который въ минуту испытанія, не спрашивая о томъ, какъ по правиламъ поступали другіе въ подобныхъ случаяхъ, съ простотой и легкостью поднимаетъ первую попавшуюся дубину и гвоздитъ ею до тѣхъ поръ, пока въ душѣ его чувство оскорбленія и мести не замѣнятся презрѣніемъ и жалостью». И не

<sup>1)</sup> Полковникъ Карповъ, рассказывая, какъ у него ночью на бивуакѣ замерзло три человѣка, записываетъ: «Въ нашей арміи во время преслѣдованія французовъ было больныхъ, какъ сказывали, половина арміи, что справедливо потому, что въ нашей ротѣ не было здоровыхъ и третьей части того, сколько стояло по списку.» Убыль въ людяхъ, дѣйствительно, была «ужасающая», что показываетъ хотя бы фактъ убыли ополченцевъ по Тарусскому уѣзду. Изъ 1015 человѣкъ вернулось только 85. И погибли они не въ бояхъ.

<sup>2)</sup> Выпадъ противъ французовъ и здѣсь глубоко несправедливъ.



странно ли, что придавая такое огромное значение народной войнѣ, увѣнчивая ее лаврами побѣдителя, Толстой почти не коснулся ея въ своемъ изложеніи. Онъ, въ сущности, коснулся только дѣйствій партизановъ, но вѣдь партизанская война въ 1812 г. далеко не была синонимомъ войны народной. И думается, авторъ обошелъ ее сознательно, а не потому только, что въ его распоряженіи не было достаточнаго историческаго матеріала.

Художественная правдивость заставила бы Толстого нарисовать картины многихъ ненужныхъ звѣрствъ, кровавыхъ расправъ надъ беззащитнымъ врагомъ. И это, вѣроятно, нарушило бы цѣлостную характеристику народа, болѣе «сильнаго духомъ», чѣмъ противникъ. Безпристрастная историческая оцѣнка разрушила бы отчасти и представленіе о той реальной силѣ, которой явилась въ борьбѣ съ непріятелемъ въ 1812 г. «народная война». Все ея значеніе заключалось въ томъ, что многомилліонная крѣпостная масса «мужики Карпъ и Власъ», забывъ объ узахъ рабства, защищали свое отечество, которое для нихъ всегда было мачехой. Эти «мужики Карпъ и Власъ» покидали насиженные мѣста передъ приходомъ французовъ, не везли «сѣна въ Москву за хорошія деньги, которыя имъ предлагали, а жгли его» и т. д.<sup>1)</sup> Но народная война, въ качествѣ «дубины, гвоздившей фран-

<sup>1)</sup> Не слѣдуетъ, пожалуй, и этой сторонѣ «народной войны» до начала отступленія Наполеоновской арміи придавать чрезмѣрно уже большое значеніе. Идейнаго воодушевленія не могло быть въ крѣпостной, некультурной массѣ. «Мужики Карпъ и Власъ» не везли фуража въ Москву не только потому, что крестьяне, какъ рассказываетъ Сегюръ, предавали смерти всѣхъ тѣхъ, кто соблазнялся высокой платой и доставлялъ припасы. Но и потому, что при дезорганизациі въ Москвѣ, почти вынужденной бѣдственными обстоятельствами, это было и опасно и бесполезно. Несмотря на всѣ попытки Наполеоновской администраціи наладить отношенія съ окружающимъ сельскимъ населеніемъ, это было трудно уже потому, что первая же попытка привести хлѣбъ для продажи въ Москву закончилась фiasco: голодные солдаты отбирали насильно у заставъ привезенный провіантъ. «Наши дѣла были бы гораздо лучше, — замѣчаетъ Дедемъ, — если бы мы дѣйствовали осторожнѣе». «Мнѣ удалось — рассказываетъ авторъ — обставить дѣло такъ, что мои фуражиры возвращались всегда благополучно дней черезъ 4—5 и приносили мнѣ яйца, картофель и иногда дичь, благодаря тому, что мною было отдано строгое приказаніе ничего не брать даромъ»... Все это, быть можетъ, очень антипатріотично. Но такова житейская проза. Развѣ дворянство въ 1812 г. также дѣйствовало безкорыстно? Оно защищало свое имущество, свои социальныя привилегіи. Не даромъ Растопчинъ, типичный выразитель дворянскихъ стремленій, писалъ Александру I 13-го сентября: «О мирѣ ни слова: то было бы смертнымъ приговоромъ для насъ и для васъ». 1812 годъ затрагивалъ больше всего дворянство, равно какъ и континентальная система, служившая одной изъ ближайшихъ причинъ войны, затрагивала только имущественные интересы помѣстнаго класса. Въ ближайшіе годы послѣ войны въ благодарственныхъ манифестахъ и рѣчахъ много говорилось о дворянскомъ безкорыстномъ патріотизмѣ, проявленномъ въ эпоху тяжелой години. Дворянство, какъ иронизировалъ Герценъ, еще при жизни стало себѣ ставить памятникъ. Но въ дѣйствительности мы можемъ найти очень сравнительно немного явленій безкорыстнаго, идейнаго служенія отечеству. Организованныя въ 1812 году на средства дворянства ополченія служатъ самымъ яркимъ подтвержденіемъ. Появляющіеся теперь въ печати факты указываютъ, что дворянство эти ополченія подчасъ превращало въ выгодныя для себя операціи. Въ эти ополченія старались сбыть ненужные и вредные въ крѣпостной деревнѣ элементы. Во всякомъ случаѣ дворянство было очень таровато на общанія и очень скупое при выполненіи принятыхъ обязательствъ. А между тѣмъ война затрагивала интересы дворянскія гораздо болѣе, чѣмъ интересы мужика.

цузовъ», т.-е. въ качествѣ активной борющейся силы, не имѣла большого вліянія на кампанію 1812 г. Народная война въ указанномъ смыслѣ слова началась поздно, въ сущности она совпадаетъ съ началомъ отступленія наполеоновской арміи, съ началомъ ея неудачъ — другими словами съ началомъ ея конца.

Еще вопросъ, когда долженъ былъ бы наступить этотъ «конецъ», если бы не цѣлый рядъ неожиданныхъ стихійныхъ обстоятельствъ. Мы не можемъ здѣсь касаться причинъ неудачи отступленія наполеоновской арміи. Онѣ сложны и многообразны. Пришлось бы объяснять тѣ сложныя политическія комбинаціи, которыя заставили Наполеона послѣ Малаго-Ярославца предпринять «стратегическій маршъ» на Смоленскъ. Можетъ быть, это былъ ошибочный стратегическій шагъ, но шагъ, сдѣланный, какъ готовы признать многіе, почти сознательно. И если отступление по Смоленской «разоренной дорогѣ» сдѣлалось скоро столь трагичнымъ, то въ этомъ оказались повинны явленія, которыя нельзя было предусмотрѣть никакими стратегическими прогнозами. Какъ бы ни оспаривали нѣкоторые изъ историковъ роль «легендарныхъ морозовъ», несомнѣнно здѣсь лежала настоящая причина гибели отступающей арміи. Эти необычные двадцатиградусные морозы конца октября разстроили всѣ планы Наполеона, дезорганизовали и уничтожили послѣднюю боевую силу его арміи. Эти стихійныя обстоятельства уничтожили кавалерію и артиллерію Наполеона. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшалась и судьба отступленія. И однако, какъ ни плачевна была дѣйствительная боевая сила арміи, она ее все же сохранила до извѣстной степени вплоть до переправы черезъ Березину.

Военная исторія не можетъ простить Толстому тѣхъ строкъ, которыя онъ написалъ въ «Войнѣ и мирѣ». «Русскіе военные историки... должны невольно признаться, что отступление французовъ изъ Москвы есть рядъ побѣдъ Наполеона и поражений Кутузова». Объективность несомнѣнно принуждаетъ къ такому заключенію. Мы можемъ эти военные неудачи объяснить состояніемъ русской арміи, но не должны забывать и того, что при всѣхъ ужасныхъ обстоятельствахъ отступленія вплоть до послѣдняго момента наполеоновская армія представляла грознаго противника, котораго было трудно побѣдить. При всей деморализаціи и дезорганизаціи арміи центральное ея ядро, та «старая гвардія», о которой Толстой сказалъ, что она ничего не дѣлала въ теченіе всей кампаніи, сохранила свою компактность и въ Вязьмѣ 20-го октября, и въ Красномъ 6-го ноября. Чувство человѣчности, чувство жалости и справедливости, можетъ быть, будетъ возмущаться при чтеніи сообщеній, что эта старая гвардія въ теченіе всего отступленія находится въ привилегированномъ положеніи, что ради ея сохранности готовы пожертвовать тысячами тѣхъ, которые являются уже балластомъ въ отступающей арміи. Но сознаніе цѣлесообразности подскажетъ, пожалуй, отчасти и другое. «Необходимо было — говоритъ Сегюръ — сохранить въ цѣлости хоть одинъ корпусъ и дать преимущество тѣмъ, которые въ послѣднюю рѣшительную минуту могутъ выручить».

И надо быть справедливымъ. Старая гвардія, подкрѣпленная послѣ Смоленска свѣжими силами, выручила въ «рѣшительную минуту», она поддержала мужество во время отступленія, и безъ нея едва ли армія, по словамъ Боссе, перешла обратно Нѣманъ.



По свидѣтельству современника эта гвардія не проявитъ обычнаго энтузіазма, когда подъ Оршей, организуя «священный батальонъ», Наполеонъ обратится къ ней съ рѣчью: «вы видите разстройство арміи; многіе изъ солдатъ въ бѣдственномъ ослѣпленіи бросили свое оружіе. Если вы послѣдуете этому пагубному примѣру, то всѣ наши надежды погибнуть. Отъ васъ зависитъ спасеніе арміи»... Времена энтузіазма прошли — скажетъ по этому поводу враждебно настроенный къ Наполеону Лабомъ. «Деспотизмъ его подавилъ все; онъ самъ убилъ въ насъ тѣ благородныя чувства и лишилъ себя тѣмъ единственнаго средства электризовать наши души». Да, не до энтузіазма было въ эту критическую минуту безпорядковъ и паники, охватившихъ прежде когда-то грозную и непобѣдимую армію. Сегюръ чрезвычайно ярко передаетъ угнетающее впечатлѣніе, которое произвелъ близъ Борисова на армію Виктора, все еще «сплоченную и бодрую» видъ той колонны, которая слѣдовала за Наполеономъ. «Она замерла, пораженная ужасомъ. Она смотрѣла со страхомъ, какъ проходили передъ нею несчастные полуголые солдаты съ землистыми лицами... безъ оружія, безъ стыда, выступавшіе какъ попало, съ опущенными головами, глазами, устремленными въ землю, молча, какъ стадо плѣнныхъ.» «Зрѣлище такого бѣдствія — продолжаетъ Сегюръ — съ перваго же дня поколебало второй и девятый корпусъ. Безпорядокъ, самое заразительное изъ всѣхъ золъ, коснулся ихъ». И при всемъ томъ старая гвардія шла непобѣдимой, спасая тысячи жизней ослабѣвшихъ и упавшихъ духомъ товарищей. Сегюръ имѣлъ полное право сказать, что до Березины русскіе были, «скорѣе зрителями чѣмъ виновниками нашего бѣдствія». Осталась только «тѣнь арміи», но эта тѣнь считала, что ее «побѣдила природа» (Ложье)...

Несмотря на весь свой фатализмъ въ исторіи, Толстой обошелъ молчаніемъ то вліяніе, которое имѣла на отступленіе стихійная непреоборимая сила природы.

Вся сила кнута перенесена у него на «народную войну». Но въ дѣйствительности эта сила кнута падала на тѣхъ «полумертвецовъ», на тѣхъ закоченѣвшихъ и голодныхъ «бродягъ», которые не представляли никакой боевой силы, которые влачили въ арьергардѣ, распространяя безпорядокъ и панику. Женщины, дѣти, раненые, брошенные по необходимости на произволъ судьбы, всѣ тѣ, кто впалъ въ состояніе полнаго унынія и апатіи, — вотъ элементы «великой арміи», на которыхъ обрушивалась сила народной войны, которые страдали, главнымъ образомъ, отъ партизанскихъ отрядовъ и казацкихъ наѣздовъ. Это были всѣ тѣ тысячи несчастныхъ враговъ, которые готовы были отдаться въ плѣнъ, не думая о будущей судьбѣ, и которыхъ спасалъ не теряющій духа Ней. Онъ велъ этотъ полубезоружный арьергардъ «великой арміи», всѣхъ этихъ обезумѣвшихъ отъ ужаса и страданій людей.

При такихъ условіяхъ во время отступленія наполеоновской арміи «народная война» въ значительной степени теряла свой смыслъ. Она ознаменовалась безконечными жестокостями, передъ которыми стушевываются всѣ другія жестокости войны, всѣ тѣ жестокости французовъ въ Испаніи, которыя такъ ярко, такъ ужасно изобразилъ Гойя. И о нихъ говорить не хочется, но ихъ нельзя, къ глубокому прискорбію, пройти молча.



К. К. Павлова въ своихъ воспоминаніяхъ записала такой разсказъ крестьянина: «Бывало наткнемся мы партіей на одного, возьмемъ и приведемъ въ деревню; такъ бабы его и купятъ у насъ за пятакъ: сами хотятъ убить. Ну, бабье ли это дѣло. Одна пырнетъ ножомъ, другая колотитъ кочергой, опять другая тычетъ веретеномъ; мучаютъ, мучаютъ, индо жалко станеть глядѣть: подойдешь, дахватишь его порядкомъ по головѣ». А вотъ и другой такой же эпическій разсказъ, отъ котораго вѣтъ не меньшимъ ужасомъ: «Наловили это мы ихъ, французовъ, десятка два и стали думать, чтобы съ ними подѣлать, свести что ли куда, сдать что ли кому, да куда поведешь и кому сдашь? Вотъ и приговорили міромъ побить ихъ. Выкопали въ перелѣскѣ глубокую яму, повязали имъ, французамъ, руки и пригнали гуртомъ; стали они это вокругъ ямы, а мы за ними стали и начали они жалостно талалакать, точно Богу молиться. Мы наскоро посовали ихъ въ яму, да живыхъ и зарыли. Вѣришь ли, такой живущій народъ, подъ землею съ полчаса ворошились»...

Такихъ картинъ въ періодъ народной войны мы найдемъ достаточное число; мы слышимъ, напримѣръ, какъ пойманнаго француза, обмотавъ соломой, сжигаютъ заживо... Но врядъ ли что либо можетъ сравниться съ разсказами о расправахъ партизановъ надъ плѣнными, въ особенности знаменитаго Фигнера.

Это какое-то паталогическое звѣрство, часто не вынужденное никакими обстоятельствами.

Нашель Фигнеръ — разсказываетъ подполковникъ Бискупскій — десять отсталыхъ французовъ и «сейчасъ же развѣшалъ ихъ по соснамъ подъ селомъ». Другой разъ была захвачена партія до 180 человекъ. Обыскавъ и обобравъ плѣнныхъ Фигнеръ, скомандовалъ: «коли пиками, мѣтко, меньше ранъ»...

«Могу ли изобразить этотъ ужасъ, — пишетъ привыкшій ко всему простой вояка. «Это уже не мое дѣло, тутъ надо перо; тѣмъ болѣе я не въ состояніи описать, что адское дѣйствіе совершилось очень скоро, оглядываясь, не наскочетъ ли какой отрядъ непріятельскій нечаянно. У иного уже десятки ранъ, весь въ крови, онъ еще не палъ, а хватается за все... Несчастнѣйшіе французы, недавно говорившіе съ Фигнеромъ такъ привѣтливо, покорно, человѣколюбивно сожалѣя, что такъ долго нѣтъ мира между нами... и не думали того, что идутъ на эшафотъ; одни пали на колѣни, сложивъ руки, то молились, то, вознося къ небу руки, просили даровать жить; другіе внезапно лишились разсудка, кричали и кидались сами на пики, хватаясь руками за лошадей, за ноги, за руки, цѣлуя стремяна, умоляя о пощадѣ; многіе уже лежали одинъ на другомъ, въ страшныхъ положеніяхъ, въ крови; руки и ноги трепещутъ у умирающаго, кровь на всѣ стороны фонтаномъ и крикъ пронзительный именемъ Христа... Чтобы изобразить эту картину недостаточно страницы, пусть искусное перо выльетъ всѣ неслыханные ужасы, какіе тутъ были». Такъ писалъ Бискупскій въ 1849 г. Но «искусное перо» великаго романиста обошло молчаніемъ эти «ужасы», которые громко взываютъ противъ войны съ ея звѣрствами, съ ея униженіемъ человѣческой личности и человѣческаго достоинства.

«Удивительная вещь война» — скажетъ Бискупскій, увидавъ зрѣлище «рѣдко видѣнное». Лежалъ трупъ француза, «къ головѣ его прижалась крошечная черная собачка, дрожащая отъ холода —лизывала своего хозяина и пицала

плачевнымъ визгсмъ, какъ-будто жалуясь намъ. Мы стали ее звать, манить хлѣбомъ; она то подбѣжить, то воротится къ трупѣ и лижетъ его лицо, хлѣба не беретъ, а будто проситъ поднять, разбудить лежачаго. Жалость было смотрѣть, какъ отъ голода, холода и тоски она дрожала и пищала, со слезами въ глазахъ поглядывая то на насъ, то на своего покойника... Такъ и осталась съ нимъ въ пустынномъ полѣ смерти. Мы всѣ удивлялись такой привязанности». «Странно — заключаетъ Бискупскій — что общая жалость проявилась къ собачкѣ болѣе, чѣмъ къ несчастному человѣку». На войнѣ нѣтъ жалости къ человѣку. Нѣтъ уже потому, что весь смыслъ военныхъ боевыхъ дѣйствій заключается въ томъ, чтобы лишить возможно большее число владѣющихъ оружіемъ способности сражаться. Быть можетъ, съ точки зрѣнія всенной стратегіи это логично. Такой же логикой, вѣроятно, руководился и Фигнеръ въ своихъ звѣрскихъ расправахъ съ плѣнными ранеными. Каждый плѣнный, каждый раненый вновь можетъ сдѣлаться активной силой, и слѣдовательно наиболѣе вѣрный способъ обезвредить его — уничтоженіе. Нравственное чувство протестуетъ противъ такой безчеловѣчной военной логики. Оно должно протестовать еще съ большей силой, когда никакія стратегическія соображенія не могутъ оправдать забвенія гуманныхъ началъ, когда «мщеніе» становится уже руководящимъ принципсмъ. Сегюръ и многіе изъ другихъ мемуаристовъ, описывавшихъ отступленіе наполеоновской арміи, рассказываютъ о безобразной картинѣ, на которую пришлось натолкнуться около Гжатска (18-го октября). «Мы были изумлены — говоритъ Сегюръ — встрѣтивъ на своемъ пути только что убитыхъ русскихъ. Замѣчательно было то, что у cadaго изъ нихъ была совершенно одинаково разбита голова, и что окровавленный мозгъ былъ разбрызганъ тутъ же. Намъ было извѣстно, что передъ нами шло около двухъ тысячъ русскихъ плѣнныхъ и что вели ихъ испанцы, португальцы и поляки. Каждый изъ насъ, смотря по характеру, выражалъ кто свое негодованіе, кто одобреніе, иные оставались равнодушными. Кругомъ императора никто не обнаруживалъ своихъ впечатлѣній. Но Коленкуръ вышелъ изъ себя и воскликнулъ: «Это какая то безчеловѣчная жестокость». Такъ вотъ она пресловутая цивилизація, которую мы несли въ Россію. Каксе впечатлѣніе произведетъ на непріятеля это варварство. Развѣ мы не оставляемъ у русскихъ своихъ раненыхъ и множество плѣнниковъ. У нашего непріятеля всѣ возможности самаго жестокаго отсмщенія... «Наполеонъ — добавляетъ Сегюръ — отвѣчалъ лишь мрачнымъ безмолвіемъ; но на слѣдующій день эти убійства прекратились».

Докторъ Роосъ нѣсколько въ иномъ освѣщеніи рисуеъ эти убійства русскихъ плѣнныхъ. Въ Борисовѣ, на Березинѣ онъ слышалъ отъ двухъ унтеръ-офицеровъ баденскихъ гренадеровъ, эскортировавшихъ плѣнныхъ, что Наполеонъ самъ отдалъ «строгій и жестокій приказъ немедленно убивать всякаго плѣнника, если онъ утомится и не въ состояніи будетъ идти дальше». По ихъ словамъ офицеры наполеоновскаго штаба «голосовали частью за, частью противъ подобнаго образа дѣйствій. Нѣкоторые даже шепнули гренадерамъ, чтобы они ночью дали плѣннымъ возможность мало по малу улизнуть». Эти унтеръ-офицеры — рассказываетъ Роосъ — увѣряли дальше, что «они дѣлали этимъ людямъ намеки, особенно ночью у костра, и даже посылали ихъ съ этой цѣлью съ посудой въ лѣсъ



за водой, но тѣ всегда возвращались назадъ»... Но и Роосъ свидѣтельствуешь, что убійства прекратились уже на другой день.

Но кто бы ни былъ виновникомъ этихъ убійствъ, фактъ варварства остается налицо <sup>1)</sup>).

Разсказывая о прекращеніи убійствъ, Сегюръ добавляетъ, что съ той поры «наши ограничивались тѣмъ, что обрекали этихъ несчастныхъ умирать съ голоду за оградами, куда ихъ загоняли, словно скотъ». «Безъ сомнѣнія, это было тоже жестоко; но что намъ было дѣлать? Произвести обмѣнъ плѣнныхъ? Непріятель не соглашался на это. Выпустить ихъ на свободу? Они пошли бы всюду разсказывать о нашемъ бѣдственномъ положеніи и, присоединившись къ своимъ, они яростно бросились бы въ погоню за ними. Поощадить ихъ жизнь въ этой безпоощадной войнѣ — было бы равносильно тому, что принести въ жертву самихъ себя. Мы были жестокими по необходимости».

Подобныя объясненія не смягчатъ намъ однако ужаса самого факта. Равно какъ и самъ Сегюръ разскажетъ съ возмущеніемъ о жестокости, проявленной нѣкоторыми элементами наполеоновской арміи еще при началѣ отступленія. Армія, проходя Бородинское поле, остановилась у Колоцкого монастыря, превращеннаго въ госпиталь. И, когда раненые увидали, что «армія возвращается, что ихъ собираются покидать, что для нихъ не осталось больше никакой надежды, слабѣйшіе изъ нихъ выползали на пороги; ими были усѣяны всѣ дороги, и они протягивали намъ съ мольбой свои руки». Тогда по приказу Наполеона каждая повозка должна была подобрать по одному раненому.

И «мы были свидѣтелями — передаетъ Сегюръ — крайне жестокаго поступка».

«Нѣсколько раненыхъ было размѣщено на повозкѣ маркитантовъ. Фуры этихъ негодаевъ были нагружены добромъ, награбленнымъ въ Москвѣ, и они съ ропотомъ недовольства приняли новую ношу». Пропустивъ колонну «они побросали въ оврагъ всѣхъ несчастныхъ, которыхъ довѣрили ихъ заботамъ. Лишь одинъ изъ этихъ раненыхъ остался въ живыхъ... это былъ генераль. Отъ него мы узнали о совершенномъ преступленіи. Вся колонна содрогнулась отъ ужаса... ибо въ то время страданія не были еще настолько сильными и всеобщими, чтобы заглушить жалость и сосредоточить лишь на самомъ себѣ все сочувствіе».

Впослѣдствіи и для этой жалости не будетъ мѣста. «У насъ — говорить Фезанзакъ — не было средствъ везти ихъ (раненыхъ) съ собой, и мы должны были дѣлать видъ, что не слышимъ ихъ просьбъ и жалобъ».

Отношеніе къ своимъ въ критическій моментъ, конечно, опредѣляло отношеніе и къ чужимъ — здѣсь уже не было мѣста чувству жалости и состраданія. Местъ, только местъ — и часто «по необходимости»...

Человѣкъ, не зараженный предразсудками эгоистическаго національнаго себялюбія, можетъ быть объективнымъ и онъ съ меньшей строгостью отнесется

---

<sup>1)</sup> Кастелланъ въ своемъ дневникѣ приписываетъ всѣ эти «варварства» португальцамъ. «Боюсь — записываетъ онъ подъ 21 октября — что такое варварское поведеніе вызоветъ по отношенію къ намъ безпоощадную месть».



къ тому, кто въ данный моментъ находится въ страдательномъ положеніи. Такое именно положеніе занимала въ данный моментъ французская армія. Вѣроятно, при отступленіи происходили много разъ тѣ случаи, которые отмѣчаетъ въ своихъ запискахъ Ф. Н. Глинка подъ 26 октября: французы «прикалываютъ нашихъ плѣнныхъ и разстрѣливаютъ крестьянъ». Эти случаи лишь въ слабой степени повторяютъ картины, описанныя подъ Гжатскомъ Сегюромъ и Роосомъ.

Быть можетъ, отдѣльные аналогичные факты бывали и раньше. По крайней мѣрѣ такъ свидѣлствуетъ въ письмѣ къ Вязьмитинову 30-го октября Растопчинъ, самъ проявившій рѣдкое безсердечіе по отношенію къ плѣннымъ и раненымъ врагамъ. Онъ рассказываетъ о многихъ звѣрствахъ французовъ во время ихъ пребыванія въ Москвѣ: въ Бородинѣ — рассказываетъ Растопчинъ, — заподозрѣннаго въ убійствѣ французскаго солдата «сожгли посреди города, надѣвъ рубашку въ масло обмакнутую». «У многихъ женщинъ, имѣвшихъ на пальцахъ кольца, — продолжаетъ онъ — рубили пальца». Допустимъ, что въ многотысячной и разношерстной наполеоновской арміи могли происходить и происходили самыя грубыя насильственные выходки<sup>1)</sup>. Въ этой разноплеменной арміи не было и не могло быть той солидарности, той удивительной дисциплины, которая всегда отличала побѣдоносные наполеоновскіе полки — его знаменитыхъ гренадеровъ старой гвардіи. Уже при вступленіи въ Россію мы видимъ зачатки будущей дезорганизации, почти неизбежной при условіяхъ плохого оборудованія интендантскихъ частей. Армія подчасъ голодаетъ съ первыхъ же поръ, она принуждена довольствоваться грабительскими реквизиціями, т.-е. мародерствомъ; это, по общему голосу всѣхъ современниковъ, и вносило дезорганизацию въ ея среду. Дисциплину вначалѣ поддерживали строгими мѣрами. Солдатъ, которые, по замѣчанію Рооса, «должны были поддерживать свою жизнь воровствомъ и грабежами» подвергали разстрѣламъ. Роосъ подъ Вильно видѣлъ четырехъ солдатъ, приговоренныхъ военнымъ судомъ за насилія къ смертной казни, которые сами себя передъ смертью вырывали могилу. Это ли не «холодный ужасъ» войны?<sup>2)</sup>

Въ Москвѣ при еще худшихъ условіяхъ послѣ пожара, который уничтожилъ обильные припасы, хранившіеся въ столицѣ, дезорганизация въ арміи усилилась. И грабежи и насилія несомнѣнно имѣли мѣсто. Иначе и не могло быть. Съ ними также боролись, хотя иногда и безплодно. И любопытно, что почти всѣ очевидцы пребыванія наполеоновской арміи въ Москвѣ выдѣляютъ въ данномъ случаѣ французскіе элементы, которые до послѣдняго момента сохранили большую моральную устойчивость: «Французы настоящіе добрые: вѣдь у нихъ по мундиру и по разговору узнаешь, рѣдко кого обидятъ; зато ужъ эти новобранцы всякіе у нихъ, да нѣмчура никуда не годилась. И не нужно имъ, да они грабятъ, да

<sup>1)</sup> Случай, рассказанный Растопчинимъ, повидимому, въ дѣйствительности имѣлъ мѣсто, хотя онъ и рассказанъ съ значительнымъ преувеличеніемъ. По словамъ Гріуа, ген. Фридериксъ въ Вереѣ приказалъ заколотъ трехъ крестьянъ и бросить въ подожженую избушку. Цитируемый мемуаристъ передаетъ, что Фридериксъ выдѣлялся своей жестокостью — это былъ своего рода французскій Фигнеръ.

<sup>2)</sup> О такомъ же фактѣ разстрѣла дезертировъ передаетъ Куанье. Около Вильно было разстрѣляно 62 испанскихъ стрѣлка.

крещеный народъ обижаютъ» — рассказываетъ соймоновская крѣпостная. Французы (простые солдаты) нерѣдко защищаютъ мѣстное оставшееся населеніе отъ грабительскихъ инстинктовъ, разыгравшихся въ ихъ сотоварищахъ по походу, отъ насилій и бандъ русскихъ грабителей.

Такихъ фактовъ, иногда даже трогательныхъ, можно было бы привести достаточное число. Историки любятъ описывать разнузданность дезорганизованной арміи. Но въ дѣйствительности, если были грабежи, насилія и обманы въ полу-покинутомъ завоеванномъ городѣ, со стороны арміи, у которой подчасъ бывали въ изобиліи прекрасные ликеры, но не хватало хлѣба, то рѣшительно никакихъ «ужасовъ» отмѣчать не приходится. Ужасъ былъ одинъ — это та знаменитая сцена разстрѣла поджигателей, которая такъ ярко изображена Толстымъ и запечатлѣна на картинѣ Верещагина.

Французскій врачъ одинаково, насколько можетъ, несетъ помощь и своему, и чужому раненому. Онъ стоитъ на высотѣ требованія челоуѣчности. У насъ есть въ данномъ случаѣ драгоцѣнное свидѣтельство лица, самого испытывающаго гуманность обращенія съ ранеными. Мы имѣемъ въ виду А. С. Норова, современника, впослѣдствіи съ такой рѣзкостью протестовавшаго противъ «циническихъ словъ» Толстого во имя «оскорбленнаго патріотическаго чувства». Раненый подъ Бородинымъ и оставленный въ Москвѣ онъ испыталъ на себѣ и дружелюбіе французскаго «мародера» и всю тщательную заботливость врача барона Ларрея.

Но вотъ ушли французы, оставивъ вмѣстѣ съ русскими и своихъ раненыхъ. Въ Москву вступаютъ казаки. Авторитетное вмѣшательство Норова спасаетъ французскихъ раненыхъ, сдѣлавшихся уже плѣнниками.

Но уже совсѣмъ иную картину мы видимъ въ Воспитательномъ Домѣ, гдѣ также лежатъ и французскіе и русскіе раненые. Озвѣрѣвшіе казаки, грабившіе и своихъ, и чужихъ, жестоко расправились съ тѣми изъ раненыхъ плѣнныхъ, которые попытались съ оружіемъ въ рукахъ защищаться: они были «изрублены». Здѣсь не помогла попытка охранить несчастныхъ отъ безумной мести. Та же судьба постигла раненыхъ и на частныхъ квартирахъ, гдѣ не нашлось достаточно авторитетнаго вмѣшательства. Быть можетъ, другого и нельзя было требовать отъ грубаго донскаго казака, для котораго каждый французъ былъ «душегубецъ». Но на сцену вскорѣ выступаютъ другіе общественные элементы. Передъ нами просвѣщенный яко бы русскій писатель, московскій генераль-губернаторъ гр. Растопчинъ.

Казалось бы, отъ него можно было требовать проявленія нѣкоторой гуманности къ безоружному раненому врагу. Но вы у него не встрѣтите этой гуманности. Свое свиданіе съ плѣннымъ Газо, начальникомъ обоза главной квартиры Наполеона, «русскій баринъ» закончить «неприличной бранью». Онъ велитъ помѣстить французскихъ раненыхъ въ подземелье и оставить на попеченіе французскихъ врачей. Никто не позаботится о жизненныхъ припасахъ и медикаментахъ для больныхъ. И въ этомъ «подземельи» отъ лишней будетъ умирать по 30 челоуѣкъ. Никто не помѣщаетъ однако гр. Растопчину въ официальныхъ письмахъ рассказывать, какъ плохо приходилось французскимъ раненымъ, когда Наполеонъ



былъ въ Москвѣ. Эти раненые «по четыре дня бывали безъ пищи и такъ много мерли, что изъ 3000 лежавшихъ въ Воспитательномъ домѣ... погребено, или лучше сказать выброшено 2500. Смотрѣнія за больными никакого не было и къ ранамъ прикладываютъ жеваный хлѣбъ».

Съ уходомъ французовъ положеніе раненыхъ настолько улучшилось, что всѣ они, по словамъ Боволье, «погибли отъ ранъ». Выздоровѣвшихъ Растопчинъ прикажетъ частью отправить въ Тверь. Ихъ будутъ конвоировать тѣ самые крестьяне, которыхъ систематически натравливалъ на французовъ Растопчинъ. И всѣ они погибнутъ, по словамъ Водонкура, «отъ холода и нищеты» или будутъ удушены конвойными съ цѣлью воспользоваться одеждами убитыхъ. Остальныхъ заставятъ работать по очищенію Москвы отъ труповъ. И другъ Растопчина, его правая рука Булгаковъ не найдетъ ничего лучшаго сказать: «Пусть околѣваютъ негодяи или искупаютъ свою жизнь тяжелой и нездоровой работой». Въ своемъ патріотическомъ ослѣпленіи онъ съ какимъ-то животнымъ злорадствомъ будетъ констатировать: «Воспитательный домъ цѣль; тамъ околѣваетъ ежедневно человѣкъ по пятидесяти французовъ».

Такъ было въ мирной уже Москвѣ. Такъ было нерѣдко и въ другихъ мѣстахъ. Перенесемся въ Тамбовъ — городъ далекій отъ театра военныхъ дѣйствій. Здѣсь нѣтъ той ненависти, которая вызывается непосредственнымъ соприкосновеніемъ съ врагомъ. И что же пишетъ въ частномъ письмѣ Волкова 18-го ноября: ежедневно проводить плѣнныхъ, они «крайне дерзки», такъ что губернаторъ «человѣкъ очень порядочный обращается съ ними, какъ съ *собаками*». Вѣроятно, положеніе плѣнныхъ дѣйствительно было ужасно, если пришлось вмѣшаться въ дѣло Кутузову и предлагать измѣнить систему обращенія съ плѣнными, ибо «жестокое обращеніе съ безоружнымъ врагомъ не согласно съ русскимъ характеромъ».

Къ сожалѣнію, послѣдняя красивая фраза далеко не всегда найдетъ себѣ подтвержденіе. Недаромъ французскимъ военначальникамъ не разъ приходилось жаловаться самому Кутузову на варварское обращеніе съ плѣнными, нарушавшее военные традиции. Передаютъ и слова, сказанныя Кутузовымъ въ отвѣтъ: онъ не въ силахъ сдержатъ ожесточеніе русскаго народа. Однако, какъ мы видѣли, это ожесточеніе проявляется не только на театрѣ военныхъ дѣйствій и не только со стороны темной крестьянской массы, но и среди яко бы просвѣщенныхъ представителей общества; тамъ, гдѣ эта безчеловѣчность, по справедливому замѣчанію Сегюра, не могла оправдаться «крайнею вынужденностью». На войнѣ всякая жестокость находила себѣ оправданіе въ цѣлесообразности. Такой гуманный въ сущности человѣкъ, какъ Винцегероде, о которомъ декабристъ кн. С. Г. Волконскій въ своихъ запискахъ далъ самый лучший отзывъ, и тотъ сгоряча могъ воскликнуть, что Наполеонъ не взорветъ Москвы: «я далъ ему знать, что если хоть одна церковь взлетитъ на воздухъ, то всѣ попавшіеся намъ въ плѣнъ французы будутъ повѣшены». Конечно, вспыльчивый, но справедливый Винцегероде, никогда бы въ дѣйствительности не допустилъ этой жестокой расправы надъ лицами, неповинными въ распоряженіяхъ Наполеона; онъ не допустилъ бы этой бессмысленной мести. То была лишь угроза съ цѣлью воздѣйствовать на противника. Но можно не сомнѣваться, что будь на мѣстѣ Винцегероде Фигнеръ,



всѣ подобныя угрозы были бы осуществлены на дѣлѣ. Партизанъ Давыдовъ передаетъ характерный разговоръ, происшедшій у него при свиданіи съ Фигнеромъ. «Едва узналъ онъ (Фигнеръ) о моихъ плѣнныхъ — рассказываетъ Давыдовъ — какъ поспѣшилъ ко мнѣ съ просьбой позволить *растерзать*(?) ихъ какимъ то *новымъ* казакамъ, еще, по его мнѣнію не *направленнымъ*. Давыдовъ не согласился, высказавъ пожеланіе, чтобы въ русской арміи было бы побольше славныхъ, но великодушныхъ воиновъ. «Развѣ ты не разстрѣливаешь? — возразилъ Фигнеръ. — «Да, разстрѣлялъ двухъ измѣнниковъ отечества, изъ которыхъ одинъ былъ грабитель храма Божьяго». — «Вѣдь ты разстрѣливалъ плѣнныхъ? — «Никогда, вели хотъ тайно разспросить о томъ моихъ казаковъ». — «Ну такъ походимъ вмѣстѣ, и ты, вѣрно, бросишь эти *«предразсудки»*. Итакъ *«предразсудки»*. Прочтеъ дальше рассказъ Давыдова и мы увидимъ, какъ самъ Давыдовъ приказываетъ сжечь сарай, гдѣ заперлась сотня французовъ. И этотъ сарай сжигается вмѣстѣ съ французами.

Историки, рассказывая о звѣрскихъ жестокостяхъ войны двѣнадцатаго года, любятъ ссылаться на «грубость и фанатизмъ народа», въ борьбѣ съ которымъ были безсильны и Александръ и Кутузовъ.

Генераль Вильсонъ, видя какъ плѣнныхъ раздѣвають до нага, заставляютъ идти въ таксмъ видѣ колоннами или оставляютъ на произволъ и забаву крестьянамъ, обратился къ самому императору съ просьбой принять какія-либо мѣры къ облегченію участи несчастныхъ. Это обращеніе не принесло реальныхъ результатовъ. Вильсонъ самъ видѣлъ, какъ вел. кн. Константинъ нанесъ смертельный ударъ голому плѣннику по его собственной просьбѣ. Докторъ Руа, взятый въ плѣнъ при Березинѣ, рисуетъ не менѣе жестокую картину. Онъ рассказываетъ, какъ плѣнныхъ ведутъ при 28° мороза, не заходя въ деревни изъ боязни заразить больничной лихорадкой. Эти полуодѣтые плѣнные на бивуакахъ «примерзали къ землѣ». Половина ихъ гибла на дорогѣ. Ихъ трупы сжигали и при этомъ иногда случалось, что «въ огонь бросали людей еще не испустившихъ послѣдняго дыханія. Оживая на мгновеніе отъ неимоверной боли, эти несчастные, заживо сжигаемые, оканчивали свою агонію въ невѣроятныхъ крикахъ»...

Въ періодъ всего отступленія наибольшія жестокости совершали казаки; они нападали на отставшихъ, безоружныхъ и раненыхъ, внушая паническій ужасъ всѣмъ тѣмъ, которые выбились изъ рядовъ арміи. Сегюръ, Марбо, Де-ла Флизъ, жена Домерга и всѣ, кто только писалъ свои воспоминанія о 1812 годѣ, рисуютъ грубыя сцены убійства казаками раненыхъ и плѣнныхъ прежде всего съ цѣлью грабежа. Ихъ привлекали и брошенныя повозки, и грязныя лохмотья умирающихъ французовъ. Они раздѣвали отсталыхъ и плѣнныхъ и заставляли ихъ голыми идти по снѣгу<sup>1)</sup>.

И не только французы, но русскіе очевидцы передаютъ аналогичныя сцены. Рассказывая объ ужасахъ при Березинѣ, адмираль Чичаговъ говоритъ въ своихъ запискахъ: «потрясающая картина бѣдствій непріятеля не производила большого впечатлѣнія на нашихъ казаковъ, которые только и думали какъ бы воспользо-

<sup>1)</sup> «Въ сущности, эти импровизированныя, жаждавшія грабежа войска — замѣчаетъ про казаковъ Тиріонъ — не представляли ничего опаснаго, такъ какъ малѣйшее сопротивление ихъ останавливало и обращало въ бѣгство, а цѣлью ихъ была не борьба, а только добыча».

ваться случаемъ поживиться... Мои казаки вытаскивали изъ рѣки тѣла и обирали платье ихъ, часы и кошельки. Такъ какъ этотъ промыселъ не казался имъ довольно выгоднымъ, то они снимали платье съ оставшихся въ живыхъ французовъ».

Но, можетъ быть, довольно всѣхъ этихъ ужасовъ.

Историкъ, изображающій эпоху, описывающій отечественную войну, не можетъ обойти ихъ молчаніемъ. Вотъ почему геніальная по художественнымъ своимъ достоинствамъ эпопея Толстого не можетъ быть точнымъ отраженіемъ тогдашней дѣйствительности. Вѣроятно, въ нашемъ изложеніи краски иногда сгущены. Черная траурная рама смягчится, когда мы на ряду со всѣми жестокостями войны, отмѣтимъ и другія черты, проявленныя тѣмъ же самымъ народомъ, когда мы постараемся отыскать объясненіе для всѣхъ тѣхъ фактовъ, которые какъ бы оправдываютъ заключеніе Сегюра: «Русскій народъ... не могъ отомстить благородно за свою родину».

Толстой, не остановившійся на описаніи отрицательныхъ сторонъ народной войны, поскольку онѣ были связаны съ издѣвательствами и жестокостями надъ безоружнымъ врагомъ, далъ зато замѣчательныя картины незлобивости, которая гораздо болѣе присуща народной массѣ, если послѣдняя не инспирируется внѣшней агитаціей. У кого не запечатлѣлся разсказъ объ отношеніи русскихъ солдатовъ къ больному плѣнному французскому офицеру Рембалу и его деньщику Морелю. Припомните то добродушіе, съ которымъ встрѣчаются эти полузамерзшіе, ослабѣвшіе враги; заботливость и жалость, проявленная солдатами пятой роты; упреки за неумѣстную шутку одного изъ товарищей надъ несчастными плѣнниками. Припомните «радостныя улыбки», когда голодный Морель принимался за третій котелокъ каши; припомните «грубый, радостный хохотъ», когда шутникъ плѣсненикъ сумѣлъ уловить мотивъ французской пѣсни, затянутой Морелемъ.

Не стоитъ ли однако эта столь жизненная картина въ какомъ-то роковомъ и непонятномъ противорѣчій со всѣми тѣми фактами ужасовъ, которыя заполняли предшествовавшія страницы? Если у Толстого нѣтъ противорѣчій, то потому только, что имъ затушованы отрицательныя стороны движенія, сдѣлавшаго 1812 г. «великой страницей народной гордости». И тѣмъ не менѣе картина, нарисованная Толстымъ, глубоко жизненна и правдива.

Съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія и облегченія останавливаешься на фактахъ, поистинѣ являющихся свѣтлыми пятнами на мрачномъ фонѣ крови и жестокости войны.

Хочется подчеркнуть разсказы, которые ослабляютъ впечатлѣнія ужаса и раскрываютъ лучшія стороны челоуѣческой души. Эти свѣтлыя пятна были и при отступленіи наполеоновской арміи. Возьмемъ хотя бы разсказъ полковника Комба. Войдя въ крестьянскую избу, онъ наталкивается на мать съ ребенкомъ. Комбъ вспоминаетъ своего маленькаго сына, оставленнаго на далекой родинѣ. Съ нѣжностью ласкаетъ онъ ребенка, пробуждая сочувствіе въ материнскомъ сердцѣ.

Въ это время въ деревнѣ появляются казаки. Неужели мать отдастъ на растерзаніе озвѣрѣлымъ казакамъ того, кто съ такой душевностью и ласкою подошелъ къ ея ребенку? О, нѣтъ! Она спасаетъ Комба и его товарищей. И съ точки зрѣнія многихъ совершаетъ, вѣроятно, антипатріотическій поступокъ.



Можно привести и другіе аналогичные факты добраго отношенія къ раненымъ плѣннымъ и особенно тамъ, гдѣ война не затрагивала непосредственно интересовъ населенія<sup>1</sup>). Эти факты показываютъ, что народная масса подчасъ проявляла несравненно большую гуманность и сердечность къ врагу, переставшему быть таковымъ, чѣмъ нѣкоторые представители тогдашняго образованнаго общества.

На дѣятельность людей, подобныхъ Растопчину, Булгакову и всѣмъ тѣмъ, которые въ своемъ «патріотизмѣ» забывали законы человѣческой совѣсти и морали, должна быть перенесена отвѣтственность за эти безславныя страницы жестокостей, которыя внесла народная эпопея 1812 года въ лѣтописи русской исторіи. Эти дѣятели эпохи не понимали, что здоровый патріотизмъ заложенъ въ народной крови и не нуждается въ искусственныхъ прививкахъ. Не вѣря въ патріотизмъ массы, они считали нужнымъ возбудить его, дѣйствуя на суевѣрныя чувства, на предразсудки — однимъ словомъ «шарлатанствомъ», какъ мѣтко выразился самъ Растопчинъ. Для нихъ патріотизмъ былъ синонимомъ ненависти къ иностранцамъ. Ее-то они и старались пробудить. Та «народная война», которой впослѣдствіи было приписано спасеніе отечества, возбуждала на первыхъ порахъ большое сомнѣніе: ея боялись — боялись «развязать руки», какъ говоритъ современникъ. Боялись, что крѣпостная масса возстанетъ противъ господъ.

Опасность соціальной революціи, какъ показываютъ крестьянскія волненія въ періодъ отечественной войны и въ послѣдующіе годы, несомнѣнно была. Рабъ всегда ненавидѣлъ своего господина. И крестьяне, столь безчеловѣчно справлявшіеся съ врагомъ, съ такимъ же ожесточеніемъ разграбляли помѣщичьи усадьбы, когда представлялась тому возможность. Они же, не менѣе Наполеоновской арміи, содѣйствовали и разграбленію Москвы, что засвидѣтельствовано достаточно чистымъ числомъ показаній русскихъ современниковъ.

Эти разгромы и грабежи однако не были связаны съ пресловутыми наполеоновскими прокламаціями, которыхъ въ дѣйствительности никогда и не было.

Наполеонъ съ полнымъ правомъ могъ сказать въ рѣчи, обращенной къ французскому сенату 20 декабря 1812 года: «Я могъ бы вооружить противъ нея (Россіи) наибольшую часть ея собственнаго народонаселенія, провозгласивъ свободу рабовъ. Но когда я узналъ, въ какой загроубѣлости пребываетъ этотъ многочисленный классъ русскаго народа, я отказался отъ этой мѣры, которою столь многія семейства обрекались на смерть и на самыя жестокія мученія». Быть можетъ, только въ послѣдній моментъ пребыванія въ Москвѣ Наполеонъ искалъ, какъ передаютъ нѣкоторые изъ мемуаристовъ, (напр. Изарнъ) прокламацій Пугачева, чтобы обратиться съ призывомъ къ населенію. Это было послѣднее, запоздалое средство. Призракъ «Наполеона-Пугачева», мерещившійся русскому дворянству въ эпоху отечествен-

---

Французскіе плѣнные свидѣтельствуютъ, что внутри страны они встрѣчали гораздо больше сердечной мягкости со стороны мѣстныхъ крестьянъ. Докторъ Руа рассказываетъ: тѣ, которые «приближались къ нашимъ бивуакамъ, высказываютъ часто намъ сочувствіе, а иногда даже проявляютъ свое расположеніе болѣе реально: простыя крестьянки принесли намъ свое платье, доставляли пищу и даже водку». «Въ Сердобскѣ съ нами обращались скорѣе, какъ съ земляками или друзьями, но не какъ съ плѣнными».



ной войны, не имѣлъ подь собой реального основанія. У Наполеона не было намѣренія «вызвать возстаніе народа противъ дворянства». «Подобный образъ дѣйствій шелъ слишкомъ въ разрѣзъ съ его личными интересами и съ деспотической системой правленія» — говоритъ баронъ Дедемъ. «Наполеонъ долженъ былъ слишкомъ часто подтверждать монархическую систему во Франціи, чтобы приготовить революцію въ Россіи». Наполеонъ не былъ болѣе генераломъ Бонапартомъ, предводителемъ республиканскихъ войскъ: «Императоръ Франціи велъ войну съ императоромъ Россіи».

Дедемъ въ своемъ замѣчаніи въ значительной степени глубоко правъ, что не трудно было бы подтвердить многочисленными фактами<sup>1)</sup>. Но русское дворянство боялось этого постоянно висѣвшаго надъ нимъ призрака Пугачева. Этого призрака боялось въ 1812 году и русское правительство.

Всѣ мѣры принимаются къ тому, чтобы «возстановить умы» противъ Наполеона и тѣмъ «охранить чернь, которая всегда легкомысленна», какъ замѣтила въ одномъ изъ своихъ писемъ Волкова. Одинаково и церковь, и правительство, и дворянскіе публицисты ставятъ единственной своей цѣлью взвинтить народное настроеніе, дѣйствуя на суевѣрные чувства; возбудить безсознательную ненависть къ французамъ и тѣмъ подвинуть народъ на «патріотическіе» подвиги. Въ 1812 году это входитъ въ такую моду, что находится даже ученый, дерптскій профессоръ Гецель, который истолковалъ два мѣста въ Апокалипсисѣ и въ числѣ звѣриномъ открылъ имя антихриста — Наполеона. Свое изысканіе онъ предлагалъ Барклаю распечатать въ арміи «для усугубленія бодрости духа русскаго воинства».

Синодъ, объявляя Наполеона антихристомъ, слѣдовалъ по тому же пути; въ томъ же духѣ дѣйствуетъ и гр. Растопчинъ, старавшійся своими крикливыми афишами, написанными, по выраженію Толстого, на «ерническомъ языкѣ», возбудить челоуѣконенавистническія чувства въ низахъ московскаго населенія. Саморекламная дѣятельность гр. Растопчина, объявившаго впослѣдствіи себя «спасителемъ отечества», наиболѣе, пожалуй, хара́ктерна въ данномъ случаѣ. Гр. Растопчинъ, по словамъ современника Рунича, «спасъ Россію отъ ига Наполеона»: онъ «разжегъ народную ненависть тѣми ужасами, которые онъ приписывалъ иностранцамъ». Утѣшая себя и другихъ тѣмъ, что «вольности у насъ никто не хочетъ», что о «вольности лишь изрѣдка толкуютъ пьяницы», Растопчинъ однако весьма не довѣрялъ «вѣрнымъ и добрымъ подданнымъ». Взявъ на себя миссію демагога, толкуя о томъ, что онъ съ «молодцами московскими» защититъ столицу отъ Наполеона, Растопчинъ болѣе всѣхъ боялся вооруженнаго народа. «Русскому барину», какъ именовалъ самъ себя Растопчинъ, повсюду мерещится революція и бунтъ крѣпостныхъ.

Московское населеніе на первыхъ порахъ отнюдь не проявляетъ того «патріотизма», котораго хотѣлось бы видѣть Московскому властелину, поставленному въ Москвѣ со специальнымъ назначеніемъ возбудить патріотическій духъ. Для

<sup>1)</sup> Любопытно, что въ Битебскѣ французы посылали даже летучіе карательные отряды для усмиренія крестьянскихъ беспорядковъ: Мѣстный интендантъ маркизъ Пасторе весьма жаловался на агентовъ революціи, подстрекавшихъ къ бунту.

него патриотизм долженъ проявляться въ ненависти ко всему иностранному. Низы московскаго населенія стояли въ этомъ отношеніи гораздо выше своего руководителя. Народная масса инстинктивно угадывала всю фальшь растопчинской демагогии. И когда Растопчинъ возбуждалъ пылъ народный своими афишами и грубыми юмористическими лубками, то, по словамъ одного изъ наблюдателей, возбуждалъ лишь «презрѣніе» къ себѣ: «чернь неизвѣстно за что питала къ нему величайшую ненависть». Когда Растопчинъ натравливалъ населеніе на мирныхъ иностранцевъ въ Москвѣ, онъ не достигалъ цѣли<sup>1)</sup>. Факты показываютъ намъ, что народная масса отличалась большимъ психологическимъ чутьемъ, и «нелѣпыя прокламаціи, въ которыхъ французы представлялись людоѣдами» мало способствовали возбужденію черни, которой такъ боялся гр. Растопчинъ. Онъ безсиленъ былъ пробудить «патриотизмъ» (тотъ, который желалъ видѣть Растопчинъ) въ то время, когда непріятель непосредственно не сталкивался съ населеніемъ, не затрагивалъ его интересовъ, и, какъ мѣтко охарактеризовалъ Толстой, онъ напоминалъ собою мальчика, который «старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать теченіе громаднаго, уносившаго его власть съ собой народнаго потока». Три мѣсяца «спаситель отечества» подготовлялъ народное вооруженіе, возбуждая въ населеніи «патриотическую ненависть» къ французамъ. И всѣ его грубыя выходки и издѣвательства надъ мирными иностранцами возбуждали въ массѣ только чувство недоумѣнія и неодобренія. Л. Н. Толстой нарисовалъ замѣчательную картину того чувства, которое вызвало въ московскомъ населеніи зрѣлище торговой казни, которой подвергъ Растопчинъ своего повара, — француза: «J'ai fait naturaliser russe mon chef de cuisine» — грубо острилъ по этому поводу московскій балагуръ. И когда по окончаніи экзекуціи толстый чело-вѣкъ съ рыжими бакенбардами, въ синихъ чулкахъ и зеленомъ камзолѣ вдругъ заплакалъ, «толпа громко заговорила, какъ показалось Пьеру для того, чтобы заглушить въ самой себѣ чувство жалости». Одинъ лишь сморщенный приказный попробовалъ съострить. «Приказной оглянулся вокругъ себя, видимо, ожидая оцѣнки своей шутки. Нѣкоторые засмѣялись, нѣкоторые испуганно продолжали смотрѣть на палача, который раздѣвалъ другого».

Это слово «испугъ», пожалуй, лучше всего можетъ охарактеризовать впечатлѣніе отъ растопчинскихъ экзекуцій.

---

<sup>1)</sup> Яркое подтвержденіе даетъ исторія путешествія по Москвѣ рѣкъ знаменитой «хароновской барки», на которой Растопчинъ въ августъ отправилъ 40 московскихъ иностранцевъ въ Нижній-Новгородъ, яко бы для того, чтобы спасти ихъ отъ «народной ярости». Въ дѣйствительности это была одна изъ тѣхъ патриотическихъ буфонадъ, которая такъ любила крикливый московскій генераль-губернаторъ. Мирные иностранцы, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ плывшіе по рѣкѣ, выходившіе на берегъ подъ прикрытіемъ двухъ ветерановъ и встрѣчавшіеся съ крестьянами, почти нигдѣ не встрѣчали враждебнаго отношенія. И чѣмъ дальше отъ Москвы (по мѣрѣ того, какъ народъ становился «свободнымъ» отъ непосредственнаго вліянія нелѣпыхъ прокламацій, которая представляли французовъ людоѣдами — говорить Домергъ), путешественники встрѣчали все болѣе и болѣе добродушное отношеніе. (См. мою статью «Растопчинъ — московскій главнокомандующій» въ IV т., «Отечественная война и русское общество» подъ редакціей Исторической Комиссіи Учебнаго Отдѣла О. р. т. зн.).

Растопчинъ не могъ оказать вліянія на народное чувство потому, что, скажемъ вновь словами Толстого, «не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о томъ народѣ, которымъ думалъ управлять. Ему лишь казалось, что онъ руководилъ настроеніемъ жителей, посредствомъ своихъ воззваній и афишъ, писанныхъ тѣмъ ерническимъ языкомъ, который въ своей средѣ презираетъ народъ и который онъ не понимаетъ, когда слышитъ его сверху».

Растопчинъ былъ безсиленъ поднять «патріотизмъ», который онъ видѣлъ только въ челоуѣконенавистничествѣ. Результатъ всей его демагогической дѣятельности могъ проявиться единственно лишь въ той разнузданности полупьяной толпы, на половину состоявшей изъ колодниковъ, которой ознаменованы послѣдніе часы въ Москвѣ передъ вступленіемъ въ нее наполеоновской арміи. Наэлектризованная ожиданіемъ и увѣреніями, что «злодѣй» никогда не вступитъ въ Москву, эта толпа явилась на растопчинскій дворъ съ призывомъ къ отвѣту московскаго главнокомандующаго. И тотъ, трусливо спасаясь съ задняго крыльца, отдалъ на растерзаніе пьяной толпы невиннаго Верещагина, какъ измѣнника родины, проведшаго наполеоновскія полчища къ стѣнамъ первопрестольной столицы. Толпа, возбужденная еще больше произведеннымъ неистовствомъ, или устремляется въ Кремль къ арсеналу, чтобы здѣсь съ оружіемъ въ рукахъ встрѣтить непріятеля, или обращается на грабежъ оставленныхъ домовъ.

Вотъ все, чего достигъ Растопчинъ. Но, чего не сдѣлалъ Растопчинъ, сдѣлалъ московскій пожаръ. Онъ придалъ, какъ замѣчаетъ Домергъ, войнѣ «характеръ народный и религіозный». «Вся Россія — говоритъ тотъ же мемуаристъ — казалось, почерпнула въ этой великой катастрофѣ новую энергію». Съ этого момента растетъ ненависть къ французамъ, поправшимъ какъ бы всѣ лучшія народныя чувства. «Пламя и пепель Москвы, по словамъ ген. Ланженора, воспламенили жаждой мщенія всѣ сердца. Это и убѣждало русскихъ, что Наполеонъ хотѣлъ уничтожить ихъ отечество и вѣру». Пожаръ Москвы — «постыдныя и хищныя дѣла презрѣнныхъ зажигателей», сдѣлался главнымъ агитаціоннымъ средствомъ для возбужденія народной ненависти. И, вѣроятно, когда Денисъ Давидовъ, давалъ «наставленіе» крестьянамъ, какъ обращаться съ «врагами Христовой Церкви», «чадами Антихриста», которыхъ «Богъ повелѣлъ» истреблять; когда Растопчинъ призывалъ къ тому же беспощадному истребленію «гадины заморской» и совѣтовалъ валить «живыхъ и мертвецовъ въ могилу глубокую», когда Растопчинъ грозилъ, что «душѣ» всякаго неисполнившаго этого «быть въ аду» съ злодѣями и горѣть въ огнѣ — вѣроятно въ темной невѣжественной средѣ подобные варварскіе призывы должны были находить откликъ<sup>1)</sup>. И мы видимъ, какъ дѣйствительные факты,

---

<sup>1)</sup> Какіе слухи распространились въ народѣ о французахъ мы можемъ видѣть, между прочимъ, изъ любопытныхъ въ этомъ отношеніи воспоминаній «Очевидца о пребываніи французовъ въ Москвѣ» (Москва 1862). «Мое юное, фантастическое воображеніе — рассказываетъ этотъ очевидецъ — рисовало французовъ не людьми, а какими-то чудовищами съ широкой пастью, огромнымъ клювомъ... Говорили, что французы, предавшись Антихристу, избрали себѣ въ полководцы сына его Аполліона — волшебника... Этотъ чародѣй Аполліонъ имѣетъ жену колдунью, которая заговариваетъ огнестрѣльные орудія и т. д. Офицеръ великой арміи Ложье въ своемъ дневникѣ записываетъ характерный эпизодъ во время пребыванія арміи



описанные выше, какъ бы до точности воспроизводить совѣтъ просвѣщенныхъ «патріотовъ». Именно ихъ проповѣдь, ихъ личные примѣры превращали людей въ какихъ-то остервенѣлыхъ звѣрей.

Но крестьяне убивали не только «идолопоклонниковъ», надругавшихся надъ религіозными святынями, убивали не только «дѣтей Антихриста», они убивали въ то же время «міродеровъ», какъ, по словамъ Ѳ. Н. Глинки, крестьяне называли французскихъ мародеровъ.

Быть можетъ, въ значительной степени правъ былъ Руничъ, записавшій въ своихъ воспоминаніяхъ: «русскій народъ воевалъ для того, чтобы истребить хищныхъ звѣрей, пришедшихъ пожрать его овецъ и куръ, опустошить его поля и житницы». Надо помнить, что отступленіе Наполеона далеко не походило на первый періодъ войны. Тогда боролись съ мародерствомъ, пытались въ завоеванныхъ областяхъ ввести организацію, охранить интересы крестьянства. Не то уже было при отступленіи. «Злодѣи, — говоритъ въ своихъ запискахъ Золотухина — къ выступленію изъ Москвы сдѣлались еще злѣе, истребляли огнемъ всѣ попадавшіеся имъ на пути деревни и города». Повинна въ этомъ была не только дезорганизація, охватившая армію, но и бессмысленная месть, столь пагубно отозвавшаяся на самой арміи.

«Отнынѣ — говоритъ Сегюръ — все, что оставалось позади французовъ, должно предаваться огню. Въ качествѣ завоевателя Наполеонъ сохранялъ все; отступая онъ будетъ уничтожать все: изъ необходимости ли, пользуясь которой онъ разорялъ непріятеля и замедлялъ его движенія, или изъ возмездія».

Это озлобленіе на «міродерство», т.-е. матеріальные интересы, должны были играть важную роль въ интенсивности народной войны. И должно отмѣтить, что жестокости были только тамъ, гдѣ приходилось становиться лицомъ къ лицу къ врагу, опустошавшему «поля и житницы».

Угаръ мести долженъ былъ однако пройти. Совершенныя звѣрства должны были мучить совѣсть: французъ, хоть и «врагъ», но «все же человѣкъ». У насъ есть замѣчательный разсказъ современника, говорящій объ этихъ мученіяхъ совѣсти въ той некультурной, суевѣрной массѣ, которую «натравливали» на враговъ, рисуя ихъ людоедами, убійцами, дикими звѣрями.

Крестьянинъ, рассказывая проѣзжему чиновнику на постояломъ дворѣ, какъ въ деревнѣ они зарывали въ яму живыхъ французовъ, все время попытывался: можно ли было въ дѣйствительности убивать французовъ: «оно точно того, если бы онъ на тебя съ ножомъ лѣзъ, ничего бы».

---

въ Москвѣ. Въ одну изъ поѣздокъ за фуражемъ онъ наткнулся въ лѣсу на священника съ группой крестьянъ, весьма подозрительно отнесшихся къ италіянцу, но отношеніе измѣнилось, когда крестьяне узнали, что Ложье христіанинъ, и, въ концѣ концовъ, они посоветовали Ложье скорѣе уѣхать, такъ какъ въ окрестности находятся казаки Иловайскаго. Аналогичные факты можно отмѣтить и при отступленіи. Это даетъ поводъ Де-ла Флизу сказать: «народъ бѣжалъ отъ насъ, потому что никто не умѣлъ обойтись съ нимъ» (мало, конечно, помогали ручные словари, бывшіе въ употребленіи у арміи, въ которыхъ говорилось, съ какими словами надо обращаться къ населенію: напр.: «Господинъ мужикъ, я алкаю»). Въ отрядѣ Де-ла Флиза былъ полякъ, знавшій русскій языкъ, при помощи котораго удалось переговорить съ крестьянами и получить пищу.



Отъѣздъ Наполеона изъ Россіи  
(Барельефъ Гильона)

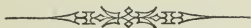




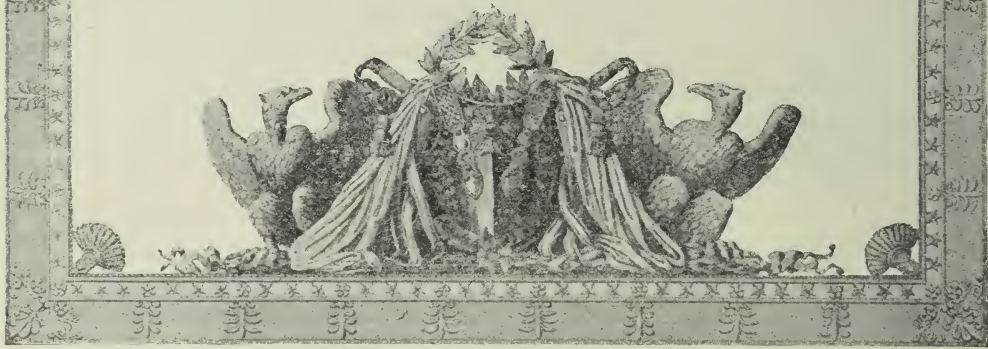
У крѣпостного раба пробуждалось чувство человѣчности, неудовлетворенности и сожалѣнія за всѣ тѣ звѣрства, которыя были совершены въ періодъ войны. Но это чувство не пробуждалось у такихъ «патріотовъ», какъ графъ Растопчинъ.

По возвращеніи своемъ въ Москву, онъ собиралъ портреты подмосковныхъ крестьянъ, которые больше всѣхъ убили непріятелей. На память потомству Растопчинъ мечталъ запечатлѣть въ картинѣ свои подвиги, и знаменитому Витбергу чуть не пришлось сдѣлаться исполнителемъ этой мысли. Но этотъ памятникъ, былъ бы только памятникомъ «подвиговъ» гр. Растопчина, — памятникомъ его «патріотизма», памятникомъ того, что онъ «вписалъ нѣсколько страницъ ненужныхъ жестокостей въ русскую исторію». Народная память не будетъ гордиться подобными подвигами. Историкъ сниметъ съ ея совѣсти это пятно.

*С. Мельгуновъ.*



## ВЛІАНІЕ ВОЙНЫ 1812 Г. НА ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ РОССІИ.



Въ октябрѣ 1812 года Батюшковъ писалъ Гнѣдичу: «Ужасные поступки вандаловъ или французовъ въ Москвѣ и въ ея окрестностяхъ — поступки безпримѣрные и въ самой исторіи, вовсе разстроили мою маленькую философію и поссорили меня съ человѣчествомъ». Слова Батюшкова могло бы повторить большинство его современниковъ: они тоже были въ ссорѣ съ человѣчествомъ и переживали разстройство «своей маленькой философіи». Война противъ Франціи въ 1812 году справедливо называется «народной» войной, такъ какъ велась не только правительствомъ, не только войскомъ, но и народомъ, для котораго была ясна и близка его интересамъ цѣль войны — необходимость изгнать французовъ изъ Россіи. Вслѣдствіе этого война 1812 г. всколыхнула народную массу, вызвала большой общій подъемъ разнообразныхъ чувствъ и была чревата послѣдствіями. Но, конечно, на различныхъ слояхъ населенія война 1812 года отразилась неодинаково: социальное положеніе, уровень культуры, чисто индивидуальныя черты характера и т. п., — все это разслоило массу населенія и до безконечности разнообразно преломляло въ ея психологіи событія 1812 года и годовъ послѣдующихъ, съ нимъ тѣсно связанныхъ. Намѣтимъ, такъ сказать, основныя черты настроеній, созданныхъ борьбой съ Наполеономъ.

Обыкновенно 1812 годъ характеризуется, какъ годъ героизма и самопожертвованія, когда на «алтарь отечества» приносилось все, до жизни включительно. Случаевъ героизма въ 1812 году было, дѣйствительно, не мало, что объясняется самымъ характеромъ войны — она была оборонительной. Генераль Раевскій, который, взявши за руки своихъ сыновей-подростковъ, двинулся въ бой во главѣ своихъ войскъ — фигура, засвидѣтельствованная многими современниками. Н. Н. Муравьевъ въ своихъ запискахъ сообщаетъ, что молодые офицеры «увлекались мыслью, что въ бою съ непріателемъ уподобятся героямъ древности, когда каждый могъ ознаменовать себя личною храбростью», а про А. П. Ермолова онъ говоритъ съ его словъ, что тотъ наканунѣ Бородинской битвы читалъ вмѣстѣ

съ гр. Кутайсовымъ, убитымъ въ ней, пѣсни Фингала. Другіе современники сообщаютъ, что многіе молодые чиновники добровольно поступали въ войска, а С. Глинка говоритъ, что къ нему приходили студенты и просили указаній, какъ имъ принести себя въ жертву на алтарь отечества. Поэты разставались съ своими лирами, мѣняя ихъ на сабли. Но съ другой стороны тѣ же современники свидѣлствуютъ, что далеко не всегда поступки, кажущіеся героическими, были таковыми по побужденіямъ, ихъ вызвавшимъ. Тотъ же Муравьевъ говоритъ, что «молодые офицеры мечтали о предстоявшей имъ бивачной жизни и о кочевомъ странствованіи внѣ предѣловъ столицы, *помимо* (т.-е. безъ) *часто-досадливыхъ требованій гарнизонной службы*» (курсивъ нашъ); про своего дальняго родственника Лунина, собиравшагося убить Наполеона, пробравшись къ нему въ качествѣ парламентаря, онъ говоритъ: «Но думаю, не изъ любви къ отечеству онъ сдѣлалъ бы это, а съ цѣлью пріобрѣсти историческую извѣстность». Пріемъ Александромъ I въ іюлѣ 1812 года въ московскомъ Слободскомъ дворцѣ дворянства и купечества изображается обыкновенно какъ одинъ изъ самыхъ яркихъ моментовъ въ проявленіи тогдашняго героизма: представители дворянства выразили тутъ желаніе выставить добровольно одного ратника съ каждыхъ 25 крестьянъ, но нѣкоторымъ этого показалось мало, и они съ паѳосомъ предложили, неожиданно для большинства, выставить одного ратника съ 10 крестьянъ; купцы же изъявили готовность пожертвовать миллионъ рублей. Таковъ голый фактъ, которому современники даютъ такое освѣщеніе. Растопчинъ въ своихъ запискахъ пишетъ слѣдующее: «Предложеніе фельдмаршала (1 ратникъ съ 25 человекъ) было правильнымъ и разумнымъ; но два первые голоса, усилившіе это предложеніе до десятаго человекъ, исходили изъ двухъ головъ, весьма одна отъ другой отличныхъ. Одинъ изъ этихъ господъ, человекъ чрезвычайно умный, предлагалъ такую мѣру, которая ему ничего не стоила, потому что онъ не имѣлъ помѣстій въ Московской губерніи, — и пустилъ свое предложеніе, какъ пускаютъ какую-нибудь шутку. Другой же господинъ, обладавшій сильными легкими, былъ человекъ низкій, глупый, на дурномъ счету при дворѣ; онъ предложилъ мнѣ свой голосъ изъ-за чести быть приглашеннымъ къ высочайшему столу». «И вотъ, восклицаетъ дальше Растопчинъ, чѣмъ столь часто руководятся собранія, вотъ какъ дѣйствуютъ они, подавая голоса по увлеченію и необдуманно! Газетчики, біографы, сочинители историческихъ романовъ превозносили иного человекъ до небесъ, за какой-либо его поступокъ или слово; а между тѣмъ онъ, можетъ быть, совершивъ этотъ поступокъ или сказавъ это слово, тотчасъ же въ этомъ раскаялся». Что же касается степени готовности къ жертвованіямъ купцовъ, бывшихъ на этомъ пріемѣ, то другой современникъ, Свербеевъ, близкій по родственнымъ связямъ къ московской администраціи, говоритъ объ этомъ такъ: «Въ залѣ, гдѣ собралось купечество, происходило слѣдующее: Обресковъ<sup>1)</sup>, говорившій красно, успѣлъ возбудить пламенную любовь къ отечеству въ нашихъ капиталистахъ и каждого изъ нихъ, смотря по ихъ богатству, приглашалъ сѣсть за столъ, на которомъ лежалъ листъ бумаги для записыванія пожертвованій на алтарь отечества. Для разрѣшенія

<sup>1)</sup> Московскій губернаторъ, дядя Свербеева.



ихъ келебаній и простительной мѣшкотности въ такомъ небываломъ дѣлѣ Обресковъ, сидя надъ ухомъ cadaго, подсказывалъ подписчику тѣ сотни, десятки и единицы тысячъ рублей, какія, по его умозаключенію, жертвователи могъ приносить на этотъ алтарь. Сумма составила огромная<sup>1)</sup>. Разсказъ этотъ достаточно ярко характеризуетъ, насколько «пламенная» была въ тотъ моментъ у купцовъ любовь къ отечеству, но онъ выиграетъ въ своей яркости еще больше, если мы присоединимъ сюда свидѣтельство Бестужева-Рюмина. Онъ говоритъ, что московскіе купцы сейчасъ же по обнародованіи манифеста о созывѣ ополченія (во время пребыванія Александра I въ Москвѣ), неимовѣрно подняли цѣну на оружіе, на которое было большее требованіе; подняли цѣны и другіе купцы, напримѣръ, торговцы съѣстными припасами, о чемъ свидѣлствуютъ и другіе современники. Иногда подписанныя пожертвованія оставалось въ недоимкахъ, а съ другой стороны бывали случаи пожертвованія негодныхъ вещей. Все это плохо вяжется съ «пламенной любовью къ отечеству», тѣмъ болѣе, что сами по себѣ подобные поступки, какъ пожертвованія деньгами или крѣпостными людьми, которыхъ помѣщики-дворяне считали почти что за вещи, отнюдь не относятся къ разряду героическихъ, такъ какъ всякій героизмъ предполагаетъ личную жертву. Прозаическими красками рисуетъ настроеніе дворянства (въ Пензѣ) и Вигель. Онъ говоритъ, что «геройскій жиръ» въ нѣкоторыхъ изъ дворянъ къ осени 1812 г. уже успѣлъ погаснуть, и они охотно воспользовались случаемъ на нѣсколько мѣсяцевъ еще остаться, не покидать родного края — было отсрочено выступленіе второго ополченія; затѣмъ онъ говоритъ: «наши помѣщики покряхтѣли, поморщились, но дѣлать было нечего, принялись опять за наборъ людей и за пожертвованія». Свербеевъ говоритъ, что при образованіи ополченія въ Тульской губерніи, «всякій старался соблюсти свои выгоды; отдавались люди пожилыхъ лѣтъ, не отличнаго поведенія и съ тѣлесными недостатками, допускаемыми, какъ исключеніе, для этого времени въ самыхъ правилахъ о наборѣ ополченцевъ»<sup>2)</sup>. Кромѣ того, дворяне, по его словамъ, охотнѣе поступали въ начальники земской стражи, чѣмъ въ ополченіе, а часто и совсѣмъ уклонялись отъ службы. Какъ говоритъ Пушкинъ въ «Рославлевѣ», «всѣ стали проповѣдывать народную войну, собираясь на долгихъ въ Саратовскія губерніи».

Не больше героизма проявили и представители другихъ сословій. Современники, напримѣръ, съ грустью сообщаютъ, что московскіе священники одни изъ первыхъ покинули Москву при приближеніи французовъ, и населеніе Москвы, больные и раненые, брошенные тамъ, не могли найти утѣшенія отъ своихъ духовныхъ пастырей, умирали безъ исповѣди и причастія. Лишь черезъ 2 недѣли послѣ вступленія въ Москву французовъ въ одной изъ церквей была совершена служба. Поздѣвъ въ письмѣ къ гр. Разумовскому отъ 21 сент. 1812 г. писалъ,

<sup>1)</sup> О томъ, какъ посредствомъ циркуляровъ собирались «патріотическія» пожертвованія въ Нижегородской губерніи, см., напр., статью г. Кабанова въ V т. «Отечественной войны», изд. Сытина.

<sup>2)</sup> То, что Свербеевъ говоритъ о Тульской губ., приложимо ко всѣмъ губерніямъ, гдѣ собирались ополченія. См. объ этомъ официальные данныя въ указанной статьѣ г. Кабанова.

напримѣръ: «попы толпами бѣжали изъ Москвы»; «за день до входа непріятелей въ Москву и наканунѣ не слышно было въ воскресный день колокола ни заутренняго, ни обѣденнаго». О героизмѣ тогдашняго московскаго архіерея гр. Растопчинъ сообщаетъ слѣдующее. Кутузовъ черезъ Растопчина прссиль архіерея, чтобы тотъ отправился къ войскамъ крестнымъ ходомъ, съ образами Богоматери, а чтобы священники пѣли молитвы и кропили войска передъ сраженіемъ. «Сообщеніе это, говоритъ Растопчинъ, пришлось не по вкусу владыкѣ. — «Но куда же я пойду послѣ молебна?» спросилъ онъ меня. — Къ вашему экипажу, отвѣчалъ я, — въ которомъ вы отъѣдете отъ города, ожидая исхода битвы. — «А если она начнется прежде, нежели я кончу? Я, вѣдь, могу попасть въ эту сумятицу и меня могутъ убить». Денежныя пожертвованія духовенства, обладавшаго въ лицѣ хотя бы Троице-Сергіевской или Кіевской лавръ колоссальными средствами, были совершенно непропорціональны его финансовымъ ресурсамъ.

Что касается героизма, проявленнаго крестьянами, то только что цитированный Растопчинъ передаетъ такой фактъ. Около одной изъ московскихъ заставъ было приготовлено около 5 тыс. крестьянскихъ повозокъ для вывоза раненыхъ и больныхъ; около нихъ, *чтобы крестьяне не разбѣжались*, Растопчину пришлось поставить сильный карауль. Свербеевъ говоритъ, что, когда его отецъ объявилъ своимъ крестьянамъ о вступленіи французовъ въ предѣлы Россіи, вызвалъ охотниковъ идти противъ врага и предложилъ сдѣлать пожертвованіе деньгами, то крестьяне послѣ совѣщанія («старики», говоритъ онъ, «были въ слезахъ») собрали 500 рублей, «но охотниковъ, кромѣ Вареоломеевича, ни одного не вызвалось». Это рѣшеніе «простого, здраваго смысла нашихъ крестьянъ отказать всѣмъ до единаго идти въ охотники» Свербеевъ считаетъ очень разумнымъ, такъ какъ, говоритъ онъ, «они еще до объявленія имъ моимъ отцомъ предугадали, что будетъ большой наборъ, и тутъ же заговорили: изъ чего же намъ идти въ охотники? кто похочетъ, тотъ и пойдетъ, когда будутъ набирать, а то, пожалуй, охочіе пойдутъ, а положенныхъ возьмутъ безъ замѣну». Еще одинъ современникъ рассказываетъ, что когда, однажды, среди народа, собравшагося въ Кремлѣ во время пріѣзда въ Москву императора Александра I, разнесся слухъ, что вотъ-вотъ Кремлевскія ворота будутъ заперты, а всѣ находящіеся въ Кремлѣ — записаны въ ополченіе, то началась паника и безпорядочное бѣгство изъ Кремля. Извѣстному патріоту 1812 г. С. Глинкѣ «для *поддержанія и большаго возбужденія* патріотическаго духа въ народѣ» были вручены Растопчинымъ 300 тыс. правительственной субсидіи; «русскій нѣмецъ» Гречъ получилъ съ тою же цѣлью на изданіе «Сына Отечества» 1 тыс. руб. изъ кабинета. Наконецъ, въ цѣляхъ литературной пропаганды опредѣленныхъ чувствъ и настроеній правительство прибѣгло къ помощи иностранныхъ публицистовъ. Такъ подогрѣвался, а иногда и создавался, патріотизмъ современниковъ отечественной войны. Но что эта пропаганда далеко не всегда давала желательные результаты, объ этомъ наглядно свидѣтельствуютъ, напр., дѣла комитета министровъ, относящіеся къ 1812 году: ему неоднократно въ этомъ году приходилось обсуждать вопросы о побѣгахъ рекрутовъ, о массовомъ искалѣченіи среди призванныхъ въ ополченіе и т. п. Извѣстны, кромѣ того, случаи, что богатые крестьяне часто за



деньги нанимали за себя рекрутовъ, не испытывая, очевидно, желанія «положить животь за отечество».

Всѣ приведенныя свидѣтельства современниковъ показываютъ, что говорить о массовомъ героизмѣ примѣнительно къ 1812 году не приходится. Нельзя, повторяемъ, отрицать отдѣльныхъ случаевъ героизма даже высокаго свойства, и мы можемъ повѣрить разсказу Растопчина о какомъ-то гренадерѣ, который не хотѣлъ соглашаться на ампутацію ноги, говоря: «Зачѣмъ вы хотите, чтобы я жилъ? Мнѣ надо умереть, потому что мы не могли отстоять Смоленска», но это отдѣльные случаи, не характеризующіе всю массу. Въ этой послѣдней гораздо сильнѣе были инстинкты самосохраненія и чувства личнаго эгоизма. Не мысль о родинѣ и ея интересахъ была для многихъ первой мыслью при извѣстїи о переходѣ французами русской границы, а мысль о себѣ и своемъ благосостояніи. Страхъ и отчаяніе охватили многихъ помѣщиковъ при этомъ, а инстинктъ самосохраненія вызвалъ чуть не повальное ихъ бѣгство изъ деревень, въ которыхъ на произволъ судьбы и врага оставлялись одни крестьяне. Господство личныхъ интересовъ надъ общими особенно чувствовалось вдали отъ театра военныхъ дѣйствій: тамъ какъ-будто все оставалось по старому, и посторонній наблюдатель никогда не сказалъ бы, что въ это время государство вело громадную войну. Указаніе на этотъ фактъ и его интересное объясненіе мы находимъ въ запискахъ извѣстнаго цензора Никитенка, жившаго тогда вдали отъ полей битвъ. «Странно, говоритъ онъ, что въ этотъ моментъ сильныхъ потрясеній, которыя переживала Россія, не только нашъ тѣсный кружокъ, но и все окрестное общество равнодушно относилось къ судьбамъ отечества... никогда не слыхалъ я въ ихъ разговорахъ ноты теплаго участія къ событіямъ времени. Всѣ, повидимому, интересовались только своими личными дѣлами... Это отчасти могло происходить отъ отдаленности театра войны: до насъ, дескать, врагъ еще не скоро доберется. Но главная причина тому, я полагаю, скрывалась въ апатїи, свойственной людямъ, отчужденнымъ, какъ были тогда русскіе, отъ участія въ общественныхъ дѣлахъ и привыкшимъ не разсуждать о томъ, что вокругъ дѣлается, а лишь безпрекословно повиноваться приказаніямъ начальства». Для войны 1812 года это тѣмъ болѣе характерно, что она была *оборонительной*, когда дѣло шло о защитѣ собственной родины, о борьбѣ за свою независимость и національность. Если и былъ извѣстный подъемъ, стремленіе къ подвигамъ, то они не часто переходили въ желаніе и, тѣмъ болѣе въ дѣйствіе. Въ письмѣ къ Александру I отъ 29 іюня 1812 г. Растопчинъ сообщалъ: «Нѣкоторые офицеры прежней милиціи продолжаютъ носить мундиры и эполеты, подъ предлогомъ дѣятельности. Большая часть ихъ плуты, вооружившіеся по-военному, покинувшіе армію и предпочитающіе выгоду умножать населеніе страны — чести защищать ее». Въ бесѣдѣ съ Александромъ I осенью 1812 г. кн. Волконскій на вопросъ императора, какъ ведетъ себя дворянство, отвѣчалъ: «Государь! Стыжусь, что принадлежу къ нему — было много словъ, а на дѣлѣ ничего». Были случаи героизма, которые Растопчинъ называетъ комическими патріотическими выходками: одна дама, напримѣръ, предложила ему образовать полкъ амазонокъ.



Но не въ осужденіе современниковъ отечественной войны приведены вышеупомянутые факты; ими мы хотимъ только доказать, что война (всякая и всегда), какъ фактъ глубоко антиморальный, не можетъ поднять массы до героизма, возвысить ихъ надъ обыденщиной. Война есть начало по преимуществу разлагающее, а отнюдь не созидющее моральныя цѣнности, а потому и не достойное прославленія.

Но не только отсутствіе героизма въ массахъ можно доказать примѣнительно къ 1812 году; можно доказать многочисленныя проявленія чувствъ совершенно противоположныхъ. И мемуары и письма эпохи отечественной войны постоянно указываютъ на огромное число мародеровъ и дезертировъ въ арміи; частныя извѣстія тутъ вполне сходятся съ официальными. Извѣстно также существованіе мнимо-раненыхъ, вслѣдствіе появленія которыхъ въ Москвѣ были закрыты кабаки, хотя съ другой стороны нельзя отрицать случаевъ, когда раненые послѣ перевязки опять уходили въ строй. Случаи грабежа крестьянами своихъ помѣщиковъ, воровство въ арміи, ополченіи, интендантствѣ и госпиталяхъ, страшныя интриги среди офицерства въ арміи, безчеловѣчное обращеніе съ плѣнными и ранеными, — все это факты, которыми пестрятъ тогдашніе мемуары и письма. Подобные факты возможны, конечно, и въ мирное время, но въ эпоху войны они приобрѣтаютъ какой-то эпидемическій характеръ, и люди самые мирные теряютъ человѣческій образъ; и тутъ уже нѣтъ разницы между оборонительной и наступательной войнами — всякая война разнуздываетъ дурныя инстинкты человѣка. Не представляетъ исключенія въ этомъ отношеніи и война 1812 года. Люди, пережившіе ее, были сильны ненавистью и местью по отношенію къ французамъ. «Мщеніе, и мщеніе было единымъ чувствомъ, пылающимъ у всѣхъ и cadaго», пишетъ въ своихъ запискахъ декабристъ кн. Волконскій. Поклонникъ Франціи, Батюшковъ, писалъ въ 1812 году письма, полныя ненависти къ французамъ. Адмиралъ Шишковъ, проливавшій слезы надъ текстами священнаго писанія, испытывалъ только *ужасъ* при видѣ изувѣченныхъ французовъ; страшная картина дороги, покрытой трупами, не вызвала въ немъ ни состраданія, ни жалости, и онъ не нашелъ ничего лучшаго, какъ вложить (въ своихъ запискахъ) въ уста мертвыхъ французовъ такія слова: «смотрите, какъ казнятся богоотступники, и на мертвыхъ лицахъ нашихъ читайте, съ какимъ мученіемъ вылетала изъ насъ преступная и — о, горе! — не умирающая душа наша».

Тогдашняя печать (и частная и официальная) всячески раздувала это чувство мести: «Сынъ Отечества» ожесточенно преслѣдовалъ Наполеона и французовъ и дико насмѣхался надъ побѣжденнымъ врагомъ, проповѣдуя потомъ даже ненависть къ идеямъ, созданнымъ французской литературой и философіей XVIII в. Вигель эти статьи Греча въ «Сынѣ Отечества» называетъ «бѣшенными». Въ такомъ же духѣ издавался С. Глинкой «Русскій Вѣстникъ». Пресловутыя Теребеневскія карикатуры представляли собой грубую насмѣшку надъ побѣжденнымъ врагомъ, возбуждавшую къ нему ненависть. Одинъ историкъ литературы называетъ ихъ «лестью животнымъ инстинктамъ народа». Французовъ называли подлымъ, низкимъ народомъ, націей комедіантовъ и т. п. И цѣль была достигнута: низкія чувства народа проснулись и современникамъ пришлось

быть очевидцами потрясающих сценъ жестокости и изувѣрства по отношенію къ побѣжденному врагу, и свидѣтелями проявленій чисто зоологической ненависти. Растопчинъ сообщаетъ, напримѣръ, въ своихъ запискахъ, что въ Москвѣ 2 раза составлялся планъ истребленія иностранцевъ, живущихъ тамъ. Однажды къ нему явился зажиточный и старый портной, который «признавался, что потерялъ сонъ и аппетитъ, — что многіе изъ рабочихъ такъ же больны, какъ и онъ, и что они хотятъ французской крови», и что у нихъ 300 сторонниковъ. Нужны были экстренныя мѣры полиціи — у церковныхъ колоколовъ обрѣзали веревки, чтобы предотвратить погромъ. По признанію Вигеля, «въ злобѣ еще не совсѣмъ угасшей (при отступленіи французовъ), никто не подумалъ пожалѣть о тысячахъ несчастныхъ жертвъ, насильно противъ насъ привлеченныхъ». На этой почвѣ ненависти къ Франціи и всему французскому выросталъ своеобразный націонализмъ. Тогдашніе «патріоты» всячески старались показать, что они настоящіе русскіе, и это подчеркиваніе своихъ націоналистическихъ чувствъ принимало подчасъ комическій характеръ. А. Э. Мерзляковъ писалъ послѣ московскаго пожара Э. М. Вельяминову-Зернову, что не можетъ исполнить одной просьбы его домашняго учителя, такъ какъ тотъ «въ письмѣ своемъ употребилъ три слова французскихъ, которыхъ я, говоритъ Мерзляковъ, не могу слышать терпѣливо». С. Глинка въ пылу ненависти къ врагамъ истребилъ свою французскую библіотеку<sup>1)</sup>. По словамъ Вигеля, пензенскія дамы «отказались отъ французскаго языка. Пожертвованіе жестокое! А вышло на повѣрку, что по-русски говорить имъ легче, что на нашемъ языкѣ изъясняются онѣ лучше, и что онѣ весьма способны къ употребленію въ гостинныхъ. Многія изъ нихъ, почти всѣ, одѣлись въ сарафаны, надѣли кокошники и повязки; поглядѣвши въ зеркало, нашли, что нарядъ сей къ нимъ очень присталъ и не скоро съ нимъ разстались». О еще болѣе своеобразномъ проявленіи націоналистическаго патріотизма сообщаетъ Гречъ. Онъ говоритъ, что одинъ петербургскій патріотъ въ отвѣтъ на вопросъ какого-то иностранца въ день празднованія Клястицкаго сраженія, «по какому случаю городъ сегодня иллюминованъ?», ударилъ его по лицу, закричавъ: «Ахъ ты, заморская тварь, измѣнникъ, шпіонъ! Вотъ по какому случаю!» Приведенный въ полицію, онъ сказалъ, что ударилъ бы и самого пристава, если бы тотъ спросилъ его о причинѣ иллюминаціи.

Националистическія тенденціи проникли и въ область экономическихъ отношеній: иностраннымъ товарамъ и купцамъ объявляется бойкотъ, а въ большомъ спросѣ становятся товары русскіе. Какъ говоритъ Пушкинъ въ своемъ «Рославлевѣ», «гостинныя вдругъ наполнились патріотами. Кто высыпалъ изъ табакерки французскій табакъ и сталъ нюхать русскій; кто сжегъ десятокъ французскихъ брошюръ; кто отказался отъ лафита, а принялся за кисляци». Правительство усиленно поддерживало эти націоналистическія тенденціи, осыпая купцовъ знаками милости и вниманія, раздавая награды и отличія за успѣхи въ области торговли и промышленности, а въ 1813 году императоръ Александръ отвергаетъ проектъ таможеннаго тарифа, построеннаго на

<sup>1)</sup> Характерно, однако, что и во время отечественной войны переписка среди высшей знати велась на французскомъ языкѣ.



принципъ свободной торговли, такъ какъ это противорѣчило началамъ поощренія отечественной торговли и промышленности.

Націонализмъ дешеваго сорта, подогрѣтый ненавистью къ вторгшимся врагамъ, скоро, однако, прошелъ, какъ легко и быстро возникъ, и все французское опять быстро вошло въ моду. «Мы только и ожили, говорили многія великссвѣтскія дамы, когда явились къ намъ плѣнные». Растопчинъ возмущался, что «многіе помѣщики въ губерніяхъ взяли въ услуженіе французскихъ солдатъ, забывъ, что руки, подающія имъ пить, грабили и убивали русскихъ, жгли Москву и оскверняли храмы Божіи». «Я слышалъ, говоритъ Гнѣдичъ, какъ молили Бога о спасеніи отечества — языкомъ враговъ Бога и отечества, сохраняя выговоръ во всемъ совершенствѣ», а по словамъ Вигеля, одинъ дамскій портной въ Москвѣ, «дабы попасть въ моду (дѣло было въ 1814 г.), принялъ французское названіе и на вывѣскѣ своей поставилъ: *Ажуръ*». Журналы опять принялись обличать «французоманію», и «Сынъ Отечества» писалъ въ 1813 г.: «какъ будто въ поруганіе стариннымъ обычаямъ нашимъ, купечество, не бреющее бородъ, начало носить родъ французскихъ длинныхъ сюртуковъ, съ отложнымъ какимъ-то воротникомъ... думая, можетъ быть, новымъ симъ одѣяніемъ приблизиться къ обычаямъ образованныхъ народовъ». Въ каждомъ почти домѣ появился «свой французъ» и постоянно слышалась французская рѣчь. На балахъ французы были желанными гостями, и «при свѣтѣ лампъ и люстръ примѣтно началъ гаснуть огонь патріотическаго энтузіазма нашего» (Вигель).

Но націонализмъ болѣе высокаго свойства, основывавшійся на сознаніи собственного достоинства, на чувствѣ народной гордости, на стремленіи къ тому, чтобы *у насъ* было не хуже, чѣмъ *у другихъ*, не исчезъ послѣ 1812 г. Людей съ такимъ націонализмомъ оскорбляло не то, что дамы носятъ французскія платья, а дѣти учатся у французовъ, а то, напримѣръ, что императоръ Александръ послѣ заграничныхъ походовъ отдавалъ иностранцамъ явное предпочтеніе передъ русскими, что Польша получила конституцію, въ то время, какъ въ Россіи продолжалъ господствовать абсолютизмъ, а «вѣрнымъ сынамъ ея», по словамъ Греча, «заплатили варяго-русскими манифестами Шишкова». Характерно также, что, по словамъ декабриста Якушкина, первой причиной образованія тайнаго общества было желаніе «противодѣйствовать нѣмцамъ, находящимся на русской службѣ». Націонализмъ такого рода боролся не со шляпками и платьями французскими, даже не съ книгами и идеями, идущими съ Запада, онъ боролся съ *рабскимъ* подражаніемъ всему иностранному и призывалъ обратиться къ родной дѣйствительности, къ ея изученію. Въ искусство, въ литературу мало-по-малу проникаетъ начало народности, и литература довольно быстро пріобрѣтаетъ національный характеръ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, но сама война 1812 г. никого изъ современниковъ не вдохновила на созданіе истинно-художественнаго произведенія (наоборотъ, по словамъ одного историка литературы, «никогда, кажется, наша литература не была наполнена такимъ челоѣконенавистничествомъ, злобой и проклятіями, жестокими призывами, какъ въ концѣ 1812 года и въ послѣдующіе мѣсяцы»). Такой націонализмъ, связанный съ чувствомъ народной гордости, основывался на пробудившемся сознаніи національнаго достоинства и не пріобрѣталъ характера



кичливой заносчивости. Этим страдалъ какъ разъ націонализмъ перваго рода; его лозунгомъ было — «шапками закидаемъ», а наиболѣе яркимъ выразителемъ — гр. Растопчинъ съ его «афишами», призывавшими народъ съ вилами-тройчатками идти противъ французскихъ ружей и пушекъ. Въ этомъ отношеніи характерно признаніе адм. Шишкова въ его запискахъ по поводу успѣховъ Наполеона въ Германіи: «*привычка*, — говоритъ онъ (курсивъ нашъ), — послѣ совершеннаго разгромленія войскъ его въ Россіи воображать силы его ничтожными, дѣлала сіе гордое движеніе его для меня несноснымъ». Вигель говорилъ, что «источникомъ благоденствія Европы, будущаго ея спокойствія» является Россія, и предвидѣлъ созданіе русской Иліады, способной затмить Иліаду грековъ.

Но этимъ не исчерпывается вліяніе войны 1812 года на духовную жизнь Россіи: оно обнаруживается еще въ цѣломъ рядѣ теченій. Прежде всего современники отечественной войны не могли не остановиться на причинахъ полной неудачи Наполеоновскаго похода въ Россію. Какъ было объяснить то, что замѣчательный полководецъ, многими признаваемый геніемъ, съ арміей, превышающей численностью русскую, вывелъ обратно изъ Россіи едва какихъ-нибудь 20 тысячъ солдатъ? Люди мистическаго настроенія дали быстрый и короткій отвѣтъ: «Рука Всевышняго отечество спасла». На разные лады эта мысль повторяется у многихъ современниковъ отечественной войны. Все, по ихъ мнѣнію, было необычайно, неожиданно и чудесно, и во всемъ видна воля Провидѣнія. Шишковъ, описывая картину дороги, по которой отступали французы, говоритъ въ своихъ запискахъ: «Кто не познаетъ въ томъ праведнаго гнѣва Божія, карающаго смертныхъ, когда они, превзойдя беззаконіями своими мѣру милосердія Господня, ополчаютъ десницу Его громомъ и молніями». По словамъ Вигеля, «вездѣ и во всемъ было чувствуемо присутствіе чего-то невидимаго и всесильнаго. Я почти увѣренъ, говоритъ онъ, что Александръ и Кутузовъ Его прозрѣли, и что даже самому Наполеону блеснулъ гнѣвный ликъ его», а С. М. Танѣевъ писалъ 4 февраля 1813 г. Аракчееву: «По мнѣнію моему кажется мнѣ, что Наполеонъ подружился съ сатаною, противъ чего надобно имѣть большое ополченіе вѣры». Такіе люди, какъ Поздѣевъ, склонны были видѣть въ нашествіи французовъ съ одной стороны вліяніе преобразованій, бывшихъ результатомъ философіи XVIII в., а съ другой — кару Бога. Шишковъ договорился до того, что своимъ литературнымъ противникамъ приписывалъ желаніе видѣть Москву сожженной, и находилъ, что они ведутъ Россію къ гибели. Въ 1813 году онъ писалъ одному пріятелю: «Вы знаете, какъ господа *Вѣстники* и *Меркуріи* (это тогдашніе журналы) противъ меня возстали... Они упрекали меня, что я хочу ниспровергнуть просвѣщеніе и всѣхъ обратить въ невѣжество... Тогда (въ 1803—5 гг.) они могли такъ вопіять, надѣясь на великое число зараженныхъ симъ духомъ, и тогда долженъ я былъ поневолѣ воздерживаться; но теперь я бы ткнулъ ихъ носомъ въ пепель Москвы и громко имъ сказалъ: вотъ чего вы хотѣли! Богъ не наказалъ насъ, но послалъ милость свою къ намъ, ежели сожженные города наши сдѣлаютъ насъ русскими». Часто люди, совершенно противоположнаго образа мыслей, воспитанные именно въ духѣ философіи XVIII в., подъ вліяніемъ событій 1812 г., впадали въ мистицизмъ. Яркимъ примѣромъ такого перелома въ настроеніи можетъ служить самъ императоръ Але-

ксандръ I, который говорилъ, что пожаръ Москвы просвѣтилъ его душу. «Гибель Москвы, говоритъ Шильдеръ, потрясла Александра до глубины души; онъ ни въ чемъ не находилъ утѣшенія и признавался товарищу своей молодости, кн. А. Н. Голицыну, что ничто не могло разсѣять его мрачныхъ мыслей». Голицынъ, который незадолго передъ тѣмъ самъ сталъ читать библію, «робко предложилъ Александру почерпнуть утѣшеніе изъ того же источника. Государь ничего не отвѣтилъ, но черезъ нѣсколько времени, придя къ императрицѣ, спросилъ, не можетъ ли она дать ему почитать библію... Потомъ онъ ушелъ къ себѣ, принялся читать и почувствовалъ себя перенесеннымъ въ новый для него кругъ понятій. Онъ сталъ подчеркивать карандашомъ всѣ тѣ мѣста, которыя могъ примѣнить къ своему собственному положенію, и когда вновь перечитывалъ ихъ, ему казалось, что какой-то дружескій голосъ придавалъ ему бодрости и разсѣивалъ его заблужденія...» «Пожаръ Москвы освѣтилъ мою душу и наполнилъ мое сердце теплотою вѣры, какой я не ощущалъ до тѣхъ поръ. Тогда я позналъ Бога», говорилъ онъ потомъ пастору Эйлерту.

Мистическое настроеніе императора вполнѣ раздѣлялось его государственнымъ секретаремъ адм. Шишковымъ, замѣнившимъ Сперанскаго. Наивный и суевѣрный, Шишковъ въ самыхъ простыхъ фактахъ и явленіяхъ готовъ былъ усмотрѣть предзнаменованіе. Описывая свой переѣздъ изъ Твери въ Петербургъ въ концѣ іюля 1812 г. онъ говоритъ: «На пути видѣлъ я удивившее меня явленіе: день былъ ясенъ; на чистомъ небѣ примѣтны были только два облака, изъ которыхъ одно имѣло точное подобіе рака съ головою, хвостомъ, протянутыми лапами и разверстыми клешнями; другое такъ похоже было на дракона, какъ бы на бумагѣ нарисовано. Увидя ихъ, я удивился такому ихъ составу и сталъ смотрѣть на нихъ пристально. Они сближались одно съ другимъ и когда голова дракона сошлась съ клешнями рака, то оно стало блѣднѣть, распускаться, и облако потеряло свой прежній видъ. Казалось, ракъ побѣдилъ дракона, и не прежде какъ минутъ черезъ пять и самъ разрушился. Сидя одинъ въ коляскѣ, долго размышлялъ я: кто въ эту войну будетъ ракъ, и кто драконъ? На послѣдокъ пришло мнѣ въ голову, что *ракъ* означалъ *Россію*, поелику оба сии слова начинаются съ буквы *P*, и эта мысль утѣшала меня во всю дорогу». Переѣзжая потомъ въ Германіи въ 1813 г. изъ одного мѣстечка въ другое и имѣя довольно свободнаго времени, говоритъ Шишковъ въ своихъ запискахъ, занимался я чтеніемъ священныхъ книгъ, и находя въ нихъ разныя описанія и выраженія, весьма сходныя съ нынѣшнею нашею войною, сталъ я, не перемѣняя и не прибавляя къ нимъ ни слова, только выписывать и сближать ихъ одно съ другимъ. Изъ сего вышло полное, и какъ бы точно о нашихъ военныхъ дѣйствіяхъ сдѣланное повѣствованіе». Далѣе Шишковъ сообщаетъ, что эти выписки, носившія заглавія: «Вшествіе врага въ царство и гордый помысль его», «Разореніе Іерусалима», «Гласъ съ небеси», «Паденіе кипариса» и проч., онъ «находилъ толь ясно и подробно описующими всѣ происходившія съ нами приключенія, что бывши послѣ съ докладами у Государя, попросилъ позволенія прочитать Ему сии сдѣланныя мною выписки. Онъ согласился и я прочиталъ ихъ съ жаромъ и со слезами. Онъ также прослезился, и мы оба съ Нимъ въ умиленіи сердца довольно поплакали». Въ виду



этого понятно присутствіе мистическихъ нотъ во всѣхъ манифестахъ 1812—16 гг., писанныхъ Шишковымъ и почти безъ измѣненій одобрявшихся Александромъ I; понятна и надпись на медали въ память 1812 года: «Не намъ, не намъ, Господи, а имени Твоему». Мистики стали смотрѣть на Александра, какъ на орудіе промысла Божія, во всѣхъ его дѣйствіяхъ видѣли указующій перстъ Божій. Такъ же склоненъ былъ смотрѣть на себя и самъ императоръ, что отразилось на всѣхъ его дѣйствіяхъ въ области какъ внутренней, такъ и внѣшней политики. Въ послѣдней, по словамъ Шильдера, Россія съ 1816 года вступила на путь апокалиптической, такъ какъ «отнынѣ въ дипломатическихъ документахъ... вмѣсто ясно преслѣдуемыхъ политическихъ цѣлей встрѣчаются уже темныя толкованія о геніи зла, побѣжденномъ Провидѣніемъ, о глаголѣ Всевышняго, о словѣ жизни»...

Въ связи съ установленіемъ взгляда на императора, какъ на орудіе Промысла Божія, нельзя не отмѣтить роста роялистскихъ чувствъ. Многіе изъ мемуаристовъ разныхъ лагерей свидѣтельствуютъ, что популярность Александра I въ 1812—15 гг. достигла своего апогея, что онъ былъ дѣйствительно любимъ народомъ, на него возлагались самыя разнообразныя надежды: одни видѣли въ немъ сокрушителя «гидры» революціи, другіе смотрѣли на него, какъ на борца за свободу и независимость народовъ, но и тѣ и другіе сходились въ чувствѣ преклоненія передъ нимъ. Стихи и проза — все было полно хвалами Александру. На собраніи московскаго университета 7 мая 1814 г., по случаю взятія Парижа, проф. Тимковскій произнесъ рѣчь, самое заглавіе которой уже даетъ понятіе о ея содержаніи: «Торжество московскихъ Музъ, восхищенныхъ безсмертными дѣяніями Великаго Государя Императора Всероссійскаго Александра I».

Мистицизмъ охватилъ довольно широкіе круги русскаго общества, и люди разныхъ по существу воззрѣній, разошедшіеся потомъ чрезвычайно далеко, сходились часто въ одномъ настроеніи, въ одномъ чувствѣ въ 1812—13 гг., когда разнообразныя духовныя направленія, имѣющія своимъ корнемъ 1812 годъ, или обязанныя ему сильнымъ движеніемъ впередъ, еще недостаточно кристаллизовались.

Состояніе умовъ въ 1813 году хорошо охарактеризовано въ письмѣ графа С. С. Уварова Штейну въ ноябрѣ этого года: «Состояніе умовъ въ настоящую минуту таково, что смѣшеніе понятій достигло послѣдней крайности. Одни хотятъ просвѣщенія безъ опасностей, т.-е. огня, который не жжетъ. Другіе — и это большая часть — сваливаютъ въ одинъ мѣшокъ Наполеона и Монтескье, французскія арміи и французскія книги, Моро и Розенкампа, мечты Ш(иллера?) и открытія Лейбница. Наконецъ, это такой хаосъ воплей, страстей, ожесточенныхъ раздоровъ, увлеченія партій, что невозможно долго выдержать это зрѣлище. У всѣхъ на языкѣ слова: религія въ опасности, нарушеніе нравственности, приверженецъ иноземныхъ идей, иллюминатъ, философъ, франкмасонъ, фанатикъ и т. д. Словомъ, совершенное безуміе... Вотъ среди какой путаницы и какого глубокаго невѣжества приходится работать надъ зданіемъ, которое подкапывается въ основаніи и грозитъ разрушеніемъ со всѣхъ сторонъ...». Среди мистиковъ мы видимъ и пензенскихъ гимназистовъ, устраивавшихъ христіанскія



литературныя бесѣды съ чтеніемъ псалмовъ, и такого раціоналиста, какъ Сперанскій, который рекомендовалъ въ 1817 г. одному своему другу, какъ лучшее средство добыванія «аворскаго свѣта, «устремленіе взоровъ на пупокъ при ноздревомъ дыханіи». О томъ, насколько былъ силенъ въ это время спросъ на мистическую литературу, свидѣтельствуешь тотъ фактъ, что за 10 лѣтъ — съ 1813 г. по 1823 г., было переведено на русскій языкъ 60 иностранныхъ мистическихъ сочиненій, а съ 1817 г. сталъ выходить специальный мистическій журналъ Лабзина «Сіонскій Вѣстникъ», получившій 15 тыс. рублей правительственной субсидіи и пользовавшійся большимъ успѣхомъ въ высшемъ обществѣ. Конечно, бывали случаи, что мистиками дѣлались изъ моды или изъ-за разсчета пока правительство покровительствовало этому теченію, но съ другой стороны нѣтъ сомнѣній, что мистицизмъ это — одно изъ дѣйствительныхъ общественныхъ настроеній послѣ 1812 года.

Мистицизмъ, державшійся довольно долго, принималъ иногда какія-то театральныя формы. Масонъ И. В. Лопухинъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Д. П. Руничу сообщаетъ, что соорудилъ въ своемъ имѣніи въ Орловской губ., на берегу пруда два памятника изъ камней. Одинъ былъ въ видѣ кресла съ надписью: «19 марта 1814 г. взять Парижъ», а на другомъ, необдѣланномъ, въ видѣ надгробной плиты, было написано: «И память вражія погibe съ шумомъ». На нѣкоторомъ разстояніи отъ нихъ былъ третій монументъ съ надписью: «Благочестію Александра I и славъ доблестей Русскихъ въ 1812 году». Здѣсь Лопухинъ устроилъ похороны Бонапарта: «Когда я, пишетъ Лопухинъ, вставши съ каменныхъ кресель, содержащихъ въ себѣ надпись о взятіи Парижа, подошелъ къ могилѣ славы Наполеоновой, и на лежащей на ней камень, съ вырѣзанною же надписью: «и память вражія погibe съ шумомъ», бросилъ песку при словахъ «слава твоя прахъ и въ прахъ возвращается», то по ракетному сигналу сдѣлано нѣсколько выстрѣловъ моронами, громче пушечныхъ». Потомъ крестьянамъ было роздано 500 крестиковъ «для обыкновеннаго ношенія въ память торжества о побѣдѣ и одолѣніи врага такова». На это торжество разсылался такой пригласительный билетъ: «Сего дня Маія 6-го въ селѣ Воскресенскомъ, Ретяжи тожь, по силѣ помочи деревенской, погребается въ прахъ свой слава Бонапартова. Хозяева просятъ сдѣлать имъ и себѣ честь и удовольствіе пожаловать порадоваться на могилу. Погребеніе будетъ по полуночи въ 12-мъ часу, на берегу пруда, за плотиною возлѣ сидѣнья, еже съ надписью о плѣненіи Парижа».

Мистическія настроенія проникли и въ народную среду, гдѣ они получили особенно суевѣрно-религіозную окраску. Въ массѣ народа было твердое убѣжденіе, что Наполеонъ — антихристъ. Укорененію этого убѣжденія много посодѣйствовалъ синодъ своимъ воззваніемъ въ 1806 г. Правда, послѣ Тильзита это воззваніе было запрещено читать, но въ народной памяти оно хорошо сохранилось, и народное сознаніе никакъ не могло согласить съ этимъ объявленіемъ правительства, что Наполеонъ антихристъ, факта свиданія съ нимъ въ Тильзитѣ императора Александра; правда, вскорѣ подыскалось подходящее объясненіе: свиданіе было устроено на рѣкѣ, «Бонапартій» былъ окрещенъ въ ней и потомъ уже встрѣтился съ нашимъ императоромъ. Но несмотря на это, повторяемъ,

борьба съ французами въ 1812 г. представлялась войной съ антихристомъ. Суевѣрная народная масса искала всевозможныхъ знаменій и легко принимала на вѣру всевозможные легендарные рассказы: орель, якобы взлетѣвшій надъ Кутузовымъ, соколъ, какимъ-то образомъ повиснувшій на крестѣ церкви, и т. п. — все это, съ точки зрѣнія народа, пророчества гибели Наполеона и торжества Россіи; въ именахъ полководцевъ отыскивали сокровенный смыслъ: Багратіонъ — это «Бог-рати-онъ», въ имени «Наполеонъ» съ увѣренностью находили апокалиптическое число 666. На этой почвѣ легко, конечно, воспринимались толкованія въ духѣ Шишкова, что всѣ событія 1812 года суть проявленія гнѣва Божія. Поэтому сознаніе народа подъ вліяніемъ событій отечественной войны не только не прояснилось, но стало даже какъ-будто еще болѣе далекимъ отъ пониманія истинныхъ причинъ и хода событій окружающей жизни. Но мало того: мистическое толкованіе событій 1812 года подавляло въ народѣ и чисто-человѣческія чувства. Разъ идетъ борьба съ антихристомъ и его приспѣшниками, то въ этой борьбѣ все допустимо, и не должно быть мѣста чувству жалости; врагъ Бога и челоуѣчества не достоинъ никакой пощады. И народъ, дѣйствительно, переставая видѣть въ французахъ простыхъ людей, зато не зналъ никакой сдержки проявленіямъ своей ненависти и мести, и если подъ патріотизмомъ разумѣть желаніе отомстить врагу, уничтожить его, то тогда надо признать, что 1812 годъ — годъ массоваго подъема патріотизма.

Мистическое настроеніе, какъ было указано, захватило въ 1812 году людей разныхъ лагерей, однако, наибольшую склонность къ нему обрануживали люди консервативнаго склада, а потомъ оно даже стало ихъ исключительнымъ удѣломъ, и слова «мистикъ» и «реакціонеръ» стали почти синонимами. Не случайно реакція сплелась съ мистикой. Мистики говорили, что борьба Россіи съ Франціей есть судъ Божій; Франція разбита, Россія торжествуетъ — не ясное ли это доказательство, что Богъ не на сторонѣ поправшихъ божескіе и челоуѣческіе законы французовъ? Не есть ли это свидѣтельство того, что надо всячески беречься «адскихъ лжеумудрованій», познать истинное назначеніе челоуѣка на землѣ и смириться. «Что изберемъ, говорилось въ манифестѣ 1816 г., гордость или смиреніе? Гордость наша будетъ несправедлива, неблагодарна передъ Тѣмъ, Кто изліялъ на насъ толикія щедроты... Смиреніе наше исправитъ наши нравы, загладитъ вину нашу передъ Богомъ, принесетъ намъ честь, славу». Къ тому же, по словамъ манифеста, подвиги народа въ 1812 г. такъ велики, что «кто, кромѣ Бога, кто изъ владыкъ земныхъ и что можетъ ему воздать? Награда ему дѣла его, которымъ свидѣтели небо и земля». Поэтому — никакихъ реформъ, ничего новаго. По волѣ Провидѣнія Россіей выполнена великая миссія — «ужасы революціи» подавлены, на той самой площади Парижа, гдѣ пролилась кровь «благочестиваго» Людовика XVI, православное духовенство вознесло благодарственные молитвы Богу, примиривъ этимъ какъ бы Небо съ землей, Европа освобождена, низвергнутые «ядомъ» революціи троны возстановлены. Вотъ гдѣ поэтому, въ Россіи, надо искать государство, отмѣченное печатью Божественнаго Провидѣнія; она — избранный сосудъ Божій. О какихъ тогда переменахъ, а тѣмъ болѣе —



въ западно-европейскомъ духѣ можетъ быть рѣчь? Если въ 1812 г. «рѣшительный языкъ власти и барства, по словамъ одного современника, болѣе не годился и былъ опасенъ», то послѣ войны, когда у дворянства прошелъ страхъ передъ крестьянскимъ возстаніемъ, такъ какъ все ограничилось лишь отдѣльными вспышками, заговорили уже другимъ языкомъ, и манифестъ 30 августа 1814 г., объявлявшій благодарность и награды дворянству и купечеству, рекомендовалъ «почтенному мѣщанству» и крестьянамъ получить изду свою отъ Бога. Реакція глубоко захватила дворянство и правительство и опредѣлила все дальнѣйшее направленіе внутренней и внѣшней политики Александра I. Дворянство, сильно боявшееся преобразовательныхъ намѣреній Александра въ первую половину его царствованія, теперь воспрянуло духомъ, рассчитывая не только сохранить всѣ существующія соціальныя и экономическія привиллегіи, но и вернуть многое изъ стараго казалось, уже навсегда утраченнаго. И расчеты его не были безосновательны.

Базируясь въ значительной степени на мистицизмъ, реакція въ то же время опиралась на упадокъ силъ въ нѣкоторой части общества, бывшій результатомъ предшествующаго подъема. Этотъ упадокъ силъ, склонность къ квіетизму ярко сказались на самомъ Александрѣ I. Какъ говоритъ одинъ изслѣдователь, «истощивъ весь запасъ энергіи на борьбу съ заклятымъ своимъ врагомъ, Наполеономъ, на борьбу, составлявшую цѣль его жизни, и достигнувъ ея, Александръ совершенно неожиданно для себя потерялъ подъ собой почву и лишился цѣли къ дальнѣйшей дѣятельности. Приписывая свои успѣхи Промыслу Божію, онъ впалъ въ мистицизмъ и думалъ только о сохраненіи пріобрѣтеннаго войною, отказался отъ какихъ бы то ни было преобразованій, сталъ тяготиться бременемъ правленія, совершенно охладѣлъ къ дѣламъ и передалъ ихъ въ руки Аракчеева». Самъ Александръ говорилъ кн. Голицыну, что во время его пребыванія въ Парижѣ въ 1814 г. его мало радовали восторженные привѣтствія населенія. «Душа моя, говорилъ онъ, ощущала тогда въ себѣ другую радость. Она, такъ сказать, таяла въ безпредѣльной преданности къ Господу, сотворившему чудо своего милосердія; она, эта душа, жаждала уединенія, жаждала субботствованія; сердце мое порывалось пролить передъ Господомъ всѣ чувствованія мои...» Отъ такого настроенія къ политической реакціи только одинъ шагъ, и Александръ вмѣстѣ со многими своими современниками очень скоро сдѣлалъ его. Вслѣдствіе этого «шишковисты» стали думать о возвращеніи къ старымъ началамъ, мистики полагали, что пришла пора для проповѣди «внутренней церкви» — отсюда широкое развитіе дѣятельности Библейскаго общества и масонскихъ ложъ; консерваторы мечтали объ уничтоженіи либеральныхъ нововведеній и истребленіи «якобинскаго духа», въ которомъ они усматривали причину всѣхъ послѣднихъ европейскихъ событій.

Но повышенная работа мысли, чувства и воли въ 1812 г. вела не только къ квіетизму и реакціи; у многихъ современниковъ, наоборотъ, она вызвала усиленную потребность въ дѣятельности, потребность въ реформахъ, и чѣмъ больше правительство отдавалось реакціи, тѣмъ сильнѣе росла въ этой части общества неудовлетворенность въ активной работѣ. Декабристъ Фонъ-Визинъ говорилъ въ показаніяхъ на слѣдствіи въ 1826 г.: «Великія событія отечественной войны, оставивъ въ душѣ глубокія впечатлѣнія, произвели во мнѣ какое-то



безпокойное желаніе дѣятельности». Другой декабристъ, Каховскій, такъ характеризуетъ настроеніе послѣ 1812 года: «Кончилась война съ Наполеономъ, мы всѣ надѣялись, что Императоръ займется внутреннимъ управленіемъ въ государствѣ, съ нетерпѣніемъ ждали закона постановительнаго и преобразованія судопроизводства нашего; ждали — и что жъ? Черезъ двѣнадцать лѣтъ лишь перемѣнилась форма мундировъ гражданскихъ». Человѣкъ совершенно другого лагеря, С. Глинка, писалъ въ своихъ запискахъ о Москвѣ такъ: «Каждый взглянулъ на себя и занялся собою. Воскресла народность; воспрянули времена давно прошедшія, и, говоря словами русской старины: настоящее сливалось съ прошедшимъ и отверзалась даль будущаго преобразованія». Его братъ, Ѳ. Глинка, въ слѣдующихъ словахъ опредѣлялъ настроеніе послѣ войны 1812 года и заграничныхъ походовъ: «Если рыбу, разгулявшуюся въ раздольныхъ моряхъ, засаждать въ садокъ, и та всплываетъ наверхъ, чтобы вздохнуть вольнымъ божьимъ воздухомъ: душно ей! И душно было тогда въ Петербургѣ людямъ, только-что разставшимся съ полями побѣдъ, съ трофеями, съ Парижемъ и прошедшимъ на возвратномъ пути черезъ сто триумфальныхъ воротъ почти въ каждомъ городѣ, на которыхъ на лицевой сторонѣ написано: «Храброму російскому воинству», а на обратной: «Награда въ Отецествѣ». И эти разгулявшіеся рыцари попали въ тѣсную рамку обыденности, въ застой совершенный, въ монотонію томительную». По словамъ другого современника, имъ «теперь было невыносимо смотрѣть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариковъ, восхваляющихъ все старое и порицающихъ всякое движеніе впередъ. Мы ушли отъ нихъ на 100 лѣтъ впередъ». «Пора танцевъ, баловъ, острыхъ словъ прошла; въ бесѣдахъ болтанье замѣнилось разсужденіемъ».

Люди, переживавшіе такое состояніе, не могли, конечно, примириться съ тѣмъ квіетизмомъ и съ той реакціей, которые шли изъ того же источника и захватили другую часть общества. Они жаждали дѣятельности, реформъ, программа которыхъ, какъ имъ казалось, давалась самимъ правительствомъ. Дѣйствительно, лейтъ-мотивы всѣхъ официальныхъ документовъ 1812—1816 гг. — «свобода и независимость», но только правительство и партія старины вкладывала въ него иное содержаніе, чѣмъ сторонники движенія впередъ: свобода внутренняя, свобода національная — вотъ пониманіе этого лейтъ-мотива у консерваторовъ, свобода гражданская и политическая — вотъ толкованіе либераловъ. «Свободу проповѣдывали намъ и манифесты и воззванія и приказы, — говоритъ Каховскій. — Насъ манили, и мы, добрые сердцемъ, повѣрили, не щадили ни крови своей, ни имущества».

Стремленіе къ свободѣ, явившееся подъ вліяніемъ духовнаго подъема, пережитаго во время отечественной войны, усилилось и углубилось во время пребыванія русской арміи за границей. Слишкомъ силенъ былъ контрастъ между Россіей и Европой — и далеко не въ пользу первой, чтобы его можно было не замѣтить, и только Шишковъ старался доказать, что крестьянамъ за границей живется хуже, чѣмъ у насъ. «Въ поѣздкахъ по Германіи и Франціи, говоритъ Фонъ-Визинъ, наши молодые люди ознакомились съ европейской цивилизаціей, которая произвела на нихъ тѣмъ сильнѣйшее впечатлѣніе, что они могли сравнивать все видѣнное ими за границую съ тѣмъ, что имъ на всякомъ шагу представлялось

на родинѣ, — рабство огромнаго большинства русскихъ, жестокое обращеніе начальниковъ съ подчиненными, всякаго рода злоупотребленія власти, повсюду царствующій произволъ — все это возмущало и приводило въ негодованіе образованныхъ русскихъ и ихъ патріотическое чувство».

Ө. Глинка въ своихъ «Письмахъ русскаго офицера» не разъ восторгался нѣмецкими порядками; и ему было пріятно «читать о свободѣ подъ шумомъ бурь», ночуя въ 10 верстахъ отъ Брига. Наоборотъ, чувство грусти проглядываетъ въ его путевыхъ замѣткахъ, относящихся ко времени переѣзда отъ границы до Смоленска и обратно отъ Смоленска до границы (въ концѣ 1813 г. Глинка вернулся въ Россію, а въ началѣ слѣдующаго опять отправился въ заграничный походъ). Видъ разоренной, бѣдствующей Россіи навелъ его на цѣлый рядъ мыслей: съ одной стороны — бѣдность и разореніе, съ другой — богатство и роскошь. Правда, онъ не сдѣлалъ изъ этой антитезы логическаго вывода, приписывая бѣдствія народа исключительно войнѣ 1812 г., но важно, что уже такіе люди какъ Глинка, по словамъ котораго революція есть «ниспроверженіе трона, и расторженіе всѣхъ союзовъ съ Богомъ, добродѣтелями и тишиною», а пружины ея — своекорыстіе и суемудріе, — ставили подобные вопросы. Другіе не только поставили ихъ, но и разрѣшили. Декабристъ Якушкинъ по возвращеніи изъ заграничныхъ походовъ настолько остро почувствовалъ «главныя язвы нашего отечества», что рѣшилъ немедленно же заняться ихъ исцѣленіемъ и на первый планъ выдвинулъ освобожденіе своихъ крестьянъ. «Имѣя полное убѣжденіе, — пишетъ онъ въ запискахъ, — что крѣпостное состояніе мерзость, я былъ проникнутъ чувствомъ прямой моей обязанности освободить людей, отъ меня зависящихъ». Во многихъ гвардейскихъ полкахъ отношенія офицеровъ къ солдатамъ рѣзко мѣняется къ лучшему, и дисциплина становится мягче, тѣлесныя наказанія упраздняются.

Но подобное состояніе, которое въ XVIII вѣкѣ было достояніемъ лишь отдѣльныхъ выдающихся лицъ, переживали теперь не только образованные люди: сознаніе ненормальности существующаго положенія вещей проникло подъ вліяніемъ 1812 года и въ народную массу. «Мы проливали кровь, — говорили крестьяне, — а насъ опять заставляютъ потѣть на барщинѣ. Мы избавили родину отъ тирана, а насъ вновь тиранятъ господа». Со страхомъ писалъ Поздѣевъ въ сентябрѣ 1812 года гр. Разумовскому, что крестьяне ждутъ вольности; «хотя и видятъ разореніе совершенное, — говоритъ онъ, — но очаровательное слово вольности кружить ихъ, ибо мало смыслящихъ, а прочее все число, такъ какъ и во всѣхъ состояніяхъ, глупые и невѣжды». Пребываніе арміи за границей только усилило это «очарованіе» слова вольности, и солдаты, вернувшіеся на родину, рассказывая о состояніи и свободѣ земледѣльцевъ въ чужихъ странахъ, «сильно воспламеняли ненависть къ угнетающимъ ихъ помѣщикамъ и управителямъ». Въ результатѣ этихъ рассказовъ, падавшихъ на готовую почву, созданную появленіемъ въ народѣ послѣ 1812 года чувства собственнаго достоинства, сознанія своей силы, — частые крестьянскіе бунты. Но задавить эти первые проблески гражданскихъ чувствъ оказалось очень нетрудно, и крестьянинъ вернулся подъ ярмо своего господина. Характерно при этомъ, что агенты Наполеона, обѣщавшіе свободу крестьянамъ, не имѣли почти никакого успѣха. Съ одной стороны эти обѣщанія



какъ бы противорѣчили самому факту вторженія французовъ въ Россію; должно было казаться страннымъ получить свободу изъ рукъ завоевателя; съ другой — свобода возвѣщалась императоромъ-антихристомъ, что тоже дѣлало ее мало привлекательной; наконецъ, ихъ было мало и попали они, такъ сказать, не въ моментъ: масса народа еще только пробуждалась, еще не сознала своихъ силъ и своей цѣны, а французы уже отступали къ границѣ Россіи, съ каждымъ часомъ уменьшаясь въ числѣ.

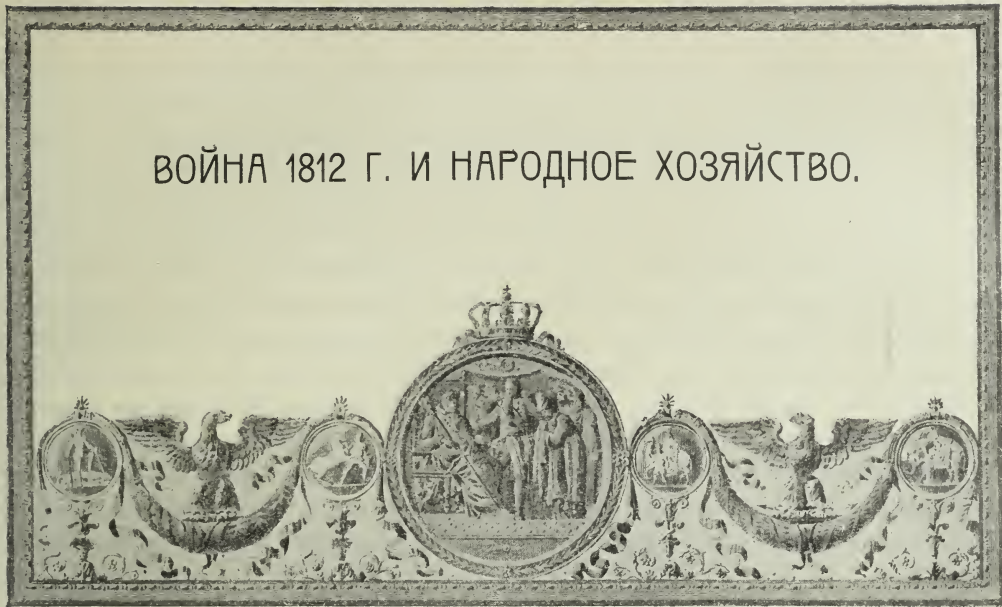
Пробужденіе самосознанія подѣ влияніемъ событій 1812 года мы наблюдаемъ и въ другой средѣ, сильно косной и отсталой — въ средѣ тогдашняго купечества. Если иногда это выражалось лишь въ томъ, какъ писалъ «Сынъ Отечества» въ 1813 г. (см. выше), что «купечество, не бреющее бородъ, начало носить родъ французскихъ длинныхъ сюртуковъ, съ отложнымъ какимъ-то воротникомъ», то въ другихъ случаяхъ мы видимъ въ средѣ купечества и интересъ къ идеямъ, идущимъ съ Запада, и въ Москвѣ и въ Петербургѣ среди купцовъ нарождаются кружки, въ которыхъ читаютъ русскія и иностранныя книги. Затѣмъ событія 1812—14 гг. не могли не подѣйствовать и на экономическія воззрѣнія нашего купечества: «доморощенные» взгляды отступаютъ постепенно передъ новыми, устанавливающими тѣсную и правильную связь между русскимъ народнымъ хозяйствомъ и хозяйствомъ мировымъ съ одной стороны и между общей политикой русскаго правительства и благосостояніемъ русскаго купечества — съ другой.

Другой исходъ имѣли освободительныя стремленія, охватившія послѣ 1812 года дворянскую интеллигенцію. Не удовлетворяясь узкой сферой дѣятельности въ Библейскомъ обществѣ и ланкастерскихъ школахъ, разочаровавшись въ масонствѣ, она сгруппировалась въ тайныя общества съ чисто-политической окраской и вышла 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь... Декабристы принесли сюда тѣ гражданскія чувства, ту любовь къ родинѣ и народу, которыя, по ихъ собственнымъ признаніямъ, проснулись у нихъ еще въ эпоху отечественной войны 1812 года. Они поняли, говоря словами одного изъ нихъ, что «къ отечеству любовь не въ одной военной славѣ, а должна бы имѣть цѣлью поставить Россію въ гражданственности на уровеньъ съ Европой, и содѣйствовать къ перерожденію ея сходно съ великими истинами, высказанными въ началѣ французской революціи, но безъ увлеченій, ввергнувшихъ Францію въ бездну беззаконій». Съ другой стороны, узнавъ поближе, подобно Пьеру Безухову, простой народъ на поляхъ битвъ, они научились понимать и цѣнить его, сознали передъ нимъ свой гражданскій долгъ. И это было положительное, но косвенное вліяніе отечественной войны, не вытекавшее прямо изъ нея, какъ фактора братоубійственнаго. Оно привело къ еще большему разладу между обществомъ и правительствомъ, чѣмъ тотъ, который наблюдается до отечественной войны. Національно и граждански-воспитанное общество (въ его лучшихъ представителяхъ) съ сильно развитымъ чувствомъ личнаго достоинства и правительство, не сознавшее своего долга передъ народомъ даже подѣ влияніемъ потрясеній отечественной войны и продолжавшее держаться узко-классовой дворянской политики — вотъ двѣ силы, различныя по моральному и физическому вѣсу, которыя оставилъ въ наслѣдство своимъ преемникамъ 1812-й годъ.

*К. Сивковъ.*



## ВОЙНА 1812 Г. И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО.



### ВОЙНА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Всякая война, ведется ли она въ предѣлахъ государственной территоріи или внѣ ея, конечно, является величайшимъ бѣдствіемъ для населенія, отъ котораго оно долго не въ силахъ оправиться. Можно сказать, что любая война на много лѣтъ тормозитъ культурное развитіе населенія и задерживаетъ хозяйственную эволюцію въ странѣ. Въ этомъ отношеніи война 1812 года оказала огромное воздѣйствіе на хозяйственную жизнь страны, воздѣйствіе, слѣды котораго исчезли не скоро. Впрочемъ, одно и то же историческое явленіе, губительное для всего населенія и всей страны въ совокупности, можетъ быть чрезвычайно полезнымъ для отдѣльных классовъ и отдѣльных видовъ производительнаго труда, иногда достигающихъ блестящаго расцвѣта. Это обстоятельство необходимо учитывать и при изученіи вліянія войны 1812 года на національную индустрію.

Крупная промышленность съ начала XVIII вѣка была предметомъ особыхъ заботъ правительства, нуждавшагося въ разнаго рода фабрикатахъ для удовлетворенія государственныхъ нуждъ. Защищенная таможенными запретительными тарифами отъ конкуренціи съ европейскими продуктами крупной промышленности, промышленность въ XVIII вѣкѣ достигла довольно значительнаго внѣшняго расцвѣта, и къ концу Екатерининскаго царствованія насчитывала около 3.200 фабрикъ и заводовъ.

Не смотря на такой количественный расцвѣтъ, качественно промышленные фабрикаты оставляли желать много лучшаго и вызвали вполне законныя нареканія со стороны потребителей, вслѣдствіе относительной дороговизны и низкаго достоинства. Поэтому, болѣе состоятельные классы въ XVIII вѣкѣ обыкновенно покупали продукты европейской промышленности, предпочитая даже заплатить дороже, но зато носить платье изъ хорошаго сукна, одѣваться въ изящные шел-

ковыя ткани, бархатъ. Впрочемъ, ни правительство, ни фабриканты не могли спокойно смотрѣть на это увлеченіе европейской роскошью. Первое — боялось отлива денегъ за границу и образованія невыгоднаго вексельнаго курса, второе — въ конкуренціи западно-европейскихъ фабрикатовъ видѣло серіозную опасность для національной индустріи. Въ этомъ отношеніи совпадали интересы фабрикантовъ и правительства, чѣмъ и опредѣлилась солидарность ихъ мнѣній относительно ввоза европейскихъ фабрикатовъ. Бороться съ послѣдними можно было двояко: или улучшить производство отечественныхъ фабрикатовъ и тѣмъ самымъ сдѣлать лишнимъ распространеніе продуктовъ европейской промышленности, или прибѣгнуть къ помощи запретительныхъ тарифовъ. Въ первомъ случаѣ нельзя было добиться немедленнаго сокращенія ввоза европейскихъ фабрикатовъ. Къ тому же являлось сомнѣніе, будетъ ли въ состояніи наша промышленность быстро догнать европейскую? Эти условія и обрекли на гибель первое предположеніе. Во второмъ случаѣ дѣло обстояло проще: переходъ къ запретительному тарифу немедленно сокращалъ ввозъ европейскихъ фабрикатовъ — улучшалъ торговый балансъ и укрѣплялъ положеніе національной индустріи. Руководясь потребностями текущаго момента, правительство Екатерины II самымъ рѣшительнымъ образомъ стало на сторону запретительныхъ тарифовъ. Такая таможенная политика вызывала серіозное неудовольствіе со стороны землевладѣльческаго сословія, дворянства, которое по преимуществу и потребляло продукты европейской промышленности. Опасаясь экономического усиленія буржуазіи, дворянство считало такую таможенную политику разорительной для народнаго хозяйства и препятствующей росту крупной національной индустріи, такъ какъ, при отсутствіи конкуренціи, фабриканты, ставъ монополистами внутренняго рынка, не будутъ думать объ улучшеніи и удешевленіи своихъ фабрикатовъ. Тѣмъ не менѣе, Екатерина II, сознавая полную невозможность остановить побѣдоносное шествіе французской демократіи, видѣло въ таможенной политикѣ вѣрное средство для борьбы съ революціей на экономической почвѣ.

Отсюда рядъ мѣръ по отношенію къ Франціи, запрещавшихъ ввозъ какихъ бы то ни было французскихъ товаровъ въ Россію.

Торговой политики Екатерины II придерживался и ея преемникъ, тоже намѣревавшійся бороться съ революціонными силами и идеями не только силой оружія, но и съ помощью таможенныхъ тарифовъ. Вотъ почему французскіе товары, ввозимые въ Россію, были отчасти совсѣмъ запрещены къ ввозу, отчасти обложены необычайно высокой пошлиной. Но международная политика Павла I не отличалась устойчивостью. Павелъ I скоро разсорился со своими союзниками, замѣтивъ, что они преслѣдуютъ цѣли, идущія въ разрѣзъ съ задачами и планами русскаго правительства, стремившагося къ возстановленію политическаго равновѣсія въ Европѣ. Австрія мечтала о территоріальномъ расширеніи насчетъ Италіи; Англія — о господствѣ на морѣ. И то и другое нарушало систему Павла и привело къ разрыву съ союзниками и немедленному заключенію мира съ Наполеономъ. Послѣдній хотѣлъ использовать дружбу съ Павломъ: разгромить Англію, нанести ей непоправимое экономическое разореніе, и тѣмъ освободить Францію отъ опаснаго коммерческаго конкурента. Новая политическая комби-

нація сейчас же отразилась на таможенной политикѣ. Правительство, чтобы нанести ударъ англійской морской торговлѣ, разрѣшило свободный ввозъ французскихъ товаровъ, запретивъ одновременно вывозъ какихъ бы то ни было товаровъ изъ російскихъ портовъ. Вывозъ могъ быть разрѣшенъ лишь по высочайшему повелѣнію (указъ 10 марта 1801 года). Подобнаго рода распоряженіе, уничтожавшее всю нашу экспортную торговлю, грозило полнымъ разореніемъ и купечеству, вложившему свои капиталы во внѣшнюю торговлю, и дворянству, продававшему на вывозъ сельско-хозяйственнае сырье. Впрочемъ, распоряженіе это никогда не было введено въ дѣйствіе, такъ какъ на другой день Павла не стало, а его преемникъ отмѣнилъ указъ отца.

Неустойчивая торговая политика Павла I, считавшаяся больше съ международными конъюктурами, чѣмъ съ реальными нуждами страны, разорила не только заинтересованные въ ней классы, но, создавъ невыгодный платежный балансъ, повела къ пониженію вексельнаго курса, сравнительно съ временемъ Екатерины II.

Преемнику Павла — Александру предстояла на первыхъ порахъ трудная задача поднять престижъ дискредитировавшей себя монархической власти, примирить господствующее сословіе съ правительственной политикой и позаботиться объ улучшеніи государственнаго хозяйства.

Теоретически склонявшійся къ либеральной торговой политикѣ, Александръ I на практикѣ долженъ былъ держаться экономической политики своего отца и своей бабушки, и весь либерализмъ выразился только въ незначительномъ пониженіи пошлинъ на фабрикаты. Послѣ заключенія мира съ Наполеономъ въ Тильзитѣ, Александръ былъ обязанъ въ свей таможенной политикѣ придерживаться началъ континентальной системы. Такъ указомъ 20 марта 1807 года запрещался привозъ англійскихъ мануфактурныхъ товаровъ. Съ Англіей прекращались всякія торговыя сношенія подобно тому, какъ это было сдѣлано по отношенію къ Франціи въ 1793 году. Высочайшимъ указомъ отъ 28 октября 1807 года на всѣ находящіяся въ русскихъ портахъ суда и имущества англичанъ въ Россіи былъ наложенъ арестъ, а въ слѣдующемъ году было отдано распоряженіе всѣмъ судамъ, находящимся въ Англіи, вернуться безъ груза. Торговать было возможно только подъ нейтральнымъ флагомъ. Какое значеніе для внѣшней торговли имѣло примѣненіе континентальной системы, видно, напримѣръ, изъ слѣдующихъ данныхъ. Въ 1805 году прибыло изъ Англіи съ грузомъ 319 судовъ, а безъ груза 993 судна, отошло съ грузомъ 1277, а безъ него — только 17.

Вслѣдствіе прекращенія торговыхъ сношеній съ Англіей, уменьшился и общій оборотъ по внѣшней торговлѣ, такъ какъ другія государства для торговыхъ оборотовъ Россіи имѣли второстепенное значеніе. Примѣненіе началъ континентальной системы сопровождалось для народнаго хозяйства послѣдствіями чрезвычайной важности. Закрывая таможенную границу для англійскихъ фабрикатовъ, безъ которыхъ господствующимъ классамъ было очень трудно обойтись, правительство побуждало мѣстныхъ фабрикантовъ къ устройству новыхъ фабрикъ. Въ этомъ отношеніи континентальная система составила эпоху въ развитіи національной индустріи. Такъ въ 1804 году насчитывалось 2423 фабрики, съ общимъ



количеством рабочих — 95.202 человек, а в 1814 году количество фабрик уже увеличилось до 3731; при общей численности рабочих в 169.530 человек. Но континентальная система, содействуя расширению некоторых производств, в то же время сократила производство тех фабрикатов, которые привозились из Франции. Особенно уменьшилось количество шелковых фабрик и то же можно сказать относительно производств других предметов роскоши: бархата, парчи, чулок, перчаток.

При общем подъеме национальной индустрии бросается в глаза возникновение новых фабрик уже по частной инициативе, рассчитанных на удовлетворение и внутренних, а не только государственных нужд.

Из старых производств увеличивается значительно суконное. Раньше все фабрики, как обязанные, пессимонные, так и вотчинные, должны были все вырабатываемое сукно поставлять в казну, при чем фабрики вырабатывали исключительно дешевые сорта сукна, предназначенных, главным образом, на удовлетворение нужд армии и флота. Запрещение ввоза английских товаров повело к раскрепощению суконной промышленности, отныне удовлетворявшей не только потребностям государства, но и спросу на внутреннем рынке.

После континентальной системы увеличилось количество бумаго-ткацких фабрик. Значительно увеличилось производство ситца, миткаля, платков, одеял. В хорошем состоянии находились полотняные и парусные фабрики. Значительно выросла железо-чугунная промышленность. Затем, благодаря прекращению подвоза английской пряжи — впервые в Москве появляются бумаго-прядельные фабрики. После взятия Москвы французами — московские бумаго-прядельные фабрики прекратили свое существование. Таким образом большая часть фабрикантов не терпела убытков от континентальной системы.

Та же система имела огромное значение для дворян-экспортеров и оптового купечества. Первые успели приспособить свои хозяйства к условиям внешнего рынка и вложили в землю большие капиталы. Капиталы вторых были вложены в заграничную торговлю. Континентальная система повела к сокращению вывоза. В течение 1809—1811 г. вывоз прогрессивно уменьшается. Крупные экспортеры терпели колоссальные убытки, разорялись. Отчасти поэтому крупно-поместное дворянство являлось убежденным сторонником необходимости разрыва с Наполеоном. Сокращение торговых оборотов по внешней торговле повело к ряду банкротств крупных оптовиков.

Континентальная система содействовала повышению цен на жизненные припасы. Увеличились в цене кофе, сахар и другие колониальные продукты. Но это возвышение цен было совершенно нечувствительно для большей части населения, не употреблявшего дорогих стоющих колониальных товаров. Зато повышение вызвало ропот со стороны столичного населения, для которого колониальные товары стали предметом первой необходимости. Правда, та же система повлияла очень неблагоприятно на торговый баланс и содействовала понижению курса, но провинциальное дворянство, вывозившее хлеб на местные рынки, ответило повышением цен на хлеб, так что оно теряло мало. Зато насе-

леніє нечерноземной Россіи, уже питавшееся привознымъ хлѣбомъ, существенно страдало отъ повышенія хлѣбныхъ цѣнъ.

Такимъ образомъ, континентальная система далеко не была такъ разорительна для народнаго хозяйства. Большая часть населенія даже и не почувствовала ея.

Какъ бы ни была выгодна континентальная система для интересовъ національной индустріи, но наплывъ французскихъ фабрикатовъ и сокращеніе экспорта были губительны для интересовъ государственнаго хозяйства, находившагося въ состояніи близкомъ къ банкротству. Для его предупрежденія правительству пришлось немедленно отказаться отъ соблюденія во всей строгости принциповъ континентальной системы. Для государственнаго хозяйства было необходимо возобновленіе торговыхъ сношеній съ Англіей и переходъ къ покровительственной политикѣ по отношенію къ французскимъ фабрикантамъ.

Всему этому и должно было удовлетворить положеніе «о нейтральной торговлѣ 1810 года». Сохраняя принципы континентальной системы, новое положеніе разрѣшало вывозъ товаровъ на нейтральныхъ судахъ и ввозъ на таковыхъ продуктовъ британскихъ колоній. Положеніе «о нейтральной торговлѣ» должно было улучшить торговый балансъ, хотя правительство не скрывало, что его введеніе можетъ повлечь за собою осложненіе отношеній между Франціей и Россіей. Впрочемъ положеніе о «нейтральной торговлѣ», столь сильно повліявшее на ускореніе разрыва между Наполеономъ и Александромъ, не оправдало возлагаемыхъ на него ожиданій и не задержало паденіе цѣнности ассигнаціоннаго рубля, хотя и повело къ усиленію нашего международнаго товарообмѣна. Вступленіе Наполеона въ Россію уничтожило континентальную систему, фактически прекратившую свое дѣйствіе съ введеніемъ положенія о нейтральной торговлѣ, ставшаго временнымъ таможеннымъ тарифомъ до 1815 года, когда было приступлено къ составленію новаго таможеннаго тарифа.

Само нашествіе Наполеона не имѣло губительныхъ послѣдствій для крупной промышленности. Путь Наполеона не касался фабричнаго района. Пострадали только московскія фабрики и производства, расположенныя около Москвы. За то стали возникать фабрики въ другихъ мѣстностяхъ, куда населеніе приносило техническіе навыки и приемы работы. Недостатка въ рабочихъ рукахъ не было. Разоренное войной крестьянство, лишенное разныхъ доходныхъ статей, въ поискахъ заработка шло на фабрику, на которыхъ съ этого времени значительно увеличивался процентъ вольнонаемныхъ рабочихъ.

Прекращеніе военныхъ дѣйствій должно было повлечь за собою пересмотръ таможеннаго тарифа. Объяснительная записка, приложенная къ проекту договора находила «положеніе о нейтральной торговлѣ» вреднымъ для страны, «такъ какъ при недостаткѣ собственныхъ мануфактуръ, которыя никакими запрещеніями привоза ни учредить, ни въ цвѣтущее состояніе привести не можно» существовавшая потребность въ фабрикатахъ удовлетворялась запасами, бывшими внутри страны, отчего цѣны на запрещенные товары достигли чрезмѣрной высоты, что только обогащало иностранныхъ купцовъ. Проектъ правительства долженъ былъ удовлетворить дворянство, недовольное запретительной политикой. Измѣнившіяся

политическія отношенія оказывали свое вліяніе въ томъ же направленіи. Окрѣпшія дружественныя связи между союзниками требовали облегченія условій международнаго товаро-обмѣна, что и было возможно только при условіи перехода къ либеральному таможенному тарифу и дѣйствительно, тарифъ 1816 года, несомнѣнно, либеральнѣе всѣхъ предшествовавшихъ. Пониженіе ставокъ на нѣкоторые фабрикаты и полное запрещеніе ввоза для цѣлаго ряда другихъ продуктовъ — на примѣръ для товаровъ желѣзной и текстильной промышленности — вотъ основныя черты новаго «либеральнаго» тарифа. Но новый тарифъ просуществовалъ недолго, ибо онъ не вполне соответствовалъ условіямъ Вѣнскаго конгресса, согласно которымъ Россія, Австрія и Пруссія должны были допустить во всѣхъ польскихъ областяхъ свободное и неограниченное обращеніе всѣхъ произведеній изъ земли и промышленности. Эти условія и заставили правительство приступить къ составленію проекта новаго таможеннаго тарифа.

Новый тарифъ былъ опубликованъ 20 ноября 1819 года. Этотъ, наиболѣе либеральный тарифъ въ первой половинѣ XIX вѣка, по существу оставался также покровительственнымъ и только отминая запрещеніе ввоза нѣкоторыхъ товаровъ, да понижалъ таможенныя ставки. Землевладѣльческое сословіе восторженно встрѣтило новый тарифъ, Экономическіе журналы превозносили «мудрость» правительства, рѣшившагося на такой рѣшительный шагъ. Но ликованія дворянства оказались нѣсколько преждевременными. Благодаря такому тарифу увеличился ввозъ иностранныхъ фабрикатовъ, что вызвало сокращеніе производства и закрытіе нѣкоторыхъ фабрикъ, не находившихъ возможности конкурировать съ продуктами европейской промышленности. Фабриканты изъ купеческаго и дворянскаго сословія въ одинъ голосъ указывали на близкое экономическое разореніе страны, если оставить въ дѣйствиі тарифъ 1819 года. Да и плохой курсъ бумажнаго рубля толкалъ правительство въ сторону запретительной политики, въ началахъ котораго видѣли единственное средство къ возвышенію цѣнности бумажнаго рубля. Правительство уступило и ввело тарифъ 1822 года, хотя имъ нарушались обязательства, принятыя на вѣнскомъ конгрессѣ.

Впрочемъ, въ Польшѣ сохранялъ свое дѣйствіе тарифъ 1819 года, только между Россіей и царствомъ Польскимъ была проведена таможенная черта. По новому тарифу оставались безъ обложенія сырые и иностранные фабрикаты, на производство которыхъ внутри страны нельзя было рассчитывать; товары же, производство которыхъ могло развиваться съ теченіемъ времени, облагались незначительной пошлиной; остальные же предметы производства или облагались высокой пошлиной, или совершенно запрещались. Таковы основныя черты новаго охранительнаго тарифа, воспретившаго ввозъ 300 продуктовъ и вывозъ 21, но за то повліявшаго положительнымъ образомъ на усиленіе нашей промышленности. Не даромъ буржуазія видѣла въ новомъ тарифѣ свою побѣду надъ дворянствомъ.

## ВОЙНА И КРѢПОСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Развивавшаяся крупная промышленность и усиливавшійся товаро-обмѣнъ имѣли огромное значеніе для помѣщичьяго сельскаго хозяйства. Хотя хозяйственный укладъ Россіи въ XVIII вѣкѣ отличался примитивностью своей организаціи,



однако уже намѣчался переходъ къ болѣе развитымъ формамъ хозяйства. Правда, переходъ этотъ совершался въ высшей степени медленно. Крѣпостное право сильно задерживало эту эволюцію, такъ какъ крѣпостная деревня, живя въ рамкахъ чисто натурального хозяйства, самостоятельно удовлетворяла свои потребности и не вліяла на увеличеніе емкости внутренняго рынка; тѣмъ не менѣе, уже довольно отчетливо намѣтилась дифференціація города и деревни. Города стали центрами обрабатывающей промышленности. Деревня же по-старому оставалась лабораторіей сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. Въ то же время городъ сталъ для нея рынкомъ, куда деревня поставляла свои продукты, сбытъ которыхъ былъ заранѣе обезпеченъ, но зато деревня, въ силу своей хозяйственной структуры, почти ничего не покупала у города. Война 1812 года не задержала роста городского населенія. Разоренное населеніе шло въ города на промыслы, если имѣнія находились на оброкѣ. Благодаря этому ревизія 1816 года дала нѣкоторое абсолютное увеличеніе численности городского населенія, а по ревизіи 1835 года численность городского населенія уже составляла 5,8%, но конечно сельское населеніе было въ странѣ преобладающимъ. Распредѣлялось оно по территоріи въ высшей степени неравномѣрно. Наиболѣе населенными оказались центральныя нечерноземныя мѣстности, а также ближайшія къ центру чернземныя. Правда, послѣ войны 1812 года плотность населенія нѣсколько уменьшается въ Московской и Смоленской губерніяхъ, бывшихъ главнымъ театромъ войны, но общій характеръ распредѣленія плотности населенія остался безъ перемѣны. Неравномѣрное распредѣленіе населенія имѣло большое значеніе для хозяйства страны: нечерноземная полоса Россіи оказывалась переполненной. Для удовлетворенія потребностей нуждъ населенія уже не хватало мѣстнаго хлѣба, вслѣдствіе чего нечерноземный районъ превращается въ весьма выгодный хлѣбный рынокъ для болѣе плодородныхъ мѣстностей, гдѣ и урожаи были лучше и гдѣ издержки производства были меньше. Не удивительно поэтому, что населеніе забрасывало дорого стоящее и мало выгодное сельское хозяйство и уходило на фабрики и заводы добывать средства для жизни и для платежа помѣщику оброчныхъ денегъ. Отходъ крестьянъ изъ деревни былъ настолько значителенъ, что наблюдателямъ-иностранцамъ даже казалось, что въ нѣкоторыхъ районахъ все населеніе ушло на заработокъ; дома остались исключительно дѣти и женщины, на которыхъ лежали всю свою тяжесть сельско-хозяйственныя работы. Война 1812 года, конечно, содѣйствовала увеличенію этого отхода, благодаря сложившимся благоприятно условіямъ роста фабричнаго производства. Въ связи съ отходомъ на фабрикахъ значительно увеличивается % вольнонаемнаго труда.

Новыя условія приложенія крестьянскаго труда отразились на самомъ характерѣ помѣщичьяго крѣпостного хозяйства. Помѣщику стало убыточнымъ поддерживать въ нечерноземной полосѣ сельско-хозяйственную культуру. Поэтому помѣщики предпочитаютъ или переводъ крестьянъ на оброкъ<sup>1)</sup> съ предоставленіемъ имъ полной свободы въ выборѣ занятій, или устройство фабрикъ, на

---

<sup>1)</sup> Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ оброчный трудъ рѣшительно доминировалъ, надъ барщиной.

которых работало барщинное крестьянство. Вотчинныя фабрики стали особенно быстро увеличиваться послѣ 1812 года, когда, благодаря благопріятнымъ условіямъ для промышленности, помѣщики устройствомъ фабрикъ стремились гарантировать себѣ опредѣленный доходъ и вознаградить себя за убытки и расходы понесенные въ войну 1812 года. Къ 1825 году около  $\frac{1}{3}$  всѣхъ рабочихъ работало на вотчинныхъ фабрикахъ.

Иначе складывались хозяйственныя отношенія въ черноземной полосѣ. И промышленное развитіе Россіи, и усиленный спросъ русскаго хлѣба на внѣшнемъ рынкѣ заставили помѣщиковъ принять мѣры къ увеличенію доходности своихъ имѣній. За отсутствіемъ свободныхъ капиталовъ, предпринимательское хозяйство не имѣло широкаго распространенія. Зато усиленіе и увеличеніе барщиннаго труда стало обыкновеннымъ хозяйственнымъ приѣмомъ въ черноземной полосѣ.

Война заставила и самихъ помѣщиковъ по окончаніи военной службы временно оставить городскую жизнь и вернуться въ свои помѣстья. Дворяне сами принимаютъ за веденіе хозяйства, до сихъ поръ бывшаго исключительно на рукахъ управляющихъ. Уже во время войны 1812 года въ черноземныхъ губерніяхъ, близкихъ къ театру войны замѣтно увеличеніе площади посѣвовъ. То же явленіе замѣчается и въ другихъ черноземныхъ губерніяхъ.

Благодаря новымъ техническимъ условіямъ веденія хозяйства помѣщики значительно расширили площадь посѣвовъ, но это увеличеніе шло быстрѣе роста емкости внутренняго и внѣшняго рынковъ и скоро выяснилась убыточность предпринимательскаго хозяйства. Послѣ окончанія европейскихъ войнъ значительно сократилась емкость внутренняго и внѣшняго рынковъ. Большіе запасы хлѣбнаго зерна оставались нераспроданными. Помѣщики стапи возвращаться къ старымъ техническимъ приѣмамъ, требовавшимъ меньшаго количества капиталовъ.

Сельско-хозяйственный подъемъ сопровождался значительнымъ увеличеніемъ хлѣбныхъ цѣнъ по отдѣльнымъ районамъ, въ особенности въ мѣстностяхъ съ сильно развитымъ внутреннимъ рынкомъ. Конечно, на возвышеніе цѣнъ вліяли и паденіе курса ассигнацій и усиленный спросъ на хлѣбъ со стороны военного вѣдомства. Жалобы на дороговизну хлѣба идутъ со всѣхъ сторонъ. Послѣ войны благодаря сокращенію емкости рынковъ цѣны на хлѣбъ стали медленно падать, хотя курсъ ассигнацій оставался безъ перемѣнъ. Дворянство стало получать меньшій доходъ, и это обусловило возвращеніе его къ старой сельско-хозяйственной техникѣ, какъ наиболѣе цѣлесообразной при данныхъ условіяхъ хлѣбнаго рынка. Такимъ образомъ, война 1812 года въ незавоеванныхъ мѣстностяхъ содѣйствовала увеличенію производительности сельскаго хозяйства и вызвала въ то же время сильное напряженіе крестьянскаго труда, увеличивъ барщину и ухудшивъ экономическое положеніе населенія благодаря сокращенію крестьянскихъ надѣловъ, за счетъ которыхъ увеличивалась барская запашка. Словомъ, сельско-хозяйственный прогрессъ сопровождался всеобщимъ обѣднѣніемъ крестьянской массы. Но та же война, разоривъ цѣлыя губерніи, уничтоживъ помѣщичьи хозяйства, содѣйствовала и росту задолженности дворянскихъ имѣній, прогрессивно увеличивавшейся въ теченіе первой половины XIX вѣка. Росту задолженности

отчасти содѣйствовало и увлеченіе сельско-хозяйственнымъ предпринимательствомъ, требовавшимъ свободныхъ капиталовъ. Въ поискахъ за ними и закладывались дворянскія имѣнія.

## ВОЙНА И ФИНАНСЫ.

Правительство XVIII вѣка оставило послѣ себя весьма тяжелое финансовое наслѣдство. Увлекаясь внѣшной политикой, не сообразуясь съ реальными интересами страны, ведя борьбу на три фронта— съ поляками, шведами и турками, правительство, конечно, расходовало по тому времени огромныя суммы, которыя не могли составиться изъ текущихъ поступленій. Чрезмѣрные расходы на военныя нужды соединялись съ весьма безцеремоннымъ расходованіемъ денегъ на содержаніе двора<sup>1)</sup>, поражавшего своей роскошью и развращенностью даже современниковъ-иностранцевъ, привыкшихъ къ великолѣпію и чрезвычайному легкомыслію французскаго Версаля. Неудивительно, что при такой системѣ расходованія государственныхъ средствъ, правительство не считалось съ доходнымъ текущимъ бюджетомъ и не пыталось привести въ соотвѣтствіе съ нимъ и свои расходы на государственныя потребности. Благодаря такому несоотвѣтствію расходовъ и доходовъ, въ бюджетѣ XVIII вѣка довольно скоро образовались дефициты, для покрытія которыхъ приходилось прибѣгать къ экстраординарнымъ финансовымъ мѣрамъ, такъ какъ увеличеніе доходнаго бюджета въ желательной для правительства степени было невозможно за слабымъ развитіемъ производительныхъ силъ въ странѣ и отсутствіемъ у населенія платежныхъ средствъ. Блестящая по внѣшности эпоха Екатерины II, приковывавшая къ себѣ вниманіе случайныхъ наблюдателей и вызывавшая слезы умиленія у современниковъ-дворянъ, напрягая до крайности платежныя силы населенія, довела его до полного разоренія и обнищанія. Руководясь въ своей внутренней политикѣ исключительно дворянскими интересами, правительство Екатерины II не интересовалось народными нуждами и народомъ, привлекавшимъ его вниманіе, только—какъ плательщикъ государственныхъ налоговъ, да притомъ такой, съ котораго можно тянуть безъ конца, не вызывая никакого ропота и протеста. Обратимся къ фактамъ.

Въ сравненіи съ началомъ Екатерининскаго царствованія расходный бюджетъ къ концу его увеличился болѣе чѣмъ въ 4 раза<sup>2)</sup>.

Параллельно этому пухъ и доходный бюджетъ, доведенный къ концу Екатерининскаго царствованія до почтенной цифры—73.110 т. руб. Какъ ни старались увеличивать доходы, — однако расходы росли быстрѣе. Дефицитъ скоро сталъ хроническимъ явленіемъ. Къ концу Екатерининскаго царствованія онъ достигъ 200.000 т. руб., для покрытія которыхъ приходилось обращаться къ помощи внѣшнихъ займовъ, достигшихъ къ 1796 году значительной суммы— 33.678 тысячъ рублей; или къ выпуску ассигнацій, когда не было другихъ средствъ пополнить образовавшійся дефицитъ. Впрочемъ, послѣднее средство, какъ болѣе гибкое и при томъ домашнее — стало обычнымъ финансовымъ приѣмомъ русскихъ госу-

<sup>1)</sup> Въ 1762 году было израсходовано 1.753 т. руб.

» 1796 » » » 8.760 т. руб.

<sup>2)</sup> Въ 1762 году было израсходовано 16.500 т. руб.

1796 » » » 78.160 т. руб.



дарственных дѣятелей, не обращавших вниманія на то, что чрезмѣрный выпускъ бумажныхъ денегъ производитъ страшныя опустошенія въ народномъ хозяйствѣ, разрушая и сбивая всѣ хозяйственные расчеты и планы населенія. Но государственные дѣятели жили съ закрытыми глазами, предпочитая катиться по наклонной плоскости, не утруждая себя думать о будущемъ, а только заботясь объ удовлетвореніи финансовыхъ потребностей даннаго момента.

Отъ преемниковъ Екатерины II государственное хозяйство требовало большей осторожности, какъ въ расходованіи народныхъ средствъ, такъ и въ изысканіи новыхъ источниковъ денежныхъ поступленій. Мысль о необходимости и своевременности бережливости была имъ не чужда, но, къ сожалѣнію, это скорѣе чувствовалось, чѣмъ сознавалось; а на практикѣ сынъ и внукъ вели государственное хозяйство въ духѣ и направленіи ихъ предшественники.

И Павелъ и Александръ вели чрезвычайно интенсивную внѣшнюю политику, вмѣшивались въ европейскія отношенія, участвовали во всѣхъ коалиціяхъ противъ Наполеона подъ знаменемъ порядка, законности и «политическаго равновѣсія», однако не думая о томъ, сколько стоило народу это увлеченіе «играть» первую роль въ Европѣ, въ сонмищѣ державъ, державшихъ бороться съ Наполеономъ. Увлеченное идеей политическаго равновѣсія правительство Александра I создало походъ Наполеона въ Россію, правда, окончившійся для него крахомъ, но за то оставившій неизгладимые слѣды на народномъ и государственномъ хозяйствѣ.

Правительство Александра I не только не сумѣло быть бережливымъ даже въ первые годы царствованія и сократить расходы по нѣкоторымъ производительнымъ статьямъ (армія, флотъ, дворъ), но даже увеличило доходный и расходный бюджеты въ сравненіи съ Екатерининскимъ царствованіемъ. Все вниманіе правительства было сосредоточено на покрытіи дефицитовъ, причемъ оно поступало также легкомысленно и неразборчиво, какъ и правительство Екатерины II. По-прежнему обращались къ выпуску ассигнацій — ставшихъ главнымъ источникомъ пополненія дефицитовъ, такъ какъ внѣшній заемъ, вслѣдствіе дороговизны капитала на Западѣ и слабой кредитоспособности Россіи, былъ фактически недоступенъ для насъ. Въ теченіе первыхъ девяти лѣтъ новаго царствованія было выпущено ассигнацій на сумму 326.694.546 р., а всего состояло въ обращеніи 579.373.780 руб.; въ зависимости отъ чего и ассигнаціонный рубль потерялъ  $\frac{1}{5}$  своего нарицательнаго достоинства.

Внѣшняя политика первыхъ лѣтъ царствованія Александра I привела государство почти къ полному финансовому банкротству. Чувствовавшаяся въ воздухѣ новая война заставляла правительство подумать о приведеніи въ порядокъ финансовъ, безъ которыхъ никакія войны были бы невозможны. Такой проектъ и былъ составленъ М. М. Сперанскимъ. Сущность плана Сперанскаго заключалась не только въ намѣреніи приподнять цѣнность ассигнацій, но и возвысить ихъ до ихъ нарицательнаго достоинства. Согласно его проекту всѣ ассигнаціи объявлялись государственнымъ долгомъ, обеспеченнымъ всѣмъ достояніемъ государства. Для поднятія ихъ курса рекомендовалось уменьшеніе общаго количества ассигнацій, находившихся въ обращеніи. Съ этой цѣлью предполагалось прекратить

дальнѣйшіе выпуски ассигнацій и начать распродажу государственныхъ имуществъ, назначенныхъ для погашенія ассигнацій, установить также новые налоги на погашеніе ассигнацій, а, главное, сократить вообще расходы. На погашеніе ассигнацій были отведены государственныя имущества въ 46 внутреннихъ губерніяхъ и 8 западнаго края. Но указанная реформа не достигла цѣлей: а) распродажа государственныхъ имуществъ шла очень медленно и не дала желательныхъ результатовъ; б) сокращеніе расходовъ фактически было невозможно въ виду надвигавшейся новой войны съ Наполеономъ; в) министр финансовъ воспротивился введенію новыхъ налоговъ, указывая, что ему они нужны для покрытія текущихъ расходовъ. Къ выпуску новыхъ ассигнацій правительство было принуждено обратиться въ томъ же 1810 году. Всего было выпущено ассигнацій на 44,3 мил. рублей, такъ что въ обращеніи состояло 577.510.990 руб., выпускъ ассигнацій въ 1810 году правительство объявило послѣднимъ выпускомъ, но это торжественное обѣщаніе на самомъ дѣлѣ оказалось невыполнимымъ.

Для этого правительству пришлось бы отказаться отъ борьбы съ Наполеономъ, что было выше силъ Александра I. Поэтому, готовясь къ войнѣ и озабочиваясь объ образованіи денежнаго фонда для предстоящей войны, правительство выпустило ассигнаціи<sup>1)</sup> и въ 1811 году, вопреки торжественному обѣщанію и сдѣлало также позаимствованіе изъ разныхъ кредитныхъ установленій. Благодаря такимъ героическимъ усиліямъ, въ 1811 году не только не было дефицита, а появился даже бюджетный остатокъ въ размѣрѣ 83.398.279 руб.

Наступилъ 1812 годъ. Близость войны всѣми уже чувствовалась. Правительство лихорадочно готовилось къ войнѣ, укрѣпляя старыя крѣпости и создавая новыя, приводя армію въ состояніе полной боевой готовности. А между тѣмъ финансовое хозяйство страны было прямо-таки отчаяннымъ, да и вообще народное хозяйство было неудовлетворительно. Въ 1811 году во многихъ губерніяхъ горѣли села и города. Населеніе, и безъ того разоренное финансовой политикой правительства, терпѣло миллионныя убытки. Въ большинствѣ черноземныхъ губерній въ томъ же году былъ неурожай. Можно удивляться той безопасности, съ какой правительство стремилось довести себя до разрыва съ Наполеономъ, совершенно не озабочиваясь вопросомъ, въ какомъ положеніи находилась страна. При такихъ плохихъ предзнаменованіяхъ приходилось составлять смѣту въ 1812 году, въ которой расходы на армію и флотъ были увеличены на 43 мил. въ сравненіи съ бюджетомъ предыдущаго года. Но отечественная война разстроила всѣ смѣтныя предположенія. Расходъ въ 1812 году выразился въ колоссальной суммѣ — 342.192.564 руб. при доходѣ въ 270.981.872 руб. Получился огромный дефицитъ въ 91.210.692 руб. Для покрытія военныхъ расходовъ примѣнялись тѣ же средства, какъ и раньше, въ видѣ новаго выпуска ассигнацій<sup>2)</sup>, позаимствованій изъ разныхъ кредитныхъ установленій. Кромѣ того, были выпущены краткосрочныя обязательства на сумму 6 мил., потомъ 10 мил. изъ 6<sup>0</sup>/<sub>0</sub> годовыхъ. Увеличили прямые налоги. Крестьянское населеніе должно было платить теперь подушную подать въ размѣрѣ трехъ рублей. Одновременно была увеличена подушная по-

<sup>1)</sup> На сумму 2.020.520 руб.

<sup>2)</sup> На сумму 64.500.00 руб.

дать съ цеховыхъ и мѣщанъ. Параллельно увеличенію подушной подати росли также и оброчные сборы, размѣры которыхъ, по мнѣнію правительства, не соответствовали дѣйствительной доходности съ разныхъ угодій, о чемъ можно было судить на основаніи оброка помѣщичьихъ крестьянъ, дѣйствительно сильно увеличившагося къ концу XVIII вѣка. Для этой цѣли еще въ 1806 г. была организована особая комиссія, «которая разобрала бы не только губерніи и уѣзды, въ коихъ коренные крестьяне жительствоуютъ, но koliko возможно ближе и самыя въ нихъ волости населенія, узнала каждую изъ нихъ выгоды и невыгоды и въ чемъ одни передъ другими преимуществуютъ, сравнила оныя съ помѣщичьими крестьянами, какой они въ тѣхъ мѣстахъ оброкъ платятъ, и, такимъ образомъ, раздѣливъ крестьянъ казенныхъ по различію мѣстнаго ихъ положенія, промысловъ и другихъ выгодностей, составила изъ того общій планъ или опредѣленіе, кого въ какой окладъ ввести, по мѣрѣ ихъ выгодностей и въ сравненіи съ помѣщичьими крестьянами». О работахъ этой комиссіи ничего неизвѣстно, но уже по манифесту 2 февраля 1810 года было велѣно взимать съ казенныхъ крестьянъ сверхъ существующей оброчной подати — дополнительные сборы въ 3 р., 2 р. 50 к. и 2 р. съ ревизской души; при этомъ всѣ губерніи были раздѣлены на 4 класса. Въ 1812 году по манифесту 11-го февраля «для утвержденія и возвышенія государственнаго кредита» оброчная подать съ казенныхъ крестьянъ была вновь увеличена на 2 рубля, и крестьянамъ по отдѣльнымъ губерніямъ, въ зависимости отъ принадлежности ихъ къ тому или другому классу, приходилось на одну ревизскую душу платежа оброка: 10 р., 9 р., 8 р. и 7 р. 50 копеекъ.

Установленные, такимъ образомъ, оклады оставались безъ всякаго измѣненія до конца царствованія Александра I. Въ поискахъ денегъ правительство не оставило безъ вниманія и купечество, освобожденное еще въ Екатерининское царствованіе отъ платежа подушной подати и вносившее 1% съ объявленнаго капитала. Уже во время второй коалиціи правительство Александра I повысило размѣры гильдейскихъ капиталовъ и одновременно увеличило взимаемый съ нихъ процентный сборъ. Въ 1812 году по манифесту 11-го февраля съ объявленныхъ купеческихъ капиталовъ было предписано взимать 3% дополнительные и кромѣ того, была установлена ежегодная пошлина съ листа купеческихъ книгъ. Увеличивая промышленное обложеніе для купечества, правительство постановило, чтобы и крестьяне, занимающіеся торговлей, брали особыя свидѣтельства на производство торговли съ уплатой за нихъ: 2.500 руб., 1.000 руб. и 400 руб. •

Впрочемъ, правила 11-го февраля скоро прекратили свое дѣйствіе. Само правительство убѣдилось въ томъ, что «наложенная на торгующихъ крестьянъ подать весьма для нихъ отяготительна, ибо съ торгомъ большей части изъ нихъ несоразмѣрна», и въ декабрѣ 1812 г. были сдѣланы кой-какія измѣненія и дополненія. Правительство прекрасно понимало, что указъ 11-го февраля окончательно убьетъ крестьянскую торговлю, такъ какъ крестьянство, разоренное войной и обложенное разными дополнительными сборами, конечно, будетъ не въ состояніи выбирать требуемыя для торговли промысловыя свидѣтельства. Кромѣ того, всякаго рода стѣсненія для крестьянской торговли существенно задѣвали и экономическіе интересы дворянства, которое сумѣло въ своихъ собственныхъ выгодахъ



учесть участіе крестьянъ въ торговлѣ, путемъ оброчныхъ платежей. Правительственное распоряженіе било дворянство по карману и дѣлало само правительство непопулярнымъ въ широкихъ слояхъ дворянства. Этимъ и объясняется, почему правительство поспѣшило отмѣнить правила 11-го февраля, оставивъ торговлю всѣми свойственными быту крестьянъ промыслами, отъ всякаго сбора. Кромѣ того, для удобства «проѣзжихъ и для удовлетворенія крестьянскихъ нуждъ» разрѣшалось торговать въ лавкахъ и лабазахъ, сверхъ сельскихъ припасовъ и другими предметами, покупая ихъ въ городахъ и на ярмаркахъ. Только если стоимость скупленныхъ товаровъ превышала 2.000 руб.,—необходимо было взять промысловое свидѣтельство.

Для увеличенія доходныхъ ресурсовъ правительство въ 1812 году рѣшилось даже на героическую мѣру. Оно рѣшило обложить помѣщичьи доходы, такъ какъ «къ уплатѣ государственныхъ долговъ всѣ состоянія имѣютъ равную обязанность участвовать по мѣрѣ ихъ достоянія». Къ сбору были привлечены удѣльные имѣнія, а также принадлежавшія особамъ императорской фамиліи. Обложенію подлежалъ весь доходъ, получаемый со всѣхъ доходныхъ статей.

Въ общемъ, подушная подать и разнаго рода оброчные платежи составляли основную часть доходнаго бюджета. Такой же характеръ сохранили и бюджеты послѣдующихъ годовъ. Помимо увеличенія прямыхъ налоговъ правительство также увеличило вдвое и питейные сборы, благодаря производству новыхъ торговъ на откупа. Возобновленіе нормальныхъ торговыхъ оборотовъ и возвратъ къ протекціонизму увеличили таможенные доходы. Кромѣ питейнаго сбора важную часть бюджета составлялъ соляной налогъ. Ради его увеличенія правительство отказалось отъ монополіи и разрушило вольную продажу соли.

И ожиданія правительства оправдались: соляные доходы росли. Такимъ образомъ, въ тяжелую годину населеніе до крайности напрягало свои платежныя силы и дало правительству необходимыя средства для борьбы съ «великой арміей». Благоразуміе требовало отъ правительства заключенія мира съ оставившимъ страну врагомъ. Къ сожалѣнію, благоразумія этого у него не оказалось. Предпринимая по личному желанію походъ въ Европу, Александръ своей форсированной внѣшней политикой довелъ государственное хозяйство почти до полного банкротства. Страна жила дефицитами, покрытыми только усиленными выпусками ассигнацій, благодаря чему курсъ понизился до  $25\frac{1}{5}\%$ .

Паденіе курса произвело на правительство ошеломляющее впечатлѣніе, и въ цѣляхъ его поднятія оно нашло въ 1812 году своевременнымъ узаконить биржевой курсъ ассигнацій.

Великія войны съ Наполеономъ окончательно разстроили государственное хозяйство. Истощенная страна не могла текущими поступленіями покрывать расходы, и ежегодный выпускъ ассигнацій сталъ хроническимъ явленіемъ въ Россіи, лишній разъ подчеркивая, что шумная внѣшняя политика Александра истощила платежныя силы населенія и довела государство до полного банкротства. Забросивъ въ 1811 году планъ Сперанскаго о выкупѣ ассигнацій, правительство въ виду низкаго курса ( $20\%$ ) снова къ нему обратилось, и министру финансовъ Гурьеву героическими усиліями удалось уменьшить ихъ количество на сумму

229,3 мил. руб. Нѣкоторое уменьшеніе количества ассигнацій и улучшеніе торговаго баланса въ связи съ поворотомъ въ сторону запретительныхъ тарифовъ, подняло курсъ ассигнаціоннаго рубля до  $28\frac{1}{3}\%$ . Словомъ, благодаря внѣшней политикѣ правительства, совершенно несоотвѣтствовавшей реальнымъ интересамъ народа, въ странѣ прочно установилось бумажно-денежное обращеніе, чрезвычайно разорительное для народнаго хозяйства и сильно стѣснившее развитіе нашего международнаго товарообмѣна. Но всю финансовую тяжесть войны вынесъ на себѣ народъ, платившій увеличенныя подушныя и оброчныя подати, покупавшій у казны соль и спиртные напитки. Отдавая все правительству, русскій крестьянинъ во время войны и послѣ нея велъ полуголодное существованіе.

### ВОЙНА И ПРАВОВЫЯ УСЛОВІЯ.

Въ декабрѣ 1812 года послѣдніе остатки «великой арміи» ушли въ Европу, и въ то же время поднимался чрезвычайной важности вопросъ — о продолженіи войны. Самъ Александръ I настаивалъ на дальнѣйшей борьбѣ. По его словамъ, въ Европѣ никогда не возстановится порядокъ, пока тамъ будетъ царствовать Наполеонъ. Ему вторили реакціонеры, окружавшіе государя, и мечтавшіе съ помощью русскаго оружія о возстановленіи повсюду стараго порядка; поддерживалъ его и Штейнъ въ надеждѣ освободить Пруссію отъ Наполеона и укрѣпить въ ней либеральныя начала, врагомъ которыхъ являлся французскій императоръ. По крайней мѣрѣ, онъ не разъ убѣждалъ Александра быть стойкимъ, перенести театръ войны въ Европу, начать войну за освобожденіе Европы, за торжество либеральныхъ началъ. Такія рѣчи возбуждали Александра I и только укрѣпляли мысль о цѣлесообразности дальнѣйшей борьбы. Начиная новую войну, Александръ не сумѣлъ или не хотѣлъ разобраться въ вопросѣ, насколько война соотвѣтствовала реальнымъ интересамъ страны. Александръ оставался вѣренъ самому себѣ. Опьяненный честолюбіемъ и желаніемъ быть первымъ лицомъ въ Европѣ, онъ рѣшилъ начать новую войну, не считаясь съ тѣмъ, можетъ ли подорванный народный организмъ выдержать новое напряженіе силъ, и только удалилъ отъ себя тѣхъ, кто находилъ замышляемый походъ бесполезнымъ и разорительнымъ для страны. Походъ начался подъ флагомъ «освобожденія и либерализма». Дѣйствительно, приниженнымъ Наполеономъ государствамъ удалось сбросить съ себя его власть, когда его героическія усилія выйти побѣдителемъ изъ борьбы съ цѣлой Европой окончились для него неудачно. Въ этомъ отношеніи — одна цѣль похода оказалась выполненной. За то другая была только красивой фразой. Либеральныя начала оказались не въ чести у европейскихъ монарховъ. Абсолютные владыки, сокрушивъ «гидру революціи», стали убѣжденными и страстными врагами всего того, что хотя бы отдаленно напоминало революціонную эпоху. Ихъ политика направлялась къ борьбѣ съ освободительными идеями. И освобожденные народы попали въ такіе тиски правительственныхъ мѣропріятій и воздѣйствій, что приходилось думать о новой борьбѣ «за освобожденіе», но только отъ своего правительства. Послѣднее чувствовало охватившее общество недовольство и чтобы уничтожить его съ корнемъ, окружило его бдительной опекой, постаравшись полицейскими распоряженіями и предписаніями сдѣлать невозможнымъ какое бы то ни было



проявленіе недовольства. Не избѣжала этой реакціи и Россія. Черной тучей нависла она надъ народомъ, принесшимъ столько жертвъ въ эпоху 12 года. Вся жизнь народа была овѣяна тьмой, и, казалось, не было никакой надежды на ея разсвѣтіе, пока Александръ I былъ убѣжденъ въ цѣлесообразности своей политики, сулившей столько несбыточныхъ надеждъ всѣмъ реакціонерамъ. И только разразившаяся послѣ смерти Александра гроза на минуту освѣжила душную атмосферу русской общественной жизни.

Европейская политика Александра и его союзниковъ направлялась актомъ священнаго союза. Правда, къ идеямъ этого акта люди практической политики какъ Меттернихъ, относились не иначе, какъ съ безусловнымъ отрицаніемъ, но зато видѣли въ немъ могучее оружіе для борьбы съ ненавистными имъ либеральными началами, посмѣиваясь въ душѣ надъ сентиментальнымъ политическимъ творчествомъ Александра. Въ концѣ концовъ и онъ усвоилъ практическіе пріемы своихъ учителей, ставъ во главѣ «реакціонной клики», вступившей въ послѣднюю борьбу съ либеральными началами.

Ни европейское ни русское общество долгое время совсѣмъ не знали Александра и его истинныхъ взглядовъ и политическихъ намѣреній. И только манифестъ отъ 1 января 1816 года опредѣленно говорилъ о настроеніи правительства, отъ котораго общество ждало либеральныхъ мѣропріятій. О нихъ манифестъ умалчивалъ, но зато призывалъ къ смиренію, ибо оно только одно «исправить наши нравы, загладить вину нашу передъ Богомъ, принесть намъ честь, славу и покажетъ свѣту, что мы никому не страшны, но и никого не боимся».

Такое настроеніе не предвѣщало ничего хорошаго. Русское общество насторожилось и стало ожидать дальнѣйшихъ мѣропріятій правительства. Ждать пришлось недолго. Уже въ слѣдующемъ году вѣдомство народнаго просвѣщенія соединили съ церковными дѣлами. Было образовано новое министерство «Духовныхъ дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія», во главѣ котораго былъ поставленъ кн. Голицынъ, человекъ, не отличавшійся никакими достоинствами, но зато въ угоду мистицизму измѣнившій своимъ вольнымъ религіознымъ убѣжденіямъ.

Задачей новаго министерства была реформа просвѣщенія, которое направлялось не по тому руслу, какое бы соотвѣтствовало правительственному настроенію. Манифестъ объ учрежденіи новаго министерства говоритъ о взглядахъ правительства на задачи просвѣщенія. Въ немъ слышится и отраженіе идей священнаго союза и январскаго манифеста. Правительство откровенно говорило о своемъ желаніи «дабы христіанское благочестіе было всегда основаніемъ истиннаго просвѣщенія». Составленная инструкция для вновь образованнаго при министерствѣ ученаго комитета возлагала на него тяжелую обязанность пропускать только такія книги, чтобы «мірское просвѣщеніе сдѣлалось христіанскимъ». Комитетъ долженъ быть очень остороженъ въ одобреніи книгъ. Онъ долженъ безжалостно вычеркивать въ книгахъ все, что такъ или иначе идетъ въ разрѣзъ съ христіанскимъ вѣроученіемъ. Такая инструкция не предвѣщала ничего хорошаго. Ученый комитетъ забраковалъ рядъ книгъ, одобрилъ только тѣ, которыя «ни по духу, ни по содержанію не противорѣчатъ началамъ христіанства». Затѣмъ ученый комитетъ рѣшилъ измѣнить учебные планы для приходскихъ и уѣздныхъ



училищъ и гимназій. Учебные планы приходскихъ училищъ остались безъ измѣненій, но зато пострадали программы уѣздныхъ училищъ и гимназій. Такъ, изъ программъ уѣздныхъ училищъ были вычеркнуты: начальныя правила естественной исторіи и технологии. Въ гимназіяхъ увеличивалось количество уроковъ по Закону Божьему. Комитетъ полагалъ необходимымъ чтеніе Евангелія отъ Матѳея съ дополненіями изъ другихъ евангелистовъ и знакомство съ началами христіанской этики, но изъялъ курсъ статистики русской и всеобщей, начальный курсъ философіи, начальныя основанія политической экономіи, технологии и наукъ, относящихся до торговли. Затѣмъ ученый комитетъ принялся за университеты. Всѣ его распоряженія преслѣдовали одну цѣль: убить свободу преподаванія, превращая науку въ орудіе для цѣлей, не имѣющихъ никакого отношенія къ наукѣ. Комитетъ полагалъ необходимымъ пересмотрѣть курсъ предметовъ, преподаваемыхъ въ университетѣ; находилъ необходимымъ въ корнѣ пресѣчь вредное преподаваніе «для утвержденія воспитанія на христіанскомъ благочестіи и для непремѣннаго соединенія вѣдѣнія съ вѣрою». Съ послѣдней точки зрѣнія комитетъ признавалъ особенно вреднымъ преподаваніе естественнаго права, выводы котораго идутъ въ разрѣзъ съ христіанскимъ вѣроученіемъ. Впрочемъ, не всѣ члены комитета предлагали исключить естественное право изъ цикла наукъ, преподаваемыхъ въ университетѣ. Нѣкоторые изъ нихъ соглашались на его оставленіе, только содержаніе его должно быть совершенно другое. Преподаваніе предмета должно было свестись къ критикѣ естественнаго права съ точки зрѣнія закона «Откровенія», ибо «Законъ Откровенія есть единственная истинная мѣра потребностей, правъ и обязанностей человѣческихъ». Держась такого взгляда на задачи университетскаго преподаванія, комитетъ приступилъ къ ревизіи и реформѣ университетовъ. Больше всего реформаторская дѣятельность комитета отразилась на Казанскомъ университетѣ, и душою комитета былъ будущій попечитель Казанскаго учебнаго округа — Магницкій. Другъ Сперанскаго въ эпоху его реформаторскихъ плановъ Магницкій во-время успѣлъ отречься и отъ Сперанскаго и отъ конституціонныхъ идей, уже не пользовавшихся благосклонностью государя. Это дало ему мѣсто губернатора въ Симбирскѣ, гдѣ онъ прославился своимъ неистовымъ истребленіемъ вредныхъ, по его мнѣнію, книгъ. Познакомившись бѣгло съ Казанскимъ университетомъ, Магницкій нашелъ его существованіе бесполезнымъ, въ виду постановки преподаванія, идущей въ разрѣзъ съ планами Ученаго комитета. Охваченный негодованіемъ и ужасомъ, Магницкій предложилъ его совсѣмъ уничтожить, но это варварское предложеніе было отклонено Александромъ, предложившимъ вмѣсто разрушенія — его исправленіе, причемъ послѣднее возлагалось на Магницкаго. Приступая къ реформѣ университета, Магницкій составилъ любопытную инструкцію, въ духѣ которой должно быть измѣнено университетское преподаваніе. Инструкція признаетъ необходимымъ преподаваніе наукъ: философскихъ, политическихъ, медицинскихъ, естественныхъ, физикоастрономіи, словесности, исторіи, древнихъ и восточныхъ языковъ. Но основаніемъ философіи должны служить посланія апостола Павла къ Колосаямъ и Тимофею. Начала политическихъ наукъ слѣдовало бы извлекать изъ Моисея, Давида, Соломона, отчасти изъ Платона и Аристотеля

«съ отвращеніемъ указывая на правила Махіавеля и Гоба». Боссюэтъ съ его провиденціализмомъ долженъ стать руководствомъ при изложеніи всеобщей исторіи, и при преподаваніи родной исторіи успѣхи Россіи въ истинномъ просвѣщеніи надо было объяснять законодательными мѣрами Владимира Мономаха. При изученіи древнихъ языковъ необходимо знакомить съ произведеніями свято-отеческой литературы: Іоанна Златоуста, Василия Великаго. Тѣ же начала должны были лечь въ основу преподаванія физическихъ и медицинскихъ наукъ.

Такъ профессоръ физики въ продолженіе всего своего курса обязанъ указывать на премудрость Божію и на ограниченность человѣческаго знанія. Профессора медицинскаго факультета должны были въ лекціяхъ бороться съ матеріализмомъ, доказывая, что искусство врачеванія, безъ духа христіанской любви и милосердія, — есть только ремесло. Словомъ, инструкція возвращалась къ средневѣковой точкѣ зрѣнія, подчинявшей науку богословію, и ставила своей задачей воспитать молодое поколѣніе на началахъ истинной христіанской вѣры. Не забывалъ реформаторъ и вопросы этики; впрочемъ, разрѣшалъ ихъ довольно просто, высказывая убѣжденіе, что «душа воспитанія и первая добродѣтель есть покорность». Поэтому директоръ университета, на обязанности котораго лежало нравственное воспитаніе учащейся молодежи, — долженъ смотрѣть, «чтобы студенты могли видѣть вокругъ себя только примѣры покорности и самаго строгаго чинопочитанія». На того же ректора возлагались и полицейскія функціи — слѣдить, чтобы среди студентовъ не появлялся духъ вольнодумства, могущій ослабить ученія церкви въ преподаваніи наукъ философскихъ и историческихъ или литературы. Реформа университетскихъ преподаваній въ духѣ этой инструкціи привела къ разгрому университета. Профессоры, дорожившіе своимъ достоинствомъ, конечно, не могли остаться и преподавать по рецепту Магницкаго, но послѣдній не растерялся при видѣ опустошеннаго университета. И всѣ мѣста были немедленно замѣщены лицами, способными читать, что угодно, и по какой угодно программѣ. Для нихъ свобода науки — пустой звукъ; угожденіе начальству — сущность ихъ идеаловъ. Результатами своей реформы Магницкій могъ быть доволенъ. Университетъ, имѣвшій въ профессорской корпораціи немало почтенныхъ именъ и пріобрѣвшій репутацію, превратился въ исправительное учебное заведеніе, гдѣ учившихся исправляли и воспитывали въ духѣ смиренія и покорности, чинопослушанія и почтенія къ старшимъ, преданности престолу и ненависти къ свободному знанію, въ духѣ религіозности, благодаря которой университетъ сталъ похожимъ на монастырь съ суровыми обычаями и обрядами. Впрочемъ, ихъ выполняли только по внѣшности, а на дѣлѣ въ той монашеской общинѣ царили лицемеріе, ханжество, лживость, распущенность, отсутствіе опредѣленныхъ нравственныхъ началъ.

Въ меньшей степени коснулась реакція Харьковского и Петербургскаго университетовъ. Изъ перваго былъ удаленъ за границу профессоръ Шадъ, читавшій курсъ философіи, но общей «реформы» университета не было, и новый курсъ министерства не сказался рѣзко на Харьковскомъ университетѣ. Болѣе пострадалъ вновь открытый Петербургскій университетъ. Изъ него были удалены нѣсколько профессоровъ, лекціи которыхъ не соотвѣтствовали видамъ и на-

строенію правительства. Профессору Арсеньеву, читавшему статистику, были поставлены въ вину его радикальныя сужденія о крѣпостномъ правѣ, такъ какъ онъ находилъ, что свободный трудъ производительнѣе крѣпостного, и доказывалъ, «что для поощренія къ большей дѣятельности нѣтъ лучшаго надежнѣйшаго средства, какъ совершеннѣйшая, неограниченная ничѣмъ гражданская личная свобода — единый истинный источникъ величія и совершенства всѣхъ родовъ промышленности». А вѣдь было время, когда и самъ Александръ думалъ объ отмѣнѣ крѣпостного права, а теперь чисто теоретическое просвѣщеніе примѣнительно къ началамъ народнаго хозяйства считалось уже преступленіемъ. Проф. Галичу поставили въ вину изложеніе системы Шеллинга, идеи котораго противорѣчили началамъ христіанства и взглядамъ правительства на отношеніе вѣры къ знанію. Арсеньевъ и его товарищи были отданы подъ судъ, но вздорность обвиненія призналъ даже Николай I, котораго никоимъ образомъ нельзя обвинить въ либерализмъ; недаромъ онъ приказалъ прекратить это дѣло. Но все-таки нѣсколько видныхъ ученыхъ составлявшихъ украшеніе университета, были удалены, и живая свободная мысль перестала высказываться съ кафедръ, но зато Магницкіе и Руничіи могли радоваться и воскуривать фиміамъ во славу мракобѣсія и невѣжества, прикрывшись идеями священнаго союза и необходимостью согласовать воспитаніе и науку съ началами христіанской вѣры.

Объявляя войну просвѣщенію, правительство вообще должно было сдѣлать то же по отношенію ко всему обществу, въ средѣ котораго какъ разъ жила и укрѣплялась любовь къ той философіи и къ тѣмъ политическимъ началамъ, отъ которыхъ елейно настроенное правительство приходило въ негодованіе и впадало въ ужасъ. Распространить въ обществѣ дорогіе сердцу правительства идеалы — было невозможно. Это понимало даже правительство того времени. Но возможно предупредить ихъ дальнѣйшее углубленіе и расширеніе, возможно спасти другихъ отъ соблазна и оставить въ лонѣ христіанской церкви. И вотъ начался жестокій полицейскій походъ правовѣрно-мыслящихъ на еретиковъ и «космополитовъ», къ которымъ правительство причислило всѣхъ, кто только былъ не съ нимъ. Русское правительство никогда не относилось съ довѣріемъ къ общественной мысли изъ боязни встрѣтить въ ней непримиримаго врага его начинаній и дѣйствій. Проявленія общественной мысли не допускали ни философъ-императрица Екатерина II, ни Павелъ; но и въ этомъ отношеніи «нелюбимый сынъ» шелъ по дорогѣ, проложенной матерью, хотя ему не всегда нравились ея начинанія. И сентиментальный романтикъ, республиканецъ на словахъ и убѣжденный абсолютистъ въ душѣ, Александръ I не довѣрялъ общественной мысли даже въ тотъ моментъ, когда правительство въ лицѣ Павла I стало прямо-таки ненавистнымъ, а Александръ I не искреннимъ либерализмомъ старался привлечь на свою сторону симпатіи общества, что ему отчасти и удалось. Цензурный уставъ 1804 года, конечно, во многомъ либеральнѣе по сравненію съ другими цензурными уставами, но принципиальная его точка зрѣнія остается старой: обществу разрѣшается высказывать свои мысли только съ соизволенія правительства. Вводя всякаго рода



стѣсненіе и ограниченія, новый уставъ однако допускаетъ «скромное и благо-разумное изслѣдованіе всякой истины — относящейся до вѣры и челоуѣчества, гражданскаго состоянія, законодательства, государственнаго управленія или какой бы то ни было отрасли правительства». Уставъ забылъ прибавить, что свободныя разсужденія допускаются только въ томъ случаѣ, если они не противорѣчатъ видамъ правительства. Тѣмъ не менѣе современники отнеслись сочувственно къ уставу. Ихъ подкупалъ доброжелательный, снисходительный тонъ устава. Находили возможность восхвалять цензуру, «которою не стѣсняется свобода мыслить и писать». Благодѣтельность цензуры, впрочемъ, сказалась довольно скоро. Уже послѣ Тильзитскаго мира фактически стало невозможнымъ появленіе на книжномъ рынкѣ книгъ, относящихся враждебно къ франко-русскому союзу и континентальной системѣ. Рынокъ былъ заваленъ исключительно памфлетами-панегириками союзу и системѣ. Съ учрежденіемъ министерства полиціи въ его вѣдѣніе была отдана и цензура, а съ 1819 года она перешла въ вѣдомство министерства внутреннихъ дѣлъ. Во время войны 1812 года цензурный уставъ 1804 года почти не дѣйствовалъ — мѣсто его заняло усмотрѣніе правительства, допускавшаго только одностороннее выраженіе своихъ мнѣній. Послѣ наполеоновскихъ войнъ уставъ 1804 года оказался слишкомъ либеральнымъ и не соотвѣтствовавшимъ новому курсу правительства. Уже составъ комиссіи для преобразованія цензуры ясно говорилъ о характерѣ будущаго устава. Въ нее вошли: Руничъ, Магницкій, графъ Лаваль... Комиссія въ новомъ цензурномъ уставѣ видѣло могучее средство «противодѣйствія пагубному духу времени, выходившемуся въ политическихъ потрясеніяхъ Европы, обнаружившихъ сильное вліяніе и на общественное мнѣніе, и на литературу». Ея задачи вполне совпадали съ дѣлами Священнаго союза. Новый цензурный уставъ нѣсколько запоздалъ съ появленіемъ въ свѣтъ, словно авторы его боялись познакомить общество съ своимъ дѣтищемъ... Проектъ его былъ составленъ только къ 1823 году, а самый уставъ съ нѣкоторыми измѣненіями былъ введенъ въ дѣйствіе только въ 1826 году, когда курсъ правительства принялъ еще болѣе опредѣленное направленіе. Отъ проекта устава, общество конечно, не могло ждать ничего хорошаго: его цѣли сводились къ обузданію своевольныхъ и неосновательныхъ мыслей» — «огражденію троновъ, алтарей, народной нравственности и личной чести отъ всякаго преступнаго на нихъ покушенія невѣрія и лже-мудрія»; уставъ долженъ былъ лишить возможности высказывать печатно свои взгляды, такъ какъ разрѣшеніе на печатаніе всецѣло зависело отъ усмотрѣнія цензоровъ, иногда безмѣрно усердствовавшихъ въ отысканіи «губительныхъ» началъ. Немудрено, что даже завѣдомые реакціонеры, какъ Булгаринъ, и тѣ жаловались на строгости цензуры и говорили о полной невозможности отдавать свои силы литературѣ, такъ какъ цензура не давала разрѣшенія на печатаніе такихъ произведеній, гдѣ даже самое придиричливое отношеніе къ рукописи должно было найти ее вполне благонадежной.

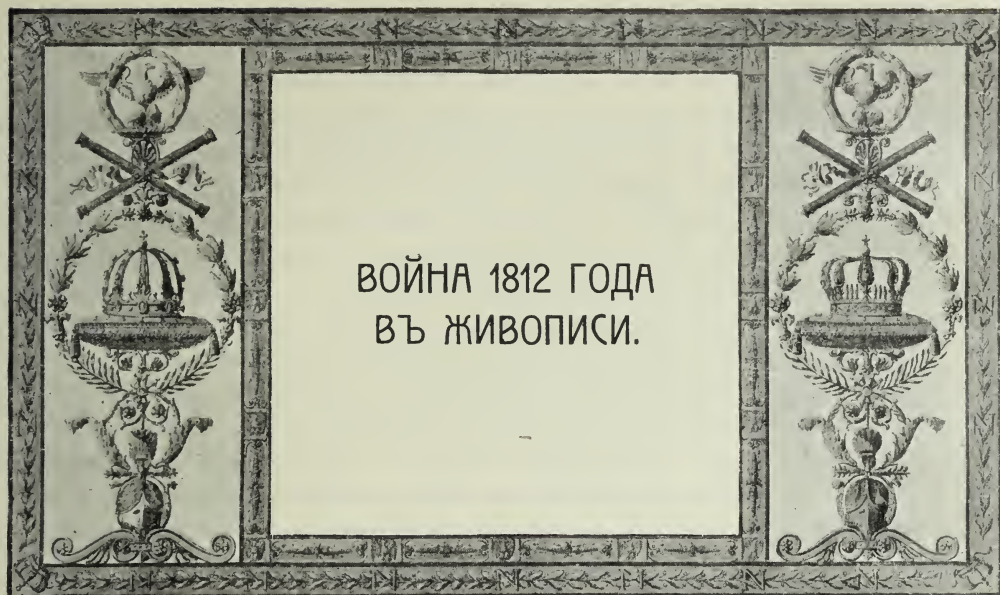
Понося гордость и проповѣдуя смиреніе духа, правительство должно было выразить болѣе точно свой взглядъ и на многіе другіе государственно-правовые вопросы. Въ этомъ отношеніи интереснѣе всего отношеніе Александра I къ крестьянскому вопросу. Ненавистникъ, и несомнѣнно искренній, крѣпостного права

въ первые годы своего царствованія Александръ I кончилъ тѣмъ, что запретилъ обсужденіе этого вопроса, столь важнаго для соціально-экономической жизни страны. Послѣ войны 1812 года, когда актъ Священнаго союза убѣждалъ государей въ отношеніи къ своимъ подданнымъ руководиться христіанскими началами, собственно, соціальныи вопросъ былъ снятъ съ очереди. Зачѣмъ было разрѣшать его, создавать новыя юридическія отношенія крестьянъ къ помѣщикамъ, разъ христіанскія чувства должны стать основой отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ? Такъ думали масоны и мистики, имъ вторилъ Александръ, а Карамзинъ прибѣгалъ къ сомнительнымъ историческимъ доказательствамъ, часто переходившимъ въ софизмъ, необходимости существованія крѣпостного института. Всѣ они какъ-то закрывали глаза на реальную дѣйствительность или совершенно не желали видѣть того, что окружало ихъ. А дѣйствительность говорила о необходимости скорѣйшаго разрѣшенія крестьянскаго вопроса. Недаромъ крестьяне были убѣждены въ полученіи свободы въ 1812 году либо отъ Наполеона, либо отъ русскаго правительства. Впрочемъ, крестьянская реформа въ прибалтійскомъ краѣ, проведенная въ 1816—1819 годахъ, какъ бы противорѣчитъ основнымъ принципамъ Александра въ соціальномъ вопросѣ. Но это только внѣшнимъ образомъ, ибо необходимость урегулированія отношеній крестьянъ къ помѣщикамъ въ прибалтійскомъ краѣ сознавалась правительствомъ еще до войны 1812 года. Да и сама реформа дала крестьянину только личную свободу. Земля оставалась въ рукахъ помѣщика — отчего сама реформа повела къ полному обезпеченію дворянъ и разоренію крестьянства. Ничего не отнимая у дворянства, она тѣмъ не менѣ вызвала немало ропота и недовольства. Русское же крестьянство, силами и страданіями котораго была спасена страна отъ нашествія «великой арміи», вмѣсто ожидаемаго законнаго освобожденія, должно было всецѣло положиться на христіанскія чувства своихъ господъ, имѣвшихъ впослѣдствіи дать отчетъ въ своихъ грѣхахъ передъ престоломъ Всевышняго, что, впрочемъ, нисколько не удерживало ихъ отъ злоупотребленій крѣпостнымъ правомъ. Таковъ итогъ соціальной политики правительства Александра I послѣ войны 1812 года; но за то оно приобрѣло довѣріе большей части російскаго дворянства, вполне раздѣлявшаго затаенныя его мечты.

Объявляя войну просвѣщенію, сковывая цензурными цѣпями свободное слово, признавая бесполезнымъ отміну крѣпостного права, правительство только обнаруживало свой страхъ передъ общественнымъ мнѣніемъ. Близорукая политика правительства, преслѣдовавшаго исключительно реакціонныя цѣли, настраивала оппозиціонно болѣе чуткую часть общества. Лишенное возможности воздѣйствовать на власть законными средствами, оно готовилось измѣнить политическія судьбы страны съ помощью государственнаго переворота, въ неуспѣхъ котораго оно было увѣрено. Но такъ дальше было жить нельзя, и люди предпочли пойти на вѣрную смерть въ надеждѣ, что ихъ смерть явится искупительной жертвой и заставитъ правительство дать другое направленіе своей политикѣ. Программа николаевскаго царствованія показала, что правительство осталось вѣрнымъ самому себѣ, будучи убѣждено «что Россія обладаетъ идеальнымъ государственнымъ строемъ и ни въ какихъ реформахъ не нуждается».

*В. Пичета.*





Искусство смотреть на войну съ двухъ разныхъ точекъ зрѣнія. Если художникъ вѣрить, что «есть упоеніе въ бою», онъ вкладываетъ батальное вдохновеніе въ своихъ героевъ, выдвигая на первый планъ подвиги личного мужества. Съ другой стороны, художника могутъ занимать темныя стороны войны, страданія, которыя несетъ она съ собою. Эти точки зрѣнія плохо совмѣстимы: страданіе омрачаетъ геройскіе подвиги; побѣдное торжество кажется чѣмъ-то ничтожнымъ и внѣшнимъ передъ лицомъ смерти.

Оба теченія существуютъ въ искусствѣ рядомъ. Но въ наше время и живопись, и поэзія все чаще, ярче и богаче воплощаютъ моментъ страданія; все искусственнѣе и бѣднѣе становится изображеніе момента героизма. Какъ бы по привычкѣ, по старой памяти, берутся еще художники за изображеніе военныхъ подвиговъ, руководясь при этомъ не вдохновеніемъ, а давностью освященнымъ шаблономъ. Кисть и рѣзецъ остаются холодными, и зритель проходитъ равнодушно мимо произведеній, не согрѣтыхъ чувствомъ художника. Мы стали гуманнѣе: намъ непріятенъ восторгъ передъ триумфальной колесницей, шествующей по трупамъ.

Батальная живопись идеализируетъ войну. Передъ нами стройно движутся огромныя массы, вдохновляемая высокою волею и свѣтлымъ умомъ полководцевъ. Это война по линейкѣ, война театральная. Всѣхъ ея ужасовъ, какъ-будто, не существуетъ.

Левъ Толстой — рѣшительный врагъ подобнаго художества. Въ сраженіяхъ, которыя проходятъ передъ нами при чтеніи его романа (отъ Шенграбена до Бородина), нѣтъ величественныхъ батальныхъ картинъ: все охвачено неурядицей, полно смертельными ужасами.



## I.

Существует общая схема для батальных картинъ. Изображеніе битвы дѣлится на двѣ части, точнѣе — на два района. На заднемъ планѣ, въ обстановкѣ, болѣе или менѣе соотвѣтствующей обстоятельствамъ мѣста и времени, развертывается главное дѣйствіе битвы — всегда шаблонно, всегда одинаково — у Гессе такъ же, какъ у Сальватора Розы и многихъ другихъ. Эта часть картины оставляетъ зрителя вполнѣ безучастнымъ, нагоняетъ на него скуку. На переднемъ планѣ выдвигается болѣе эффектная группа: герой картины, полководецъ, на бѣломъ конѣ, пластичнымъ движеніемъ руки указываетъ впередъ. Здѣсь, въ этой части картины царитъ величественное спокойствіе, эффектно контрастирующее съ бурей, которая, по замыслу художника, разыгрывается въ глубинѣ. Здѣсь, впереди, спокойныя позы, размѣренные движенія, здѣсь разумъ безсмысленнаго (и на такихъ картинахъ неодушевленнаго) тѣла — сражающейся арміи.

— Вамъ кажется, на первый взглядъ, случайнымъ, безсмысленнымъ все, что совершается на полѣ битвы? — какъ бы вопрошаетъ зрителя художникъ. Но взгляните на величіе полководцевъ, на ихъ высшее спокойствіе среди всеобщаго смятенія. Они все предвидѣли, они предусмотрѣли всѣ возможныя случайности.

Если художникъ сколько-нибудь талантливъ, зритель, быть-можетъ, обратитъ вниманіе на этотъ контрастъ смятенія и величавой увѣренности, но онъ останется передъ полотномъ настолько спокойнымъ, что, конечно, ему позавидовали бы сами полководцы, почтительно изображенные живописцемъ во всемъ ихъ ледяномъ великолѣпіи.

Чѣмъ точнѣе соблюдена эта безжизненная схема, тѣмъ слабѣе картина. Душа войны — не въ спокойныхъ и безтрепетныхъ генералахъ, находящихся къ тому же внѣ опасности; душа войны — въ ужасѣ страданій и смерти. Художнику стоитъ изобразить гдѣ-нибудь неподалеку отъ скачущихъ генераловъ раненаго, умирающаго, — и все вниманіе зрителя неудержимо притягивается этой второстепенной (по замыслу) группой. Зная это, художники нерѣдко отступаютъ отъ схемы и въ центрѣ композиціи изображаютъ группу солдатъ, окружающихъ раненаго. Въ такомъ отступленіи бываетъ повиненъ иногда даже самъ Гессе — классическій живописецъ по части воспроизведенія мирныхъ маневровъ или даже парадныхъ смотровъ подъ видомъ кровавыхъ битвъ.

Давно уже нѣтъ возможности изображать на одномъ полотнѣ цѣлыя сраженія. Условія, въ которыхъ велась война раньше, совершенно измѣнились, личная храбрость сражающихся уже не играетъ прежней роли въ общемъ ходѣ дѣла. Нельзя теперь воспроизводить въ батальныхъ картинахъ битву Александра Македонскаго съ персами, сохранившуюся въ великолѣпной помпейской мозаикѣ и позднѣйшихъ заимствованіяхъ. Александръ Великій въ бояхъ съ арміей Дарія подвергалъ себя совершенно такой же опасности, какъ всякій изъ его солдатъ; въ картинѣ, сохраненной на мозаикѣ, онъ такъ же, какъ другіе воины, скачетъ навстрѣчу смерти, — вѣдь смертью угрожаетъ ему каждое копье,

каждая стрѣла отступающихъ враговъ. И значеніе полководца, значеніе его личной отваги понятно въ такой битвѣ: онъ подаетъ примѣръ безстрашія, пренебреженія къ смерти, которое художникъ особенно подчеркнул тѣмъ, что изобразилъ своего героя безъ шлема; своимъ порывомъ онъ увлекаетъ солдатъ и наводитъ страхъ на персовъ. Все сраженіе ведется имъ: за нимъ стремятся впередъ, отъ него бѣгутъ. Поэтому въ композиціи есть и единство, и сила. И все же художникъ далъ не все поле сраженія, а только центръ его.

Если перейдемъ теперь къ войнѣ 1812 года, поскольку она отразилась въ батальныхъ картинахъ, сразу бросается въ глаза одна особенность: удивительное сходство всѣхъ этихъ картинъ, духовное сродство ихъ, особенно поражающее при различіи талантовъ и направленій. Нѣтъ ничего специфически французскаго у французскихъ художниковъ, но вполне интернаціональны и «баталии» русской кисти, точнѣе — кисти тѣхъ иностранцевъ, которые брались за иллюстрацію нашей отечественной войны.

Иное «Бородино» великолѣпно могло бы сойти за «Ватерлоо», если бы не нѣкоторыя особенности чисто-декоративнаго характера. А такія подробности художники-баталисты удивительно цѣнятъ; вѣроятно, остатокъ художественнаго чутія подсказываетъ имъ необходимость хоть чѣмъ-нибудь оживить мертвенныя фантазіи, дать имъ хоть какую-нибудь жизненную черту. Холмикъ, дерево, избушка — все это, если и прибавляется художникомъ самопроизвольно въ видѣ театральныхъ кулисъ, какъ бы приближаетъ выдуманную картину къ той дѣйствительности, съ которой она не имѣетъ ничего общаго. Если же и дѣйствительно имѣется въ мѣстности, гдѣ происходила изображаемая битва, какое-нибудь зданіе не совсѣмъ обычной архитектуры, въ родѣ Малоярославецкаго монастыря, можно заранѣе съ увѣренностью сказать, что каждый художникъ-баталистъ постарается изобразить это зданіе. Такимъ путемъ въ громоздкое цѣлое композиціи изготовители ея хотятъ внести близость къ дѣйствительности, которая рѣжетъ глазъ, и только съ большей наглядностью показываютъ убогую искусственность цѣлаго.

Отличительной чертой содержанія батальныхъ картинъ неизбѣжно является извѣстнаго рода шовинизмъ. Изображаются въ сущности не битвы, а «побѣды», «подвиги», различныя «побитія». Чтобы понять, до какой степени невысока художественная концепція произведеній такого рода, достаточно сравнить ихъ съ самыми обыкновенными лубками. Возьмите хотя бы лубокъ, изображающій одного изъ героевъ отечественной войны, «генераль-аншефа Николая Николаевича Раевского».

Генераль скачетъ на тяжелой, откормленной бѣлой лошади; обнаженную шпагу устремляетъ онъ къ непріятелю. Непріятель этотъ тутъ же, за спиною генерала, маршируетъ навстрѣчу русскимъ войскамъ; въ ближайшемъ сосѣдствѣ падаютъ раненые, очень похожіе, какъ и живые, на оловянныхъ солдатиковъ. На все это генераль обращаетъ мало вниманія: онъ повернулся лицомъ къ зрителю, какъ бы приглашая его ударить вмѣстѣ съ нимъ на врага. Отъ лубка нельзя требовать внутренней художественной правды, но тѣ же приемы лубка примѣняются батальными живописцами. И зритель спокойно отходитъ отъ картины въ полной увѣренности, что ничего подобнаго не было и не могло быть.



Возьмите хотя бы Скотти, художника, увѣковѣчившаго отечественную войну въ полотнахъ, весьма близкихъ по манерѣ къ лубку. Хотя бы Бородино въ его изображеніи. Дымъ тутъ, правда, застилаетъ отчасти глубину картины; на лубкахъ онъ образуетъ, обыкновенно, правильные и твердые шары, никому не мѣшающіе... Но въ этомъ, пожалуй, и вся разница: въ дыму тѣ же оловянные солдатики стоятъ неподвижно въ позахъ, изображающихъ движеніе, а на переднемъ планѣ, вмѣсто одного Раевского, скачутъ въ разныя стороны или стоятъ и мирно бесѣдуютъ генералы. И куда бы они ни скакали и что бы ни дѣлали, лица ихъ неизмѣнно обращены къ зрителю. О художественныхъ достоинствахъ подобныхъ вещей говорить не приходится. Итальянецъ Скотти, въ роли русскаго патріота, любитъ изображать побѣды надъ французами: его картины — это рядъ всяческихъ «разбитій»: «Разбитіе Нея», «Разбитіе Виктора», другія разбитія и, наконецъ, какъ апогей славы русскаго оружія, «разбитіе» самого Наполеона. Наполеонъ скачетъ на той же сытой бѣлой лошади, какъ бы взятой напрокатъ у одного изъ разбивающихъ русскихъ генераловъ, повторяя ихъ красивый жестъ вытянутой рукою; только жестъ этотъ направленъ не впередъ, какъ у побѣдителей, а назадъ по направленію къ горящему мосту на Березинѣ.

Скотти настолько проникнутъ русскимъ патріотизмомъ, что всѣ другія «разбитія» у него совершаются необыкновенно благополучно: побѣжденный смиренно приближается къ побѣдителю, а побѣдитель великодушно встрѣчаетъ его; здѣсь, на Березинѣ, вышло иначе, но въ этомъ виноватъ одинъ Наполеонъ. Элементарная композиція наивна, рисунокъ безпомощенъ и Скотти въ этихъ вещахъ почти не заслуживаетъ названія художника.

Другой иностранецъ — Гессе изъ Мюнхена — получилъ отъ Николая I заказъ увѣковѣчить отечественную войну. Это сдѣлало его русскимъ патріотомъ. Его холодныя и условныя полотна даютъ картину важнѣйшихъ моментовъ войны 1812 года. О нихъ трудно говорить порознь: различаются мелочи, подробности; по существу же все это — однообразно холодное, парадное и выдуманное цѣлое. Если въ памяти и остается отъ картинъ Гессе что-либо, то никакъ не общій «громъ побѣды», а лишь отдѣльныя второстепенныя сценки: фигура мужика, отскакивающаго отъ упавшей гранаты («Тарутино»), жители, покидающіе Смоленскъ, иногда поза раненаго... Впрочемъ, даже и раненые у Гессе, въ большинствѣ случаевъ, настолько принаряжены и приглажены, что хочется радоваться на ихъ благополучіе. Типичной для художника является каждая изъ его картинъ, настолько всѣ онѣ тождественны по существу. Беремъ для примѣра одну изъ картинъ, посвященныхъ Бородину. Въ пороховомъ дыму движутся пѣхота и кавалерія, соблюдая порядокъ, которому позавидовали бы на парадѣ. Маленькое нарушеніе есть только въ передней части картины: тутъ лежатъ два убитыхъ, да небольшое число раненыхъ, которыхъ, впрочемъ, уже подбираютъ. Центръ картины — генераль на бѣломъ конѣ, окруженный свитой, но выгодно выдѣленный изъ нея. Если бы не разница въ обмундировкѣ, трудно, невозможно даже было бы различить, гдѣ французы, гдѣ русскіе, — такъ спокойны всѣ эти карре, такъ безразлично сходятся и расходятся они. Ни малѣйшаго подъема нѣтъ даже въ скачущемъ отрядѣ кавалеріи. Это — инсценированная панорама,



всѣ участники которой знаютъ свое мѣсто и заученную позу и потому спокойны не менѣе, чѣмъ безжизненная бѣлая лошадь генерала.

И Скотти, и Гессе — иностранцы. Гессе къ тому же художникъ болѣе поздняго поколѣнія. Русскіе живописцы начала XIX вѣка обходятъ событія, связанные съ ходомъ войны 1812 года. Господствовавшій у насъ въ то время академическій классицизмъ подавлялъ самостоятельное проявленіе творчества. Трудно было нашимъ академистамъ браться за изображеніе сложныхъ событій, происходившихъ только что на глазахъ у всей Россіи.

Для французскихъ баталистовъ изображеніе войнъ Наполеона имѣетъ важное преимущество. Въ этихъ войнахъ есть центральная фигура, есть герой. Культъ Наполеона долженъ былъ отразиться въ искусствѣ. Художники такъ же увлекаются образомъ его, какъ и трагическимъ контрастомъ въ самой судьбѣ императора французовъ.

Но увлеченіе это не такъ сильно у современниковъ. Оно захватываетъ, главнымъ образомъ, художниковъ слѣдующаго поколѣнія, для которыхъ близкое прошлое покрылось уже дымкой романтизма, а трагическій конецъ морально возвысилъ Наполеона и придалъ ему ореолъ мученичества. Современники могли имѣть основанія для личной антипатіи къ нему; практической разсчетъ мѣшалъ имъ, кромѣ того, послѣ паденія первой имперіи прославлять развѣнчаннаго императора. Особенно понятно это относительно такого человѣка, какимъ былъ самый талантливый и самый холодно разсчетливый художникъ эпохи — Давидъ. Давидъ служилъ своею кистью и революціи, и Наполеону, и Бурбонамъ. Вполнѣ въ средствахъ художника были величаво-покойныя картины, изображавшія переходъ Наполеона черезъ Сень-Бернаръ или коронацію императора. Но Давидъ *не могъ* рассказать исторію гибели великой арміи въ снѣгахъ Россіи или трагедію паденія Наполеона: этому препятствовали не только соображенія карьериста, но и все его направленіе какъ художника... слишкомъ далека была онъ отъ всякихъ дѣйствительныхъ эмоцій, отъ всего живого.

Въ исторіи искусства французская школа живописи начала XIX вѣка носитъ названіе «классицизма». Нужно замѣтить, что то былъ классицизмъ въ самомъ дурномъ смыслѣ слова, въ смыслѣ внѣшняго, формальнаго подражанія античнымъ образцамъ при полномъ непониманіи ихъ внутренней прелести.

Требованіямъ внѣшней торжественности и прилизанной формы, характернымъ для этого «классицизма», не соответствовали такой простой и искренній элементъ, какъ человѣческое страданіе.

И другіе художники Наполеоновскаго времени, какъ Жераръ, какъ болѣе правдивый Гро, въ картинахъ котораго, посвященныхъ первому періоду политической карьеры Наполеона («Аркольскій мостъ», «Чума въ Яффѣ» и др.), есть нотка искренности, — всѣ они избѣгали касаться войны 12-го года и дальнѣйшихъ событій.

Иное дѣло — художники слѣдующаго поколѣнія. Для нихъ фигура императора встаетъ во весь ростъ, только благодаря сочетанію блестящаго начала съ трагизмомъ конца. Многіе изъ нихъ могли въ дѣтствѣ видѣть императора, еще окруженнаго общимъ поклоненіемъ, во всемъ блескѣ славы. Это дѣтское

впечатлѣніе навсегда осталось въ ихъ памяти. Такъ было, напримѣръ, съ художникомъ слова — съ Гейне, на всю жизнь сохранившимъ благоговѣйное отношеніе къ Наполеону. И этихъ художниковъ привлекалъ больше всего контрастъ того впечатлѣнія, которое сохранилось у нихъ съ дѣтства, контрастъ побѣды съ безнадежно мрачнымъ концомъ, контрастъ Аркольскаго моста и Ватерлоо. Образчикомъ можетъ служить фантастическій «Ночной смотръ» Раффе, иллюстрирующій хорошо и у насъ извѣстное въ переводѣ Жуковского красивое стихотвореніе Sedlitz'a.

Настроеніе времени, теченіе романтизма во всѣхъ областяхъ духовной жизни содѣйствовало развитію культъ Наполеона. Орасъ Верне — модный художникъ эпохи, былъ яркимъ выразителемъ такого отношенія къ Наполеону. Онъ написалъ битвы при Іенѣ, Фридландѣ, Ваграмѣ и вездѣ въ центрѣ — спокойная среди общаго смятенія фигура Наполеона.

То же у менѣе извѣстныхъ художниковъ, какъ Раффе, Белланже, Шарле и другіе. Но, за немногими исключеніями, у нихъ нѣтъ картинъ, относящихся непосредственно къ русскому походу.

Высшаго расцвѣта своего культъ Наполеона достигаетъ въ произведеніяхъ одного изъ самыхъ интересныхъ художниковъ XIX вѣка — Мейссонье. Картины его носятъ отпечатокъ бытовыхъ, реалистическихъ вкусовъ, но образъ императора въ сѣромъ мундирѣ на бѣломъ конѣ всегда окруженъ романтическимъ нимбомъ. Батальныя картины удаются художнику; онъ беретъ, обыкновенно, небольшой уголокъ поля сраженія, даетъ въ центрѣ его великолѣпную фигуру Наполеона и движущіяся массы солдатъ, воодушевленныхъ его присутствіемъ. «1807 годъ», напримѣръ, полонъ восторженнаго энтузіазма скачущей мимо Наполеона кавалеріи. Художникъ заканчиваетъ свой наполеоновскій циклъ печальнымъ рассказомъ про Ватерлоо. И опятьтаки у Мейссонье, какъ у другихъ, нѣтъ кампаніи 12-го года.

Такимъ образомъ получается вполнѣ понятное психологически, но кажущееся на первый взглядъ страннымъ явленіе, что самый большой изъ походовъ Наполеона, Смоленскъ и Бородино, остался почти не отмѣченнымъ во французской батальной живописи. Есть, правда, картины и альбомы участниковъ русскаго похода, видѣвшихъ лично многое — А. Адама и Фабера Дюфора. У Адама, находившагося въ итальянской арміи Евгенія Богарне, преобладаетъ интересъ къ военной сторонѣ кампаніи; Фаберъ Дюфоръ — художникъ-любитель, майоръ вюртембергской арміи, останавливаетъ свое вниманіе, главнымъ образомъ, на картинахъ военнаго быта, лагерной жизни во время похода. Его рисунки, наброски и картины представляютъ большой интересъ съ культурно-исторической точки зрѣнія, но никакъ не съ художественной; батальныя же картины его, просто, слабы. Нѣсколько удачнѣе рисунки Адама, но и они не отступаютъ отъ схемы. Взять хотя бы его «Битву подъ Смоленскомъ»: все конструировано вполнѣ сообразно съ шаблономъ — вдали идетъ битва, виденъ дымъ выстрѣловъ, въ центрѣ картины — Наполеонъ на бѣлой лошади, сосредоточенно слѣдящій за тѣмъ, что происходитъ передъ нимъ; сбоку — жанровая группа мѣстныхъ жителей, оживляющая, какъ и декоративная мельница, монотонность цѣлаго.

Нельзя, впрочемъ, не указать, что батальныя картины, главнымъ дѣйствующимъ лицомъ которыхъ является Наполеонъ, сильно выигрываютъ отъ его присутствія — даже если это неглубокія, внѣшне аффектированныя произведенія Верне или сентиментальныя, почти слащавыя вещи Белланже. Та любовь, которую чувствуютъ къ Наполеону сами художники, и которую они стараются выразить въ лицахъ сражающихся солдатъ, растопляетъ отчасти ледяную померзлость батальной схемы; но только отчасти — даже у значительныхъ художниковъ; у болѣе слабыхъ получается чувствительность вмѣсто чувства, а схема и здѣсь и тамъ проявляетъ свое мертвящее вліяніе.

## 2.

Другая точка зрѣнія противоположна первой: война — цѣль ужасовъ и жестокостей, источникъ безконечныхъ страданій.

Французскій художникъ начала XVII вѣка Жакъ Калло, подъ впечатлѣніемъ войнъ своего времени, на основаніи личныхъ переживаній, создалъ цѣлый циклъ картинъ военно-бытового содержанія подъ общимъ названіемъ «*Les misères de la guerre*». Названіе это какъ нельзя лучше выражаетъ то, что хотѣлъ сказать художникъ: война ужасна не одними сраженіями, она ужасна тѣми страданіями, которыя сопровождаютъ ее, которыми отражается она на жизни мирнаго населенія. Та же мысль, подъ тѣмъ же названіемъ, выражена въ 80 рисункахъ Фр. Гойя. И матеріалъ для его «*Los desastres de la Guerra*» дала своими жестокостями въ Испаніи наполеоновская армія, которая при отступленіи изъ Россіи испытала на себѣ весь ужасъ войны. Гойя достигъ въ своихъ, на первый взглядъ, небрежныхъ наброскахъ поразительной силы и глубины. Съ внѣшней стороны они совсѣмъ просты, безъ всякихъ лишнихъ подробностей. Хотя бы разстрѣлъ мирныхъ жителей: тутъ не видно даже солдатъ, видны только дула ихъ ружей; они сейчасъ выстрѣлятъ въ группу безоружныхъ стариковъ, женщинъ и дѣтей, охваченныхъ животнымъ страхомъ. Эту тему разстрѣла часто берутъ художники. Такая картина есть у Верещагина; есть она и въ исполненіи современника войны 1812 года, академика Шебуева. Работа Шебуева не производитъ никакого впечатлѣнія, настолько искусственны и театральны позы разстрѣливаемыхъ поджигателей, такъ пропитана вся композиція академическимъ классицизмомъ. Сравните эту композицію Шебуева съ описаніемъ разстрѣла поджигателей въ «Войнѣ и мирѣ» и вы увидите, насколько академизмъ художника далекъ отъ жизненной правды: описаніе Толстого совершенно просто и страшно въ своей простотѣ, а между тѣмъ въ каждомъ изъ осужденныхъ, этихъ взятыхъ случайно людей читатель не можетъ не чувствовать цѣлой жизни, цѣнной какъ таковой.

У Гойя — другое: отдѣльныя лица у него обрисованы слабѣе, и центръ тяжести — въ цѣломъ, въ ужасѣ совершающагося.

Аллегорическія картины, касающіяся войны, нерѣдки въ современной живописи. И въ аллегоріи преобладающимъ является опять-таки моментъ ужаса страданія и смерти. Напомнимъ аллегорію войны Бёклина, извѣстную картину Штука, пирамиду Верещагина.



Изображенія отечественной войны въ живописи рѣзко распадаются по содержанію на двѣ группы, соотвѣтствующія двумъ періодамъ кампаніи. За плоскими бездушными картинами наступленія французской арміи слѣдуютъ изображенія отступленія; эта часть похода иллюстрирована несравненно богаче. Событія даютъ здѣсь гораздо болѣе благодарный матеріалъ. Въ трагизмъ положенія отступающей арміи въ постепенномъ таяннѣ и окончательной гибели ея заключается что-то глубоко захватывающее; и понятно, почему не только современники Наполеона, но и художники позднѣйшихъ эпохъ останавливались именно на этомъ періодѣ.

При этомъ падаютъ всякія различія между художниками, преслѣдующими разные интересы. И участникъ войны, жанристъ-любитель Фабержъ Дюфоръ, и современный намъ польскій художникъ Коссакъ въ своихъ картинахъ-символахъ одинаково, какъ и многіе другіе, рассказываютъ повѣсть лишеній и ужасовъ, превосходящихъ человѣческія силы, ужасовъ, которые можно было бы принять за игру жестокой фантазіи, если бы не были они засвидѣтельствованы въ мемуарахъ — какъ отступавшихъ, такъ и преслѣдователей.

Вотъ картина Коссака «Казачи на полѣ битвы подъ Можайскомъ». Тутъ заключительный аккордъ трагедіи. Въ воздухѣ уже чувствуется весна, дорога оттаяла. По ней проѣзжаютъ всадники на лохматыхъ лошадакахъ. А по краямъ дороги, въ таломъ снѣгѣ лежатъ разлагающіеся трупы людей и животныхъ, безформенные комки, иногда полузакрытые снѣгомъ; то здѣсь, то тамъ высовывается окоченѣвшая рука, судорожно вытянутая нога лошади или даже голова челоуѣка. Кони казаковъ испуганы, испуганы и поблѣднѣвшіе люди. А хищныя птицы вьются надъ полемъ цѣлыми стаями.

Чѣмъ дальше отступаетъ армія, тѣмъ сильнѣе ея страданія, и это одинаково видно какъ на картинахъ Верещагина, такъ и въ рисункахъ столь чуждаго трагизму Фабера Дюфора.

Большинство художниковъ беретъ отдѣльные моменты, выбирая ихъ произвольно, придавая имъ чисто символическій характеръ. Возьмемъ для примѣра картину Руффе «Орлы». По необозримой снѣжной пустынѣ подъ холоднымъ сѣрымъ небомъ при порывахъ пронизывающей вьюги идутъ все еще въ стройномъ порядкѣ остатки старой гвардіи. Вѣтеръ рветъ клочья знаменъ, и орлы на ихъ древкахъ кажутся похоронными факелами. Люди идутъ, падаютъ, и упавшіе уже не поднимаются. Безнадежностью смерти вѣетъ отъ всей картины, отъ уходящихъ въ даль согнувшихся спинъ мерзнувшихъ людей. Теперь императорскіе орлы на ободранныхъ знаменахъ говорятъ своимъ жалкимъ видомъ не о грядущихъ побѣдахъ, а о близкомъ, неминуемомъ концѣ.

У Нортена та же картина; только сильнѣе кружить вьюга, только мало осталось конныхъ, только больше зябнуть даже на ходу не согрѣвающиеся люди. Въ промежуткѣ между двумя отрядами ѣдетъ самъ императоръ: у него еще есть лошадь, но кака! И надо сказать, въ этой картинѣ Наполеонъ выдѣленъ изъ толпы только чисто внѣшнимъ пріемомъ: онъ верхомъ, вокругъ пѣшіе; внутренне же всѣ уравнилены, всѣ страдаютъ одинаково.

У Шаперона остатки наполеоновской арміи проходят худые, истощенные, въ обвисшихъ мундирахъ мимо императора, стоящаго на краю дороги; отрядъ идетъ еще, соблюдая строй; впереди бредетъ барабанщикъ, и еще держится на тощей лошади офицеръ; но какіе тутъ фантастическіе костюмы, а главное — какія страшныя, неживыя почти, почернѣвшія лица!... У Фабера Дюфора тоже есть отступление арміи — «Возвращеніе изъ Россіи». Опять безнадежная снѣжная пустыня, холодъ и вѣтеръ. Кавалеристы жмутся на своихъ лошадакахъ, кутаются во что могутъ, но холодный вѣтеръ пронизываетъ ихъ...

А вотъ рядъ частныхъ эпизодовъ отступления. И здѣсь снова мы встрѣчаемся съ Фаберъ Дюфоромъ. Онъ ошибался часто въ своихъ картинахъ, зарисованныхъ на память. Въ наброскахъ, зарисованныхъ во время похода, его показанія вполне совпадаютъ съ тѣмъ, что рассказано въ мемуарахъ другихъ участниковъ отступления. Около костровъ толпятся измученные люди, закутанные во что попало — въ женскіе салопы, въ священническія рясы. Одному солдату, завернутому поверхъ мундира въ *sortie-de-bal*, удалось гдѣ-то раздобыть въ котелокъ съѣстнаго; онъ спѣшитъ унести добычу къ ожидающимъ товарищамъ, но другіе нападаютъ уже на него съ громкою бранью: они требуютъ своей доли, и неизвѣстно, чѣмъ кончится столкновение. Вотъ нѣсколько человѣкъ грѣются у огня, всовывая прямо въ костеръ свои замерзшіе пальцы. Другіе варятъ похлебку, приткнувшись къ забору среди глубокихъ снѣжныхъ сугробовъ. Огонь ихъ костра малъ и безсиленъ, и мнится, что жизнь ихъ держится только на волосѣ около этого огня, потому что вокругъ торжествуетъ побѣду все засыпавшая снѣгомъ зима. Бываетъ и гораздо хуже: огонь гаснетъ, усталые люди легко засыпаютъ, а тутъ можетъ нагрянуть отрядъ казаковъ, добывая тѣхъ, кто еще живъ. Такое нападеніе на бивуакъ есть среди картинъ Фабера Дюфора. Составленныя пирамидкой ружья тонуть въ снѣгу, покрываются имъ и солдаты, засыпающіе уже сномъ смерти. У нѣкоторыхъ есть еще силы открыть глаза и поднять голову. Между тѣмъ къ нимъ спѣшаютъ отрядъ казаковъ и толпа крестьянъ съ дубьемъ; смогутъ ли оставшіеся въ живыхъ отразить нападеніе, — это въ сущности довольно безразлично: со всѣхъ сторонъ все равно можно ждать только смерти.

И у другихъ художниковъ не рѣдки картины, изображающія то случайные эпизоды отступления, какъ у Белланже, напримѣръ, то отдѣльные геройскіе подвиги, въ родѣ картины Ивона — «Ней, защищающій арьергардъ великой арміи». Маршалъ, не даромъ прозванный «храбрымъ изъ храбрыхъ», съ горстью людей встрѣчаетъ нападеніе казаковъ съ ружьемъ на перевѣсѣ, какъ простой солдатъ, а остатки французскаго обоза поспѣшно отступаютъ подъ этимъ прикрытіемъ. Художникъ точно хочетъ сказать, что героизмъ самоотверженія привлекательнѣе героизма побѣды.

Въ сущности, у всѣхъ художниковъ, занятыхъ послѣднимъ періодомъ войны и отступленіемъ французской арміи, звучитъ одна и та же нота, одно и то же настроеніе, одинаковое (сознательно или безсознательно, — это все равно) отрицательное отношеніе къ войнѣ; правда, можетъ-быть, не къ самому принципу ея, но, во всякомъ случаѣ, къ тѣмъ нечеловѣчески жестокимъ положеніямъ, къ кото-

рымъ она можетъ приводить, и дѣйствительно привела въ 1812 году отступающихъ французовъ. Даже картина Прянишникова («Въ 1812 году»), столь близкая къ карикатурѣ, вызываетъ въ зрителѣ состраданіе, быть-можетъ, совершенно помимо воли самого художника.

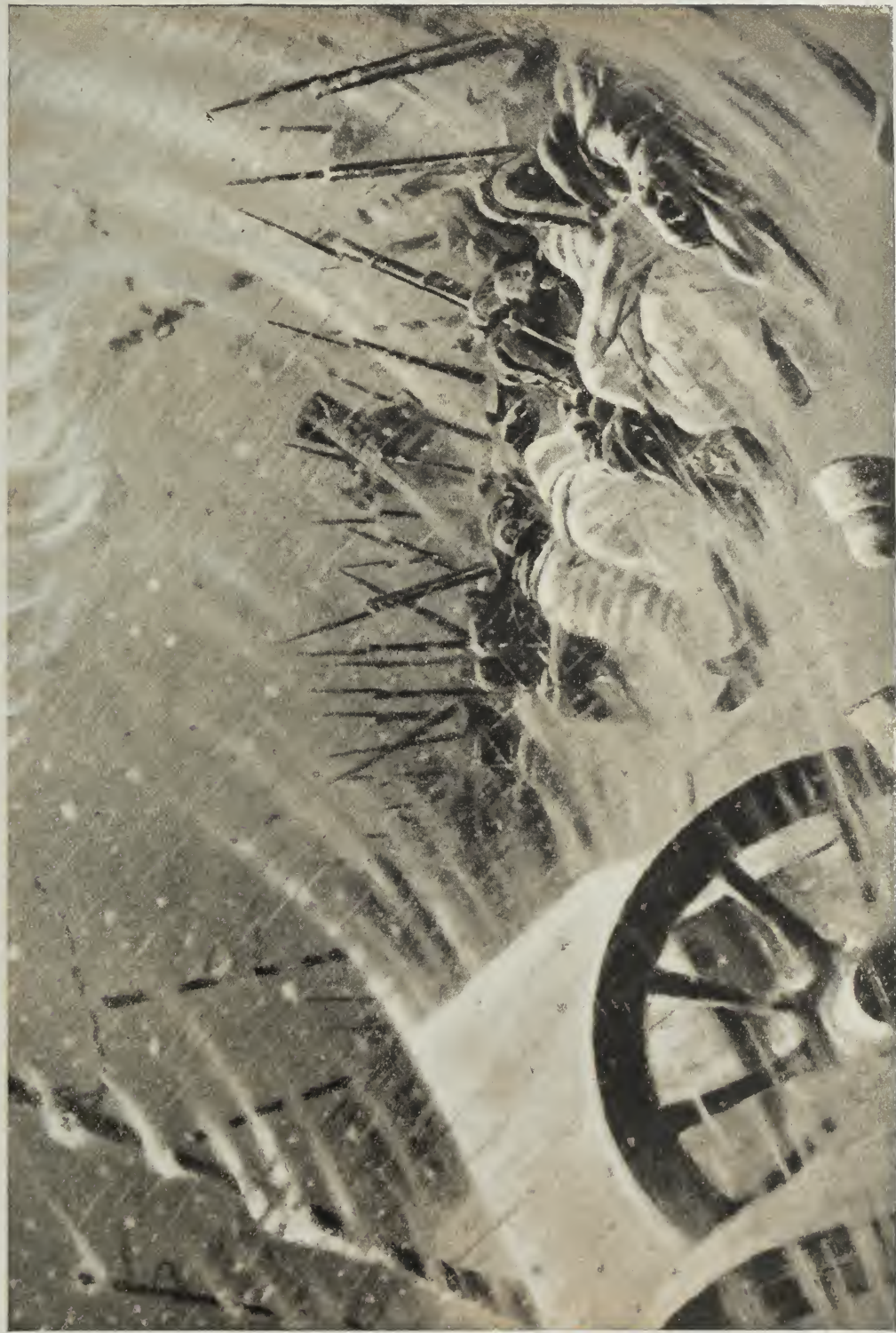
Около Березины бѣдствіе достигаетъ апогея, и въ изображеніяхъ его самые даже незначительные художники даютъ крупныя вещи, захватывающія историческія иллюстраціи. Самъ холодный, размѣренный Гессе измѣняетъ себѣ: въ изображеніи его русскіе при Березинѣ нападаютъ на падающихъ, на лежащихъ уже, погибающихъ и безъ ихъ участія. Только нѣсколько человѣкъ со штыками на перевѣсѣ готовятся встрѣтить скачущихъ казаковъ, выигрывая такимъ образомъ время для отступленія обозовъ, тѣснящихся въ безпорядкѣ къ двумъ мостамъ. А вдали за рѣкою тонкою нитью тянутся остатки арміи. Большая панорама художника Коссака, пожалуй, слишкомъ велика, слишкомъ сложна, чтобы производить впечатлѣніе въ цѣломъ, но отдѣльные ея эпизоды полны захватывающаго драматизма. Таково, хотя бы, сожженіе знаменъ въ присутствіи Наполеона и его штаба на берегу Березины послѣ переправы. «Sic transit gloria mundi». Глубоко печальна поза Наполеона, понуро сидящаго передъ костромъ; полны скорби лица отдѣльныхъ генераловъ, столько разъ водившихъ свои полки съ этими самыми знаменами въ иной огонь, огонь битвы. Для многихъ изъ нихъ этотъ моментъ, можетъ быть, тяжеле всѣхъ перенесенныхъ лишеній и страданій. А маленькій, повязанный платкомъ, барабанщикъ выбиваетъ дробь окоченѣвшими руками, послѣдній маршъ — смерти.

Опять и здѣсь, какъ въ изображеніи Бородинскаго поля у Коссака, война и смерть, по существу, синонимы. У видѣвшаго лично Березину Фабера Дюфора въ «Переправѣ черезъ Березину» дана картина величайшаго смятенія. Одни стремятся впередъ, къ рѣкѣ, другіе хотятъ выбраться обратно, бросаются, сами не зная куда, потому что со всѣхъ сторонъ грозитъ гибель; мостъ уже зажженъ и бѣглецы въ паникѣ, давя другъ друга, массами падаютъ въ рѣку подъ убійственнымъ дождемъ русскихъ ядеръ. Среди гибнущихъ много женщинъ и дѣтей (большинству изъ нихъ, по свидѣтельству мемуаровъ, не удалось перебраться черезъ Березину). Тотъ же мотивъ въ «Переправѣ черезъ Березину» современнаго художника Ланглуа. Онъ выбралъ минуту наибольшей давки на мостахъ и передъ ними. Въ этой давкѣ гибнутъ слабые: ихъ сталкиваютъ на ломающійся ледъ, ихъ давятъ на мосту. Обезумѣвшіе отъ ужаса люди, видя приближеніе русскихъ и начинающійся обстрѣлъ мостовъ, съ оружіемъ въ рукахъ стараются прочистить себѣ дорогу.

«Ужасы войны»... этимъ именемъ можно было бы назвать картины всѣхъ художниковъ, касавшихся послѣдней части кампаніи. Названіе это особенно подходитъ къ циклу картинъ отечественной войны Верещагина.

Цикль этотъ, состоящій изъ 14 картинъ, посвященъ, главнымъ, образомъ, пребыванію французовъ въ Москвѣ и отступленію. Движеніе ихъ на Москву иллюстрируютъ только двѣ картины и обѣ относятся къ Бородинскому сраженію. Верещагинъ не берется изобразить Бородино, какъ цѣлое, онъ останавливается на двухъ эпизодахъ этого дня, хорошо понимая, что современная батальная





На привалъ

(Картина Верещагина серіи 1812 года)



картина, поскольку она может претендовать на художественную ценность, неизбежно должна сводиться к таким отдельным моментам, в которых возможно хоть какое-нибудь психологическое единство. Оба эпизода у Верещагина дополняют друг друга. Первая из картин «Наполеон на Бородинских высотах» повторяет мотив, понравившийся художнику еще в то время, когда он создавал другой цикл картин, посвященный турецкой войне 1877 и 1878 гг.: группа генералов с высоты холма разглядывает то, что можно не столько видеть, сколько угадывать в дыму, застилающем равнину. В наружном спокойствии группы двойной ужас: ужас перед тем, что скрыто в тумане там, внизу, о чем думают и нарядные маршалы, и сам Наполеон, сидящий несколько впереди других; а с другой стороны, ужас нравственной несправедливости, лежащей в этом спокойствии, в этой безопасности людей, пославших других умирать. О том, что происходит с последними говорит вторая картина «Конец Бородинского сражения». Овраг, наполненный убитыми, умирающими и ранеными; лица, искаженные болью и страхом смерти, — развязка самой жестокой из всех трагедий. В сплошной массе окровавленных тел трудно разобрать отдельные фигуры. Может-быть, сильнее, чем эта картина действовал бы вид одного существа, охваченного страхом смерти, глубиной индивидуального переживания; но как бы ни было, на картину Верещагина тяжело и страшно смотреть, и цель художника, отдавшего свою кисть на служение идее мира, таким образом, достигнута.

К картинам Верещагина нельзя подходить с одним чисто-художественным критерием. Главная цель их не достижение художественного впечатления, а возможно яркая передача в красках основной мысли художника: война есть зло непоправимо жестокое, не приносящее людям ничего, кроме страданий и смерти.

По основной точке зрения на войну Верещагин близко подходит к Толстому. Картина «Конец Бородинского сражения» могла бы служить иллюстрацией к тому описанию, которым заканчивается Бородино в «Войне и мире»: «В медленно расходившемся пороховом дыму, по всему тому пространству, по которому вхал Наполеон, в лужах крови лежали лошади и люди поодиночке и кучами. Подобного ужаса, такого количества убитых на таком малом пространстве не видали еще и Наполеон, и никто из его генералов... Сражения уже не было. Было продолжавшееся убийство, которое ни к чему не могло повести ни русских, ни французов». И в картине Верещагина уже нет и не может быть сражения, а есть то, для чего нельзя найти названия более подходящего, чем «убийство».

За исключением этих двух картин, весь цикл посвящен не самой войне, а тому, что ее сопровождает, жестокой борьбе с двумя стихиями: с огнем в Москве и с морозом при отступлении; на этом общем фоне проходят в отдельных эпизодах трагедия Наполеона (наиболее, впрочем, слабая часть композиции). Можно провести параллель между двумя картинами цикла: «Зарево Замоскворечья» и «Привал великой армии»; здесь крайности сближаются. В первой вся Москва кажется охваченной морем огня, закрытой клубами дыма, засыпанной горящими головнями и искрами; в этом море исчезают контуры зданий,



въ немъ не видно ничего живого. На привалѣ арміи снѣжной волной, какъ тамъ огненной, захлестывается все кругомъ. Потонули, увязли въ снѣгу колеса пушекъ; все равно, къ утру некому будетъ сдвинуть ихъ съ мѣста: наполовину занесены снѣгомъ и прижавшіяся другъ къ другу плотнымъ рядомъ спины солдатъ. Эта картина напоминаетъ одинъ изъ приваловъ великой арміи, описанныхъ въ мемуарахъ сержанта Бургоня: къ утру въ оврагѣ оставались отъ отряда лишь мертвыя тѣла.

Другія картины отступленія менѣе удались Верещагину.

Есть еще одна черта, которую отмѣчаетъ въ своемъ циклѣ Верещагинъ. Война жестока вообще, жестока по существу, но одною изъ самыхъ печальныхъ сторонъ ея представляютъ проявленія индивидуальной жестокости, которыми она неизбежно сопровождается. Художникъ дѣлаетъ носителемъ такой жестокости самого Наполеона въ картинѣ «Съ оружіемъ въ рукахъ? Разстрѣлять!» Этотъ приговоръ относится ко взятымъ въ плѣнъ крестьянамъ, стоящимъ на колѣняхъ въ ожиданіи рѣшенія своей участи. Лицо Наполеона не жестоко; въ немъ только холодное отчаяніе. Эти разстрѣлы плѣнныхъ составляютъ одну изъ самыхъ темныхъ страницъ исторіи отечественной войны, и повинны въ нихъ были не одни французы. У Толстого съ тонкой художественностью переданъ въ сценѣ между Долоховымъ и Денисовымъ тотъ принципиальный споръ, который дѣйствительно имѣлъ мѣсто между партизаномъ Фигнеромъ и Денисомъ Давыдовымъ, не понимавшимъ жестокости своего товарища.

«Долоховъ засмѣялся. — «Кто же имъ не велѣлъ меня двадцать разъ поймать? А вѣдь поймаютъ — меня и тебя съ твоимъ рыцарствомъ, все равно, на осинку»...

Страшно то, что человѣческая жизнь теряетъ въ этихъ условіяхъ всякую цѣну. Наполеонъ у Верещагина приговариваетъ къ разстрѣлу плѣнныхъ крестьянъ съ полнымъ сознаніемъ своей правоты и съ тѣмъ спокойствіемъ, которое дается привычкой. И трудно рѣшить, что болѣе ужасно: смерть однихъ или безчеловѣчіе другихъ...

### 3.

Совсѣмъ особое мѣсто въ иллюстраціяхъ отечественной войны занимаетъ карикатура.

Политическая карикатура особенно развилась въ Европѣ въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка. Она служила во Франціи однимъ изъ орудій межпартійной борьбы въ годы великой революціи. При Наполеонѣ цензура пропускала карикатуру, направленную только противъ враговъ императора. Послѣ его паденія она жестоко осмѣяла и его самого. Болѣе свободно шло развитіе карикатуры въ Англіи; цѣлая плеяда талантливыхъ художниковъ занималась ею, и излюбленной мишенью ихъ насмѣшекъ былъ врагъ англійскихъ интересовъ — французскій императоръ. Англійскіе карикатуристы съ неизмѣннымъ вниманіемъ слѣдили за нимъ и каждое событіе его жизни отмѣчали градомъ всегда злыхъ, нерѣдко дѣйствительно остроумныхъ насмѣшекъ.

Въ эпоху нашего сухого, подражательнаго по формѣ и содержанію академизма политическая карикатура могла развиваться впервые именно только въ 1812г.—

въ связи съ событіями того времени. Расцвѣту ея содѣйствовало то обстоятельство, что ею заинтересовались такіе значительные для своего времени художники, какъ Венеціановъ и И. А. Ивановъ и, на ряду съ ними, сдѣлавшійся карикатуристомъ par excellence Теребенева, карандашу котораго принадлежит большая часть карикатуръ на Наполеона и его армію.

По содержанію своему эти карикатуры распадаются на два типа: однѣ имѣютъ цѣлью осмѣяніе французовъ, другія — прославленіе геройства русскихъ. Послѣднихъ по количеству гораздо меньше. Художники съ небольшими варіаціями повторяютъ сюжетъ «Русскаго Сцевола», т.-е. изображаютъ легендарнаго русскаго мужика, обрубающаго себѣ руку на глазахъ у французовъ, чтобы не служить Бонапарту. Интересно отмѣтить, что этотъ мотивъ попалъ даже въ Англію подъ названіемъ «Лойяльность и героизмъ русскихъ», но въ нѣсколько подчищенномъ видѣ: на Сцевола надѣли элегантныя ночныя туфли, а икону передвинули изъ угла въ середину стѣны. Кромѣ Сцевола, у Иванова, напримѣръ, есть и русскій Курцій, есть Геркулесъ города Сычевки; у Теребенева мужичокъ прикидывается глухимъ, чтобы не отвѣчать на разспросы французовъ. Подписано: «Гдѣ крестьяне? куды дѣвали свои пожитки? — Ась, не слышу, говори громче». Въ болѣе грубыхъ по содержанію картинкахъ шовинизмъ сплетается съ насмѣшками надъ отступающими французами. У Венеціанова, напримѣръ, казакъ убиваетъ французовъ нагайкою; подпись гласитъ: «Чѣмъ онъ побѣдилъ врага своего? — Нагайкою». Его же «Французскіе гвардейцы подъ охраною бабушки Спиридоновны» ничего, кромѣ глубокаго чувства состраданія, не могутъ вызвать у зрителя, какъ ничего, кромѣ отвращенія не возбуждаютъ инспирированныя Растопчинымъ изображенія — грубыя и не художественныя. Но несмотря на непріятное чувство, которое испытываешь, глядя на эти карикатуры, нѣкоторымъ изъ нихъ нельзя отказать въ своеобразной художественности — художественности во всякомъ случаѣ, болѣе, чѣмъ та, которую самый снисходительный зритель найдетъ въ большинствѣ батальныхъ картинъ отечественной войны.

Увлеченіе карикатурой объясняется, съ одной стороны, ненавистью къ Наполеону и французамъ, характерною для нѣкоторыхъ слоевъ русскаго общества того времени, съ другой — причинами чисто художественнаго характера. Карикатура, какъ родъ живописи по самой природѣ своей внѣ-академическій, какъ живопись, вынесенная на улицу, была свободна отъ всякой условности, отъ стѣсняющаго дѣйствія неписанныхъ академическихъ каноновъ. Это привлекало; а темы другой, болѣе заманчивой, чѣмъ только что выигранная кампанія, не могло представиться художникамъ. Да цензура и не допустила бы политической сатиры на другія темы. Осмѣивается вся исторія отступленія, начиная уже съ пребыванія французовъ въ Москвѣ. Ивановъ рисуетъ къ тексту басни Крылова «Ворона и Курица» едва ли не самую удачную изъ своихъ карикатуръ. Это только набросокъ, но выполненъ онъ очень художественно. Французскіе солдаты расположились въ Кремлѣ передъ Спасскими воротами, разложили костеръ, надъ которымъ въ котелкѣ варятъ пойманныхъ воронъ. За кремлевской стѣною видно зарево пожара, но солдаты не замѣчаютъ его, поглощенные своимъ занятіемъ. Одинъ изъ нихъ держитъ наготовѣ пойманныхъ птицъ, другой вынимаетъ изъ котелка

уже сварившуюся ворону, и еще двое разрываютъ и жадно поглощаютъ готовое кушанье. На всю эту сцену съ ужасомъ смотритъ ворона, сидящая на крышѣ.

Голодь, отъ котораго такъ страдали французы въ теченіе всей кампаніи, вообще очень забавлялъ карикатуристовъ. Есть и другія картины на ту же тему: «Кухня главной квартиры въ послѣднее время пребыванія въ Москвѣ», — кухня, въ которой готовятся кушанья изъ кошекъ, собакъ, мышей, лягушекъ и т. п. На еще болѣе жесткой карикатурѣ Теребенева голодный французъ зубами разрываетъ живую ворону, а двое другихъ умоляютъ и имъ удѣлить хоть что-нибудь.

И русская зима тоже. Вотъ карикатура Венеціанова, заимствованная, впрочемъ, какъ и очень многія другія, съ англійскаго образца: армія сидитъ уже по шею въ снѣгу, а Наполеонъ все еще посылаетъ изъ сугробовъ во Францію утѣшительные бюллетени. Или до крайности жестокой, заимствованный тоже съ англійскаго образца Теребенинымъ «парадъ», производимый Наполеономъ солдатамъ съ отмороженными носами, ушами, искалѣченными и кое-какъ забинтованными.

Карикатуры И. Теребенева направлены, главнымъ образомъ, противъ самого Наполеона лично. И самостоятельныя и заимствованныя одинаково подобраны въ цѣляхъ умаленія и развѣнчанія и безъ того развѣнчаннаго ходомъ событій героя.

Создался цѣлый альбомъ изъ 34 сатирическихъ рисунковъ («Подарокъ дѣтямъ въ память 1812 года»). Это — сборникъ карикатуръ разныхъ авторовъ (преимущественно Теребенева); составленъ онъ въ видѣ *азбуки для дѣтей*: на каждую букву картинка съ соотвѣтствующей надписью. Осмѣивается, главнымъ образомъ, бѣгство Наполеона изъ Россіи. Напримѣръ: императоръ французовъ ѣдетъ на свинѣ («Французскій вояжеръ 1812 года»); онъ говоритъ: «На Парижъ — прохладна, на Москва — очинь жарка»; она отвѣчаетъ: «уй, уй, уй, мосіе». Или «Проѣздъ высокаго путешественника отъ Варшавы до Парижа... съ ошпаннаннымъ орломъ и ознобленнымъ мамелюкомъ». Наполеонъ бѣжитъ въ кибиткѣ, посадивъ кучера себѣ на плечи; за кибиткой съ трудомъ поспѣваетъ теряющій перья привязанный орелъ — символъ императорской власти; въ привязанной къ полозьямъ корзинѣ — еле живой мамелюкъ Ростанъ.

Бѣгство Наполеона есть и у другихъ художниковъ. У Иванова, напримѣръ, онъ убѣгаетъ въ одномѣстныхъ саняхъ, отмахиваясь шпагой отъ казака. Излюбленными карикатурами Теребенева были еще такія, которыя изображали не отдѣльныя неудачи или непріятности, а общій неуспѣшный результатъ русскаго похода. Наполеонъ въ русской банѣ; Наполеонъ вывезъ изъ Россіи громадный носъ; солдаты, казакъ и ополченецъ погружаютъ его въ бочку съ калужскимъ тѣстомъ, засовываютъ въ ротъ громадный вяземскій пряникъ и поятъ напиткомъ, вскипяченнымъ на московскомъ пожарищѣ; Наполеонъ пускаетъ мыльные пузыри: «взятіе Петербурга», «походъ въ Индію» и другіе; онъ учитъ сына своего бѣгать, потому что это искусство теперь всего важнѣе для династіи. Перечисленіе можно было бы увеличить, но общая тенденція этихъ карикатуръ ясна: желаніе унизить Наполеона, доказать, что онъ былъ только ничтожество, что всѣ начинанія его были не больше, чѣмъ мыльные пузыри. Такова главная цѣль художника.



Впрочемъ, и здѣсь большая часть сюжетовъ заимствована съ англійскихъ образцовъ, иногда даже точно воспроизведена по нимъ; иногда иностранныя карикатуры нѣсколько измѣнены введеніемъ мѣстнаго колорита или отступленіемъ отъ образца въ незначительныхъ деталяхъ.

Когда Растопчинъ издавалъ свои грубыя, варварскимъ языкомъ написанныя прокламаціи съ насмѣшками надъ французами, у него могло быть оправданіе въ стремленіи поднять народный духъ на защиту отечества. Для художниковъ, рисовавшихъ карикатуры, по духу очень близкія къ прокламаціямъ Растопчина, хотя и болѣе художественныя по формѣ, такого оправданія быть не могло: карикатуры ихъ явились *post factum*. Онѣ были лежакаго. Самостоятельнаго художественнаго значенія онѣ тоже не имѣютъ, потому что являются гораздо чаще заимствованіемъ, чѣмъ продуктомъ свободного творчества.

\* \* \*

Война оставляетъ тяжелое наслѣдство. Десятки и сотни тысячъ людей гибнутъ отъ болѣзней и убійства. Не меньшее число возвращается домой искалѣченными. Съ момента раненія или болѣзни эти несчастные терпятъ невѣроятныя страданія — прежде чѣмъ доберутся до родного угла. Но и здѣсь ждетъ ихъ нерадостное существованіе. Выбывъ изъ строя работниковъ, искалѣченные физически — они горько чувствуютъ, что тяжелой обузой ложится ихъ жизнь на плечи родной семьи...

И все же этимъ не исчерпываются бѣдствія войны. Она убиваетъ и калѣчитъ не только тѣло, но и духъ. Вслѣдъ за кровавою ея колесницей идетъ, какъ говоритъ Толстой, «одичаніе, остервенѣніе, озвѣреніе...»; растетъ ненависть, уменьшается между людьми любовь.

Злые чувства, поднимаемыя національной борьбой, имѣютъ два вида, два образа: одинъ — парадный, облеченный въ мундиръ офіціального патріотизма; другой — болѣе грубый и откровенный, выражающійся въ вопляхъ шовинистовъ.

Чтобы запечатлѣть въ краскахъ подвиги русскихъ героевъ, славу и блескъ русскаго оружія, императору Николаю пришлось приглашать иностранныхъ художниковъ. Одѣвъ русскіе вицмундиры и положивъ русскія деньги въ свои карманы, художники эти стали «истинно-русскими людьми» и въ холодныхъ, вычурныхъ, трафаретныхъ полотнахъ дали условное изображеніе событій войны 1812 года.

Грубыя шовинистическія чувства, нашедшія выраженія въ карикатурѣ — сила прошлаго столѣтія, остались накипью на поверхности нашей народной жизни. Не народомъ и не для народа создана серія сатирическихъ рисунковъ, высмѣивавшихъ побѣжденнаго врага. Рисунки эти явились выраженіемъ запоздалой ненависти, которую питали къ Наполеону и его сподвижникамъ нѣкоторые слои русскаго общества. Они имѣли на то свои причины и охотно платили художникамъ крупныя суммы за ихъ работу. Въ *народъ* карикатуры, связанныя съ войной 1812 года, не проникли и не могли проникнуть: онѣ были для него совершенно недоступны по цѣнѣ и содержанію.

Но русское искусство въ цѣломъ нашло способъ использовать эти крикливыя композиціи: онѣ послужили первымъ толчкомъ къ переходу отъ формальнаго и холоднаго академизма къ реальной живописи.

Страданія и ужасы, связанные съ Наполеоновскими войнами, должны были, конечно, найти прежде всего откликъ въ душѣ иностранныхъ художниковъ и, главнымъ образомъ, участниковъ несчастнаго похода. Но мы можемъ съ гордостью вспомнить имя русскаго художника (Верещагина), который сумѣлъ въ войнѣ 1812 года почувствовать, за пороховымъ дымомъ и побѣдными криками, голосъ человѣческаго страданія и пустилъ въ ходъ всю силу своего таланта, чтобы изобразить ужасы этой години — одинаково горестной для насъ и нашихъ враговъ...

Какъ видно изъ предшествующаго изложенія, картины, посвященныя *блѣдствіямъ* отечественной войны, согрѣты гораздо большимъ чувствомъ и потому дѣйствуютъ на зрителя гораздо сильнѣе, чѣмъ офиціозныя гимны въ краскахъ геройскимъ подвигамъ и славѣ національнаго оружія.

В. Степанова.





## ВОЙНА СТО ЛѢТЪ НАЗАДЪ И ТЕПЕРЬ.

Сто лѣтъ, — эта круглая, красивая цифра до сихъ поръ остается основной мѣрой путей, по которымъ движется навстрѣчу неизвѣстному исторія человѣчества. Какъ часто бываетъ съ слишкомъ привычными вещами, и это число приобрѣло въ глазахъ людей фатальное значеніе, какъ бы предвѣщая имъ неизбежное чередованіе крупныхъ событій; и есть охотники изысканій, устанавливающихъ для каждаго народа своего рода этапы, съ которыхъ, по ихъ мнѣнію, и должно начинаться это чередованіе. Такой начальной станціей для Россіи служить, говорятъ намъ, первое десятилѣтіе всякаго новаго столѣтія христіанской эры.

Случайно или нѣтъ, но истекшее столѣтіе дѣйствительно ознаменовалось, на противоположныхъ концахъ своихъ, двумя однородными по внѣшности, но различными по духу, событіями, въ государственной жизни играющими роль экзаменовъ, великими войнами, такъ называемыми «отечественной» и японской. Правда, духовное различіе этихъ войнъ сказалось, главнымъ образомъ, въ переживаніяхъ народной души и не оставило сколько-нибудь реального слѣда на отношеніяхъ враждовавшихъ сторонъ. Во внутренней же жизни русскаго государства, наоборотъ, обѣ войны привели къ совершенно тождественнымъ результатамъ — къ жестокой реакціи. Не нашей задачей является раскрытіе причинъ, связующихъ прямо-противоположные психологическіе моменты, полный успѣхъ отечественной войны и неслыханный разгромъ — въ японскую, съ однимъ и тѣмъ же послѣдствіемъ, внутренней реакціей. Возможно, что причины эти кроются въ однородности побужденій, толкнувшихъ тогдашнее и нынѣшнее правительства на эти войны, въ поставленномъ выше истинныхъ задачъ эпохи узко личномъ интересѣ отдѣльныхъ лицъ; и столь же возможно, что къ реакціи приводятъ во-



обще всякія сильныя эмоціи, переживаемыя народами, не связанными органически со своими правительствами.

Намъ предстоитъ намѣтить здѣсь то внѣшнее различіе войнъ началъ XIX и XX столѣтій, которое обусловливается измѣнившейся техникой и прослѣдить вліяніе послѣдней на культурное развитіе народа, въ качествѣ задерживающаго такое развитіе фактора. Едва ли найдется, при этомъ, другая область, гдѣ можно было бы наблюдать такой гигантскій прыжокъ отъ примитивныхъ и несложныхъ способовъ дѣйствія къ современному состоянію, какъ въ военной; и кажется нигдѣ такъ далеко не отражались результаты отдѣльныхъ изобрѣтеній и усовершенствованій, какъ исходившіе изъ этой области. Вотъ, можетъ быть, почему съ тревогой встрѣчается нынѣ все новое въ военной technikѣ и почему невольно напрашивается сравненіе войнъ, воспоминаніе о которыхъ или слишкомъ живо, или было оживлено юбилейными празднествами 1912 года.

\* \* \*

Неудивительно, конечно, что характеръ боя всегда зависитъ отъ состоянія военной техники и мѣняется съ ея прогрессомъ; болѣе поражаетъ быстрота, съ которой совершался этотъ прогрессъ въ то время, какъ самыя войны становились рѣже. И почти все, что сдѣлано въ этомъ отношеніи военнымъ геніемъ, укладывается именно въ рамки истекшаго столѣтія. Отечественная война была послѣдней большой войной, ведшейся гладкоствольными ружьями и орудіями, въ отживавшихъ тактическихъ и стратегическихъ условіяхъ; арміями, одѣтыми въ неприспособленныя къ бою и походу формы; полководцами, воспитавшимися на пріемахъ фридриховской и суворовской школь.

Изобрѣтеніе нарѣзного огнестрѣльнаго оружія было такимъ же значительнымъ этапомъ въ военной исторіи міра, какъ книгопечатаніе — въ гражданской. Какъ книга, отиснутая во многихъ экземплярахъ на станкѣ и сразу создававшая автору аудиторію, становилась первокласснымъ орудіемъ культуры, такъ нарѣзное ружье, расширявшее поле сраженія и въ силу этого привлекавшее на него огромныя массы людей, обращалось въ орудіе моральнаго регресса, становилось «во главу угла» эпохи милитаризма. Дальность ружейнаго выстрѣла дѣлалась, такимъ образомъ, регуляторомъ не только тактики боя и военной стратегіи, но и взаимоотношеній государствъ, и внутренней ихъ политики. Короткая дистанція по необходимости суживала поля сраженій, такъ какъ ясно, что бой начинается лишь съ возможности выведенія людей изъ строя, и чѣмъ ближе должны они для этого сойтись, тѣмъ ограниченнѣй и самое поле битвы. Ниже намъ придется еще говорить о характерѣ боя въ наполеоновскую и современную эпохи, и здѣсь отмѣчаются только два важнѣйшихъ момента послѣдняго: дистанція, съ которой начинается пораженіе отдѣльныхъ людей, и находящійся въ прямой отъ нея зависимости моментъ столкновенія боевыхъ массъ, штыковой или сабельный бой, рѣшавшій тогда и самый исходъ сраженія. Этотъ послѣдній ударъ отдалялся, во времени, съ увеличеніемъ дистанціи выстрѣла; но пока вооруженіе армій состояло изъ гладкоствольныхъ ружей и пушекъ, боевыя разстоянія увеличи-

вались лишь ничтожно, сохраняя болѣе или менѣе неподвижными и всѣ остальные условія веденія войнъ. Но вотъ нарѣзное ружье посылаетъ пулю, вмѣсто 150—200 шаговъ, на версту и двѣ, а артиллерійское орудіе свой снарядъ вмѣсто 100—200 сажень, на три, пять верстъ, и разомъ отпадаетъ вѣками складывавшаяся практика; арміи вступаютъ въ боевое соприкосновеніе еще не видя другъ друга; бой затягивается, требуя все большаго напряженія сражающихся и, что самое важное, во столько же разъ большаго ихъ числа, во сколько новая дистанція пораженія превосходитъ старую.

Новыя условія боя вызываютъ необходимость новыхъ же способовъ подготовки къ нему; увеличиваются вспомогательныя войска, и все большее значеніе пріобрѣтаютъ подготовительныя дѣйствія, требующія времени, людей и средствъ.

Ни одна изъ этихъ новыхъ сторонъ военнаго дѣла не касалась такъ близко народа, какъ увеличеніе контингента новобранцевъ, такъ какъ военная служба не могла стать привлекательнѣй только потому, что кто-то изобрѣлъ новое оружіе. Необходимо было искусственно создать эту привлекательность, и принципъ всеобщей воинской повинности, какъ патріотическаго долга, былъ выдвинутъ правительствами государствъ, перевооружившихъ свои арміи. Въ Россіи, какъ извѣстно, всеобщая повинность введена въ 1874 году; но хотя скоро истечетъ сорокалѣтняя давность ея примѣненія, и двѣ войны велись подъ флагомъ защиты интересовъ родины или вѣры, особѣй привязанности къ военной службѣ въ народѣ не замѣчается; а это лучшее доказательство непопулярности новаго курса въ военномъ дѣлѣ, какъ и всякаго, который не ведетъ къ уменьшенію рекрутскаго набора. Такимъ образомъ, кромѣ техническихъ, не было иныхъ причинъ для провозглашенія принципа, ежегодно призывающаго подъ знамена сотни тысячъ молодыхъ людей. Когда отечеству угрожаетъ дѣйствительная опасность, хотя бы она и возникла вслѣдствіе преступныхъ дѣйствій отдѣльныхъ лицъ, народъ самъ подымается на защиту земли, какъ это и было въ 1812 году; и регулярныя арміи Европы хорошо знаютъ, по опыту всѣхъ колоніальныхъ авантуръ, какова сила сопротивленія аборигеновъ, потревоженныхъ въ своихъ домахъ, и какъ страшны партизаны, дѣйствующіе примитивными способами, но въ родной обстановкѣ. Однако, та же исторія учитъ насъ тому, что уроки ея легко забываются; въ частности, войны и въ XX вѣкѣ попрежнему оказываются результатами чьихъ-либо личныхъ расчетовъ или, въ лучшемъ случаѣ, непониманія интересовъ народа, всегда предпочитающаго миръ войнѣ.

Арміи прошлаго вѣка вполне удовлетворяли своему назначенію, пребывая послушными орудіями въ рукахъ правителей, преслѣдовавшихъ эгоистическія цѣли и не имѣвшихъ нужды прикрываться нравственной поддержкой подданныхъ. Дѣло въ томъ, что эти арміи цѣликомъ состояли изъ профессиональных воиновъ. Солдатъ служилъ въ строю 25—30 лѣтъ, навсегда, въ сущности, порывая съ землей. Высшее военное образованіе, было доступно ничтожному числу офицеровъ, благодаря чему и наиболѣе способные тоже до старости оставались въ строю. Несложные пріемы войны были знакомы самымъ зауряднымъ генераламъ; наконецъ, мы встрѣчаемъ на поляхъ сраженій не только такихъ

прирожденныхъ полководцевъ какъ Наполеонъ, но и вполнѣ неопытнаго воина, императора Александра. Л. Толстой сводить насъ съ нимъ въ день Аустерлица.

«Что же вы не начинаете, Михаилъ Ларіоновичъ, — поспѣшно обратился императоръ Александръ къ Кутузову, въ то же время учтиво взглянувъ на императора Франца.

— Я поджидаю, Ваше Величество, отвѣчалъ Кутузовъ, почтительно наклоняясь впередъ.

Императоръ пригнулъ ухо, слегка нахмурясь и показывая, что онъ не слышалъ.

— Поджидаю, ваше величество, — повторилъ Кутузовъ (князь Андрей замѣтилъ, что у Кутузова неестественно дрогнула верхняя губа въ то время, какъ онъ говорилъ это поджидаю). Не всѣ колонны еще собрались, ваше величество.

Государь разслушалъ, но отвѣтъ этотъ видимо не понравился ему; онъ пожалъ сутуловатыми плечами, взглянулъ на Новосильцева, стоявшаго подлѣ, какъ будто взглядомъ этимъ жалуясь на Кутузова.

«Вѣдь мы не на Царицыномъ лугу, Михаилъ Ларіоновичъ, гдѣ не начинаютъ парада, пока не придутъ всѣ полки, — сказалъ государь, снова взглянувъ въ глаза императору Францу, какъ бы приглашая его если не принять участіе, то прислушаться къ тому, что онъ говоритъ; но императоръ Францъ, продолжая оглядываться, не слушалъ.

— Потому и не начинаю, государь, — сказалъ звучнымъ голосомъ Кутузовъ, какъ бы предупреждая возможность не быть разслышаннымъ, и въ лицѣ его еще разъ что то дрогнуло. — Потому и не начинаю, государь, что мы не на парадѣ и не на Царицыномъ лугу, — выговорилъ онъ ясно и отчетливо.

Въ свитѣ государя на всѣхъ лицахъ, мгновенно переглянувшихся другъ съ другомъ, выразился ропотъ и упрекъ. «Какъ онъ ни старъ, онъ не долженъ бы, никакъ не долженъ бы говорить такъ», выразили эти лица.

Государь пристально и внимательно посмотрѣлъ въ глаза Кутузову, ожидая, не скажетъ ли онъ еще чего. Но Кутузовъ, съ своей стороны, почтительно нагнувъ голову, тоже, казалось, ожидалъ. Молчаніе продолжалось около минуты.

— Впрочемъ, если прикажете ваше величество, — сказалъ Кутузовъ, поднимая голову и снова измѣняя тонъ на прежній тонъ тупого, не разсуждающаго, но повинующагося генерала. Онъ тронулъ лошадь и, подозвавъ къ себѣ начальника колонны, Милорадовича, передалъ ему приказаніе къ наступленію».

(«Война и миръ» т. I, ч. III.)

Общность профессіи способна сплотить самые разнородные элементы, а многолѣтняя совмѣстная жизнь несетъ съ собой привычку, суррогатъ привязанности и любви. Въ арміи прошлаго вѣка царили, соотвѣтственно нравамъ той эпохи, грубость, побои и неприкрытое казнокрадство; но, наряду съ ними, нерѣдко создавались между офицерами и солдатами отношенія, которыя безъ малѣйшей ироніи назывались «отеческими» и по тому времени и были таковыми. Правда, много было офицеровъ изъ людей необразованныхъ и выслужившихся солдатъ, и средній уровень армейскаго офицера немногимъ превышалъ солдатскій, въ смыслѣ міропониманія и интересовъ; но и въ высшемъ, дворянскомъ классѣ военная



служба воспитывала тѣ же профессиональныя черты; «Война и миръ» изобилуетъ страницами, рисующими взаимныя отношенія чиновъ арміи именно съ этой точки зрѣнія. Простота, сказали бы мы, доминировала надъ внѣшней субординаціей. Мы только что слышали разговоръ Александра съ Кутузовымъ; вотъ и еще сцена, гдѣ, какъ всегда у Толстого, въ немногихъ словахъ очерченъ цѣлый міръ отношеній:

«Кутузовъ вышелъ съ Багратіономъ на крыльцо.

— Ну, князь, прощай, — сказалъ онъ Багратіону. — Христось съ тобой! Благословляю тебя на великій подвигъ.

Лицо Кутузова неожиданно смягчилось и слезы показались въ его глазахъ. Онъ протянулъ къ себѣ лѣвой рукой Багратіона, а правой, на которой было кольцо, видимо привычнымъ жестомъ перекрестилъ его и подставилъ ему пухлую щеку, вмѣсто которой Багратіонъ поцѣловалъ его въ шею, — Христось съ тобой! повторилъ Кутузовъ и подошелъ къ коляскѣ». (Тамъ же).

Когда въ Москвѣ провожали на японскую войну Куропаткина, всѣ высшіе военные чины собраны были въ домѣ генераль-губернатора, в. к. Сергѣя Александровича. Послѣ немалаго ожиданія къ генераламъ вышелъ великій князь; еще прошло нѣсколько минутъ, и вотъ отворились половинки дверей, великій князь скомандовалъ генераламъ, изъ которыхъ многіе были старше будущаго полководца: «Смирно!» и послѣдній торжественно вплылъ въ залу, какъ бы неся въ себѣ тотъ почетный миръ, который онъ собирался подписывать въ Токио.

А Кутузовъ, простясь съ Багратіономъ съ той привычной теплотой, съ которой мы по вечерамъ прощаемся съ нашими дѣтьми, сѣлъ съ княземъ Андреемъ въ коляску.

«...молча проѣхали нѣсколько минутъ.

— Еще впереди много, много всего будетъ, — сказалъ онъ со старческимъ выраженіемъ проницательности, *какъ-будто понимая все, что дѣлается въ души Болконскаго* (курс. нашъ). — Ежели изъ отряда его придетъ завтра одна десятая часть, я буду Бога благодарить, — прибавилъ Кутузовъ, какъ бы говоря самъ съ собой. Князь Андрей взглянулъ на Кутузова и ему невольно бросились въ глаза, въ полуаршинѣ отъ него, чисто промытыя сборки шрама на вискѣ Кутузова, гдѣ измайльская пуля пронизала ему голову, и его вытекшій глазъ. «Да, онъ имѣетъ право такъ спокойно говорить о гибели этихъ людей», подумалъ Болконскій.

«Отъ этого я и прошу отправить меня въ этотъ отрядъ, — сказалъ онъ».

И хотя социальная разница между Болконскимъ и рядовымъ офицеромъ Тушинымъ была гораздо больше, чѣмъ между Кутузовымъ и княземъ Андреемъ, мы присутствуемъ при встрѣчахъ ихъ и въ бою и, особенно, въ избѣ командующаго, свидѣтельствующихъ о большой ихъ душевной близости. Наконецъ, типы солдатъ, выведенные Л. Толстымъ, и ихъ отношенія къ начальству, связываютъ верхъ арміи — царя съ народомъ достаточно прочно, чтобы первый могъ смотрѣть на эту *профессиональную* армію, какъ на силу, данную ему самимъ населеніемъ, а не вырванную изъ его среды насильственно.

Совершенно иную картину являет собою армія начала XX вѣка. Ничтожное меньшинство ея состава — офицерскіе чины, остаются, правда, профессионалами военного дѣла. И школа военная, и служба въ строю, несравненно болѣе продолжительная, чѣмъ солдатская, приковываютъ офицеровъ къ своему ремеслу и роду оружія и часто навсегда выводятъ ихъ изъ русла гражданской жизни. Наоборотъ, короткій срокъ солдатской службы, обусловливаемый необходимостью держать за знаменными частями огромные резервы и ополченіе, является для народа только незначительнымъ перерывомъ обычной работы; за время службы солдатъ не теряетъ живой связи съ родиной, семьей, землей и почти всегда возвращается къ прежнему своему дѣлу, оставляя въ рукахъ военной власти лишь совершенно ничтожный процентъ людей въ видѣ такъ наз. сверхсрочныхъ нижнихъ чиновъ. Въ самомъ офицерствѣ намѣчаются группы, стремящіяся промѣнять тяжелую и безвыгодную службу въ строю на занятія въ штабахъ и управленіяхъ. Наконецъ, все усложняющаяся военная техника создаетъ рядъ высшихъ военныхъ школъ, отвлекающихъ изъ строя наиболѣе способные элементы арміи. Поэтому нашъ вѣкъ и застаётъ армію разбитой на два лагеря, если не враждующихъ между собою, то глубоко чуждыхъ другъ другу. Въ то время, какъ офицерство автоматически укрѣпляетъ въ себѣ чувство преданности высшей государственной власти и стремится къ техническому совершенству своего дѣла, *а слѣдовательно и къ войнѣ*, — солдатская масса тяготѣетъ къ землѣ и миру, *всегда къ миру*. вмѣстѣ съ тѣмъ, войну дѣлаетъ, въ концѣ концовъ, солдатъ, «пушечное мясо», «святая скотинка»; отъ его отношеній къ командирамъ и къ причинамъ войны зависитъ, вѣроятно, и успѣхъ ея. И вообще нынѣшняя армія отличается отъ прежней, главнымъ образомъ, тѣмъ, что она дѣйствуетъ *разсуждая*, а не слѣпо внимая приказамъ. Ее можно разжечь сценами проводовъ на войну, усыпить матеріальными благами первыхъ недѣль мобилизаціи и похода; но разъ оторвавшись отъ родины она забываетъ льготы и помнитъ лишь слезы. Только защита родины способна сохранять подъемъ духа, безъ коего армія уже не сетъ въ себѣ залогъ пораженія. И это еще при условіи всеобщей добросовѣстности, высоко поставленной вспомогательной части, особливо интендантства, при наличности даровитыхъ и преданныхъ своему ремеслу генераловъ, при вдохновенномъ полководцѣ. Но, спрашивается, можно ли рассчитывать, въ условіяхъ нашего вѣка, на наличность всѣхъ указанныхъ элементовъ? Развѣ наши генералы и главнокомандующіе не родятся, не воспитываются и не живутъ въ совершенно иной, чѣмъ сто лѣтъ назадъ, обстановкѣ? Развѣ можно ожидать или требовать, чтобы командующій арміей XX вѣка долгое время жилъ въ условіяхъ, въ которыхъ *годами* жили полководцы наполеоновской эпохи, Кутузовъ, Барклай, не говоря уже о самомъ императорѣ французовъ? Мы съ удивленіемъ и уваженіемъ смотримъ на трофеи, свидѣтельствующіе объ этой простотѣ, на кровать, платье, походную утварь Наполеона, на избы, въ которыхъ происходили важнѣйшіе военные совѣты. А что сказали бы люди, дѣлавшіе тогдашніе походы и постоянно видѣвшіе своихъ вождей въ первыхъ рядахъ войска, еслибъ, воскреснувъ и очутившись въ военномъ музеѣ Токіо, они могли созерцать широкую золоченую кровать, покрытую стеганымъ розовымъ атласнымъ одѣяломъ, на которой безмятежно

почиваль отъ дневныхъ трудовъ Куропаткинъ? Превосходный рояль, изъ котораго тотъ же генераль извлекаль меланхолическіе, быть можетъ, звуки, въ музыкѣ ища утѣшенія послѣ очередныхъ отступленій и пораженій? Что сказали бы самые избалованные изъ генераловъ Кутузова, если бъ видѣли они залитые электричествомъ поѣзда, гдѣ коротали дни войны современные командиры? Вѣроятно съ суровымъ осужденіемъ отнеслись бы сподвижники отечественной войны къ героямъ японской. Но мы то, современники ихъ, не можемъ, не должны негодовать. Слишкомъ велико разлагающее вліяніе современнаго комфорта, слишкомъ легки деньги, изъ которыхъ выплачиваются нынѣшніе оклады (Куропаткинъ, напр., получалъ 144.000 руб. въ годъ), чтобы требовать спартанскихъ темпераментовъ и воинскихъ доблестей минувшаго вѣка.

Ни новобранцы, однако, или резервисты, ни деньги не стали легче даваться народу. Онъ былъ бы еще сколько-нибудь удовлетворенъ, если бъ результаты современной войны окупали давно непосильныя ему жертвы; но и этого нѣтъ. Какъ бы смѣясь надъ человѣчествомъ, современные побѣды не несутъ съ собою прежнихъ, ясныхъ и ощутительныхъ, государственныхъ благъ. Что получила, хотя бы, Японія, одержавшая небывалую въ исторіи великихъ войнъ побѣду? Удовлетворили ли народъ небольшія деньги за плѣнныхъ, *половина* острова да затяжное завоеваніе Кореи? Даже самая слава побѣды не держится теперь долго, и силы государства подтачиваются военной удачей не меньше, чѣмъ пораженіями. А вотъ первый попавшійся на память фактъ изъ нашей всенной исторіи: стоимость *всей* русской эскадры, участвовавшей въ синопскомъ бою, была ниже, и даже гораздо ниже цѣны *одного* современнаго броненосца; моральныя же и политическія послѣдствія побѣды, одержанной тогда надъ турецкимъ флотомъ, не были ли выше и цѣннѣе псбѣды адмирала Того при Цусимѣ?...

Итакъ, нѣтъ, повидимому, области, въ которой современная наступательная война оправдывала бы себя, а потому не можетъ быть и такихъ поводовъ къ ней, на коихъ правительство могло бы основывать свою увѣренность въ одобреніи ея народомъ. Нѣтъ причины сказать: «Не положу оружія, доколѣ хотя одинъ непріятельскій солдатъ остается на моей землѣ», потому что никто на эту землю не покушается, — а другимъ причинамъ войны народъ не внемлетъ. Впрочемъ, его никто не спрашиваетъ, этотъ народъ, и войны начинаются иногда за тысячи верстъ отъ родины, съ людьми другой расы и культуры, въ чужой обстановкѣ, но за то во всеоружіи современной техники. Первый же большой бой развернетъ тогда предъ нами картину этой техники; попробуемъ послѣдить за его эволюціей, поискать, кромѣ боевого, и гуманитарнаго прогресса въ наукѣ взаимоистребленія.

\* \* \*

Художественное описаніе боя, какъ и самая подробная и правдивая реляція о немъ, не воссоздадутъ его въ воображеніи мирнаго гражданина. Топько сравнивая сраженія разныхъ эпохъ можетъ онъ сдѣлать заключеніе о направленіи, въ какомъ движется военное дѣло и несоотвѣтствіи бсевыхъ эмоцій и жертвъ съ цѣлями культуры и цивилизаціи.



Подъ Бородинымъ, какъ мы нынѣ знаемъ, русская армія была разбита и находилась приблизительно въ одинаковыхъ внѣшнихъ условіяхъ съ арміей Куропаткина при Лаоянѣ; а безпорядочное бѣгство изъ-подъ Мукдена напоминаетъ спѣшное отступленіе Кутузова за Москву.

Поле Бородина съ шевардинскаго холма видно какъ на ладони. Русскіе и французы провели ночь передъ боемъ на *виду* другъ у друга. Пикеты сторожевыхъ частей могли бы переговариваться, если бѣ имѣли общій языкъ, и на разсвѣтѣ контуры боевого расположенія были отчетливо видны командующимъ арміями. Сотня тысячъ людей, собравшаяся въ комокъ, жила какъ одинъ организмъ, и массы не только заняты были общимъ дѣломъ, — чистой аммуниціи и оружія, послѣдними передвиженіями и земляными работами, но и мыслили въ одномъ направленіи, готовясь къ штыковой схваткѣ съ непріятелемъ не позднѣе середины дня, — такъ просты были боевые приемы того времени.

Съ окрестностями Лаояна можно ознакомиться только по картѣ. Разбросанныя на пространствахъ въ сотни верстъ, дивизіи Куропаткина двигались, накануне сраженія, въ направленіяхъ, остававшихся для нихъ загадочными еще долго послѣ начала боя. Въ этой оторванности войсковыхъ частей другъ отъ друга и непримиримости ихъ съ ролями простыхъ пѣшекъ въ чьихъ-то рукахъ заложены главныя трудности современнаго боя, какъ въ самомъ командованіи, такъ и въ исполненіи диспозиціи.

Бородино, какъ и всякое большое сраженіе того вѣка, несло съ собой огромный эмоціональный подъемъ, почти опьяненіе, безъ котораго биться на смерть просто невозможно; а еще того больше — невозможно *долго* биться. Это опьяненіе боемъ охватывало армію, отъ генерала до солдата, и самый бой былъ относительно коротокъ. Подъемъ и кончался почти одновременно въ обѣихъ арміяхъ; часто среди боя какъ бы невольно устанавливалось бездоговорное перемиріе на нѣсколько часовъ, иногда подъ предлогомъ уборки раненыхъ; къ ночи же бой стихалъ окончательно.

Современный бой не пьянитъ, а потому много страшнѣе, требуетъ огромнаго запаса мужества, крѣпкихъ нервовъ, умѣнья оріентироваться, во всякой обстановкѣ и на всякой мѣстности. Обходное движеніе, или иной маневръ, требовавшій раньше нѣсколькихъ часовъ, длится теперь нерѣдко днями; посланные части не знаютъ, когда достигнуть мѣста назначенія и въ какомъ видѣ найдутъ поле сраженія. Учесть шансы сторонъ во время боя, даже въ рѣшительный его моментъ, трудно и главнокомандующему; а сто лѣтъ назадъ чуть не всякій солдатъ, перебѣгая черезъ какую-нибудь вышку, соображалъ, что — «тѣснятъ нашихъ», или — «подались французы» и т. п. Ближе смыкались тогда ряды бойцовъ, и центръ арміи, вплоть до полного пораженія или побѣды, оставался въ рукахъ полководца, какъ снарядъ въ каналѣ орудія. У полководца, наконецъ, всегда оставался въ запасъ моментъ, когда онъ, какъ хотѣлъ сдѣлать Наполеонъ при Ватерлоо, могъ личнымъ примѣромъ увлечь солдатъ въ послѣднюю схватку.

Подъ Малоярославцемъ, послѣ того, какъ безвѣстный дотолѣ мѣщанинъ Бѣляевъ догадался спустить воду съ мельничной запруды, въ раздѣлявшую сражавшихся лощинку, русскіе полки могли *видѣть* замѣшательство французовъ; и не

нужно было никакого генія, чтобы броситься въ послѣднюю атаку, рѣшившую, какъ извѣстно, не только бой этого дня, но и судьбу кампаніи; этой побѣдой армія Наполеона была отброшена на пройденный раньше и теперь разоренный путь къ Березинѣ.

Самый строй тогда основывался на взаимной поддержкѣ солдатъ и образованіи сплоченныхъ массъ; только стрѣлковыя цѣпи находились въ разсыпномъ строю. Теперь же даже резервныя колонны держатся въ шахматномъ порядкѣ и на интервалахъ между людьми, — такъ губителенъ сталъ артиллерійскій огонь. Атака тяжелой кавалеріи, нынѣ ставшая очень рѣдкой, такъ какъ нарѣзное оружіе измѣнило и самыя задачи кавалеріи, являлась наиболѣе страшнымъ моментомъ стараго боя и заставляла и пѣхоту смыкаться какъ можно крѣпче, образуя такъ наз. карре. Дрогнуть подъ натискомъ лошадей значило полечь до единого отъ непріятельскихъ сабель; устоять — залпомъ въ спины уничтожить атаковавшіе эскадроны. Если атака не была неожиданной (а этого почти не могло и случаться, такъ какъ для нея кавалеріи нужно было пройти открытое и ровное мѣсто), то карре давало обычно одинъ залпъ по эскадронамъ и затѣмъ брало ружья на перевѣсъ, «стальной щетиною сверкая». Нервное напряженіе достигало тутъ крайняго предѣла.

Въ сраженіи при Кульмѣ одинъ изъ батальоновъ русской гвардіи былъ выведенъ изъ линіи боя, — у него не оставалось патроновъ. Составивъ ружья, солдаты отдыхали, поджидая новой партіи снарядовъ, какъ вдругъ эскадронъ или два французскихъ кирасиръ открылъ ихъ и немедленно пустился въ атаку. Что было дѣлать? Не дать залпа, а просто взять на перевѣсъ? Французы поняли бы, что нашимъ нечѣмъ было стрѣлать, и навѣрное сокрушили бы карре. Командиръ не произнесъ *никакой* команды, люди стояли, какъ на плацу парада, держа ружья «у ноги». И вотъ солдаты начали замѣчать какъ бы замедленіе въ скокѣ лошадей. Еще и еще. Лошади первой шеренги стали расходиться на преувеличенные интервалы и... не доскакавъ нѣсколькихъ саженъ до карре, французы повернули и въ карьеръ бросились на утекъ. Общее напряженіе разрѣшилось громовымъ хохотомъ батальона, хохотомъ, проводившимъ кирасиръ вмѣсто традиціоннаго залпа.

А вотъ что бывало, когда сшибались двѣ кавалерійскія части.

«...На перерѣзъ ему (Ростову), показалась на всемъ протяженіи поля огромная масса кавалеристовъ на вороныхъ лошадяхъ, въ бѣлыхъ блестящихъ мундирахъ, которые рысью шли прямо на него... Это были наши кавалергарды, шедшіе въ атаку на французскую кавалерію, подвигавшуюся имъ навстрѣчу.

...Едва кавалергарды миновали Ростова, какъ онъ услыхалъ ихъ крикъ: Ура! и оглянувшись увидалъ, что передніе ряды ихъ смѣшивались съ чужими, вѣроятно французскими кавалеристами въ красныхъ эполетахъ... Эта была та блестящая атака кавалергардовъ, которой удивлялись сами французы. Ростову страшно было слышать потомъ, что изъ всей этой массы огромныхъ красавцевъ — людей, изъ всѣхъ этихъ блестящихъ, на тысячныхъ лошадяхъ богачей, юношей, офицеровъ и юнкеровъ, проскакавшихъ мимо него, послѣ атаки осталось только восемнадцать человѣкъ». («Война и миръ», т. I, ч. III).

Эти массовые подъемы духа, изъ комбинацій которыхъ и складывается, въ сущности, успѣхъ или неуспѣхъ войнъ, нынѣ почти недоступны войскамъ. *Только угнетающія впечатлѣнія остались въ силѣ и даже выросли.*

Артиллерійская позиція временъ Аустерлица и Бородина была гладкой возвышенностью. Пушки стояли на виду; видѣть дымокъ орудія, наблюдать глазомъ полетъ круглаго ядра, успѣвать перемѣнить мѣсто, — все это облегчало естественное чувство страха; перемѣна прицѣла производилась долго, заряжались орудія медленно, съ дула, и передвигавшіяся части войскъ, пройдя осыпаемую картечью зону, чувствовали себя въ сравнительной безопасности. И пѣхота, и кавалерія нерѣдко дорывались до непріятельскихъ батарей, и самое прикрытіе послѣднихъ пѣхотными частями, доселѣ сохранившееся въ уставахъ, введено было въ виду возможности рукопашной схватки возлѣ пушекъ. Теперь артиллерійскія позиціи избираются въ глубокихъ складкахъ мѣстности, чуть не въ оврагахъ. Войска не знаютъ, откуда летятъ снаряды, и не могутъ угадывать пункты ихъ паденій. Только все сближающіеся взрывы перелетовъ и недолетовъ указываютъ, что невидимый врагъ нащупалъ васъ. Но тутъ поздно передвигать полки; манипуляціи артиллеристовъ быстры, мѣра человѣческаго шага опредѣленна, и смерть идетъ по пятамъ мѣняющихся мѣста. Даже въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда батареи располагаются на высотахъ, бездымный порохъ дѣлаетъ ихъ невидимыми простому глазу, и неожиданность пораженій остаётся тою же, приводя людей къ быстрому нервному утомленію.

Моральное дѣйствіе современнаго артиллерійскаго снаряда несравнимо съ прежнимъ. Начиненные «шимозой», мелинитомъ или иными взрывчатыми составами, разрывающими стальную оболочку на тысячи неправильныхъ кусковъ, отравляющіе газами сгоранія, летящіе буквально дождемъ и направляемая съ математическою точностію, снаряды XX вѣка выносятъ изъ строя сразу сотни жертвъ; а осколки летятъ, рикошетируя, еще сотни сажень, и разворачиваютъ ткани человѣческаго тѣла шире, чѣмъ пули «думъ-думъ». Объ эффектѣ, производимомъ морской стрѣльбой, нечего говорить, — цусимскій бой у всѣхъ въ памяти.

А вотъ какъ Толстой рисуетъ дѣйствіе французскаго ядра, въ картинѣ, списанной, въ сущности говоря, съ натуры, потому что въ севастопольскую войну орудія оставались еще гладкоствольными.

«Берегись! — слышался испуганный крикъ солдата и, какъ свистящая на быстромъ полетѣ, присѣдающая на землю птичка, въ двухъ шагахъ отъ князя Андрея подлѣ лошади батальоннаго командира негромко шлепнулась граната. Лошадь первая, не спрашивая того, хорошо или дурно было выказывать страхъ, фыркнула, взвилась, чуть не сронивъ майора, и отскакала въ сторону. Ужасъ лошади сообщился людямъ. — Ложись! — крикнулъ голосъ адъютанта, прилегающаго къ землѣ. Князь Андрей стоялъ въ нерѣшительности. Граната, какъ волчокъ, дымясь вертѣлась между нимъ и лежащимъ адъютантомъ, на краю пашни и луга, подлѣ куста полыни.

«Неужели это смерть», думалъ князь Андрей, совершенно новымъ, завистливымъ взглядомъ глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся отъ вертящагося чернаго мячика. «Я не могу, не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю



эту траву, землю, воздухъ»... Онъ думаль это и вмѣстѣ съ тѣмъ помнилъ о томъ, что на него смотреть.

❦ «Стыдно, господинъ офицеръ — сказалъ онъ адъютанту, — какой... — Онъ не договорилъ. Въ одно и то же время послышался взрывъ, свистъ осколковъ какъ бы разбитой рамы, душный запахъ пороха, и князь Андрей рванулся въ сторону и, поднявъ кверху руку, упалъ на грудь». («Война и миръ», т. III, ч. 2).

То же самое можно сказать, сравнивая старую, круглую пулю изъ свинца, прозванную Суворовымъ «дурой», съ современной конической, никелевой и малокалиберной. Круглая пуля выбрасывалась изъ ружья плохимъ пороховъ, съ незначительной начальной скоростью, а потому дѣлала большія, рваныя раны, въ которыя заносила части одежды, нерѣдко производя зараженіе крови; при тогдашнемъ состояніи полевой медицины, раны эти, будучи пустыми по существу, часто кончались смертью и вообще были болѣзненны. Между тѣмъ, новая пуля, летящая изъ нарѣзного ружья съ такой скоростью, что *раздвигаетъ* ткани мускуловъ и даже костное вещество, не деформируя ихъ, съ самаго начала прослыла пулей гуманной. Но гуманность ея однако, проблематична; на самомъ же дѣлѣ новая пуля дѣйствуетъ такъ при одномъ условіи: чтобы на пути между дуломъ непріятельскаго ружья и грудью солдата ей ничего, кромѣ воздуха, не попадалось, и чтобы скорость ея не достигала извѣстнаго уменьшенія. Если пуля рикошетировала, или движется, какъ говорятъ, «на излетѣ», то она производитъ разрушенія, способныя свалить слона. Съ рикошетомъ, вдобавокъ, пуля деформируется, никелевая оболочка ея отдѣляется и рваными краями своими выворачиваетъ мясо чуть не на вершокъ вокругъ своего пути сквозь человѣческое тѣло. Пули на излетѣ достаются резервамъ, гдѣ пораненія и бываютъ особенно тяжкими. Не слѣдуетъ забывать, что и скорость стрѣльбы теперь превосходить въ десятки разъ прежнюю, а пулеметы, діавольское изобрѣтеніе, забиваютъ, въ смыслѣ числа жертвъ, самыя крупныя морскія орудія. Ихъ пули летятъ вѣромъ и косятъ людей, буквально, какъ траву. Ихъ можно преодолевать только такъ, какъ саранча преодолеваетъ ставимыя ей препятствія, наполняя канавы, туша тѣлами костры и по горамъ труповъ перебираясь на несѣдненное еще поле. И кто знаетъ, не потребуе ли новое оружіе новаго увеличенія армій, обращая сраженія въ бойни, предъ которыми самыя мрачныя страницы военной исторіи будутъ казаться лишь красивыми турнирами скучающихъ рыцарей.

Словомъ сказать, прежде, нежели вступить въ сферу ружейнаго огня, причемъ и здѣсь бездымный порохъ долго скрываетъ окопавшагося противника, солдатъ уже морально угнетенъ и желалъ бы поддержки товарищей; но тутъ то и разводять ряды, распыляя цѣлыя дивизіи и въ корнѣ уничтожая связующее чувство боевой солидарности.

Можно было бы еще думать, что элементъ случайностей, такъ часто путавшій расчеты прежнихъ боевъ и такъ сильно привлекавшій къ себѣ вниманіе геніальнаго творца «Войны и мира», что этотъ элементъ, съ усовершенствованіемъ всѣхъ способовъ веденія войны, значительно уменьшился. Нисколько. Наоборотъ, что ни дальше, то труднѣе становится составленіе диспозицій. Подготовительныя къ бою маневры занимаютъ иногда недѣли времени. Опозданіе

обходныхъ колоннъ, достигающихъ теперь состава въ цѣлые корпуса, или открытіе ихъ непріятелемъ, ошибка развѣдывательной службы, перепутанный транспортъ снарядовъ, желѣзнодорожная катастрофа въ предѣлахъ передвиженія арміи, ливень или вскрытіе рѣкъ наканунѣ боя, — тысячи крупныхъ и мелкихъ причинъ случайнаго характера мѣняють обстановку предполагаемаго сраженія, требуя немедленныхъ распоряженій и частичныхъ перемѣнъ въ диспозиціи. Но поздно; приводитъ эти распоряженія въ исполненіе на современныхъ боевыхъ дистанціяхъ почти всегда оказывается невозможнымъ. И вотъ бой начинается уже при угнетенномъ настроеніи штаба и главнокомандующаго, нѣтъ мѣста для вдохновенія; отсюда, какъ изъ головного мозга къ конечностямъ, чувство неувѣренности въ себѣ быстро и безсознательно передается вступающимъ въ бой частямъ. Можно, въ случаѣ пораженія, всегда найти второстепеннаго командира, на котораго свалить неудачу, какъ это постоянно дѣлалъ въ своихъ донесеніяхъ Куропаткинъ, и оставить за собой полномѣсную славу въ случаѣ побѣды. Но современное поле битвы остается не какъ сто лѣтъ назадъ, за храбрѣйшимъ, а за тѣмъ, кто, при здоровыхъ нервахъ, былъ счастливъ въ расчетахъ.

И здоровые нервы нужны до конца. Казалось бы, что нынѣшняя медицина и учрежденія Краснаго Креста отодвинули въ безвозвратное прошлое тяжкія картины перевязочныхъ пунктовъ наполеонова вѣка, мало, впрочемъ, отличавшіяся отъ увѣковѣченныхъ Верещагинымъ въ войну 1877-78 г.г. Съ тѣхъ поръ и хирургія и, особенно, примѣненіе наркотиковъ, и подготовка сестеръ и братьевъ милосердія, самое устройство барачныхъ, техника перевязочныхъ средствъ и хирургическихъ инструментовъ, — все это колоссально прогрессировало, какъ бы заранѣе суля облегченіе раненымъ. Но неужели приказъ главнокомандующаго, отданный наканунѣ современнаго боя о приготовленіи коекъ, врачей и матеріаловъ на *тридцать, сорокъ тысячъ* человѣкъ раненыхъ, самъ по себѣ не болѣе страшенъ, чѣмъ самая потрясающая картина стариннаго перевязочнаго пункта? А если, какъ это и бывало постоянно съ арміей Куропаткина, число выведенныхъ изъ строя вдвое и втрое превышало заготовленныя средства, то развѣ не ожидало непопавшихъ на пункты зараженіе крови или смерть отъ потери ея или отъ голода и холода, въ скотскихъ вагонахъ, въ придорожныхъ канавахъ, въ лѣсныхъ заросляхъ?

Бой XX вѣка во всѣхъ фазахъ своихъ сталъ безконечно мрачнѣй. Между нимъ и тѣмъ, что было вѣкъ назадъ, такая же разница, какъ между батальной картиной конца XVIII столѣтія и нынѣшней моментальной фотографіей. Вмѣсто красивыхъ и возвышенныхъ сценъ, рисующихъ полководца на полѣ побѣды, скачущаго на бѣломъ конѣ черезъ раненыхъ солдатъ, мы видимъ тысячи разбросанныхъ тамъ и сямъ комочковъ, — скорченныхъ въ послѣдней судорогѣ убитыхъ; безформенныя горы тѣлъ на мѣстахъ разрывовъ снарядовъ или валы такихъ же тѣлъ, разстрѣлянныхъ изъ пулеметовъ возлѣ проволочныхъ загражденій. И перевязочные пункты, гдѣ талантливые хирурги творять чудеса, дѣлая самыя отчаянныя операціи, гдѣ нѣтъ больничнаго тифа и гдѣ ласковыя и интеллигентныя сестры милосердія неслышно снуютъ межъ чистыхъ коекъ, эти мѣста, быть можетъ, ярче всего рисуютъ ужасы войны, какъ гигантское напря-

женіе милосердія, науки и труда, направляемыхъ на смягченіе этого человѣческаго бѣдствія.

И то обстоятельство, что улучшились всѣ вспомогательныя средства войны, что взамѣнъ прежняго наблюденія за боемъ съ деревьевъ, пригорковъ и колоколенъ люди поднимаются въ воздухъ на шарахъ и аэропланахъ; что вмѣсто донесеній, посылавшихся съ людьми, нынѣ къ услугамъ командировъ полевые телеграфы, телефоны и, какъ новинка, беспроводное сообщеніе; что переносныя желѣзныя дороги способны быстро подвозить пищу, людей и снаряды, — всѣ эти детали только усугубляютъ разрушительную силу современной арміи, вызывая дальнѣйшія изобрѣтенія, направляя человѣческій геній въ сторону истребленія самой здоровой и трудоспособной части народа. Нѣтъ, кажется, такой отрасли войны, гдѣ мы натолкнулись бы на повышеніе, сравнительно съ прежнимъ, началъ гуманности. Демонъ войны дѣйствительно могъ сказать:

Я опущусь на дно морское,  
Я подымусь за облака, —

и онъ уже выполнилъ это. Но не любовь двигала имъ, а холодная жестокость; не щемящая тоска по недоступной простой жизни, а черствая наука истребленія людей.

\* \* \*

Не можетъ быть, однако, чтобы коллективные умъ, трудъ и воля, направленные на улучшеніе военной техники, не дали, въ свою очередь, чего-нибудь положительнаго, полезнаго, необходимаго и всему человѣчеству; чтобы война ничего не принесла миру, если не въ оправданіе, то къ смягченію приговора надъ собой?

Принесла, конечно; но не понадобится много времени и мѣста для перечисленія ея даровъ. Прежде всего — двигатели внутренняго сгоранія, такъ какъ теорія послѣдовательныхъ взрывовъ какого-нибудь газа, какъ двигающей силы, цѣликомъ почти разработана для надобностей военнаго дѣла. Нѣтъ нужды преуменьшать значеніе этого изобрѣтенія: старый паровой двигатель, въ сравненіи съ новымъ, внутренняго сгоранія, не болѣе удобенъ, изыщенъ и точенъ въ работѣ, чѣмъ колымага временъ Грознаго въ сравненіи съ автомобилемъ.

Затѣмъ — всѣ взрывчатые вещества, изобрѣтавшіяся, начиная съ пороха, исключительно въ истребительныхъ цѣляхъ, но нашедшія себѣ широкое употребленіе въ горномъ дѣлѣ и многихъ строительныхъ работахъ, — прорытіи туннелей, постройкѣ сухихъ доковъ и т. п. Среди этихъ составовъ мы встрѣчаемъ, впрочемъ, и такіе, что перешли изъ военной службы въ гражданскую для той же черной цѣли — уничтоженія челоѣка въ тѣ тяжкіе періоды государственной жизни, когда политическій терроръ развивается и съ трудомъ поддается лѣченію.

Въ металлургической области и, въ особенности, въ способахъ обработки металловъ, военная техника принесла много добраго. Всѣ новые виды стали,



цѣлнотянутыя трубы, сверленіе,ковка и прокатка,—обязаны войнѣ, если не появленіемъ своимъ на свѣтъ, то ускореніемъ появленія.

Но, конечно, нигдѣ миръ не сошелся такъ близко съ войной, какъ въ рѣшеніи двухъ важнѣйшихъ проблемъ матеріальной культуры, летанія въ воздухѣ и плаванія подѣ водою.

Сто лѣтъ назадъ главнокомандующій въ Москвѣ, Растопчинъ, такъ писалъ въ одной изъ послѣднихъ своихъ афишъ:

«Здѣсь мнѣ поручено отъ ГОСУДАРЯ было сдѣлать большой шаръ, на которомъ 50 человѣкъ полетятъ, куда захотятъ и по вѣтру и противъ вѣтра; а что отъ него будетъ, узнаете и порадуетесь. Естли погода будетъ хороша, то завтра или послѣ завтра ко мнѣ будетъ маленькій шаръ для пробы. Я вамъ заявляю, чтобъ вы, увидя его, не подумали, что это отъ злодѣя, а онъ сдѣланъ къ его вреду и гибели». («Растопчинскія афиши», изд. Суворина.)

А на послѣднемъ конкурсѣ аэроплановъ во Франціи военное министерство выдало призъ въ 300.000 франковъ за аппаратъ, который самъ пріѣхалъ на поле, поднялся со значительнымъ грузомъ на воздухъ, во время полета спускался на вспаханныя поля и въ густую траву, подымаясь оттуда безъ посторонней помощи снова въ воздухъ и леталъ нѣсколько часовъ со скоростью экспресса къ чьему-то будущему «вреду и гибели». Правда, государства могли бы поощрять изобрѣтателей и изъ фондовъ мирнаго назначенія, но эпоха такова, что все новое въ технику прежде всего оцѣнивается съ точки зрѣнія пригодности для военныхъ цѣлей; и бюджеты военныхъ министерствъ пестрятъ ассигнованіями на такія техническія задачи.

Менѣ популярно (потому что менѣ находится на виду у праздно толпы) подводное плаваніе, но и его роль въ мирной жизни можетъ быть огромна, не говоря уже о томъ, что полное рѣшеніе этого вопроса могло бы въ корнѣ уничтожить всякую возможность морской войны. Странно думать, что между фультоновскимъ пароходикомъ, демонстрировавшимся передъ Наполеономъ на Сенѣ и современной подводной лодкой прошли вереницы судовъ, вплоть до «дредноутовъ» XX вѣка для того, чтобы снова уменьшиться до наружныхъ размѣровъ перваго парового суденышка, но уже нырнуть въ воду, перенявъ у рыбъ ихъ способы управленія движеніемъ,—все на разстояніи одной сотни лѣтъ! Здѣсь, въ технику подводныхъ судовъ, все принадлежитъ военно-морскому искусству. Недалеко время, когда суда эти станутъ непотопляемы, будутъ ходить на тысячи миль (п. ч. и теперь уже суда въ 600-700 тоннъ покрываютъ тысячу миль безъ захода въ порты за топливомъ и припасами), укрываясь въ бурю подѣ воду и дѣлая изъ безумнаго риска недавнихъ лѣтъ безопасное и удобное средство сообщенія. И если бы суждено было флотиліямъ подводныхъ лодокъ (Англія имѣетъ теперь 90, Франція—больше сотни, мы—тридцать три) сдѣлать невозможнымъ плаваніе броненосцевъ и прорывы боевыхъ эскадръ во внутреннія воды государствъ путемъ такъ наз. «завѣсы» проливовъ и входовъ въ порты, то это было бы хотя частичнымъ оправданіемъ жертвъ людьми и деньгами, понесенныхъ міромъ въ этомъ дѣлѣ.

Вотъ, въ сущности, и все, что миръ получилъ отъ войны. Этого слишкомъ мало, чтобъ можно было говорить о балансѣ двухъ началъ, о равнозначимости

Марса и Меркурія. Равновѣсіе нарушаютъ прежде всего военные налоги, въ косвенномъ видѣ крадущіеся отъ предметовъ роскоши до насущнаго хлѣба. Около двухъ пятыхъ мірового бюджета идетъ на военные нужды въ то время, какъ міръ все еще знаетъ и нищету, и невѣжество, и невысокую агрономическую культуру.

Еще большая жертва приносится живыми существами, цвѣтомъ мужской молодежи, отдаваемой на два, пять лѣтъ въ лапы военного Молоха. Не трудно разсчитать, сколько денегъ извлекается такимъ путемъ изъ народнаго достатка; онѣ должны считаться миллиардами. Есть ли, наконецъ, вообще какой-либо внутренній смыслъ въ отвлеченіи отъ мирнаго труда и обращеніи въ трутней миллионъ лучшихъ работниковъ и траты на нихъ доброй половины государственныхъ бюджетовъ? Можно ли думать, что сознаніе этой ненужности, живущее въ любомъ пахарѣ такъ же, какъ въ ученомъ, въ нищемъ какъ въ богачѣ, сколько-нибудь корректируется безпочвенными теоріями, созерцаніемъ пышныхъ парадовъ, маневровъ и триумфальныхъ арокъ, даже упоеніемъ побѣды? Между тѣмъ, милитаризмъ есть не только реальность, далеко отбрасывающая свою тѣнь, но и такая реальность, въ силу и значеніе которой нельзя не вѣрить, которую нельзя достаточно переоцнить. Она какъ воздухъ окружаетъ насъ, грозовой тучей виситъ надъ жизнью и судьбами людей. И намъ кажется, что милитаризмъ не есть результатъ дѣятельности и темпераментовъ отдѣльныхъ лицъ (какъ многіе, напр., считаютъ Вильгельма II творцомъ этой несчастной эпохи); — онъ есть логическій выводъ численнаго увеличенія армій и флотовъ, повседневныя нужды которыхъ не могли не привлечь на работу себѣ промышленнаго и научнаго генія. Міровая армія, и не только міровая, а и каждая изъ европейскихъ армій въ отдѣльности, есть нѣчто самодовлѣющее, своеобразное «государство въ государствѣ», которое перестаетъ считаться со всякимъ правительствомъ, со всякимъ государственнымъ строемъ, какъ скоро они перестаютъ ему нравиться или быть выгодными. А до тѣхъ поръ, пока они выгодны, арміи являются въ рукахъ правительствъ силой, которая такъ же просится въ употребленіе, какъ капиталъ изъ рукъ отдѣльнаго человѣка или банка. А какое же употребленіе можно сдѣлать изъ капитала, если почему-либо нельзя пустить его во внѣшній оборотъ? Только внутреннее. И армія въ мирное время невольно является оплотомъ консерватизма, потому что нельзя себѣ представить никакого правительства, которое не мечтало бы о покойномъ сохраненіи собственной власти, силы и жизни. И, быть можетъ, это еще есть меньшее изъ золъ, такъ какъ армія, выведенная изъ политическаго равновѣсія и втянутая въ борьбу, которую, не переставая, ведутъ всѣ народы міра за освобожденіе отъ власти надъ собою, неизбежно приводитъ свою родину къ ряду переворотовъ, надолго разрушая внутренній миръ. Какъ бы то ни было, социальныя реформы и въ томъ, и въ другомъ случаѣ отдаляются. Каждый новый броненосецъ, стоящій теперь до тридцати миллионъ рублей и несущій на себѣ тысячу человѣческихъ жизней, есть не столько орудіе войны, сколько орудіе социальнаго регресса. XX вѣкъ застаётъ человѣчество передъ роковой дилеммой: нельзя остановиться въ погонѣ за все новыми боевыми средствами и нельзя дольше оттягивать внутреннія реформы.

улучшеніе условій мирнаго труда; совмѣщеніе же этихъ задачъ никому не по силамъ. И, послѣ того, что попытки поднять вопросъ о частичномъ разоруженіи потерпѣли крушеніе, а международныя отношенія послѣднихъ лѣтъ все съ большею наглядностью убѣждаютъ въ невольномъ стремленіи государствъ использовать накопленныя средства войны, мысль о неизбежности мірового катаклизма, великаго сраженія народовъ, становится все болѣе и болѣе навязчивой. Только кажущееся равновѣсіе группировокъ великихъ державъ, а вѣрнѣе — трудность его учета, откладываетъ наступленіе этого кризиса, но промежутки между поводами къ европейской войнѣ становятся все короче, и всякій новый годъ можетъ не только измѣнить политическую карту міра, но и поставить ребромъ основныя проблемы соціальной его жизни.

Человѣкъ, угнетаемый страхомъ передъ неизбежнымъ бѣдствіемъ, ищетъ иногда выхода въ стремленіи къ цѣлямъ, вчера еще казавшимся ему отвлеченными, вдругъ увѣровавъ въ ихъ жизненность и способность избавить его отъ зла; такъ и современное человѣчество обратилось къ осуществленію идеи, для многихъ остающейся и теперь абстрактной, но дѣйственная сила которой такъ ясно сказала въ самое послѣднее время. Эта идея есть идея всеобщаго мира, и упоминаніемъ о ней мы заканчиваемъ наше изложеніе.

На грани двухъ вѣковъ, XIX и XX, столкнулись два извѣчныхъ начала, войны и мира, чтобы рѣшить, кому изъ нихъ стоять теперь у кормила исторіи. Этотъ споръ, споръ двухъ міропониманій, приходитъ къ своему концу. Мы, несшіе столько жертвъ одному изъ нихъ — войнѣ, должны встрѣтить и другое — идею всеобщаго мира, не какъ утопію, а какъ злобу дня, довлѣющую ему.

Людямъ нашего вѣка нельзя безъ содроганія мыслить о войнѣ. И не отъ изнѣженности ихъ, ибо жизнь не балуетъ никого. И не отъ трусости, потому что они безъ оружія ходятъ на разстрѣлы, ища правды и свободы. А потому, что каждый изъ нихъ думаетъ, не сознавая того, этими самыми прелестными строками изъ «Войны и мира»:

«Измученнымъ, безъ пищи и безъ отдыха, людемъ той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнѣніе о томъ, слѣдуетъ ли имъ еще истреблять другъ друга, и на всѣхъ лицахъ было замѣтно колебаніе, и въ каждой душѣ одинаково поднимался вопросъ: «За чѣмъ, для кого мнѣ убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, дѣлайте, что хотите, а я не хочу больше!»

*Викторъ Обнинскій.*





## ВОЙНА И МИРЪ ВЪ УЧЕНИИ Л. Н. ТОЛСТОГО.



Въ 1909 году въ докладѣ, приготовленномъ для конгресса мира въ Стокгольмѣ, Толстой приглашалъ конгрессъ сказать во всеуслышаніе простое и ясное слово, которое разрушило бы обаяніе войны. Всѣ видятъ, но не рѣшаются сказать, что война есть простое убійство и восхваляютъ геройскіе подвиги и патріотизмъ подобно тому, какъ въ сказкѣ Андерсена всѣ видятъ, что царь — голый, но не рѣшаются сказать этого и восхищаются прекрасной одеждой.

«Какъ въ сказкѣ Андерсена, когда царь шелъ въ торжественномъ шествіи по улицамъ города и весь народъ восхищался его прекрасной новой одеждой, одно слово ребенка, сказавшаго то, что всѣ знали, но не высказывали, измѣнило все. Онъ сказалъ: «На немъ нѣтъ ничего», и внушеніе исчезло, и царю стало стыдно, и всѣ люди, увѣрявшіе себя, что они видятъ на царѣ прекрасную новую одежду, увидали, что онъ голый. То же надо сказать и намъ, сказать то, что всѣ знаютъ, но только не рѣшаются высказать, сказать, что какъ бы ни называли люди убійство, убійство всегда есть убійство — преступное, позорное дѣло. И стоитъ ясно, опредѣленно и громко, какъ мы можемъ сдѣлать это здѣсь, сказать это, и люди перестанутъ видѣть то, что имъ казалось, что они видѣли, и увидятъ то, что дѣйствительно видятъ. Перестанутъ видѣть: служеніе отечеству, героизмъ войны, военную славу, патріотизмъ, и увидятъ то, что есть: голое, преступное дѣло убійства» (Толстой. Соч. Часть XIX, ст. 245).

Этотъ простой взглядъ на войну Толстой постигъ еще ребенкомъ. Еще въ «Отрочествѣ», когда учитель Карлъ Ивановичъ съ увлеченіемъ рассказываетъ, что онъ «до послѣдней капли крови» защищалъ свое отечество, что онъ былъ «подъ Аустерлицъ, подъ Ульмъ и подъ Ваграмъ», то мальчикъ съ удивленіемъ его перебиваетъ: — «Неужели вы тоже воевали? Неужели вы тоже убивали людей?»

Онъ не обратилъ вниманія на геройскіе подвиги Карла Ивановича, а остановился на фактѣ убійства. Такимъ образомъ, истина, проповѣдуемая Толстымъ —

мыслителемъ, ему лично открылась еще въ дѣтствѣ. Не даромъ Л. Н. въ посмертныхъ сочиненіяхъ самая дорогія ему истины жизни изложилъ въ формѣ дѣтскихъ разговоровъ. Міросозерцаніе, къ которому онъ пришелъ въ концѣ жизни, представляетъ собою ясно сознанные стремленія и порывы, которые смутно существовали въ душѣ его еще на зарѣ жизни. Въ этотъ періодъ, который онъ самъ называетъ «чуднымъ, невиннымъ, радостнымъ и поэтическимъ», въ дѣтской душѣ бродили смутные порывы къ той великой любви, которая легла въ основу его сознательной философіи. Еще пятилѣтнимъ мальчикомъ онъ съ братомъ Николенькой мечталъ о томъ, что «всѣ люди сдѣлаются счастливыми, не будетъ ни болѣзней, никакихъ непріятностей, никто ни на кого не будетъ сердиться, и всѣ будутъ любить другъ друга, и всѣ сдѣлаются *муравейными братьями*». «Вѣрно, — поясняетъ Толстой, — это были моравскіе братья, но на нашемъ языкѣ это были муравейные братья. И я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьевъ въ кочкѣ. Мы даже устроили игру въ муравейные братья, которая состояла въ томъ, что садились подѣ стулья, загораживая ихъ ящиками, завѣшивали платками и сидѣли тамъ въ темнотѣ, прижимаясь другъ къ другу. Я помню, я испытывалъ особое чувство любви и умиленія и очень любилъ эту игру... Идеаль муравейныхъ братьевъ, лънущихъ любовно другъ къ другу только не подѣ двумя креслами, завѣшанными платками, а подѣ всѣмъ небеснымъ сводомъ всѣхъ людей міра остался для меня тотъ же» (Воспоминанія дѣтства)<sup>1</sup>). Этотъ «небесный сводъ» словно замыкаетъ кругъ жизни Толстого: заря сливается съ закатомъ въ сіяніи одной и той же безбрежной любви. Но между зарей и закатомъ прошелъ долгій день, за періодомъ дѣтства, невиннымъ и радостнымъ, наступилъ періодъ жизни, наполненный, по словамъ Толстого, заблужденіями, служеніемъ честолюбію, тщеславію и прочимъ страстямъ. Къ числу этихъ заблужденій онъ относитъ и свое увлеченіе героизмомъ, поэзіей войны, патріотизмомъ, которымъ онъ порой отдавался.

Слѣды этого увлеченія Толстого остались и въ художественномъ творествѣ его отъ «Набѣга» до «Войны и мира». Въ этомъ творествѣ мы видимъ борьбу между отвращеніемъ къ войнѣ, убійству, яркимъ сознаниемъ ужасовъ ея и увлеченіемъ геройствомъ и другими высшими качествами, проявляемыми въ войнѣ. Тихій свѣтъ, озарявшій дѣтство Толстого порой какъ бы меркнетъ передѣ вспышками патріотическихъ чувствъ, жажды славы и героическихъ подвиговъ, но въ концѣ концовъ онъ торжествуетъ и уже безраздѣльно царитъ въ душѣ Толстого послѣ «Войны и мира».

Не даромъ «войнѣ и миру» посвящено крупнѣйшее изъ его твореній. *Война и миръ* — это его постоянная дума. Его завѣтная мечта изгнать войну въ широкомъ смыслѣ этого слова, т.-е. борьбу, изъ всѣхъ областей человѣческой жизни и на мѣсто ея водворить миръ, всеобщій, вѣчный миръ, какъ въ жизни общественной, такъ и въ душѣ человѣка — «Царствіе Божіе на землѣ» и «Царствіе Божіе внутри насъ». Ростъ этой мечты въ душѣ Толстого и есть исторія его міровоззрѣнія. Отрицаніе войны, какъ наиболѣе яркаго, элементарнаго проявленія

<sup>1</sup>) Сочиненія. Часть 12, стран. 47—49. (Изданіе 12-ое.)



насилія, постепенно вырастаетъ въ отрицаніе всякаго насилія, отрицаніе всего уклада современнаго строя, основаннаго на насиліи и проповѣдь новой радостной жизни, основанной на любви, торжествующей въ мирѣ.

Вотъ это то міросозерцаніе, взятое въ цѣломъ, міросозерцаніе удивительно стройное, безстрашное по своей прямолинейной послѣдовательности — и надо постоянно имѣть въ виду, когда говоришь объ отрицаніи войны Толстымъ. Оно создаетъ ему своеобразное мѣсто среди современныхъ идейныхъ теченій, враждебныхъ войнѣ. Это своеобразие Толстого въ вопросѣ о войнѣ обнаруживается особенно рѣзко, когда мы сравнимъ его съ одной стороны съ такъ называемымъ пацифизмомъ, а съ другой — съ рабочимъ антимилитаризмомъ. Толстовское отрицаніе войны, какъ и все его міровоззрѣніе, вытекаетъ не изъ отвлеченныхъ началъ, а изъ личныхъ переживаній, изъ опыта долгой и богатой жизни.

Вотъ почему представляетъ особенный интересъ развитіе этого отрицанія, тотъ долгій путь, который прошелъ Толстой отъ покоренія кавказскихъ горцевъ и защиты Севастополя до ученія о «непротивленіи злу насиліемъ».

\* \* \*

«Война всегда интересовала меня. Не война въ смыслѣ комбинацій великихъ полководцевъ, — воображеніе мое отказывалось слѣдить за такими громадными дѣйствіями: я не понималъ ихъ, а интересовалъ меня самый фактъ войны — убійство. Мнѣ интереснѣе знать, какимъ образомъ и подъ вліяніемъ какого чувства одинъ солдатъ убилъ другого, чѣмъ расположеніе войскъ при Аустерлицкой или Бородинской битвѣ». Такъ говоритъ Толстой въ «Набѣгѣ».

Но хотя «война всегда интересовала» его, впервые вопросъ объ отношеніи къ ней всталъ передъ Толстымъ во всей остротѣ его на Кавказѣ, гдѣ ему пришлось собственными глазами взглянуть на войну и принять участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ. На Кавказъ Толстой пріѣхалъ молодымъ человѣкомъ, проникнутымъ духомъ тѣхъ идей и понятій, которымъ жилъ его кругъ людей. Переоцѣнка этихъ цѣнностей еще не началось и, ставъ офицеромъ, Толстой не сомнѣвается въ полезности и правотѣ того дѣла, которому онъ служить.

«По мѣрѣ силъ своихъ буду способствовать съ помощью пушки истребленію хищниковъ», пишетъ Толстой съ Кавказа брату Сергѣю, сообщая о зачисленіи своемъ въ фейерверкеры батареи.

«Кто станетъ сомнѣваться, что въ войнѣ русскихъ съ горцами справедливость, вытекающая изъ чувства самосохраненія, на нашей сторонѣ. Если бы не было этой войны, что обезпечивало бы всѣ смежныя, богатые и просвѣщенные русскія владѣнія отъ грабежей, убійствъ и набѣговъ народовъ дикихъ и воинственныхъ?» («Набѣгъ»). Здѣсь юный Толстой стоитъ на точкѣ зрѣнія русскихъ національных и государственныхъ интересовъ и оправдываетъ войну.

Но на Кавказѣ и начинается та критическая работа мысли, которая уводитъ Толстого далеко за предѣлы понятій людей его круга. Уйдя изъ привычной обстановки, изъ своей сословной среды, приблизившись къ дикой и величественной природѣ и къ жизни почти первобытной, Толстой, какъ Оленинъ въ «Казакахъ», почувствовалъ, что «онъ нисколько не русскій дворянинъ, членъ московскаго об-



щества, другъ и родня того и того, а просто такой же комаръ или такой же фазанъ или олень, какъ и тѣ, которые живутъ теперь вокругъ него». Толстой почувствовалъ единство жизни, красоту природы и всю условность культуры. Передъ величіемъ вѣчно спокойныхъ, сіяющихъ какъ алмазы горъ, онъ понималъ мелочность и ничтожество тѣхъ маленькихъ дѣлъ, во имя которыхъ люди живутъ и умираютъ, и убиваютъ другъ друга.

Годамъ, проведеннымъ на Кавказѣ, — Толстой придавалъ огромное значеніе. «Никогда ни прежде ни послѣ, — говоритъ онъ, — я не доходилъ до такой высоты мысли, не заглядывая туда, какъ въ это время, продолжавшееся два года. И все, что я нашелъ тогда, навсегда останется моимъ убѣжденіемъ»<sup>1)</sup>. На Кавказѣ онъ нашелъ основныя положенія своей общественной философіи: отрицаніе культуры во имя красоты и простоты природы. Это не значитъ, конечно, что съ Кавказа Толстой вернулся мыслителемъ съ сложившимся, законченнымъ міровоззрѣніемъ. Для этого онъ былъ слишкомъ молодъ, но въ душу его пустили ростки новыя мысли, которыя постепенно стали пробиваться сквозь наслоенія унаслѣдованныхъ, принятыхъ на вѣру идей, сквозь толщу тѣхъ чувствъ, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ. Въ душѣ его сталкивались, такимъ образомъ противоположные порывы, стремленія и понятія. Толстой того времени походить на Оленина, про котораго мы читаемъ:

«...Онъ рѣшилъ, что любви нѣтъ, а всякій разъ присутствіе молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Онъ давно зналъ, что почести и званіе — вздоръ, но чувствовалъ невольно удовольствіе, когда на балѣ подходилъ къ нему князь Сергій и говорилъ ласковыя рѣчи...»

...Онъ раздумывалъ надъ тѣмъ, куда положить всю эту силу молодости, только разъ въ жизни, бывающую въ человѣкѣ, — на искусство ли, на науку ли, на любовь ли къ женщинѣ, или на практическую дѣятельность, — не силу ума, сердца, образованія, а тотъ неповторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть сдѣлать изъ себя все, что онъ хочетъ, и какъ ему кажется, и изъ всего міра все, что ему хочется»<sup>2)</sup>.

Вся эта сложность чувствъ, разнообразіе стремленій и порывовъ сказывается и въ отношеніи Толстого къ войнѣ. Съ одной стороны есть желаніе проявить свою удалъ, испытать опасность, отличиться, есть увѣренность въ томъ, что горцевъ надо покорять, а съ другой стороны внутренній голосъ говоритъ, что война — убійство, и рождается отвращеніе въ этому убійству.

Красота и покой, царящіе въ природѣ, навѣваютъ Толстому мысли о неправдѣ войны и насилія.

«Во всемъ отрядѣ царствовала такая тишина, что ясно слышались всѣ сливающіяся, исполненные таинственной прелести звуки ночи: далекій, заунывный вой шакаловъ, похожій то на отчаянный плачь, то на хохотъ, звонкія, однообразныя пѣсни сверчка, лягушки, перепела, какой-то приближающійся гулъ, причины котораго я никакъ не могъ объяснить себѣ, и всѣ тѣ ночныя, чуть слышныя дви-

<sup>1)</sup> Переписка Л. Н. Толстого съ гр. А. А. Толстой, стран. 131.

<sup>2)</sup> Сочиненія. Часть вторая. стран. 194.

женія природы, которыя невозможно ни понять ни опредѣлить, сливались въ одинъ полный прекрасный звукъ, который мы называемъ тишиною ночи. Тишина эта нарушалась или, скорѣе, сливалась съ глухимъ топотомъ копытъ и шелестомъ высокой травы, которые производилъ медленно двигающійся отрядъ.

Только изрѣдка слышался въ рядахъ звонъ тяжелаго орудія, звукъ столкнувшихся штыковъ, сдержанный говоръ и фырканье лошади. По запаху сочной и мокрой травы, которая легла подъ ногами лошади, легкому пару, подымавшемуся надъ землею, и съ двухъ сторонъ открытому горизонту, можно было заключить, что мы идемъ по широкому, роскошному лугу.

Природа дышала примирительно красотой и силой.»

«Неужели тѣсно жить людямъ на этомъ прекрасномъ свѣтѣ, подъ этимъ неизмѣримымъ звѣзднымъ небомъ? Неужели можетъ среди этой обаятельной природы удержаться въ душѣ человѣка чувство злобы, мщенія или страсти истребленія себѣ подобныхъ? Все недоброе въ сердцѣ человѣка должно бы, кажется, исчезнуть въ прикосновеніи съ природою, этимъ непосредственнымъ выраженіемъ красоты и добра.

Война? Какое непонятное явленіе! Когда разсудокъ задаетъ себѣ вопросъ: — справедливо ли, необходимо ли оно? внутренний голосъ всегда отвѣчаетъ: нѣтъ. Одно постоянство этого неестественнаго явленія дѣлаетъ его естественнымъ, а чувство самосохраненія справедливымъ». («Набѣгъ»).

Чувство самосохраненія, о которомъ здѣсь говоритъ Толстой — это чувство не личнаго самосохраненія, а коллективнаго, государственнаго, національнаго. Интересы русскаго государства, русской національности, культуры дѣлаютъ необходимой и, слѣдовательно, справедливой войну съ горцами. Такъ успокаиваетъ Толстой внутренний голосъ, объявляющій войну безуміемъ. Но внутренний голосъ не замолкаетъ и продолжаетъ задавать смущающіе вопросы. Пусть будетъ справедливо съ точки зрѣнія отвлеченныхъ общихъ интересовъ. «Но возьмемъ два частныхъ лица. На чьей сторонѣ чувство самосохраненія и слѣдовательно справедливость: на сторонѣ ли того оборванца, какого-нибудь Джеми, который, услыхавъ о приближеніи русскихъ, съ проклятіемъ сниметъ со стѣны старую винтовку и съ тремя-четырьмя заправками въ зарядахъ, которые онъ выпуститъ не даромъ, побѣдить навстрѣчу гяурамъ, и, увидавъ, что русскіе все-таки идутъ впередъ, подвигаются къ его засѣянному полю, которое они вытопчутъ, къ его саклѣ, которую сожгутъ, и къ тому оврагу, въ которомъ, дрожа отъ испуга, спрятались его мать, жена и дѣти, подумаетъ, что все, что только можетъ составить его счастье, все отнять у него, — въ безсильной злобѣ, съ крикомъ отчаянія сорветъ съ себя оборванный зипунишко, броситъ винтовку на землю и, надвинувъ на глаза папаху, запоетъ предсмертную пѣсню и съ однимъ кинжаломъ въ рукахъ, очертя голову, бросится на штыки русскихъ? На его ли сторонѣ справедливость, или на сторонѣ этого офицера, состоящаго въ свитѣ генерала, который такъ хорошо напѣваетъ французскія пѣсенки именно въ то время, какъ проѣзжаетъ мимо насъ? Онъ имѣетъ въ Россіи семью, родныхъ, друзей, крестьянъ и обязанности въ отношеніи ихъ, не имѣетъ никакого повода и желанія враждовать съ горцами, а пріѣхалъ на Кавказъ... такъ, чтобы показать свою храбрость. Или на



сторонѣ моего знакомаго адъютанта, который желаетъ только получить поскорѣе чинъ капитана и тепленькое мѣстечко и по этому случаю сдѣлался врагомъ горцевъ? Или на сторонѣ этого молодого нѣмца, который съ сильнымъ нѣмецкимъ выговоромъ требуетъ пальникъ у артиллериста? Каспаръ Лаврентьевичъ, сколько мнѣ извѣстно, уроженецъ Саксоніи. Чѣго же онъ не подѣлилъ съ кавказскими горами? Какая нелегкая вынесла его изъ отечества и бросила за тридевять земель? Съ какой стати саксонецъ Каспаръ Лаврентьевичъ вмѣшался въ нашу кровавую ссору съ безпокойными сосѣдями?»<sup>1)</sup>).

Передъ нами, такимъ образомъ, столкновение интересовъ общихъ съ интересами личности. Впослѣдствіи Толстой станетъ опредѣленно на сторону личности: важна лишь истинная, внутренняя жизнь человѣка; все, что мѣшаетъ ей, искажаетъ ее, все это — ложь и обманъ; какъ призрачныя цѣнности отвергнетъ Толстой тѣ общіе интересы національности, государства, культуры, во имя которыхъ оправдываютъ войну. Но теперь онъ еще далекъ отъ этихъ выводовъ, и онъ старается примирить требованія личности съ интересами коллективными.

Прежде всего Толстой стремится объяснить, что толкаетъ личность на дѣйствія безумныя съ точки зрѣнія ея интересовъ, какое чувство заставляетъ человѣка принимать участіе въ войнѣ, убивать и рисковать жизнью.

Его занимаетъ вопросъ: подъ вліяніемъ какого чувства рѣшается человѣкъ безъ видимой пользы подвергать себя опасности и, что еще удивительнѣе, убивать себѣ подобныхъ? «Мнѣ всегда хотѣлось думать, что это дѣлалось подъ вліяніемъ чувства злости; но нельзя предположить, чтобы всѣ воюющіе безпрестанно злились, и я долженъ былъ допустить чувства самосохраненія и долга».

Его занимаетъ вопросъ «что такое храбрость, это качество, уважаемое во всѣхъ вѣкахъ и во всѣхъ народахъ?».

Анализъ тѣхъ чувствъ, подъ вліяніемъ которыхъ человѣкъ дѣйствуетъ на войнѣ, ведетъ себя такъ или иначе во время сраженія — чувства самосохраненія, долга, храбрости, самолюбія, тщеславія, самоотверженности — занимаетъ очень много мѣста въ раннихъ произведеніяхъ Толстого. Толстой не только анализируетъ, онъ восторгается проявленіями нѣкоторыхъ изъ этихъ чувствъ. Онъ превозноситъ русскую храбрость, которая воплотилась въ лицѣ капитана Хлопова въ «Набѣгѣ», и которую Толстой противопоставляетъ французскому геройству.

«Французъ, который при Ватерлоо сказалъ: *«la garde meurt, mais ne se rend pas»*, и другіе, въ особенности французскіе герои, которые говорили достопамятныя изреченія, были храбры и дѣйствительно говорили достопамятныя изрѣченія, но между ихъ храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, въ какомъ бы то ни было случаѣ шевелилось въ душѣ моего героя, я увѣренъ, онъ не сказалъ бы его: во-первыхъ, потому-что, сказавъ великое слово, онъ боялся бы этимъ самымъ испортить великое дѣло, а во-вторыхъ, потому, что, когда человѣкъ чувствуетъ въ себѣ силы сдѣлать великое дѣло, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнѣнію, особенная и высокая черта русской храбрости; и какъ же послѣ этого не болѣть русскому сердцу, когда

<sup>1)</sup> Сочиненія. Часть вторая, стран. 86—88.



между нашими молодыми воинами слышишь французскія пошлыя фразы, имѣющія претензію на подражаніе устарѣлому, французскому рыцарству?»<sup>1)</sup>).

Увлеченіе русскимъ героизмомъ достигаетъ высшей степени въ Севастополѣ. На Кавказѣ, какъ мы видѣли, Толстой съ точки зрѣнія общихъ интересовъ оправдывалъ наступательную войну русскихъ, но его смущала эта война съ точки зрѣнія интересовъ частныхъ лицъ, его смущала и судьба горца Джеми, котораго разорять и убьютъ русскіе. Въ Севастополѣ Толстой увидалъ войну оборонительную, очутился въ рядахъ защитниковъ отечества; русскіе солдаты не шли жечь аулы и топтать засѣянные поля, они отражали непріятеля, и Толстой могъ отдаваться въ одно и то же время и патріотическому чувству и восторгу передъ героизмомъ русскаго солдата. Подъ вліяніемъ этихъ чувствъ онъ мечтаетъ даже издавать военный журналъ для поддержанія хорошаго духа въ войскахъ. Настроеніе это сказалось очень ярко въ письмѣ къ брату Сергѣю отъ 20 ноября 1854 года: «Духъ въ войскахъ выше всякаго описанія. Во времена древней Греціи не было столько геройства. Корниловъ, объѣзжая войска, вмѣсто: «здорово, ребята!» говорилъ: «нужно умирать, ребята, умрете?» И войска кричали: «Умремъ, ваше превосходительство, ура!» И это былъ не эффектъ, а на лицѣ каждаго видно было, что не шутя, а взаправду, и ужъ 22 тысячи исполнили это обѣщаніе.

«Раненый солдатъ, почти умирающій, рассказывалъ мнѣ, какъ они брали... французскую батарею и ихъ не подкрѣпили; онъ плакалъ навзрыдъ. Рота моряковъ чуть не взбунтовалась за то, что ихъ хотѣли смѣнить съ батареи, на которой они простояли 30 дней подъ бомбами. Женщины носятъ воду на бастионы для солдатъ. Многія убиты и ранены. Священники съ крестами ходятъ на бастионы и подъ огнемъ читаютъ молитвы. Въ одной бригадѣ... было 160 человекъ, которые раненые не вышли изъ форта... Только наше войско можетъ стоять и побѣждать (мы еще побѣдимъ, въ этомъ я убѣжденъ) при такихъ условіяхъ»<sup>2)</sup>. Настроеніе, пережитое Толстымъ въ Севастополѣ, естественно сказалось и въ Севастопольскихъ рассказахъ. Цѣлыя страницы посвящены восторженному восхваленію самоотверженности, мужества и патріотизма защитниковъ Севастополя; и если въ этихъ восторгахъ Толстого передъ проявленіями военной доблести есть что-либо общее съ будущимъ Толстымъ, то лишь развѣ то, что высшій героизмъ онъ находитъ въ простомъ солдатѣ, который въ сущности остается простымъ мужикомъ. Въ этомъ возвеличиваніи простого солдата есть намекъ на будущее народничество: «Въ русскомъ, настоящемъ русскомъ солдатѣ никогда не замѣтите хвастовства, ухарства, желанія отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротивъ, скромность, простота и способность видѣть въ опасности совсѣмъ другое, чѣмъ опасность, составляютъ отличительныя черты его характера. Я видѣлъ солдата, раненаго въ ногу, въ первую минуту жалѣвшаго только о пробитомъ новомъ полушубкѣ, ѣздового, вылѣзающаго изъ-подъ убитой подъ нимъ лошади и растегивающаго подпругу, чтобы снять сѣдло»<sup>3)</sup>).

<sup>1)</sup> Сочиненія. Часть вторая, стран. 99.

<sup>2)</sup> П. Бирюковъ. Л. Н. Толстой. Біографія т. I, стран. 252—253. (Изд. 2-е. «Посредника»).

<sup>3)</sup> Сочиненія. Часть вторая, стран. 463.

Но Толстой не спрашиваетъ здѣсь, какъ это онъ будетъ дѣлать въ послѣдствіи, зачѣмъ понадобилось этому мирному русскому мужику, такъ заботливо охраняющему свой новый полушубокъ, и идти на смерть и убивать такихъ же мирныхъ, какъ и онъ, французскихъ мужиковъ. Этотъ вопросъ не возникаетъ еще у Толстого, ибо для него еще правда и законность патріотизма, необходимость защищать отечество съ оружіемъ въ рукахъ вопроса не вызываютъ, сомнѣнію не подлежатъ.

Но несмотря на все патріотическое воодушевленіе, на все увлеченіе геройскимъ духомъ защитниковъ Севастополя, по временамъ въ душѣ пробуждается истина, знакомая Толстому еще съ дѣтства, истина, гласящая, что война — простое и голое убійство.

Объ этой истинѣ напоминаютъ намъ сцены въ госпиталѣ, куда приглашаетъ насъ заглянуть Толстой, гдѣ мы видимъ «ужасныя, потрясающія душу зрѣлища», гдѣ мы видимъ войну «не въ правильномъ, красивомъ и блестящемъ строѣ съ музыкой и барабаннымъ боемъ, съ развѣвающимися знаменами и гарцующими генералами, а въ настоящемъ ея видѣ — въ крови, въ страданіяхъ, въ смерти». Объ этомъ напоминаетъ видъ поля сраженія, когда кончилась битва:

«Сотни свѣжихъ окровавленныхъ тѣлъ людей, за два часа тому назадъ полныхъ разнообразныхъ, высокихъ и мелкихъ надеждъ и желаній, съ оконченными членами лежали на росистой цвѣтущей долині, отдѣляющей бастионъ отъ траншеи и на ровномъ полу часовни мертвыхъ въ Севастополѣ; сотни людей съ проклятіями и молитвами на пересохшихъ устахъ ползали, ворочались и стонали, одни между трупами на цвѣтущей долині, другіе на носилкахъ, на койкахъ и на окровавленномъ полу перевязочнаго пункта, — а все такъ же, какъ и въ прежніе дни, загорѣлась зарница надъ Сапунъ-горою, поблѣднѣли мерцающія звѣзды, потянулъ бѣлый туманъ съ шумящаго темнаго моря, зажглась алая заря на востокѣ, разбѣжались багровыя длинныя тучки по свѣтло-лазурному горизонту, и все также, какъ и въ прежніе дни, общая радость, любовь и счастье всему ожившему міру, выплывало могучее, прекрасное свѣтило»<sup>1)</sup>).

Въ лучахъ этого солнца, несущаго «радость, любовь и счастье», бессмысленно жестокимъ дѣломъ, нелѣпымъ убійствомъ кажется война.

«Неужели люди, христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія, глядя на то, что они сдѣлали, съ раскаяніемъ не упадутъ вдругъ на колѣни передъ Тѣмъ, кто, давъ имъ жизнь, вложилъ въ душу каждого вмѣстѣ со страхомъ смерти, любовь къ добру и къ прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, какъ братья?» (ч. II, стран. 348). Вотъ какія мысли приходили въ голову Толстому еще въ Севастополѣ.

Развить эти мысли — и получится будущее ученіе о непротивленіи злу насиліемъ, о любви, какъ основѣ жизни.

Но Толстой гонитъ эти мысли. Послѣ высказанныхъ имъ словъ любви онъ въ раздумьи останавливается и спрашиваетъ: «можетъ не надо говорить этого?» Дѣйствительно, если правда то, что онъ говоритъ, то тогда ложь все то, чѣмъ онъ живетъ и увлекается: и военная служба, и отечество, и героизмъ, и слава. Все это

<sup>1)</sup> Сочиненія. Часть вторая, стран. 341.



надо осудить, какъ призрачный міръ, и въ послѣдствіи Толстой осудить все это, но сейчасъ онъ самъ испугался огромности выводовъ, вытекающихъ изъ открывшейся ему истины, и онъ бѣжитъ въ испугѣ отъ нея, какъ тотъ мальчикъ, про котораго рассказываетъ Толстой, мальчикъ, впервые понявшій, что такое смерть: мальчикъ этотъ во время перемирія «вышелъ за валъ и все ходилъ по лощинѣ, съ тупымъ любопытствомъ глядя на французовъ и на трупы, лежащія на землѣ, и набиралъ полевые голубые цвѣты, которыми усыпана эта долина. Возвращаясь домой съ большимъ букетомъ, онъ закрывъ носъ отъ запаха, который наносило на него вѣтромъ, остановился около кучки снесенныхъ тѣлъ и долго смотрѣлъ на одинъ страшный безголовый трупъ, бывшій ближе къ нему. Постоявъ довольно долго, онъ подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой, окоченѣвшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Онъ тронулъ ее еще разъ и крѣпче. Рука покачнулась и стала опять на свое мѣсто. Мальчикъ вдругъ вскрикнулъ, спрятавъ лицо въ цвѣты и во весь духъ побѣжалъ прочь къ крѣпости» (ч. II, стран. 347—348).

«Страшный безголовый трупъ» — это проза войны, напоминаніе о томъ, что война — убійство; букетъ голубыхъ полевыхъ цвѣтовъ, въ которые мальчикъ прячетъ лицо — это поэзія войны, героизмъ, патриотизмъ, военная слава и другія чувства, которыя заслоняютъ въ войнѣ фактъ убійства.

«Каждый бывшій въ дѣлѣ, — говоритъ Толстой въ «Рубкѣ лѣса», — вѣрно испытывалъ то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращенія отъ того мѣста, на которомъ былъ убитъ или раненъ кто-нибудь». Видъ крови, стоны раненыхъ, трупы, т.-е. проза войны, разрушаютъ поэзію ея и Толстой въ своихъ произведеніяхъ изъ военной жизни «Набѣгъ», «Севастопольскихъ разсказахъ», «Войнѣ и мирѣ», въ «Хаджи-Муратѣ», наконецъ, постоянно показываетъ, какъ изъ желанія сохранить поэзію войны человѣкъ сознательно старается не замѣчать ея прозы.

Бутлеръ въ «Хаджи-Муратѣ», молодой офицеръ, въ которомъ Толстой отчасти изображаетъ себя въ Кавказскій періодъ жизни, увлекается поэзіей войны. «Война представлялась ему только въ томъ, что онъ подвергалъ себя опасности, возможности смерти и этимъ заслуживалъ награды и уваженія здѣшнихъ товарищей и своихъ русскихъ друзей. Другая сторона войны; смерть, раны солдатъ, офицеровъ, горцевъ, какъ ни странно это сказать, и не представлялась его воображенію. Онъ даже безсознательно, чтобы удержать свое поэтическое представленіе о войнѣ, никогда не смотрѣлъ на убитыхъ и раненыхъ... Онъ прошелъ мимо трупа, лежащаго на спинѣ и только однимъ глазомъ видѣлъ какое-то странное положеніе восковой руки и темно-красное пятно на головѣ и не сталъ разсматривать» («Посмертныя произведенія», т. III, стран. 48).

Когда юнкеръ Пестъ («Севастополь») воткнулъ штыкъ во что-то мягкое, услышалъ страшный, пронзительный крикъ и понялъ, что онъ закололъ француза, то «холодный потъ выступилъ у него по всему тѣлу, онъ затрясся, какъ въ лихорадкѣ и бросилъ ружье. Но это продолжалось только одно мгновеніе: ему сейчасъ же пришло въ голову, что онъ — герой. Онъ схватилъ ружье и вмѣстѣ съ толпой, крича «ура», побѣжалъ прочь отъ убитаго француза». Когда Николай Ростовъ во время сраженія проѣзжаетъ по полю мимо раненыхъ, ему кажутся притворными



ихъ крики, и онъ пускаетъ рысью лошадь, чтобъ не видѣть всѣхъ этихъ страдающихъ людей; ему становится страшно. «Онъ боялся не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было, и которое, онъ зналъ, не выдержитъ вида этихъ несчастныхъ».

Для того, чтобы сохранить мужество, необходимое въ войнѣ, для того, чтобы удержатъ поэтическій взглядъ на нее, надо отвлекать свое вниманіе отъ частныхъ, отъ страдающихъ людей, гибнущихъ жизней и сосредоточить его на *общемъ*, на цѣли войны, на *общей картинѣ боя*. Нельзя наслаждаться, втыкая штыкъ въ нѣчто мягкое и слыша отчаянный крикъ, но можно любоваться общей картиной сраженія издалека. Такъ въ «Набѣгѣ» любитъ кавалерійской атакой генераль съ группой офицеровъ.

«— Quel charmant coup d'oeil! — говоритъ генераль, слегка припрыгивая по-англійски на своей вороной тонконогой лошаdkѣ.

— Charmant! — отвѣчалъ грассируя майоръ и, ударяя плетью по лошади, подѣзжаетъ къ генералу. — C'est un vrai plaisir, que la guerre dans un aussi beau pays, говоритъ онъ.

— Et surtout en bonne compagnie, прибавляетъ генераль съ пріятной улыбкой.

Майоръ наклонился.

Въ это время съ быстрымъ непріятнымъ шипѣніемъ пролетаетъ непріятельское ядро и ударяется во что-то; сзади слышенъ стонъ раненаго. Этотъ стонъ такъ странно поражаетъ меня, что воинственная картина мгновенно теряетъ для меня всю свою прелесть, но никто, кромѣ меня, какъ будто не замѣчаетъ этого; майоръ смѣется, какъ кажется, съ большимъ увлеченіемъ; другой офицеръ совершенно спокойно повторяетъ начатыя слова рѣчи; генераль смотритъ въ противоположную сторону и со спокойнѣйшей улыбкой говоритъ что-то по-французски» (ч. II, стран. 92—93).

И самъ Толстой способенъ былъ въ юности любоваться картиной сраженія. Объ этомъ свидѣтельствуетъ писанное изъ Севастополя письмо, въ которомъ онъ вспоминаетъ о своемъ пребываніи въ Силистріи, письмо, которое такъ странно теперь читать.

«Я видѣлъ тамъ столько интереснаго, поэтическаго и трогательнаго, что время, проведенное мною тамъ, никогда не изгладится изъ моей памяти. Нашъ лагерь былъ расположенъ по ту сторону Дуная среди превосходныхъ садовъ... Видъ съ этого мѣста не только великолѣпенъ, но для всѣхъ насъ большой важности. Не говоря уже о Дунаѣ, объ его островахъ и берегахъ, изъ которыхъ одни были заняты нами, другіе турками, съ этой высоты были видны горы, крѣпость, мелкіе форты Силистріи какъ на ладони. Слышны были пушечные и ружейные выстрѣлы, не перестававшіе ни днемъ, ни ночью; съ помощью зрительной трубы можно было различать турецкихъ солдатъ. Правда, что это странное удовольствіе — смотрѣть, какъ люди убиваютъ другъ друга, но тѣмъ не менѣе всякій вечеръ и всякое утро я садился на свою повозку и цѣлыми часами смотрѣлъ, и это дѣлалъ не я одинъ. Зрѣлище было поистинѣ великолѣпно, особенно ночью. По ночамъ обыкновенно наши солдаты принимаются за траншей-

ныя работы и турки бросаются на нихъ, чтобы помѣшать имъ, и тогда надо видѣть и слышать эту пальбу. Первую ночь, которую я провелъ въ лагерѣ этотъ ужасный шумъ разбудилъ и напугалъ меня; я думалъ, что пошли на приступъ, и поскорѣе велѣлъ осѣдлатъ мою лошадь, но тѣ, которые провели въ лагерѣ уже нѣсколько времени, сказали мнѣ, что я могу быть спокоенъ, что эта канонада и ружейная пальба вещь обыкновенная и это шутя называется «Аллахъ». Тогда я снова легъ спать, но, не будучи въ состояніи заснуть, я забавлялся, съ часами въ рукахъ считая пушечные удары и я насчиталъ 110 ударовъ въ минуту. А между тѣмъ вблизи все это не было такъ страшно, какъ казалось. Ночью, когда не было ничего видно, это былъ переводъ пороха и тысячами выстрѣловъ убивали самое большее десятка три съ каждой стороны...

Итакъ это было обыкновеннымъ представленіемъ, которое мы видѣли каждый день и въ которомъ я иногда принималъ участіе, когда меня посылали съ приказаніями въ траншеи. Но бывали также и необыкновенныя представленія, какъ то, которое было наканунѣ приступа, когда была взорвана мина въ 240 пудовъ пороха подъ однимъ изъ непріятельскихъ бастіоновъ... Послѣ обѣда того же дня взорвали мину и около 600 орудій открыли огонь противъ форта, который хотѣли взять, и этотъ огонь продолжался всю ночь. Это зрѣлище и эти чувства никогда не забудешь». (Бирюковъ. т. I, стран. 247—249).

Толстой могъ любоваться этимъ зрѣлищемъ потому, что оно было на разстояніи такомъ, что не долетали стоны раненыхъ, не видны были изуродованныя тѣла; онъ могъ отвлечься отъ мысли объ индивидуальныхъ страданіяхъ и отдаться опозтизированію войны въ созерцаніи общей картины боя. Всякое опозтизирование войны заключается въ этомъ отвлеченіи отъ индивидуальныхъ страданій и въ сосредоточеніи вниманія на картинѣ общей, на общихъ идеяхъ, на отвлеченныхъ цѣнностяхъ. Когда войну воспѣваетъ такой гуманцый и передовой мыслитель, какъ Прудонъ, то онъ забываетъ о живомъ человѣкѣ и сосредоточиваетъ вниманіе на отвлеченныхъ, идеальныхъ цѣнностяхъ, которымъ служить война. Подобный идеализмъ совершенно чуждъ Толстому. Реалистъ — онъ не способенъ закрывать глаза на конкретное, изъ-за отвлеченностей забывать живую человеческую личность. Поэтическое увлеченіе войной, охватившее Толстого въ Силистріи, когда онъ мечталъ стать адъютантомъ великаго князя, продолжалось не долго. Севастополь, въ которомъ онъ видѣлъ слишкомъ много страданій, т.-е. прозы войны, исцѣлилъ его отъ этого увлеченія.

\* \* \*

Прошло десять лѣтъ почти со дня Севастопольской кампаніи, когда Толстой снова вернулся къ проблемѣ войны. Десятилѣтній періодъ, отдѣляющій «Войну и миръ» отъ Севастопольскихъ очерковъ, наполненъ событіями огромной важности, какъ въ общественной, такъ и въ личной жизни Толстого. За это время Толстой познакомился съ Западной Европой, пережилъ въ Россіи эпоху реформъ, которыми сначала увлекся, но къ которымъ скоро охладѣлъ; бывшій офицеръ сталъ мировымъ посредникомъ, педагогомъ, отрицающимъ насиліе въ дѣлѣ воспитанія и образованія; онъ женился, пережилъ смерть любимаго брата. Пережитое и передуманное



за это время сказалось и во взглядах Толстого на войну; критическое отношеніе къ ней усилилось и углубилось.

Въ лицѣ одного изъ главныхъ героевъ «Войны и мира» — князя Андрея Болконскаго, адъютанта главнокомандующаго, разбиваются мечты о военномъ величіи и славѣ, мечты, которыя зналъ одно время и самъ Левъ Николаевичъ.

Въ противоположность простодушному Николаю Ростову, который въ сраженіи видитъ лишь случай проявить свою личную удаль, показать свою готовность умереть за царя и отечество, «князь Андрей былъ однимъ изъ тѣхъ рѣдкихъ офицеровъ въ штабѣ, который полагалъ свой главный интересъ въ общемъ ходѣ военнаго дѣла». Онъ интересуется общимъ планомъ сраженія и войны, самъ сочиняетъ планы наканунѣ битвы, мечтаетъ о побѣдахъ, грезитъ Наполеономъ. Князь Андрей поэтизируетъ войну, увлекается искусствомъ войны и считаетъ себя призваннымъ выдвинуться въ этомъ искусствѣ.

Но на повѣрку оказывается, что никакого военного искусства нѣтъ; полководцы только дѣлаютъ видъ, что руководятъ дѣйствіями массъ, въ сущности дѣло само дѣлается, массы дѣйствуютъ, руководясь инстинктомъ.

«Князь Андрей тщательно прислушивался къ разговорамъ князя Багратіона съ начальниками и къ отдаваемымъ имъ приказаніямъ и къ удивленію замѣчалъ, что приказаній никакихъ отдаваемо не было, а что князь Багратіонъ только старался дѣлать видъ, что все, что дѣлалось по необходимости, случайности и волѣ частныхъ начальниковъ, что все это дѣлалось хоть не по его приказанію, но согласно съ его намѣреніями. Благодаря такту, который выказывалъ князь Багратіонъ, князь Андрей замѣчалъ, что, несмотря на ту случайность событій и независимость ихъ отъ воли начальника, присутствіе его сдѣлало чрезвычайно много. Начальники, съ разстроенными лицами подъѣзжавшіе къ князю Багратіону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело привѣтствовали его и становились оживленнѣе въ его присутствіи и, видимо, шеголяли передъ нимъ своею храбростью»<sup>1)</sup>.

На протяженіи всего романа «Война и миръ» упорно проводится мысль, что не военачальники руководятъ сраженіями, что планы сраженій и кампаній никогда не осуществляются и ни къ чему не служатъ. Кутузовъ такъ же мало руководитъ ходомъ сраженія и движеніемъ войскъ, какъ и Багратіонъ; онъ тѣмъ силенъ и великъ, что, полагаясь на инстинкты массъ, самъ не вмѣшивается въ дѣло, не предупреждаетъ событій и спокойно засыпаетъ на военномъ совѣтѣ.

Что касается Наполеона, то онъ обманываетъ себя и другихъ, приписывая себѣ исходъ сраженій и руководство событіями. Общія причины, намъ неизвѣстныя, приводятъ въ движеніе массы, потокъ ихъ несетъ на волнахъ Наполеона, возноситъ сначала на высоту, а затѣмъ низвергаетъ въ бездну, и онъ такъ же мало виновенъ въ своихъ неудачахъ, какъ неповиненъ и въ своихъ побѣдахъ и успѣхахъ. «Наполеонъ, представляющійся намъ руководителемъ всего этого движенія, (какъ дикимъ представлялась фигура, вырѣзанная на носу корабля, силою, руководящею корабль), Наполеонъ во все это время своей дѣятельности былъ подобенъ

<sup>1)</sup> Сочиненія. Часть пятая, стран. 264.



ребенку, который, держась за тесемочки, привязанныя внутри кареты, воображаетъ, что онъ править» (ч. VIII, стран. 114).

Дѣятельность полководца — призрачная дѣятельность, военный геній — мнимый геній. Наполеонъ въ романѣ «Война и Миръ» и является воплощеніемъ призрачнаго величія. Онъ всецѣло живетъ въ мірѣ призраковъ.

Для того, чтобы выйти изъ этого міра призраковъ, надо остановить вниманіе на реальномъ, на страданіяхъ живыхъ людей, которыхъ не замѣчаетъ Наполеонъ. Надо стряхнуть съ себя очарованіе ложной поэзіи войны, увидѣть прозу послѣдней. И Толстой показываетъ моментъ въ жизни Наполеона, когда онъ былъ близокъ къ тому, чтобы выйти изъ-подъ власти призраковъ. Это тотъ моментъ, когда Наполеонъ смотритъ на поле Бородинской битвы:

«Страшный видъ поля сраженія, покрытаго трупами и ранеными, въ соединеніи съ тяжестью головы и съ извѣстіями объ убитыхъ и раненыхъ двадцати знакомыхъ генералахъ и съ сознаніемъ бессильности своей прежде сильной руки произвели неожиданное впечатлѣніе на Наполеона, который обыкновенно любилъ разсматривать убитыхъ и раненыхъ, испытывая тѣмъ свою душевную силу (какъ онъ думалъ). Въ этотъ день ужасный видъ поля сраженія побѣдилъ ту душевную силу, въ которой онъ полагалъ свою заслугу и величіе. Онъ постѣшню уѣхалъ съ поля сраженія и возвратился къ Шевардинскому кургану. Желтый, опухлый, тяжелый, съ мутными глазами, краснымъ носомъ и охриплымъ голосомъ, онъ сидѣлъ на складномъ стулѣ, невольно прислушиваясь къ звукамъ пальбы и не поднимая глазъ. Онъ съ болѣзненной тоской ожидалъ конца того дѣла, которому онъ считалъ себя причастнымъ, но котораго онъ не могъ остановить. Личное, человѣческое чувство на короткое мгновеніе взяло верхъ надъ тѣмъ искусственнымъ призракомъ жизни, которому онъ служилъ такъ долго. Онъ на себя переносилъ тѣ страданія и ту смерть, которыя онъ видѣлъ на полѣ сраженія. Тяжесть головы и груди напоминала ему о возможности и для себя страданій и смерти. Онъ въ эту минуту не хотѣлъ для себя ни Москвы, ни побѣды, ни славы (какой нужно было ему еще славы!). Одно, чего онъ желалъ теперь, — отдыха, спокойствія и свободы» (Ч. VII, стран. 317—318).

Но въ это время съ докладомъ подходитъ адъютантъ, императоръ выходитъ изъ раздумья, возвращается къ своей ложной дѣятельности, къ мнимой дѣйствительности.

«И онъ опять перенесся въ свой прежній, искусственный міръ призраковъ какого-то величія, и опять (какъ та лошадь, ходящая на покатомъ колесѣ привода, воображаетъ себѣ, что она что-то дѣлаетъ для себя), онъ покорно сталъ исполнять ту жестокою, печальную и тяжелую, нечеловѣческую роль, которая была ему предназначена.

«И не на одинъ только этотъ часъ и день были помрачены умъ и совѣсть этого человѣка, тяжеле всѣхъ другихъ участниковъ этого дѣла носившаго на себѣ всю тяжесть совершавшагося; но и никогда, до конца жизни своей, не могъ понимать онъ ни добра, ни красоты, ни истины, ни значенія своихъ поступковъ, которые были слишкомъ противоположны добру и правдѣ, слишкомъ далеки отъ всего человѣческаго для того, чтобы онъ могъ понимать ихъ значеніе. Онъ

не могъ отречься отъ своихъ поступковъ, восхваляемыхъ половиной свѣта, и потому долженъ былъ отречься отъ правды и добра и всего человѣческаго» (ч. VII, стран. 318—319).

Истина, которую Наполеонъ могъ бы понять, — но не понялъ, — при видѣ чужихъ страданій и смертей, открывается князю Андрею, когда онъ, раненый, падаетъ на полъ Аустерлицкой битвы.

«Что это? Я падаю? У меня ноги подкашиваются», подумалъ онъ и упалъ на спину. Онъ раскрылъ глаза, надѣясь увидеть, чѣмъ кончилась борьба французовъ съ артиллеристами, и желая знать, убить или нѣтъ рыжій артиллеристъ, взяты или спасены пушки. Но онъ ничего не видалъ. Надъ нимъ не было ничего уже, кромѣ неба — высокаго неба, не яснаго, но все-таки неизмѣримо-высокаго, съ тихо ползущими по немъ сѣрыми облаками. «Какъ тихо, спокойно и торжественно, совсѣмъ не такъ, какъ я бѣжалъ», подумалъ князь Андрей; «не такъ, какъ мы бѣжали, кричали и дрались; совсѣмъ не такъ, какъ съ озлобленными и испуганными лицами тащили другъ у друга банникъ французъ и артиллеристъ, — совсѣмъ не такъ ползутъ облака по этому высокому безконечному небу. Какъ же я не видалъ прежде этого высокаго неба? И какъ я счастливъ, что узналъ его наконецъ. Да! Все пустое, все обманъ, кромѣ этого безконечнаго неба. Ничего, ничего нѣтъ, кромѣ него. Но и того даже нѣтъ, ничего нѣтъ, кромѣ тишины, успокоенія. И слава Богу»<sup>1)</sup>...

«Voilà une belle mort!» сказалъ Наполеонъ, глядя на Болконскаго.

Князь Андрей понялъ, что это было сказано о немъ и что говорить это Наполеонъ. Онъ слышалъ, какъ называли «sire» того, кто сказалъ эти слова. Но онъ слышалъ эти слова, какъ бы онъ слышалъ жужжаніе мухи. Онъ не только не интересовался ими, но онъ и не замѣтилъ, а тотчасъ же забылъ ихъ. Ему жгло голову; онъ чувствовалъ, что онъ исходитъ кровью, и онъ видѣлъ надъ собою далекое, высокое и вѣчное небо. Онъ зналъ, что это былъ Наполеонъ — его герой, но въ эту минуту Наполеонъ казался ему столь маленькимъ, ничтожнымъ человекомъ въ сравненіи съ тѣмъ, что происходило теперь между его душой и этимъ высокимъ, безконечнымъ небомъ съ бѣгущими по немъ облаками. Ему было совершенно все равно въ эту минуту, кто бы ни стоялъ надъ нимъ, что бы ни говорилъ о немъ; онъ радъ былъ только тому, что остановились надъ нимъ люди и желалъ только, чтобы эти люди помогли ему и возвратили бы его къ жизни, которая казалась ему столь прекрасной потому, что онъ такъ иначе понималъ ее теперь»<sup>2)</sup>.

Князь Андрей постигаетъ ту истину, что настоящая жизнь не въ войнѣ и въ дѣлахъ, съ нею связанныхъ, а въ мирномъ трудѣ и въ мирныхъ радостяхъ. И въ романѣ Толстого мы постоянно видимъ, какъ эта настоящая, единственно реальная жизнь продолжала существовать, несмотря на призракъ войны.

«Жизнь между тѣмъ, настоящая жизнь людей — съ своими существенными интересами здоровья, болѣзни, труда, отдыха, съ своими интересами мысли, науки, поэзіи, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, какъ и всегда,

<sup>1)</sup> Сочиненія. Часть пятая, стран. 410.

<sup>2)</sup> Сочиненія. Часть пятая, стран. 426.

независимо и внѣ политической близости или вражды съ Наполеономъ Бонапарте и внѣ всѣхъ возможныхъ преобразованій<sup>1)</sup>).

Въ «Войнѣ и мирѣ» Толстой развѣнчиваетъ войну, но онъ еще далекъ отъ того безусловнаго и послѣдовательнаго осужденія ея, къ какому онъ пришелъ позднѣе, далекъ отъ ученія о непротивленіи злу насиліемъ; онъ осуждаетъ лишь наступательную войну, осуждаетъ Наполеона, начавшаго войну съ Россіей, но признаетъ законность и необходимость войны оборонительной.

«...и началась война, т.-е. совершилось противное человѣческому разуму и всей человѣческой природѣ событіе. Милліоны людей совершали другъ противъ друга такое безчисленное количество злодѣяній, обмановъ, измѣнъ, воровства, поддѣлокъ, выпуска фальшивыхъ ассигнацій, грабежей, поджоговъ и убійствъ, котораго въ цѣлые вѣка не соберетъ лѣтопись всѣхъ судовъ міра и на которые въ этотъ періодъ времени люди, совершавшіе ихъ, не смотрѣли какъ на преступленія» (ч. VII, стран. 5).

Такъ говоритъ Толстой о вторженіи Наполеона въ Россію, но совершенно иныя мысли вызываетъ въ немъ война народная, начавшаяся съ цѣлью изгнать Наполеона изъ Россіи: «...дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьихъ вкусовъ и правилъ, съ глупой простотой, но съ цѣлесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французовъ до тѣхъ поръ, пока не погибло все нашествіе.

...благо тому народу, который въ минуту испытанія, не спрашивая о томъ, какъ по правиламъ поступали другіе въ подобныхъ случаяхъ, съ простотою и легкостью поднимаетъ первую попавшуюся дубину и гвоздитъ ею до тѣхъ поръ, пока въ душѣ его чувство оскорбленія и мести не замѣняется презрѣніемъ и жалостью» (ч. VIII, стран. 150).

Хотя въ «Войнѣ и мирѣ» Толстой такимъ образомъ признаетъ оборонительную войну и необходимость вооруженной защиты отечества здѣсь не подвергается сомнѣнію, такъ же какъ и въ періодъ «Севастопольскихъ разсказовъ», но все же по сравненію съ послѣдними въ «Войнѣ и мирѣ» сдѣланъ шагъ по пути полнаго отрицанія войны. Шагъ этотъ — въ критическомъ отношеніи къ правиламъ войны, къ военному искусству, къ руководству военными дѣйствіями. Если народу въ случаѣ необходимости достаточно поднять дубину и гвоздитъ ею врага, то военная организація, т.-е. армія, становится ненужной: народъ, когда надо, сумѣетъ защитить себя, а наступательныя войны вѣдь осуждены. Вотъ въ сущности выводы, которые не высказываются въ «Войнѣ и мирѣ», но которые вытекаютъ изъ этого произведенія. Здѣсь уже въ скрытомъ видѣ то отрицаніе арміи, какъ ненужной и вредной организаціи, которое мы находимъ въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Толстого.

Итакъ, Толстой признаетъ лишь народную оборонительную войну. Но мысль его на этомъ не останавливается: развѣ и въ оборонительной войнѣ — послѣдняя не сводится къ убійству? Дѣйствительно ли надѣ народу нарушать во имя общихъ цѣлей заповѣдь «не убій»? Не должна ли послѣдняя имѣть без-

<sup>1)</sup> Сочиненія. Часть шестая, стран. 185.



условную цѣнность и есть ли такіе общіе народныя интересы, во имя которыхъ можно и должно эту заповѣдь нарушать? Въ чемъ интересы народа и что такое народъ?

Вотъ вопросы, которые встаютъ передъ Толстымъ въ связи съ проблемой войны.

Къ этой проблемѣ Толстой возвращается вновь подъ вліяніемъ Балканскихъ событій. Событія эти, вызвавшія въ части русскаго общества патріотическое настроеніе, добровольческое движеніе и войну съ Турціей, совпали съ тѣмъ періодомъ внутренней жизни Толстого, когда въ немъ уже назрѣвалъ религіозно-нравственный переломъ. Періодъ этотъ отразился въ «Аннѣ Карениной», и здѣсь сказалось и новое отношеніе Толстого къ войнѣ.

Левинъ не сочувствуетъ *патріотическому* воодушевленію, не находитъ этого чувства ни въ себѣ, ни въ народѣ, въ средѣ котораго онъ живетъ и твердо знаетъ, что «достиженіе общаго блага возможно только при строгомъ исполненіи того закона добра, который открыть каждому человѣку и потому не можетъ «желать войны и проповѣдывать ее для какихъ бы то ни было общихъ цѣлей».

Въ словахъ и мысляхъ Левина въ его спорѣ съ Сергѣемъ Ивановичемъ уже основныя положенія доктрины Толстого: законъ, запрещающій убійство и, слѣдовательно, войну безусловенъ; народъ, живущій трудовой жизнью, не хочетъ войны, ее проповѣдуютъ привилегированные люди, разные краснобаи.

Основной нравственный законъ совпадаетъ такимъ образомъ съ чувствованіями трудового народа. Вотъ позиція, на которую прочно становится Толстой послѣ «Анны Карениной» и съ которой онъ начинаетъ разрушительную критику современности.

Законъ «не убій» безусловенъ, и такъ какъ государство связано, какъ замѣчаетъ еще Левинъ, съ войной и неизбежно къ войнѣ приводитъ, то надо отвергнуть государство. Официальное христіанство оправдываетъ войну: слѣдовательно, оно на ложномъ пути.

Вспоминая тѣ самыя событія, къ которымъ относится и разговоръ Левина съ Сергѣемъ Ивановичемъ, Толстой въ своей «Исповѣди» пишетъ: «Въ это время случилась война въ Россіи. И русскіе стали во имя христіанской любви убивать своихъ братьевъ. Не думать объ этомъ нельзя было. Не видѣть, что убійство есть зло, противное самымъ первымъ основамъ всякой вѣры, нельзя было. А вмѣстѣ съ тѣмъ, въ церквахъ молились объ успѣхѣ нашего оружія, и учителя вѣры признавали это убійство дѣломъ, вытекающимъ изъ вѣры. И не только эти убійства на войнѣ, но во время тѣхъ смутъ, которыя послѣдовали за войной, я видѣлъ чиновъ церкви, учителей ея, монаховъ, схимниковъ, которые одобряли убійство заблудшихъ, безпомощныхъ юношей. И я обратилъ вниманіе на все то, что дѣлается людьми, исповѣдующими христіанство, и ужаснулся» (ч. XIII, стран. 73).

Ужаснувшись тому, что дѣлаютъ люди, исповѣдующіе христіанство, Толстой начинаетъ работу очищенія христіанства, возстановленіе его истиннаго и первоначальнаго смысла. Основная мысль христіанства въ ученіи о «непротивленіи злу зломъ».

Эту мысль Толстой опредѣленно формулируетъ впервые въ письмѣ, озаглавленномъ «О непротивленіи злу зломъ» (1882 г.) и подробно развиваетъ въ сочиненіи «Въ чемъ моя вѣра» (1884 г.).

Весь строй современной жизни подвергается въ этомъ сочиненіи пересмотру и критикѣ съ точки зрѣнія той вѣры, къ которой пришелъ Толстой. Христіанство и современный социально-политическій строй жизни ставятся на очную ставку. Между ними противорѣчіе непримиримое. Надо выбрать одно или другое; надо выбирать между Евангеліемъ и воинскимъ уставомъ.

На постановку вопроса въ такой формѣ Толстого навелъ разговоръ съ солдатомъ. Однажды на его глазахъ молодой, бравый гренадеръ гналъ и ругалъ нищаго. Толстой подошелъ къ солдату и спросилъ, знаетъ ли онъ грамотѣ?

— «Знаю, а что? — Евангеліе читалъ? — Читалъ. — А читалъ: «и кто накормить голоднаго?»... Я сказалъ ему это мѣсто. Онъ зналъ его и выслушалъ его. И я видѣлъ, что онъ смущенъ. Двое прохожихъ остановились, слушая. Гренадеру, видно, больно было чувствовать, что онъ, отлично исполняя свою обязанность, — гоняя народъ оттуда, откуда велѣно гонять, — вдругъ оказался неправъ. Онъ былъ смущенъ и видимо искалъ отговорок. Вдругъ въ умныхъ, черныхъ глазахъ его блеснулъ свѣтъ, онъ повернулся ко мнѣ бокомъ, какъ бы уходя. — А воинскій уставъ читалъ? — спросилъ онъ. Я сказалъ, что не читалъ.

— Такъ и не говори, — сказалъ гренадеръ, тряхнувъ побѣдоносно головой и, запахнувъ тупупъ, молодецки пошелъ къ своему мѣсту.

Это былъ единственный человѣкъ во всей моей жизни, строго логически разрѣшившій тотъ вѣчный вопросъ, который при нашемъ общественномъ строѣ стоялъ передо мной и стоитъ передъ каждымъ человѣкомъ, называющимъ себя христіаниномъ» (ч. XIII, стран. 535).

Толстой разрѣшилъ для себя этотъ вопросъ строго логически въ другую сторону: онъ выбралъ Евангеліе и отвергъ все то, что связано съ воинскимъ уставомъ, т.-е. весь современный государственный строй. Не мечта ли это — жизнь, основанная на Евангеліи? Нѣтъ, не мечта — отвѣчаетъ Толстой, — ибо Евангеліе отвѣчаетъ природѣ человѣка. И наоборотъ, безумная, дикая мечта — это жизнь, основанная на насиліи, современная жизнь съ ея войнами, казнями, тюрьмами, рабствомъ, преступленіями. «Стоитъ понять ученіе Христа, чтобы понять, что современный міръ есть мечта и мечта самая дикая, ужасная, бредъ сумасшедшаго, отъ котораго стоитъ только разъ проснуться, чтобы уже никогда не возвращаться къ этому страшному сновидѣнію».

Но чтобы стряхнуть съ себя это сновидѣніе, надо освободиться изъ-подъ власти всѣхъ соблазновъ, въ которыхъ насъ воспитываютъ. Къ числу такихъ соблазновъ принадлежитъ и патріотизмъ.

«Христосъ открылъ мнѣ, что главный соблазнъ, лишаящій меня моего блага, есть раздѣленіе, которое мы дѣлаемъ между своими и чужими народами. Я не могу не вѣрить въ это, и потому, если въ минуту забвенія и можетъ подняться во мнѣ враждебное чувство къ человѣку другого народа, то я не могу уже въ спокойную минуту не признавать это чувство ложнымъ, не могу оправдывать себя, какъ я прежде дѣлалъ это, признаніемъ преимущества своего народа надъ другими,



зablужденіями, жестокостію или варварствомъ другого народа; не могу при первомъ напоминаніи о томъ не быть болѣе дружелюбнымъ къ челоуѣку чужого народа, чѣмъ къ соотечественнику.

Но мало того, что я знаю теперь, что раздѣленіе мое съ другими народами есть зло, губящее мое благо, — я знаю и тотъ соблазнъ, который вводилъ меня въ это зло, и не могу уже, какъ я дѣлалъ это прежде, сознательно и спокойно служить ему. Я знаю, что соблазнъ этотъ состоитъ въ заблужденіи о томъ, что благо мое связано только съ благомъ людей моего народа, а не съ благомъ всѣхъ людей міра. Я знаю теперь, что единство мое съ другими людьми не можетъ быть нарушено чертою границы и распоряженіями правительствъ о принадлежности моей къ такому или другому народу. Я знаю теперь, что всѣ люди вездѣ равны и братья. Вспоминая теперь все зло, которое я дѣлалъ, испыталъ и видѣлъ вслѣдствіе вражды народовъ, мнѣ ясно, что причиной всего былъ грубый обманъ, называемый патріотизмомъ и любовью къ отечеству. Вспоминая свое воспитаніе, я вижу теперь, что чувства вражды къ другимъ народамъ, чувства отдѣленія себя отъ нихъ никогда не было во мнѣ, что всѣ эти злыя чувства были искусственно привиты мнѣ безумнымъ воспитаніемъ. Я понимаю теперь значеніе словъ: творите добро врагамъ, дѣлайте имъ то же, что и своимъ. Вы всѣ дѣти одного отца и будьте такъ же, какъ и Отецъ, т.-е. не дѣлайте раздѣленія между своимъ народомъ и другими, со всѣми будьте одинаковы. Я понимаю теперь, что благо возможно для меня только при признаніи моего единства со всѣми людьми міра безъ всякаго исключенія. Я вѣрю въ это. И вѣра эта измѣнила всю мою оцѣнку хорошаго и дурного, высокаго и низкаго. То, что мнѣ представлялось хорошимъ и высокимъ — любовь къ отечеству, къ своему народу, къ своему государству, служеніе имъ въ ущербъ блага другихъ людей, военные подвиги людей, — все это мнѣ показалось отвратительнымъ и жалкимъ. То, что мнѣ представлялось дурнымъ и позорнымъ — отреченіе отъ отечества, космополитизмъ, — показались мнѣ, напротивъ, хорошимъ и высокимъ. Если я и могу теперь въ минуту забвенія содѣйствовать больше русскому, чѣмъ чужому, желать успѣха русскому государству или народу, то не могу я уже въ спокойную минуту служить тому соблазну, который губить меня и людей. Не могу признавать никакихъ государствъ или народовъ, не могу участвовать ни въ какихъ спорахъ между народами и государствами, ни писаніями, ни тѣмъ болѣе службой какому-нибудь государству. Я не могу участвовать во всѣхъ тѣхъ дѣлахъ, которыя основаны на различіяхъ государствъ — ни въ таможенныхъ и сборахъ пошлинъ, ни въ приготовленіи снарядовъ и оружія, ни въ какой-либо дѣятельности для вооруженія, ни въ военной службѣ, ни тѣмъ болѣе въ самой войнѣ съ другими народами и не могу содѣйствовать людямъ, чтобы они дѣлали это»<sup>1)</sup>.

Но можетъ ли существовать общество безъ арміи? Что дѣлать въ случаѣ внѣшняго нападенія?

«Придутъ непріятели: нѣмцы, турки, дикари, и, если вы не будете воевать, перебьютъ васъ. Это неправда. Если бы было общество христіанъ, не дѣлающихъ

<sup>1)</sup> Л. Н. Толстой. Въ чемъ моя вѣра, стран. 194—195. (Изд. «Посредникъ» 1907 г.).



никому зла и отдающихъ весь излишекъ своего труда другимъ людямъ, никакіе непріатели — ни нѣмцы, ни турки, ни дикіе — не стали бы убивать или мучить такихъ людей. Они брали бы себѣ все то, что и такъ отдавали бы эти люди, для которыхъ нѣтъ различія между русскимъ, нѣмцемъ, туркомъ и дикаремъ. Если же христіане находятся среди общества нехристіанскаго, защищающаго себя войной, и христіанинъ призывается къ участию въ войнѣ, то тутъ-то и является для христіанина возможность помочь людямъ, не знающимъ истины. Христіанинъ для того только и знаетъ истину, чтобы свидѣтельствовать о ней передъ тѣми, которые не знаютъ ея. Свидѣтельствовать же онъ можетъ не иначе, какъ дѣломъ. Дѣло же его есть отреченіе отъ войны и дѣланіе добра людямъ безъ различія такъ называемыхъ враговъ и своихъ»<sup>1)</sup>).

Теперь мы уже далеко отъ того взгляда на войну оборонительную, котораго Толстой еще придерживался въ «Войнѣ и мирѣ»; народъ не приглашается поднять дубину и «гвоздить» непріателя. Лучшее средство защиты не драться вовсе, не отвѣчать насиліемъ на насиліе: насиліе, не встрѣчая отпора, прекращается само. Эту мысль въ популярной формѣ Толстой развиваетъ въ сказкѣ объ «Иванѣ-дуракѣ», написанной въ 1885 году, т.-е. послѣ трактата «Въ чемъ моя вѣра».

Мужики Иванова царства ведутъ себя не такъ, какъ русскіе крестьяне въ 1812 году, но Толстой теперь находитъ, что крестьянамъ и рабочему народу вообще патріотизмъ чуждъ. Онъ можетъ поддаться патріотическому гипнозу, можно внушить массамъ это чувство, — и правительства всегда стремятся къ этому, — но когда гипнозъ проходитъ и въ народѣ начинается говорить его здравый смыслъ, онъ обнаруживаетъ полное равнодушіе по части патріотизма. Въ статьѣ «Христіанство и патріотизмъ» (1894 г.) Толстой приводитъ разговоръ одного своего пріятеля со старостой — безграмотнымъ, но очень умнымъ и почтеннымъ мужикомъ. Пріятель Л. Н. — помѣщикъ, былъ либераль и рассказывалъ мужику про преимущества французскаго государственнаго устройства. Но когда обострились отношенія между Франціей и Россіей по поводу польскаго возстанія, то поклонникъ французскаго строя, подъ вліяніемъ патріотизма, сталъ говорить о войнѣ съ Франціей.

— Зачѣмъ же намъ воевать? — спросилъ староста.

— Да какъ же позволить Франціи распоряжаться у насъ?

— Да вѣдь вы сами говорите, что у нихъ лучше нашего устроено, — сказалъ староста совершенно серьезно. — Пускай бы они такъ у насъ устроили» (ч. XIX, стран. 72).

Толстой утверждаетъ, что и по его личнымъ наблюденіямъ чувство патріотизма совершенно чуждо русскому народу.

«Я прожилъ съ полвѣка среди русскаго народа и въ большой массѣ настоящаго русскаго народа въ продолженіе всего этого времени ни разу не видалъ и не слышалъ проявленія или выраженія этого чувства патріотизма, если не считать тѣхъ заученныхъ на солдатской службѣ или повторяемыхъ изъ книгъ патріотическихкихъ фразъ самыми легкомысленными и испорченными людьми народа.

<sup>1)</sup> Л. Н. Толстой. Въ чемъ моя вѣра, стран. 197. (Изд. «Посредникъ» 1907 г.).

Я никогда не слыхалъ отъ народа выраженія чувствъ патріотизма, но, напротивъ, безпрестанно отъ самыхъ серьезныхъ, почтенныхъ людей народа слышалъ выраженія совершеннаго равнодушія и даже презрѣнія ко всякаго рода проявленіямъ патріотизма. То же самое наблюдалъ я и въ рабочемъ народѣ другихъ государствъ и то же подтверждали мнѣ не разъ образованные французы, нѣмцы и англичане о своемъ рабочемъ народѣ» (ч. XIX, стран. 70).

Статья «Христіанство и патріотизмъ» написана въ отвѣтъ на патріотическія манифестаціи, связанныя съ франко-русскимъ сближеніемъ и празднествами въ Тулонѣ въ 1893 г.

«Франко-русскія празднества, пишетъ въ предисловіи Толстой, вызвали во мнѣ сначала чувство комизма, потомъ недоумѣнія, потомъ негодованія, которыя я и хотѣлъ выразить въ короткой журнальной статьѣ; но вдумываясь все болѣе и болѣе въ главные причины этого страннаго явленія, я пришелъ къ тѣмъ соображеніямъ, которыя и предлагаю теперь читателямъ».

Чувства комизма и негодованія, охватившія Толстого подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ дней франко-русскихъ торжествъ, сохранились во всей свѣжести въ этой статьѣ, одной изъ самыхъ яркихъ публицистическихъ статей Толстого: въ ней проповѣдническій пафосъ соединяется съ сарказмомъ, страницы, преисполненныя глубокаго негодованія, смѣняются страницами, полными юмора и насмѣшки. Нельзя удержаться отъ смѣха, когда Толстой изображаетъ съ комической стороны торжества и съѣзды, возбуждающіе патріотическія чувства, или когда онъ рассказываетъ, какъ пріѣхавшій къ нему въ Ясную Поляну «извѣстный французскій агитаторъ въ пользу войны съ Германіей», тщетно пытался на покосѣ пробудить патріотическія и воинственныя чувства въ Яснополянскомъ мужикѣ Прокофій. Сіяющій свѣжестью, бодростью, элегантностью, хорошо упитанный французъ въ цилиндрѣ и длинномъ, тогда самомъ модномъ, пальто энергически показываетъ въ лицахъ, какъ надо сжать нѣмцевъ, а шершавый, съ трухой въ волосахъ, высохшій отъ работы, всегда усталый и, несмотря на свою огромную грыжу, всегда работающій Прокофій, оскаливая въ добрую улыбку свои до половины съѣденные зубы, говоритъ: «Приходи лучше съ нами работать, да и нѣмца присылай. А отработаемся, гулять будемъ. И нѣмца возьмемъ».

Въ глазахъ Толстого французъ олицетворяетъ «всѣхъ тѣхъ, вскормленныхъ трудами народа людей, которые употребляютъ потомъ этотъ народъ, какъ пушечное мясо»; Прокофій же — «то пушечное мясо, которое вскармливаетъ и обезпечиваетъ тѣхъ людей, которые имъ распоряжаются».

И слушая патріотическія рѣчи, слушая официальные увѣренія дипломатовъ въ томъ, что они ничего такъ не жаждутъ, какъ сохраненія мира, Толстой содрогается при мысли о судьбѣ, какая ждетъ это «пушечное мясо».

«Зазвонятъ въ колокола и начнутъ молиться за убійство. И начнется опять старое, давно извѣстное, ужасное дѣло. Засуетятся разжигающіе людей подъ видомъ патріотизма къ ненависти и убійству газетчики, радуясь тому, что получаютъ двойной доходъ. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военныхъ припасовъ, ожидая двойныхъ барышей. Засуетятся всякаго рода чиновники,



предвидя возможность украсть больше, чѣмъ они крадутъ обыкновенно. Засуетятся военные начальства, получающія двойное жалованье и раціоны и надѣющіяся получить за убійство людей различныя, высокоцѣнныя ими побрякушки — ленты, кресты, галуны, звѣзды. Засуетятся праздные господа и дамы, вперёдъ записываясь въ Красный Крестъ, готовясь перевязывать тѣхъ, которыхъ будутъ убивать ихъ мужья и братья, и воображая, что они дѣлаютъ этимъ самое христіанское дѣло.

И заглушая въ своей душѣ отчаяніе пѣснями, развратомъ и водкой, побредутъ оторванные отъ мирнаго труда, отъ своихъ женъ, матерей, дѣтей люди, сотни тысячъ простыхъ добрыхъ людей, съ орудіями убійства въ рукахъ туда, куда ихъ погонятъ. Будутъ ходить, забнуть, голодать, болѣть, умирать отъ болѣзней, и наконецъ придутъ къ тому мѣсту, гдѣ ихъ начнутъ убивать тысячами, и они будутъ убивать тысячами, сами не зная зачѣмъ, людей, которыхъ они никогда не видали, которые имъ ничего не сдѣлали и не могутъ сдѣлать дурного...

...И опять одичаютъ, остервенѣютъ, озвѣрѣютъ люди, и уменьшится въ мірѣ любовь, и наступившее уже охристіаненіе человѣчества отодвинется опять на десятки, сотни лѣтъ. И опять тѣ люди, которымъ это выгодно, съ увѣренностью станутъ говорить, что если была война, то это значитъ то, что она необходима и опять станутъ готовить къ этому будущія поколѣнія, съ дѣтства развращая ихъ» (ч. XIX, стр. 63—64).

Такъ писалъ Толстой въ 1894 году. Черезъ десять лѣтъ сбылись его слова: въ нихъ онъ словно предсказалъ японскую войну. Подъ вліяніемъ ужасовъ послѣдней въ русскомъ обществѣ стали пользоваться большей извѣстностью и популярностью антимилитаристскія идеи Толстого. До этого поколѣніе интеллигенціи, выросшее или начавшее сознательную жизнь въ періодъ мира, длившагося съ окончанія турецкой войны до начала японской, т.-е. больше двадцати лѣтъ, проблемой войны не интересовалось, а въ ученіи Толстого о непротивленіи злу насиліемъ видѣло главнымъ образомъ осужденіе политической борьбы съ внутреннимъ гнетомъ и потому не могло питать къ этому ученію симпатіи.

Съ другой стороны — цензурныя условія мѣшали широкому распространенію идей Толстого. Когда началось въ широкихъ слояхъ общества движеніе противъ войны 1904—1905 года, то антимилитаристскія статьи и брошюры Толстого стали очень популярны — онѣ выражали общее настроеніе. Для многихъ пслѣдовательный и радикальный антимилитаризмъ Толстого, осуждающій не только войну, но весь тотъ государственный механизмъ, который связанъ съ войной, явился новостью. Толстой предсталъ какъ бы въ новомъ свѣтѣ, и этимъ отчасти объясняется огромный ростъ его популярности послѣ 1905 года.

Между тѣмъ, въ дѣйствительности, въ статьяхъ, брошюрахъ и письмахъ послѣднихъ годовъ Толстой лишь поясняетъ, развиваетъ, иллюстрируетъ, высказываетъ по поводу текущихъ событій тѣ мысли, которыя сложились въ стройное міросозерцаніе еще къ началу 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія и изложены съ наибольшей полнотой въ книгѣ «Царство Божіе внутри васъ» (1891—1893).

Здѣсь наиболѣе полно изложены и идеи Толстого относительно войны и мира въ современныхъ международныхъ отношеніяхъ, идеи, которыя Толстой



подтвердилъ въ послѣдній разъ въ докладѣ, приготовленномъ для конгресса мира въ Стокгольмѣ въ 1909 году.

Въ этомъ докладѣ Толстой, какъ мы уже знаемъ, приглашая международный конгрессъ провозгласить ту истину, которую онъ зналъ еще въ дѣтствѣ, истину, что война есть не что иное, какъ «простое и голое убійство».

«Побѣда наша несомнѣнна, — писалъ Толстой — но только при одномъ условіи — при томъ, что, высказывая истину, мы будемъ высказывать ее всю, безъ всякихъ слѣлокъ, уступокъ и смягченій. Истина же эта такъ проста, такъ ясна, такъ очевидна, такъ обязательна не только для христіанина, но для всякаго разумнаго человѣка, что стоитъ только высказать ее всю во всемъ ея значеніи, чтобы люди уже не могли поступать противно ей.

Истина эта во всемъ ея значеніи въ томъ, что за тысячи лѣтъ до насъ сказано въ законѣ, признаваемомъ нами Божиимъ, въ двухъ словахъ: *не убій*; и истина въ томъ, что человѣкъ не можетъ и не долженъ ни при какихъ условіяхъ, ни подъ какими предлогами убивать другого» (ч. XIX, стран. 240).

Толстой, какъ извѣстно, собирався самъ пріѣхать на Стокгольмскій конгрессъ, но не могъ осуществить своей мысли и послалъ письменный докладъ. Докладъ этотъ не былъ прочтенъ на конгрессѣ... по недоразумѣнію, какъ сказано въ отчетахъ конгресса. Докладъ, посланный почтой, запоздалъ и получился лишь по окончаніи конгресса во время банкета.

«По общей просьбѣ, — рассказываетъ кн. П. Д. Долгоруковъ — я началъ было переводить докладъ на французскій языкъ, но сейчасъ же отказался, такъ какъ содержаніе доклада слишкомъ не соответствовало банкетной обстановкѣ»<sup>1)</sup>.

Дѣйствительно, съ первыхъ же словъ доклада можно убѣдиться, что онъ совершенно не соответствуетъ не только обстановкѣ банкета пацифистовъ, но и духу самого конгресса. Приглашая конгрессъ высказать осужденіе «безъ всякихъ слѣлокъ, уступокъ и смягченій», обращаться не къ правительствамъ, «существующимъ только войсками, и слѣдовательно войной», а къ народамъ, приглашая объявить преступной военную дѣятельность какъ тѣхъ, которые свободно избираютъ ее, такъ и тѣхъ, которые избираютъ ее изъ страха наказанія или изъ корыстныхъ видовъ, т.-е. ярко и послѣдовательно проводя идеи антимиитаризма, Толстой въ своемъ докладѣ занялъ позицію, совершенно неприемлемую для пацифистовъ. И если можно здѣсь чему-либо удивляться, то не тому недоразумѣнію, благодаря которому докладъ Толстого Стокгольмскому конгрессу остался не доложеннымъ, а тому, что Толстой былъ приглашенъ прислать свой докладъ конгрессу мира.

Что здѣсь имѣло мѣсто дѣйствительное «недоразумѣніе», съ этимъ долженъ согласиться всякій, знакомый съ идеями Толстого и съ принципами пацифисти-

<sup>1)</sup> «Общество мира въ Москвѣ», выпускъ 1-й. Рѣчь кн. Долгорукова «Левъ Толстой и Общество мира». Изъ довольно запутанныхъ объясненій, почему докладъ не читался на конгрессѣ, достаточно ясно проскальзываетъ, что бюро конгресса не хотѣло допустить его чтенія: докладъ Толстого былъ гредварительно напечатанъ въ газетахъ, но бюро почему-то «вообразило, что будетъ новый докладъ Толстого» и въ ожиданіи воображаемаго доклада не ставило на обсужденіе напечатаннаго. Въ концѣ концовъ получилось письмо Толстого, но, увы, все съ тѣмъ же докладомъ. Его-то и пытался прочесть кн. Долгоруковъ на банкетѣ.

ческаго движенія: вѣдь пацифисты неоднократно осуждали тотъ антимилитаризмъ, который проповѣдуетъ Толстой, а Толстой очень зло высмѣивалъ конгрессы мира. Но сами пацифисты усиленно поддерживаютъ то недоразумѣніе, которое лежитъ въ основѣ сближенія идей Толстого и идей пацифизма.

«Толстой былъ величайшимъ пацифистомъ нашего времени и для пацифистовъ его имя было знаменемъ», говоритъ Е. П. Семеновъ въ рѣчи, въ Московскомъ «Обществѣ мира», «Толстой и пацифизмъ». «Мы идемъ съ Толстымъ къ одной конечной цѣли, но разными путями»<sup>1)</sup>, говоритъ предсѣдатель того же Общества — князь Долгоруковъ.

Мы увидимъ сейчасъ, что имя Толстого, какъ знамя пацифистскаго движенія, выбрано неудачно, что между Толстымъ и пацифизмомъ различіе не только въ средствахъ, но и въ цѣляхъ.

\* \* \*

Пацифистское движеніе, насчитывающее многихъ послѣдователей въ разныхъ странахъ Европы и Америки, обладающее большою литературой, создавшее рядъ учреждений (Общество мира, междупарламентскія мирныя конференціи, конгрессы мира), не можетъ, конечно, имѣть въ основѣ цѣльнаго міровоззрѣнія. Пацифисты не представляютъ опредѣленной партіи; но все же нѣкоторыя основныя характерныя черты присущи подавляющему большинству пацифистовъ и кладутъ отпечатокъ на все движеніе.

Такой характерной чертой пацифизма прежде всего является то, что онъ исходитъ изъ существующаго, изъ господствующаго права. «Пропаганда идей мира, — пишетъ русскій пацифистъ, графъ Комаровскій, — несомнѣнно должна опираться на основанія, почерпнутыя изъ существующаго международнаго строя, такъ какъ лишь при этомъ условіи возможно плодотворное развитіе положительнаго международнаго права и его приближеніе къ той идеальной цѣли, которая признается за нимъ наукою, приближеніе его къ замиренію человѣчества, къ водворенію въ сношеніяхъ государствъ возможно справедливаго и прочнаго мира посредствомъ особой международной организаци»<sup>2)</sup>.

Лозунгъ пацифистовъ — къ миру путемъ права (*La paix par le droit*). Они проповѣдуютъ разрѣшеніе конфликтовъ между государствами на основаніи принциповъ международнаго права, распространеніе дѣйствія и институты международнаго права на весь земной шаръ, ограниченіе вооруженій, постепенный переходъ отъ современнаго, непрочнаго, вооруженнаго мира къ миру постоянному.

Мирныя соглашенія въ настоящемъ и мирный союзъ государствъ въ будущемъ — таковы цѣли пацифистовъ. Замиреніе человѣчества, «вѣчный миръ» въ будущемъ на почвѣ существующаго права — вотъ ихъ конечный идеаль. «Этотъ международный миръ будетъ миромъ социальнымъ... Онъ знаменуетъ собой примиреніе между предпринимателями и рабочими, между государствами и церквами». (Изъ рѣчи гр. Комаровскаго при встрѣчѣ межпарламентской французской делегаціи).

<sup>1)</sup> Общество мира въ Москвѣ, выпускъ 1. Москва 1911.

<sup>2)</sup> «Право и миръ въ международныхъ отношеніяхъ», стран. 333.

На этой точкѣ зрѣнія стояли и стоятъ и извѣстные западные пацифисты — Стэдъ, д'Эстурнель-де-Констанъ, Фредерикъ Пасси, Фридь и другіе. Въ конечномъ счетѣ пацифизмъ есть стремленіе, изгнавъ войну изъ современнаго человѣчества, сохранить его *status quo*, замирить вражду на основѣ достигнутыхъ завоеваній, путемъ мира укрѣпить существующій строй. Вотъ почему пацифизмъ не имѣетъ успѣха среди рабочихъ.

Мнѣніе, что пацифизмъ завоевываетъ все болѣе широкія рабочія массы, такъ же ошибочно, какъ и сближеніе съ пацифизмомъ идей Толстого. Среди рабочихъ распространяется антимилитаризмъ, явленіе совершенно другого порядка, чѣмъ пацифизмъ. Рабочія массы современныхъ культурныхъ странъ проникнуты идеей классовой борьбы и пацифистская проповѣдь всеобщаго мира, въ томъ числѣ и соціального, въ этой средѣ успѣха не имѣетъ.

Пацифизмъ въ томъ видѣ, какъ онъ представленъ теперь обществами мира, есть продуктъ буржуазіи на извѣстной ступени ея развитія. Когда третье сословіе было еще «ничѣмъ», когда ему нужно было завоевать свои права, оно не было воспріимчиво къ проповѣди мира; теперь, когда оно стало «всѣмъ», когда оно больше всего хотѣло бы лишь мирно пользоваться достигнутыми благами и избѣгнуть той войны, которую начинаетъ противъ него четвертое сословіе, оно охотно слушаетъ пацифистскую проповѣдь.

Этотъ консервативный характеръ пацифизма и отличаетъ его прежде всего отъ проповѣди Толстого, отрицающаго вмѣстѣ съ войною весь существующій строй, который, по его мнѣнію, только и держится насиліемъ; не къ укрѣпленію его, а къ разрушенію его стремится Толстой. Различіе цѣлей, какія преслѣдуетъ толстовская проповѣдь и пацифистская пропаганда, объясняется и различіе тактики, о которой говоритъ кн. Долгоруковъ.

Толстой проповѣдуетъ отказъ отъ воинской повинности, пацифисты — ограниченіе вооруженій. Толстой обращается къ индивидуальной совѣсти и къ сознанію массъ; пацифисты — къ правительствамъ; требованіе Толстого имѣетъ безусловный характеръ; совѣты, съ которыми пацифисты обращаются къ правительствамъ, носятъ характеръ условный.

Пацифисты какой-либо страны приглашаютъ свое правительство приступить къ ограниченію вооруженій при условіи, что другія правительства поступятъ такъ же. Образчикомъ такого рода обращенія пацифистовъ къ правительствамъ можетъ служить недавняя резолюція Нимскаго общества мира (*L'association de la Paix par le droit*). Указывая на тотъ гнетъ, какимъ ложатся на народное хозяйство расходы по вооруженію, резолюція оговаривается, однако, что при современномъ положеніи отдѣльному государству трудно приступить хотя бы даже къ частичному разоруженію; поэтому Общество мира обращается къ правительству Франціи лишь съ приглашеніемъ заявить открыто о готовности съ своей стороны присоединиться къ международному соглашенію относительно ограниченія вооруженій. Резолюція приглашаетъ общества мира другихъ странъ обратиться къ своимъ правительствамъ съ аналогичными пожеланіями<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Le mouvement pacifiste. 30 avril 1912.



Такъ какъ каждое государство и безъ того заявляетъ о своемъ желаніи поддержать миръ и о своей готовности ограничить вооруженія, если только другія державы сдѣлаютъ то же; такъ какъ каждая держава заявляетъ, что она вынуждена готовиться къ войнѣ благодаря политикѣ и вооруженію другихъ державъ, то призывы пацифистовъ остаются въ сферѣ платоническихъ пожеланій. Толстой въ книгѣ «Царство Божіе внутри васъ» зло высмѣиваетъ эти платоническіе призывы пацифистовъ.

«Ученые люди собираются на конгрессы, читаютъ рѣчи, объѣдаютъ, говорятъ речи, издаютъ журналы, посвященные этой цѣли, и во всѣхъ доказывается, что напряженіе народовъ, принужденныхъ содержать милліоны войскъ, дошло до крайнихъ предѣловъ, и что это вооруженіе противорѣчитъ всѣмъ цѣлямъ, свойствамъ, желаніямъ всѣхъ народовъ, но что, если много исписать бумаги и наговорить словъ, то можно согласовать всѣхъ людей и сдѣлать, чтобы у нихъ не было противоположныхъ интересовъ, и тогда войны не будетъ» (ч. XIV, страница 440).

*Примирить* тѣ интересы, изъ-за которыхъ ведутся войны, Толстой считаетъ праздною мечтой; но есть другой путь: можно *отрицать* эти интересы. Этотъ путь и избираетъ Толстой. Въ войнѣ, по его мнѣнію, заинтересована небольшая кучка людей, управляющая народными массами. Послѣднія поддаются патріотическому гипнозу и вовлекаются въ войны, въ которыхъ совершенно не заинтересованы. Въ сущности, рабочій народъ совершенно чуждъ патріотическимъ интересамъ, изъ-за которыхъ и ведутся войны.

«Рабочій народъ слишкомъ занятъ поглощающимъ все его вниманіе дѣломъ поддержанія жизни себя и своей семьи, чтобы онъ могъ интересоваться тѣми политическими вопросами, которые представляются главнымъ мотивомъ патріотизма: вопросы вліянія Россіи на востокъ, объ единствѣ Германіи или возвращеніи Франціи отнятыхъ провинцій, или уступки той или другой части одного государства другому и т. п. не интересуютъ его, не только оттого, что онъ никогда почти не знаетъ тѣхъ условій, при которыхъ возникаютъ эти вопросы, но и потому, что интересы его жизни совершенно независимы отъ государственныхъ политическихъ интересовъ. Человѣку изъ народа всегда совершенно все равно, гдѣ проведутъ какую границу и кому будетъ принадлежать Константинополь, будетъ или не будетъ Саксонія или Брауншвейгъ членомъ Германскаго союза и будетъ ли Англіи принадлежать Австралія или земля Мателло и даже какому правительству ему придется платить подать и въ чье войско отдавать своихъ сыновъ»<sup>1)</sup>).

Такой постановкой вопроса Толстой рѣзко ограничиваетъ себя отъ буржуазнаго пацифизма и приближается къ рабочему антимилитаризму и притомъ къ такому крайнему его представителю, какъ Густавъ Эрве.

Пацифисты, совмѣщая въ теоріи любовь къ человѣчеству съ патріотизмомъ, на практикѣ въ вопросѣ войны приходятъ къ необходимости различать войны оборонительныя и наступательныя. Осуждая послѣднія, они всегда заявляютъ

<sup>1)</sup> Сочиненія. Часть девятнадцатая, стран. 70—71.

о своей готовности проливать кровь въ защиту отечества. «Я не могу слѣдовать ученію Толстого, — говоритъ д'Эстурнель де-Констанъ, — я хочу защищать моихъ дѣтей и мое отечество и поэтому мы не останавливаемся передъ жертвами, сопряженными съ хорошей организаціей французской арміи...»

«Задача воспитанія въ духѣ пацифизма, — читаемъ мы въ «*Mouvement pacifiste*» (29 Fevrier 1912), — привить юношеству любовь къ миру и отечеству. Съ одной стороны, — любить свое отечество, быть готовымъ отдать за него жизнь, если потребуется, вотъ долгъ, который должны внушать во всѣхъ начальныхъ и среднихъ школахъ всѣхъ націй. Съ другой стороны никогда не терять изъ виду, что война по существу своему разрушительна и гибельна и что, слѣдовательно, народы всецѣло заинтересованы въ томъ, чтобы мирно уживаться другъ съ другомъ вмѣсто того, чтобы уничтожать другъ друга — вотъ вторая истина.»

Истина патріотизма, необходимость до послѣдней капли крови защищать свое отечество ставится такимъ образомъ на первое мѣсто въ органахъ пацифистовъ. Толстой считаетъ устарѣвшей фразеологіей эти патріотическія рѣчи. Въ наше время, говоритъ онъ, нѣтъ нашествія варваровъ, отъ которыхъ нужно было бы защищать имущество свое, женъ и дѣтей.

«Патріотизмъ въ наше время есть жестокое преданіе уже пережитаго періода времени, которое держится только по инерціи и потому, что правительства и правящіе классы, чувствуя, что съ этимъ патріотизмомъ связана не только ихъ власть, но и существованіе, старательно и хитростью, и насиліемъ возбуждаютъ и поддерживаютъ его въ народахъ. Патріотизмъ въ наше время подобенъ лѣсамъ, когда-то бывшимъ необходимыми для постройки стѣнъ зданія, которые несмотря на то, что они одни мѣшаютъ теперь пользованію зданіемъ, все-таки не снимаются, потому что существованіе ихъ выгодно для нѣкоторыхъ» (ч. XIX, стр. 81).

Патріотизмъ, оборона государства являются въ глазахъ Толстого удобными ширмами для защиты интересовъ привилегированныхъ классовъ. «Обыкновенно думаютъ, что войска усиливаются правительствами только для обороны государства отъ другихъ государствъ, забывая то, что войска нужны прежде всего правительствамъ для обороны себя отъ своихъ подавленныхъ и приведенныхъ въ рабство подданныхъ.

Это нужно было всегда и все становилось нужнѣе и нужнѣе по мѣрѣ развивавшагося образованія въ народахъ, по мѣрѣ усиленія общенія между людьми одной и разныхъ національностей и стало особенно необходимо теперь при коммунистическомъ, социалистическомъ, анархическомъ и общемъ рабочемъ движеніи. И правительства чувствуютъ это и увеличиваютъ свою главную силу дисциплинированнаго войска». (ч. XIV, стр. 465).

Въ отрицаніи патріотизма, въ протестѣ противъ того внутренняго гнета, который поддерживается подъ маской защиты отечества отъ внѣшняго врага, Толстой сходится съ антимиитаризмомъ рабочихъ массъ. Пацифисты съ одной стороны говорятъ объ ужасахъ войны, какъ о величайшемъ бѣдствіи, забывая о томъ ужасѣ насилія, которое творится изо дня въ день въ мирное время; съ другой стороны они постоянно напоминаютъ о необходимости защищать отечество и, слѣдовательно, имѣть армію. Современный рабочій объ ужасахъ войны знаетъ

лишь по наслышкѣ, но испытываетъ на себѣ каждый день гнетъ капитализма; онъ не видитъ того непріятеля, отъ котораго надо защищать отечество и ради котораго содержится армія, но во время стачки, въ борьбѣ за улучшеніе свего положенія онъ встрѣчаетъ эту армію на своемъ пути: она идетъ не противъ внѣшняго врага, а противъ него, защищаетъ не границы отъ непріятеля, а существующій строй. Вотъ почему рабочій антимилитаризмъ, какъ мы уже говорили, имѣетъ совсѣмъ другой характеръ, чѣмъ пацифизмъ имущихъ классовъ. «Его источникомъ — пишетъ французскій социалистъ Эдуардъ Бертъ<sup>1)</sup>, — служитъ не отвлеченное или сентиментальное отвращеніе къ войнѣ и арміи: его источникъ — борьба классовъ; онъ родился изъ опыта стачекъ и синдикальных столкновений, гдѣ рабочій всегда встрѣчаетъ лицомъ къ лицу армію — стража капитала и порядка, — такъ что въ его глазахъ она служитъ простымъ продолженіемъ капиталистической фабрики и, слѣдовательно, живымъ символомъ его рабства».

«Въ синдикализмѣ нѣтъ отрицанія войны, наоборотъ, въ немъ оживаетъ воинственный духъ французскаго народа, но это уже не національная, а классовая война», пишетъ тотъ же авторъ. «*La guerre sociale*» — «соціальная война» называется журналъ, издаваемый Эрве и выражающій во Франціи идеи рабочаго антимилитаризма.

Этимъ своимъ воинственнымъ духомъ, стремленіемъ къ насильственному перевороту антимилитаристы типа Эрве отъ Толстого отличаются такъ же рѣзко, какъ и отъ пацифистовъ; но что роднитъ ихъ съ Толстымъ, такъ это послѣдовательное отрицаніе той національной, патріотической идеи, во имя которой оправдываются національныя войны: идея эта отрицается во имя идеи общности интересовъ труда, независимаго отъ національных рамокъ и государственныхъ территорій. Во время русско-японской войны Толстой на вопросъ одной американской газеты: «за кого онъ — за русскихъ, японцевъ или никого?» — отвѣчалъ:

— «Я ни за Россію, ни за Японію, а за рабочій народъ обѣихъ странъ»... (ч. XIX, стран. 147).

Вотъ точка зрѣнія, на которой стояли Г. Эрве и французскіе синдикалисты во время конфликта изъ-за Марокко, который чуть не вызвалъ войны между Франціей и Германіей: ни за Францію, ни за Германію; рабочіе просто не должны принимать участія въ этой войнѣ, не должны истреблять другъ друга изъ распри французскихъ и нѣмецкихъ капиталистовъ.

Въ свей книгѣ «*Leur Patrie*», вызвавшей у французской буржуазіи бурю негодованія, Эрве проводилъ мысль, что въ наше время есть только два отечества, границы которыхъ не совпадаютъ съ границами государствъ: отечество эксплуатирующихъ и отечество эксплуатируемыхъ; между ними непрерывная борьба и борьба эта не должна прекращаться изъ-за національных распрей, поэтому рабочимъ нѣтъ дѣла до «отечества» территориальнаго.

Вотъ идейное содержаніе того антимилитаризма, который распространенъ теперь среди французскихъ рабочихъ и исповѣдуется Всеобщей Конфедераціей Труда. «Рабочій антимилитаризмъ, — говоритъ уже цитированный мною

<sup>1)</sup> Сборникъ «Соціальное движеніе въ современной Франціи» подъ ред. Л. Козловскаго, Москва 1908 г. стран. 140—141.



Эдуардъ Берть — это отказъ отъ національнаго единства для того, чтсбъ войти въ коллективнсть рабочую, выборъ новаго *отечества*, которому отдаются цѣликомъ на жизнь и смерть. Рабочій антимилитаризмъ всю свѣю цѣннсть, весь свой смыслъ полагаетъ въ своемъ внутреннемъ тѣсномъ единеніи съ идеей классовой борьбы».

Идея классоваго братства рабочихъ независимо отъ національнсти и отрицательнсе отношеніе къ милитаризму, къ войнѣ, ко всякимъ національнымъ авантюрамъ широко распространены среди современнаго пролетаріата. И если проповѣдь Эрве и псзиція, занятая французскою Конфедераціей Труда, вызвали такіе страстные споры въ соціалистическихъ кругахъ во Франціи и за предѣлами ея, то это лишь благодаря остротѣ постановки вопроса и прямолинейнсти его рѣшенія. Вопросъ заключался въ отношеніи къ оборонительнсей войнѣ, ибо осужденіе войны наступательной не вызвало разногласія. Должны ли рабочіе защищать отечество, когда ему угрожаетъ инземное нашествіе? Часть французскихъ соціалистовъ, какъ Жерсь напр., отвѣчали: должны, классовая борьба не исключаетъ любви къ отечеству, которое надо защищать. Здѣсь представители социализма стали на точку зрѣнія, сбщую съ пацифизмомъ. Конфедерация труда отвѣчала на этотъ вопросъ отрицательно, какъ отрицательно отвѣчаетъ на подобный вопросъ и Толстой.

Сторонники этого прямолинейнаго взгляда на войну исходили изъ соображеній практическихъ и принципиальныхъ. Практическія сосбраженія сводились къ тому, что въ дѣйствительности очень трудно, почти невозможно рѣшить, когда война является оборонительнсей и когда наступательной: какая изъ воюющихъ сторонъ переходитъ непріятельскую границу, обусловливается стратегическими сосбраженіями, а не характеромъ войны; въ интересахъ защиты свсей территоріи требуется иногда перейти границу. Не рѣшаетъ также вопроса и то, кто объявляетъ войну или первый началъ всенная дѣйствія. Держава, дѣйствительно вызвавшая, подготсвившая войну, не всегда формально первая начинается всенная дѣйствія; она можетъ вынудить противника начать ихъ. Правительства воюющихъ гссударствъ всегда другъ на друга сваливаютъ отвѣтственность за войну, и рабочимъ нѣтъ возможности разсбратъ въ этихъ дипломатическихъ тонкостяхъ. Такимъ сбразомъ, если рабочіе будутъ придерживатъся различной тактики въ зависимости отъ того, является ли война оборонительной или наступательной, то отрицаніе войны будетъ только теоретическимъ; на практикѣ имъ придется принимать участіе во всякой войнѣ, разъ къ тому призываетъ ихъ правительство.

Принципиальныя же сосбраженія сводятся къ тому, что патріотизмъ и классовая борьба другъ друга исключаютъ, что подъ флагомъ патріотизма проповѣдуется ослабленіе классовой солидарности, выгодное для буржуазіи, но не выгодное для рабочихъ. Идея отечества — есть идея солидарности всѣхъ классовъ въ предѣлахъ одной національнсти, идея классовой борьбы — есть идея солидарности рабочихъ разныхъ національностей. Когда Франція подвергается опасности со стороны Германіи, то патріотизмъ велитъ французскому рабочему видѣть союзника и друга во французскомъ капиталистѣ и врага въ нѣмецкомъ рабочемъ. Классовое рабочее движеніе, насборотъ, требуетъ отъ французскаго рабочаго, чтобы онъ

видѣлъ въ нѣмецкомъ рабочемъ союзникѣ въ общей борьбѣ съ капиталистами Франціи и Германіи.

Идея рабочаго антипатріотизма, такъ рѣзко сформулированная Густавомъ Эрве, не нова; она провозглашена еще въ «Коммунистическомъ Манифестѣ» Маркса. «У рабочаго нѣтъ отечества», — гласитъ манифестъ. Та же идея была положена въ основу рабочаго интернаціонала, она же провозглашается и въ программахъ современныхъ социаль-демократическихъ партій.

«Интересы рабочаго класса одинаковы во всѣхъ странахъ, гдѣ существуетъ капиталистическій способъ производства... Освобожденіе рабочаго класса — дѣло, въ которомъ заинтересованы въ равной мѣрѣ рабочіе всѣхъ цивилизованныхъ странъ. Сознавая это, социал-демократическая партія сѣявляетъ себя въ тѣснѣйшемъ единеніи со всѣми сознательными рабочими всѣхъ странъ». Такъ говоритъ программа Германской социал-демократіи.

Въ настоящее время социалистическія партіи разныхъ странъ считаются лишь частями единой международной партіи; международные, социалистическіе, рабочіе конгрессы выражаютъ это международное единеніе рабочихъ. Международный рабочий конгрессъ въ Брюсселѣ въ 1891 году приглашалъ рабочихъ всѣхъ странъ неустанно «протестовать и бороться противъ военныхъ затѣй и тѣхъ союзовъ, которые имъ служатъ».

Но если война все-таки наступитъ — тогда что дѣлать? На этотъ вопросъ не всѣ социалистическія организаціи даютъ одинаковый отвѣтъ. Германскіе социалисты въ этомъ отношеніи не идутъ такъ далеко, какъ французскіе синдикалисты. Не только правые, какъ Фольмаръ, но и лѣвые вожди германской социал-демократіи, Либкнехтъ и Бебель, неоднократно заявляли, что изъ международной солидарности рабочихъ вовсе не слѣдуетъ, чтобы у нихъ не было вовсе національных обязанностей, и что въ случаѣ опасности, угрожающей Германіи, социал-демократы исполнять свой долгъ не хуже другихъ партій<sup>1)</sup>.

Нельзя, впрочемъ, на основаніи такихъ заявленій со стороны вождей партіи судить, насколько дѣйствительно патріотизмъ силенъ въ рабочихъ массахъ Германіи. Что касается чисто рабочихъ германскихъ организацій, т.-е. рабочихъ ссyzовъ, то въ нихъ не обсуждаются вопросы политическіе, а слѣдовательно и вопросъ о поведеніи рабочихъ при международныхъ столкновеніяхъ. Когда представители французской Конфедераціи Труда предлагали поднять этотъ вопросъ на международномъ профессиональномъ съѣздѣ, то представители нѣмецкихъ профессиональных ссyzовъ откленили это предложеніе, находя, что вопросъ выходитъ изъ компетенціи профессиональных организацій и подлежитъ обсужденію социалистическихъ партій.

До сихъ поръ французскіе рабочіе, сѣединенные въ Конфедерацію Труда, занимаютъ по отношенію къ войнѣ наиболѣе непримиримую пзицію. Въ послѣднее время идеи французскаго синдикализма въ томъ числѣ и антимилитаризмъ стали завоевывать симпатіи англійскихъ рабочихъ.

<sup>1)</sup> См. главу «Интернаціонализмъ и антимилитаризмъ» въ книгѣ Milhaud. La démocratie socialiste Allemande.

Можетъ показаться, что антимилитаризмъ въ Англіи не имѣетъ въ ней почвы потому, что нѣтъ въ ней милитаризма, нѣтъ всеобщей воинской повинности. Но дѣло въ томъ, что рабочій антимилитаризмъ проповѣдуетъ не уклоненіе отъ воинской повинности, а всеобщую забастовку въ случаѣ объявленія войны, забастовку, которая должна парализовать военныя дѣйствія.

Въ этомъ отношеніи рабочій антимилитаризмъ рѣзко отличается отъ антимилитаризма Толстого, проповѣдующаго индивидуальный отказъ отъ военной службы. Тактика Толстого логически вытекаетъ изъ всего его міросозерцанія. Толстой неустанно твердилъ («Въ чемъ моя вѣра», «Царство Божіе внутри васъ», «Неизбѣжный переворотъ», «Письмо къ индусу», «Отвѣтъ польской женщинѣ»), что строй насилія держится тѣмъ, что насилуемые, которыхъ огромное большинство, участвуютъ въ насиліи, служатъ насильникамъ; и — по Толстому — нужно, чтобы насилуемые сознали это и отказались служить орудіемъ насилія; и послѣднее прекратится само собой: огромное зданіе насилія, ничѣмъ не поддерживаемое, рухнетъ. Надо лишь *отказаться* поддерживать этотъ строй и больше ничего. И согласно со своимъ индивидуализмомъ Толстой требуетъ, чтобы каждый за себя отказался, не считаясь съ тѣмъ, какъ поступать другіе. Пусть каждый, не соблазнясь выгодами и не пугаясь кары откажется исполнять тѣ дѣйствія, которыя нужны для поддержанія строя насилія, и тогда прекратятся и войны, и рабство, и эксплуатація. «Только бы не смущалось сердце отдѣльныхъ людей тѣми соблазнами, которыми ежечасно соблазняютъ ихъ, и не утрачивалось бы тѣми воображаемыми страхами, которыми пугаютъ ихъ; только бы знали люди въ чемъ ихъ могущественная всепобѣждающая сила, — и миръ, котораго всегда желали люди, не тотъ, который пріобрѣтается дипломатическими переговорами, переѣздами императоровъ и королей изъ одного города въ другой, обѣдами, рѣчами, крѣпостями, пушками, динамитами и мелинитами, не изнуреніемъ народа подавляющими, не отрываніемъ цвѣта населенія отъ труда и развращеніемъ его, а тотъ миръ, который пріобрѣтается свободнымъ исповѣданіемъ истины каждымъ отдѣльнымъ человѣкомъ, уже давно наступилъ бы среди насъ». (ч. XIX, стран. 101).

Такимъ образомъ выдержанное до конца непротивленіе злу насиліемъ, неучастіе въ насиліи ведетъ къ уничтоженію зла; не нужно употреблять силу въ борьбѣ съ нимъ. Борьба силой лишь укрѣпляетъ насильственный строй.

«Люди, связанные другъ съ другомъ обманомъ, составляютъ изъ себя какъ бы сплоченную массу. Сплоченность этой массы и есть зло міра. Вся разумная дѣятельность человѣчества направлена на разрушеніе этого сцѣпленія обмана.

Всѣ революціи суть попытки насильственнаго разбиванія этой массы. Людямъ представляется, что если они разобьютъ эту массу, то она перестанетъ быть массой, и они бьютъ по ней; но, стараясь разбить ее, они только куютъ ее; сцѣпленіе частицъ не уничтожается, пока внутренняя сила не сообщится частицамъ массы и не заставитъ ихъ отдѣляться отъ нея.

Сила сцѣпленія людей есть ложь, обманъ. Сила, освобождающая каждую частицу людского сцѣпленія, есть истина. Истина же передается людямъ только дѣлами истины. («Въ чемъ моя вѣра», стран. 198—199. Изд. «Посредника» 1907 г.).



На ростъ сознанія расчитываетъ и социализмъ, проповѣдующій международную солидарность трудящихся. Но, во-первыхъ, социалисты исходятъ изъ предположенія, что самъ этотъ ростъ сознанія обусловленъ внѣшними условіями жизни, а во-вторыхъ, полагаютъ, что одного сознанія недостаточно для уничтоженія социальнаго строя, что нужна еще и организація. Нужна, слѣдовательно, плано-мѣрная коллективная дѣятельность, направленная на уничтоженіе насилія, а не индивидуальный отказъ отъ участія въ послѣднемъ. Неизбѣжна при этомъ и борьба, ибо сознательность разныхъ слоевъ массы растетъ не въ равной мѣрѣ и интересы разныхъ общественныхъ группъ противоположны. Безъ борьбы, въ которой сила сталкивалась бы съ силой, ни одно дѣйствительно крупное измѣненіе въ общественномъ строѣ не совершалось, и нѣтъ основанія думать, что въ наше время можетъ быть иначе. Рабочія массы, раздѣляющія отрицательный взглядъ Толстого на войну, такимъ образомъ безконечно далеки отъ его ученія о непротивленіи злу насиліемъ<sup>1)</sup>.

Толстой упрощаетъ социальную проблему: съ одной стороны небольшая группа обманщиковъ, заинтересованная въ поддержаніи существующаго строя, съ другой — обманываемые массы, поддерживающія его. Противъ обмана стоитъ истина. Но почему же обманъ такъ долго держится? Вѣдь истина давно уже провозглашена. Почему тысячелѣтія продолжаетъ существовать то, что осудило и осуждаетъ христіанство?

Говоря о несовмѣстимости войнъ и христіанства, Толстой въ докладѣ Стокгольмскому конгрессу писалъ: «Человѣчество вообще, въ особенности же наше христіанское человѣчество, дошло до такого рѣзкаго противорѣчія между своими нравственными требованіями и существующимъ общественнымъ устройствомъ, что неизбѣжно должно измѣниться — не то, что не можетъ измѣниться: нравственныя требованія общества, а то, что можетъ измѣниться: общественное устройство».

Увы! Мы видимъ и видѣли, какъ измѣнялись и измѣняются нравственныя требованія, приспособляясь къ общественному устройству, мы видѣли, какъ въ этомъ приспособленіи измѣнилось само христіанство. Отдѣльные представители его и нѣкоторыя секты, какъ и Левъ Толстой, требовали измѣненія жизни во имя истины Евангелія, осуждали казни и войны, но огромное большинство приспособляло эти истины къ своимъ интересамъ. Церковь во имя Евангелія оправдала и войны и казни<sup>2)</sup>.

Нужно, стало быть, найти кромѣ нравственныхъ требованій еще какую-то другую силу, способную измѣнить строй жизни. Этой силы нѣтъ въ ученіи Толстого. Оно съ его бѣлоснѣжной чистотой такъ же высоко поднимается надъ нашей жизнью, какъ тѣ «чисто-бѣлыя громады» Кавказа, которыя такъ поразили Оленина-Толстого, которыя въ первую минуту показались ему такими близкими съ «ихъ нѣжными очертаніями и воздушною линіей вершинъ»...

<sup>1)</sup> См. Оливетти. Проблемы современнаго социализма и G. Sorel. Reflexions sur la violence.

<sup>2)</sup> A. Vanderpol. La guerre devant le Christianisme. Paris. 1912 г.

«И когда онъ понялъ всю даль между нимъ и горами, и небомъ, всю громадность горъ и когда почувствовалась ему вся безконечность этой красоты, онъ испугался, что это призракъ, сонъ»...

Нѣтъ, это не сонъ... Но только отъ того мѣста, на которомъ мы стоимъ, нѣтъ еще дороги, которая вела бы къ этой бѣлоснѣжной чистотѣ, дорогу нужно еще проложить, и чтобы подняться на манящую насъ высоту нужна не одна возвышенная мечта, но и «желѣзная лопата», которая «врѣжетъ» свой путь въ «каменную грудь» давящаго насъ строя жизни.

*Л. Козловскій.*



## ОГЛАВЛЕНИЕ.

---

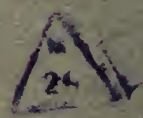
	<i>Стран</i>
1. «Война и Миръ» Л. Н. Толстого:	
<i>Т. И. Полнера</i>	
а) Авторъ.	1—39
б) Произведение.	40—99
2. Исторія работы Л. Н. Толстого надъ романсмъ «Война и миръ».	
<i>К. В. Покровскаго.</i>	100—112
3. Источники романа «Война и миръ».	
<i>К. В. Покровскаго.</i>	113—128
4. Философія исторіи Л. Н. Толстого.	
<i>В. Н. Перцева.</i>	129—153
5. Александръ и Наполеонъ.	
<i>А. К. Джисивелегова.</i>	154—177
6. На войнѣ 1812 года.	
<i>С. П. Мельгунова.</i>	178—209
7. Вліяніе войны 1812 г. на духовную жизнь Россіи.	
<i>К. В. Сивкова.</i>	210—226
8. Война 1812 г. и народное хозяйство.	
<i>В. И. Пичета.</i>	227—246
9. Война 1812 г. въ живописи.	
<i>В. Е. Степановой.</i>	247—262
10. Война сто лѣтъ назадъ и теперь.	
<i>В. П. Обнинскаго.</i>	263—278
11. Война и миръ въ ученіи Л. Н. Толстого.	
<i>Л. С. Козловскаго.</i>	279—310













134

3

17491

8

1

265

D.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 059247723